ИВАН ФРАНКО

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

РАССКАЗЫ

БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ

ИВАН

ФРАНКО

ИВАН

ФРАНКО

*

* *

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ИВАН ФРАНКО

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

•

РАССКАЗЫ

•

БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья
С. Крыжановского, Б. Турганова

С(Укр.)1
Ф83

Составление и примечания
Б. Турганова

Иллюстрации
В. Якубича

7—3—3
Подп. изд.

ИВАН ФРАНКО
(1856—1916)

1

Иван Франко как поэт и как человек — явление исключительное. Подобно великому Кобзарю, он мог бы сказать о себе: «История моей жизни составляет часть истории моей родины». Если принять во внимание, что в XIX столетии Украина была разделена между двумя государствами — Россией и Австро-Венгрией, то Франко, родившемуся и всю жизнь прожившему на Западной Украине, именовавшейся тогда Галицией, казалось бы, принадлежала роль выразителя судеб только этой части его народа. Галицкая земля его породила, эту землю, ее тружеников он воспел в стихах, увековечил в прозе и в драматических произведениях. И все же, несмотря на то что до воссоединения Западной и Восточной Украины Иван Франко не дожил почти четверть века, было бы неправильно считать его выразителем дум и чаяний только какой-то одной части его родины.

Франко, как и Шевченко, был подлинно народным писателем и воплотил в своем творчестве ум и талант всего своего народа. И если Шевченко — основоположник новой украинской литературы и благовестник свободы, то Франко — его законный наследник и продолжатель. Ивану Франко было пять лет, когда умер Шевченко. От последнего прижизненного издания «Кобзаря» до первой книги Франко «Баллады и рассказы» (1876) прошло всего шестнадцать лет. Связь и преемственность не прерывались. Как росли самосознание и образованность украинского общества, так расширялся и диапазон творческой деятельности его виднейших представителей. Шевченко был поэтом, прозаиком, художником; сфера деятельности Франко уже почти необозрима: поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик, публицист, ученый. А как ученый — лите-

ратуровед, искусствовед, фольклорист, этнограф, ориенталист, социолог, философ, экономист, историк.

Представитель угнетенного народа, Франко был своеобразной энциклопедией знаний и за шестьдесят лет жизни и сорок лет деятельности обогатил целые области общественных и гуманитарных наук. В своей научной и литературной деятельности он стоял на передовых позициях, вплотную подойдя к марксизму. Франко был тесно связан с рабочим движением в Австро-Венгрии и России, являясь пропагандистом самых прогрессивных идей своего времени. В области литературоведения он вышел далеко за рамки культурно-исторической школы, как один из литературоведов-социологов, близко подошедших к утверждению ленинского принципа партийности литературы и науки. Франко — яркий представитель критического реализма, а в некоторых его произведениях видны черты, родственные реализму социалистическому. Литературное и научное наследие писателя так велико, что ныне готовящееся академическое издание его трудов составит пятьдесят томов.

Чтобы понять все величие и значение творческого труда и общественной деятельности Ивана Франко, надо представить себе, чем была его родная Галиция, где он жил и работал. Как говорил Гете:

Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichter's Lande gehen [1].

На протяжении многих веков западноукраинские земли находились под иноземным владычеством. После крушения Речи Посполитой, в 1772 году Галиция и Буковина были присоединены к Австро-Венгерской империи. Один чужеземный гнет сменился другим. Австро-Венгрия была средоточием реакции и воинствующего католицизма, подлинной тюрьмой народов, особенно славянских. Лоскутная по своему составу (из 50 миллионов населения немцев было 12 миллионов, венгров — 10, а большинство — 28 миллионов — составляли славянские народы и среди них около 4 миллионов украинцев, живших в Галиции, Буковине и Закарпатской Украине), австрийская монархия проводила систему социального и национального гнета. Один из виднейших ее создателей, монарх из дома Габсбургов Франц-Иосиф II говорил: «Мои народы чужды один другому: тем лучше... Я ставлю венгров в Италию, итальянцев в Венгрию. Каждый стережет своего соседа. Они не понимают и ненавидят друг друга. Из их неприязни рождается порядок, из их вражды — общий мир».

В Галиции душителями украинского народа стали польские магнаты, за что и пользовались определенными привилегиями. Страх перед революцией заставил австрийское правительство провести в 1848 году

[1] Кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта *(нем.)*

земельную реформу, формально освободив тружеников земли от крепостной зависимости. Но фактически галицкое крестьянство попало в новое рабство к помещикам, оставшимся владельцами основных земельных угодий, лесов и пастбищ. Массы крестьянства разорялись, изнемогая от налогов и поборов. В поисках выхода тысячи тружеников покидали родной край и уходили на заработки. В конце XIX столетия началась массовая эмиграция западных украинцев за океан — в США, Канаду, Бразилию.

По мере развития капиталистических отношений усиливался процесс расслоения и пролетаризации крестьянства. Безземелье, голод, безработица, нищета — вот что испытывало украинское население на богатой «не своей земле» под эгидой Австро-Венгерской монархии. Не в лучшем положении были и рабочие, разрозненные и неорганизованные.

Украинская национальная культура преследовалась. Шел усиленный процесс германизации и полонизации. Униатское духовенство служило орудием католицизма. Насаждая католическую религию, польская шляхта всячески преследовала украинскую культуру. Особенно опасалась она симпатий западных украинцев к России, к прогрессивным деятелям русской части Украины.

Государственным языком в Галиции был немецкий, а потом и польский. Принципом «разделяй и властвуй» было продиктовано и отношение правящих кругов к украинской буржуазной интеллигенции. Часть ее, организовавшая партию «народовцев», верноподданнически занимала австрофильские позиции, надеясь на милость «цесаря» (императора). Другая группа буржуазной интеллигенции — «москвофилы» — была не менее враждебна народу. Ориентируясь на царское самодержавие, москвофилы так же, как народовцы, старались выслужиться перед австрийской монархией и польской аристократией, пугая их угрозой русского царизма и в то же время забивая головы людям «язычием» — искусственной смесью украинских, русских и церковнославянских слов и речений. В такой угнетающей и сложной обстановке пришлось жить и работать будущему классику украинской литературы — революционеру-демократу Ивану Франко.

2

Иван Яковлевич Франко родился 27 августа 1856 года в селе Нагу́евичи Дрогобычского уезда, в Галиции, в семье сельского кузнеца. Отец и мать с детства воспитали у сына уважение к труду, любовь к родному языку, народной песне. Отцовская кузня была для ребенка первой школой жизни. Однако отец рано умер. Еще при его жизни малолетний Иван пошел в школу, в село Ясеница-Сельная. Здесь он научился читать по-немецки и по-польски. Через два года мальчика отдали

в Дрогобычскую школу монахов-василиан, где ему пришлось хлебнуть немало горя и издевательств учителей, глумившихся над сыном простого «хлопа» — мужика.

Однако в так называемой «нормальной» школе мальчик проявил большие способности. Благодаря стараниям своего отчима он поступает в 1867 году в Дрогобычскую гимназию, где в течение всего курса, до 1875 года, показывает отличные успехи во всех науках. В эти годы он много читает, совершает первые странствия по родному краю, начинает записывать народные песни и предания. Преподавание в школе велось на немецком языке, но обязателен был и польский. Франко самостоятельно овладевает также и русским языком, а читая «Кобзарь» Шевченко, произведения Марко Вовчка и Панаса Мирного, составляет себе представление об украинском литературном языке, в известной степени отличном от говоров Западной Украины.

Писать стихи Франко начал довольно рано. Еще в гимназии он переводил на украинский язык античных поэтов, а также классиков немецкой поэзии — Гете, Гейне. В 1874 году молодой Франко устанавливает связь с редакцией львовского журнала «Друг», который издавала группа студенческой молодежи, так называемый «Академический кружок». Именно здесь были напечатаны его первые стихи.

В 1875 году Иван Франко успешно заканчивает гимназию и поступает во Львовский университет. Помимо слушания университетских лекций, Франко много читает, принимает деятельное участие в издании «Друга», печатает в журнале свою первую повесть «Петрии и Довбущуки», а в альманахе «Дністрянка» первые рассказы — «Лесихина семья» и «Два приятеля».

Сначала Франко не вмешивался в бесконечные языковые споры: как писать — «язычием» или народным языком. Однако скоро в «Академическом кружке» обозначились две противоположные группы — демократическая и реакционная. Во главе первой стали Франко, Павлык, Белей, к ним присоединилась прогрессивно настроенная молодежь, и студенческое движение пошло по тому верному пути, который вскоре привел Франко и его товарищей к социалистическим идеям. Этому содействовал и подъем рабочего движения: как раз в 70-х годах по Западной Украине прокатилась волна забастовок.

Формированию революционно-демократических воззрений Франко во многом способствовало знакомство с передовой русской литературой, с произведениями Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Некрасова, Щедрина. «Если произведения литератур европейских нам *нравились,* волновали наш *эстетический вкус и нашу фантазию,* то произведения русских *мучили нас,* пробуждали нашу *совесть,* пробуждали в нас *человека, пробуждали любовь к бедным и обиженным*»,— напишет он впоследствии. (Курсив И. Франко.)

Напуганные ростом рабочего движения, австрийские власти в 1877 году создали шумный политический процесс «социалистов». Вместе с товарищами по редакции «Друга» к суду был привлечен и Франко и на девять месяцев заключен в тюрьму.

«Нелепый процесс,— писал позже Франко,— как снег на голову свалившийся на меня и — хотя у меня не было на совести и тени того преступления, в котором меня обвиняли [...] — окончившийся моим осуждением, был для меня страшным и тяжелым испытанием». Из тюрьмы Франко выходит убежденным социалистом. Он пишет стихотворное послание «Товарищам из тюрьмы» (1878), публикует цикл политической лирики — «Думы пролетария». Вместо запрещенного «Друга» Франко, в сотрудничестве с Михаилом Павлыком, начинает выпускать журнал «Громадський друг» («Друг общества»), а когда и его запрещают — журналы «Дзвін» («Колокол») и «Молот».

С 1877 года Франко начинает печатать рассказы так называемого «бориславского цикла», явившиеся результатом глубокого изучения жизни рабочих-нефтяников. По существу, Франко стал первым бытописателем зачатков рабочего движения в Галиции, самым популярным писателем на Западной Украине. Однако и дальше ему пришлось жить в атмосфере травли. Его преследовали и австрийские власти, и украинские буржуазные националисты. Еще дважды — в 1880 и в 1889 годах — писатель подвергался тюремному заключению и всю жизнь состоял под надзором двух полиций — австрийской и царского правительства.

После выхода из тюрьмы Франко сблизился с польскими социалистами, принимал участие в издании газеты «Praca» («Труд»). В это же время, познакомившись с «Капиталом» Маркса и другими его трудами (Франко первым перевел на украинский язык некоторые произведения Маркса и Энгельса), он публикует свои работы «Катехизис экономического социализма» и «Основы социальной экономии», в которых изложил отдельные положения марксистского учения. Он участвовал также в составлении брошюры «Программа польских и украинских социалистов Восточной Галиции» (1881).

И все же самым важным для Франко остается художественное творчество, сочетавшееся с научной деятельностью. Рассказы Франко из жизни бориславских рабочих-нефтяников имели, по выражению самого автора, «скандальный успех». Перед глазами западноукраинского общества впервые предстали люди труда, их горе, страдания, тяжелый труд, нещадная эксплуатация, изображенные правдиво, рукой подлинного мастера. Это был смелый вызов буржуазно-помещичьему обществу, и не мудрено, что оно отвечало злобной клеветой на автора, стараясь полностью вытеснить его из «просвещенной элиты».

Восьмидесятые годы были для Франко годами подлинного творче-

ского подъема. А если учесть его изумительную работоспособность, то не удивительно, что еще совсем молодым человеком, к моменту выхода «Вершин и низин» (1887), он предстает уже выдающимся писателем, крупным общественным деятелем, наконец — ученым, известность которого выходит далеко за пределы Галиции. Франко знают, переводят, читают в Киеве, Петербурге, Варшаве, Вене. И это в условиях непрекращающихся преследований, вынудивших писателя десять лет работать только в польской прессе, «в наймах у соседей».

В 1890 году выходит из печати сборник рассказов Франко «В поте лица», где помещена его известная «Автобиография». В том же году он со своим другом М. Павлыком организует новую, радикальную крестьянскую партию, издававшую свой орган «Народ». Но уже в 90-х годах Франко начинает отходить от непосредственной политической деятельности, обращаясь к деятельности научной. Он подготовил докторскую диссертацию «Варлаам и Иоасаф, старохристианский духовный роман и его литературная история», которую и защитил в Вене в 1893 году. Получив ученую степень доктора философии, Франко надеялся занять кафедру украинской литературы во Львовском университете, однако официальные правительственные, а особенно украинские буржуазно-националистические круги сделали все возможное, чтобы такой «опасный» человек не возглавил кафедры.

В последующие годы Франко продолжает свою разнообразную и поистине подвижническую деятельность, издает журнал «Житте і слово» («Жизнь и слово», 1894—1897), участвует в редакции вновь организованного в 1898 году «Літературно-наукового вісника», пишет новые рассказы и повести, издает сборники стихов. К этому периоду относится и лучшее драматическое произведение Франко «Украденное счастье». Он неустанно ведет борьбу против реакции, против католицизма, против буржуазного национализма. С начала XX столетия укрепляются связи Франко с русскими социал-демократами, в частности, с В. Д. Бонч-Бруевичем, который затем стал первым переводчиком и пропагандистом творчества украинского писателя в России.

В начале 1908 года Франко заболел, но, несмотря на тяжелейшую хроническую болезнь, не прекращал работы до последних дней жизни. 28 мая 1916 года Иван Франко умер во Львове. Его похороны превратились во всенародную демонстрацию.

3

Среди весьма обширного литературного наследия Ивана Франко виднейшее место занимает поэзия. За сорок лет своей творческой деятельности Франко издал десять сборников стихотворений, из которых

почти каждый явился событием в литературе и общественной жизни всей Украины.

Как представитель критического реализма, Франко определился очень рано. Уже в 1877—1880 годах появляются самые известные его произведения — «Вечный революционер», «Камнеломы», «Товарищам из тюрьмы», «Беркут», цикл «Веснянки»,— в них в полную силу зазвучали мотивы отрицания существующего социального строя, призывы к революционной борьбе. В книге «Вершины и низины» (первое издание — 1887, второе — 1893) Франко выступает ниспровергателем всех основ старого общества, провозвестником социалистических идей. Вера в освобождение народов от цепей социального, национального и религиозного рабства выражена в его стихотворениях с огромной художественной силой и политической страстью.

В каждом произведении этой книги содержится впечатляющий образ, оказавший огромное влияние на духовную жизнь общества. Молодой Франко — поэт-трубач, зовущий к бою, борец, поднявший топор на все, что стоит на пути народа к свободе и счастью. Очертания новой жизни еще далеко впереди, но поэзия Франко, как луч прожектора, устремлена в будущее, чтобы «пусть потомкам, не себе счастье выковать в борьбе». Его «Гимн» («Вечный революционер»), положенный на музыку замечательным украинским композитором М. В. Лысенко, приобрел такую же популярность, как в свое время «Заповіт» Шевченко:

С места тронулась лавина,—
Где найдется в мире сила,
Чтоб ее остановила,
Чтоб опять свела на нет
Пламенеющий рассвет?

В цикле «Веснянки» аллегорические картины отходящей зимы, весеннего грома, развивающейся зелени рощ, пробуждающейся земли и самый призыв «vivere memento!» — «помни о жизни!» — все пронизано духом борьбы за освобождение:

Гремит! И народы объемлет волненье:
Быть может, прекрасное близко мгновенье...
Мильоны взывают о счастье, и тучи —
Виденье грядущей эпохи могучей,
Которая мир, как весна, обновит...
Гремит!

Тюрьма не сломила могучий дух поэта; его ответом было стихотворение «На суде», выдержанное в стиле речей революционеров на политических процессах 70-х годов, таких, как популярная в свое время речь Петра Алексеева, которая была известна Франко.

Весь цикл «Думы пролетария» — это мощная волна чувств и мыс-

лей человека, посвятившего себя делу освобождения людей от капиталистического и феодального рабства. Революционная поэзия прошлых лет, мотивы Пушкина и Шевченко, Гейне и Беранже отозвались в этих призывных стихах; вместе с тем в них уже чувствуется влияние живых идей марксизма:

Еще скажите, а зачем
Хотят разрушить этот строй?
Затем, что властвует богач
И гнется труженик немой...

В духе лучших традиций гражданской лирики написаны и «Камнеломы», где образ людей, пробивающих молотами скалу, пролагающих пути к правде, поднят до уровня высокого символа.

Первая книга выявила и другой творческий облик автора — облик сатирика, беспощадного обличителя галицких филистеров и обывателей. Известно, что обличение возможно не только средствами сатиры, но и патетики, и психологического анализа, и лирики. Именно такими явились циклы «Тюремные сонеты» и «Свободные сонеты», написанные в те же годы. Строгую стихотворную форму, которую в украинской поэзии до Франко культивировал один Маркиян Шашкевич, Франко сумел поставить на службу новым целям и идеям, открыв путь таким будущим мастерам украинского сонета, как М. Рыльский, А. Малышко, Д. Павлычко.

Творчество И. Франко необычайно многогранно по своей тематике. «Легенды», «Профили и маски», «Думы пролетария» раздвигали границы украинской поэзии, несли новые мысли и чувства, утверждая дух революционного патриотизма и категорического отрицания существующего строя. Но с особой силой критический реализм Франко проявился в цикле «Галицкие картинки», перекликающемся с прозаическими произведениями писателя об украинском селе.

Революционная и оптимистическая по существу, лирика Франко никогда не была безоблачной. Еще в «Вершинах и низинах» возникают скорбные мотивы, по поводу которых сам поэт сказал: «Неволя моя и неволя народа ту песню родит». И если уже «Скорбные песни» (название одного из разделов книги «Вершины и низины») вызвали нарекания тогдашней буржуазной критики, обвинявшей поэта в пессимизме, то эти обвинения еще больше усилились после выхода из печати новой книги стихотворений И. Франко, лирической драмы «Увядшие листья» (1896), цикла любовной лирики, с которой обращается к читателю вымышленный герой книги — «человек глубоко чувствующий, но мало приспособленный к практической жизни». Выпуская впоследствии второе издание книги, Франко охарактеризовал ее как сборник лирических песен, «самых субъективных со времени появления автобиографических стихов Шевченко».

И действительно, строки «Увядших листьев», хотя и разные по силе чувства и выражения,— плод огромного лирического подъема: они отразили подлинную жизненную драму автора. Не удивительно, что со времени своего появления и до наших дней они служат благодарным материалом для композиторов. Достаточно назвать хотя бы «Бескрайное поле...», также положенное на музыку М. Лысенко.

В дальнейшем в каждой новой книге стихотворений поэт раздвигал границы тематики, отражая в них и свои научные интересы (например, в области древней литературы, ориенталистики, фольклора). Вот почему следующий сборник «Мой Измарагд» (1898), как и изданный на его основе сборник «Старое и новое» (1911), представляет собой обращение к древним преданиям, притчам, но с неизменной проекцией на современность. В «Моем Измарагде» (так назывались в Древней Руси сборники статей и притч), кроме повествований на историко-религиозные темы, мы видим и самую живую полемику с литературными противниками («Поклоны»), злободневную панораму народной жизни (циклы «По селам», «В Бразилию»).

Здесь же мы находим посвященное одному из вождей народовцев Ю. Романчуку стихотворение «Седоглавому», в котором Франко блестяще противопоставил свой революционный патриотизм ложной «любви к народу» галицких буржуазно-националистических политиков. А в стихотворении «Декадент» дана столь же сильная отповедь попыткам обвинить Франко в упадочничестве:

Какой я декадент? Я сын народа,
Который рвется к солнцу из берлог.
Мой лозунг: труд, и счастье, и свобода,
Я сам — мужик, пролог, не эпилог.

Во втором издании этого сборника («Старое и новое») Франко смог опубликовать и некоторые свои ранние вещи, в частности, стихотворение «Товарищам из тюрьмы», под новым заглавием «На заре социалистической пропаганды», с такими строками:

Наша цель — это счастье людское,
Светлый разум без веры в богов,
Братство крепкое и мировое
И свободные труд и любовь...

Публикуя эти стихи, поэт явно хотел подчеркнуть, что его идеалы всемирного братства и человеколюбия не только не изменились, а с течением времени еще больше укрепились.

Возможно, полемическими соображениями было продиктовано и название следующего сборника «В дни печали» (1900), хотя жизнь Франко, с его многочисленными личными драмами и неудачами, давала для этого повод и без литературных реминисценций. В своей речи на

праздновании 25-летия литературной деятельности, в 1898 году, Франко с полным правом мог сказать, что слишком часто ему приходилось бороться одному. В книге «В дни печали» звучат горестные ноты, предчувствие «позднего возраста». И опять своими размышлениями и воспоминаниями Франко пролагал новые пути для украинской поэзии — и глубиной мысли, и силой чувства. Его творческая мысль была в непрерывном движении. Он шел вперед, к новым высотам. Недаром следующая книга уже самим названием звучит как кредо, как творческий девиз: «Semper tiro» (1906) — всегда ученик, всегда новобранец. Ведь «жизнь коротка, искусство бесконечно»! Вчера — коломыйки, сегодня — стансы и октавы, вчера — сонеты, сегодня — новые побасенки, вчера — печаль, сегодня — смех, и, как поэтический первооткрыватель, Франко весь в порыве к новым горизонтам:

Мир достанется отважным,
Трусость жалкую — к чертям!
Здесь — желанную отчизну
Кровь и труд воздвигнут нам!

Кроме книг «Semper tiro» и «Старое и новое» Франко успел подготовить и издать к концу жизни стихи и переводы ранних лет под общим названием «Годы моей молодости» (1914). Но и помимо этого остается много его стихотворений, не вошедших в книги и опубликованных лишь в наше время. Творческий дух поэта не угасал до самых последних дней, несмотря на тяжелую болезнь (кисти рук Франко были парализованы, и свои последние произведения он вынужден был диктовать).

Наряду с лирикой большое место в поэтическом наследии Франко занимают поэмы. Одной из первых явилась поэма «Панские забавы» (1887), перекликающаяся с прозой писателя на ту же тему. Реалистически выведен в поэме жестокий самодур — пан Мигуцкий, считающий «стон народа своей забавой». Остатки барщины, упраздненной в 1848 году, еще долго давали себя знать в галицкой действительности, об этом и напоминали картины поэмы.

В поэмах «Похороны» (1899), «Иван Вишенский» (1900), «На Святоюрской горе» (1900), в оставшейся незаконченной «Лесной идиллии» (1903), в завершающей творчество И. Франко поэме «Моисей» (1905) он неизменно обращается к современности, в старинные предания вкладывает животрепещущую, свежую мысль.

Если в «Иване Вишенском» поэт разрабатывает проблему борьбы личного и общественного, если в «Похоронах» он осуждает всяческое отступничество и измену, то в знаменитой поэме «Моисей», написанной под влиянием известий о революции 1905 года, Франко ставит и решает в революционно-демократическом плане проблему взаимоотношений вождя и народа. Франко не боялся брать и те проблемы, которые были

модными среди декадентских поэтов, но решал эти проблемы в революционном плане. Вести за собой людей могут лишь те, кто свободен от сомнений и колебаний, кто верит в победу, да и люди только тогда смогут выиграть борьбу, когда перед ними будет ясная и высокая цель.

В поэме «Моисей» повествуется о том, как еврейский народ, после сорокалетних блужданий уже приблизившийся к обетованной земле, перестал верить своим пророкам, и прежде всего — Моисею. Отвергнутый всеми Моисей, одинокий, умирает на скалистой горе. И только после его смерти люди, почувствовав свою вину, подымаются на геройские подвиги, и новый вождь ведет их на осуществление идеалов Моисея. Но библейская легенда послужила лишь канвой для утверждения революционно-демократических идей Франко. С огромной силой они выражены в «Прологе» к поэме, посвященном украинскому народу. «Моисей» — апогей поэтического творчества И. Франко.

4

Наследие Франко-прозаика велико и разнообразно: рассказы и повести, сказки и легенды. Их больше сотни. Тематика, сюжеты, средства художественного воплощения жизненного материала также исключительно разнообразны.

Первые прозаические произведения И. Франко появились в 1876 году, до 1882 года создана бо́льшая часть произведений так называемого «бориславского цикла», а в 1882 году — историческая повесть «Захар Беркут». Столь же напряженно работал Франко в области прозы и в последующие годы. При жизни писателя вышло из печати четырнадцать сборников его произведений, главным образом рассказов и сказок. Многие из повестей остались неоконченными и были опубликованы позже. Полностью наследие писателя собрано только в наше время.

Первые критики, называя И. Франко учеником Золя, безоговорочно причисляли его к натуралистам, хотя, конечно, творческий метод французского писателя не был для него образцом. Рассказы Франко — яркий пример критического реализма, оплодотворенного идеями социализма, новаторские и по тематике, и по идеям, и по форме. Франко безусловно зачинатель рабочей темы, не только в границах украинской, но и во всей европейской литературе.

Современный знаток и исследователь творчества И. Франко, академик А. И. Белецкий делит его произведения на ряд тематических циклов, а именно: 1) картины революционного движения 1848 года, особенно их отражение в жизни галицкого села, 2) картины жизни современного села, 3) «бориславский цикл», один из самых значительных в творчестве Франко, 4) цикл произведений «тюремных» и вообще посвя-

щенных людям социального «дна», 5) рассказы из жизни детей и подростков, во многом автобиографические, 6) рассказы и повести из жизни галицкой демократической интеллигенции, 7) весьма многочисленный и художественно своеобразный сатирический цикл, и, наконец, 8) произведения на исторические темы. Разумеется, такое деление, как и всякое иное, условно. Произведения одного раздела переплетаются, тесно связаны идейно, а подчас и сюжетно с произведениями, отнесенными к другим разделам.

Важно, что все творчество Франко в области прозы, воодушевленное идеями современности, исходит из позиций гуманизма, любви к трудящемуся люду. В этом плане Франко выступает ревностным последователем Гоголя, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, Л. Толстого. Резкость и обнаженность картин жизни буржуазно-эксплуататорского общества претила эстетическим вкусам критиков писателя, обвинявших его в натурализме. Однако у Франко была своя эстетическая программа. «Не мерзость, а красу жизни и настойчивое стремление к ней хотел я показать»,— писал он, возражая автору предисловия к русскому переводу его рассказов.

Одной из главных тем прозы Франко была народная жизнь во всех ее проявлениях — беспросветная нужда, голод и холод, попрание человеческого достоинства, семейные драмы и трагедии на почве обнищания, обезземеливание крестьян, организованный грабеж со стороны богатых и власть имущих, социальное и национальное неравенство.

Столь же разнообразными были и формы обработки жизненного материала. Франко говорил, что он сам для себя искал дорогу, пробовал разные манеры, преследуя одну цель — чтобы содержание было своим, чтобы душа произведения была частью души автора. Жизненные случаи и явления, человеческие характеры типизировались по законам того искусства, высшим девизом которого была верность истине, правда жизни.

Была у Франко мечта собрать свои разрозненные картины, эскизы, сцены, зарисовки в одно большое полотно народной жизни, показать различные слои общества в их противоречивых стремлениях и проявлениях, подобно тому как это сделали Бальзак в «Человеческой комедии» или Золя в «Ругон-Маккарах». Этой мечте не суждено было осуществиться. Более того, украинскому писателю не довелось закончить самые крупные свои произведения (повесть «Борислав смеется», роман «Не спросясь броду»). Однако и то, что сделано, огромно по масштабам охвата действительности.

Ряд рассказов и повестей И. Франко, как сказано выше, посвящен годам крепостничества, революционному движению 1848 года и его ближайшим последствиям. Эти события, в частности, легли в основу рассказов «Герой поневоле», «Подневольный хлеб», повести «Великий шум».

К ним примыкает второй цикл — картины современной жизни галицкого крестьянства, начиная с беспретенциозной бытовой сценки «Лесихина семья»: поражающий драматизмом рассказ о том, как пан обманул мужиков и отобрал у них землю, леса и пастбища («Леса и пастбища»), сцены разорения села («Сам виноват») и безбожного обирания бедняков («Хороший заработок», «Каменщик»). Австро-немецкие власти, польская шляхта показаны как подлинные людоловы и людоморы. Здесь нет народнического умиления, автор не становится в позицию печальника, сострадающего бедному люду. Да, село бедствует, но не вымирает. Да, народ терпит, но не гибнет. И потому, изображая иные, не очень веселые случаи и картины, Франко не теряет юмора, не теряет веры в возможность лучшей жизни и доли. Особенно удачно этот мотив стихийного поиска истины, стремления найти ее в социалистическом учении, подчеркнут в рассказе «Моя встреча с Олексой».

Большое место в прозе Франко занимают рассказы и повести о развитии капитализма в Галиции, о превращении сельского труженика в сознательного пролетария. Этот цикл принято именовать «бориславским». В середине 50-х годов прошлого столетия в небольшом галицком селе Борислав, по соседству с родным селом Франко Нагуевичи, были найдены залежи нефти и озокерита. Рассказы об этом «галицком Клондайке» будущий писатель слышал с самого детства, еще в кузне своего отца. Окрестное население, пришлые работники, привлеченные слухами о новых заработках, массами шли на нефтяные промыслы Борислава, изнывали здесь от голода и холода, сотнями гибли под обвалами земли, задыхались от нефтяных газов. «Нефтяная лихорадка», обогатившая ловких предпринимателей, несла новое разорение и оскудение и без того обессиленному экономически западноукраинскому селу. «Не говорю уже о жителях самого бывшего села Борислава, из которых, за малыми исключениями, почти все пошли с сумой,— писал Иван Франко.— Борислав истощает вдоль и вширь все соседние села, пожирает молодое поколение, силы, время, здоровье и нравственность целых крестьянских общин, целых масс» (предисловие к сборнику рассказов «Борислав. Картины жизни народа Подгорья»).

Этот процесс «первичного накопления», картину того, как через все беды и невзгоды рабочие приходят к мысли о необходимости объединиться для борьбы с эксплуататорами, писатель развернул в семи рассказах и двух повестях — «Boa constrictor» и «Борислав смеется». Образ символического змея-удава — капитализма — проходит через всю первую повесть, героем которой является богатый бориславский промышленник Герман Гольдкремер. Тематически с этой повестью связана вторая — «Борислав смеется»,— где два хищника, тот же Герман Гольдкремер и Леон Гаммершляг, замышляют объединить свои усилия, чтобы стать полноправными хозяевами нефтяных промыслов. Но уже зарождается та сила,

которая со временем похоронит хищников-удавов,— рабочий класс. Бенедя Синица, Сень Басараб и другие рабочие-побратимы приходят к мысли о необходимости сплочения.

И пусть эти первые попытки терпят неудачу, пусть стихийная сила протеста приводит к стремлению разрушить промыслы, «поджечь проклятое гнездо», пусть Бенеде Синице еще далеко до рабочего вожака, но в повести уже живет и действует новый герой — рабочая масса, и она приходит к сознанию того, что в единстве — сила, и впервые открыто объявляет войну капиталистам. В рассказе «Ради праздника» читатель знакомится с одним из персонажей повести «Борислав смеется» — с Леоном Гаммершлягом, фабрику которого посещает «августейший монарх», дарующий ему после того баронский титул. Рабочие еще раз обмануты в надеждах на улучшение своей доли. Надо ли говорить, что рассказы и повести Франко явились новым словом в украинской литературе, они раскрыли читателям целую эпоху в развитии современного общества. Вот почему у нас есть все основания видеть в Иване Франко одного из прямых предшественников литературы социалистического реализма.

Четвертый цикл прозы И. Франко (по определению А. Белецкого) можно бы обозначить заголовком одного из его рассказов на эту тему: «На дне». Живые впечатления тюремного быта дали писателю материал для таких рассказов, как «К свету!», «В тюремной больнице». К ним можно присоединить художественные очерки, в которых писатель вывел представителей «дна» — мелких воров («Мужицкая управа»), бродяг («Цыгане»), проституток («Среди добрых людей»). Когда Франко начал печатать эти реалистические очерки, читающая публика, воспитанная на «благопристойной» немецкой и украинской беллетристике, сочла их нарушением всех эстетических норм и правил и отсылала номера журналов с негодующими надписями: «Возвращается обратно умалишенным».

Франко же, показывая людей «дна», исходил из того, что эти люди в других условиях могли бы стать полезными членами общества. Порой они, как герой рассказа «К свету!», по-настоящему талантливы, и только бездушие, несправедливость, тупое равнодушие «просвещенного общества» приводят их в тюрьму, к моральному падению, к физической гибели.

Если в «тюремном цикле» Франко автобиографический элемент не всегда выступает ощутимо, то он явно заметен в рассказах из жизни крестьянских детей и подростков. В рассказах «В кузнице», «Маленький Мирон», «Гриць в школе», «Карандаш», «Отец-юморист», «Горчичное зерно» прослеживаются эпизоды из жизни «мужицкого сына» Мирона в сельской школе, в «нормальной» школе, в гимназии. Эти яркие этюды, рисующие нравы и быт старой Австро-Венгрии, а вместе с тем отражающие специфику детской психологии, созданы рукой большого мастера. Рассказы И. Франко из школьной жизни до сих пор входят в круг детского

чтения на Украине, невольно заставляя сопоставить прошлое с настоящим. Если добавить к этому многие другие произведения, легенды и сказки для детей («Когда еще звери говорили»), то понятно, почему Франко до сих пор остается одним из самых любимых и популярных детских писателей.

Уже в рассказе «На дне» центральным образом выступает Андрей Темера — интеллигент, народолюбец, а в «Моей встрече с Олексой» — интеллигент-революционер Мирон; оба персонажа, в значительной мере автобиографичные, как бы подготовляют переход к следующему циклу прозы Франко, рисующему борьбу демократической интеллигенции против тех, кто угнетает и эксплуатирует народ, против всяческих паразитов и захребетников, панов и подпанков, в том числе и «представителей нации» — народовцев, москвофилов, депутатов австрийского парламента. Франко показывает не только прямых ренегатов и изменников, но и сторонников теории «малых дел», хождения в народ. Большая галерея таких интеллигентов дана в повестях «Лель и Полель», «Раздорожье», в неоконченном романе «Не спросясь броду», в рассказах «Батьковщина», «Из записок больного», «Крыло сойки». Критическая настроенность писателя даже к людям, близким ему по убеждениям, становится понятна, если вспомнить затхлую атмосферу галицкой общественной жизни, в которой гибли, опускались и люди прогрессивных взглядов.

Особенно давал волю своим чувствам Иван Франко в области сатиры. Его сатира и в стихах и в прозе чрезвычайно разнообразна. Наблюдая дела галицких «патриотов», дыша ненавистью ко всему общественному строю Австро-Венгрии, Франко признавался, что иногда ему хочется не смеяться, не обличать, а просто взять и наплевать в глаза противнику. Но нет, этим его не проймешь! И ювеналов бич писателя целые годы и десятилетия опускался на голову псевдопатриотов, карьеристов, красноречивых пустомель, которых писатель назвал «рутенцами» (от слова «рутина»). Сюда надо отнести такие сатирические памфлеты, как «Патриотические порывы», «Наша публика», «Доктор Бессервиссер».

Отдельную группу составляют сатирические, аллегорические сказки, фельетоны и притчи. Прямой адрес их — австро-венгерская государственная система, система гнета, обмана народных масс под флагом «конституции», хитроумно разработанная система грабежа трудящихся, продажность администрации («Сказка о Добробыте», «Свинская конституция», «История кожуха»). Затхлость, филистерство, мещанская ограниченность галицкой буржуазной интеллигенции нашла в лице Франко непримиримого обличителя. Если рассматривать сатиру Франко во всей ее совокупности, то она раскрывается как обобщенная картина «среднеевропейского болота» — Австро-Венгрии, подобная той, какую создал Щедрин, разоблачив и высмеяв старую помещичье-чиновничью Россию.

Сравнительно небольшой раздел прозы Франко составляют исторические произведения, в частности, уже названная повесть «Захар Беркут» — о борьбе славян в XIII веке с полчищами монгольского хана Батыя. Вождь горского племени Захар Беркут, его сын Максим, невеста Максима, Мирослава, предстают как патриоты, люди верности и подвига, но жизнь древней славянской общины обрисована в духе идей утопического социализма.

Надо сказать, что не только в «Захаре Беркуте», но и в других произведениях писатель никогда не оставался на позициях простого реставратора «преданий старины глубокой». Он справедливо считал, что «повесть историческая имеет ценность, если ее основная идея может заинтересовать современных, живых людей, то есть когда она сама жива и современна» (предисловие к первому изданию «Захара Беркута», 1882).

Иван Франко не создал единого, монументального полотна, рисующего нравы современного ему общества, подобно циклу романов Бальзака. Но если взять прозу Франко во всей совокупности тем и идей, конфликтов и проблем, типов и характеров, то она и даст эту обобщенную картину, написанную реалистическими красками, с точки зрения художника, перед которым уже виднелся вдалеке социалистический идеал и который именно в нем видел исходную точку для суждения о людях и времени, о нравах и событиях.

Крупным вкладом в украинскую художественную культуру была и драматургия Франко. Здесь надо иметь в виду и его деятельность как художника, и теоретическое и критическое осмысление им путей развития драматургии и театра. Это были те же позиции реализма и народности, которые отстаивал Франко и в других сферах своей творческой деятельности. Вершина творчества Франко в этой области — драма «Украденное счастье» до сих пор не сходит со сцены и стала поистине классической. Ее героев подсказала сама действительность, а «досказало» мастерство писателя.

5

Через все творчество И. Франко красной нитью проходит чувство неоплатного долга перед народом. «Как сын селянина, вскормленный черствым мужицким хлебом, я считал своим долгом отдать труд своей жизни этому простому народу,— сказал он в упомянутой выше речи на праздновании его 25-летнего юбилея.— Воспитанный в суровой школе, я с малых лет усвоил две заповеди. Первая — вот это чувство долга, а вторая — потребность в непрестанном труде». Эту же мысль высказал он несколько раньше в своем предисловии к опубликованному на польском языке сборнику рассказов «Obrazki galicyjskie» («Галицкие картин-

ки») — «Кое что о себе самом». Он выразился даже энергичнее: «чувство собачьего долга». И это не пустая фраза. Франко в высшей степени присуще было чувство ответственности за свои писания. «Мой украинский патриотизм — это не сентимент, не национальная гордость, это тяжкое ярмо, положенное судьбой на мои плечи. Я могу содрогаться, могу втайне проклинать судьбу, которая положила мне на плечи это ярмо, но скинуть его не могу, потому что оказался бы подлецом в собственных глазах».

О, тяжело ярмо родного края,
И ноша не легка! —

скажет он примерно в те же годы в стихотворении «Раздумье». И он нес это «ярмо» с достоинством, до последних дней жизни. Этот среднего роста, худощавый, рыжеволосый человек с бледным лицом и небольшими руками, скромно, порою даже небрежно одетый, обладал несгибаемым мужеством и неисчерпаемой энергией.

Неутомимый труженик, он превыше всего ставил творческий труд человека. «Жизни — в труде!» — просит он в одном из самых ранних своих стихотворений. «В труде лишь, для труда лишь стоит жить». Этот взгляд писателя на труд — черта, очень для него характерная. Она сближает его с нами, с нашим социалистическим отношением к труду, делает его нашим современником так же, как любовь Франко к трудящимся, ко всему правдивому и светлому в мире.

Значение Ивана Франко в развитии украинской демократической литературы огромно. Исходя из лучших традиций предшествующей литературы, он и сам создал целое направление — направление критического реализма. Наряду с именами Панаса Мирного, Михаила Коцюбинского, Леси Украинки имя Ивана Франко стоит в первом ряду имен украинских писателей конца XIX — начала XX столетия. В свою очередь, он создал свою школу, и такие первостепенные таланты, как Василь Стефаник, Марко Черемшина, Лесь Мартович и Ольга Кобылянская признавали его своим учителем. На всех этапах своего творческого пути Франко видел в русской литературе пример и образец и в этом же духе воспитывал своих многочисленных последователей.

Но значение Франко не ограничивается художественным творчеством. Он сыграл большую роль как литературовед и критик, «властитель дум» передовой украинской интеллигенции в ее ознакомлении с идеями марксизма, научного социализма, в развитии принципов партийности, народности, реализма, в борьбе за то, чтобы вывести украинскую литературу на пути мирового художественного прогресса. Этому была посвящена и его деятельность ученого, публициста, ревностного переводчика на украинский язык сокровищ мировой литературы, популяризатора лучших достижений родной литературы в Европе. В этой работе, поистине

титанической, были и ошибки и заблуждения, но не ими измеряется величие таланта и личности выдающегося украинского писателя.

Иван Франко поднял свою родную литературу на высоту общечеловеческую. Прогрессивные люди всего мира, в том числе русские читатели, уважают, ценят и любят его творчество, в котором воплощен национальный гений народа, тернистым путем пришедшего к счастью, свободе и равенству, строящего ныне тот справедливый общественный строй, пути к которому проложил вместе с другими самоотверженными борцами Великий Каменяр — Иван Франко.

С. КРЫЖАНОВСКИЙ
Б. ТУРГАНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ КНИГИ «ВЕРШИНЫ И НИЗИНЫ»

(1887—1893)

ИЗ РАЗДЕЛА «DE PROFUNDIS»[1]

ГИМН

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Вечный революционер —
Дух, стремящий тело к бою
За прогресс, добро, за волю,—
Он бессмертия пример.
Ни поповства козни злые,
Ни орудия стальные,
Ни царевы казематы,
Ни жандармы, ни солдаты,
Ни шпионы всей земли
В гроб титана не свели.

Он не умер, он живет!
Сотни лет назад рожденный,
Он восстал, освобожденный,
Силой собственной идет.
Он окрепнул, он шагает
В те края, где рассветает,
Словом зычным, как трубою,
Миллионы кличет к бою,—
Миллионы вслед за ним:
Голос духа слышен им.

[1] Из глубин *(лат.)*

Голос духа слышен всем:
В избах, к нищете привычных,
В тесноте станков фабричных,
Всюду, где тоска и темь,
И, веленью духа внемля,
Горе покидает землю,
Мощь родится и упорство —
Не сгибаться, а бороться,
Пусть потомкам, не себе
Счастье выковать в борьбе..

Вечный революционер —
Дух, наука, мысль, свобода,—
Не прервет вовек похода,
Неуклонности пример.
Опрокинута плотина,
С места тронулась лавина,—
Где найдется в мире сила,
Чтоб ее остановила,
Чтоб опять свела на нет
Пламенеющий рассвет?

1880

ИЗ ЦИКЛА «ВЕСНЯНКИ»

* * *

Гремит! Благодатная ближе погода,
Роскошною дрожью трепещет природа,
Живительных ливней земля ожидает,
И ветер, бушуя, над нею гуляет,
И с запада темная туча летит —
Гремит!

Гремит! И народы объемлет волненье:
Быть может, прекрасное близко мгновенье...
Мильоны взывают о счастье, и тучи —
Виденье грядущей эпохи могучей,
Которая мир, как весна, обновит...
Гремит!

15 мая 1881

* * *

Дай мне, земля, твоей силы глубинной,
Дай мне, моя всеродящая мать,
Чтобы в бою, с этой силой родимой,
Крепче стоять!

Дай теплоты — той, что грудь расширяет,
Что очищает и чувства и кровь,
Той, что безбрежную в сердце вселяет
К людям любовь!

Дай и огня,— чтоб словам накаляться,
Силу стихийную — души потрясть,
Дай мне, чтоб мог я за правду сражаться,
Вечную страсть!

Путы порвать, быть как птица в полете,
Ясною мыслью неправду разить!
Дай мне работать, работать, в работе —
Жизнь завершить!

1880

* * *

Не забудь, не забудь
Дней весны, юных дней,—
Жизни путь, темный путь
С ними ярче, ясней.

Снов златых и утех,
Светлых слез и любви,
Чистых замыслов тех
Не стыдись, не губи!

Ведь пройдут... Дальше труд
Одинокий, тоска,—
Огрубеют, замрут
И душа и рука.

Лишь кто знает любовь,
В ком волнуется кровь,

В ком надежда — навек,
Кто в бою не дрожит,
Вместе с братом скорбит
И на помощь спешит,—
Только *тот* — человек.

Если жизни пути
Человеком таким
Ты не можешь пройти —
Будь хоть чуточку им.

А в ненастные дни,
Непогожие дни,
Когда чувство замрет
И мечта отцветет,
И с широких дорог
Битв, любви и тревог
Ты сойдешь для иной
Тропки — узкой, крутой,
Кровь остудит беда
И померкнут огни,—
Добрым словом тогда
Жизни май вспомяни!

Вот тогда эти сны
Скрасят трудный твой путь...
Юных дней, дней весны,
Не забудь, не забудь!

5—10 июня 1882

* * *

Ой, поет в саду, щебечет соловей
Песню вольную весенних ясных дней,
Он щебечет, как и прежде щебетал,
Вёсны красные напевами встречал.

Да не так теперь, не то теперь у нас:
Все село гудит, бывало, в этот час,
А на улице — дивчата, словно рой,
А на вишне — соловейко молодой.

Ой, не то теперь, что было! Вечерком
Не пройдут дивчата с шуткой, с говорком,
Не выводят они песен на весь двор,
Молодому соловью наперекор.

Изнуренные, с полей они спешат,
Руки-ноги, как отбитые, болят,
Не до песен тут, видать, не до затей,—
Им, сердечным, отдохнуть бы поскорей!

Грустно даже соловейку щебетать,
Грустно, тяжко дни весенние встречать,
Славить радостными песнями простор,
Словно горю человечьему в укор.

Еще жаль ему соперниц, что гурьбой
Пели с ним по вечерам наперебой.
Что-то ждет их?.. Муж постылый, плач детей,
Брань свекрови да попреки от людей.

25 апреля 1881

* * *

Ох, истомило весны ожиданье!
Что же, голубка-весна, не идешь?
Вместо себя беднякам в наказанье
Голод и холод, нужду и страданье
В гости ты шлешь?

Май на дворе! Но не рады и маю:
Что же нерадостен, май, твой приход?
Поле и роща молчат, изнывая,
Только свинцовые тучи скрывают
Весь небосвод.

Стон раздается по хатам убогим,
Дети от хвори десятками мрут,
Сена — ни стебля. Валясь на дороге,
Гибнет скотина. По долам отлогим
Воды ревут.

«Сгинем! — все шепчут.— Беда, как ведется,
Скопом приходит. Чуму принесет,
Либо — не дай боже! — Польша вернется».
Вот как в крестьянских сердцах отдается
Мая приход.

6 мая 1883

* * *

Песни доли вешней,
Ночи вешней сны,
Что так безутешны,
Что вы так грустны?

Или вам не встретить
Зелени в лесах,
Или вам не светит
Солнце в небесах?

Иль для вас веселый
Не цветет цветок,
Что лишь горе в селах
Взор заметить мог?

Ах, дубравы живы,
Ясен солнца свет,
Лишь любви счастливой
В наших душах нет!

Птиц щебечут стаи,
Гомон, песни, крик...
Только пропадает
С голоду мужик.

Долы, горы, поле
Ярко так цветут,—
Только тьма с неволей
Кровь народа пьют.

Лучше бы для моды
Распевать порой
О красе природы,
Чем о доле злой.

Только не для моды
Запеваю я,
И тоской исходит
Песенка моя.

3 августа 1882

VIVERE MEMENTO![1]

Что в моей груди, весна,
Ты творишь так властно!
Или сердце ото сна
Будит зов твой ясный?
Тлел вчера, как Лазарь, я,
Взят бедой-могилой,—
Что ж за новая заря
Все мне осветила?
Голос вдаль меня зовет:
«Встань, покинь свой плен ты!
Пробудись, иди вперед!
Vivere memento!»

Теплый ветер, милый брат,
Ты ли молвил слово?
Иль дубы в горах шумят,
Полных света снова?
Или, травка, ты со мной
Вдруг заговорила,
Вновь, весеннею порой,
Выйдя из могилы?
Твой ли это, речка, звон,
Голубая лента,
Смывший грусть мою и сон?
Vivere memento!

Всюду слышу голоса —
Жизни зов могучий...
Вас люблю, весна, леса,
Горы, реки, тучи!

[1] Помни о жизни! *(лат.)*

Люди, люди! Брат я вам,
Жить для вас — нет краше,
Всю свою я кровь отдам
Смыть несчастья ваши.
А что кровь не сможет смыть —
Бросить в пламя это!
Лишь бороться — значит жить...
Vivere memento!

Тернополь, 14 октября 1883

ИЗ ЦИКЛА «СКОРБНЫЕ ПЕСНИ»

* * *

Порой бывает — сердце ноет
И скорбных мыслей рой летит,
Как будто туча небо кроет
И гром раскатами гремит.

И взглядом онемевшей злобы
Я все гляжу в небесный круг
И жду, что из земной утробы
Вот-вот огонь прорвется вдруг

И землю всю сожжет до края
С ее неправдой вековой,
И, скорлупу земли ломая,
Восстанет хаос грозовой...

И, словно золото в горниле,
Весь мир очистится кругом —
И чистой, в невечерней силе,
Свобода засияет в нем.

2 апреля 1880

* * *

В моря из слез — от горя, от заботы —
Пусть каплей и мое войдет страданье;
Когда возводят храм борьбы, работы —
И мой кирпич пусть ляжет в основанье!

Когда ж, мильонов купленный слезами,
Свободы день и радости настанет —
То кто-нибудь в большом и новом храме
Пусть добрым словом и меня помянет.

2 апреля 1880

* * *

Ой, рано я, рано я встану,
На небо далекое гляну,
А небо — хрусталь голубой,
А сердце — в кручине глухой.

Пусть небо с улыбкой бессменной
Глядит на тюремные стены,
Но стены набухли от слез,
Что их пропитали насквозь.

О небо, зачем надо мною
Улыбкой цветешь неземною,
В проклятую камеру, в тьму
Привет посылаешь к чему?

Тут слезы, а ты торжествуешь,
Ты вольности ветром волнуешь
Но давит стенами тюрьма,
Могила — тесна и нема.

И, заживо здесь погребенный,
Гляжу я, лучом озаренный,
На яркое солнце в окне,—
И кровь закипает во мне.

За что меня цепью сковали?
За что мою волю отняли?
И кто и за что осудил?
За то, что народ свой любил?

Желал я для скованных воли,
Желал обездоленным доли
И равного права для всех —
И это единый мой грех.

1877

* * *

О рай мой зеленый,
Цвети, обновленный,
На долы и склоны
Меня принимай!

Дыханьем покоя
Повей надо мною,
Святою рукою
Печаль унимай!

Как солнце сверкает!
Как взгляд отдыхает,
Когда пробегает
Над вольной страной!

Луга за полями,
Село меж садами,
И мир над домами,
В селенье покой.

Жизнь братьев счастливых,
Простых, хлопотливых,
На дедовских нивах
За общим трудом...

И в песне едины
Поля и долины:
Здесь нет господина,
Нет рабства кругом!

Вот край мой раскрылся!
Чтоб он воплотился,
Я б жить согласился,
Согнувшись в ярме.

Но это виденье,
В ребяческом рвенье,
Лишь воображенье
Рисует в тюрьме.

14 марта 1880

ИЗ ЦИКЛА «НОЧНЫЕ ДУМЫ»

* * *

Дремлет мир. И бледнолицый
Месяц задремал над ним,—
Знать, закрыты двери неба,
Спится на небе святым.

Потому все горе мира,
Убежав от тех, кто спит,
На моей душе бессонной
Тяжким бременем лежит.

22—23 сентября 1880

* * *

Не разлучай меня с горючей болью,
Не покидай меня, ты, дума-мука
О братском горе, о людском бездолье!

Рви сердце мне, о призрак бледнорукий!
Не дай заснуть в убийственном бесстрастье —
Не отпускай меня, змея-гадюка!

Еще туман моих очей не застит —
Не дай забыться хоть на миг единый
Мечтой о собственном, пусть малом счастье,

Пока вокруг рабы сгибают спины
И валятся, как травы под косою,
И с колыбели вплоть до домовины

Живут с бедою, точно брат с сестрою.
Покамест жизнь победной колесницей
Проносится, смеясь над нищетою,

Покамест золотая небылица
Для миллионов — топленная хата,
Покамест слезы бороздят нам лица,

Покамест тружеников казематы
Глотают, и отчаявшимся стадом
Мрут с голоду бездомные ребята,

Покамест небо оскорбляют смрадом
Гнездилища разврата и обмана,
Покамест идолы с бесстрастным взглядом

Тлетворным ядом отравляют раны
Народные, и на костях народных
Победу торжествуют тамерланы,—

Не отпускай меня, о ртах голодных
Глухая дума! Лютыми клещами
Сжимай мне сердце, коли лечь на отдых

Задумаю! И днями и ночами
Тверди над ухом: «Ты им брат! Люби их!
Трудись для них словами и руками

Без сладких грез, без дум себялюбивых!»

18 ноября 1883

* * *

Месяц мой юный!
Ночкою темною
Тихо плывешь ты
Тропкой укромною...
Нежно струится
Воздух, как море,—

Вот где омыться бы
Сердцу от горя!

Месяц мой юный,
Смутен ты обликом!
Грусть разливается
Вкруг тебя облаком.
С неба бесстрастного,
Вечно прекрасного
Тяжко глядеть тебе
В море бездонное —
Люда несчастного
Горе бессонное.

Месяц мой юный!
В мраке грядущего
Ты словно ищешь
Тайно цветущего
Зелья целебного,
Защиты от бед...
Найдешь ли волшебное
Зелье иль нет?..

16 июля 1883

ИЗ ЦИКЛА «ДУМЫ ПРОЛЕТАРИЯ»

ТОВАРИЩАМ ИЗ ТЮРЬМЫ

Рвутся старые наши оковы,
Что привыкли мы в жизни носить:
Расковаться и мысли готовы —
Будем жить, братья, будем мы жить!

Будем жить жизнью новой и полной,
Добрых чувств согреваясь огнем:
По бурливым и сумрачным волнам
Мы к счастливым краям поплывем.

Через волны несчастья и рабства,
Мимо бурь озлобленных речей
В край святой поплывем мы, где братство
И согласье живут меж людей.

К битвам новым лежит нам дорога —
Не за царство тиранов, царей,
Не за церковь, попов или бога,
Не за власть кровопийц-богачей.

Наша цель — это счастье людское,
Светлый разум без веры в богов,
Братство крепкое и мировое
И свободные труд и любовь!

Нужно твердо в бою нам держаться,
Не смущаясь, что пал первый ряд,
Хоть по трупам вперед продвигаться,
Ни на шаг не ступая назад.

Это бой наш последний! Тут в споре
Человек против зверя встает,
Тут свобода неволю поборет,
«Царство божье» на землю сойдет.

Но просить мы не станем у бога:
«Да приидет к нам царство твое!»
Там молитва плохая подмога,
Где лишь разум крепит бытие.

Даст не бог это царство нам сразу,
Не святые с небес принесут,
Утвердит его смелый наш разум,
Наша воля и общий наш труд.

1878

НА СУДЕ

Судите, судьи, вы меня
Не милостью фальшивою!
Не думайте, что кину я
Дорогу «нечестивую»,

Не думайте, что голову
Сейчас склоню в смиренье я,
Что вверюсь вашей доброте
Хоть на одно мгновенье я.

Судите безбоязненно,—
Ведь вы сильны, вы знаете!
Судите без стыда,— ведь стыд
Вы с цепи не спускаете;
Судите, как закон велит,
Еще добавьте тяжести;
Одной машины колесо —
Закон и вы: куда ж идти?

Но об одном прошу я вас,
Скажите ясно, смело вы:
В чем я и те, кто здесь со мной,
Виновны, что̀ мы сделали?
Скажите ясно: «Это всё
Изменники! Они хотят
Переменить, преобразить,
Разбить общественный уклад!»

Еще скажите, а зачем
Хотят разрушить этот строй?
Затем, что властвует богач
И гнется труженик немой;
Еще затем, что честный труд
Унижен вами, оскорблен,
Хоть весь общественный уклад
Содержит и питает он;

Затем, что тунеядцы пот
И кровь рабочую сосут;
Затем, что с кафедр, с алтарей
Не ясный свет — потемки льют;
Затем, что льют живую кровь
Для прихоти царей, господ;
Живут, как боги, палачи,
И хуже пса — бедняк живет.

Еще скажите, как ваш строй
Решили переделать мы?
Не силою оружия,
Огня, железа и войны,
А правдой, творческим трудом,
Наукой. Если же война
Кровавая поднимется —
Не наша будет в том вина.

Еще скажите, кто из вас
Посмеет отказать нам в том,
Что правду все мы говорим,
Что прямо, честно мы идем
За истиной... Скажите всё,
Мы всё сумеем вынести,
Во имя строя *этого* —
Вершите суд без милости!

30 апреля 1880

SEMPER IDEM![1]

Вопреки теченью
На рожон идти,
Крест свой от рожденья
До смерти нести!

С правдой — за свободу,
В битву против зла!
Сеять средь народа
Вольности слова!

С факелом науки
Бейтесь против тьмы,
Трудовые руки,
Светлые умы!

Нет еще такого
Острого железа,
Чтобы правду-волю
Мог тиран зарезать!

[1] Всегда тот же! *(лат.)*

Нет костра такого,
Чтобы сжечь навеки
Вместе с утлым телом
Дело человека!

3 апреля 1880

* * *

Всюду преследуют правду,
Всюду неправда одна,
Только в сердца ваши, братья,
Пусть не проникнет она!

Там для святой вашей правды
Мощный создайте оплот,
Там пусть огонь вашей мысли
Неугасимо растет!

Крепче преграды из стали,
Тверже гранитной стены —
Чистого сердца твердыня
Против грозящей волны.

Пусть от потомков к потомкам
Правда пребудет цела
В сердце, пока не утихнет
Буря коварства и зла.

Так же как дерево в стужу:
Сверху без листьев, мертво,
Но под замерзшей землею
Ширятся корни его,—

Так же, повсюду гонима,
Правда бессмертна вовек,
В души людей устремляя
Новый и новый побег.

И, как струя ключевая
Рвется в проломы скалы —
Так же прорвет все преграды
Правда живая земли!

6 апреля 1880

ПОКОЙ

Что ж, покой — святое дело,
Если мирно день идет;
Кто же в час войны и боя
Стал глашатаем покоя —
Трус или предатель тот.

Если мирные народы
Трудятся, чтоб у природы
Вырвать тайну не одну,
Ту, что свет во тьму вливает,—
Горе тем, кто начинает
Самовольную войну.

Но когда порой рабочей
Вор забраться к нам захочет,
В доме шарить, в кладовой,
Нас имущества лишая,
Цепи нам приготовляя,—
Разве свят тогда покой?

Если, нашу скромность видя,
Дух наш, род наш ненавидя,
Он нас топчет нипочем —
Горе, горе миротворцам,
Тем, кто к топору не рвется,
Не ответствует мечом!

15 июля 1883

* * *

Не долго жил на свете я,
Но испытал уже немало.
Мне жизнь не много принесла,
Но сердце — многое узнало.

Мне жизнь дала — узнать добро,
Увидеть чистый свет науки,
Стремленье к правде и труду
И твердые, простые руки,

И радость и печаль любви,
И дружбу, и мечту о воле.
Сказала: «Сей, хоть не твоей
Рукою будет сжато поле!»

И многих мне дала врагов,
Они над слабым поглумились;
Дала сторонников таких,
Что от меня лишь сторонились.

Но я ценю всего сильней
Ту меру мук моих и боли,
Какую в жизни принял я
За правду, за добро, за волю.

1 апреля 1880

* * *

Вы плакали фальшивыми слезами
Над горестной судьбой моей, жалели
Меня, печально разводя руками,
Но помощи — увы! — не видел я на деле.

«Жаль малого! Сойдя с пути прямого,
Пропал! Но мы предвидели всё это!
Пустыми бреднями увлекся бестолково,
И вот конец пришел фантазиям поэта!»

Иные ж благодетели, надменно
Плечами пожимая, возглашали:
«Смотрите, до чего доводят неизменно
Нелепые мечты об идеале!»

Решили так и удалились, строги,
Тот — на обед, тот — к карточным партнерам,
А тот — судить томящихся в остроге,
А я остался гибнуть под забором.

31 мая 1880

ИЗ ЦИКЛА «EXCELSIOR!»[1]

БАТРАК

Склоненный над сохой, тоскливо напевая,
Встает он предо мной:
Заботы, и труды, и мука вековая
Избороздили лоб крутой.
Душой младенец он, хоть голову склонил,
Как немощный старик,—
Ведь с детства трудится и не жалеет сил,
К невзгодам он привык.
Где плуг его пройдет, где лемехами взроет
Земли могучий пласт,
Там рожь волнистая поля стеной покроет,
Земля свой клад отдаст.
Так отчего на нем рубаха из холстины,
Заплатанный армяк?
Зачем, как нищий, он прикрыл отрепьем
спину?
Работник он, батрак.
С рожденья он — батрак, хоть вольным
прокричали
Властители его;
В нужде безвыходной, в смиренье и печали
Сам гнется под ярмо.
Чтоб как-нибудь прожить,— он жизнь, и труд,
и волю
За корку хлеба продает,
Но горький этот хлеб его не кормит вволю
И новых сил ему не придает.
Тоскует молча он и с песней невеселой
Землицу пашет — не себе,
А песня — кровный брат, снимая гнет тяжелый,
Не хочет уступить судьбе.
А песня — как роса, живящая растенья,
Когда сжигает зной;
А песня — как раскат, как гул землетрясенья,
Растущий под землей.

[1] Все выше! *(лат.)*

Но все ж, пока гроза не грянет, полыхая,
Томится он, не смея глаз поднять,
И землю пестует, как мать свою лаская,
Как сын — родную мать.
И что ему с того, что над чужою нивой
Он пот кровавый льет,
И что ему с того, что, страдник терпеливый,
Он власть хозяевам дает?
Ведь лишь бы те поля, где приложил он руку,
Вновь дали урожай,
Ведь лишь бы труд его, ему несущий муку,
Другим дал — светлый рай.

*

Батрак тот — наш народ, чей пот бежит потоком
Над пашнею чужою.
Душою молод он, в стремлении высоком,
Хоть обойден судьбою.
Он счастья своего ждет долгие столетья,
И все напрасно ждет;
Татарский плен изжил, Руину, лихолетье
И панщины жестокий гнет.
И все-таки в душе, изнывшей от невзгоды,
Надежда теплится, горда,—
Вот так из-под скалы, из-под крутого свода
Бьет чистая вода.
Лишь в сказке золотой, как будто сон прекрасный,
Он видит счастье лучших дней,
И, тяжкий груз влача, он, хмурый и бесстрастный,
Живет мечтой своей.
В глухие времена одна его спасала —
К родной земле любовь;
Толпа его детей в страданьях погибала —
Он возрождался вновь.
Любовью этой тверд, он — как титан былого,
Непобедимый сын земли,
Который, падая, вставал опять и снова,
И снова шел в бои.
И что с того — кому, под песню вековую,
Он глубь взрыхляет нив;
И что с того, что сам нужду он терпит злую,
Господ обогатив.

*

Паши и пой, титан, опутанный в оковы
И нищеты и тьмы!
Исчезнет черный мрак, и бремя гнета злого
Навеки уничтожим мы!
Недаром в оны дни, униженный врагами,
Ты силу духа воспевал,
Недаром ты легенд волшебными устами
Его победу прославлял.
Он победит, сметет преграды роковые,—
И над землей один
Ты плуг свой поведешь в поля, тебе родные,
В своем жилище — властелин!

10 октября 1876

БЕРКУТ

I

Из тайного гнезда на каменистой круче,
Взмахнувши крыльями, рванулся он за тучи,—
Так в гневе наша мысль из глубины взовьется
И, облетев миры, о небо обопрется
И, крылья тяжкие и грозные расширя,
Зовет: «Где вечный бог? Где правда в этом мире?
Я тысячи планет крылами обвивала,
Проникла в атомы, а правды не видала».

II

Он в дымной высоте простерся, недвижимый,
Как образ гибели, ничем не отразимой,
Над жизнью реющий... Он кроется за мглою.
Взгляни: вот кровь пролить летит он над землею.
Взгляни, и страх тебя охватит леденящий:
Вот беркут, над тобой невидимо парящий!
Не промахнется он, когда твой час наступит!
И много ль дней тебе убийца твой уступит?

III

Он двинулся. Плывет в заоблачной отчизне,—
Вот так челнок Судьбы ткет нити нашей жизни.
Спокойно кружится, снижаясь, поднимаясь,
За тучи уходя, в лазури расплываясь.
Лишь крик его звучит, зловещий и голодный!
Так в тишине не раз прорвется плач народный
И ужасом вельмож охватит и смятеньем,
Как гром, подземный гром перед землетрясеньем.

IV

Ты ненавистен мне, парящий надо мною,
За то, что ты в груди скрываешь сердце злое,
За то, что хищен ты, за то, что с высоты
На тех, чью кровь ты пьешь, глядишь с
презреньем ты,
За то, что слабая тебя боится тварь,—
Ты ненавистен мне за то, что здесь ты — царь!
И вот курок взведен, мое ружье сверкает
И пулю грозную под облака бросает.
И на землю не смерть примчишь стрелой падучей,
А собственную смерть ты обретешь за тучей.
И не как божий суд, а словно труп бездушный,
Ты упадешь, суду руки моей послушный.
И не последний ты! Ведь нас, стрелков,— сто сот:
И кто тебе сродни, кто моет кровью рот,
Кто сеет страх и смерть, слабейших братьев
губит,—
От пули не уйдет, когда пора наступит.
А труп мы отпихнем, не говоря ни слова,
И далее пойдем, спокойно и сурово.

22—24 октября 1883

КАМНЕЛОМЫ

Я видел странный сон. Как будто предо мною
Простерлись широко пустынные края,
А я, прикованный железной цепью злою,
Стою под черною гранитною скалою,
А дальше — тысячи таких же, как и я.

Невзгоды каждому чело избороздили,
Но взгляд у каждого горит любви огнем,
А цепи руки нам, как змеи, всем обвили
И плечи каждого из нас к земле склонили,
Ведь все мы на плечах тяжелый груз несем.

У каждого в руках железный тяжкий молот,
И, как могучий гром, с высот к нам клич идет:
«Ломайте все скалу! Пусть ни жара, ни холод
Не остановят вас! Пусть жажда, труд и голод
Обрушатся на вас, но пусть скала падет!»

Мы встали как один, и, что б нам ни грозило,
В скалу врубались мы и пробивали путь.
Летели с воем вниз куски горы сносимой;
Отчаянье в те дни нам придавало силы,
Стучали молоты о каменную грудь.

Как водопада рев, как гул войны кровавой,
Так наши молоты гремели много раз,
И с каждым шагом мы врубались глубже в
скалы
И хоть друзей в пути теряли мы немало,
Но удержать никто уже не смог бы нас!

И каждый знал из нас, что славы нам не будет,
Ни памяти людской за этот страшный труд,
Что лишь тогда пройдут дорогой этой люди,
Когда пробьем ее и выровняем всюду
И кости наши здесь среди камней сгниют.

Но славы этой мы совсем и не желали,
Себя героями никак не назовем.
Нет, добровольно мы свои оковы взяли,
Рабами воли мы, невольниками стали,
Мы камнеломы все — и к правде путь пробьем.

И все мы верили, что нашими руками
Скалу повергнем в прах и разобьем гранит,
Что кровью нашею и нашими костями
Отныне твердый путь проложим, и за нами
Придет иная жизнь, иной день прогремит.

И знали твердо мы, что где-то там на свете,
Который нами был покинут ради мук,
О нас грустят отцы, и матери, и дети,
Что всюду лишь хулу порыв и труд наш встретил,
Что недруг нас клянет и ненавидит друг.

Мы знали это всё. Не раз душа болела.
И горя злой огонь нам сердце обжигал;
Но ни печаль, ни боль израненного тела
И ни проклятья нас не отвлекли от дела —
И молота никто из рук не выпускал.

И так мы все идем, единой волей слиты,
И молоты несем, пристывшие к рукам.
Так пусть мы прокляты и светом позабыты!
Но к правде путь пробьем, скала падет, разбита,
И счастье всех придет по нашим лишь костям.

1878

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛИ И МАСКИ»

ИЗ ЦИКЛА «ПОЭТ»

ПЕСНЯ И ТРУД

Песня, подруга моя ты, больному
Сердцу отрада в дни горя и слез,
Словно наследство из отчего дому,
К песне любовь я навеки принес.

Помню: над малым парнишкой порою
Мать запоет, и заслушаюсь я;
Только и были те песни красою
Бедного детства, глухого житья.

«Мама, голубка,— я мать умоляю,—
Спой про Ганнусю, Шумильца, Венки!»
«Полно, сыночек! Пока распеваю,
Ждет, не минует работа руки».

Мама, голубка! В могилу до срока
Труд и болезни тебя унесли,
Песни ж твои своей правдой высокой
Жаркий огонь в моем сердце зажгли.

И не однажды та песня, бывало,
В бурях житейских невзгод и тревог
Тихий привет, будто мать, посылала,
Силу давала для тяжких дорог.

«Стойким будь, крепким будь,— ты мне твердила,—
Ты ведь не паном родился, малыш!
Труд, отбирающий все мои силы,
Выведет в люди тебя, поглядишь».

Верно, родная! Совет твой запомнил!
Правду его я не раз испытал.
Труд меня жаждою жизни наполнил,
Цель указал, чтоб в мечтах не блуждал.

Труд меня ввел в тайники вековые,
В глуби, где песен таится родник,
С ним чудеса прояснились земные,
С ним я в загадку всех бедствий проник.

Песня и труд — две великие силы!
Им до конца обещаю служить:
Череп разбитый — как лягу в могилу,
Ими ж смогу и для правнуков жить!

14 июля 1883

ПЕВЦУ

Будь ты, певец, как святая пшеница,
Песня твоя — золотое зерно!
Лишь в оболочке созреет оно,
Колос к земле начинает клониться.

Знают и колос и стебель высокий,
Что они в поле росли для зерна,
Что для того лишь их сила нужна,
Чтобы зерну передать свои соки.

Знают и колос и стебель высокий —
Только зерно зажелтеет, как мед,
Серп их подрежет и с поля сметет:
В зернах причина их смерти жестокой.

Все же, качая в глубоком поклоне
Сочное зернышко, знают они,
Что принесли на грядущие дни
Новую, лучшую жизнь в своем лоне...

Так свои думы, и сердце, и нервы
Песне, певец, не щадя, передай,
Жизнь свою, счастье и горе отдай,
Будь ты ей стеблем и колосом верным!

4 июня 1888

РОДНОЕ СЕЛО

Я вижу вновь тебя, село мое родное,
Где жить я начинал, где детство золотое
Текло, как ручеек, что робко отжурчал
По мелким камушкам, лугами и лесами.
И я утех немало тут узнал,
Утех и радостей, разбавленных слезами.
Тогда еще я мир всем сердцем принимал,
Не знал, что́ дальше там, за хатами, полями,
За лесом, что шумит так смутно. И не раз
У речки спрашивал, куда бежит от нас.
И за струями сам я мыслями стремился
В неведомую даль чуть видимых дубрав.
Дуб-исполин стоял, задумчив, величав,
В чужом саду, и я не раз ему дивился:
Как вырос он такой — широкий да разлогий?
И каждый из людей родным и милым мнился,
И знал я все тропы, знал все вокруг дороги!

Лишь изредка душа летела в свет иной —
В широкий, вольный свет.
А часто ли бывал я
В ту пору счастлив? Детскою душой
Ударов первых зла еще ли не узнал я?
Метели злые не срывали
Тех первых золотых надежд, не замстали
Весенних тех цветов? Порывов молодых
Докучные укоры не душили,
И смех бездушный не топтал ли их?
И первых лучших слез глаза мои не лили
Под тяжким бременем уже не детских мук?
И душу мне тоска порою не щемила?
Не тут, в селе, душа впервые ощутила
Прикосновенье нечистых, грубых рук?
Не тут ли начала мне сердце жечь отрава,
Отрава, что с тех пор в крови моей горит?
И я узнал, что жизнь — труд тяжкий, не забава,
Борьбу за жизнь узнал?
Так отчего болит
Душа моя, когда злым вихрем занесло
Меня опять сюда, в родимое село,
Спустя так много лет? Стоишь ты, как стояло,
В сторонке от дорог — дитя, что убежало
В зеленые поля, укрылось с головою.
А лес вокруг гудит,— печальный шум ветвей,
Напев, носившийся над люлькою моей,—
Как будто опахнул тебя своей полою.
И речка плещется внизу, под крутизною,
И вербы наклонились над водой,
И дуб, дуб-великан шумит своей листвой,
Как некогда шумел...
Что ж болью вдруг такою
Заныла грудь моя, родимое село?
Жаль стало утлого покоя жизни скудной,
Той жизни, что плыла, куда несло,
По руслу тихому,— привычной, хоть и трудной?
Жаль счастья слизняка, что век под скорлупою
Хоронится в неведенье слепом?
Или мне стало жаль, что в свет пошел пешком
Я в дождь, в грозу, сквозь град, искать ключей
с живою

Водою знания?
О нет, совсем
Мне не того сегодня жаль, не тем
Занемогла душа под кровлею родною,—
А тем, что вижу, как забота тут с бедою
Живут, как горе тут все головы склоняет,
Как под пятой его вся радость замирает,
Немеет дружба, никнет головою
Любовь, чье семя тут на сердце мне упало.
Вот потому-то мне так горько-горько стало.
Прощай, село мое! Что здесь меня держало —
Прошло; что держит здесь опять —
Так тяжело, что легче бы поднять
Мне гору. Ухожу — и плачу над тобою.

Нагуевичи, 14 июня 1880

ИЗ ЦИКЛА «УКРАИНА»

МОЯ ЛЮБОВЬ

Так хороша она и так
Сияет чистой красотою,
И так слились в ее чертах
Покой с любовной добротою.

Так хороша, но так грустна,
Так много ведала кручины,
Что тихой жалобой полна
Любая песня Украины.

Как смог бы я, ее узнав,
Не полюбить ее сердечно,
От праздных не уйти забав,
Дабы служить любимой вечно?

А полюбивши, мог ли я
Прекрасный, чистый образ милый
Стереть в душе, боль бытия
Не вытерпеть вплоть до могилы?

И разве ты, моя любовь,
Враждебна той любви высокой
Ко всем, кто льет свой пот и кровь,
В оковах мучимый жестоко?

Нет, кто не любит всех равно,
Как солнце — горы и долины,—
Тому любить не суждено
Тебя, родная Украина!

23 июня 1880

ИЗ РАЗДЕЛА «СОНЕТЫ»

ИЗ ЦИКЛА «СВОБОДНЫЕ СОНЕТЫ»

* * *

Сонеты — как рабы. В них мысль зажата
Тисками строк и трепетом объята:
Так новобранца меряют — солдата,
Так новобранцу форма тесновата.

Сонеты — господа. В угоду моде,
Мысль предадут, чтоб следовать погоде.
Они цветов великолепных вроде,
Которые бесплодны по природе.

Рабы и господа! Всегда встречают
Друг друга крайности. Несмелы речи —
Ведь сил своих рабы еще не знают.

«В строй, становись!» Сомкнув с плечами плечи,
Предстанут, волею одной согреты,—
Живые и могучие сонеты...

1880

КОТЛЯРЕВСКИЙ

Оглядывая снежные вершины,
Сидел могучий молодой орел,
Потом взлетел, сметая снег со льдины,
И в синеву прозрачную ушел.

А груда снега, что крылом он смёл,
По склону каменистому в долины
Стремительно катилась — миг прошел.
И дрогнул мир от грохота лавины!

Так Котляревский начал петь, всех нас
К украинскому слову призывая,
Казалась шуткой песня та не раз,

Но сила жизни в ней была большая,
И огонек зажженный не угас,
А разгорелся, всех нас согревая.

1873

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Взгляни на ключ, что из камней гробницы
Бежит по степи чистою слезой,
В нем солнце блещет днем и бирюзой
Сияет ночью месяц яснолицый.

Из недр земли бежит-поет водица,
Струится бесконечною стезей,
Детей весны живит своей красой
И щедростью, не знающей границы.

Родник с его волшебною струей —
Народная душа, что и в печали
Пробьется к людям песнею живой.

Как этот ключ, таящийся вначале,
Из недр глубоких возникает песня,
Чтоб чистым пламенем сердца пылали.

1873

* * *

Страшитесь вы той огненной стихии,
Когда из всех сердец, как божий гром,
Вдруг грянет правда и слова живые
Оковы мира сокрушат огнем?

Боитесь вы, что, кровью налитые,
Затопят волны ваш священный дом,
Что уничтожат вихри огневые
Движенья мысли в бешенстве слепом?

Не бойтесь! Не грозит пучина крови
Ни истине, ни правде, ни добру,—
Они вздохнут вольней, родившись вновь.

Не бойтесь! Только ветхую кору
Разрушит буря, чтобы жизнь живая
Мужала и росла, преград не зная.

1880

* * *

Кусок железа с неизменной силой
Другой кусок железа привлекает,
Но эту силу не покой бескрылый,
Лишь неустанный опыт укрепляет,

А если ржавчиной его покрыло,
В бездействии всю мощь оно теряет,—
Так сердце, ржавчиной тоски унылой
Покрытое, само себя съедает.

Лишь труд стирает ржавчину густую,
Живую жизнь вдыхает в грудь пустую,
Родник иссохший может возродить.

Лишь труд упорный силы укрепляет,
Лишь труд вселенную перерождает,
В труде лишь, для труда лишь стоит жить!

1880

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА

Кто смел сказать, что не богиня ты?
Где тот безбожник, что без сладкой дрожи
Глядит в твое лицо, не потревожа,
Не тронув сердца блеском красоты?

Да, ты богиня! С райской розой схожа,
О, погляди с чудесной высоты!
Вот я, что к небу не взносил мечты
О боге — пред тобой склоняюсь тоже.

В богах и духах можно сомневаться,
И сказкой могут рай и ад казаться,
Твоя ж краса — не в сказке, не во сне!

Настанет час, когда весь свет покинет
Богов и духов, лишь тебя, богиня,
Чтить будет вечно — здесь, на полотне.

1881

* * *

Довольно! Долго мы слова слагали
В блестящий строй, струящийся рекою,
И, как червя красивой чешуею,
Боль жгучую и слезы укрывали!

Суровый врач идет! И не пора ли
Гнилые струпья твердою рукою
Вскрыть, не стыдясь и не кривя душою,
Чтоб чистыми, здоровыми мы стали.

Пора сказать: людская возмужала
Порода, от игрушек отреклась,
Свое призванье славное познала;

Метель неистовая унялась,
Пора метаний юности пропала,
Пора трудов разумных началась.

11 апреля 1880

ИЗ ЦИКЛА «ТЮРЕМНЫЕ СОНЕТЫ»

* * *

Се дом печали, плача, воздыханья,
Гнездо болезни, горести и муки!
Сюда вошедший, стисни зубы, руки,
Останови и мысли и желанья!

Бурьян здесь вырывают, как ведется,
Но в то же время новый засевают;
Параграфами правду отмеряют,
Но выше меры здесь неправда льется.

Основы стерегут здесь, но готовы
Презреть и мысль и чувство — все основы.
Здесь вспоминаешь строки итальянца;

Вам, что, попавши в западню, хотели
Найти в ней некий смысл и даже цели,
Дант говорит: «Lasciate ogni speranza» [1].

10 сентября 1889

* * *

Впрямь, как скотину, всех тут описали:
Обличье, возраст, имя — и так дале,
Глаза и волосы,— ну право слово,—
Теперь хоть в Вену на базар готовы!

Нас, как бандиты, обыскали снова,
Во все карманы нагло залезали,
Ножи, табак и деньги — всё забрали,
Хоть к Магомету в рай веди любого!

Обчистили до нитки при аресте!
Эх, глупые! Ведь все-то наше с нами,—
Его не взять вам грязными руками!

---

[1] «Оставьте всякую надежду» *(итал.)*.

И развели нас по апартаментам
Казенным. Тут не место комплиментам:
Салон, альков, отхожее — всё вместе.

16 сентября 1889

* * *

Давным-давно, в одном почтенном доме,
В дни юности, в дни светлого расцвета,
Читали мы «Что делать?» — и беседы
Шли о грядущих днях, о переломе.

Хозяйки дома всякий раз упрямо
Мои уничтожали дифирамбы:
«Фи, общий труд! Тогда пришлось и вам бы
Клоаки чистить, выгребные ямы!»

Не знали дамы, что вопрос подобный,
Сложнейший,— Австрия уже решила.
Тюремная параша! Что за сила!

Горшок и мебель вместе! Как удобно:
Берешь ее, выносишь,— ну и просто
Выхлестывай на пашню, для компоста!

17 сентября 1889

* * *

Встаем с рассветом, лица умываем,
Спешим одеться, койки застелить
И камеру с песочком подметаем,—
Да и давай ходить, ходить, ходить...

Шести шагов достаточно, чтоб жить...
Чтоб не кружился свет, мы средство знаем:
Два ходят — третьему умерить прыть;
Встал третий — тотчас место уступаем.

Однажды в Бориславе так: землею
Рабочих двух засыпало; над ними
Крепленья встали кровлею косою.

Вода слезилась, трубка чуть дымила...
И жили: капелькой одной да дымом...
Тюрьма и нас тому же научила.

18 сентября 1889

* * *

Замолкла песня. Не взмахнет крылами
Рожденная на вольной воле птица
В ловушке хмурой, за семью замками,
Где человек растоптанный томится.

И петь об этом даже не годится,—
Как шарит стражник медными руками
В моих карманах, сапогах, в тряпицах,
Как занят он и складками и швами.

Бумагу, спички, карандаш, табак
Внимательная власть найти желает
И в душу лезет — вот и не поется.

Так соловей свое гнездо бросает,
Своих птенцов он оставляет так,
Чуть только человек к ним прикоснется.

16 сентября 1889

* * *

Россия, край печали и терпенья,
В какие времена живешь ты ныне?
В испуге, в себялюбия пустыне
Все старшие укрылись поколенья,

Все сильное дрожит,— страшна расплата...
А в это время на борьбу за волю
Неоперившиеся голубята
Летят, костьми ложатся в снежном поле.

Россия, вся ты в крайностях жестоких!
Спит Святогор в пещере среди твари,
Казачья воля спит в степях широких,

А девушка-голубка на бульваре
Платочком, а не рыцарской трубою
Дает сигнал к пролитью крови, к бою.

13 сентября 1889

* * *

Прошло то время? Ложь! Забыт ли час,
Как гибли Пестель, Каракозов, Соня?
Как Достоевский мучился, Тарас?
Или кандального не слышно звона?

Иль розги не свистят уже у вас?
Иль селами крестьян в тюрьму не гонят?
Иль пушки медных жерл своих не клонят
Над городом и голод их угас?

Мягки вы сердцем, ибо вы трусливы!
А зверь презренья к людям, и наживы,
И тьмы растет и властвует над вами!

Мы, жертвы, мы зовем вас из могилы:
Держитесь стойко! Закаляйте силы!
Гоните зверя, рвите хоть зубами!

22 сентября 1889

* * *

Меж стран Европы мертвое болото,
Подернутое плесенью густою!
Рассадник тупоумья и застоя,
О Австрия! Ты — страшный символ гнета,

Где станешь ты ногой — там стон народа,
Там с подданных сдирают третью шкуру.
Ты давишь всех, крича: «Несу свободу!»
И грабишь с воплем: «Двигаю культуру!»

Ты не сечешь, не бьешь, не шлешь в Сибирь,
Но соки сердца пьешь ты, как упырь,
Болотным смрадом души отравляя.

Лишь мразь и гниль несут твои порядки,
Живьем здесь погибает мысль живая
Или бежит отсюда — без оглядки!

4 октября 1889

* * *

Тюрьма народов, обручем из стали
Сковала ты живые их суставы
И держишь — не для выгоды и славы,
А чтоб клевреты жиром заплывали.

Вот так коней привязывают в поле:
Нога к ноге, а две ноги свободны,
Но убежать старанья их бесплодны,—
И ржут, грызутся братья по неволе.

Вот так и ты опутала народы,
Им внешний признак подарив свободы,
Чтоб перессорились они вернее.

Хотя из твоего и рвутся круга,
Но лишь напрасно дергают друг друга:
Ты от возни такой — еще сильнее...

4 октября 1889

ЭПИЛОГ

(Посвящается украинским сонетистам)

Украинские милые поэты,
Нет образцов пред вами неужели,
Что возводить, друзья, вы захотели
Четырнадцать случайных строк в сонеты?

Ямб — словно медь, катренов параллели
И рядом с ними парные терцеты,—
Их спаянные рифмами куплеты
Приводят нас к сонету, то есть к цели.

Пусть содержанье с формой будет схоже:
Конфликты чувств, природы блеск погожий
В восьмерке первых строк пускай сверкают.

Страсть, буря, бой, как тучи, налетают,
Блеск затемняя и грозя оковам,
Чтобы в конце пленять согласьем новым.

Преров, 6 мая 1893

ИЗ РАЗДЕЛА «ГАЛИЦКИЕ КАРТИНКИ»

В ШИНКЕ

Сидел в шинке и пил хмельную,
А возле сердца что-то жгло.
И вспомнил он жену больную,
Детей и счастье, что ушло...
Да, был хозяином и он,
Его любили все соседи,
Ему — и ласка, и поклон,
И слово доброе в беседе.
Но дальше... дальше ни к чему
И вспоминать!.. Беда настала!
Зачем не промолчать ему,
Когда вся община молчала?
Когда село обидел пан,
Зачем вступился он ретиво
И встал за правду, за селян,
Хоть не своя пропала нива?
Как он ни бился, ни старался,
Да только — наша не взяла:
И правды панской не дождался,
И разорился сам дотла.
Скотину, хату, поле, сад —
Все отсудили, все забрали...
И в белый свет, в кромешный ад
Со всей семьей его погнали.
Родные дети внаймах мрут,
Горячка бьет жену больную,
А где отец?.. Известно, тут —
Сидит в шинке и пьет хмельную.

1881

МИХАЙЛО

Добрый был мужик Михайло,
Тихий человек:
По-соседски, мирно, ладно
Жил да жил свой век.

Самого пусть горе гложет,—
Других веселил.
«Заживем еще, быть может!» —
Часто говорил.

Да пришла пора крутая,
Где уж там зажить:
Гнись, трудись, не отдыхая,
Чтоб долги платить.

И Михайло хоть смеялся,
Смех-то был не тот:
С арендатором встречался —
Так бросало в пот.

От беды не схоронился:
Тяжкий срок настал,
С молотка пошла землица,
Пить хозяин стал.

Что ни день, с тоскою злою
К шинкарю он шел,
Пел, смеялся сам с собою,
Не понять — что плел.

Шинкарю земли остаток
Вскоре пропил он,
И жену с детьми из хаты
Вытолкали вон.

В голос плакала, рыдала,
Идя с узелком,
Горько мужа проклинала,
Стоя пред шинком.

А Михайло, головою
Свесившись на стол,
Пел, смеялся сам с собою,
Не понять — что плел.

Камнеломы

Допил чарку, встал и вышел,
Больше не ходил:
Шинкарем чуть свет под крышей
В петле найден был.

1881

ГАЛАГАН

«Мамочка! — зовет Иван,
Мальчик с виду лет шести.—
Погляди-ка, погляди:
Вот монетка, галаган!»

«Где ж ты взял его, родной?
Отчего ты так дрожишь?
Боже, да ведь ты босой,
По снегу босой бежишь!»

«Это мне паночек дал...
Я с ним шел вперегонки:
Я босой за ним бежал,
Он — обутый в сапожки.

«Догони, монетку дам!» —
Мне сказал — и наутек.
Я... догнал его... ма... мам...»
«Что с тобою, мой сынок?»

Весь дрожмя дрожит Иван,
Зубы стиснул, посинел,—
Выронил свой галаган,
Повалился и сомлел.

Миновала неделя —
Горько мать зарыдала:
Косы в травах пропели,
И травинка — завяла!

Тихо спит в гробу Иван,
Не мечтая ни о чем,—
А в ручонке галаган,
Подарённый паничом.

1881

1

Змея эта всюду, зеленая, жадная,
Вдоль тощих посевов снует,
То — Terminus[1] наш, то — межа беспощадная,
То — знак, где «мое» и «твое».
Вон с краю — четыре полоски Трофимовы,
А здесь вот — Михайловы три:
Живи на своем и плати за «родимую»,
Чужого ж — вершка не бери!
Кто помнит о том, что с Михайлом Трофим
На этих полосках кроваво бедуют,
Хоть рук от работы бедняги не чуют,—
С весны голодать уж приходится им?
Кто помнит о том, что скотина у них
С «чего-то» не держится, чахнет, тощает,
Земля же с годами все меньше рожает,
Хоть бьются над нею не меньше других?
Кто помнит о том, что иною порой
У них уже руки в тоске опускаются?
«Ох, мало землицы! С такой теснотой
И в двери и в окна долги пробираются.
Погибель приходит... Как рыба в сети —
Так бьемся в нужде и в неволе!»

Ну, что им сказать? Где таятся пути
К иной — человеческой доле?
А станешь средь поля вот так у межи:
Ведь вместе у них семь полосок — имение!
Надел не из худших — живи не тужи,—
Прокормит, пожалуй, душ восемь, не менее...
А душ у них шесть! Так какая ж причина
Мешает им полем сложиться вдвоем,
Сложиться домами, орудьем, тяглом?
Ведь, может быть, в этом и выход единый!
Да вот ведь — межа! Посреди залегла,
Их слабую силу расторгла на части,

[1] Граница, межевой знак *(лат.)*

И где бы их вместе беда не взяла,
Там их в одиночку задавят напасти.

2

Мальчонкой, когда-то, все межи я знал:
В полях каждодневно я с мамкой бывал —
Для дойной коровы за свежей травой
Она вечерами ходила со мной.
И помню — на каждой меже без труда
Мы по два мешка нажинали тогда.
Свободно ступал я босыми ногами,
Широкие межи стелились пред нами!
А ныне посмотришь: и нивы всё те ж,
Но нет стародавних, просторных тех меж.
Едва их приметишь: как тонкая нить,—
Чужой бы, наверно, не смог различить.
Тот здесь их подрезал, тот там обкорнал,—
Рад каждый, что лишнюю долю достал.

Зачем же любой над землею дрожит?
Какая причина, что тягостно жить?
Иль слишком плодится бессмысленный люд?
Иль, может, потребности наши растут?
Нет, нужды всё те же у бедных людей,
Народу ж не больше, а меньше скорей,—
Его обступили и грабят чужие,
Как жадные трутни, слетелись к поживе.

Иной неразумный толкует у нас:
«Война бы ударила, что ли, сейчас,
Всех лишних побила, и стало б опять
На свете вольнее и жить и дышать».
Вольнее! Но, кроме несчастий и мук,
Мы лучших для дела лишились бы рук,
А горе в народе как было — так было б,
Лишь к старому новое зло привалило б!
Не может, притиснутый к межам, народ
Постигнуть начало всех бед и невзгод,
Увидеть, откуда растет это горе,
Что все его силы повысосет вскоре.

Ой, межи, вы, межи, ой, цепи земли,
В какую трясину народ завели!
Уперся во тьму он глазами, голодный!
Кто ж путь нам укажет прямой и свободный?

3

Ко мне за советом пришел человек:
«Что делать, как быть, научите!
На этом вот поле мой дед прожил век,
Хоть жить тут, по правде, и нечем,— взгляните:
Полоска! Но прежде, наверно, не так
Теснилися люди, как ныне;
Ни сладко, ни горько, тишком, кое-как
Прожить довелось старичине.
Дед вырастил двух сыновей, поженил,
Но жили все хатой одною.
Говаривал он: «Я бы вас разделил,
Да поле у нас небольшое.
Теперь оно худо, но может кормить,
А что будем делать раздельно с клочками?
Нет, я на беду вас не стану делить!
Не смею с сумою по свету пустить.
Умру — вот тогда и делитесь уж сами».
Случилось же так, что от тифа весной
И дед и сыны отошли на покой,
Осталося четверо нас, малолетних.
Мне три миновало, и был я — старшой,
А дядькину хлопцу шел только второй,
Сестренки ж грудные совсем. У бездетных
Богатых соседей пристроили нас,
Мальчишек, чтоб с голоду мы не пропали.
Они, мол, за все, что получат от вас,
Отслужат, как вырастут,— вдовы сказали.
И мы испытали, что значит беда!
Скончались и матери. Мне уж тогда
Исполнилось двадцать, меня «рассчитали»,
Домой я вернулся, жену подыскал
И, поле забрав, что старик завещал,
Стал строиться рьяно вначале.
Решил: все долги заплачу поскорей,
И поле, по дедовой воле,

Останется цело, и я на том поле
Сумею подняться без «добрых людей».
Сестренкам приданое справлю, а брат
Поженится с доброй вдовою...
А землю делить — что рубаху порвать:
Уж лучше кому-нибудь целую дать,
В одну ведь не втиснутся двое.
Нет, землю один только должен забрать!
Я брату нередко, бывало,
Вот так говорил. Но любезный мой брат,
Как враг, не смущаясь нимало,
Прошение вдруг на меня написал,
Чтоб дом, и орудья, и поле
Судом разделили на равные доли,
Как если б один из дядьев умирал.
Узнал я, и горько мне сделалось. Шлю
Соседей к нему: согласись на уплату;
И сам за ним следом хожу и молю:
«Ну, ладно, поделим мы поле и хату,
Но как на клочках нам с тобою прожить?
Не зря ведь и дед зарекался делить,
А ты его волю желаешь нарушить?»
Куда там! Про деньги не хочет и слушать!
Два года судились. Из города ныне
Бумагу прислали: что дед накопил —
На равные две разделить половины,
Да каждый еще чтоб сестру наделил.
И что тут придумать — не ведаю боле!
Вконец разорят, коли сделают так.
Полнивы! Мое уж заложено поле,
Сестре не поможешь, ведь сам я бедняк.
Хочу вот свидетелей в суд привести,
Что дед не хотел делить поля,—
Прикажут авось на уплату пойти,
А нет — ну, господняя воля!»

4

Я думал о будущем братстве людей,
Я звал это время прийти поскорей.
Безмежные видел я в мыслях поля:
Трудом обновленная общим, земля

Кормила народ мой, свободный, счастливый.
Украйна ли это? Твои ль это нивы,
Впитавшие крови и пота немало?
Да, это Украйна родная моя!
И лютая боль в моем сердца стихала.

Виденье исчезло. Гляжу я. Вон там
За межи сцепились Грищь и Степан;
Там дед пашет поле и слезно скорбит
О сыне, что в Боснии дальней убит;
Отец там на сына топор поднимает;
Там мачеха бедных сирот проклинает...
О край мой родимый, забытый всем светом,
Пусть лучше судьба тебя в прах истребит,
Коль ты осужден пропадать без ответа!

1881

ДУМЫ НАД МУЖИЦКОЮ ПАШНЕЙ

1

Стану на пашне, умытой зарею:
Пурпуром солнце нежарко горит,
Пташки щебечут над тихой землею,—
Что же печаль в мое сердце стучит?

Царь и владыка природы, взгляни же,
Сколько в ней счастья, любви, красоты!
В сердце краса эта просится, ты же
Бродишь несчастен, один только ты.

Тучное поле, левада за хатой,
Луг неоглядный с травою густой —
Так почему же, усердный оратай,
С голоду мрешь ты в хатенке пустой?

В гор твоих лоне железо струится,
Так почему же затуплен твой плуг?
Или железо на то лишь годится,
Чтобы цепями свисать с твоих рук?

Жарким земля твоя светом богата,
Что в подземельях ключами кипит;
Так почему же, усердный оратай,
Не для тебя светит он и горит?

Много ты соли, до века рожденной,
В светлой, хрустальной скале накопал;
Так почему же ешь хлеб несоленый?
Солью земли почему сам не стал?

2

Сердце мое устремляется с плачем,
Пашня мужичья, к твоим бороздам,
Тонет мой дух в твоем лоне, горячий,
Словно упавшая в море звезда.

В каждую жилку твою проникает,
В каждый комок, корешок и сучок,
К каждой пылинке прильнув, вопрошает:
«Кто плодоносный ваш высосал сок?

Тысячелетья по вас проходили,
Кровью и трупами вас напитали —
Что же так мало вы хлеба родили?
Где же святые те соки пропали?»

1881

В ЛЕСУ

Хорошо, в чаще леса блуждая,
Где безмолвие манит ко сну,
Под навесом ветвей отдыхая,
Слушать летнего дня тишину!

Вкруг безлюдно, а все ж не пустынно —
В том святом одиночестве я
Снова сердцем ловлю беспричинно
Бесконечную песнь бытия.

И я счастлив, покуда скрываюсь
В этих чащах, бродя наугад,—
Я людей повстречать опасаюсь,
Люди тихий мой рай разорят.

Люди всюду, и к этому раю
Слезы горькой недоли несут.
Не однажды с тревогой встречаю
Я проклятое горе и тут.

Вот ободранный дед-старичина
Ковыляет, склоняясь к земле,
Низко гнет его долу сушина,
За плечами — грибы в кошеле.

Знаю сызмала деда седого,
За селом его хата гнилет.
Он живет одиноко, убого —
Собирает грибы, продает.

Пищу, рубище взять ему где же?
А пойдешь по грибы — заберут!
Лесники отведут на Медвежью,
А в Медвежьей под арест запрут.

Я спешу за деревьями скрыться,
Чтоб меня не увидел седой.
Знаю: встретиться старый боится
С черным платьем, как с черной бедой!

Да напрасно! Приметил, бедняга,
Из груди его вырвался крик,
Кинул связку и в темень оврага
Торопливо укрылся старик.

Долго слышалось мне, как хрустело
Под ногами, где старый бежит,
И в груди его что-то хрипело,—
Так больной перед смертью хрипит.

И подумал я: «Сгинь же, проклятый
Мой господский наряд,— ты меня
Для убогого, бедного брата
Сделал пугалом — пуще огня!»

Нагуевичи, 1882

ИЗ ЦИКЛА «ПЕРВАЯ ГОРСТЬ»

* * *

На смену тоске отупенья
Вновь песен плеснула волна,
Как будто из пепла восстала
Блестящих огней пелена.

Что раньше казалось покоем,
То пепел минувшего был;
Под ним животворная искра
Любви сохранила свой пыл.

Она еще тлела, искрилась,
Под пеплом томилась в тиши;
Но ветер повеял и пепел развеял —
Попробуй теперь потуши!

Так нет же! Тушить я не буду!
Пусть плещет огней пелена!
И сердце пусть бьется, и вольно пусть льется
Бурливая песен волна!

* * *

Ты, только ты — моя единая любовь,
Но не дано тобой мне в жизни насладиться;
Ты темный тот порыв, что отравляет кровь,
Вздымает грудь мою — и не осуществится.

Ты тот напев, что мне в час вдохновенья спится,
Но для него, увы, не нахожу я слов;
Ты славный подвиг мой, и я к нему готов,
Когда бы веру мне да мощную десницу!

Как сгубленную страсть, угасшие желанья,
Не спетый мной напев, геройские дерзанья,
Как все высокое, что я в душе таю,

Как пламя, что меня и греет и сжигает,
Как смерть, что, погубив, от мук освобождает,—
Вот так, красавица, и я тебя люблю.

«ОСТАВЬ НАДЕЖДУ!»

Как ты могла так ровно, так спокойно
Сказать об этом? Как не задрожал
Твой голос в горле, как тревожным стуком
В твоей груди не заглушило сердце
Те страшные слова: «Оставь надежду!»

Оставь надежду! Или ты не знаешь,
Что в тех словах таится преступленье,
Убийство сердца, духа, мыслей всех,
Живых и нерожденных? Или совесть
При тех словах в тебе не шевельнулась?

Оставь надежду! Мать-земля родная!
Ты, ясный свет! Ночная темнота!
Вы, звезды, люди! Что вы все теперь?
Что я теперь? Зачем не прах бездушный?
Зачем не камень, не вода, не лед?

Тогда бы я в груди не слышал ада
И не сверлил бы нор в мозгу моем
Червяк несытый, кровь моя, пылая,
В горячке не вызванивала б вечно
Вот этих страшных слов: «Оставь надежду!»

О нет, не верю! Все обман, обман!
Живительной воды в напиток мне
Ты подлила, а в шутку лишь сказала,
Что там отрава. Ведь за что бы ты
Могла убить и душу мне, и тело?

Нет, нет, не верю я! В тот миг, когда
Уста твои меня убить хотели,—
Твой бледный облик и тоска во взоре
И вся ты, вся, дрожащая мимозой,
Все говорило мне: «Не верь! Не верь!»

Душою ты добра! О, не обманешь
Ты сердца мне завесою гордыни!
Тебя я понял! Ты добра душою!
Лишь бури мира, муки недоверья
Заволокли тебя туманом этим.

И вновь я в сердце ощущаю силу
Туман рассеять, теплотою чувства
И жаром мысли воедино слить
Тебя и жизнь — и я в ответ тебе
Кричу: «Надейся и крепись в борьбе!»

* * *

Бескрайное поле под снежной волною,
О, дай мне простора и воли!
Я здесь, одинокий, лишь конь мой со мною,
А сердце изныло от боли.

Носи ж меня, конь мой, по чистому полю,
Как ветер над степью широкой,—
Быть может, уйду я от тягостной боли,
Терзающей сердце жестоко.

* * *

Непроходимою стеной меж нами
Стоит судьба. Мы, как два судна в море,
К двум берегам гонимые волнами,
Звезда моя, ты — радость мне и горе!

Тебя далече провожает взор,
К твоим следам хочу припасть лобзаньем
И душу напоить твоим дыханьем,
С любимых губ слетевшим на простор.

Исчезла ты! Во мраке, без дороги,
Я как в лесу... Куда ж теперь мне, друг?
Подсеклись думы, подкосились ноги.
А в сердце холод... Дым, лишь дым вокруг!..

* * *

На тебя не жалуюсь я, доля:
Ты вела меня, как мать родная.
Ведь в степях, где хлеба ждут от поля,
Плуг идет, цветы уничтожая.

Плуг скрипит в чернеющем просторе,
И цветы вздыхают при кончине...
В сердце — нож, уста замолкли в горе,
И душа истерзанная стынет.

Ты ж идешь, бросая, как и прежде,
В черный пласт, в зияющие раны
Семя правды, новые надежды,
И вдыхаешь жизни дух румяный.

ИЗ ЦИКЛА «ВТОРАЯ ГОРСТЬ»

* * *

Как знойно!
Широкое поле спокойно.
Равнина — немая, глухая —
Без края!
Безлюдье, пустыня на взгляд...
Лишь травы, волнуясь, как море,
Красуются в пышном уборе
Да где-то сверчки гомонят.

И снова
В безмолвье заречья лесного
И дальше, к расселинам гор,
Мой взор
Летит, в тишине утопает,
И в травах душа отдыхает,
И душу теплом наполняет
Простор.

Но — вот!
Чей там стон затаенный,
Как будто напев похоронный,
Плывет?
Мое ли то горе родное?
Чье сердце томится больное?
О нет! Словно голос разлуки,
Свирели доносятся звуки.

И вмиг
К тем звукам я сердцем дрожащим приник,
И, рай забывая, оно зарыдало
Без слов.
Тебя, моя зорька, оно увидало.
И слиться с напевом народным
Напев мой в порыве свободном
Готов.

* * *

Ой, зелен явор, да зелен явор,
А ива — зеленее;
Ой, между всеми красавицами
Всех мне одна милее.

Прекрасней розы, прекрасней розы
Нету цветка на свете;
Не знаю розы, не знаю розы
Нежней, чем щеки эти.

Ясные звезды, ясные звезды
Светят в небесном море,—
Все утонули ясные звезды
В едином ее взоре.

Девичий говор, как птичий гомон,
Тешит ухо, ласкает.
А ее голос — пшеничный колос,
Он за сердце хватает.

Что больше моря, что глубже моря —
Сходятся в нем все реки.
А мое горе больше, чем море:
С ней разлучён навеки.

* * *

Стройная девушка, меньше орешка,
Что ж в твоем сердце злая насмешка?

Что ж твои губы — словно молитва,
Что ж твои речи — острая бритва?

Нежно сияют глаз твоих чары,
Что зажигают в сердце пожары.

Ах, эти очи, пасмурней ночи,
Тот, кто их видел, солнца не хочет!

Что ж мне улыбка стала страданьем,
Сердце, как в буре, бьется желаньем?

Ясная зорька, что в твоем взоре?
Ты — моя радость, ты — мое горе!

Встречи добившись, пылко люблю я,
Пылко влюбившись, душу сгублю я.

* * *

«Калина, калина, зачем долу гнешься?
Зачем долу гнешься?
Иль солнца не любишь, и к солнцу не рвешься,
И к солнцу не рвешься?

Иль жаль тебе цвета для радости света?
Для радости света?
Иль вихрь тебе страшен, иль гром среди лета?
Иль гром среди лета?»

«Не жалко мне цвета, а в гром улыбаюсь,
А в гром улыбаюсь,
И солнце люблю я, я вся в нем купаюсь.
Я вся в нем купаюсь.

Но в небо не рвусь я, не хватит мне силы,
Не хватит мне силы,
Румяные гроздья к земле я склонила,
К земле я склонила.

Я дубу не пара, не рвусь я на кручи,
Не рвусь я на кручи;
Меня ты, высокий, затмил, словно туча,
Затмил, словно туча».

* * *

Зачем ты совсем не смеешься?
Не холод ли в сердце твоем?
Не с горя ли сердце застыло
И смех не рождается в нем?

Зачем ты совсем не смеешься?
Быть может, какой-нибудь грех
На совесть налег и сжимает
Задорный и радостный смех?

Неявной печали отметка
Лежит на прекрасном челе.
Улыбка твоя — как под осень
Блистание солнца во мгле.

* * *

Вьется та тропиночка,
Где она прошла
И из сердца запросто
Счастье унесла.

Вот туда пошла она,
Все гуляючи,
Со своим возлюбленным
Напеваючи.

Словно сумасшедший,
Я бежал за ней.
Обливал слезами я
След среди камней.

Словно утопающий,
Как спасение,
Взглядом я ловил ее
На мгновение.

Как в лесах коралловых
В глубине морской,
Слух ловил мой с жадностью
Жемчуг речи той.

Вот идет тропиночка.
Извивается,
А сердечко бедное
Разрывается.

Залегла на дне его
Мысль всего одна:
Что вот тут загублена
Жизнь моя сполна.

Все, что мне милей всего,
Мной взлелеяно,
Чем душа была жива,
Здесь развеяно!

Чем душа была жива,
Было — минуло...
Ах, чтоб эта тропочка
Вовсе сгинула!

* * *

Коль не вижу тебя —
Мне минуты, как век, бесконечны;
Коль увижу тебя —
Вновь страдаю от раны сердечной.

Коль не вижу тебя —
Я окутан морозом и мглою;
А увидев тебя —
Опален я горящей смолою.

Чтоб увидеть тебя —
Понесут меня ангелов руки;
А увижу тебя —
Гонят прочь меня адские муки.

Я утратил покой
И с тобой, и в разлуке с тобою!
Я не принят землей
И отвергнут небес синевою.

* * *

Если ночью услышишь, что там, за окном,
Кто-то плачет безумно и тяжко,—
Не тревожься о том, спи бестрепетным сном,
Не гляди в эту сторону, пташка!

Не бездомный бродяга грустит о судьбе,
Не голодный бедняк, моя зорька,—
Это вся моя скорбь и тоска по тебе,
Это плачет любовь моя горько.

* * *

Как вол в ярме, вот так я день за днем
Влачу свой плуг до крайнего предела;
Я только тлею медленным огнем,
Порывов нет, и сила ослабела.

Мечта моя заглохла молодая,
Ручей былых иллюзий пересох,
И резкой стала речь моя сухая,—
Я вижу: урожай мой будет плох.

Плох урожай! Я мало, может быть,
Посеял иль пшеницу взял гнилую?
А дни идут! Уж скоро ливням лить,—
Нам звезды возвещают осень злую.

ИЗ ЦИКЛА «ТРЕТЬЯ ГОРСТЬ»

Льдом студеным покрыта,
Не волнуется в речке вода;
Если лампа разбита,
Свет ее не дрожит никогда.

Не услышишь мелодий,
Если сломан на части смычок.
Как же песни выходят
Из-под бремени злобных тревог?

Иль как пресс это горе,
Чтоб из сердца стихи выжимать?
Иль как колокол — песня,
Чтобы горестный плач заглушать?

* * *

Аллеей летнею, ночною,
Как тень, я шел, не зная сна,
Горели звезды надо мною,
Темнела неба глубина,

Миротворящей тишиною
Вливалась в душу. Как же я
Еще вчера любил вас, зори,
Тебя, голубизна моя!
Душа в распахнутом просторе
Купалась, уносилась вскоре
К лугам прозрачным, где цветут
Бессмертные цветы, живут
Чудесной сладости мотивы!
А ныне так темны, тяжки вы,
И для меня ваш свет погас.
Теперь я ненавижу вас!
Жизнь ненавижу я и силу,
Мечты о счастье, о весне,
Стремленье к свету, к вышине,—
Одно забвенье любо мне,
Покой, безмолвие могилы.

Аллеей летнею, ночною
Я шел, как тень... О сердце, стынь!
Передо мною и за мною
Сновали люди. «Дзинь-дзинь-дзинь»,—
Звенел велосипед. И шепот
Влюбленный слышен был порой...
Но против боли роковой,
Терзающей рассудок мой,—
Не отыскал лекарства опыт.
Я шел и знал, что я — могила,
Что жизни нерв давно угас,
Что тут, на самом дне, сейчас
Душа моя похоронила
Все радости и все страданья,
Все песни, что не встанут вновь,
Свое сильнейшее желанье,
Свою последнюю любовь.

* * *

Каморка и кухня, два низких оконца,
Две вазы с цветами на окнах,
Две белых постели, раскрытые двери
И тюль занавесок поблеклых.

Часы на стене, пять иль шесть фотографий
На темном комоде понуром,
Стол круглый со скатертью — посередине,
И лампа на нем с абажуром.

А в кресле сидит у стола мое счастье —
Одна, в молчаливом раздумье:
Кого-то все ждет и шаги чьи-то ловит
Там, в уличном крике и шуме.

Кого-то все ждет... И не мне уж, конечно,
Улыбка в глазах ее светит!
Но с улицы в рай тот прокрался я взором —
Никто меня в тьме не заметит.

Вот здесь мое счастье! Так близко! Так близко!
И все ж недоступно навеки!
Болит мое сердце, но высохли слезы,
Горят отягченные веки.

От комнаты тихой, лицо закрывая,
Бегу я в тоске и тревоге:
Так раненый зверь в свою чащу уходит,
Чтоб тихо издохнуть в берлоге.

* * *

Песня, подбитая милая пташка,
Смолкнуть приходит пора.
Полно рыдать нам и горько и тяжко,
Кончилась эта игра.

Полно тревожить нам рану открытую,
Полно вопить про любовь,
С каждой строфою и с каждою нотою
Каплет горячая кровь.

С каждой терциною, с каждой октавою
Ритм ослабляется твой...
Песня напитана горем-отравою,—
Время идти на покой.

ИЗ КНИГИ «МОЙ ИЗМАРАГД»
(1898)

ИЗ РАЗДЕЛА «ПОКЛОНЫ»

РАЗДУМЬЕ

Ох, тяжело ярмо родного края,
И ноша не легка!
Как под крестом, под ней влачусь я, поникая,
И кубок с ядом пью, что поднесла родная,
Твоя, мой край, рука.

Так будь благословен! В грядущей, светлой дали
Дождешься ль славы, ясных дней весны,
Не знаю,— об одном молюсь в своей печали,
Чтоб с горя, с голоду тебя не покидали
Все лучшие твои сыны.

Чтоб сеющих добро другое поколенье
Не осмеяло в песнях злых.
Чтоб памятником им не стали те каменья,
Которыми, платя за зерна просвещенья,
При жизни все забрасывали их.

СЕДОГЛАВОМУ

Ты, братец, любишь Русь,
Я ж не люблю, бедняга!
Ты, братец, патриот,
А я — всего дворняга.

Ты, братец, любишь Русь,
Как любишь хлеб и сало,—
Я ж лаю день и ночь,
Чтоб сном не засыпала.

Ты, братец, любишь Русь,
Как пиво золотое,—
Я ж не люблю, как жнец
Не любит в поле зноя.

Ты, братец, любишь Русь,
Одетую картинно,—
Я ж не люблю, как раб
Не любит господина.

Ведь твой патриотизм —
Одежда показная,
А мой — тяжелый труд,
Горячка вековая.

Ты любишь в ней господ
Блистанье да сверканье —
Меня ж гнетет ее
Извечное страданье.

Ты любишь Русь, за то
Тебе почет и слава —
А предо мною Русь
Избита и кровава.

Ты, братец, любишь Русь,
Как заработок верный,—
Я ж не люблю ее
Из-за любви чрезмерной!

ДЕКАДЕНТ

(В. Щурату)

Я декадент? Вот это вправду ново!
Из жизни взяв всего один момент
И, модное найдя, пустое слово,
Ты вопишь: «Смотрите, декадент!»

Да, в этих песнях — боль, печаль, забота,
Так жизнь сошлась, дорога ведь крута.
Но есть в них, братец, и другая нота:
Надежда, воля, светлая мечта.

Я не терплю печалиться без цели,
Бесплодно слушать, как звенит в ушах;
Пока я жив, я жить хочу на деле,
Борьба за жизнь меня не вгонит в страх.

Нередко желчь и уксус я глотаю,
Не раз и прел, и хрипнул я, и стыл,
А все-таки изжогой не страдаю,
Катар кишок покуда не добыл.

Какой я декадент? Я сын народа,
Который рвется к солнцу из берлог.
Мой лозунг: труд, и счастье, и свобода,
Я сам — мужик, пролог, не эпилог.

Я за столом не пропущу стакана,
Зато и в драке — тоже не смолчу,
На жизненном пиру скучать не стану,
И в нищете я рук не опущу.

Не паразит я, одуревший с жиру,
Который в будни помнит лишь процент,
А в праздник на «ура» настроит лиру...
Какой же, черт возьми, я декадент?

МОЕЙ НЕ МОЕЙ

Привет тебе, цветок, упавший с ветки,
Моя мечта прекрасная,— тебе я
Последний шлю привет!
Пусть в прошлом наши встречи были редки,
Но, вспоминая их, я сердцем млею,
Хоть горек давний след.

Тем, что меня к себе ты не пускала,
В моей груди гасила, заглушала
Любовные мечты,—
Тем женственности идеал высокий
В душе томящейся и одинокой
Навек вписала ты.

Меж нами нынче и леса и горы,—
Но, чуть нахлынут злобных мыслей своры,
К тебе стремлюсь душой,
К твоей груди тогда я припадаю,
У стоп твоих я сердцем оживаю,
Все бури голос усмиряет твой.

Когда же ты приходишь в сновиденье,—
Уходят прочь и злоба и смятенье,
Их отгоняю, как лукавых змей;
Весь день тогда душа светла без меры;
Пусть не надежда, не любовь, не вера,—
В ней ясный свет души твоей.

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРИТЧИ»

ПРИТЧА О ДРУЖБЕ

Поняв, что смерти близится година,
Отец, позвав единственного сына,

Сказал, поникнув старой головой:
«Сынок, я вижу, срок приходит мой.

Дал мне господь прожить немало лет,
Добра нажить и поглядеть на свет.

Тебе оставлю все. Добром своим
Ты дорожи, но не дрожи над ним.

Не тщись цель жизни в нем найти своей,—
Такая цель убожества страшней.

Сокровищем владеешь ты иным,
Наиважнейшим — сердцем золотым,

Есть разум у тебя, к познаньям дар,
И схлынул ранней юности угар.

Лишь одного на жизненном пути
Тебе желаю: друга обрести».

«Отец, благодарю вас, но, ей-ей,
Не сосчитать мне всех моих друзей!»

«Да, за столом, чтоб коротать досуг...
А как беда, так где он — верный друг?

За семь десятков лет могу назвать
Лишь одного, да то еще как знать».

«Да что вы? За меня, ручаюсь вам,
Любой из них на плаху ляжет сам!»

Отец тут усмехнулся: «Все ж, сынок,
Не худо бы проверить это впрок.

Так вот, телка зарежь, в мешок зашей,
А в ночь ступай с ним, обойди друзей.

Скажи: «Беда! Мной человек убит!»
Просись, пусть друг укроет, приютит.

Так испытав своих друзей, потом
Ты к другу моему направься в дом».

Сын поступил по слову старика.
Как смерклось, на плечи взвалив телка,

Путь выбрал к лучшему из всех дружков.
«Живей,— он крикнул,— отмыкай засов».

«Ты с чем в такую пору?» — друг спросил.
«Впусти и дай укрыться. Я убил!»

Но тот не стал ворота отпирать.
«Ступай,— сказал,— а то не миновать

Из-за тебя беды ужасной мне.
Ведь, допытавшись о твоей вине,

С чего начнут? Нагрянут к другу в дом!
Так что стоишь тут со своим мешком?»

Ко всем друзьям в ту ночь стучался сын,-
Но не укрыл, не принял ни один.

Нашелся и такой, кто крикнул: «Прочь!
Иль должен буду сам властям помочь...

Ведь скажут: коль дружил с тобою я,
Причастен, значит, и к разбою я».

Так, прогнанный и с этого крыльца,
Бедняк пошел к приятелю отца.

«Увы, убил я, и, к моей беде,
Об этом слух прошел уже везде.

За мной спешат, и в толк я не возьму,
Где спрятать труп, где скрыться самому?»

Старик немедля отомкнул затвор
И юношу с мешком втолкнул в свой двор.

«Ну, не горюй, сынок, сам спрячься тут,
А труп в укромный сволоку закут»,—

Сказал он, с плеч мешок тяжелый взял.
К его ногам тут юноша припал.

«Спасибо, но вины за мною нет,
Никто за мной не гонится вослед».

Слова отца поведав, рассказал
Все, что за эту ночь он испытал

И сколько выгадал, уверясь в том:
Кто друг всегда, а кто — лишь за столом.

ПРИТЧА О БЛАГОДАРНОСТИ

Голодный пес, продрогший от метели,
От лютого мороза чуть живой,
По улице тащился еле-еле,
Искал тепла и пищи даровой.

И милостивый человек нашелся,
Он в комнате своей его пригрел.
По-дружески с несчастным обошелся,
С ним разделив еду, что сам он ел.

Пса приютил и накормил хозяин
И обогрел, а все ж в конце концов
Неблагодарным сам он был облаян,
Едва лишь избежав его зубов.

Как часто люди на него похожи:
И ты добра не помнишь, милый брат,
Нередко оскорбляя, и кого же —
Тех, кто тебя на ум наставить рад!

ПРИТЧА О РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

Два соседа живут-поживают рядком:
В этом доме венчают, хоронят в другом.

В этом доме рыданье над мертвецом,
А в соседнем — веселье и хор над венцом.

Здесь одетого в саван во гробе выносят,
Там дары молодым новобрачным подносят.

Тот же путь для покойника и для живых,
Тот же поп хоронить и венчать будет их.

И из церкви одной воротясь в тот же час,
И веселый и грустный напьются зараз.

То не сказка, друзья, аллегория тут:
Как печали и радости рядом идут,
Так к концу одному неизбежно ведут.

* * *

На Подгорье, в долах, по низинам
Села неприветливы и строги,
Разлеглись, как нищие под тыном,
Дремлют у проселочной дороги.

Клонят вербы головы большие,
В речке ветви длинные купают;
И скрипит журавль, кругом босые
Ребятишки на дворе играют.

Между верб, и груш, и яворины
Крыши почернелые нагнулись,
Крыты мохом, ветками калины,
И на ветер, как сычи, надулись.

Наклонились пихтовые стены,
Там и сям подпертые жердями,
Как калеки ждут себе замены —
Отдохнуть разбитыми костями.

Узкие, ослепшие оконца
В дедовских еще засовах ходят.
Или ясного боятся солнца
Те, что в хатах весь свой век проводят?

Незаметно и трубы на крыше;
Утром дым всю хату заполняет,
Из-под стрех валит, клубится ниже,
Ест глаза и слезы выжимает.

В хате печь в полкомнаты, с запечьем,
С глиняным припечьем и заслонкой,
То — желудок хаты, теплый вечно
И огромный, как живот ребенка.

Хлеб да каша — здесь иного краше,
Цель всех дум, стремлений и заботы,
Человек тут знает лишь работу,
Трудится во имя горсти каши.

Спит хозяин на досках несбитых,
На соломе, под мешком дерюжным;
Печь — для ребятишек неукрытых,
А большим постели и не нужно.

Батраки в конюшне кости греют,
Девкам и на лавках крепко спится;
Об удобстве думать не посмеют,
Отдохнула б за ночь поясница.

Об одеже помышляют мало:
Есть кожух да сапоги смазные,
Для хозяйки — в сундуке кораллы,
А для девушек — платки цветные.

Войлочные шляпы в праздник хлопцам,—
Так и наряжаются годами;
Вся одежда будней дома шьется
Из холста, что приготовят сами.

На стене в углу, в божнице старой,
Древние иконы со святыми:
Страшный суд, Никола да Варвара,
Как от дегтя — в копоти и дыме.

Вот и все от божеских устоев,—
Не совсем и письменность забыта:
Там в тряпье, под матицей, святое,
Безыменное письмо зашито

Да указ о панщине проклятой,
Роспись прадеда на тридцать палок,
Деда жалоба за клин изъятый,
Акт отца лицитационный мятый,—

Вот и все, что правнукам осталось.

ИЗ РАЗДЕЛА «В БРАЗИЛИЮ»

* * *

Когда услышишь, как в тиши ночной
По черным рельсам тарахтят вагоны,
А в них, как будто мух немолчный рой,—
Плач детворы, болезненные стоны,
Проклятия и брань со всех сторон,
Глухая песня, девичьи дискàнты,
Не спрашивай: чей это эшелон?
Кого везут? Куда? Откуда он?
То — эмигранты.

Когда увидишь где-нибудь в углу
Людей, набитых тесно, как селедки,
Усталых женщин, спящих на полу,
Мужчин, бродящих шаткою походкой,
Седых отцов, ребячью мелкоту,
Узлы, в которых явно не брильянты,
Всю неприкрашенную нищету,
На лицах — след тоски, надежд тщету,
То — эмигранты.

Когда увидишь, как таких людей,
Вписав в реестр, толкают и ругают,
Как матери в отхожее детей
Укачивать и пеленать таскают,
Как их жандармы гонят прочь от касс,
Как сбрасывают с поездных площадок,
Пока толпой не кинутся все враз:
«Бери нас или раздави всех нас!» —
Вот наш порядок.

* * *

Два панка пошли гулять.
На детишек изможденных,
На измученную мать
Поглядели с видом сонным.

И, качая головой,
Старший рек: «Эх, голь какая!»
Но тотчас за ним второй
Возглашает: «Вот лентяи!»

«Кто лентяи?» — «Да народ!
Край родной на пшик меняет».
Первый: «Нет, виновен тот,
Кто их дальше не пускает».

«Не пускать их? Так пойдут
Все за сине море сдуру!»
«Что ж им делать, если тут
Сообща дерем с них шкуру?»

Разлучила нас толпа.
Долго те панки в запале
И впопад и невпопад
Про «лентяев» рассуждали.

* * *

Ой, расплескалось ты, русское горе,
Вдоль по Европе, далече за море!

Стены Любляны да Реки видали,
Как из отчизны славяне бежали.

Русские стоны взлетали до неба
Там, где белеет горами Понтебба.

Ведь от Кормон, как живых в домовину,
Гнали жандармы людей, что скотину.

Небо Италии — нет его краше —
Видело бедность, униженность нашу.

Генуя долго, поди, не забудет,
Как гостевали в ней русские люди,

На почь рассказывать станут ребятам:
«Странный народ к нам заехал когда-то.

Землю родную в слезах вспоминал он,
Сам же с проклятьем ее покидал он.

Продал хозяйство, не числя потери,
Басне про царство Рудольфа поверя.

Кинул он дом свой с землею родною,
Да и погнался за детской мечтою.

Смелый в мечтаньях, в любви беззаветен,
В жизни он, словно дитя, безответен.

Ни пошутить ему, ни посмеяться,
Только и знал, что просить да сгибаться».

Ой, расплескалось ты, русское горе,
Вдоль по Европе, далече за море!

Гамбурга доки, мосты, паровозы,—
Где не струились вы, русские слезы?

Все, мой народ, с тебя драли проценты:
Польские шляхтичи, швабы-агенты.

Что еще ждет тебя на океане?
Что-то в Бразилии, в славной Паране?

Что-то за рай тебя ждет, раскрываясь
В Спириту-Санто и Минас-Жераес?

Думы на меже

ИЗ КНИГИ «В ДНИ ПЕЧАЛИ»
(1900)

* * *

Когда порой, в глухом раздумье,
сижу, угрюм и одинок,
негромкий стук в окно иль в двери
вдруг прерывает дум поток.

Откликнусь, выгляну — напрасно,
нигде не видно ни души,
лишь что-то в сердце встрепенется,
о ком-то вспомнится в тиши.

Быть может, там, в краю далеком,
сражен в бою любимый друг?
Быть может, брат родной рыдает,
склонясь на прадедовский плуг?

Быть может, ты, моя голубка,
кого люблю и жду в тоске,
в тот миг меня с немым укором
припоминаешь вдалеке?

Быть может, подавляя горе,
ты молча плачешь в тишине
и капли слез твоих горючих
стучатся прямо в душу мне?

* * *

Не знаю забвенья!
Горит моя рана!
Унылое пенье
струны теорбана,
то бьющейся в скерцо,
то длящей моленье,
наполнило сердце,—
не знаю забвенья!

Горит моя рана,
хоть слезы струятся,
и дни прожитые
бальзамом ложатся,
хоть солнце над нею
цветет неустанно,
лаская и грея —
горит моя рана!

Пускай далека ты,
все вижу тебя я
и горечь утраты
опять ощущаю;
пусть первые муки —
за дымкой тумана,
и холод разлуки,
и горечь обмана
легли между нами,
ты все мне желанна,—
любовь — точно пламя,
горит моя рана!

* * *

Мне сорок лет, мой век не весь прожит,
меня пустая не влекла мамона.
Ужели же прошел я свой зенит,
к закату стал спускаться неуклонно?

О племя бедное, как плох на вид
твой плод! Им похваляться — нет резона.
Куда как скоро твой померк болид,
взять не успев могучего разгона!

Стыд и позор — да нечем пособить!
И лошадь не потянет через силу.
Пускай могли гиганты петь, творить,

могли бороться, тешиться, любить
и в восемьдесят лет,— а нам в могилу
дано под сорок голову клонить.

ИЗ РАЗДЕЛА «В ПЛЕН-ЭРЕ»[1]

* * *

Ходят ветры по краю,
как хозяин счастливый,
колосочки качая
на желтеющей ниве.

Бьют колосья поклоны:
«Дайте вёдро нам, братцы,
чтобы нам без урона
до Петра продержаться.

Чтобы грады и грозы
стороной проносило,
чтоб холодным и поздним
ливнем нас не побило.

Чтобы тучами злыми
мошкаре не роиться —
пусть питаются ими
перелетные птицы.

[1] На свежем воздухе (от *франц.* en plein air).

Дайте зреть, наливаться,
изогнуться дугою,
чтоб серпам разгуляться,
чтобы песня — рекою.

Пусть для жатвы повсюду
устоится погода,
чтобы сельскому люду
позабыть про невзгоды».

Ходят ветры по краю,
как хозяин счастливый,
колосочки качая
на желтеющей ниве:

«Только дайте нам сроку —
будет вёдро для хлеба,
будет бедным дар с неба,
только мало в том проку!

Ни холодным, ни поздним
ливнем вас не побило,
злые грады и грозы
стороной проносило.

Мошкару поклевали
перелетные птицы;
но опять набежали
три врага поживиться.

На кого ни наткнутся —
хоть протягивай ноги;
ведь враги те зовутся —
долг, корчма и налоги.

И ползут они в хаты,
будто запах могильный,—
мы врагов тех проклятых
уничтожить бессильны!»

* * *

Внизу, у гор, село лежит,
по-над селом туман дрожит,
а на взгорье, вся черна,
кузня старая видна.

И кузнец в той кузне клеплет
и в душе надежду теплит,
он все клеплет и поет
и народ к себе зовет:

«Эй, сюда, из хат и с поля!
Здесь куется ваша доля.
Выбирайтесь на простор,
из тумана к высям гор!»

А мгла-туман качается,
по-над селом сгущается,
на полях встает стеной,
чтобы путь затмить людской.

Чтобы людям стежки торной
не найти к вершине горной,
к этой кузне, где куют
им оружье вместо пут.

* * *

Ой, идут, идут туманы
над днестровскими лугами,
как полки под знамена́ми,
перед войском — атаманы.

Трубы к бою не скликают,
не звенят стальные брони,
только хмурость навевают,
вербы низко ветви клонят.

Только в мути тонут села
и, томя игрой пустою,
дума — нищий невеселый —
ходит по миру с сумою.

* * *

Над широкою рекою
на скале крутой сижу
и, в мечтанья погруженный,
в воду быструю гляжу.
Валом волны, валом волны
плещут, мечутся, блестят,
вербы их листвой ласкают
и на солнце шелестят.

Тихо из-за поворота
плот выходит за волной,
свежей зеленью обвитый,
пляшет, пляшет, как живой.
Руль тихонько волны режет,
не скрежещет, не скрипит;
рулевой, как на картинке
нарисованный, стоит.

Кто-то на плоту играет,
песня громкая слышна,
и давно полны стаканы
ароматного вина.
Блещут очи молодые,
шутки, смех и шутки вновь...
Смех и песни. Здесь пируют
Радость, Красота, Любовь.

Я взглянул, и вздох тяжелый
поднимает грудь мою.
О мечты мои былые,
узнаю вас, узнаю!
Я вас часто с криком боли,
со слезами догонял,—
но, увы, на плот веселый
я ни разу не попал.

Нет, теперь уже за вами
я не брошусь больше вслед!
Молодых пускай отныне
радует мечтаний свет!
Смех, и музыку, и песни
слышу, сидя на скале;
вот исчез за поворотом
плот, сияющий во мгле.

Погружен опять в мечтанья,
я гляжу на быстрину,
вижу ласковые руки
сквозь летящую волну...
Вижу я лебяжью шею,
юного лица овал...
Ах! Ведь я ее когда-то
в упоенье целовал.

Вот она, она, чей образ
стихнуть грусти не дает!
Бедное былое счастье
до сих пор во мне живет!
Смято! Стоптано! И в воду
вне себя кидаюсь я —
уловить хоть призрак счастья...
Но мертва мечта моя.

* * *

В дремоте сёла. За окном
веселый луч играет,
но тянет с поля холодком —
все осень предвещает.

Темно-зеленые сады
стряхнули груз богатый,
и вербы гнутся у воды,
и молча дремлют хаты.

Речушка сонная течет
холодною струею,
и все плетни и берега
забиты коноплею.

Снопы, и скирды, и стога —
как башни у дороги,
стоят и берегут село
от горя и тревоги.

Вот пахарь в поле за сохой
идет, как будто дремлет,
и под озимые хлеба
распахивает землю.

Коровы, лежа на жнивье,
жуют траву сырую;
пекут картошку пастухи
и у костра пируют.

Еще не стонет черный лес
осенним, долгим стоном,
еще стрелою ласточка
летает над загоном.

Вокруг покой и тишина,
как будто дремлет море,—
и кажется: глубоким сном
уснуло злое горе.

...О, не буди его дождем,
холодным ливнем, туча;
и ты, осенний ветер, спи,
набегами не мучай!

Пусть отдохнет усталый люд,
забудется на время
и сбросит с наболевших плеч
забот и горя бремя!

Пусть он, страдая целый год,
как вол, трудясь от века,
хоть раз почувствует в себе
живого человека.

И пусть, как жемчуг, для него
заблещет на свободе
хоть часть святой поэзии,
что разлилась в природе!

ШКОЛА ПОЭТА

(По Ибсену)

Слыхал ли ты, как вожаки
медведя учат пляске?
Сначала на железный лист
поставят без опаски.

И под железом тем огонь
потом разводят малый,
а скрипкой бередят в душе
стремленье к идеалу.

Медведь ревет, как будто страсть
в груди мохнатой тлеет,
а пятки голые огонь
все жарче снизу греет.

Ревет медведь, звенит струна;
насквозь его прогрело,
он поднимает на дыбы
свое большое тело.

А скрипка знай себе гудит,
и в подневольной пляске
то переступит левой он,
то правой — без указки.

Быстрее скрипка говорит,
поет, хохочет, плачет,—
железо жжет, а грузный зверь
быстрей за скрипкой скачет.

Уже бедняге не забыть
до смерти той науки,
в его сознании слились
огонь и скрипки звуки.

И так слились, что, лишь струна
тихонько заиграет,—
он в пятках чувствует огонь
и пляску начинает.

Не у одних медведей так!
В судьбе своей веселой
любой из нас, собрат-поэт,
проходит эту школу.

Ведет его ирония
под бубенцы и скрипки,
чтоб лапами он стал, скользя,
на поле жизни зыбкой.

Под ним костер страданье жжет,
любовь смычком играет,
он пляшет, бедный, и поет,
от муки умирает.

А хоть и не умрет — в душе
сольются неразрывно
страданья с музыкой любви —
а это ли не дивно!

Как только где услышит он
слова любви святые,
так пробуждаются в душе
страданья неземные.

Горит под ним железный лист,
весь мир — с углями бочка,
и поднимается бедняк
не на дыбы — на строчки.

Ирония ведет смычком,
стучит костями чувство,
поэт, рыдая, в пляс идет,
и это все — искусство.

ИЗ КНИГИ «SEMPER TIRO»[1]

(1906)

SEMPER TIRO

Жизнь коротка, искусство бесконечно,
И творчество измерить не дано;
Ты опьяненье видел в нем одно,
Его считал забавою беспечной,
Но безгранично выросло оно,
Твои мечты и душу отобрало
И силы все берет и всё же молвит: «Мало!»

Тобой же сотворенное виденье
Ты неким называешь божеством
И сушишь кровь, ему на прославленье;
Твой мозг и нервов сок пред этим алтарем —
Как будто жертвоприношенье;
Твой идол завладел, как подданным, тобою,
А сердце шепчет: «Нет! Сам будет он слугою».

Но шепоту не верь! Не доверяй богине
Поэзии! Она влечет, манит,
Но дух твой поглотит, поработит отныне:
Она тебя всего опустошит
И прихотям своим навеки подчинит.
Не верь струне, поющей перед нами,
Что будем мы владеть стихами и сердцами.

Мечтой не возносись, в союз вступая с лирой!
Когда в душе теснится песен рой,
Служи богине честно и порфирой
Не думай заменять наряд простой...
Пусть песня драгоценна, словно миро,—
У жизни на пиру ты скромно стой
И знай одно: poëta semper tiro[2].

[1] Всегда начинающий *(лат.)*
[2] Поэт — всегда начинающий, новичок *(лат.)*

КОНКИСТАДОРЫ

По седому океану,
По разгневанным волнам
Флот наш дерзостно стремится
К неизвестным берегам.
Плещут весла, гнутся мачты...
Вот желанная земля!
Заворачивай! Бок о бок!
Руль поставь возле руля!
Якоря кидай! По сходням
Все на берег выходи!
Становись в ряды немедля!
Битва ждет нас впереди!
Мы захватим город сонный!
Тишина, покой, рассвет...
Первый крик — призыв наш к бою,
Песня битвы и побед!
Перед приступом пускайте
Вы огонь по кораблям,
Чтобы знать, что нет возврата,
Нет назад дороги нам.
Дым всклубился! Плещет море...
Все огнем заволокло...
И захлопал каждый парус,
Как горящее крыло.
Гнутся реи, брызжут искры,
Словно огненный ручей...
Снасть скрипит... Пылают мачты
Ярче пламенных свечей.
Что за нами — пусть навеки
Скроет жизненной золой!
Или смерть, или победа!
Вот наш возглас боевой!
Мир достанется отважным,
Трусость жалкую — к чертям!
Здесь — желанную отчизну
Кровь и труд воздвигнут нам!

26 июля 1904

* * *

Блажен мужъ, иже не идетъ
на совѣтъ нечестивыхъ.

Блажен тот муж, что на суде неправых
За правду голос смело поднимает
И без боязни в сонмищах лукавых
Уснувшее сознанье пробуждает.

Блажен тот муж, который в дни невзгоды,
Когда молчит у самых чутких совесть,
Хоть криком будит спящие народы
И открывает правду им, как новость.

Блажен тот муж, который в яром гаме
Стоит, как дуб среди грозы, упорно,
Не вступит в сделку подлую с врагами,
Сломается — не склонится покорно.

Блажен тот муж, хотя о нем злословят,
Преследуют, грозят побить камнями;
Враги его триумф ему готовят,
Своим судом себя осудят сами.

Блаженны все, кто говорит открыто
Всегда, когда о правде речь заходит:
Пусть будет имя их в веках забыто,
Все ж кровь их — кровь людей облагородит.

* * *

Гласъ вопіющаго во пустыни.

Я в чистом поле убирал пшеницу,
Перед женитьбой за три дня как раз,
И в полдень сел под дубом подкрепиться,
И словно вспыхнул вдруг в душе алмаз.

И я услышал голос несказанный,
Который чувствует душа одна,
Чуть внятный слуху, полный силы странной,
Всю душу мне он взволновал до дна.

«Еще когда ты в чреве жить не начал,
Когда не появился ты на свет,
Уже я знал тебя и предназначил
Нести царям, народам мой завет».

И молвил я: «Кто я такой, о боже!
Мужик убогий, парень молодой!
Кого простою речью я встревожу?
И кто, признав, последует за мной?»

Ответил голос: «С этого мгновенья
Ты мой. Про все, чем раньше был, забудь!
Доверься силе моего внушенья,
И все покинь, и отправляйся в путь.

За то ж, что моего не принял слова,
Знай: никого им не затронешь ты;
Как не пробьет стрела щита стального,
Так словом будешь бить в сердца-щиты.

Глагол мой будешь ты метать на ветер,
Ты будешь проповедовать глухим;
Не приютит тебя никто на свете,
Что ты похвалишь,— будет слыть плохим».

И молвил я: «О господи, я грешный!
Иль все грехи я искупить могу?
На этот подвиг, трудный, безуспешный,
Ты призываешь своего слугу?»

Ответил голос: «Промысел господень
Неведом! Избран ты не за вину,
И не останется твой труд бесплоден,
Я сердце сильное в тебя вдохну.

Твоими буду говорить устами
Для всех народов и для всех веков,
И за тобой тернистыми тропами
Я поведу всех избранных борцов.

Тобой я научу их отрекаться
От благ житейских для высоких дум,
Лишений и насмешек не бояться
И к светлой цели направлять свой ум!

Перстом своим я уст твоих касаюсь,
И мой глагол зажгу в тебе огнем,
И утончу твой слух, чтоб, откликаясь,
Ты слышал голос мой, как с неба гром».

Я ниц упал. «О, внемлю, боже, внемлю!»
Я бросил серп в колосьях золотых,
Невесту кинул, отческую землю,
И больше никогда не видел их.

* * *

Жены русскія въсплакаша ся.

Где ни лилися вы в нашей бывальщине,
В зной ли, в ненастье ли, в грозы —
То ли в половетчине, в княжеской то ли удальщине,
То ли в казатчине, ляшчине, ханщине, панщине,—
Русские женские слезы!

Сколько сердец разрывалось, рыдаючи,
Скольких сломили страданья!
Как же их мало таких, что окрепли, слагаючи
Слово за словом, в бессмертную песнь выливаючи
Тысячелетий рыданья!

Слушаю, сестры, напевы еще не забытых
Песен, в тоске размышляя:
Сколько сердец-то разбитых, могил-то разрытых,
Горестей стоит несытых, слез жгучих, пролитых
Каждая песня такая!

* * *

Лисицы брешуть на черленыя щиты.

Вышла в поле русских сила,
Поле стягами укрыла;
Стяги, словно маки, рдеют,
А мечи, как искры, тлеют,—
Да не тлеют, искры крешут,
А лисицы в поле брешут.

Вышла в поле русских сила,
Вольных братьев не душила,
Бедняков не разоряла,
Злые орды отбивала,
Что при жизни гроб нам тешут,—
А лисицы в поле брешут.

Мы чужого не желаем
И свое не уступаем,
И не пень мы деревянный,
Чтоб терпеть и стыд и раны,
Пока граблями нас чешут,—
А лисицы в поле брешут

На тот славный щит червонный,
Как брехали во дни оны,
Как щитами русских сила
Поле перегородила,
Степь от края и до края,
Как пожаром, озаряя,
С одного пройдя размаха!

Задали ж лисицам страху
Те щиты! Поныне снится
Им, как шли с врагами биться
Непокорные казаки,
Удалые гайдамаки,

Что свободу добывали,
Что за правду умирали.
И прошли, как крови море,
Как пожар в степном просторе,
Сквозь былое Украины...

Даже слабый знак единый,
Даже тень их дел доныне
Страшны вражеской гордыне,
Что зубовный сеет скрежет
И на щит червонный брешет.

* * *

На рѣкахъ вавилонскихъ,
тамо сѣдохомъ и плакахомъ.

На реке вавилонской — и я там сидел,
На разбитую лютню в печали глядел.

И ко мне неустанно взывал Вавилон:
«Спой хоть что-нибудь нам! Про Фавор! Про Сион!»

«Про Сион? Про Фавор? Петь не станут уста.
На Сионе — тюрьма! Ширь Фавора — пуста!

Лишь одну теперь песню могу я пропеть.
Я рабом родился, чтоб рабом умереть.

Я на свет появился под посвист бичей,
Родился от раба я, в стране палачей.

Я привык к унижениям, из году в год
Улыбаясь тому, кто терзает мой род.

И с младенческих лет мне наставником стал
Пес, что бьющую руку покорно лизал.

И хоть ростом я — кедр, увенчавший Ливан,
Но увяла душа, как ползучий бурьян.

И хоть слово гремело мое иногда —
То был гром жестяной, что не бьет никогда.

И хоть пламень свободы в душе не ослаб,
Но в крови моей — раб! Но в мозгу моем — раб!

Хоть оков не ношу на руках, на ногах —
В каждом нерве таится невольничий страх.

И хоть вольным зовусь — точно раб, спину гну
И свободно в лицо никому не взгляну.

Я любому шуту подчиняюсь и лгу,
Правду в сердце, как свечку, гасить я могу.

Хоть работаю много — и ночью и днем,
Все как будто тружусь на господском, чужом.

И хоть эту работу люблю — тем больней,
Что, как раб к своей тачке, прикован я к ней.

И, добро накопив, не умею им жить:
Должен, будто чужое, его сторожить.

В жизни с кем ни сойдусь — подчиняюсь ему,
Сам себе тяжелейшую долю возьму.

И хоть изредка бунтом вскипает душа,
Чтобы путы порвать, вольной грудью дыша,—

Ах, не тот это гнев, что рождает борьба.
Это низкая злость да брюзжанье раба.

Вавилонские жены, встречаясь со мной,
Отвернитесь, пройдите скорей стороной!

Чтоб не пало проклятье мое на ваш плод,
Чтоб рабов не рождал вавилонский народ.

Вавилонские девы, страшитесь меня,
Сожаленье из юного сердца гоня!

Чтоб страшнейшая вас не постигла судьба,
Жесточайшая доля — влюбиться в раба!»

ИЗ РАЗДЕЛА «ИЗ КНИГИ КААФ»

* * *

Пойми, поэт, на жизненном пути ты
Заветный жемчуг — счастье — не найдешь,
От гроз и ливней не найдешь защиты.

Пойми, поэт,— изведаешь ты ложь,
Все муки бытия, все униженья,
Пока до светлой цели добредешь.

Пойми, поэт: лишь в сфере сновиденья,
В стране иллюзий и мечты — твой рай,
Твой гений — только действие внушенья.

Пророческий твой дар — не забывай —
Затем, чтоб край заветный указал ты,
Но сам туда не внидешь, это знай!

И с чутким сердцем для того взрастал ты,
Чтоб всем в день скорби облегченье нес,
Чтоб в горе слово теплое сказал ты.

Но если горе над тобой стряслось,
Скрывайся! Ближний не протянет руки
И не отрет твоих кровавых слез.

Но ты не думай, что рожден для муки.
Твое блаженство — творческая страсть,
Твой меч, и щит, и счастье — лиры звуки.

Пусть мир тебе твою не отдал часть,
Найдешь в душе своей удел высокий:
И правду величайшую, и власть.

Потемки обходи тропой далекой,
Весь мнимый блеск, триумф недорогой,
Все, что погрязло в низости глубокой.

И сохраняй всегда над головой
Венок бессмертный чистоты и ласки
И будь простым, как ландыш полевой.

На маскарад мирской иди без маски,
На торжище глумления, мой друг,
Бери с собой фонарь из старой сказки:

Он скроет тело, но проявит дух,
Явлений темных прояснится масса.
И будь ты людям не судья, а друг,

Зерцало обновленья. Guarda e passa [1].

---

[1] Взгляни и пройди мимо *(итал.)*.

* * *

Гуманным будь — любви источник чистый
Клади своей гуманности в основы,
И гордостью холодной не сквернись ты.

Гуманным будь не так, как богословы,
Что мерою чрезмерной долг свой мерят,
Грозят ослу и охраняют львово

И братьями зовут лишь тех, кто верит
В законы их, в предание и чудо,
На «блага рая» жадно зубы щерят

И муху снимут, чтоб пожрать верблюда.
Люби не всех — то было б свыше меры,
Но не желай другим ни зла, ни худа.

Не всякий слух заслуживает веры;
Для лжи и фальши — палку припасай
И живодерам ставь всегда барьеры.

Не нервничай и пальцы не ломай —
Порой кошачья флегма лучше жеста;
Злых берегись, льстецам не доверяй,

А дармоедам повторяй: «Нет места!»

* * *

Уж полночь. Темень. Стужа. Ветер воет.
Я весь продрог. И выпало из пальцев
Перо. И мозг усталый отказался
Повиноваться. И в душе затишье,
Ни мысль, ни чувство, даже боль — ничто
Не шевелится в ней. Притихло все,
Как будто в зарослях гнилой прудок,
Чью воду темную не шевелит
Вздох ветра.
Но постой! А это что?
Или утопленники там со дна
Встают, из волн зловонных простирая

Распухшие в зеленой тине руки?
И голос слышен, вопль, рыданья, стоны,—
Не настоящий голос, но какой-то
Далекий вздох, тень голоса живого,
Лишь сердцу еле слышный... Но как больно,
Как больно мне!..

«Отец! Отец! Отец!
Мы — света не увидевшие дети!
Мы — не пропетые тобою песни,
Безвременно погибшие в трясине!
О, глянь на нас! О, протяни нам руку!
Зови на свет нас! Дай скорее солнца!
Там весело — зачем же здесь мы чахнем?
Там хорошо — зачем мы гибнем?»

Нет, вы на свет не выйдете, бедняжки!
Нет, вас уже не вывести мне к солнцу!
Ведь я и сам лежу здесь в темной яме,
Ведь я и сам гнию, к земле прибитый,
А с диким хохотом по мне топочет,
Бьет в грудь мою жестокая судьбина!

И слышно вновь: «Отец! Отец! Отец!
Нам холодно! Согрей нас! Лишь дохни
Теплом из сердца и повей весною,
Мы оживем, вспорхнем и заиграем!
Весенним ветром, пеньем соловьиным
Войдем в твою печальную лачугу,
Мы аромат Аравии на крыльях
Внесем и, словно коврик пышноцветный,
Расстелемся и ляжем под ногами!
Лишь дай тепла нам! Сердца! Сердца! Сердца!»

Но где ж я вам тепла возьму, бедняжки?
Уста мои окованы морозом,
А сердце — лютая змея сглодала.

* * *

Когда б ты знал, как много значит слово,
Исполненное нежной теплоты!
Как лечит раны сердца, чуть живого,
Участие,— когда бы ведал ты!

Ты, может быть, на горькие мученья,
Сомкнув уста, безмолвно не взирал,
Ты сеял бы слова любви и утешенья,
Как теплый дождь на нивы и селенья,—
Когда б ты знал!

Когда б ты знал, как беспощадно ранит
Одно лишь слово зла и клеветы,
Как душу осквернит оно, обманет
И умертвит навек,— когда бы ведал ты!
Ты б злость свою, как будто пса цепного,
В тайник души израненной загнал,
Доброжелательства не испытав людского,
Ты б все ж в укор не бросил злого слова,—
Когда б ты знал!

Когда б ты знал, как много бед скрывается
Под маской счастья, обращенной к нам,
Как много лиц веселых умывается
Горючими слезами по ночам!
Ты б взор и слух свой обострил любовью
И в море слез незримых проникал,
Их горечь собственной смывал бы кровью
И понял страх людей и жизни их условья,—
Когда б ты знал!

Когда б ты знал! Но ветхо знанье это;
Нет, надо сердцем чувствовать живым!
Что для ума темно, для сердца — полно света...
И мир тебе казался бы иным.
Ты б сердцем рос. И вопреки тревогам
Всегда пряма была б тропа твоя.
Как тот, кто в бурю шел по гребням волн отлогим,
Так ты бы говорил всем скорбным и убогим:
«Не бойтесь! Это я!»

ШЕВЧЕНКО И ПОКЛОННИКИ

Апостол правды и науки,
О ком мечтал ты, изможден,
Пришел и простирает руки,—
Ему названье: Легион.

Но те, что под шумок кормились
Твоих творений молоком,
Что всюду и везде хвалились
Тобою, как *своим* певцом,—

Те, видя гостя молодого,
Один — хвалы забыл свои,
Другой — зовет городового,—
Низкопоклонники твои!

5 апреля [*1880*]

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ

Она не детская забава
И не бесплодная мечта,
Не та, не знающая славы,
Неопытная красота,

Не ласка сердца молодого,
Не ветра шум, не шепот волн.
Она — решительное слово,
Зов духа, что величья полн.

Народ в беде соединяя,
Она, как колокол, зовет —
Недаром песня боевая
Под градом пуль нас бережет.

Она — зажженная лучина,
Сердца дарящая теплом,
Прогресса первая пружина
В своем упорстве огневом.

Она не в злате, не в порфире,
У ней простой и скромный вид,—
Она работница, и в мире
Свой неустанный труд вершит.

В глубинах сердца боль скрывая,
Она не глохнет, а поет
И, жизнь земную отражая,
Жива, как трудовой народ.

Она горда, и перед тучей
Не склонит никогда чела,
Как на кургане дуб могучий,
Как среди бурных волн скала.

В жизнь проходящих поколений
Она бросала чистый взгляд,
И перед нею, словно тени,
Прошли года — за рядом ряд.

Она людского горя знала
Глубокий ужас с давних лет,
Болела, мучилась, страдала,
Пока на ясный вышла свет.

Так песни скромной не судите
За простоту ее речей,
От всей души ее любите,
Свое отдайте сердце ей.

Не бойтесь, коль порою стоны
Сквозь песни строй до вас дойдут:
Сердец страдавших миллионы
В той песне дружным боем бьют.

Прислушайтесь к тому биенью,
Тревожащему мрак ночной,
Любите жизнь, ее горенье,—
И песня станет вам родной.

10 ноября 1880

ДРЕВОРУБ

(Из народных преданий)

По тропам жизни я блуждал немало,
добра и правды страстно я искал,
в них веруя, как в высшее начало.

И вот я в чащу темную попал:
дороги нет, вокруг лишь бор косматый;
страх все сильнее сердце мне сжимал.

А с запада уже неслись раскаты,
сверкали вспышки... И у сердца я
спросил: «Скажи, меня ведешь куда ты?»

Кромешной тьмой тогда вся жизнь моя
мне показалась: не было мгновенья,
чтобы прошло, отравы не тая.

И вскрикнул я в тревоге и смятенье:
«Кто выведет на лоно тихих вод
меня от этих бурь и возмущенья?»

И вот гляжу: сквозь бурелом идет
уверенно, в простом кафтане синем,
рабочий. «Брат, куда твой путь ведет? —

я закричал.— Как счастлив я, что ныне
ты мне ниспослан благостной судьбой,
чтоб провести сквозь дебри и пустыни!»

«Идем!» — сказал он; силою живой
вся стать его могучая дышала.
И как во сне пошел я, сам не свой.

В руках топор держал он, и завалы,
где все в один сплошной клубок сплелось,
где ввек нога, казалось, не ступала,

откуда мне бы, одному, пришлось
во тьму вернуться,— твердою рукою
он разрубил, и мы прошли насквозь!

В яру холодном, там, где под скалою
ручей, бурля, нам преградил проход,—
ударил вновь: шумя густой листвою,

дуб повалился, образуя брод.
На это я смотрел и удивлялся.
Лес поредел, а мы всё шли вперед,

простор светлее после тьмы казался.
Вот к полю мы широкому пришли:
куда б вокруг наш взор ни устремлялся,—

скользил вдоль ровной и пустой земли,
ни грани, ни преграды не встречая,
ни тех дорог, чтоб к селам привели.

Но пристальней вглядевшись, различаю,
что среди поля тут и там стоят
подобья черных птиц, а что — не знаю.

Их неподвижный, бесконечный ряд
как по линейке вытянут: чем дале,
тем больше их насчитывает взгляд.

Мы к этим черным точкам зашагали,
и, подойдя, я с ужасом узнал:
не птицы — виселицы там стояли.

На каждой ветер труп еще качал.
Забилось сердце в муке и тревоге,
но проводник спокойно мне сказал:

«Таков наш путь! Не бойся той дороги,
которой лучшие из лучших шли!
Святой земли коснулись наши ноги!

Склони главу!» И оба мы в пыли
у виселицы на колени пали,
свои сердца горе мы вознесли.

Когда же, помолившись, снова встали,
топор свой провожатый в руки взял
и размахнулся: разом затрещали

все виселицы; глухо застонал
степной простор, и в небе загремело,
исчезли трупы, чистый путь лежал.

Мой проводник пошел вперед. Несмело
и я за ним; шли не один мы час,
но вот на поле что-то зачернело,

как будто жук навозный. Всякий раз,
как мы смотрели,— больше становился,
и вскоре видим — церковь возле нас.

Пылали свечи. Медленно струился
кадильный ладан перед алтарем,
напев унылый к небу возносился.

На алтаре, пред тучным божеством,
сердец горячих, ранами покрытых,
дымилась груда; золотым кольцом

прикованный и терньями повитый
лежал там Разум; благостно попы
уж на него точили нож о плиты.

И хор гремел: «Блаженны все столпы,
все, что, не видев, в бога верят свято,
что лобызают след его стопы,

а сами поднимают нож на брата!
Наш бог — затоптанная в грязь Любовь,
убитый Разум! Ныне, как когда-то,

во имя бога тащим на убой
Любовь и Разум. О, прими, наш боже,
тот дар, что мы слагаем пред тобой!»

И проводник сказал мне: «Это — ложе
сна вечного, заклятой злобы глас,
той темноты, что светом стать не может!»

И, камень взяв, лежавший возле нас,
в церковное он бросил средостенье,
и то же сделать мне он дал наказ.

Загромыхали о стену каменья;
он топором опоры подрубил —
и повалилось с грохотом строенье,

земля встряслась, все небо мрак покрыл,—
и в третий раз вокруг нас загремело.
Я, содрогаясь, спутника спросил:

«Да кто же ты, творишь какое дело?»
Он рек: «Я древоруб, ты видишь сам!
Готовлю путь свободе, правде смело.

Ты хочешь? Я топор тебе свой дам.
Как я служил, служить ты будешь миру!
В том цель твоя и путь лежит твой там!

Пойдешь?» — «Пойду!» И он мне дал секиру.

[*1882*]

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

О, не люби меня, родная!
Когда ты ищешь слов красивых,
И клятв, и обещаний лживых,
И пиршеств роскоши и страсти,
Чтоб нервы млели, дух спирало,
Кровь закипала огневая
И сердце ныло, замирало,—
Когда ты в этом видишь счастье,
То не люби меня, родная!

О, не люби меня, родная,
Когда ты хочешь жить в покое,
Как сад плодовый над рекою,
Детей растить и понемногу,

Спокойно выводить их в люди,
Приданым дочек награждая,
Благословить невест в дорогу,—
Со мною вряд ли это будет...
Нет, не люби меня, родная!

Борец я, рыбка золотая,
Простой работник твердорукий,
И ждут меня труды и муки,
И бури ждут меня на свете,
И, может быть, ладья потонет,
В которой плыть нам, жизнь встречая...
Но если страх тебя не тронет
И можешь взять ты весла эти,—
Тогда люби меня, родная!

Написано 10 ноября 1883 г.

ПОДГОРЬЕ ЗИМОЙ

«Подгорье родное, любовь ты моя!
Под снежной густой пеленою,
Как будто красавица мертвая, ты
Лежишь, не дыша, предо мною.

Все небо покрылось туманом густым,
Туманом насупились горы,
И речка под снегом уснула, и лес
Былые забыл разговоры.

Морозом трескучим сковало тебя,
Тяжелыми льдами прижало.
В глубоких сугробах заглохло село,
Как будто в нем жизни не стало.

Лишь месяц на землю глядит сквозь туман,
Как факел горит похоронный,
И волка голодного слышится вой,
Как плакальщиц горькие стоны.

Так что ж, неужели здесь вымерла жизнь
И жадно в борьбу не вступает
Со смертью всесильной, с туманом густым,
Ужели ты вправду спишь сном гробовым,
Подгорье, земля дорогая?»

Так думал я ночью, дорогой глухой,
К далекой стремился я цели,
И фыркали кони, и в твердом снегу
Полозья, как змеи, шипели.

Долина Подгорья казалась кладбищем,
Широким и мертвым простором,—
В морозе, в тумане ни крыл, ни приюта
Для мысли, для сердца, для взора.

Закутался я в немудрящий кожух,
И мысли безрадостны были —
О крае, о людях,— туман и мороз
Тоску на меня наводили.

Я думал о тьме, что по селам царит,
О жизни голодной и бедной,
О детях больных, что тут сотнями мрут,
О горе людей беспросветном.

Я думал о тысяче пьявок людских,
Что люд истязают и душат,
О тысяче кривд, и неправд, и обид,
Что рвут и грязнят его душу.

Я думал — ну как из-под этого льда
И мыслям и духу подняться?
И как же народным порывам живым
Вот в этом аду разгораться?

Полозья шипели, как змеи, в снегу,
И кони копытами били
И снегом швыряли. Я жался и мерз,
И тяжкие думы томили.

Декабрь 1885

МАЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Ты меня мучишь, весна! Рассыпаешься блестками солнца,
Теплым дыханьем поишь, манишь в простор голубой!
Легкие шарики туч погоняя по ясному небу,
Шелковой пряжей из них дождик струишь на поля.
Горсточку серой земли ты подбросишь, играя, на воздух —
В воздухе вмиг из нее птичья рассыплется трель.
Криком своих журавлей ты наводишь сердечную смуту,
Сон о привольных краях — счастье далеком моем.
Ты лебединым крылом поднимаешь хрустальные волны —
Слышу их радостный плеск в далях лазурной реки.
Вижу, как чайкою ты над глубокой трепещешь водою,
Как над широким Днестром гнешься упругой лозой.
Ты меня мучишь, весна! Миллионами красок и линий,
Всем своим видом кричишь: воля, движение, жизнь!
Словно былинку, меня увлекаешь ты в эту стремнину,
Новые чувства родишь в сердце увядшем моем.
Ты освещаешь пустырь; ты бесплодные будишь желанья;
Нежно качаешь в ветвях птички пустое гнездо;
Голову низко склонив, раздуваешь погасшее пламя;
Посвистом в рощу зовешь, словно мой друг молодой.
Нет, уж не мне там гулять, в этой роще, любимый мой сокол!
Зайцем веселым не мне в яркую зелень нырять!
Сердце трепещет еще, и в груди еще кровь не остыла,
Но под конец моих лет тягостно жизни ярмо.
Грез безрассудных табун по широкому носится полю,
Гривы по ветру, и ржет, звонко копытами бьет.
О, эти грезы мои, легкокрылые пестрые дети,—
Надобно твердой рукой их за поводья держать.
Миг лишь — и посвист бича — и жестокое слово: «На место!..» —
К делу! И чары ушли... Ты меня мучишь, весна!

1901

* * *

Не молчи, если, гордо красуючись,
Ложь бесстыдная нагло кричит,
Если, горем соседа любуючись,
Зависть злобной осою жужжит
И шипит клевета, как гадюка в ночи́,—
Не молчи!

Говори, если сердце твое наполняется
Жаждой блага и правды святой,
Если слов твоих ясных, простых ужасается
Хлам отживший, бездарный застой;
Хоть стена впереди — и пылай и гори,—
Говори!

Написано 3 февраля 1916 г.

ПОЭМЫ

Убийца брата — Каин много лет
Блуждал по свету. Словно под бичами
Он шел, тревогой тайною гоним.
И целый мир возненавидел он —
Возненавидел небеса и землю,
Пожар зари и ночи тишину.
Возненавидел близких и далеких:
Он в лицах встречных неизменно видел
Мертвеющее Авеля лицо —
То смертной искаженное тоской,
То стынущее с выраженьем боли,
Испуга и предсмертной укоризны.
И ту возненавидел он теперь,
Кого любил он более отца,
И матери, и всех земных творений,—
Сестру свою и вместе с тем супругу,—
За то, что человек ей было имя,
Что взглядом Авелю была подобна,
И голосом, и сердцем непорочным,
За то, что Каина она любила,
И, хоть ни в чем сама и не повинна,
Не побоялась ради мужа все
Оставить, с ним, проклятым, разделяя
Проклятую судьбу.
Как тень бледна,
Она блуждала с ним. Из уст ее
Ни разу Каин не слыхал укора,
Хоть взгляд ее, и голос, и любовь
Звучали тяжелейшим, неспрестанным
Укором. Но порой, когда тоска
Его томила — точно обезумев,
Прочь отгонял он женщину; послушно
Она скрывалась, тихой, скорбной гостьей

Являлась меж детей своих и внуков —
Но ненадолго. Как являлась тайно,
Так исчезала, и в пустыню шла,
Чутьем угадывая все пути,
Какими шел ее злосчастный брат.
Была как бы серебряною нитью,
Связующей изгнанника с судьбой
Людей. Теплом, таящимся в своем
Горячем сердце, силилась согреть
Убийцы душу.
Тщетно! Точно рыба,
Которая колотится об лед,
Покамест не застынет, так она,
Борясь, теряла силы, жизнь свою
Сжигала в собственном своем огне.

Скитаясь так, однажды для ночлега
Нашли они пещеру. Утомясь,
Она заснула, головой поникнув
На камень. Каин разложил костер
И сел вблизи, в пылающий огонь
Глаза уставя. Странные виденья,
Меняясь, исчезая, возникали
Из пламени костра; за их игрой
Причудливой следя, забылся Каин —
Целительного сна уже давно,
Уже давно глаза его не знали!
Когда ж рассвет пришел, напрасно Каин
Ждал, что сестра поднимется с постели,
В засохшей тыкве принесет воды,
Плодов нарвет, кореньев насбирает
И меда для трапезы. Высоко
Стояло солнце, узкими лучами
Заглядывая в глубину пещеры.
Тогда к лежащей прикоснулся Каин
И понял тотчас же, что с нею сталось.
Всего лишь раз он видел смерть вблизи,
Но этого довольно, чтобы смерть
Признать потом в каком угодно виде.
А тут она явилась так невинно,
Спокойно так и радостно! Лицо,
Еще вчера истерзанное мукой
И горечью, как будто озарилось,

Помолодело. Прежняя любовь,
Как и при жизни, на лице сияла,—
Но не было следа тоски и горя,
Как будто все, к чему душа ее
При жизни так мучительно рвалась,
Нашла она теперь.
Явленье смерти,
Казалось, подсекло и мощь и волю.
Ни боли он не чувствовал, ни скорби —
Одно бессильное оцепененье.
Он сел над трупом, и весь день, всю ночь
Сидел недвижно. А наутро он,
Поднявшись, наносил сухой листвы
В пещеру, листьями засыпал труп,
Затем каменьев натаскал с горы,
И мучился весь день, и ранил руки,
Пока не завалил весь вход в пещеру.
Потом, омыв кровавые ладони,—
Как и тогда, по смерти брата! — тихо,
Не озираясь и не отдыхая,
Ушел в пустыню.
Для чего? Зачем?
Уже давно не думал он. Что думать?
Куда б ни шел он, где бы ни скитался,
Повсюду та же горечь, и тоска,
И одиночество, и скорбь без меры!

Лес кончился. Хрустит песок пустыни
Под тяжестью шагов. Шакал завоет
В расселине, орел всклекочет в небе,
Сверчок уныло где-то прострекочет,
И вновь безмолвие, покой могилы.
Порою в этой тишине внезапный
Песчаный смерч, как исполин, взовьется,
Столпом белесым подымаясь к небу,
И, закрутясь, пройдется по равнине,
Как царь — и вмиг обрушится на землю,
Уйдет, как призрак.
Колесница солнца
Уже клонилась долу. Раскаляясь,
Пылало небо, как большой котел,
Куда воды налить забыл хозяин.
И вдруг в туманной мгле у той черты,

Где свод небес сливается с пустыней,
Багрянцами заката пламенея
Слепительно,— возникло нечто вдруг,
Блистающее гранями кристалла.
Река ли там, окованная льдами,
Гигантскою подхвачена рукой,
Столбом вздымалась посреди пустыни?
Или мираж струился над песками
И фантастической манил игрой?
Лучи заката вспышками огня
Позолотили верхний край стены,
Ее зубцы, и выступы, и башни,
В лазурном утопающие небе.
А книзу, как пурпурный водопад,
Спадали тени вечера, спокойно
Склонялись у могучего подножья.
И этот вид безмолвному скитальцу
Был точно гром и точно дрожь земли:
Остолбенел он, бледный, как мертвец,
И взором ястребиным углубился
Туда, в огнем пылающие дали.
О, зрелище, знакомое ему!
Не раз и наяву, и в тяжких снах
Оно являлось! Каин задрожал,
Мучительная боль возникла в нем.
И ненависть зажглась в его глазах,
А на устах бескровных, крепко сжатых,
Несказанное, замерло проклятье.

«Вот рай! Гнездо утраченного счастья,
Мелькнувшего, подобно сновиденью!
Родник неисчерпаемого горя,
Которое так близко стало людям,
Как близко прирастает кожа к телу —
Не выйти из нее до самой смерти!
Будь проклято, коварное виденье,
Ты жгучие мне растравляешь раны,
Не облегчая и не убивая!
Будь проклято и ты, и самый миг,
Когда ты появилось и когда
Отец мой в первый раз тебя увидел!
Будь проклято во имя всех терзаний
Людских и всех несбыточных стремлений!»

И, зубы стиснув, отвратился Каин,
Чтоб прочь идти,— но вдруг печаль без меры
Им овладела и тоска; себя
Он ощутил таким бессильным, жалким,
Таким несчастным, как никто на свете.
Поникнув головой, закрыв лицо
Руками, он окаменел на месте,
Кровавым светом вечера облитый,
А тень его большая пролегла
Далеко в степь и в сумраке тонула.
И захотелось вдруг ему опять
Взглянуть на запад. Вопреки сознанью,
Стремился взор его туда, все тело
Туда стремилось. Напрягая волю,
Он снова поборол порыв, руками
Глаза закрыл, но руки через миг
Без сил упали.

Как больной в горячке
Неистовую ощущает радость,
Свои же растравляя раны,— Каин
Не мог отвлечься от виденья рая,
Всю душу возмутившего и в сердце
Всклубившего безумную тоску
И озлобленье. Чудилось ему —
В нем часть души свирепо рвется прочь,
А часть без памяти, как мотылек
В огонь, летит к хрустальной двери рая.
Но вот погасло солнце, и тотчас,
Как пес, отпущенный с цепи железной,
Набросился на землю сумрак ночи,
И дивное рассеялось виденье.
Бессильно Каин рухнул на песок,
Ища покоя. Дикий зверь пустыни
Не устрашал его: печать веков
На Каине лежала, прочь гоня
И тварь любую, и любую смерть,
Но отгоняла и покой и сон.
Всю ночь, подобно рыбе на песке
Холодном, он ворочался, бессонный.
Когда же снова солнце запылало
И озарило даль — нашло в песке
Ложбину лишь, где укрывался Каин.

А он уже с рассвета был в дороге —
Он шел на запад. Некая мечта
Влекла его туда, хоть образ рая
Скрывался за туманной пеленою,
Окутывавшей половину неба.
Что ждало там его? Он сам не знал.
Но, не надеясь и не ожидая,
Он все же шел. Так журавли, почуяв,
Что где-то за морем, в краю полночном,
Идет весна,— раскидывают крылья
И с песней звонкою летят туда,
За сотни миль, не думая о бурях,
О всплеске волн и хитрости ловцов.
Весь день в тумане он бродил, как в море.
Лишь к вечеру рассеялся туман,
И на мгновение лучи заката
Открыли вновь вчерашнее виденье:
Громады стен и золотые башни,—
Но так далеко, в несказанной дали,
Что мнилось, путь до неба ближе вдвое.

Но разве даль страшна? Пусть мелок шаг
Людской и слаб,— измерит Каин им
Весь круг земли, последней грани света
Достигнет, если цель есть впереди.
По смерти брата столько долгих лет
Блуждал без цели он, бродил, как зверь
Испуганный, стараясь схорониться
От самого себя,— и в первый раз
Блеснула цель ему! Усталый дух
Здесь может отдохнуть! Пускай и так,
Что это отдых на шипах колючих,
А все же это отдых, забытье!
И, проведя в пустыне ночь, опять
Пустился в путь он. День за днем сменялись,
А чудное виденье райских стен
Порою появлялось на мгновенье,
Его дразня своим спокойным блеском
И вместе с тем маня к себе; и вновь
Какое-то таило обещанье
В сиянье золотисто-алом.
Скупо
Пустыня-мачеха его питала

Кореньем, медом диких пчел; поила
Соленою и затхлою водою.
Он к этому привык. Порою реки,
Болота и соленые озера
Пересекали путь ему. Бесстрашно
Ступал он в воду, поборая волны,
Сопротивляясь ветру, грому, граду.
Природа досаждать ему могла,
Как мачеха над пасынком глумиться,
Но смерть его страшилась.
Иногда
Какое-то невнятное стремленье
Рождалось в нем, порой глухая злоба
Под сердце подступала, удушая
Как бы клещами. Угрожая небу,
И бога и себя он клял. Но только
Стихал порыв, он становился жалким
Червем бессильным и в изнеможенье,
Упав среди песков, лежал, как труп.
И вдруг его глухое беспокойство
Охватывало при одной лишь мысли,
Что может он до цели не дойти.
И вскакивал и, словно бы за ним
Кто гнался,— задыхаясь, вновь шагал,
По пояс утонув в песках пустыни,
Волчцами до крови израня ноги,
Но все стремился к западу.
Как долго
Он странствовал — кто знает? Но порой
Ему казалось — сотни лет. Меж тем
Минувшее, как бы в волнах потопа,
Из памяти стиралось без следа;
Остались лишь, насколько мог еще
Припомнить он, неясные черты
Последнего скитанья.
Но однажды
Достиг он цели. Был ненастный вечер,
И солнце спряталось уже за тучи,
Когда больной, продрогший и несчастный
У райских стен остановился Каин.
Подножье их уже скрывала мгла,
А далеко, как будто под землею,
Гром грохотал, и ветер за стеною

Стонал и плакал. Холод бурной ночи
Или усталость этому причиной,—
Но Каин ощутил успокоенье
И, после смерти брата в первый раз,
Как к матери младенец, прижимаясь
К стене холодной, погрузился в сон.

Но не было покоя и во сне.
Виденья страшные его томили,
И он метался и кричал, порывы
Осенней бури криком заглушая.
А поутру поднявшись, истомленный,
Почувствовал себя еще несчастней.
Рассвет был холоден, все небо сплошь
Затягивали тучи, и хлестали
Потоки ливня. Серая, как море,
Текла пустыня, уплывая вдаль,
Уныла, величава и грозна.
А рядом, сколько видно было глазу,
Стена однообразно возвышалась
Вплоть до небесной тверди — ни прохода,
Ни башен, ни ворот,— лишь ровно-ровно
Текла она, как будто мир навеки
Собою надвое рассечь хотела.
И двух титанов этих посреди —
Пустыни и стены — он, Каин, тварь
Бессильная, беспомощная мошка!
Нет, мошка все же счастлива! У ней
Есть крылья, сила есть подняться в воздух,
Превыше стен, и заглянуть в тот рай,
В праотческие, милые края!
Мурашке жалкой можно! А ему,
Царю творения, владыке рая,
Ему нельзя!
Он молча, в исступленье,
О стену эту бился головою,
Бил кулаками, грыз зубами камень,
Пока, бессильный, не упал, как труп.
Три дня он бесновался. Крик его,
Подобный реву раненого зверя,
Тревожил тишь пустыни. Иногда
Он пробовал молиться, но из уст
Одни богохуленья и проклятья

Лились. От боли загрубело сердце
И лишь рвалось, смириться не могло.

Но вот пришел в себя он и сказал:
«Пусть будет так! Я проклят, знаю это!
Кровь брата на руках моих. Навеки
Утрачен рай. Пусть будет так! Не место
Мне в том раю. Но за безмерность боли,
За все мученья без конца, какие
Я испытал уже и испытаю,—
Лишь одного желаю я, о боже!
Позволь хотя на миг, на миг единый,
Хоть издали, опять увидеть рай!
Хотя на миг увидеть вновь владенья,
Утраченные мною без возврата!
Лишь взгляд один! Лишь миг один, о боже!
А там пускай обрушатся все кары,
Какие мне назначены!»
Вот так,
Вздымая к небу руки, он молился,
Но небо не ответило ему.
Лишь солнце светлые лучи кидало,
Да коршун где-то там стонал в лазури,
Да выл шакал в пустыне.
«Значит, нет! —
Промолвил Каин.— Голос мой проклятый
До бога не доходит. Я виною,
Что небеса не отвечают мне!
Бывало по-иному, но — пропало!
Пусть будет так. Но вот как поступлю!
Должны же быть ворота здесь, в степе,
В какие бог изгнал отца из рая.
Я слышал, ангел с огненным мечом
Их стережет. Ну что ж, пускай стоит!
Пускай убьет меня, не страшно это.
А не убьет — я упаду на землю
И, в прахе извиваясь, как червяк,
Проситься буду и молиться буду,
Стучаться буду, преклоняться буду,
Пока к моим мольбам не снизойдет он».

И тотчас же, спеша, пустился в путь
Вдоль райских стен, стремясь найти ворота.
Но день прошел, и ночь прошла бесследно,

И день, и ночь, еще, еще, еще —
Стена все убегала без конца
И солнце закрывала перед ним,
А райских врат как будто не бывало.

Но Каин не неистовствовал больше,
Не клял, не рвался. Тщетно безнадежность
Гиеной ненасытною кружила
Вокруг него и леденила дух.
Он неустанно силы напрягал
И, отгоняя прочь зловещий призрак,
Все шел и шел.

И вот — виденье вновь.
Среди пустыни поднялась, сверкая,
Гора. В сиянье лучезарном, верх
Купается в небесном океане
И, шлемом возвышаясь ледяным,
Слепит глаза. Под ним — нагие скалы,
Костлявые, торчат, как будто зубы
Чудовища, готового и солнце
Пожрать на небе. Ниже — луговины
Серо-зеленые, под ними лес —
Могучий, дикий бор в тумане тонет.

Остановился Каин. Мыслей рой
То зрелище родило в нем.
«Итак,—
Подумал он,— не в силах я прийти
К воротам рая, стать перед лицом
Святого ангела, с ним говорить!
Видать, они навек заграждены —
Ворота! Ладно! Я просить не стану,
А сам добуду милость. Вот гора.
Она вершиною, наверно, выше,
Чем стены рая. На нее взойду,
Оттуда рай увижу, успокою
Огонь в моей пылающей душе!»

И, не раздумывая долго, снова
Пустился в путь. Но весь тот труд, какой
Доселе он изведал, был ничто
Пред новым этим странствием. Гора.
Казалось, накопила все преграды
Наперекор ему: ручьев потоки,

Глухие дебри, темные ущелья,
Бездонные, холодные провалы.
Лишь постепенно, задыхаясь, весь
Облитый потом, поднимался Каин
Все выше в гору. Но чем горячее
Мечта стремилась вверх, тем тяжелей
Была его дорога, тем слабее
Все тело,— и печаль теснила душу.
Так в полумгле блуждал он день за днем;
Извечный лес шумел над ним тоскливо
Или стонал, и плакал, и ревел,
Терзаемый ветрами. Лишь чутьем
Руководясь, блуждал чащобой Каин
И все карабкался туда, где кручи
Стеной нависли. Лес пришел к концу,
Но не было еще конца мученьям.
Навстречу низкорослые, густые
Кусты ползучих зарослей да елей
Тугие иглы. Будто из воды
Попал он в полымя: шипы, язвя,
Впивалися при каждом шаге в тело,
Коренья змеями у ног сплетались,
И солнце холодно светило с неба,
Как бы с глухой насмешкой наблюдая
Бесплодные мучения.

Но Каин
Не отступал. Ведь прямо перед ним
Хребет горы, магически блистая,
Манил его! Весь истекая кровью,
Иссеченный, исколотый, избитый,
Он миновал и эту часть дороги
И перевел дыханье на поляне
У родника, журчащего в теснине,
Упал он и лежал, потом омыл
Всего себя прохладною водою.
У края пропасти, шурша листами,
Рос сладкий папоротник; он нарыл
Корней съедобных и, ополоснувши
В воде, поел, остаток про запас
Сберег. И так, передохнувши день,
Пошел вперед. Скользят все чаще ноги
На твердых мхах, набухли, вздулись жилы,

В измученную грудь свинцом струясь,
Студеный льется воздух, огневые
Колеса вертятся перед глазами,
И ветер все сильнее, все упорней
Пронизывает. Словно муравей,
Ползет все выше Каин, муравью
Завидуя: тому не страшен ветер,
Как не страшны обрывистые кручи
И утомленье!

Нищая, скупая,
Исчезла зелень — мертвые каменья
Лежат повсюду. Жизни — ни следа,
Лишь ветер свищет, да орел порой
Клекочет и когтит свою добычу.
Смерть верная — один неверный шаг.
Тут смерть ежеминутно расставляет
Своих дозорных, жадных на добычу:
Снега и ветер, дождь и солнца блеск,
Орлы и камни — в заговоре с нею.

Но вот однажды — сумерки спускались,
Когда стал Каин на верху горы —
Иссохший, как скелет, покрытый кровью,
Продрогший до костей и чуть живой,
Почти без сил, взошел на ледяной
Помост. Могучий ветер, налетая,
Рвал волосы его, края одежды,
Кровь в жилах замораживал. Но Каин
Не чувствовал его; остаток силы,
Всю душу он вложил в единый взгляд
И кинул этот взгляд в седые дали,
Туда, где в огневеющем сиянье
Купался величавый «город божий».

Но что увидел Каин?
Пустота,
Одни деревья грустно и печально
Листвою шелестят, и молодые
Цветы благоухают. Кроме них,
Ни звука, ни движенья не приметно.
Но нет! В средине рая, на лужайке,
Два дерева, пышней и выше прочих.
О, Каин хорошо запомнил их

Со слов отца! Поднявшееся справа —
То древо жизни: огненосный гром
Рассек его вершину, расколол
Весь ствол его, вплоть до сырой земли,
Но не убил его живящей силы!
Оно растет, пускает ветви вширь,
И снова семена вокруг роняет!
А слева — это дерево познанья
Добра и зла. Под ним клубится змей,
А на ветвях его плоды обильно
Нависли. Так пленительны они,
Так привлекают, так ласкают душу!
Но вот повеял ветер, и, как град,
Плоды, стуча, осыпались на землю
И все тотчас же превратились в пепел,
Огнем покрылись, разлились смолою!

И видит Каин дальше: в алой дымке
Вдруг заструилось что-то легким роем,
Как мошкара. Он пригляделся — люди!
Вот тысячи людей и миллионы,
Как пыль под ветром, яростно стремятся
Вперед, вперед, потоком бесконечным.
И все у древа знания мятутся,
Спеша, толкаясь, падают, встают,
Карабкаются вверх, схватить стараясь
Один лишь плод, лишь яблоко одно
От древа знания. Напрасно кровью
Их путь означен и морями слез!
Едва один вкусит плода — тотчас
Плод в пепел обращается во рту,
Огнем палящим вспыхнув. А вкусивши
Плода от древа, человек жесточе
Становится, злобясь на целый свет,
Бьет, режет и заковывает в цепи,
Ломает все, что создали другие,
Жжет, разрушает в яром исступленье!

А древо жизни изнывает молча:
Не нужно никому оно! На нем
Плодов немного, неказисты с виду,
Заслонены листвою и шипами,—
Вот и не зарится никто на них.
Когда ж порой, отбившись от толпы,

Иной отведает, приблизясь к древу,
Плодов чудесных и созвать захочет
Других, чтоб все сошлись сюда,— они,
Как воронье, кидаются всей стаей,
Толкают, рвут, и мучат, и терзают
Его, как за тягчайшую провинность.

Но вот два зверя вышли на лужайку.
Один под древом знания воссел,
Недвижно-величавый и суровый,
С лицом жены, прекрасным и немым,
И с телом льва. Как мошки на огонь,
Так люди-призраки неисчислимой
Толпой к нему метнулись, вопрошая.
Тоска без меры, яростная мука
Видны на лицах, дрожь пронзает их,
Глаза и души жадно льнут к устам
Чудовища. Безмолвное, оно
Глядит недвижно. А людские толпы
Неистово стремятся к древу знанья,
Борясь за плод его,— и вновь стремятся
К чудовищу, не ведая покоя,
Как листья осени летят, гонимы
Суровыми, враждебными ветрами.

Другой же зверь торжественно воссел
Под древом жизни: видом — нетопырь,
С хвостом павлина, с лапами орла,
С хамелеоньим телом, с острым жалом.
Мгновенно и чудесно изменяясь,
Людей манил к себе он, отвращая
От древа жизни. Тот же, кто к нему
Доверчиво стремился и за ним
Спешил, слепец,— тот падал в ров глубокий,
Об острые каменья разбивался.
И поднимались руки, и неслись
Проклятия — но не лукавцу-зверю,
А только древу жизни. «Все оно —
Химера, и предательство, и ложь!» —
Неслись по ветру громкие стенанья.

Глядел на это Каин, и ему
Ножом, казалось, рассекали сердце.
Ему казалось, что вся боль, все муки,

Вся горечь и сомненья миллионов
В его душе бушуют, сердце в нем
Клещами сжали, внутренность сожгли.
И, заслонив лицо свое руками,
Воскликнул он: «Умилосердись, боже!
Я видеть больше не хочу сего!»
Мгновенно солнце потонуло, сумрак
Упал на землю, закрывая рай.
Но боль в душе у Каина осталась,
Неистовая боль. Он застонал
И на обледенелые каменья
Как мертвый рухнул.
Пробудил его
Жестокий холод. В ясном небе солнце
Сияло тускло, холодно смеялось,
Как тщетная, бесплодная надежда.
Где рай вчера мерцал, теперь стояла
Стеной до неба полумгла седая
Глухой завесой. Каин не жалел
Видений рая; властно в нем звучал
Один лишь голос: «Прочь отсюда! Прочь!»
И точно вор, забравшийся в чужую
Сокровищницу и взамен сокровищ
Схвативший раскаленное железо,—
Так Каин вниз спешил с вершины снежной.
И мысли черные вороньей стаей
Носились, глухо каркали над ним.

И думал он: «Так вот в чем бог солгал
Отцу, и мне, и людям. Ведь такое
Без воли и без ведома его
Немыслимо! Кто надвое разрезал
Жизнь и познанье, лютыми врагами
Их сделавши? Не бог ли это сделал?
Еще тогда, когда в своем раю
Деревья эти он сажал, Адама
Не сотворив еще,— уже тогда
Его и род его обрек на муку,
На вековечную! Ведь если знанье
Враждебно жизни, для чего желать
Познания? Зачем же мы не камень?
А если он хотел, чтоб не вкушали
Плодов познанья, для чего же древо

Он вырастил, в плоды соблазн влагая?
Желая, чтобы *живы* были мы,
Зачем сперва не приказал питаться
Плодами древа жизни?»

Словно чайка,
Которая, летая над трясиной,
Зовет детей и грудью рвет тростник,
То снова к солнцу в вышину взовьется
И все кричит, и вьется, и кружит,—
Так Каина мучительная дума
В кольце безвыходном металась, билась,
Бессильная. Усевшись под скалою,
Он отдыхал, облит холодным потом.
Закрыл глаза, и вновь пред ним возникло
Виденье рая, и другой дорогой
Мысль потекла его.
«Так в чем же — знанье?
И вправду ли оно враждебно жизни?
Выходит, так! Ведь это жажда знанья
В моей душе воспламенила злобу
На брата, сделала меня убийцей —
За то, что он, не мысля, по-простому
Хотел меня, родного, обратить
К той детской простоте, чья прелесть мною
Давно забыта? А куда оно
Ведет моих потомков? Зверя, птицу,
Себя терзают, землю обнажили,
Ища себе добычи для убийства.
Малейший камень, будь остер и тверд,
Годится им для стрел, ножей и копий;
Затем рога ломают у оленя,
У зверя зубы. От жены я слышал,
Что люди отыскали некий камень,
Который плавится в огне, как воск,
И этот камень превращают в стрелы,
Ножи и копья, тверже и острее,
Чем из кремня. Вот — знания дорога!
Кровь, раны, смерть оно приносит людям.
Так для чего стремимся к знанью мы?
Желаем смерти, значит? Нет, неправда!
Я разве смерти Авеля желал?
Я жить хотел по-своему — и только.

Желает ли охотник смерти зверя?
Он хочет жить, ему потребно мясо!
Он хочет жить и должен защищаться,
Чтоб зверь его не съел! А тот, кто лук
И стрелы выдумал, желал ли он,
Чтоб смерть явилась? Нет, лишь жить хотел он.
Придумывал опору, чтобы жить!
Итак, познание — не жажда смерти,
Не враг живым! Оно — дорога в жизнь!
Оно спасает жизнь! И в этом — всё!
Как та стрела, что убивает птицу,
Сама — не птица! Как тот нож, что режет,
Сам — не убийца! Не виновно в том
Познание! Оно — ни зло, ни благо.
Тогда лишь благо или зло оно,
Когда направлено на зло, на благо.
Кто ж направляет знание? В руках
Кто держит знанье, как охотник стрелы?
И кто охотник?»

Не привыкший мыслить,
Ум Каина, как раненая птица,
Метался, содрогался в темноте,
Но на вопросы ясного ответа
Не мог найти. И вновь иным путем
Пошел.

«А древо жизни — это что?
В его плодах какая сила скрыта?
И вправду ли они дают бессмертье?
Как видно, нет! Ведь даже эти люди
В раю, которые плодов вкусили,
Под злобными ударами толпы,
Я видел, падали и погибали.
Так что же плод давал им? А! Узнал!
Они на смерть спешили, как на праздник,
С улыбкой умирая; и своих
Мучителей они благословляли.
Что значит это? Смерть им не страшна!
Источник жизни в их сердцах таится!
Что ж это за источник?.
Вот, я видел:
Едва от древа жизни кто вкусил —

Вмиг просветлялся, благостным покоем
Охваченный, и звал других, скликая
Их всех к себе; врага, убийцу злого,
Как друга, обнимал; и был он, точно
Мед чистый, сотовый, благоуханный
И сладостный, и светлый, и приятный,
Одним священным чувством весь наполнен.
Так вот: одна великая любовь —
Источник жизни!»

И взметнулся Каин,
Как зверь испуганный, и озирался
Вокруг себя, шепча, как в исступленье:
«Одна любовь! Ужели так, о боже!
Ужели в этих двух словах лежит
Разгадка всех судеб, какой вовек
Ни древо знания, ни зверь не скажет
Таинственный? Несчастные вы люди!
Зачем вы к дереву тому стремитесь?
И что найти хотите вы у зверя?
К себе взгляните в сердце, и оно вам
Расскажет больше, чем все звери рая!
Добро, любовь! Ведь мы в себе их носим!
Их благостная завязь в каждом сердце
Живет — и надо лишь взрастить ее,
И разовьется! Значит, мы храним
В себе источник жизни, значит, к раю
Нам нечего и незачем стремиться!
О боже мой! Ужель возможно это!
Ужели с нами ты шутил, как шутит
Отец с детьми, в тот день, когда из рая
Нас изгонял, и тут же в сердце нам
Вложил свой рай, нас одарил в дорогу?»

И тотчас Каин дивно просветлел.
Спокойствие чудесно разлилось
В его душе. Забыты все страданья!
И солнце грело, и земля сияла,
Вся золотом и пурпуром одета,
Как девушка, умытая росою.
На краткий миг от счастья опьянев,
Он позабыл про все, за грудь рукою
Схватился, сам себе не веря.

«Боже!
Так это правда? Даже в этом сердце,
Увядшем, дряхлом и оцепенелом,
Живет еще, и дышит, и цветет
Тот райский крин, священная любовь!
О да! Я чувствую! Теперь впервые
За годы странствий возрождаюсь я
И оживаю! Точно груда снега,
В моей душе бесследно тает злоба.
Как жаль мне этих маленьких людей,
Несчастных, ослепленных! Как люблю
Их с этой слепотой, с их лютым горем,
С порывами к добру! Ведь на пути
Могучие соблазны ты им, боже,
Воздвигнул, и бессильной, беззащитной
Природу их ты создал! Эта искра
Познания, какую сберегают
Они и раздувают,— что́ в ней! Тьма
И тайна знание хранят, как стражи.
А путь иной, ведущий прямо к сердцу,
К любви простой и чистой, зверь иной
Замкнул им — быстрокрылая химера,
Она целительную эту правду
В мираж, в бесплодный призрак превращает,
И мечутся они, как лист сухой
В осеннем ветре,— режут, убивают
Друг друга, исступленней злого зверя,
Копают землю, к небу страстно рвутся,
Плывут по морю,— в небесах, за морем
Взыскуя рая, счастья и покоя,
Взыскуя благ, какие только в сердце,
В любви взаимной могут отыскать!

Что ж, неужели вечны их блужданья?
Ужель вовеки не найдут они
Пути прямого? Неужель напрасно
Дано им это вечное стремленье?
Нет, жить любому хочется! И разум
На то и дан любому, чтобы жизнь
От смерти отличить. И если он
Однажды лишь найдет дорогу в жизнь,
То вряд ли он пойдет дорогой смерти.
Я укажу им светлую дорогу!

Я, прадед их, открою правду им,
Добытую в веках моим страданьем,
Прижму к груди своей и научу
Людей — любить друг друга и оставить
Раздоры, и обиды, и убийства.
Убивший первым, искуплю свой грех
Тем, что людей избавлю от убийства.
О люди, дети, внуки дорогие!
Довольно плакать об утрате рая!
Я вам несу его! Несу вам мудрость,—
Она поможет новый рай построить,
В своих сердцах создать тот рай прекрасный!»

Так думал Каин, и к людским селеньям
Он устремился, сладостной тоской
По людям и любовью к ним влекомый;
Он шел вперед, спеша и спотыкаясь,
Не останавливаясь отдохнуть
И отдышаться. Сердце, точно птица
Плененная, металось. Вихрем ярым
Воспоминания забытых лет
В нем поднялись, когда из-за холма
Вдруг синей тучкой показался дым
Людских жилищ. Как резвый мальчик, он
Взбежал на холм, что было сил, и стал,
И долго-долго любовался видом,
Раскинувшимся перед ним,— стократ
Чудеснее, чем все виденья рая.

Какое зрелище! Там, в глубине,
Гладь озера раскинулась, синея,
Как зеркало из хрусталя, вдали
Сливаясь с небом. Берега, роскошно
Одетые в зеленые уборы,
Роняя в воду рукава одежды,
Полощутся, любуются собой
В том зеркале, спокойном и глубоком.
А ближе — взгорья, в зарослях могучих,
Как бы венком роскошным отделили
Тот уголок от всей вселенной.
Глянь!
Вон, в тихой заводи, не слишком близко
От берега, как выводок утят,—
Поселок виден. На больших столбах,

Забитых в дно озерное, стоят
Дома людей, укрытые осокой,
С навесами, с широкими мостками.
Дымки над кровлей. Женщины в домах
Перекликаются. А по воде,
Как пауки, челны снуют проворно —
Там рыбаки широкий невод тянут
И с криком веслами гребут, на солнце
Сверкая костяными острога́ми.
А позади селения, на взгорье —
Широкая площадка; но не пчелы
По ней летают, не шмели гудят:
Там веселится молодежь. На солнце
Лоснится смуглое, нагое тело,
И голоса разносятся, и ветер,
Играя, развевает черный волос.
Одни бегут вперегонки, другие,
Сплетаясь в танце, ходят, собирают
Большие раковины на прибрежье,
Иные дружно напрягают лук,
Стреляя в цель, а прочие кольцом
Сголпились возле старика. Седой,
Сидит на камне он и напевает,
Бренча струной.

Все это видел Каин
Как на ладони, плакал и смеялся
От радости. Он так давно не видел
Людей! И вид их мирного труда,
И радостей, и горестей вседневных
Таким ему прекрасным показался,
Что, очарованный, застыв на месте
Глядел он, не мигая, упивался
Тем зрелищем, как величайшим счастьем.
Тут детвора крик подняла: на луке
Порвалась тетива. «Дедуня Лемех,
Поправьте лук!» И дед игру оставил,
За лук взялся, внимательно ощупал
Со всех сторон, седою головой
Покачивая благодушно. Каин
Тотчас же догадался: дед — слепец.
Вот вынул из-за пазухи струну
И натянул на лук, и вдруг ударил

По ней. Как ласточка, защебетала
Струна,— и что-то осенило старца.
«Эх, дети! — крикнул он и поднялся.—
Уж я старик, слепец, а все ж готов
Померяться в стрельбе с любым из вас».

«Ого! Дед Лемех за стрелу берется! —
Заголосили мальчики.— Дедуня!
Давайте же начнем стрелять по цели!»

«А где же цель? Ведите и меня
Туда, где надо стать!»
Но тут другие
Заметили, что Каин приближался
К площадке их.
«Спасите! Там чужой
Идет! Разбойник! Дикий человек!
Спасите, дедушка!»
И, как цыплята
От ястреба, они сбежались к старцу.
Дед Лемех вздрогнул.
«Где, какой дикарь?» —
Спросил сурово.
«Из-за кедра вышел!
Сюда идет!»
И тут старик, ни слова
Не говоря, взял новую стрелу
Вложил и — выстрелил.
«Стой, Лемех, стой! —
Раздался голос.— Я твой прадед Каин!..»

Но в этот миг пернатая стрела
Ему вонзилась прямо в сердце. Резко
Взметнулся Каин и ничком на землю
Упал,— и острие пронзило спину,
А руки судорожно в землю врылись
И замерли на ней.
«Ура, дед Лемех!» —
Мальчишки вскрикнули, но Лемех только
Махнул рукой. Он, бледный как мертвец,
Стоял недвижно, уронив на землю
И лук и стрелы.

«Что с тобой, дедуня?» —
Защебетали дети, но старик
Чуть выговорил тихо: «Что сказал
Тот человек?»

«Что будто бы он — Каин,
Ваш прадед».

«Каин? Это невозможно!
Мой прадед Каин! Дети! Горе нам,
Большое горе, если это правда!
Скорее гляньте, что с ним?»

«Он упал
Вон там, под кедром, и лежит спокойно».

«Скорей к нему! Ведь, может быть, он жив!
О господи, не дай греху свершиться,—
Не дай пролить мне Каиновой крови!»

И, спотыкаясь, содрогаясь весь,
Пошел дед Лемех, а за ним толпою
Шла детвора. Незрячий, все же прямо
Он шел туда, куда пустил стрелу,
Покуда не споткнулся, не упал
На тело Каина.

«Да! Это он! —
Как исступленный, вскрикнул Лемех.— Дети,
Погибли мы, и весь наш род погиб,
Погиб навеки! Каин принял смерть
От рук моих! Зовите же отцов,
Зовите всех сюда!»

Покуда дети
Скликали старших, старый Лемех сел
У трупа и, рукою прикасаясь
К лицу его, к простреленной груди,
Завел тихонько, как над колыбелью,
Дрожащим голосом такую песню:

«Слушай, Цилла, слушай, Ада,
Дома моего отрада,
Слушай божий глас:
Кто над Лемехом смеется,

Тем насмешка отзовется
За один — семь раз.
А кто Каина коснется,
С тем — пойми — сам бог сочтется
Семьдесят семь раз».

Не умолкая, как безумный, пел
Он песню. Все селенье между тем
Здесь собралось. Кольцом широким люди
И тело и убийцу обступили.
Вот, наконец, как бы очнулся Лемех
И, голову поднявши, будто сонный,
Промолвил: «Что же, есть ли кто со мной?»
«Мы все тут, старый!» — зашумели люди.
«Так плачьте, дети! Вот наш пращур Каин,
Он проклят богом за убийство брата
И семикратно проклят им за то,
Что к нашему приблизился поселку
И смерть приял от рук моих! И смерть
Его всех нас проклятью обрекла,
Злой каре — и детей и внуков ваших!
Так плачьте, дети! Плачьте над собою!
А мертвое, отверженное тело,
Не прикасаясь, схороните тут,
Чтоб света божьего не осквернял он,
Чтоб на него и солнце не глядело,
Чтоб зверь, его наевшись, не взбесился,
И птица, наклевавшись, не издохла!
Возьмите камни, ими забросайте
Его, как пса, сухим песком засыпьте
И обсадите тёрном! И навек
Будь проклято и место, где лежит он!»

И кинулись все люди с диким криком
И воплями — закидывать камнями
Убитого. Лежал он, как дитя
Уснувшее, с простертыми руками,
С лицом спокойным, ясным, на котором,
Казалось, не изгладила и смерть
Улыбки просветленья и любви.
Но скоро грудою каменьев труп
Закрыло вовсе; а случайный камень
Расплющил череп, придавил к земле,
Похоронил навеки под собою.

1889

Посвящаю А. Крымскому

I

Пирамидою зеленой
на волнисто-синем фоне,
исполинским изумрудом
на равнине синевы,—

над прекрасным южным морем,
под спокойным теплым небом
дремлет, пышно зеленея,
в тихом сне гора Афон.

Дремлет ли? Ведь мать-природа
с неустанною заботой
наряжает, забавляет
дочь любимую свою.

Там, внизу, из волн шумливых
величавые утесы
гордо устремились к небу —
стены, портики, столпы,—

там, внизу, оркестр могучий
ни на миг не умолкает,
плещут волны о каменья,
пена брызжет серебром.

А вверху — крутые склоны,
сплошь поросшие лесами,
что-то шепчут неустанно,
без начала, без конца.

Но гора затихла в дрёме;
день и ночь плывет над нею
как бы розовая дымка,—
нет ни звука. Тишина.

Хоть повсюду вдоль ущелий
узкие ползут тропинки,
но ни голосов, ни смеха
на тропинках не слыхать.

Хоть рассыпаны повсюду
по лесам, обрывам, скалам,
по нагорным луговинам
поселения людей,—

но глубокое молчанье
залегло в селеньях этих,
и торжественным молчаньем
запечатаны уста.

Тишина, покой, молчанье,
строгие, худые лица,
одноцветные одежды,
непоспешные шаги.

Лишь три раза в день по склонам
колокольный звон несется,
будто где-то над горами
лебединый дальний крик.

В скорбном плаче колокольном
как бы скрыта укоризна
хмурым людям, умертвившим
благодатный этот край

и гнездо высоких мыслей,
школу гордых устремлений,
взлет орлиный превратившим
в черную тюрьму души.

II

В воскресенье по вечерне
зазвонили на Афоне:
подал голос Прот великий,
отозвался Ватопед.

Дальше звякнул Эсфигмену,
загудел Ксеропотаму,
там Зографу, после — Павлю,
раззвучался Иверон.

Покатились по отрогам
скорбные рыданья меди,
и ответствуют утесы,
и ущелья, и скиты.

И ответствуют им вздохи,
крестятся худые руки,
тихий шепот отвечает:
«Со святыми упокой!»

Этот скорбный голос меди —
знак прощанья с жизнью бренной —
никого здесь не тревожит:
это будничная весть.

Скитник ли в скиту скончался
так, как жил,— один, безмолвный,
и узнали о кончине
только через много дней —

по тому, что не пришел он
к монастырскому подворью,
не принес своей работы,
пригоршни бобов не взял?

Или инок в тесной келье
умер над святою книгой,
киноварью и лазурью
украшая письмена?

Или послушник скончался —
в грешном мире князь и воин —
здесь же, в кухне монастырской,
скромный служка с давних пор?

Или иерарх скончался,
настоятель ли, игумен,—
всем почет здесь одинаков:
«Со святыми упокой!»

Или кто-то из живущих
ныне путь свой завершает,
мир привольный покидает,
чтоб в пещере смерти ждать?

Глянь, вон там,— в стене гранитной,
в крутизне скалы, нависшей
над неистовым прибоем,—
ласточек ли гнезда там?

Нет, там выдолблены норы,
недоступные, глухие,
выбиты в горах пещеры,
словно птиц морских приют.

Это норы для аскетов,
здесь свершают путь последний,
здесь находят, без возврата,
в вечность узкие врата.

Кто изведал послушанье,
строгий и́скус монастырский
и тяжелый, молчаливый
труд в таинственном скиту,—

кто стремится здесь закончить
строгий подвиг аскетизма,
в одиночестве, в молчанье
внемля голосу души,—

кто порвал все связи с миром,
поборол соблазны плоти,
кто почувствовал желанье
в очи вечности взглянуть,—

тот, с соизволенья старших,
ищет для себя пещеру,
ищет для себя могилу,
из которой нет пути.

И тогда рыдают звоны,
и в стенах Афона древних
шепчут чернецы чуть слышно:
«Со святыми упокой!»

III

В воскресенье по вечерне
зазвонили на Афоне:
подал голос Прот великий,
отозвался Ватопед.

После звякнул Эсфигмену,
загудел Ксеропотаму,
там Зографу, после — Павлю,
раззвучался Иверон.

Покатились по отрогам
скорбные рыданья меди,
и ответствуют утесы,
и ущелья, и скиты.

Звон затих, но отголоски
долго в воздухе звучали,
и в монастыре Зографу
петли скрипнули ворот.

Раскрываются ворота;
с монастырского подворья
с монотонным, тихим пеньем
выступает крестный ход.

Веют рдяные хоругви,
будто отсветы пожара;
деревянный крест с распятым
тихо впереди плывет.

Бородатые монахи
в ярко рдеющих фелонях,
а за ними вслед — монахи
в власяницах, босиком.

Посреди согбенный старец,
сморщенный, седобородый,
в самотканой власянице,
крест березовый несет.

Крест из двух кусков березы,
а от моря ветер веет,
борода седая старца
разметалась по кресту.

И плывет усталый голос
в лад с напевом монотонным,
повторяющим уныло:
«Со святыми упокой!»

По тропе крутой, змеистой,
крестный ход идет все дальше,
лугом, лесом — прямо к морю,
а оно шумит вдали.

Над цветеньем рощ несутся
похоронные напевы,
над пахучими лугами
стелется кадильный дым.

Вот остановились люди
у отвесного обрыва,
над бездонной глубиною,
ужасающей сердца.

Как твердыня из гранита,
голая скала отвесно
поднялась из бездны моря
в голубую вышину.

«Внизу, у гор, село лежит...»

Глянуть сверху — челн на море,
колыхаемый волнами,
кажется как белый лебедь
на безбрежной синеве.

Глянуть снизу — эти люди
у отвесного обрыва
кажутся овечьим стадом,
что пасется на скале.

Снизу виден в той твердыне
черный четырехугольник —
исполинскою печатью
в половине высоты.

Это виден вход в пещеру,
вход в могилу для живого,
высеченную когда-то
и неведомо зачем.

Не пробраться в ту пещеру
ни ползком, ни по ступеням,
можно только на канате,
точно птица, долететь.

На краю скалы приметен
след, протертый здесь канатом,
как неложная примета,
что внизу — в пещеру вход.

Тут остановились люди,
стали править панихиду...
Где же тот, кого хоронят?
Где блаженный тот аскет?

IV

Отслужили панихиду,
и последнюю молитву,
преклонив колена, шепчут
схимники и чернецы.

И встает игумен первым,
и встают за ним другие,
тишина вокруг настала,
только моря слышен гул.

И тогда, возвысив голос,
говорит игумен старцу,
посреди толпы монахов
предстоящему с крестом.

Игумен

Старец Иоанн, пред богом,
перед солнцем лучезарным
и перед крестом господним
заклинаю я тебя!

Отвечай чистосердечно:
по своей ли доброй воле
и по зрелому решенью
ты идешь в пещеру?

Старец

Да.

Игумен

Отрешился ли ты сердцем
от греховных помышлений,
от соблазнов бренной жизни,
от друзей и от родных?

Отрешился ли навеки
от всего, что дух уводит
прочь с единственной дороги
к вечному покою?

Старец

Да.

Игумен

Взвесил ли умом все бремя
испытания, все муки
одиночества в пещере,
искушений маету?

Взвесил ли умом всю горечь
бесполезных сожалений,
яд раскаянья, готовый
отравить твой подвиг?

Старец

Да.

Игумен

Восхвали же имя бога!
он внушил тебе сей подвиг,
пусть же бог тебе поможет
до конца пройти сей путь!

До сих пор между живыми
был ты — Иоанн Вишенский;
но отныне это имя
вычеркнуто на земле.

Так ступай своей дорогой!
Крест, какой в ладонях держишь,
вот тебе наш дар единый,
и не надобно иных.

Пропитание, какое
телу твоему потребно,
брат ключарь еженедельно
будет опускать тебе.

Так прощай! И в знак прощанья
поцелуй прими последний.
Да сподобит нас всевышний
вскоре отойти к нему! —

Целовал игумен старца,
прочие монахи тихо
руки старца лобызали
и его одежд края.

После двое самых младших,
преклонившись, обвязали
старца, и концы каната
крепко стиснули в руках.

И перекрестился старец,
подошел к обрыву смело,
сел и начал опускаться
в ужасающую глубь.

Ветер буйно дул от моря,
бороду седую старца
развевал, и он, прижавши
крест к груди, ушел из глаз.

V

«Здравствуй, мирная обитель,
пристань тихая, благая,
о которой непрестанно
тосковал я с давних пор!

Камень, ставший мне оградой,—
знамя веры необорной,
мой приют, мое жилище,
изголовье и покров.

Крест вот этот — мой товарищ,
спутник мой в годину скорби,
оборона от соблазна
и опора в смертный час.

Небо синее, порою
видное в раствор пещеры,—
светлая моя надежда
отойти в небесный путь.

Солнце ясное, в пещеру
сыплющее при восходе
пламя — золото и пурпур,—
лучезарный божий дух:

он в блаженные минуты
грешный разум человека
всеми радостями рая
одаряет без конца.

Море ж синее, беспечно
искрящееся на солнце,
но ревущее сердито
здесь внизу, у грозных скал,—

это образ нашей жизни,
привлекательный и ясный,
если глянуть издалёка,—
мрачный, яростный вблизи.

Вот мой мир. Что было бренно —
все исчезло. Стихли крики,
голоса житейской битвы
до меня здесь не дойдут.

Все исчезло — все тревоги,
все заботы, все волненья,
все, что душу отвращает
от возвышенных путей.

Остается лишь величье
постоянства и покоя —
о великом лишь и вечном
помышляй, душа моя».

Так наедине с собою
говорил в пещере старец —
тот, кого Вишѐнским звали,
кто отныне мертв для всех.

Говорил он не устами —
издавна уже устами
говорить он разучился,
внемля голосу души.

И в углу своей пещеры
сел на камень он, плечами
оперся о свод холодный,
тихо голову склонил.

Голова его большая
на иссохшей, длинной шее
наклонялась мимовольно,
как тяжелый, спелый плод.

Бородой о грудь опёршись,
вдаль глядел он неподвижно
и сидел так долго, долго,
как бы погруженный в сон.

Поначалу все, казалось,
смерклось перед ним, и дрожью
сотряслось худое тело,
помутилась мысль его.

А потом, теплом повеяв,
разливая в теле сладость,
что-то нежно и щекотно
прикоснулось вдруг к нему.

На мгновенье — мать мелькнула:
да, вот так, в далеком детстве,
мать, лаская, щекотала
сына, и смеялся он!

Слухом после ощутил он:
словно нити из алмазов,
звук протяжный вдруг возникнул —
ласковый и светлый звук!

И, как мотылек к лампаде,
так душа стремится к звуку,
и все больше, больше звуков,
всё стремительней они.

Вот слились они рекою
в гармонических аккордах —
кажется, в аккордах этих
слиты небо и земля.

И плывет душа аскета
в гармоническом потоке,
точно лебедь, колыхаясь
по волнам — то вверх, то вниз.

Между небом и землею
вверх и вниз душа аскета,
колыхаема, несется
все свободней, все быстрей!

И поток гармоний этих
светится, цвета меняя:
то лиловый, то лазурный,
то пурпурно-рдяный цвет.

Вот из этих волн пурпурных
брызнул пламень золотистый,
огненный вулкан взметнулся,
реки света пролились.

Разлилось сплошное море
света ясно-золотого,
изумрудно-золотого,
ярко-белого, как снег.

Бьют каскады световые,
исполинские колеса,
радужным огнем играя,
катятся по небесам.

И незримою рукою
ткутся огненные ленты,
ткутся мириады звуков,
наполняя целый мир.

Собираясь, разбегаясь,
смешиваясь, собираясь,—
как в стекле калейдоскопа,
вся вселенная плывет.

Как дитя, душа аскета
потонула в этом море
звуков, красок, в этом ярком
празднестве,— и он заснул.

VI

День за днем идут, сменяясь,
как в безбрежном океане
за волной волна проходит,
как на небе — облака.

В тишине пещеры старец
вновь на камне неподвижно
почивает, взор уставя
в ярко-синий свод небес.

Вдруг — о, чудо — шевельнулось
что-то! На почти не видной
нити с потолка пещеры
опускался вниз паук.

Затаив дыханье, старец
следовал за ним глазами,
как за неким чудом или
пришлецом с другой земли.

А паук меж тем проворно
сверху донизу у входа
нитку натянул, по нити
снова кверху побежал.

И забегал неустанно,
добывая, заплетая
нить, и вскоре паутина
вход в пещеру заплела.

Мыслит старец: «Видно, это
жизнь земная посылает
соглядатаев за мною,
хочет выследить она —

нет ли малой паутинки,
чтоб связать с былою жизнью
дух мой, и по этой нити
помыслы увлечь мои?

Сей паук, быть может,— дьявол,
он своей лукавой сетью
хочет уловить, проклятый,
думы и мечты мои».

И уже занес он руку,
чтобы сбросить паутину,
но внезапно мысль иная
промелькнула в голове.

«В оны дни ушли семь братьев
от языческой погони,
на пути найдя пещеру,
в ней заснули крепким сном.

А паук вот так же сетью
затянул весь вход в пещеру,
спрятал братьев от погони,
спас во славу божью их.

Паутиною сокрыты,
спали братья в той пещере
триста лет, пока господь их
не позвал к себе на суд.

Пробудясь по слову бога,
встали братья, как живое
доказательство, что триста
лет — для бога только миг.

Не господним ли веленьем
сей паук здесь нижет сети,—
не меня ли бог поставил
как свидетеля себе?»

Но тихонько зазвенела
паутина; это муха,
в сеть запутавшись с налету,
стала дергаться, пищать.

И паук тотчас явился
и поспешно паутиной
стал опутывать добычу,
муху накрепко вязать.

То подскочит и укусит,
то отскочит, снова вяжет;
муха мечется в тенетах,
дергается и пищит.

«А, проклятый кровопийца,—
молвил старец,— для того ли
ты проник в мою пещеру,
чтобы убивать и здесь?»

И уже занес он руку,
чтобы сбросить паутину,
пленницу от мук избавить,—
но остановился вновь.

«Без господнего веленья
даже муха не погибнет;
пауку, убийце злому,
дар его от бога дан.

Неужели же я вправе
паука лишить той пищи,
для которой положил он
столько силы и труда?»

И опять, кладя поклоны,
начал ревностно молиться,
но и сквозь молитву слышал
муху; как дитя, она

трепетала в паутине,
и пищала, и молила.
Сердце старца содрогалось,—
но рука не поднялась.

VII

«До утра метался ветер,
жалобно стонал в утесах,
выло море и каменья
грызло, яростно кроша.

До утра жестокий холод
душу леденил и тело,
как на судбище последнем
я дрожал и костенел.

Я дрожал, в углу пещеры
укрываясь, и тревогой
был охвачен, и молитва
замерла в моей душе.

Видел я себя бессильным,
нищим, жалким, одиноким,
бесприютным сиротою,
без семьи и без родни.

Чудилось — земля застыла,
вымерли все люди в мире,
и один лишь я остался
изнывать в горниле мук.

Чудилось — сам бог там, в небе,
мертв, и лишь диавол черный
ныне властвует вселенной,
и пирует, и ревет.

И казался я пылинкой,
столь презренной и ничтожной,
что и бог, и черт, и люди
позабыли про нее.

Но теперь блеснуло солнце,
скрылись демоны ночные,
бешенство ветров утихло
и повеяло теплом.

И теплом согрето тело,
и душа воскресла в теле,
обрела, как прежде, бога
и молитву обрела.

Что же это за теснины,
где мечта моя блуждает?
Этого тепла частица
в теле душу родила!

Так удар огнива искру
из кремня зовет наружу,
искра ж — порождает пламя,
жар и блеск, тепло и жизнь.

Жар и жизнь, тепло, сиянье,
где и смерть, и разрушенье,
и рожденье, и бессмертье,—
вот душа вселенной — бог.

Капля лишь тепла и света,
вспыхнув искрой, в мертвом теле
пробуждает душу,— значит,
без тепла в нем нет души.

А в душе тепло рождает
ясность, и восторг, и веру,—
значит, без тепла ни веры,
ни восторга нет в душе.

Вера ж чудеса рождает,
высшее рождает чудо —
вера порождает бога,
открывает нам его.

Бог явился нам — о, чудо!
Он являлся лишь при солнце,
только в жарких южных странах.
в блеске молний и в огне.

В реве вихря, в тьме полночи,
в снежной буре и метели
никому он не являлся.
Значит, бог — тепло и свет!

Но ведь бог — всему создатель,
он творец тепла и света...
Кто же лед и холод создал?
Библия о том молчит.

Да, тепло в бездушном теле
возрождает душу снова,
а в душе рождает веру,—
высший плод той веры — бог...

Так возможно ли помыслить,
что сама душа, и вера,
и сам бог — лишь порожденье
этой капельки тепла?

Мысль такая не грешна ли?
Но ведь бог велит стремиться
к правде... Ведь без воли бога
мысль такая не придет!»

Так боролся с мыслью старец,
и молился, и томился,
но былого просветленья
он не мог уже вернуть.

И рыдал он: «Для того ли
я свою оставил келью,
бросил скит укромный, чтобы
здесь в сомненьях погибать?»

VIII

«Неожиданные гости
забрели в мою пещеру!
Кто послал их и откуда
ветер их сюда принес?

Лепестки, белее снега —
снег ли это? Нет, не тают!
Дивным запахом пахнуло...
Боже мой, вишневый цвет!

Цвет вишневый — в этих скалах!
Где тут вишни на Афоне?
Гости дивные, скажите,
не таясь,— откуда вы?

Этот запах ваш чудесный
прямо в сердце проникает,
счастьем душу наполняет,
веет близким и родным.

Вы, наверно, с Украины,
из краев родных, далеких:
там теперь в цвету вишневом
села белые стоят.

Слышу, слышу милый запах,
и мое больное сердце
встрепенулось! Боже правый,
значит, я не позабыл?

Значит, эта Украина,
этот светлый рай веселый,
этот ад кровавый, страшный —
не чужая для меня?

Что мне до нее? Конечно,
тяжко ей, несчастной, биться
с езуитами да с панством,—
но и мне ведь нелегко.

Ждет меня иная битва,
битва та, какую должен
каждый выдержать с собою,
прежде чем идти к другим.

Разве лучшие стремленья,
чувства, помыслы, порывы
я не отдал, помогая
родине в ее борьбе?

Разве не был ей поддержкой
на неверных перепутьях?
Разве не вливал отвагу
в пошатнувшихся бойцов?

Разве не терзала душу
злая их неблагодарность,
самовластье, непокорство
их бессмысленной толпы?

Разве тягость их гордыни
прочь меня не оттолкнула?
Разве прах земной навеки
не отряс я с ног моих?

Что ж вы, ласковые гости,
милые мои скитальцы,
забрели с весенним ветром,
запахи свои неся?

Нет, не для меня ваш запах!
Ни к чему мне больше память
о далекой Украине —
для нее я мертв давно!

Мертв! Зачем же сердце бьется,
кровь живее заструилась,
дума легкой чайкой реет
над родным моим селом?

Пиги! Пиги! Пахнут травы...
Вишни в молоке цветенья...
Вербы в зелени весенней...
Дым над крышами села...

Соловей в ветвях калины
свищет так, что сердце стонет...
Дети бегают... Девичьи
песни за селом слышны...

Прочь, непрошеные гости!
В пристань тихого покоя
вы приносите тревогу,
жизни шум в мой мирный гроб!»

IX

Вечереет. Тень густая
от скалы легла на море,
а вдали сверкают волны
золотом и багрецом.

Со скалы своей высокой
старец смотрит вниз, на море,
по волнам золото-рдяным
он дорогу проложил.

Дальняя легла дорога
через горы, через долы,
на родную Украину
старец мыслями летит.

Шлет он ей привет сердечный,
и любовь свою, и горесть —
все те чувства, что, казалось,
похоронены давно.

Вдруг дорогой этой ясной
судно тихо подплывает,
брызжут золото и пурпур
из-под весел и руля.

Ветерок вечерний, теплый
раздувает белый парус,
и плывет, как лебедь, судно,
путь держа к горе Афон.

Братчики ль на нем ходили
странствовать в края чужие,
собирая подаянье?
Или местные купцы?

Или из иного края
набожные пилигримы
собрались на поклоненье?
Или к Проту посланцы?

Старец проводил глазами
судно до тех пор, покамест
не исчезло за скалою,
а исчезло — он вздохнул.

Показалось вдруг: на судне
рдеют кунтуши казачьи,
шапки с алыми верхами...
Нет, почудилось ему!..

X

Снова ночь, и снова утро,
и поклоны, и молитва,
но тревога в сердце старца,
и смятенье, и тоска.

И внезапно стук он слышит —
кто-то наверху о камень
мерно камнем ударяет;
и ответил он на стук.

И спускается корзинка
с бедной трапезой обычной,
а на дне ее посланье
неизвестное лежит.

Затряслись у старца руки:
скорописью украинской
писано посланье это
и знакомая печать.

«Старцу честному Ивану,
одиноко на Афоне
путь вершащему нелегкий,
путь, указанный Христом,—

православные с Украйны,
ради братского совета
собравшись в местечке Луцке,
шлют моленье и поклон.

Слава господу вовеки:
он о нас не забывает
и суровые, для блага,
испытания нам шлет.

Тяжкие его удары
нас куют, как бы железо,
нас от скверны очищают,
закаляют, аки сталь.

Слава господу вовеки
и молитвам богомольцев,
бремя крестное за братьев
возложивших на себя.

Милостью его святою
и молитвой богомольцев
мы не пошатнулись в вере,
не утратили надежд.

Враг свирепый, ненасытный
явно борет нас и тайно,
и обманом, и изменой
подрывает, точит нас.

Отреклись от нас вельможи —
и князья и воеводы
кинули Христово стадо,
за мамоною спешат.

Наши пастыри святые,
волку лютому подобны,
расхищают божье стадо
и отраву в души льют.

Аки ярый лев в пустыне,
так рычит над нашим горем
голос лютого насилья:
«Где ваш бог? Где ваша мощь?»

Оттого-то все мы — утлый
челн среди волненья моря —
со слезами и молитвой
собрались вершить совет.

Помня заповедь Христову:
царство божье — труд великий,
лишь трудящиеся честно
могут обрести его,—

помня о твоем завете:
в час, когда изменит пастырь,
надлежит помыслить пастве
о спасении своем,—

рассуждали мы соборне,
как бы нам от грозной бури
хоть каким-нибудь оплотом
церковь божью защитить.

И решили мы все силы
съединить в одном усилье,
чтобы общее нам дело
преуспело и росло.

Вот затем и посылаем
наших братчиков с мольбою
к старцу честному Ивану:
будь отныне кормчий наш.

Воротись на Украину,
согревай нас теплым словом,
будь как бы костер великий
в тьме ночной для пастухов.

Как костер, в ночи горящий,
согревающий замерзших,
зверя дикого гонящий,
радующий всех живых.

Будь для нас отцом духовным,
будь возвышенным примером,
будь молитвой душ усталых,
нашим кличем боевым.

Рассуди: страданий горечь
злобу насаждает в душах,
непрестанные обиды
замыкают нам уста.

Рассуди: неправда злая,
точно алчная волчица,
в логове своем смердящем
порождает лишь волчат.

Рассуди: изменой, ложью
уничтожена правдивость;
у кого отрава в сердце —
лишь отравой дышит тот.

Отче, отче! Злое горе
изъязвляет наши души;
пусть беззубы, но волчата
ползают уже средь нас!

Отче, отче! От ударов
гнутся головы и спины,
и жестокою отравой
переполнилась душа!

Появись же между нами,
старый воин непреклонный!
Твой приход нас, ослабелых,
выпрямит и укрепит.

Слышишь, кличет Украина,
мать-старушка в час невзгоды
со слезами призывает
милое свое дитя.

Время трудное настало,
перекрестная дорога
перед нею,— кто покажет
путь, каким вперед идти?

Не пренебреги моленьем!
Матери спеши на помощь!
Может, голос твой и разум
дело обратят к добру».

А поверх письма приписка:
«Посланные с Украины
завтра утром ждут ответа,
завтра будут на скале».

XI

По пещере ходит старец,
крест по-прежнему сжимая,
тихо шепчет он молитвы,
гонит мысли о письме.

«Крест — единое богатство,
крест — единая надежда,
крест — единое страданье
и единый мой приют.

Все иное — лишь мечтанье,
лишь бесовские соблазны;
путь единый ко спасенью
и правдивый — путь креста.

Что мне и письмо и голос?
Кличут старца Иоанна.
Нет здесь старца Иоанна,
он давно уж мертв для всех.

Что теперь мне Украина?
Пусть спасается, как знает,—
мне бы самому тихонько
дотянуться до Христа.

Я бессилен и греховен!
Я не светоч, не мессия,
их от муки не избавлю,
с ними пропаду и сам.

Нет, не изменю я богу,
не нарушу я обета,
бремя крестное достойно
до могилы донесу.

Близок час. Не оттого ли
вал последний подступает
и последний путь скитальца
так мучительно тяжел?

Ждать недолго. Боже, боже!
Облегчи мне это бремя!
Освети мне путь последний,
затерявшийся во мгле!»

Так всю ночь молился старец,
обливал лицо слезами,
крест руками обнимая,
будто к матери приник.

Он рыдал, шептал, молился,
но вокруг — темно и глухо,
и в душе — темно и глухо,
просветление не шло.

А когда воскресло солнце,
он сидел и ждал тревожно,
ждал, пока взгрохочет камень,
раздадутся голоса.

Вот грохочет камень глухо,
старец сразу встрепенулся,
но рука не протянулась,
не ответила на зов.

«Старец Иоанн! Откликнись!» —
слышен зов, и в зове этом
чудится, звучит тревога,
и надежда, и мольба.

«Старец Иоанн! Откликнись!
Здесь посольство с Украины,
здесь твои родные дети!
Старец Иоанн! Ответь!»

Старец, затаив дыханье,
жадно слушал этот голос,
звуки речи украинской,
но ответа не дал он.

«Старец Иоанн! Откликнись!» —
долго посланные звали,
но лишь море рокотало,
не ответил им Иван.

XII

Вечереет. Будто сизый
полог, тень легла на море,
а из-за горы закатный
луч по морю пробежал.

Золотистая дорожка
пролегла от волн шумливых
вплоть до верхних скал Афона,—
а внизу шумит волна.

У преддверия пещеры
сгорбленный сидит пустынник
и рыдает безутешно,
наклонившись над письмом.

«Слышишь, кличет Украина,
мать-старушка в час невзгоды
со слезами призывает
милое свое дитя».

«Милое дитя, еще бы!
А дитя в такую пору,
в дни тягчайших испытаний
покидает мать свою!

А дитя в своем безумье
лишь себе спасенья ищет,
братьям же, терпящим горе,
и не думает помочь!

Разве вправе ты, несчастный.
глиняный сосуд разбитый,
думать о своем спасенье
там, где гибнет весь народ?

Вспомни заповедь Христову:
пастырь добрый тот, кто душу
положить готов за паству.
Разве ты не пастырь им?

Вспомни заповедь Христову:
«Кто устами любит бога,
но не помогает брату,
тот — непоправимый лжец».

Ты за все людские души,
что теперь впадут в безверье
без твоей поддержки,— богу
должен будешь дать ответ.

Ибо вся твоя гордыня,
все надежды на спасенье
тут, вдали земных соблазнов,—
тягостный соблазн и грех.

Не господень путь избрал ты,
а диаволу ты служишь,
мастеру гордыни, вровень
с богом вздумавшему стать.

Не господень путь! И даже
если рая ты достигнешь,
но земля твоя родная,
твой народ погибнут тут,—

ведь тогда в мученья ада
обратится рай! Одна лишь
мысль: «Я мог им быть спасеньем» —
в ад преобразит твой рай!»

И смертельная тревога
охватила сердце старца,
хладным потом лоб усеяв,—
и дыханье пресеклось.

И взглянул он вновь на море,
где чертой золототканой
над волнами прочертились
тени от горы Афон.

Вот из глубины залива
судно тихо выплывает,
стороною затененной
к солнцу светлому бежит.

Турчин судном управляет,
рядом кунтуши казачьи,
шапки с алыми верхами,
весла брызжут багрецом.

Посланные с Украины!
Встрепенулось сердце старца,
и в тоске, себя не помня,
руки он, дрожа, простер:

«Стойте! Стойте! Воротитесь!
Я живу еще! Как прежде,
я люблю свою Украйну,
ей отдам остаток дней!

Стойте! Стойте! Воротитесь!»
Но куда! Не слышат зова.
И по водам золотистым
судно уплывает вдаль.

И ломает руки старец,
и больное сердце стиснул,
и перед крестом на камни
он кидается ничком.

«О распятый! Ты оставил
нам завет свой наивысший:
возлюбить всем сердцем ближних,
жизнь за други положить!

О распятый! Снизойди же!
О, не дай мне погрузиться
в бездну безысходной муки,
в глубину, где веры нет!

Дай любить всем сердцем братьев,
жизнь за други полагая!
Дай мне только раз увидеть
мой любимый край родной!

Вот, взгляни: остаток нити,
что меня вязала с жизнью!
О, не дай ей оборваться!
Обрати ее сюда!

Ниспошли противный ветер!
Подыми волну до неба!
Или дай мне, словно птице,
с вышины скалы слететь!

Ты ведь благостен, всесилен!
Если же моя молитва,
и молчание, и подвиг,
и работа, и посты

хоть крупицу заслужили,
хоть пылиночку награды,—
я охотно, о распятый,
все без жалости отдам.

Все отдам, готов, как грешник,
изнывать в смоле навеки,—
лишь одно теперь сверши ты
чудо: судно возврати!

Или птицею крылатой
дай мне вниз слететь отсюда,
или по лучу заката,
словно по мосту, сбежать.

Ты и сам, еще младенцем,
по лучу прошел из храма
и по морю среди бури,
как по суше, проходил.

Дай, о, дай мне это чудо!
Лишь одно, на миг единый!
Не оставь меня в тревоге,
как бессильное дитя!»

Так молил Иван Вишенский,
крест в руках своих сжимая,
и почувствовал, как дивно
облегчилась боль его.

Так легко, покойно стало,
вдруг исчезли все тревоги,
вера дивно овладела
обновленною душой.

Вера в то, что бог услышал
неотступное моленье,
что пришло мгновенье чуда —
просветление пришло.

То, чего он ждал так долго,
вдруг овеяло, как ветер,
как гармония святая,
райских кущей аромат.

И в восторге он поднялся,
и перекрестился трижды,
и благословил лучистый
путь, струившийся в волнах.

Ничего уже не видя,
только этот путь лучистый
и в далеком море судно,—
шаг ступил он — и исчез.

А в пещере опустелой
только белый крест остался,
как скелет былых иллюзий,—
и волны немолчный шум.

[*1900*]

НА СВЯТОЮРСКОЙ ГОРЕ

30 ОКТЯБРЯ 1655

Посвящается
Миколе Витальевичу
Лысенко

I

Солнце клонится над Львовом,
ярче пестрого ковра,
вся блестит в лучах заката
Святоюрская гора.

На горе столбы да трубы
обгорелые торчат;
вдоль дороги верб безлистых
цепенеет длинный ряд.

Средь руин шатры белеют,
к стенам лепятся тесней,
чем грибы с широкой шляпкой
между обгорелых пней.

Кучками между шатрами
отдыхают казаки,
блещут копья и высоких
шапок красные верхи.

Кой-где стон раздастся в стане,
песня там и сям слышна,
звон бандуры, окрик стражи,
зов протяжный чабана.

На горе уже к вечерне
благовестят,— и на звон
гнутся головы казачьи,
богу отдают поклон.

И внизу все колокольни
львовские отозвались
многозвучной перекличкой,
подымающейся ввысь.

А у церкви Святоюрской,
на челе горы крутом,
близ шатра, под старым дубом
ходят чарки за столом.

Тут Богдан, казацкий батько,
пять полковников с ним в ряд
и Иван Выговский — писарь —
за беседою сидят.

От Богдана справа — гости,
что спешили издали,
что от Яна Казимира
дар и письма привезли.

Тут старинный кум Богдана,
Любовицкий — важный лях,
он в Чигирине когда-то
до войны бывал в гостях.

Рядом с ним сидит пан Грондзкий;
словно крыса, быстрый взгляд
мечет он на стены Львова,
на шатров походных ряд.

Замер благовест вечерний,
писарь кубки налил вновь,
и заслушалось застолье
важных гетмановых слов.

II

«Пане-куме Любовицкий,—
хмурясь, вымолвил Богдан,—
чарку! За былую дружбу!
Пей, покамест полон жбан!

Говоришь — король ваш плакал,
как письмо сие писал?
Что душой за Украину
он болеет — ты сказал?

Выпей! Плакал! Езуиты
любят плакать, слезы ж их
душу жгут иным и тело...
Выпей, кум, и слов моих

не прими в обиду! Молвишь —
признавал король и сам,
что ни крохи не исполнил
из обещанного нам?

Так чего ж теперь он хочет?
Что ж он упрекает нас,
будто по вине казацкой
кровь рекою полилась?

Что под Речью Посполитой
мы подкопы подвели
и великую твердыню
всей державы подожгли?

Милый кум, я королевский
уважаю древний сан,
но король такою речью
сам себе чинит изъян.

Ибо сказанное прежде
спорам всем конец кладет,—
он же знает, что пошли мы
не от радости в поход,

что немало мы терпели
надругательств от панов:
канчуками нас пороли,
быдлом звали казаков,

жен позорили казачьих,
шкуру драли за оброк,
в божью церковь не пускали,
хоть иди молись в шинок!

Хаты наши жгли, рубили
наши бедные сады,—
с паном пан не поделился,
казакам — хлебнуть беды.

Даже в душу захотели
нам залезть в конце концов!
Подменяют нашу веру,
веру дедов и отцов.

«Туркогреками» бранят нас,
церкви — сам ты посуди —
запирают,— некрещеный
и невенчанный ходи!

Да еще прелатов алчных,
в красных мантиях, нам шлют,
этот брак насильный с Римом
унией они зовут...

Тут мы, друже, не стерпели!
Так нам стало горячо...
На погибель живодерам!
Выпей, кум, одну еще!

III

Пишет нам король: «Клянусь вам
крестной мукой и крестом,
что хотел я, да не смог вас
защитить — моих детей».

Ха, ха, ха! Крестом он клялся,
ну, а черт махнул хвостом
и ту клятву смазал! Знаю,
знаю я таких чертей!

Говоришь — король на сейме
уделил словечко нам,
что пора, мол, справедливость
оказать и казакам,—

но магнаты заревели,
и все сборище панов
да орава подпоенных
и подкупленных послов
королю свирепым гвалтом
не дали докончить слов...

Верю, хоть чуднò все это...
А теперь, что делать вам?
Если сам король ваш трянка,—
грош цена его словам!

И о чем нам толковать с ним,
бога клятвами дразнить,
коль ему на сейме слова
не дали договорить?

Сам подумай, кум: на что нам
с помелом вести трактат?
Хватит вам водить нас за нос,
как за прутиком котят!

Пожелаем справедливый
заключить отныне мир,—
мы найдем панов постарше,
чем король Ян Казимир.

Да не скоро это будет!
Знай: пока нам сабля — друг
и не выпали пищали
семипядные из рук,—

грохотать не перестанет
на Украйне битвы гром
до тех пор, пока мы дела
до конца не доведем.

Плакал ваш король? Пусть плачет,
раз не может пособить!
Но ему бы не над нами —
над собою слезы лить.

Древоруб

И над Речью Посполитой
пусть поплачет над своей:
страшное она видала,
но увидит — пострашней!

Не копьем казацким рана
ей была нанесена,—
это треснул струп поганый,
гноем полный издавна.

Коль его теперь не вырвать,
он всю Польшу изъязвит,
съест у вас и кость и мясо
и всю вашу жизнь сгноит.

Малость мы нарыв давнули,
чтоб оттуда стали гнать —
Вишневецких, Конецпольских,
Калиновских, как их звать...

И за это мы достойны
благодарности, не кар!
Но пока владычит панство,
не покончим ссор и свар.

Пусть плохим пророком буду,—
вспомните мои слова:
коль из этой заварухи
Польша вылезет жива,

коль ее магнаты силой
в гроб навеки не сведут,
так они ж ее соседям
на съеденье продадут!

IV

Выпьем, кум, еще по чарке!
Чарка добрая несет
сердцу чистому — веселье,
а нечистое — печет!

Говоришь: «Кровавый, старый
спор да будет позабыт!
Истребим из сердца память
кривд взаимных и обид!

Братья равные, любовью
и доверием дыша,
жили бы мы в доброй дружбе —
в двух телах одна душа...»

Славные слова, ей-богу!
Проникают в кость и кровь.
Даже Косову Сильвестру
не придумать лучших слов.

Слушай, кум, ты муж ученый,
мудрая ты голова,—
а меня почел за дурня,
тратишь попусту слова.

Знаешь сам: они — приманка,
свежий, скажем, червячок,
чтобы с ним казачья щука
ухватила ваш крючок.

Не клянись же, кум, напрасно!
Слушать клятвы бог устал!
Лучше присказку послушай,
что от деда я слыхал.

V

Жил да был себе хозяин,
поле он имел и сад,
крепкий дом, скотины много,
пчел колод за пятьдесят,

и жену, и слуг примерных,
и деньжонки под ключом,—
люди с завистью смотрели,
называли богачом.

У него был змей домашний,
что не жалил, не кусал,
а везде свободно ползал,
по ночам коров сосал,

на день же ему хозяин
с незапамятной поры
ставил мисочку со сладким
молоком возле норы.

Был тот змей хозяйским счастьем:
от росы и от воды
в двор добро плыло, сторицей
награждались все труды.

Добрый скот тучнел на диво,
пуще всех — хлеба росли,
сад родил, роились пчелы,—
ну, как будто бы гребли

счастье в дом к нему лопатой,
а несчастье гнали прочь:
град побил весь хлеб соседний,
полсела сгорело в ночь,

на его ж земле — ни искра,
ни градинка не легли,
саранча летела мимо,
стороной болезни шли.

VI

Но стряслась беда, однако!
У хозяев был сынок —
батькин баловень, любимец,
малый хлопчик-ползунок.

Вот однажды мать на завтрак
для любимого сынка
налила и прямо на пол
ставит миску молока.

Ест малыш и, как все дети,
разливает на полу.
Тут и змей услышал запах
молока в своем углу.

Из норы на запах выполз,
начал молоко лакать.
Мальчик, видно, рассердился —
змея ложкой по лбу хвать!

Змей, к побоям не привыкший,
взвился грозно и, свистя,
будто молния, ужалил
несмышленое дитя.

Завизжал малыш от боли;
батько в страхе прибежал,
понял сразу, что случилось,
только чем помочь,— не знал.

Он за змеем в лютой злости
кинулся, убить хотел,
но и змей, угрозу видя,
заползти в нору успел.

Подбежал с дрючком хозяин,
но уж в яме змей укрыт,
только хвост еще снаружи
за собою волочит.

Тут, недолго рассуждая,
как ударит человек,—
и у змея, у бедняги,
напрочь длинный хвост отсек.

Да несчастья не поправил,
сына милого не спас:
от змеиного укуса
умер мальчик в тот же час.

VII

Страшно тосковал хозяин,
сна лишился. Но и змей,
глубоко в норе, не меньше
раной мучился своей.

И хоть рана затянулась —
без хвоста и нездоров,
невзлюбил он дом хозяйский,
сад, и пчельник, и коров.

И былое счастье дымом
улетело со двора:
летом град побил пшеницу,
иссушила степь жара,

черви добрый сад сгубили,
подкосил скотину мор,
в дом болезни повалили,
смерть повадилась во двор.

Что тут делать? Ну, за словом
слово, он — к ворожее:
«Погадай, что за причина
перемен в моем житье?»

Ворожейка погадала
на бобах да на звездах,
говорит: «Ты сам повинен,
сам себе выходишь враг.

Верного имел ты друга,
он от зла тебя берег,
только первой же обиды
ты простить ему не мог.

Ущемил его ты тяжко,
тяжко гневается он,—
этим гневом весь великий
причинен тебе урон.

И покуда этот лютый
гнев его горит огнем,
ты не жди себе спасенья,
прахом пропадет твой дом!

У тебя одна надежда:
снова друга приручить
и навечно с ним сердечный
мир по правде заключить».

VIII

Вот теперь хозяин понял,
как себе он навредил
тем, что в злобе неразумной
хвост у змея отрубил.

«Эх,— подумал,— непременно
помириться надо с ним,
а то сгинет вся скотина,
уплывет добро, как дым»,—

и сказал жене: «Поставь-ка
у змеиного угла
молока, чтобы удача
снова в хату к нам пришла».

Вот опять хозяйка ставит
миску змею поутру.
Змей же выползет, наестся —
и опять к себе в нору.

А хозяину все хуже,
что ни день, то тяжелей,
хоть топись! Вот он однажды
подстерег, как выполз змей,

и промолвил: «Змей мой милый!
Что на нас с тобой нашло?
Что мы ссоримся? Что делим?
Позабудем гнев и зло!

Что минуло, то пропало,
хоть и горько нам пришлось;
заживем в любви и в мире,
чтоб, как прежде, нам жилось!»

Змей на то ответил: «Хватит!
Что прошло, то пронесло.
Только как забудем горе,
что нам на сердце легло?

У тебя, как вспомнишь сына,
что его не воротить,—
пятка чешется, чтоб череп
поскорей мне раздавить.

Да и я, как только гляну
на обрубленный мой хвост,—
вгрызся бы в тебя зубами,
так во мне лютует злость.

Где уж нам с тобой сдружиться!
Как тебе был дорог сын,
так мне — хвост мой. И не нужно
нам мудрить, искать причин.

И пока живет в нас память,
не привяжется твое
сердце вновь ко мне, к тебе же
не привяжется мое.

Лучше нам навек расстаться!
Без меня в своем дворе
ты хозяйствуй, без тебя я
проживу в своей норе».

IX

Пане-куме Любовицкий,
ты, я знаю, голова!
Верно, ты без пояснений
раскусил мои слова?

Тот хозяин — ваша Польша,
ну, а змей — то казаки,
что служили вам, рубили
басурманские полки,

что ходили за пороги,
лезли и в Стамбул и в Крым,
так что хану и султану
в очи бил пожаров дым.

И жилось тогда не худо:
наживал богатство лях
за казацкими плечами,
а казак — в степях, в полях

на свободе жил и каплю
брал себе от молока,
что сберечь и что припрятать
помогла его рука.

Но пошли раздоры. Полно
нам мудрить, искать причин;
мы терпели, вы терпели,
ваш сгиб сын, и наш сгиб сын.

Ну, скажи, как жить нам вместе?
Как забыть былое зло,
что кровавою межою
по сердцам у нас прошло?

Как к любви мы склоним сердце,
злобой полное,— скажи?
Где душа возьмет доверья
после всех измен и лжи?

Нет, приятель! Разойдемся,
порознь лучше будем жить:
ваша Польша — вашей будет,
Украине — нашей быть.

Вы себе пануйте дома
на вине да на меду;
ну а мы, бог даст, осилим
и без вас свою беду!

А пройдет лет сто иль двести,
наши раны заживут,
все обиды, споры, ссоры
вешним паводком уйдут,—

и взамен измен и распрей,
не на лжи, не на крови,
встанет сила общих целей,
братства, дружества, любви.

Мы, не в школе езуитской,
в школе тягостной борьбы
возмужав,— проложим сами
добрый путь своей судьбы.

Вот тогда-то час настанет
кривду старую избыть,
час настанет, кум любезный,
нам о дружбе говорить.

X

Морщишь брови? Стиснул зубы?
Иль недуг тебя трясет?
«Роса,— молвишь,— очи выест,
пока солнышко взойдет?»

Что ж, возможно! Но, признайся,
это правда или ложь?
На словах в любви клянемся,
а за пазухою — нож?

Дружба ли, что говоришь ты
нам про братство, про любовь,
про напрасно пролитую
нашу кровь и вашу кровь,

что пора, мол, помириться,
память зла развеять в дым,—
а ведь ты, я точно знаю,
завтра едешь к хану, в Крым!

Подбивать ты станешь хана,
мурз поганых подкупать,
чтобы шли на Украину —
с казаками воевать...

Побледнел? Дрожишь? Не бойся!
Знаю вас не первый год!
Да ведь это ж — езуитской
вашей школы цвет и плод!

Знаю, кум: за той же самой
пазухой, где ты привез
королевское посланье,
полное и клятв и слез,—

королевское второе —
к хану — есть письмо! И в нем
он же хана заклинает,
чтоб нагрянул к нам, как гром,

чтобы хан гадюк казацких
раздавить ему помог...
Не дрожи, мой кум! А ну-ка,
на прощание, дружок!

Чарочку! Езжай счастливо!
Хану кланяйся, мурзам!
Да скажи, что коней нужно
и дамасских сабель нам.

Коль у них коней и сабель
много, а своих голов
им не жаль — пускай приходят!
Ну, довольно! Будь здоров!»

[*1900*]

ПРОЛОГ

Народ мой, исстрадавшийся, разбитый,
Как немощный калека на дороге,
Пренебреженья струпьями покрытый,

О будущих потомках я в тревоге.
Какой позор для них твои печали!
Мне не дает уснуть твой вид убогий.

Ужель твои железные скрижали
Велят тебе для всех быть удобреньем,
Чтоб на тебе, как могут, выезжали?

Ужель миришься ты с предназначеньем
Скрывать вражду под маской послушанья
Пред каждым, кто насильем и уменьем

Связал тебя и держит на аркане?
Ужель не ждет тебя на свете дело,
Что только ты осилить в состоянье?

Ужель напрасно столько их сгорело —
Сердец, пылавших тем бесценным жаром,
Что не жалеет ни души, ни тела?

Ужель их кровью полит край задаром,
И ширь его ни для кого не диво,
И он не горд своим величьем старым?

Что ж в слове у тебя такие взрывы
Шутливости, и ласки в разговоре,
И нежности, и силы горделивой?

Что ж в песнях у тебя такое море
Задора, смеха, молодой истомы,
Любви, надежды, и тоски, и горя?

О нет, не вздохи лишь тебе знакомы.
Я верую в здоровую основу
И в день заветный твоего подъема.

О, если б ведать миг, послушный слову,
И слово знать, которое мгновенно
Собою мир преобразить готово!

О, если б выйти с песнью вдохновенной
В тот миг к народу, и зажечь примером,
И вывесть всех до одного из плена!

Но нет, не нам, усталым маловерам,
С сомненьем нашим, и стыдом, и болью,
Водить дружины к боевым брустверам!

Но час придет, в багряном ореоле,
В кругу народов вольных, за Карпаты
И к Черноморью рокот новой воли

И радости ты доплеснешь раскаты.
И, все обняв хозяйскою управой,
Полями залюбуешься и хатой.

Прими ж мой стих, хоть и больной отравой,
Но полный веры, пусть он и не ярок.
Прими в залог своей грядущей славы

Его — как скромный праздничный подарок.

1905

РАССКАЗЫ

ЛЕСИХИНА СЕМЬЯ

I

Дивное летнее утро. От прохладного легкого ветерка чуть колышется, переливаясь, широкая полоса ржи. Рожь — как золото. Крупные колосья склонились под тяжестью зерна и жемчужных капель росы, свисающих с каждого стебелька. Стебли, высокие и стройные, желтые и плотные, стоят среди зеленых листьев полевого вьюнка, полетицы, молочая и прочего бурьяна, стелющегося по земле. Кое-где виднеется посреди этого золотого шумящего и пахучего моря чарующий синий глазок василька, или цветок куколя, или девичье, пылающее румянцем личико полевого мака.

Взошло солнце. Застрекотали на все лады кузнечики, зажужжали большие полевые мухи, затрепыхались разноцветные мотыльки над колосистым морем. Природа ожила. Ветер подул сильнее, подул теплом со стороны леса и начал стряхивать серебряную росу с трав и цветов.

В селе поднялся шум, закипела жизнь. Выгон запестрел от коров, выпущенных на пастьбу. За коровами шли заспанные и неумытые пастухи. Только некоторые из них, уже успевшие позавтракать, весело напевали, покрикивали и похлопывали длинными кнутами, погоняя скот.

Над хатами закурился дым. Хозяйки топят печи спозаранку, чтобы вовремя сварить обед; младших отправляют в поле.

Лишь у старой Лесихи не курится дым над соломенной крышей. Хотя их там трое: старуха, дочка Горпына и молодая невестка Анна, но они никогда с утра не топят, всегда под вечер. Вечером и напекут и наварят что нужно, а весь божий день ни о чем не заботятся. Работящие хозяйки, хоть куда!

Хозяйство у старой Лесихи не из худших. Хата хоть старая, но еще крепкая; постройки во дворе новые, просторные и

опрятные; скотинка добрая — гладкая, прости господи, словно послушники монастырские. Пасека тоже после покойника Леся не пошла прахом. Лесиха пустила к себе в хату старого деда, нищего Зарубу, обшила его, обмыла,— и вот дед летом и за пасекой ходит, и в доме за каждой мелочью досмотрит.

Лесиха и взаправду была женщина хозяйственная и усердная. Права крутого и твердого. Бывало, если за что возьмется,— так хоть лопни, а поставит на своем. Хотя волосы у нее и поседели, но лицо было румяное и здоровое, как свекла. Она не умела льстиво или красно говорить. Речь у нее была отрывистая и как будто сердитая. Шутки или какого-нибудь другого ласкового и сердечного слова от нее не слыхал никто. Любого, кто бы ни был, умела донять своим острым языком. Правда, говорят, не от хорошей жизни стала она такою. Покойник Лесь, сказывают, крепко бил ее с молодых лет, привязывал за косу к скамье и бил... С горя она тогда и напивалась не раз, и эта привычка осталась у ней по сю пору, хотя пьянство никогда не доводило ее до того, чтобы она растратила и промотала нажитое горьким трудом добро. Если пила, то пила одна. Ни у нее в хате, ни в селе никто никогда и не понюхал от нее чарки водки. Старая Лесиха была сурова и скупа.

Лесихин сын Гнат долго не мог жениться. Ни одна девушка на селе не хотела идти за него. Неизвестно почему: потому ли, что был он зол и задира; потому ли, что очень был некрасив собою. Волосы искрасна-рыжие, глаза маленькие, хитрые, как у татарина, сам большой, голова как горшок, а губы, точно подушки, оттопыренные. Ну, да не о том речь,— суди его мать пресвятая богородица! — довольно того, что ни одна девка не хотела идти за него. Еще, невесть отчего и почему, толковали люди, что Гнат и на руку нечист, что промеж его пальцев иной раз кое-что чужое застревало. Не знаю, где как, но в нашем селе нет худшего позора, как если кого вороватым обзовут. Вроде бы и не вор, ничего такого за ним не водится, а вороватый. Как говорят, «с чужим добром не размнется». Не то ночью пару снопов с поля, не то днем какую-нибудь мелочишку с чужого пустого двора потащил,— словом, видел кто или не видел, а уж если пошла такая слава о человеке, то ничем он ее с себя не смоет. Так вот и было с Гнатом Лесихиным; вот почему он не мог долгое время жениться. Ни одна не хотела идти за него, и все.

Но в конце концов нашлась-таки одна — Тимишева Анна. Вышла она за Гната, да на свое горе. Бедная сирота, без отца, без матери; только и принесла она приданого в Лесихину хату что свои черные брови, карие очи да две руки работящих и тер-

пеливое, послушное и покорное сердце. Ой, и хлебнула же она горя за Гнатом! Не прошло и года, а уж стала вянуть ее краса, погас блеск ее глаз, склонилась к земле красивая головка! Оно и понятно — споры, ссоры и драка. Кого они не пригнут к земле, у кого не отнимут веселости?

Вот вам и вся Лесихина семья. Да, был еще у Лесихи мальчик — батрак Василь, скотину пас. Его прозвали горлопаном за то, что всегда, чуть только загонит скотину в лес, так и начнет орать там во все горло, не переставая ни на минуту. То коломыйку зачастит, то думку затянет, то свадебную, то из псалтыри да гласов церковных. Грамоты он не знал, все перенимал на слух и хоть бы одну песню умел окончить! Напевы и слова песен в его голове переплетались в каком-то диком беспорядке и вскидывались, как клочья сена под буйным ветром. Они не занимали, а только одурманивали его. Он, когда пел, забывал и о себе, и обо всем окружающем. Скотина брела, куда хотела. А если пел кто другой, он не любил слушать. Словом, какой-то придурковатый. Отчего это с ним сталось, бог весть. Может, тоже от нужды да побоев. Ох, и натерпелся же он всякого горя с той поры, как померли его родители в холеру. Они, говорят, были зажиточные и очень баловали своего Василька. Смерть унесла их внезапно, в один день. Василек перешел в чужие руки, а чужие руки, известно, не гладят! Били его за изнеженность, за упрямство, за лень. Выгнали из него эти пороки, но затуманили его молодую голову, затоптали последние искорки детской свободы и живости. Добро его расползлось в чужих руках, как снег в воде, а Василя отдали на службу к старой Лесихе. А тут, конечно, попал он в еще более суровую школу. Тут его допимали не столько побоями, сколько голодом и бесконечными попреками, которыми Лесиха умела точить чужую душу, как ржавчина железо. А Василь словно и не слышит. Пока в хате, среди людей,— молчит, ходит, как очумелый, а чуть только вырвется на волю, в лес, на выгон,— все поет-поет, а вернее, горланит бессмысленно, людям на смех, а себе, видно, для облегчения, а может, чтобы забыться, одурманить себя и ничего не чувствовать.

II

Лесиха, сказано, хозяйка — первая выходит жать с дочерью и невесткой.

— Ну, ну, пустит и нынче наш горлопан скотину в посевы или вспомнит вчерашние синяки? — заговорила, как бы шутя,

усмехаясь, Лесиха, идя впереди и поблескивая новым серпом, зажатым под мышкой.

— Отчего ж ему не пустить? Как начнет горланить, так обо всем на свете забудет, не то что о скотине! — ответила Горпына. Ее красивое молодое лицо в лучах восходящего солнца светилось здоровым румянцем. Она была, пожалуй, самой счастливой в доме. Мать любила ее, хотя, правду сказать, не раз и Горпыне приходилось хлебнуть горя от матери или от брата.

— Вот затравили бедного парня, как кота очумелого, а теперь добивают! — шепнула как бы про себя Анна. В сердце бедной сироты скорее пробудилась жалость к такому же круглому, несчастному сироте.

— Ага, свой своему поневоле брат! — отрезала ей гневно Лесиха. Она расслышала тихие слова невестки.

— Сирота, сирота, а глотка широка! — продолжала кричать Лесиха.— Небось, моя кошечка, и тебя бы с ним на один сук! Сошлась пара, да и давай друг друга жалеть. Эх, не дай же вам матерь божья светлого часа за то, что вы мой труд даром переводите, мой хлеб даром жрете, а сами еле ползаете!

— Ну, мама, уже снова завели? — огрызнулась Горпына.— И как же вам не совестно такое говорить? Да вы бы, кажется, и камень с места сдвинули своим языком, лишь бы не лежал даром и места не занимал, не то что живого человека. Да разве мы не работаем, даром хлеб едим?

— Ой, ра-бо-о-таете! — растягивая слова, передразнила Лесиха.— Так работаете, словно у вас руки глиняные, а вместо головы кочан капусты. Если не покрикивать на вас, не думать за вас, так было бы с вашей работы столько проку, как от прошлогоднего снега.

Лесиха умолкла. Запыхалась. Никто больше не отзывался.

Пришли на поле. Анна выбрала местечко на меже, сложила там полдник. Лесихина нивка была в шесть полос. Втроем они могли легко управиться с ней за день.

Лесиха уже распоряжается.

— Ты, негодная,— обратилась она сразу же к невестке,— становись здесь! (Указала самую широкую полоску.) Ты (дочке) здесь, а я — с краю!

Стали.

— Господи благослови! — сказала Лесиха и первая сжала рядок спелой, колосистой ржи, первая скрутила свясло, связала снопок и отставила его в сторону. Первый сноп, как водится,— на урожай.

— Ну, за работу! — повторила она. И три женских лица склонились к земле, зарумянившись. В руках засверкали серпы, захрустели твердые стебли ржи, подрезанные блестящими зубчатыми лезвиями. Ряд за рядом падает на землю. Красивым, плавным движением перебрасывают жницы через голову сжатую рожь и кладут на жнивье. То одна, то другая выпрямится, возьмет охапку ржи, отряхнет от полевого бурьяна, разделит надвое, скрутит свясло и положит на свежем пахучем жнивье. Кузнечики, жуки и всякие мурашки убегают из-под серпов. Иногда и вспугнутая серая мышь-полевка выскочит из своей норы, пробежит под ногами жницы и снова юркнет в норку.

Спозаранку, по холодку, по росе хорошо жать. Хруп-хруп, хруп-хруп... Только всего и слышно, да еще шелестит складываемая в снопы рожь.

Но постепенно свежий полевой воздух, безлюдная ширь и тишина поля, однообразие работы располагают душу высказаться. Но беседу здесь нелегко завязать — старая Лесиха сейчас грубо оборвет ее. Только и остается одно — песня.

И вот понемногу из общей тишины и однообразного хруста стеблей выделяется чудесный, серебристый, сначала тихий, как бы несмелый, голосок. Это голос Горпыны. Старуха жнет, не обращая внимания на песню. Горпына смелеет, голос крепнет, из сердца невольно льется грустная песня:

Туди лози хилилися, куди їм похило;
Туди очі дивилися, куди серцю мило [1].

— Эй ты, негодная тварь! — крикнула Лесиха невестке.— Ты, никак, отстаешь уже? Руки у тебя свело, что ли?

Анна, слабая от природы, не поспевала на самой широкой полоске идти вровень с другими. Она отстала уже почти на полтора снопа.

— Что вы, мама, нынче прицепились ко мне, как оса? — ответила она, собрав всю свою храбрость, но не поднимая головы.— Не видите разве, что не могу быстрее жать, полоска широкая? Ваш клин — другое дело. Хорошо вам ворчать.

Это разозлило Лесиху.

— О, посмотрите на нее! Какая смелая да дерзкая! Еще и рыло свое задирает! Эх, голубушка моя! Скорее бы вечер, придет Гнат с косовицы, не будешь ты такая разумная!

Анна хотела еще что-то ответить, но Горпына шепнула ей:

---

[1] Туда лозы клонились, куда их клонило; // Туда глаза глядели, куда сердцу мило *(укр.)*.

— Брось, сестрица! Мама всегда ворчит... Давай жать вместе!

Анпа замолкла. Горпына начала помогать ей, почти половину полоски забрала себе. Добрая она была, не в мать уродилась, лишь иногда подделывалась под нее, зная жесткую материну натуру. Снова стало тихо, лишь хрустят стебли да иногда серп звякнет о камень.

Горпына немного погодя завела другую песенку. Потянуло Анну на печальное, жалобное, и она тоже попыталась излить их в песне. Она несмело, но ровно, с переливом, затянула:

Зайшло сонінько за віконінько,
Як промінное коло;
Вийди, миленька, вийди, серденько,—
Промов до мене слово!
— Рада би-м вийти, рада би-м вийти,
До тебе говорити,—
Та лежить нелюб по правій руці,
Боюся го збудити! [1]

Лесиха слушала песню, стиснув зубы. Несколько раз она сурово исподлобья взглянула на невестку. Анна не видела этого, она жала и пела. Из ее затуманенных глаз скатилась даже крупная слеза и упала на серп. Видно, и сердце ее пело ту же песню, что и уста.

— Вот что у нее в голове! Хозяюшка моя нечесаная! Какие песенки выводит! — перебила гневно Лесиха.

— Не троньте вы, мама, Анну! — с сердцем отрезала Горпына.— Что за блажь на вас нашла? Ни говорить, ни плакать, ни смеяться не даете, еще и петь не велите! Какой черт выдержит у вас?

— Ну, ну, расстрекоталась, сорока куцехвостая! — прикрикнула мать.— Изволь жать да молчать! Небось знаю я, где у тебя раки зимуют! Лучше молчи, а то и ты узнаешь, чего еще не знала!

Снова пошла работа однообразно, уныло. Старуха время от времени покрикивала то на невестку, то на дочку, точно панский приказчик. Солнце уже поднялось высоко. Сжатая рожь не вязалась в снопы и устилала широкие полосы. Уже три наши жницы пополудновали и, не отдыхая, снова взялись за дело. Солнце пекло, с лиц катился пот. Кузнечики стрекотали громко и прон-

[1] Зашло солнце за оконцем // Лучистым кругом; // Выйди, милая, выйди, сердечко,— // Скажи мне хоть слово! // — Рада бы выйти, рада бы выйти, // Поговорить с тобою,— // Да лежит нелюб по правую руку, // Боюсь его разбудить! *(укр.)*

зительно. Казалось, голос их раздается где-то глубоко под землей и проникает в ухо, точно острый кремнистый песок. Кроме кузнечика, все затихло, все спряталось в тень от палящих солнечных лучей. Только люди, цари природы, мучаются тогда, когда сама природа отдыхает.

III

— Лесиха! Лесиха! — слышен голос какого-то косаря с опушки леса.

Лесиха встала, приложила козырьком руку к глазам, всматриваясь в даль.

— Не видите, что ли, ваши три коровы в овсах! — продолжал голос.

Из леса долетали вскрики и визгливое пенье Василя:

Ой, там на горбочку
Сидів дідько в черепочку,
А ми його не пізнали...
Гей...

(это «гей» тянулось бесконечно долго)

Мати ж моя, мати,
Пусти мене погулять...
Го-о-о-а-усподи, воззвах тебі, услиши м'я!..[1]

— Ах, чертово отродье! Снова напаскудил! Чтоб ты все печенки из себя выкричал! Василь, гей! Василь, гей! Черти бы тебя разорвали! Болван этакий, гей! Не видишь, что ли,— коровы в овсах, а? Лопнули бы твои глазищи, черт проклятый!

— Господи, помило-о-оуй! — слышался ответ из леса. И это «лой» тянулось снова очень долго и пропало наконец где-то в далеком темном лесу.

— Горлопан, а Горлопан! — закричал снова косарь с опушки леса.— Что ж ты не выгонишь коров с поля? Расперло бы тебя, как Бачинскую гору, черт!

— Ой дуду-ду-ду-ду-ду, за волами я иду! — заливался Василь в лесу.

Косарь, видно, потерял терпение, подхватил косу на плечо и побежал сам выгонять коров из овса. Загнав их в лес, он исчез вместе с ними в густой зелени.

Вскоре опять послышался его крик и плач Василя.

— Вот так! Вот так! — приговаривала Лесиха, снова накло-

[1] Ой, там на пригорке // Сидел черт в черепке, // А мы его не узнали... Гей... // Мать моя, мать, // Пусти меня погулять... *(укр.)* // Господи, воззвах тебе, услыши мя!.. *(церковнослав.)*

нившись над жнивьем.— Пусть с него там хоть три шкуры спустят, слова не скажу! Скотину паси, а не горлань!

Вечерело. Солнце закатилось за синие горы. Мгла опустилась на луга и клубилась все шире и шире густым сизым туманом. Из мглы, словно ребенок из-под теплой перины, отозвались коростели. Перекликались перепелки во ржи.

С мочажин повеяло теплом и запахом озерной купавки и татарника. Хорошо и легко становилось на сердце.

Наши жницы дожали пивку, остановились, расправили плечи и глубоко вздохнули.

— Славный денек будет завтра,— проговорила Лесиха несколько ласковей, чем обычно.— Благодарение богу, управились-таки сегодня. Завтра нужно будет ячмень на Базарище начать.

— Славная почка будет нынче! — прошептала Горпына, слегка покраснев, и вздохнула.

Анна улыбнулась ей, но как-то печально, словно сквозь слезы. Она одна знала тайну девичьего сердца Горпыны, знала о ее любви к пригожему чернобровому парубку Дмитру Грому.

— Ну, что стоите! Анна! Собирай траву, коровам отнесем! А ты, девка, беги телят поить! Ну, живей!

Анна сразу молча взялась за работу, охотней, чем всегда. Удивительная сила заключена в одном ласковом слове! Горпына вприпрыжку, напевая, побежала домой, а старая Лесиха, положив серп на голову, острием к платку, и взвалив себе на плечо первый сноп, гордо пошла за нею. Последней пришла домой Анна, неся на плечах большую охапку свежей душистой и цветистой травы. Коровы уже ждали ее и, увидев свой обычный ужин, замычали от радости и столпились у ворот сарая, ожидая, когда придет черед каждой из них выйти туда, поесть вкусной травы и отдать в чистый подойник свой дневной запас молока.

IV

Уже совсем смерклось. У Лесихи топится печь, и огонь пылает ярким, красным пламенем. Анна с Горпыной хозяйничают, варят, что нужно на завтра.

Дед Заруба вслух читает молитвы, сидя на лежанке, а Василь, наслушавшись ругани Лесихи и получив два-три подзатыльника, залез на печь и заснул, не дожидаясь ужина.

Под окном послышались тяжелые мужские шаги и звон косы, а немного погодя вошел в хату Гнат, бросил старую соломенную шляпу на лавку и сел у стола.

— Эй, Горлопан! Быки привязаны?

— Привязаны, привязаны,— ответила Анна, перемывая посуду и собирая ужинать.

— А ты, хозяйка, куда серпы сунула?

— Куда же? В сенях, у притолоки! Где же им быть?..

— Ага! А вот не догляди я, так бы ногу на всю жизнь и искалечил! У самого порога лежат!

— То коты, верно...

— Ой, голубка моя! Береги мое добро как зеницу ока. Своего-то у тебя нечего переводить! Не принесла мне никакого приданого!

Анна замолчала. Ее больно задели эти слова. «Зачем же ты брал меня? Ведь ты и тогда видел, что я бедна!» Такие мысли теснились у нее в голове, но у нее не хватало смелости высказать их в глаза Игнату.

— Ну, спать! — командует Лесиха.— Ты, негодница, огонь в печи погаси, жар отгреби на загнетку, слышишь? Горшки в печь поставь, каша лучше на завтра допреет! Горлына, а воды еще нет! Беги по воду, живей!

Анна начала убирать, а Горлына выбежала в сени. Зазвенели ведра и коромысла, скрипнула дверь, а со двора уже слышалась веселая песенка:

Коби-м була така красна, як та зоря ясна,
Світила би-м миленькому, ніколи не згасла! [1]

— Ишь как у нее в голове ветер гуляет! — отозвался Игнат, раздеваясь.— Мама, не посылайте вы ее никогда вечером за водой!

— Почему?

— Да будто вы не знаете? Тот длинноносый Громик, вон, на той стороне, через дорогу, что-то к ней...

— Что-о? — взвизгнула Лесиха.— Этот сопляк смеет лезть к моей дочке? Да я все волосы повыдергаю с его шелудивой башки! Я пойду к его матери, пусть она его возле себя держит, коли хочет, чтобы с ним беды не случилось!

Гнат уже улегся. Лесиха долго еще не ложилась и ходила по хате.

— Эх, попадись только он мне! Будет меня помнить! Свиненок этакий! Пополам раздеру проклятого!

— Ой, мама, да вам-то что? — начала уговаривать ее Анна. Она до сих пор молчала, кончая уборку.— Что вам пришло в

---

[1] Если б я была так же хороша, как светлая звезда, // Светила бы милому, никогда бы не погасла! *(укр.)*

голову? Слушайте больше, что Гнат плетет! Пусть скажет, видал ли он своими глазами, как Громик к Горпыне приставал?

— Ишь какой аблакат нашелся! — отозвался с постели Гнат.— Ляжешь ты спать наконец, работница ты моя неоплатная!..

Лесиха разделась и легла на лежанку, где Анна постелила уже для нее мягкую перину и положила две подушки. На печи уже громко храпел дед Заруба да время от времени вскрикивал во сне Василь.

— Дед, а дед, повернитесь на другой бок! Не храпите так, печь завалится! — крикнула Лесиха, толкая деда в бок.

— Бог заплатит! Ручкам работящим, и ноженькам приходящим, и головам внимающим,— начал было Заруба сквозь сон свою обычную молитву, но тут же повернулся на другой бок и затих. Через минуту заснула и Лесиха.

Тихо стало в хате. Месяц несмело, бледно глядится сквозь тусклые окна. Анна еще не легла. Она уперлась головой в окно, а локтями о подоконник и долго стояла, глубоко задумавшись. О чем она думала? Бог весть! Быть может, проходили перед ее глазами ее молодые годы, невеселые, сиротские. Быть может, зашевелилась в ее сердце первая, счастливая, бесталанная любовь, потому что в глазах появились две слезинки, а из уст едва слышно полилась печальная думка:

Шуміли верби в Поповій Дебрі,
Та й лозовоє пруття;
Люблю тя, дівча, люблю, серденько,
Про людей не візьму тя.
Не так про людей, не так про людей,
Отець-мати не велить...
Мене за тобов, мене за тобов
Само серденько болить! [1]

— Жена, голодранка ты моя бестолковая! Мышей, что ли, ты собралась ловить? Чего спать не идешь? — окликнул Гнат.

Анна встрепенулась, утерла слезы и стала на молитву. Молилась долго, горячо, простыми, сердечными словами.

Со двора доносилось ржанье лошадей, которых пастухи гнали в ночное, жалобный голос сопилки, пиликанье коростелей в траве. Залаяла собака и умолкла. Закричал поздний аист на

---

[1] Шумели вербы в Поповой Дебри // И ветви лозы; // Люблю тебя, девушка, люблю, сердечко, // Из-за людей не женюся на тебе. // Не из-за людей, не из-за людей, // Отец с матерью не велят... // У меня по тебе, у меня по тебе // Сердце болит! *(укр.)*

соседской хате. А на выгоне прощалась Горпына со своим дружком.

— Горпына, сердце, обожди еще хоть минуточку! Мы еще и не наговорились.

— Нет, Дмитрик, нельзя больше, мама будет браниться. Ты знаешь, какая она! Спокойной ночи тебе! А завтра...

Не договорила, схватила ведра с водой и побежала к хате.

— Завтра,— шептал ей вслед Дмитро.— Кто знает, какое-то завтра будет?

Долго смотрел он с выгона на Лесихину хату, а потом задумался.

«Не напрасно ли я полюбил ее? Отдаст ли ее за меня старая Лесиха?» — подумал он. Сердце у него сжалось, когда он вспомнил о своей бедности.

«Нужно работать, работать, что есть силы работать, а выйдет ли еще что из этого?.. Такая уж наша доля...»

Он глубоко вздохнул, вынул сопилку из-за пазухи и заиграл на ней, да так жалобно и грустно, точно в этих звуках тонули все его надежды на тихое счастье.

— Горькая моя доля! — прошептал Дмитро и пошел к себе на двор, к бедной, обсаженной вербами хатенке, где жила его старуха мать. Из-за густых зеленых верб послышался вскоре молодой голос, он выводил песню:

Ой, ще кури не піли,
Кажуть люди: день білий!
Ой, вийди, вийди, хороша дівчино,
Поговори зо мною! [1]

Лолин, июнь 1876

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Что вы, кум, толкуете о дружбе! Друзья, приятели! А я вот готов на что хотите спорить, что нет на свете ни настоящей дружбы, ни настоящих друзей! Назовите меня, как хотите, говорите, что вам угодно, а я буду стоять на своем. Да и что такое — приятель? Найдете вы такого приятеля, который помог бы вам в нужде или чем-нибудь выручил? Говорится только так, чтобы что-нибудь сказать, и все! А коли хотите, так я вам тотчас докажу, чтоб вы знали, как мало теперь можно надеяться на приятеля!

---

[1] Ой, еще петухи не пели, // А люди говорят: уже день белый! // Ой, выйди, выйди, краса-девица, // Поговори со мною! *(укр.)*

Вы ведь знаете, в какой дружбе я был с Хомой Нидгорбочным. Да и как нам было не подружиться? Мы ведь были первые парни на все село, крепкие такие, словно дубы. Жили мы при отцах, благодарение богу, хорошо и работать не лепились. В праздник, бывало, приоденемся, как бог велел,— не стыдно и на людях показаться. А дивчата! О, уж эти так за нами набегаются, один Андрей святой знает! Известно, парни чистяки были и не последних родителей дети.

Дружили мы с Хомой так, что просто любо. В лес ли по дрова, в камыши ли на охоту за утками, в пляс ли, на другое какое дело — всё вместе. И не было между нами ни ссоры, ни несогласия. Скажет, бывало, Хома: «Семен, выходи завтра на мой покос, там еще осталась трава, а у тебя все скошено!» — «Почему не выйти? Выйду!» — говорю. Скажу, бывало, Хоме: «Дружище, у вас сейчас нет работы, возьми-ка ты наш бредень да почини хорошенько; с воскресенья пойдем на Днестр рыбачить».— «Ладно»,— скажет Хома, тут же возьмет бредень и починит.

Наше село, знаете, у самого Днестра стоит, еще и на равнине. А мы оба очень любили рыбачить. Пойдем, бывало, с вентерем, или с бреднем, или, если полая вода, просто с сачками, наловим такой красоты, что просто страсть! И себе хватит, и на продажу!

Ну ничего! Вот так! Дружили мы с Хомой, как родные братья. Не раз удивлялись на нас люди. Как это они меж собой ладят, говорят. Ведь они — огонь и вода! Я, знаете, отроду медлительный, а Хома горячий, словно искра. Но что тут говорить! Подружились, так уж назад не оглядываться! Ладили, да еще как! Кабы наша громада так каждый раз ладила, выбирая нового войта, наверняка не было бы у нас такого шума и драки, как бывает!

Эх, годы молодые! Хороши бы вы были, золотые бы вы были для каждого парубка, кабы не приходилась на вас эта страшная ведьма — солдатчина. Теперь что? Теперь это игрушки. Заберут тебя в солдаты, ну хоть поступают с тобой по-человечески: не шельмуют, как скотину. Правда, и теперь иному случится натерпеться, пока постигнет эту муштру, да что теперешнее против прежнего? Вот и старики говорят: до тех пор пес не научится плавать, пока ему в ухо вода не затечет. Нет науки без муки. Но теперь самый этот асептерунок не такой страшный, как прежде. Явишься в присутствие раз, второй, третий — не возьмут, выпишут,— и ты вольный казак: хочешь — женись, хочешь — дальше гуляй! Но в мое время так не было. Избави гос-

поди нас от такого! Тогда, бывало, мандатор сам составлял списки для воинского присутствия; в набор посылал кого хотел, не справляясь о том, сколько раз он уже призывался, три раза, или шесть, или еще больше. Иной бедняга десять — пятнадцать лет живет в вечном страхе. Вот, думает, придут стражники, наденут наручники, и становись под мерку! И знаете, тогда было не так, как теперь. Не шли хлопцы сами в бецирк, не являлись на призыв, как теперь,— и бегали и прятались, кто куда мог, а мандаторы с полицейскими стражниками гонялись за ними по всем закоулкам. Скверно было жить на свете.

Вот раз в мясоед прослышали и мы: записаны в набор. Боже, замерло во мне сердце, как узнал я об этом. А мой Хома так и остолбенел совсем, сердечный.

— Не будем, Семен, дожидаться беды,— говорит,— убежим.

— Убежим! — ответил я ему, да и кинулся домой собираться. Отец, мать, все домашние, как узнали, что случилось, так и помертвели от великого горя.

— Сыночек, сыночек! — заголосила мать.— Один ты у меня, как одна душа, богом данная, и того отнимают у меня.

— Молчи, старуха,— сказал отец сквозь слезы,— не задерживай его, пусть идет, авось бог милосердный убережет от тяжкой неволи! Собирайся, родимый, прощайся с матерью, с сестрами, пойдем, провожу тебя за село.

Собрался я, попрощался. Мать так и обмерла, когда я выходил.

— Семен, Семен, вернись! — закричала мне.

Я воротился.

— Дай хоть насмотрюсь я на тебя, сыночек мой, радость моя ненаглядная! Может, в последний раз я тебя вижу!

— Успокойтесь, мама, бог милостив! — ответил я дрожащим голосом, целуя ее, а у самого сердце так и сжималось.

Пошли мы с отцом вниз, к берегу Днестра. Там ждал уже меня Хома. Отец благословил нас, рассказал, где можно спрятаться; мы попрощались и пошли.

Ох, и натерпелись же мы до весны, один бог о том знает! Вот слышим, по селам шныряют стражники — то того поймают, то другого. Нас еще как-то господь хранил. Мы все держались приднестровских мест, топей да зарослей.

И вот в одном селе говорят нам: «Бегите в поле! Стражники с двух сторон подошли, обшарят камыши и выловят вас, как рыбу в мешок». Долюшка наша несчастная, куда ты денешься? В селе спрятаться — и думать нечего. В поле бежать — наверняка пропасть: поле открытое, ни куста, ни деревца нет,— пой-

мают, будь у нас хоть заячьи ноги или даже скройся мы в мышиные норки.

— Хома, придется пропадать тут! — сказал я, опуская руки. Мы уже три ночи не спали, измучились, с ног сбились, еле дышим. Нет сил и шагу сделать, не то что бежать по полю.

— Знаешь что? — говорит вдруг Хома.— Иди за мной!

— Куда?

— Не спрашивай, иди, если не хочешь пропадать!

Я знал горячий нрав Хомы, собрался с силами и иду. Дорогой думаю себе:

«Вот тебе и приятель, друг сердечный. Ведет меня бог весть куда и слова ласкового не скажет, не утешит, не посоветует! Ой, ой, свет мой белый, горькая моя судьбинушка!»

Правда, до тех пор Хома не раз выручал меня из беды, не раз спасал меня, не глядя на опасность для себя самого,— ну, да зато и я никогда не бросал его в тяжелую минуту, слушался его, как отца.

Так и теперь.

Так, раздумывая, иду, ноги волочу по задворкам села вслед за Хомой. Иду и угадать не могу, куда он ведет меня.

— Стой! — сказал Хома, подходя к самой крайней хате,— тут мы и отдохнем.

— Тут отдохнем? — вскрикнул я, оглядываясь.— Хома, да ты что? Да ведь это самая крайняя хата, еще и стоит-то она на самой дороге, совсем открыто! Тут нас накроют и изловят, как воробьев в силке!

— Тут и отдохнем,— снова сказал Хома холодно и твердо.— Я не могу идти дальше!

— Побойся бога, Хома! — кричу я ему.— Ведь ты сам в пропасть лезешь! Что с тобой приключилось? Или ты рехнулся? Я не стану здесь отдыхать, что бы ты мне ни говорил!

— Не будешь? Ну что ж, как хочешь. Я здесь отдохну!

— Идем хотя бы вон к тому стогу, там зароемся в сено. Не дури ты мне голову, не толкай сам себя в беду!

— Ни шагу не сделаю!—упрямо сказал Хома и вошел в хату.

Боже мой милостивый, да ведь это мой приятель, мой искренний друг! И он сам добровольно толкает и себя и меня на зарез? И не отступится от своего, хоть пропадай! Уперся, как козел рогами! Богородица пречистая! Избавь меня от всего злого и от такого приятеля!

«Но что же теперь делать? — думаю себе дальше.— Придется одному пропадать! Эх, думаю, все равно, пропадать мне одному где-то, а Хоме тут, так лучше уж пропадем вместе!»

И я пошел за Хомой в хату.

— Что, одумался, образумился? — спрашивает он меня насмешливо.

Боже, он еще насмехается над моим горем, а я еле на ногах стою!

Хата, куда мы вошли, была полуразрушенная, ветхая лачуга, жил в ней старый дед-нищий. Летом он иногда почевал в ней, зимой жил где-нибудь в селе, да и летом целыми неделями мыкался по селам за подаянным хлебом. И теперь мы не застали его. Хата была затворена на засов, но Хома отодвинул его палочкой. В хате ничего не было, только несколько мешков, палка нищего, шапка, сшитая из тысячи заплат, да еще какое-то тряпье.

Но странно мне показалось — чему, думаю себе, так радуется Хома да бегает по хате.

— Семен,— говорит он мне,— ты, я вижу, дверь затворил? Не затворяй! Отвори немного, а то здесь душно!

Боже мой милостивый, видно, он совсем ума решился или еще что приключилось с ним!

— Отвори дверь, слышишь! — прикрикнул он на меня.

Что мне было делать? Должен был я послушаться этого сумасшедшего.

— Раздевайся и ложись спать! Нужно выспаться, потому что ночью некогда будет спать!

Я стою, вытаращив на него глаза, сам не знаю, что со мной делается.

— Слышишь ты, дурак последний! Раздевайся и ложись спать! Как пора будет идти, я тебя разбужу.

Переворачивалось мое сердце — кипело в нем, как в котле. Слезы выступили на глазах.

— Хома! — говорю я сквозь слезы.— Что с тобой приключилось? Или ты сердце потерял? Или ты забыл отца, мать родную?.. Или ты забыл, что стражники, того и гляди, нагрянут сюда? Что же ты делаешь? Побойся бога, не губи нас обоих! Ведь мы с тобою когда-то были товарищами, я любил тебя всей душой, как своего родного брата! Что я тебе сделал? За что ты хочешь мне жизни убавить?

И что вы думаете,— смягчился от этих слов Хома? Как же! Отвернулся он от меня, как зверь какой, потер лоб рукой и давай хохотать.

— Ха-ха-ха!.. Вот так парубок,— хохотал он.— Учуял беду, как слепой колбасу в борще, и ну кричать: «Пропадаю я, пропадаю!»

Вот видите, какой душевный приятель! Положись на такого человека! Подождите, увидите, что он мне еще преподнес!..

— Семен,— говорит Хома через минутку, уже помягче.— Семен, брат ты мой! Или ты думаешь, что я бы не отдал жизни своей за тебя? Или ты забыл, что мы оба на одной дорожке стоим? Так не думай, будто я с ума спятил или хочу и тебя и себя погубить! Делай, брат, что скажу тебе, а тогда увидишь, что я еще не такой дурень, как тебе кажется.

Немножко успокоили меня эти слова, да и что же будешь делать в конце концов? Разделся я, постелил армяк на землю и лег. Но разве заснешь? Дрожу всем телом, как рыба в неводе! Кому в такой тяжкой тревоге сон в голову полезет?

Хома не ложился, шарил что-то по хате. Что он задумал? Господь его знает, ну, никак не могу догадаться!

— Семен,— говорит он, видя, что я не могу заснуть,— на, выпей!

И поднес мне добрую чарку водки. Водка у него была при себе, стакан нашел где-то в углу.

Я выпил. Водка была крепкая, меня всего теплом проняло, усталость сказалась — и через минуту я заснул как камень.

Не знаю, долго ли я спал или нет, только будит меня Хома снова.

— Семен, Семен, вставай, стражники!

Последнее слово, словно удар грома среди ясного неба, сразу заставило меня очнуться.

— Где, где? — спрашиваю, вскочив на ноги.

— Не спрашивай, делай, что скажу тебе!

— Что же мне делать?

— Зажмурь глаза и не открывай их, что бы там ни было, до тех пор, пока не скажу тебе. Слышишь?

— Ладно, ладно!

— А теперь бери вот это в руки!

Я взял. Это была веревка или оброть какая-то, не знаю.

— Держи крепче!

— Держу.

— Иди теперь за мною!

Мы пошли.

Дорогой слышу: крик, плач, волы ревут, псы лают, под ногами грязь, лужи,— догадываюсь, что идем мы селом.

— Хома, побойся бога, куда ты ведешь меня?

— Ни слова, болван! Стражники идут! — шепнул он мне сурово. Я обмер со страху.

«Вот тут нам и крышка,— думаю.— Пропала коза, пропала и дереза!»

Идем дальше, а подо мной колени только диль-диль-диль! А тут вдруг слышу:

— A skąd wy, dziady? [1] — спрашивает грубый голос.

«Это, наверно, стражник,— думаю я.— Ну, господи помилуй грешную душу! Сейчас и нас спросит». Только удивляюсь я, почему они сперва спрашивают каких-то нищих.

Смешной старческий голос отвечает возле меня:

— С белого света, папочек милостивый! Мы, божьи старцы, братья-близнецы. В реке купались, в воду ныряли; я его закупал, а он в воде глаза потерял. Хотел найти, да не мог, так домой и прибег...

— Ха-ха-ха! — засмеялось несколько голосов.

Боже милостивый, как видно, тут их много. И почему они не хватают, не вяжут нас? И ни слова не говорят нам?

— Где живете, бродяги? — спросил по-польски кто-то грубым голосом, но заметно было, что сквозь смех.

— У воды, папочек, у воды! Наша хата из лебеды, из репейника засов, крыша из лопухов!

Снова смех слышен, но стражники все еще не берут нас. Я дрожу всем телом и держусь за веревку, не смея и взаправду со страху открыть глаза. Думаю себе: пусть будет что будет, посмотрю, чем все это кончится.

— Веселая бестия! — продолжал, насмеявшись вволю, грубый голос, обращаясь к другим.— Ну, однако, идем. Кажется мне, что в том стоге за селом удастся нам поймать хорошую птичку!

Я слышал, как стражники, смеясь, удалились, и от удивления не знал, что и подумать.

— Иди, слепой братище! — кричал старческий, дряхлый голос прямо передо мною.— Иди туда, где ветер свищет! На ветру пристроимся, ветром укроемся, ветер под голову возьмем и тепленько заснем.

— Насмешил он меня своими прибаутками! — донеслось до меня издалека. Хома дернул меня за веревку. Я пошел за ним, все еще не понимая, сон или явь — то, что со мною творится.

Мы шли еще довольно долго.

— Ну, открывай глаза, слепой кот! — сказал мне весело Хома. Я глянул. Густой сумрак уже редел вокруг; вдали еще виднелось село, его можно было признать по клубам дыма, который то тут, то там подымался над низкими соломенными крышами.

---

[1] Откуда вы, старцы? *(польск.)*

— Ну что, съели нас стражники? — спросил меня, смеясь, Хома.

Я не отвечал ни слова, не мог еще прийти в себя.

— Товарищ мой дорогой, видишь теперь, что не спихнул я тебя в пропасть! — сказал он тихо. Я теперь в первый раз взглянул на него.

Что это такое? Какой-то старец с длинной бородой стоял передо мною.

— Во имя отца и сына, что с тобой, Хома?

— То же, что и с тобой! — отвечал он.

— То же, что и со мной? Что ты говоришь?

— Посмотри в воду на свою рожу! — сказал Хома дряхлым, старческим голосом. Неподалеку была широкая лужа, я поглядел — пропади, нечистая сила! Не знай я, что это я сам, так ни за что не узнал бы себя! Старик, и все,— хоть провались, не узнать Семена! Обвешанный торбами, с длинной палкой в руке, в пестрой шапке на голове. Хома тоже такой! Вот почему он так настойчиво посылал меня спать в дедову хату! Вот оно что!

Так вот мы и ушли на этот раз от беды, но что вы думаете, на этом и кончилось? Стражники искали, рыскали повсюду; мы шли, кидаясь в разные стороны, как вороны на ветру, колесили да колесили за Днестром. Но вот слышим: уже унялась немного погоня, нет уже стражников в округе. Ну, слава тебе господи! — думаем.— Мы на этот раз все же спаслись! Теперь нужно подумать, каким способом домой вернуться. Раскинь-ка умом, Хома! Веди, Хома! Хома взялся вести домой.

Мы не спеша возвращались обратно окольными тропами, осторожно, чтобы как-нибудь неожиданно не попасть в лапы стражникам. Бог помог нам, и мы уже подходили к нашему селу: осталось нам, может быть, версты две-три, не больше. Кто бы мог думать, что тут-то мы и найдем то, от чего почти с полгода прятались по чужим селам? А нашли мы свою беду на мосту, как говорится. И все из-за моего приятеля, из-за Хомы!

Сидели мы два дня в камышах. Было слышно, что в нашем селе еще стражники. На другой день к вечеру говорит Хома:

— Знаешь что, Семен. У меня нога болит, может, ты сходишь в село, разузнаешь, что слышно, да принесешь чего-нибудь поесть?

Я пошел. Только вышел из камыша, смотрю: стражники ходят по полю. Я, увидев их, остолбенел с перепугу. «Господи, думаю, а вдруг они увидят меня!» Эх, подобрал я полы, и назад в камыши! Но уже было поздно,— увидали меня, собачьи дети, пустились за мной вдогонку. Вспоминаю теперь, было их четверо.

Как и куда я бежал, не помню. Помню только, что мокрый, оборванный, окровавленный, я упал возле Хомы. Хома сразу понял, в чем дело.

— Вставай,— крикнул он мне,— беги под мост!

Неподалеку был мост через речку. Под мостом было укрытие, которое мы оба знали.

Я собрал последние силы и встал.

— А ты-то куда денешься? — спросил я Хому.

— Беги, я о себе позабочусь!

Я побежал, оставив его в камышах.

Не знаю и до сих пор, что за хитрость придумал тогда Хома, чтобы и на этот раз уйти от погони. Через минуту, дрожа всем телом, сидел я под мостом, спрятавшись очень хорошо. Сижу я, сижу, понемногу и страх прошел, присматриваюсь, прислушиваюсь, что делается с Хомой. Ничего не слышно, только река шумит под мостом.

Долго я сидел, согнувшись в три погибели, не шевелясь, между двумя бревнами. Но вот слышу какие-то голоса. Выглядываю осторожно,— господи милостивый! Да ведь это моего приятеля, моего Хому ведут стражники. На руках и на ногах побрякивают кандалы, стражники окружили его и поблескивают карабинами. У меня в глазах потемнело, сердце словно льдом обдало. Гляжу пристальней,— Хома по самую шею мокрый; весь в грязи, да еще на нем гнилые листья, осока, камыш и всякая болотная трава. Видно, бедняга хотел спрятаться в болоте, да не удалось, нашли его, словили!

«Слава тебе господи, хоть я уцелел»,— подумал я про себя, сжался, как только мог, и сижу тихо, едва дышу.

Ну кто бы думал, что Хома даже теперь захочет напортить мне! Ох, ох, боже единый! Приятель, приятель! Послушайте только, на какую хитрость пустился мой любезный приятель, чтобы и меня погубить и отдать в руки стражникам. Слышу я, издали раздаются шаги. Идут стражники на мост, под которым я сижу! Слышу еще что-то. Точно кто-то поет, что ли! Прислушиваюсь — голос Хомы. Идет он и вроде поет, да так протяжно:

Ой, Семене, мій друже Семене!
Та скажи ти батькові від мене,
Що не буде вже Хома
У недільку дома! [1]

---

[1] Ой, Семен, мой друг Семен! // Ты скажи моему отцу, // Что не будет уже Хома // В воскресенье дома! *(укр.)*

— Ладно, ладно! — крикнул я из-под моста, взволнованный жалобным Хоминым напевом.

Господи, как я в ту минуту напугался своего собственного голоса! Жить и умирать буду, а той минуты не забуду. Зашумело у меня в ушах, зарябило в глазах, кровь прилила к голове — сам не знаю, что со мной сталось...

Я очутился на мосту. Два стражника держали меня за руки, один запирал на железный замок цепь, которую надели мне на руки. Я двинул ногой, на ней залязгала такая же цепь.

И вы говорите мне о дружбе! Разве по-приятельски поступил со мною Хома? Я поглядел на него. Он стоял хмурый, мокрый, дрожащий. Взглянул на меня — в его глазах блестели слезы... Да что мне с этих слез? Они ни мне, ни ему не помогут!

На другой день уже обстригли нам кудри. Мы были солдатами.

. . . . . .

Ох, дружба, дружба! Товарищество! Дались вы мне себя знать, не забуду вас до самой смерти! Из-за вас пропала моя молодость!

Лолин, июнь 1876

КАМЕНЩИК

Ах, этот стук, этот грохот, эти крики на улице прямо под моим окном гонят всякую мысль из моей головы, не дают мне ни минуты покоя, отрывают от работы! И некуда деться, некуда спрятаться от этого непрестанного стука. С утра до ночи не прекращается он, а когда я ложусь спать, измученный дневной жарой, так и во сне отчетливо слышу его. Вот уж целые два месяца так, подумайте только! С тех пор как перед моими окнами начали строить этот несчастный каменный дом, я не написал ни строчки, а стук и грохот так и стоят у меня в ушах.

Не в состоянии работать сам, сижу по целым дням у окна и смотрю на работу других. При виде проворной работы нескольких десятков людей, которые снуют туда и сюда на таком тесном пространстве, точно муравьи, стихает первое раздражение. Я успокаиваюсь, наблюдая, как мало-помалу под руками этой массы рабочего люда растет огромное здание, как поднимаются его стены, как шипит и курится известь, которую гасят в больших дощатых ящиках, а затем спускают в ямы, как каменщики обтесывают кирпичи, подгоняя их к определенному месту, как женщины и девушки носят цемент в ушатах, надетых на палку, как подсобные рабочие, согнувшись в дугу, на деревян-

ных посилках, ярмом палегших на оба плеча, тащат кирпичи вверх по лесам. Вся тяжелая, каждодневная работа этих людей проносится передо мной, как туча, и, слушая их крики, шутки и разговоры, я забываюсь, словно тону в каком-то безбрежном, непроглядном тумане, и быстро, неуловимо уплывают час за часом, день за днем.

Только нарядчики своим криком, бранью, угрозами, издевательствами над рабочими вырывают меня из этого непроглядного тумана, ставят лицом к лицу с проклятой действительностью. Их только двое, и, однако, они всюду; все рабочие замолкают и как-то сгибаются, когда тот или другой проходит мимо них. Им ни в чем не угодишь, все им не так, на все у них наготове ругань, злое, обидное слово. А если какой-нибудь рабочий посмеет возразить, защитить себя или вступиться за товарища, тут же лицо господина нарядчика наливается кровью, изо рта брызжет слюна, и берегись тогда виновный! И хорошо еще, если ему позволят остаться, а не прогонят с работы сейчас же! Ведь здесь они — полные хозяева, их власть над рабочими безгранична; прогнав одного, они сразу найдут четверых, и те проситься будут на место прогнанного. О, нынешнее лето для нарядчиков — жатва! Людей — выбирай только, да из платы урывай, сколько хочешь, ничего не скажут рабочие, а если кто-нибудь из них вздумает пожаловаться архитектору,— проваливай к чертям, пропадай с голоду, раз не хочешь покоряться!

Однажды, когда я, по обыкновению, сидел у окна и смотрел на работающих, поднялся крик на стене фасада. Почему начался крик, я не видел, увидел только, как нарядчик бросился к одному из рабочих, мрачному, рослому каменщику средних лет, и начал ругать его последними словами. Тот ничего, нагнулся и продолжает свою работу. Но нарядчика это упорное, хмурое молчание разозлило еще больше.

— Ах ты, вор, босяк, арестант, сейчас же убирайся отсюда! — кричал взбешенный нарядчик, с каждым словом все больше наскакивая на рабочего.

Я видел, как хмурое, склоненное над кирпичами лицо каменщика с каждой минутой все больше краснело, точно жаром наливалось. Он стиснул зубы и молчал.

— Сто раз, что ли, тебе говорить, висельник, голодранец, разбойник! Марш отсюда, сейчас же убирайся; а не уйдешь — сбросить прикажу!

Рабочий, видимо, боролся с собой: лицо его все посинело. Наконец, не выпрямляясь, поднял немного голову и медленно, с невыразимым презрением в каждом звуке, процедил:

— Ну и мужик! Ну и хам! Не дай боже из хама пана!

Нарядчик на миг так и застыл на месте при этих словах. Очевидно, поговорка угодила в самое больное его место: он был из мужиков и теперь, став «господином нарядчиком», сильно стыдился своего происхождения. После минутного остолбенения он взорвался с новой силой:

— Так? Так ты говоришь мне? Постой же, я тебе покажу! Я тебя научу! Марш!

Рабочий не трогался с места и продолжал свою работу.

— Собирайся, бунтовщик! Проваливай ко всем чертям, не то велю полицейского позвать!

Рабочий упрямо постукивал молотком о кирпич. Тогда нарядчик подскочил к нему, вырвал у него молоток из рук и швырнул на мостовую. Разъяренный каменщик заскрипел зубами и выпрямился.

— Хам! — крикнул он.— Какого черта ты ко мне прицепился? Чего ты от меня хочешь?

— А! Так ты — грозиться? — заорал нарядчик.— Караул! Караул! Разбой!

На крик прибежал второй нарядчик, и оба сообща набросились на каменщика. Тот не защищался. Кулаки обрушились на его спину; провожаемый пинками, онемев от ярости и отчаяния, он сошел с лесов и вскинул на плечи свой мешок с инструментом.

Другие рабочие, видевшие все это, молча продолжали свою работу, нагнувшись над кладкой и закусив губы. Никто из них и не пикнул.

— Как хама ни наряди, а все смердит! — уходя, крикнул уже с улицы каменщик. На лице его еще раз показалась бледная усмешка, но — на солнце — в глазах заблестели слезы.

— Смотри не сверни себе шею, бунтовщик, Довбущук окаянный! — крикнул нарядчик с лесов и погрозил уходящему кулаком.

На следующий день я встал рано и выглянул в окно. На улице еще было тихо. Рабочие только еще собирались «на фабрику». Я очень удивился, увидав среди них прогнанного вчера каменщика. Заинтересованный, я стал наблюдать, что произойдет, когда придет нарядчик. Другие рабочие редко заговаривали друг с другом, а к прогнанному и вовсе никто не подходил, он стоял в стороне, у забора. Вот пришел и нарядчик, фыркая и отдуваясь, как кузнечный мех. Он быстро оглядел рабочих; его сердитый взгляд остановился на выгнанном вчера каменщике.

— А ты, бунтовщик, снова здесь? Чего тебе нужно? Кто тебя звал?

— Господин нарядчик,— ответил рабочий, подступая на два шага (среди общей тишины слышно было, как дрожит его с трудом сдерживаемый голос),— господин нарядчик, будьте милосердны! Что я вам сделал? За что вы меня хлеба лишаете? Ведь вы знаете, что теперь я работы нигде не найду, а дома...

— Марш отсюда, арестантская морда! — заревел нарядчик, которому сегодня так же не понравилась покорность, как вчера упорное, хмурое молчание.

Каменщик опустил голову, взял под мышку свой мешок с инструментом и пошел. Целую неделю потом я наблюдал поутру все ту же сцену на улице. Выгнанный каменщик, как видно, не мог нигде найти работы и каждое утро приходил просить нарядчика снова принять его. Но нарядчик был тверд как камень. Никакие просьбы, никакие мольбы не трогали его, и чем больше гнулся и кланялся перед ним каменщик, чем глубже западали его потускневшие глаза, тем больше надувался нарядчик, тем более обидными и злыми словами поносил он несчастного рабочего. А тот, бедняга, после каждого отказа только стискивал зубы, молча брал под мышку свой мешок и уходил, не оглядываясь, словно боясь какого-то страшного искушения, которое так и толкало его на скверное дело.

Было это под вечер, в субботу. Внезапный дождь застал меня на улице, и я вынужден был укрыться в ближайшем трактирчике. В трактире не было никого; грязная, сырая комната была слабо освещена одной лампой, которая печально покачивалась под потолком, а за стойкой дремала старая, толстая еврейка. Осмотревшись вокруг, я — вот чудо! — за одним из столов увидел знакомого каменщика рядом с его заклятым врагом — нарядчиком. Перед каждым стояла кружка пива, до половины уже надпитая.

— Ну, дай нам боже, кум! — сказал каменщик, чокаясь своей кружкой о кружку нарядчика.

— Дай боже и вам! — отвечал тот голосом несколько более ласковым, чем на улице, на работе.

Меня заинтересовала эта странная дружба. Я спросил себе кружку пива и уселся подальше, в другом конце комнаты, за столом, в углу.

— Да что ж, кум,— говорил каменщик, с явным трудом пытаясь сохранить развязный тон,— нехорошо, что ты так на меня взъелся, ей-ей, нехорошо! За такое, кум, бог наказывает!

Говоря это, он застучал кружкой о стол и потребовал еще две кружки пива.

— Ты же знаешь, кум, какая у меня дома нужда! Нечего и

говорить тебе. Жена больна, заработать ничего не может; а тут и я, по твоей милости, целую неделю ни вот столечко!.. Да будь я один, как-нибудь вытерпел бы. А то, видишь, жена больная, да еще эти козявки бедные уже еле ползают, хлеба просят... Сердце разрывается, кум, ей-богу, разрывается! Ведь я им все же отец!

Нарядчик слушал это, опустив голову и кивая, словно дремал. А когда еврейка принесла пиво, он первый взял кружку, стукнул о кружку каменщика и сказал:

— За здоровье твоей жены!

— Дай боже и тебе здоровья! — ответил каменщик и отпил глоток из своей кружки. Видно было по его лицу, как неохотно прикасались его губы к этому напитку. Почем знать, может быть, на него пошел последний грош из занятого четыре дня назад гульдена, который должен был прокормить его несчастную семью до лучших дней, потому что другой, бог знает, удастся ли занять! А теперь он на последний грош взялся угостить своего врага, чтобы хоть таким способом задобрить его!

— И еще ты, кум любезный, рассуди по совести, что я тебе сделал такого? Что в сердцах неладное слово сказал?.. А ты-то мне сколько наговорил! Ей-богу, кум, нехорошо так обижать бедного человека!

Кум, выпив пиво, снова опустил голову и кивал, будто в дремоте.

— Ты уж,— заговорил несмело каменщик,— будь милостив, в понедельник... того... Сам видишь, куда деваться бедному человеку? Что ж мне, так и погибать с женой и детьми?

— А что, прикажешь подать еще кружку этого пойла? — прервал его речь нарядчик.

— А как же, как же! Эй, еще кружку пива!

Еврейка принесла пива, нарядчик выпил его и вытер губы.

— Ну так как же будет? — спросил тревожно каменщик, стараясь взять нарядчика за руку и заглядывая ему в лицо.

— Как будет? — ответил тот холодно, вставая и собираясь уходить.— Спасибо тебе за пиво, а на работу в понедельник приходить тебе нечего, я уже нанял другого. А впрочем (эти слова сказал он уже у самых дверей), мне таких бунтовщиков, таких висельников, как ты, не нужно!

И нарядчик одним прыжком очутился на улице и захлопнул за собой дверь трактира.

Несчастный каменщик остался, как громом пораженный.

Долго стоял он неподвижно, не зная, наверно, что и подумать. Потом очнулся. Какая-то дикая мысль блеснула в его голове. Одной рукой он опрокинул стол, за которым сидел, мигом

отломал от него ножку и махнул ею по стойке. Стук, звон, треск, крик еврейки, голоса сбегающихся людей, крик полицейского — все в одну минуту слилось в дикую, оглушительную гармонию. В одно мгновение несчастный каменщик очутился среди ревущей и визжащей толпы евреев, которые с неистовым воплем передали «буйного, сумасшедшего разбойника» в руки полицейского. Грозный страж общественного спокойствия схватил его за плечи и толкнул вперед себя. Рядом с полицейским поплелась испуганная до полусмерти трактирщица, оставив вместо себя какую-то другую еврейку, а вокруг них, воя и причитая, целая толпа евреев и прочей уличной голытьбы повалила к участку.

1878

МАЛЕНЬКИЙ МИРОН

I

Маленький Мирон — удивительный ребенок. Отец не нарадуется, глядя на него, и говорит, что он удивительно умное дитя, но, известное дело, отец не судья своим детям. Да и к тому же отец Мирона уже в летах, едва дождался ребенка, и, конечно, каков бы ребенок ни был, для него-то он и золотой, и умный, и красивый. Соседи говорили между собою, что Мирон «какой-то не такой, как все дети»: идет — руками размахивает, говорит о чем-то сам с собою, возьмет прутик, со свистом разрезает им воздух или срубает головки у репейника и ласточкиной травы. Среди других детей он несмел и непроворен, а если когда и заговорит о чем-нибудь, то говорит такое, что старшие, услышав, только плечами пожимают.

— Василь! — говорит маленький Мирон маленькому Василию.— Ты до скольких умеешь считать?

— Я? До скольких умею? Пять, семь, парканадцать!

— Парканадцать! Ха-ха-ха! А сколько это — парканадцать?

— Ну, сколько же может быть? Я не знаю!

— Да нисколько. Садись-ка, будем считать!

Василь садится, а Мирон начинает считать, ударяя за каждым разом палкой по земле: один, два, три, четыре...

Василь слушал, слушал, а потом вскочил и убежал. Мирон и не заметил: сидит себе, отстукивает и считает все дальше и дальше. Подошел старик Рябина, покашливая, кряхтя и охая,— Мирон не слышит, продолжает свое. Старик остановился возле него, слушает, слушает... Мирон досчитал уже до четырехсот.

— Ах ты непутевый! — сказал старик своим обычным, немного гнусавым голосом.— Ты что делаешь?

Маленький Мирон так и съежился и посмотрел испуганно на старика Рябину.

— Да ты землицу святую бьешь, а? Ты не знаешь, что землица — наша мать? Дай сюда палку!

Мирон отдал, почти не понимая, чего хочет от него старик. Рябина швырнул палку в крапиву. Мирон чуть не заплакал, не из-за палки, а скорее, оттого, что старик прервал его счет.

— Ступай домой, да «Отче наш» говори, а не бей землю! — сказал сурово старик и заковылял дальше. Мирон долго глядел ему вслед, все еще не понимая, за что это старик прогневался и чего он хочет.

II

Маленький Мирон больше всего любит один бегать по зеленым, цветистым лугам, среди широколистых лопухов и пахучей ромашки, любит упиваться сладким запахом росистого клевера и украшать себя цепкими головками репейника, которые он нацеплял на себя с ног до головы. А еще речка, которую нужно перейти, чтобы попасть на выгон, небольшая спокойная подгорянская речонка, с высокими, крутыми, обрывистыми берегами, с глинистым дном, с журчащими бродами, дно которых покрыто мелкой галькой, обросшей мягкими, зелеными водорослями, длинными, словно зеленые шелковые пряди,— эта речка подлинная радость и могучая приманка для Мирона. Там он по целым часам любит сидеть, забравшись в высокую зеленую осоку или между густых широких листьев белокопытника. Сидит и глядит на играющую воду, на дрожащую под напором волны траву, на пескарей, которые время от времени вылезают из своих нор или выплывают из глубины, то шаря по дну и ловя водяных червей, то выставляя свою тупую, усатую мордочку из воды: вдохнут раз-другой воздух и вновь поскорей удирают в свои норки, словно отведали невесть какого лакомства. А между тем солнце палит с безоблачного темно-голубого неба, припекает Мирону плечи и все тело, но не сжигает его, укрытого широкими листьями. Любо ему. Его маленькие серые глазки живо бегают, детский лобик хмурится,— мысль начинает работать.

«Вот солнышко — почему оно такое маленькое, а отец говорил, что оно большое? Это, наверно, в небе такая небольшая дырка прорезана, что его немного только и видно!»

Но сейчас же в его голове закопошилась и другая мысль:

«Ой, да как же так? Восходит — там маленькая дырка; заходит — и там дырка. Разве дырка вместе с солнцем по небу ходит?»

Это не может вместиться в его голове, и он обещает себе, придя домой, сразу же расспросить отца, какая это в небе для солнца дырка прорезана?

— Мирон! Мирон! — слышен издалека крик. Это зовет мать. Мирон услышал и вскочил, сбежал с берега к броду, чтобы перейти речку, да и остановился. Много раз уже переходил он через речку — и ничего, а теперь вдруг увидел нечто новое. Он стоял прямо против солнца и, поглядев в воду, увидел вместо мелкого, каменистого дна и мягких зеленых прядей водорослей одну бездонную, глубокую синеву. Он не знал еще, что это небо улыбается ему из воды, и остановился. Как же тут идти в такую глубь? И откуда она взялась так неожиданно? Он остановился и начал внимательно всматриваться в глубину. Все по-прежнему. Он присел. То же самое — только у самого берега видны знакомые камешки и слышно обычное приятное журчание воды у брода. Он обернулся в другую сторону, от солнца: глубина исчезла, брод мелкий, как и раньше. Это открытие и обрадовало и удивило его. Он начал поворачиваться во все стороны, пробуя, что выйдет, и радуясь дивному явлению. А про зов матери совсем забыл!

Долго так стоял маленький Мирон, то наклоняясь, то отворачиваясь от брода, но войти в воду все же боялся. Все казалось ему, что вот-вот посреди мелкого каменистого брода земля расступится и разверзнется бездонная синяя глубь под рекой, между высокими берегами, и полетит он в эту глубь далеко-далеко, исчезнет в ней, словно щепочка, брошенная в глубокий, темный колодец. И кто знает, как долго стоял бы он у брода, если бы не подошел сосед Мартын, который с вилами и граблями спешил на покос.

— Ты чего тут стоишь? Вон там тебя мать кличет. Почему не идешь домой?

— Я хочу идти, да боюсь.

— Чего?

— Да вот, смотрите! — И он показал на бездонную синеву в воде. Мартын не понял.

— Ну и чего ж тут бояться? Здесь мелко.

— Мелко? — спросил недоверчиво Мирон.— А вон как глубоко!

— Глубоко? Смотри, совсем не глубоко,— сказал Мартын, и как был в лаптях, так и перешел брод, почти не замочив их. По-

реход Мартына придал и Миропу смелости, и он перешел через речку и побежал огородами домой.

— Какой глупый мальчишка! Пять лет ему, а еще броду боится,— пробормотал сосед и пошел своей дорогой.

III

А когда летом все старшие уходят в поле, Мирон остается один, но не в хате. В хате он боится. Боится «дедов в углах», то есть теней, боится пузатого дымохода, черного внутри от сажи, боится толстого деревянного колка, вбитого в оконце под потолком для вытяжки дыма от лучины, освещающей зимой хату. Мирон остается во дворе. Там он может гулять, рвать травинки и разрывать их на мелкие кусочки, строить домики из прутиков и щепок, которые наберет возле дровяного сарая, или просто лежать на завалинке и греться на солнце, слушая чириканье воробьев на яблонях и глядя в синее небо. Любо ему, и на детский лобик снова набегает облачко — появляется мысль.

«А чем это человек все видит? И небо, и землю, и отца с мамой? — возникает у него ни с того ни с сего такой вопрос.— Или чем слышит? Вон коршун кричит, куры кудахчут... Отчего это я все слышу?»

Ему кажется, что все это человек делает ртом — и видит и слышит. Открывает рот: так и есть, видно все, слышно все.

«А может быть, нет? Может, глазами?»

Закрывает глаза. О, ничего не видно. Открывает — видно и слышно. Закрывает снова — не видно, но слышно.

«А-а, так вот оно как! Глазами видно, а чем же слышно?» Снова открывает и закрывает рот — слышно! Потом глаза — все слышно. Но вот пришла в голову мысль — заткнуть пальцами уши. Шу-шу-шу... Что это такое? Слышен шум, но не слышно ни кудахтанья кур, ни крика коршуна... Отнимает пальцы — кудахтанье слышно, а шума нет. Еще раз — то же самое.

«Что это значит? — рассуждает Мирон.— Ага, теперь знаю. Ушами слышу кудахтанье, а пальцами — шум! Ну да, ну да».

Пробует еще раз-другой — так, совершенно верно!

А когда жнецы сходятся на обед, он вприпрыжку бежит к отцу.

— Татуня, татуня! Я что-то знаю!

— Что такое, сынок?

— Я знаю, что человек глазами видит.

По лицу отца пробежала улыбка.

— А ушами слышит кудахтанье, а пальцами шум.

— Как, как?

— Да так, ежели не заткнешь уши пальцами, то слышно, как курицы кудахчут, а как заткнешь, то слышишь только шум.

Отец захохотал, а мать, сердито взглянув на Мирона, сказала, замахиваясь на него ложкой:

— Иди, бродяга, иди! Такой большой парень, женить пора, а такие глупости говорит! Отчего ты никогда не подумаешь, прежде чем сказать, а все так и ляпнешь, словно на лопате вывез?.. Человек все слышит ушами — и шум и кудахтанье.

— А почему же не слышно все вместе? Если не заткнешь уши, так слышно кудахтанье, а если заткнешь, то слышен только шум? — спросил малыш.— Вот попробуйте сами! — И он для большей убедительности заткнул себе уши пальцами.

Мать что-то проворчала, но ответа на этот вопрос не нашла.

IV

А уже самая большая беда для Мирона — это «думанье»! Не умел думать, и все! Что, бывало, ни скажет, все как-то не так, как нужно, всегда мать или кто-нибудь другой говорит ему:

— Да отчего ты, дурак непроходимый, не подумаешь наперед, что хочешь сказать, а болтаешь, как рыбак веслом!

И как ни мучился бедный Мирон, чтобы придумать, а потом сказать что-либо разумное,— нет, не может, да и только. Бедный Мирон пришел к убеждению, что он не умеет думать!

Как-то раз сидит вся семья за обедом вокруг большого стола посреди хаты. Мать подает капустняк. Капустняк хороший, с салом, еще и крупы добавлено. Все едят молча. Мирон глотнул раза два, а потом и задумался над тем, почему это так тихо стало в хате, никто и слова не скажет. Ни с того ни с сего запала ему в голову мысль, что именно теперь ему необходимо что-нибудь сказать. Но что бы такое? Нужно раньше обдумать, а то все будут смеяться, а мать и побранит. Что бы это сказать? И маленький Мирон начинает размышлять. Ложка, как нес он ее ото рта к миске, так и застыла в воздухе вместе с рукою. Глаза неподвижно уставились в пустое пространство, а затем невольно остановились на иконе божией матери, висевшей на стене; губы только шевелятся, словно что-то шепчут.

Работники, заметив это, переглянулись между собой, толкнули друг друга локтем, а девушка-батрачка шепнула даже старому Ивану:

— Ну, сейчас какую-нибудь глупость выпалит.

— Вот я не знаю,— медленно начал Мирон,— почему это святая матерь смотрит-смотрит, а капусты не ест?..

Бедный Мирон, как он ни мучился, не мог ничего лучшего придумать, может быть, потому, что его насильно заставляли думать «так, как все».

Смех, хохот, обычный нагоняй матери, опять: «дурень непроходимый»,— бедный Мирон заплакал.

— Что же мне делать, если я не умею думать так, как все,— сказал он, утирая слезы.

V

Что из него выйдет? Какой цветок разовьется из этой почки? Это предсказать нетрудно. Встречаются в наших селах довольно часто такие удивительные явления. Все у них сызмальства не так, как у людей: и походка, и лицо, и волосы, и слова, и поступки, и если придется такому ребенку весь свой век прожить под убогой сельской крышей, без более широкого опыта, без более ясных познаний, если с малых лет нечуткие родители начнут гнуть его природу и мысли так, чтобы они были «как у всех людей», то им наверняка удастся задушить врожденную наклонность к своеобразию; все не нашедшие себе применения и приглушенные способности ребенка застынут и зачахнут в зародыше, и из маленького Мирона выйдет плохой хозяин, или, еще хуже, подавленная, но не уничтоженная живость и быстрота характера толкнут его на злое, не будучи в состоянии развиться в доброе — станет он забиякой, затем знахарем, верящим в собственные видения, и с чистым сердцем будет дурманить людей.

Но если у такого ребенка окажется любящий и, главное, не очень бедный отец, который захочет и сможет, поднатужась из последнего, отворить своему ребенку двери в мир, то тогда — что же тогда? Вы думаете, доля ребенка будет лучше в том смысле, как обычно понимают люди «лучшую долю»? Как бы не так! В школе набросится ребенок на науку, будет упиваться ею, как больной свежим воздухом, и кончит тем, что, проникшись истинами науки, захочет перенести их в жизнь. И станет маленький Мирон горячим проповедником этих истин, понесет их темным и обездоленным, под родные сельские крыши... Ну и незавидна же будет его доля! Узнает он и стены тюремные, и всякие другие норы, муки и насилие людей над людьми, а кончит тем, что либо пропадет где-нибудь в нищете и одиночестве на каком-нибудь

глухом чердаке, либо вынесет из тюремных стен зародыш смертельного недуга, который раньше времени сведет его в могилу, либо, утратив веру в святую, высокую правду, начнет водкой заливать тоску до полного забвения. Бедный маленький Мирон!..

1879

ГРИЦЬ В ШКОЛЕ

Був Гриць премудрий родом з Коломиї,
Вчився барз добре на філозофії [1].

Старая песенка

I

Гуси ничего об этом не знали. Даже в то утро, когда отец надумал отвезти Гриця в школу, гуси не знали об этом намерении. Еще меньше знал о нем сам Гриць. Он, как обычно, встал рано, позавтракал, немного похныкал, почесался, взял прутик и вприпрыжку погнал гусей со двора на пастбище. Старый белый гусак, как обычно, вытянул к нему свою маленькую голову с красными глазами и красным широким клювом, сердито зашипел, а потом, переговариваясь о чем-то с гусынями, пошел впереди всех. Старая, черная с подпалинами гусыня, как обычно, не хотела идти в одном ряду со всеми, а слезла с мостков и забрела в канаву, за что Гриць стегнул ее прутиком и назвал «длянью» — так он имел привычку называть все, что не подчинялось его высокой власти на пастбище. Совершенно очевидно, что ни белый гусак, ни черная с подпалинами гусыня и вообще никто из всего стада,— хоть их было двадцать пять,— никто из них не знал о скором переселении их владыки и воеводы на иное, далеко не столь почетное место.

Поэтому, когда вдруг, нежданно-негаданно, пришла новая весть, то есть когда отец, идя с поля, позвал Гриця домой и отдал его в руки матери, чтобы она его умыла, причесала и одела, как бог велел, и когда потом отец взял его с собою и, не говоря ни слова, повел трепещущего через выгон вниз, и когда гуси увидели своего недавнего поводыря в совсем ином виде, в новых сапожках, в новой войлочной шляпенке, подвязанного красным кушаком,— поднялся меж ними внезапный и громкий крик удивления. Белый гусак, вытянув шею, близко подбежал к Грицю, словно хотел хорошенько рассмотреть его; черная с подпалинами

[1] Был Гриць премудрый родом из Коломыи, // Учился очень хорошо на «философии» *(укр.)*

гусыня также вытянула шею и долгое время не могла издать ни звука от внезапного потрясения, лишь потом быстро загоготала: «Где-где-где-где?»

— Дулная гуска! — гордо ответил Гриць и отвернулся, словно хотел сказать: «Как же, жди! Не в такие я теперь паны вышел, чтобы отвечать тебе на твой гусиный вопрос!» А впрочем, он, быть может, потому ничего не ответил, что и сам ничего не знал.

Пошли по селу. Отец молчит, и Гриць молчит. Так дошли они до большого старого дома под соломенной крышей, с трубой наверху. К этому дому шло много ребят, таких же, как и Гриць, а то и постарше его. Возле дома в саду ходил какой-то пан в жилетке.

— Гриць! — сказал отец.

— А! — сказал Гриць.

— Видишь эту хату?

— Визу.

— Запомни, это школа.

— Ба,— сказал Гриць.

— Сюда будешь ходить учиться.

— Ба,— сказал Гриць.

— Учись хорошенько, не балуйся, пана учителя слушай. Я пойду, чтобы тебя записали.

— Ба,— сказал Гриць, почти ничего не понимая из того, что говорил отец.

— А ты ступай вот с этими мальчиками. Возьмите его, мальчики, с собой!

— Иди! — сказали мальчики и взяли Гриця с собой, а отец между тем пошел в сад поговорить с учителем.

II

Вошли в сени, в которых было совсем темно и страшно воняло прошлогодней гнилой капустой.

— Видишь там? — сказал Грицю один мальчик, показывая на темный угол.

— Визу,— сказал дрожа Гриць, хотя ровно ничего не видел.

— Там яма,— сказал мальчик.

— Яма! — повторил Гриць.

— Если будешь плохо учиться, то учитель посадит тебя в эту яму, и будешь сидеть там целую ночь.

— Я не хочу! — воскликнул Гриць.

В это время другой мальчик шепнул что-то первому, оба засмеялись, а потом первый, нащупав школьную дверь, сказал Грицю:

— Постучи в дверь! Живо!

— Зачем? — спросил Гриць.

— Нужно! Тут так положено, если кто в первый раз приходит.

В школе стоял шум, как в улье, но когда Гриць постучал кулаком в дверь, все сразу стихло. Мальчики тихонько отворили дверь и втолкнули Гриця внутрь. В ту же минуту захлестали гибкие березовые розги по его плечам. Гриць очень перепугался и завизжал.

— Молчи, дурак! — кричали на него насмешники-мальчуганы; они, услышав стук, засели за дверью и подстроили Грицю эту неожиданную встречу.

— Ой-ой-ой! — кричал Гриць. Школьники испугались, как бы не услыхал учитель, и стали уговаривать Гриця:

— Молчи, дурень, это так полагается! Тому, кто стучит в дверь, нужно постучать по плечам. Ты разве не знал этого?

— Не-е-е зна-а-ал! — всхлипывал Гриць.

— Почему же ты не знал?

— Я-а-а пе-ел-вый ла-аз в школе.

— Первый раз! А! — вскричали ученики, словно удивившись тому, как это можно быть первый раз в школе.

— Ну, так тебя нужно угостить! — сказал один, подскочил к доске, взял из ящичка большой кусок мела и подал Грицю.

— На, глупый, ешь скорей!

Все молчали и в ожидании глядели на Гриця, который вертел в руках мел, а потом тихонько положил его в рот.

— Ешь, глупый, да скорей!..— торопили мальчики, а сами давились от смеха.

Гриць начал жевать и насилу съел мел. Хохот раздался в школе такой, что стекла зазвенели.

— Цего смеетесь? — спросил удивленный Гриць.

— Ничего, ничего. Может, еще хочешь?

— Нет, не хочу. А цто это такое?

— А ты сам-то не знаешь? Вот глупый! Да это иерусалим такой, очень хороший.

— Ой, не оцень холосый,— сказал Гриць.

— Да это ты еще не разобрал. Его каждый ест, кто первый раз приходит в школу.

В эту минуту вошел учитель. Все ученики, как вспугнутые воробьи, разбежались по своим местам, только Гриць остался со слезами на глазах и с губами, белыми от мела. Учитель грозно приблизился к нему.

— Как тебя зовут? — крикнул он.

— Гриць.

— Что за Гриць? А, ты новичок! Почему не сидишь на скамье? Чего плачешь? Чем губы вымазал? А?

— А я ел елусалим.

— Что? Какой иерусалим? — допытывался учитель.

Ребята еле сдерживали смех.

— Да мальчики давали.

— Какие мальчики?

Гриць оглянулся по сторонам, но никого не мог признать.

— Ну, ну! Иди садись и учись хорошенько, а иерусалим больше не ешь, а то будешь бит!

III

Начался урок. Учитель говорил что-то, показывая какие-то дощечки, на них были нарисованы какие-то крючки и столбики; мальчики время от времени кричали что-то, когда учитель показывал новую дощечку, но Гриць ничего не понимал. Он почти и не смотрел на учителя: очень смешными ему показались мальчишки, которые сидели вокруг. Один ковырял пальцем в носу, другой, сзади, все время старался воткнуть Грицю в ухо тоненький стебелек; третий долго и усердно трудился, отрывая от своего старого кафтана заплатки, нитки и какие-то клочки; уже перед ним на нижней доске парты лежала целая куча, а он все еще дергал и рвал изо всей силы.

— Зацем ты лвешь? — спросил Гриць.

— Буду дома с бовщом есть,— ответил, шепелявя, мальчик, и Гриць долгое время думал над тем, не обманул ли его этот мальчик.

— А ты, Гриць, голубчик, ничего не слушаешь,— крикнул на него учитель и дернул его за ухо, да так, что у Гриця слезы невольно навернулись на глаза, и он так перепугался, что долгое время не только не мог слушать, но и совсем ничего не соображал. Когда он наконец опомнился, ученики уже начали читать склады по подвижным табличкам, которые раскладывал и складывал учитель. Они неутомимо по сто раз повторяли нараспев: «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Грицю, неизвестно почему, очень это понравилось, и он начал выкрикивать раньше других

своим писклявым голосом: «А баба галамага». Учитель уже готов был признать его усердным и способным мальчиком и, пожелав еще лучше удостовериться в этом, переставил буквы. Неожиданно он выставил перед учениками буквы «ба-ба», но Гриць, не глядя на них, а только на учителя, тонким певучим голосом крикнул «галамага». Все засмеялись, не исключая и самого учителя, только Гриць удивленно оглянулся и снова громко сказал соседу: «Поцему не кличис галамага?» Только тогда бедняга опомнился, когда учитель за понятливость хлестнул его розгою по плечам.

— Ну, чему тебя там в школе научили? — спросил отец, когда Гриць вернулся в полдень домой.

— Уцились мы «а баба галамага»,— ответил Гриць.

— А ты умел? — спросил отец, не вникая в то, что это за такая удивительная наука.

— Ну да, умел,— ответил Гриць.

— Ну вот, так и всегда учись! — похвалил отец.— Когда здесь, в селе, выучишься, пойдешь в город, в большую школу, а там выйдешь в попы. Жена, дай-ка ему поесть.

— Ба,— ответил Гриць.

IV

Прошел ровно год с того важного дня. Блестящие надежды отца на будущее Гриця давно рассеялись. Учитель прямо сказал ему, что Гриць «совершенный болван», что он лучше сделает, если возьмет его домой и снова заставит пасти гусей. И действительно, после целого года школьной науки Гриць вернулся домой точно таким же «мудрым», каким был год тому назад. Правда, «а баба галамага» он твердо заучил, и не раз даже во сне из уст его вылетало это диковинное слово — первый порог всяческой премудрости, которого ему так и не удалось переступить. Но дальше этих слов Гриць в ученье не пошел. Буквы как-то сливались перед его глазами, и он никогда не мог различить, какая из них *ш,* а какая *т,* которая «люди», а которая «мыслете». О чтении уже нечего и говорить. Была ли тут причиной его непонятливость или плохое преподавание учителя — неизвестно; верно только то, что, кроме Гриця, таких же «совершенных болванов» среди учеников того года было восемнадцать из тридцати, и все они, как один, в течение учебного года только и мечтали, как бы им избавиться от ежедневных розог, подзатыльников, пинков, шлепков, таскания за волосы и явиться снова в полном блеске своей силы на пастбище.

Но кто-кто, а Гриць, наверно, чаще и больше других думал об этом. Проклятый букварь, который он за год напряженной работы над научными вопросами изорвал чуть ли не в клочья, проклятое «а баба галамага» и проклятые учительские придирки и поощрения к учению так ему опротивели, что он даже похудел, побледнел и ходил все время, точно лунатик. Наконец смилостивился бог и послал месяц июль, и смилостивился отец, сказав однажды утром:

— Гриць!

— А?..— отозвался Гриць.

— С этого дня больше не пойдешь в школу.

— Ба! — сказал Гриць.

— Сними сапоги, шляпу и кушак, надо спрятать до воскресенья, а ты подвяжись-ка лыком, надень старую шапку да ступай пасти гусей.

— Ба! — радостно сказал Гриць.

V

Гуси, известно — глупые гуси, они и на этот раз ничего не знали о радостной перемене, ожидавшей их. В течение целого года школьной науки Гриця их пас маленький соседский мальчик Лучка, который только и делал на выгоне, что копал ямки, ленил куличики из грязи и обсыпался пылью. О гусях он совершенно не заботился, и они ходили самопасом. Не раз им случалось забрести в засеянное поле, и тогда им приходилось вытерпеть много проклятий и даже побоев от пострадавшего хозяина. Кроме того, несколько раз в тот год несчастье коснулось зловещим крылом гусиного стада. Пять молодых гусаков и десять гусынь хозяйка продала в городе; тяжело было остальным разлучаться с ними. Старую темно-серую гусыню забил хворостиной сосед на месте потравы и, с варварской бессердечностью привязав бездушный труп за лапу к той же хворостине, волок его таким образом через все поле, а потом бросил во двор хозяину. А одного молодого гусака, украшение и надежду стада, заклевал ястреб, когда тот однажды отбился от своих. Но, несмотря на все эти тяжелые и невозвратимые потери, стадо нынешнего года было больше прошлогоднего. Благодаря белому гусаку и черной с подпалинами гусыне да еще двум или трем молодым ее дочкам стадо в этот год превысило сорок штук.

Когда Гриць появился среди них с прутиком — знаком своей наместнической власти,— сразу все глаза обратились к нему, и

было слышно только удивленное шипение. Но ни белый гусак, ни черная с подпалинами гусыня не забыли еще своего прежнего доброго пастыря и вскоре узнали его. С громкими криками радости, хлопая крыльями, бросились они к нему.

— Где-где-где-где? — гоготала черная с подпалинами гусыня.

— Да вот в школе был,— ответил гордо Гриць.

— Ов! ов! ов! — удивлялся белый гусак.

— Не веришь, глупый? — крикнул на него Гриць и хлестнул его прутом.

— А сё-сё-сё? А сё-сё-сё? — шипели, собираясь вокруг него, остальные гуси.

— То есть чему я научился? — подсказывал им Гриць.

— Сё-сё-сё-сё? — шипели гуси.

— А баба галамага! — ответил Гриць.

Снова удивленное шипенье, словно ни одна из сорока гусиных голов не могла уразуметь такой глубокой мудрости. Гриць стоял гордый, недосягаемый. Наконец белый гусак обрел дар речи.

— А баба галамага! А баба галамага! — закричал он своим звонким, металлическим голосом, выпрямившись, подняв высоко голову и хлопая крыльями. А потом, обернувшись к Грицю, добавил, точно желая пристыдить его еще больше: — А кши, а кши!

Гриць был пристыжен, уничтожен! Гусак в одну минуту перенял и повторил ту премудрость, которая стоила ему года ученья!

«Почему они его в школу не отдали?» — подумал Гриць и погнал гусей на выгон.

1883

КАРАНДАШ

Не подумайте, пожалуйста, что рассказ мой хоть на йоту вымышлен или что его заглавие — какая-нибудь метафора. Нет, речь в самом деле идет о карандаше, и даже не о целом, а о куске этак примерно в два вершка длиною. Впрочем, если кто-нибудь скажет, что в нем было два с половиной, я тоже судиться не стану. Но в чем я уверен,— что трех вершков в нем не было. Это я мог бы, как говорят юристы, «показать под присягой» или, как выражаются наши ясеничане, «побожиться и поклясться всеми святыми». Вершка в два с половиной, не больше, был герой этого повествования. Правда, немало уже лет прошло с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз, то бишь с той поры, как

я видел его, потому что он-то своим очиненным носиком разве мог меня видеть? Да к тому же он целых полтора дня пролежал в моей школьной сумке, под книжками, во тьме кромешной! Чтоб не соврать, прошло никак не меньше шестнадцати лет — достаточный срок, чтобы забыть самого близкого друга. А я не забыл о нем, о кусочке карандаша в два с половиной вершка длиною, темно-красного дерева, шестигранном, покрытом желтым лаком, с серебряной тисненой надписью «Mittel» [1] на тупом конце; другой конец был очинен — не слишком тонко, но и не толсто, как раз так, как это нужно деревенскому школьнику.

В таком виде лежал он однажды зимним утром на снегу, во дворе ясеницкой школы, у самой тропки, которую протоптали с утра школьники. Было погожее, чудесное утро. Мороз стоял отчаянный; в воздухе летали крошечные снежинки, совсем прозрачные, заметные только по алмазным отблескам преломлявшихся в них солнечных лучей. Карандаш не зарылся в смерзшийся искристый снег, а лежал на поверхности. Его желтый лак поблескивал на солнце, а серебряные буквы «Mittel» видны были издалека. Наверно, какой-нибудь школьник, торопясь на занятия, потерял его. Так он и лежал, протянув свой черный, заостренный носик к ступенькам школы, как будто хотел сказать каждому прохожему, что там его настоящее место; казалось, он просил своим серебряным взглядом, чтобы его вынули из этой, хотя и прекрасной, но слишком холодной постели и отнесли туда, в школу, откуда далеко по селу разносились голоса мальчиков, дожидавшихся господина учителя.

Скажите же теперь по совести, как бы вы поступили, если бы вам случилось увидеть такой «Mittel», и вдобавок в таком, не совсем для его «чина» подобающем, положении? Думаю, что девяносто процентов из вас, не подозревая в нем героя не только рассказа, но даже газетной заметки или ничтожного объявления, подняли бы его и попросту спрятали бы в карман. Остальные десять процентов, наверно, и не нагнулись бы к нему.

Я, откровенно сознаюсь, принадлежал к первым девяноста и потому без всякой задней мысли нагнулся и, за отсутствием карманов, сунул карандаш в кожаную сумку, где лежали мои книжки. Но что было здесь не совсем обычно, это — что я очень уж обрадовался своей находке. Я был бедный деревенский мальчик, и у меня ни разу в жизни еще не было карандаша, все должен был писать этим проклятущим гусиным пером, которое так отчаянно мазало, брызгало и скользило под нажимом моей руки.

---

[1] Средней твердости *(нем.)*.

А теперь я вдруг нашел карандаш! Да еще какой красивый! Правда, я видел его лишь мельком, еще когда он лежал на снегу, потому что затем схватил его и быстро сунул в сумку, словно боясь, чтобы солнце, которое так ярко светило, не выкрало его у меня. И еще одно любопытное обстоятельство было во всей истории: мне и в голову не пришло, что его мог потерять кто-нибудь из школьников,— слышите, даже и в голову не пришло. Куда там! Кто это из наших школьников станет терять карандаши! Наверно, какой-нибудь незнакомый пан приезжал к учителю,— вот он каким-то необъяснимым образом и потерял этот карандаш. А может, это был еврей-барышник, которому учитель в прошлом году продал корову, может быть, этот карандаш лежит здесь еще с прошлого года и никто его, бедняжку, не заметил. А может, он упал ночью с неба вместе со снегом? Ведь бабушка мне говорила, что лягушки падают с неба; почему бы и карандашам не падать? Так я размышлял, идя по школьному двору. Что ж, разве шестилетнему парнишке нельзя так размышлять? А впрочем — нет! Мне очень понравился этот карандаш. Я держал руку в сумке, а карандаш был у меня в руке, я поворачивал его гранями то так, то этак, старался ощупать его толщину, восстановить перед глазами его вид,— одним словом, моя фантазия, как мотылек вокруг цветка, неудержимо вертелась вокруг карандаша. Она упорно отгоняла всякую мысль о том, что карандаш мог принадлежать кому-нибудь из школьников и что, значит, мне придется вернуть его владельцу.

В классе было уже полно учеников. Кое-кто сидел за партой и бубнил заданный урок, время от времени боязливо оглядываясь на дверь, не идет ли учитель. Другие, посмелее, расхаживали по классу, дрались, сталкивали друг друга со скамеек, рисовали мелом на доске разные диковины и быстро стирали их затем мокрой тряпкой, служившей вместо губки. О карандаше никто не спрашивал. Это меня очень обрадовало, и я быстро, почти крадучись, шмыгнул на вторую скамью и сел на свое обычное место. Вынимая книжку, нужную для урока, я услышал, как карандаш стукнулся о кожу сумки, и весь затрепетал — не знаю, от радости или от какой-то неясной тревоги.

Вот и учитель пришел, начался урок. Ничего! Прошел час, учитель вышел, поднялся прежний крик и шум,— о карандаше никто ни слова. Я сижу, оглядываюсь вокруг и дрожу, как вор с краденым добром, боясь, что вот-вот придет кто-нибудь и потребует у меня карандаш.

Однако карандаша никто не требует. Ученики ходят и учат уроки, шалят и дерутся по-прежнему.

Степан Леськов, мой добрый приятель, подходит ко мне.

— Э, ты, видно, нынче арифметики не приготовил; получишь порку! Да еще если мне прикажет учитель бить, ну, тогда держись, голубчик!

Что за язва этот Степан! Он знает, что арифметика — мое слабое место, и любит подразнить меня. Но я отлично понимаю, что он шутит; кроме того, нынче я не боюсь учителя, потому что я арифметику (писать цифры до ста) выучил. О, еще как выучил! А кто вчера весь день писал цифры пальцем на запотелых окошных стеклах?

— Ну, ну, ты не очень-то заботься о моей арифметике,— ответил я Степану.— Смотри, как бы тебе самому не попало!

Чудеса, ей-богу, чудеса! Я хотел ответить Степану тоже шутливо, с улыбкой, ласково, а ответил с какою-то злостью, хмуро, таким сердитым голосом, что даже самому стало гадко. Я почувствовал, как все мое лицо залилось краской. Степан с минуту стоял передо мною и, не говоря ни слова, смотрел на меня удивленным взором, а затем отошел, видимо опечаленный тем, что обидел меня своей шуткой. Он так меня любил, этот кроткий, тихий, услужливый и добрый мальчик! Зачем я так грубо ответил ему? Зачем огорчил его? Он ведь шутил со мной, и мне не за что было сердиться на него!

Такие мысли вертелись у меня в голове, когда Степан отошел и молча сел на свою скамью. Это был невысокий, русый мальчик восьми лет. Его отец, бедный крестьянин, был соседом моего дяди, у которого я жил, поэтому и мы, ребята, дружили между собою. Отец Степана когда-то, говорят, был зажиточным человеком, но большой пожар и другие несчастья разорили его. Был он рослый, сильный мужчина, с хмурым, всегда опущенным вниз лицом, с грубым, резким голосом. Я, сам не понимаю почему, боялся его и считал злым человеком. Зато маленький Степан весь пошел в мать, тихую, кроткую женщину, с еще красивым добродушным лицом и светлыми серыми глазами. Поэтому-то не раз, стоя за плетнем на выгоне, поджидал я, пока старый Леськов уйдет из дому, чтобы хоть на минутку забежать к Степану, поиграть с ним. Правда, мы порою ссорились, как все дети, но ненадолго. Я, более скорый на ссору, а то и на драку, всегда первый шел и мириться, а Степан, всегда ровный, улыбался так ласково, словно хотел сказать: «Вот видишь, я давно знал, что ты без меня соскучишься!»

Но теперь, за что я теперь рассердился на Степана? Да нет, я хорошо знал, что совсем даже и не рассердился на него! Наоборот, его жалобный, печальный взгляд причинял мне боль,

сверлил мою детскую душу. Мне было чего-то стыдно, сам не знаю чего, и я забыл о карандаше. Только когда впечатление это ослабело и прошло и я увидел перед собой сумку, в которой мои пальцы, казалось, даже на расстоянии ощущали прикосновение карандаша, мое воображение снова вернулось все к тому же, и через минуту я совсем забыл о Степане и о его грустном взгляде.

Снова вошел учитель, начался урок и незаметно прошел; о карандаше никто ни слова.

Третьим уроком была арифметика. Эту высокую и страшную науку проходили таким образом: учитель вызывал кого-нибудь к доске, приказывал ему писать мелом цифры, а все остальные мальчики должны были эти цифры писать в своих тетрадях. Учитель расхаживал между скамьями, заглядывал то в ту, то в другую тетрадку — все ли пишут и так ли пишут, как нужно.

Перед уроком арифметики услышал я на последней скамейке, где сидел Степан, какой-то шум, какие-то тревожные, отрывочные вопросы и ответы, но за общим гамом не мог разобрать, в чем дело. Все-таки в груди у меня что-то екнуло, какое-то беспокойство зашевелилось во мне. Я подумал: «Не буду сейчас вынимать карандаш. Буду писать, как всегда, пером, хоть оно мне и сильно надоело».

Вот и учитель вошел. Посидев минуту за столом, он встал и вызвал меня к доске. Я вышел испуганный, дрожащий, потому что писание и цифр и букв было для меня слишком твердым орешком: все знаки выходили из-под моих пальцев кривыми, крючковатыми, расползшимися и обычно походили на старый плетень, в котором все колья торчат врозь, а поперечные хворостины висят сами по себе и никак не могут встретиться с кольями. Но что поделаешь: вызвал учитель, надо идти. Я стал у доски и взял в правую руку тряпку, а в левую мел.

— 35! — крикнул учитель и оглянулся на меня.— Ах ты, болван, ты как мел держишь? Левой писать будешь? А?

Я переместил в руках злосчастные орудия премудрости, потом занес правую руку насколько мог высоко и едва достал до середины доски. Задача — написать цифру 35 — была очень трудная, потому что приходилось писать самые «сложные» цифры. Вчера, практикуясь в писании пальцем на оконных стеклах, я долго думал, как бы написать эту проклятую тройку, чтобы она вышла кругленькая и с зубчиком посредине? Спросить было не у кого, вот я и надумал писать ее с середины, от зубчика, протянуть отсюда, сначала верхнюю, а затем нижнюю дужку. Так я научился писать дома, так же начал и теперь

дрожащей рукой выводить на доске. А тут еще, как на грех, рука словно отнялась, силы, и так небольшие, оставили меня вовсе, и, как я ни мучаюсь, прижимая мел к доске, проклятые линии всё выходят такими бледными и тонкими, что их едва видно. С грехом пополам я намалевал тройку.

— Ну что, уже? — кричит учитель и оборачивается ко мне.

— Еще... еще нет,— отвечаю я и, обливаясь холодным потом, начинаю писать 5, разумеется, опять по собственному методу, то есть — снизу.

— Что, что, что? — закричал учитель и подбежал ближе.— Как ты пишешь, как?

Я молчал. Дрожащая рука дотягивала линию на доске. Пятерка походила скорее на букву Г, чем на круглобрюхое, гребенчатое 5.

— Ах ты, поросячья требуха! (Обычный титул, которым учитель величал учеников.) Так ты не знаешь, как пишется 5?

И, не ожидая ответа на свой вопрос, учитель одной рукой схватил со столика широкую линейку, а другой мою руку, из которой вылетел мел, и звонкий удар разнесся по классу. Ладонь моя налилась кровью и стала как будто толще, а по коже мурашки забегали. Я с детства терпелив к боли и не заплакал, только поморщился.

— Так ты не знаешь, как писать 5? Не видел, как я писал? Ну, смотри, как пишется 5, вот как! — И господин учитель схватил мел и с размаху написал огромную пятерку сначала на доске, а затем (может быть, только не такую правильную и четкую) и на моем лице.

— Пиши дальше,— крикнул он мне,— 48!

Я взял мел и начал писать. Учитель смотрел еще с минуту. Четверка удовлетворила его, и он снова заходил по классу.

— Почему не пишете? — грозно крикнул он на мальчиков, которые с усмешкой и вместе с тем со страхом смотрели на то, что происходило у доски. От окрика учителя все головы склонились, как рожь под ветром клонит к земле спелые, тяжелые колосья.

— А ты, староста, как написал 3? — спрашивает учитель одного.

Не ожидая ответа, вместо пояснения — хлоп линейкой по ладони.

— А это что сверху, над 5? — спрашивает другого.

— Каплуло с пера.

Снова хлоп линейкой по руке.

— А ты, сват, почему не пишешь? — спрашивает третьего.

— Да, я... про... простите, господин учитель,— слышен голос глотающего слезы Степана Лескова.

— Что? — гневно закричал учитель.

— Я где-то карандаш потерял.

В эту минуту из моей руки, неизвестно почему, выпал мел. Повторяю: неизвестно почему, так как я был уверен, что карандаш, спокойно лежавший сейчас в моей сумке, не принадлежал Степану. Ни в коем случае! И все же при этих словах я так испугался, рука моя так задрожала, что мел, словно голец, выскользнул у меня из рук. Счастье мое, что заданная цифра была уже написана, теперь бы я не мог ее написать.

— Так! — крикнул учитель.— Потерял? Постой-ка, я тебя научу!

Чему, собственно, хотел учитель научить Степана, кто его знает. Мы, школьники, знали одно: что учитель два дня назад сильно поругался со Степановым отцом и, видимо, искал повод, чтобы сорвать на мальчике злобу; кроме того, мы видели, что учитель сегодня под хмельком, и, значит, без порки не обойдется.

— Марш на середину! — крикнул он Степану.

Бедный мальчик, видно, знал, что его ожидает, и медлил, учитель ухватил его за длинные светлые волосы и выволок на середину.

— Стой тут! Ну, ты,— оборачиваясь ко мне,— написал уже?

— Написал.

— Садись! А ты ступай к доске!

С этими словами учитель толкнул Степана. Я облегченно вздохнул,— во-первых, потому, что сам сидел в безопасном месте, а во-вторых, я думал, что, может быть, Степану уже и не попадет за карандаш, если учитель послал его к доске,— я знал, что Степан писать умеет. Но, слыша каким сердитым голосом диктовал учитель Степану цифры, как злился, видя, что Степан пишет хорошо, я все же чего-то боялся. Мне было тяжело,— что-то нашептывало, что если Степану придется плохо из-за карандаша, то в этом будет и моя вина. Каким образом такие странные мысли забрались мне в голову, не знаю,— верно одно, что я дрожал как осиновый лист.

Степан все пишет да пишет цифры, исписал уже всю доску, учитель все поглядывает на него, чтобы поймать его на чем-нибудь,— но не может.

— Довольно! — кричит он.— А теперь ложись!

— За что же, господин учитель? — говорит Степан.

— Что? За что? Ты еще спрашиваешь? Сейчас же ложись.

Что-то сдавило мне горло, когда я услышал эти слова. Учитель ищет розгу на последней скамье, а бедный Степан, дрожащий, бледный, стоит у доски и мнет тряпку в руках.

— Да за что же вы меня, господин учитель, хотите бить? — еще раз спросил Степан сквозь слезы, увидев, что учитель приближается с розгой в руке.

— Ложись! — крикнул тот и, не дожидаясь больше, схватил Степана за волосы, кинул его на стул и начал изо всех сил хлестать розгой. Степан закричал от боли, но крик, казалось, только сильнее раздражал пьяного учителя.

— Чтобы ты знал в другой раз, как карандаши терять! — крикнул он, задыхаясь, прерывистым голосом, и розга засвистела еще сильнее, стегая бедного Степана.

Что творилось со мной в эти долгие ужасные минуты! Первая мысль, мелькнувшая в моей голове, была — встать и сказать, что я во всем виноват, что карандаш Степана у меня, что я нашел его и не отдал Степану. Но страх перед свистящей розгой приковал меня к месту, связал мой язык, сжал горло железными клещами. Крик Степана пропзал мне сердце. Я весь покрылся холодным потом; я отчетливо ощущал боль, острую боль от розги, ощущал ее всем телом и так живо, что все мои мускулы невольно сжимались и дрожали, а в горле что-то громко всхлипнуло на весь класс. Но все были охвачены таким смертельным страхом, что, несмотря на гробовую тишину, никто в классе не услышал моего плача.

А учитель все не переставал бить! Бедный Степан уже охрип, лицо его посинело от натуги, пальцы судорожно впились в колени учителя, ноги дергались в воздухе, но розга не переставала свистать, и каждый ее свист, каждый удар по грубой полотняной рубашке Степана потрясал и сжимал тридцать детских сердец в классе, вырывал новый крик боли и отчаяния из груди Степана. Я не помню уже — ох, и вспоминать не хочу! — что творилось со мною в эти страшные минуты, какие ощущения наполняли мое тело, какая боль пронизывала мои суставы, какие мысли проносились в голове. Да нет,— мыслей не было никаких! Я сидел холодный, застывший, как камень! И теперь еще, спустя шестнадцать лет, когда я вспоминаю эту минуту, мне кажется, что она надолго ошеломила меня, как удар обухом по темени, и что, будь таких минут в моем детстве много, из меня вышел бы такой же болван, каких мы сотнями видим в каждой низшей школе нашего края,— несчастные, забитые физически и духовно дети, чьи нервы сызмалу притуплены страшными, отвратитель-

ными сценами, а мозги с шести лет засорила учительская муштра.

Наконец свист розги затих. Учитель выпустил Степана, и тот, бессильный, измученный, едва дыша, повалился на пол. Учитель, красный как бурак, бросил розгу и сел на стул, с которого только что свалился Степан. С минуту он отдыхал, не говоря ни слова. В классе стояла унылая, мертвая тишина. Только слышно было, как хрипел, судорожно всхлипывая, бедный мальчик.

— Встанешь ты? — прошипел учитель, толкая его ногой в бок.

Степан сле-еле поднялся и стал, держась рукой за скамейку.

— Марш на место! Будешь знать в другой раз, как карандаши терять!

Степан поплелся на место. В классе снова стало тихо. Учитель, видимо, немного протрезвился и понял, что неладно поступил, так избив мальчика. Он знал, что Леськова не стоит задевать. Мысль об этом раздражала его еще больше — он вскочил и молча забегал по классу, сопя и задыхаясь.

— А, голодранцы, разбойники! — крикнул он на ходу, неизвестно к кому обращаясь,— к нам, детям, или к отсутствующим ясеницким жителям.

Снова бегает и бегает учитель по классу, снова сопит и ворчит что-то, затем оборачивается к нам и кричит:

— Домой!

Но и это, обычно чудодейственное, слово, возвещавшее нам хоть на один день освобождение от тяготы школьной премудрости, теперь не произвело никакого впечатления. Смятение и страх ошеломили учеников и отняли у них слух. Понадобился второй, более громкий окрик учителя, чтобы все встали на молитву.

Когда после молитвы школьники двинулись со своих мест и начали выходить из класса, это делалось без обычного шума и толкотни; шли медленно, боязливо поглядывая на учителя, который стоял у стола, пока мальчики не вышли. Все чувствовали себя подавленными. Степан шел, всхлипывая, и когда, уже у дверей, взглянул на учителя, тот погрозил ему кулаком. Я шел почти последним, едва передвигая ноги. Мне было так страшно и стыдно чего-то, что я готов был в эту минуту провалиться сквозь землю. Не знаю, чувствует ли разбойник после совершенного убийства такую тяжесть на сердце, какую я чувствовал тогда. Я так живо представлял себе его боль,— нет, я страдал не меньше его,— а тут еще проклятый внутренний голос все

время шептал мне, что он из-за меня пострадал, что карандаш-то — его! Да, теперь что-то уже ясно говорило мне, что это его карандаш я нашел! И, кажется, самое естественное было бы в таком случае подойти тут же к нему и вернуть ему его потерю! Не так ли? Но нет! Это было бы естественно, но я, убитый страхом, жалостью и стыдом, ни за что не мог этого сделать. И не то чтобы я еще и теперь хотел утаить карандаш для себя,— где там! Он теперь тяжелым камнем лежал в моей сумке, на расстоянии жег мне руку,— я теперь ни за что на свете не притронулся бы к нему, не взглянул бы на него! Вот если бы кто-нибудь силой вырвал у меня сумку и вытряхнул из нее все, так, чтобы и карандаш выпал, а Степан смог бы его взять,— ах, как бы я порадовался такому обороту дела! Но это не случилось,— да и не до того было школьникам.

Едва только мы покинули класс и школьный двор, все обступили всхлипывающего Степана и стали его расспрашивать, как и где он потерял карандаш, какой это был карандаш; кое-кто громко обвинял учителя, другие жалели Степана и говорили ему, чтобы непременно пожаловался отцу.

— Разве я-а знаю, где я по-отерял,— всхлипывал Степан.— Но что мне теперь отец скажет! Только позавчера купил мне в городе, а я-а потерял. Ой-ой-ой! — заплакал бедный мальчик, который боялся отца не меньше, чем учителя.

— Да не плачь, глупый, не бойся,— утешали мальчики, хотя, наверно, ни один из них не захотел бы оказаться на его месте.

— Ага, не пла-ачь! — мрачно ответил Степан.— Да он меня у-убьет за карандаш! Шесть крейцеров, сказывает, заплатил за него в городе... «А если ты его мне, говорит, потеряешь, шкуру спущу, слышишь!..» Ой-ой-ой!..

Я не мог это слушать. Каждое слово Степана кололо меня, как колючка. Я быстро побежал домой, дрожащий, бледный, задыхающийся.

— О, ты уже, верно, дрался где-то с мальчишками! — закричала на меня при моем появлении тетка,— весь запыхался, как гончий пес! Ах ты, бродяга этакий, бездельник, несчастье ты мое!

Тетка была незамужней девушкой, лет двадцати с лишним. Слыла она «очень доброй»,— особенно подтверждал это ее язык, который не любил «даром хлеб есть» и никогда не оставался без дела.

Я повесил сумку с книгами на крючок и стал обедать, не говоря ни слова. Поев, я уселся за стол и взял книжку, не для того,

чтобы учить заданные на завтра уроки,— не до ученья мне было! Я сидел над книжкой, как пень, и сотый раз перечитывал одни и те же слова, не понимая, что читаю и что они означают. Я старался не думать о Степане, об учителе, о старике Лескове, но их лица непрестанно возникали передо мной, пронизывали меня холодом, терзали и мучили, как мучат грешника воспоминания о старых грехах. Мне хотелось, чтобы наконец наступил вечер, но вечер, точно заколдованный, не приходил. Я боялся взглянуть на сумку с карандашом, словно это была не сумка, а страшная нора, и не карандаш, а гадюка.

Как я измучился, пока наступил вечер, не буду рассказывать. Какие страшные сны снились мне ночью, как я кричал, убегал, прятался, как за мною бежали и летели ящерицы с острыми мордами и крупной надписью: «Mittel» на хребте, как меня колол терновник с блестящей желтой корой и шестигранными колючками, очиненными на конце,— пусть и это потонет в бездне забвения. Довольно сказать, что утром я встал как избитый или вываренный в котле, а тетка еще в придачу выбранила меня за то, что я всю ночь метался и кричал, не давая ей спать.

Утром, до того еще как мне идти в школу, приходит из села дядя и, скинув толстые суконные рукавицы, начинает рассказывать разные деревенские новости.

— А за что это вчера учитель так избил Лескова Степана? — вдруг обратился ко мне дядя. Вопрос этот страшно испугал меня, меня будто кипятком обдало.

— Да... да... да... говорит, что где-то но... но... но...

— Ты что, говорить не умеешь, что ли? — вмешалась тетка.— Ну, так что там такое сталось со Степаном? — спросила она у дяди.

— Да вчера учитель так избил его за какой-то карандаш, что он еле живой до дому доплелся.

— За какой такой карандаш?

— А вот купил ему отец в понедельник карандаш, а он вчера потерял. Учитель пьяный, ну и давай мальчишку бить, как будто тот виноват. Слышишь, едва бедный мальчуган до дому дополз. Пришел домой и рассказывает, а старый медведь взбесился и давай бить ребенка! За волосы, да об пол, да каблуками!.. Господи! Старуха плачет, кричит, малец сомлел, едва водой отлили, теперь, говорят, лежит, двинуться не может! Как можно так ребенка мучить!..

Дядя еще не кончил говорить, как я громко расплакался и прервал его рассказ.

— А ты чего? — удивленно спросил дядя.

— Да ты спятил, что ли? — закричала тетка.

— Я... я... я...— пролепетал я, плача, но рыдания не дали мне закончить.

— Ну, что, что, говори! — ласково сказал дядя.

— Я нашел... Степанов карандаш!

— Нашел? Где? Когда?

— Вчера, перед уроками, на снегу,— проговорил я уже смелее.

— Ну, а почему же ты не отдал Степану?

— Я не знал, что это его, а он не спрашивал.

— А потом, после уроков?

— Я... я боялся.

— Боялся? Да какого же черта лысого ты боялся? — спротила тетка, но я не ответил на этот вопрос.

— Ну, а где же карандаш?

— В сумке.

Дядя заглянул в сумку и вынул злосчастный карандаш. Я не смел на него и взглянуть.

— Ну, поглядите, люди добрые, за такую малость так избили мальчишку! Провались они все!

Дядя сплюнул и вышел, взяв карандаш с собой. Меня тетка погнала в школу. Я еще всхлипывал по дороге, и слезы помимо моей воли текли по лицу, но на душе у меня стало гораздо легче.

В этот день и всю следующую неделю Степан не приходил в школу, лежал больной. Но на второй неделе заболел вдруг и учитель: дядя догадывался, что, верно, его старый Леськов здорово «отделал». Так оно было или нет, точно не знаю,— довольно того, что Степана я после этого не видел целых две недели. Ах, как я теперь боялся этой встречи! Как часто вставало предо мной в тревожных снах его доброе, тихое лицо, еще синее от побоев, худое и болезненное; с каким укором смотрели на меня его серые, добрые глаза! А когда я увидел его, когда услышал его голос, все муки, все тревоги, последних дней, казалось, с новой силой ожили в моей душе,— но только на мгновение. Степан был уже здоров и весел по-прежнему, заговорил со мной дружелюбно, будто ничего меж нами и не было; о карандаше и не вспомнил. Знал ли он, что его карандаш был у меня и что я стал причиной его страданий? Не знаю. Достаточно того, что никогда потом о карандаше у нас не было и речи.

Львов, 1879

САМ ВИНОВАТ

I

«Назначен к продаже с торгов надел по реестру за номером двадцать девять, собственность Миколы Прача, оценочная стоимость — сто пятьдесят гульденов, вместе со всеми хозяйственными строениями, состоящими из сарая на одну корову и хлева на одну свинью, в покрытие долга Мордке Шиндеру в сумме сорок гульденов, подлежащих взысканию. Объявленная цена — сто пятьдесят гульденов. Кто да вéнци?» [1]

Все это выкрикивал хриплым, пропитым голосом, читая по длинному полулисту синеватой бумаги, судебный пристав, исполнявший одновременно обязанности присяжного аукциониста. А прокричав, стукнул несколько раз молотком о положенную на чурбан доску, заменявшую казенный стол.

Хата и хозяйственные постройки, о которых, будто в насмешку, говорилось в описи, представляли собою жалкую хибару из прогнивших тонких досок на ивовых столбах, всё — под одной общей крышей, где было больше зеленого мха, лебеды и крапивы, чем соломы.

— Кто да венци? — повторил на своем украинско-польском якобы официальном жаргоне пристав.— Объявленная сумма сто пятьдесят гульденов.

Вокруг стояло несколько селян в рваных сермягах и соломенных шляпах, а также два-три грязных еврея. Они переговаривались между собой, оглядывали двор, где все это происходило, но на выкрики пристава никто не отзывался.

А в сторонке, у разваленного плетня, сидел на бревне сам Микола Прач, высокий, лет тридцати пяти человек, худой как щепка, с лицом, изможденным нуждой и болезнью. На коленях у него — мальчик лет пяти, он прижимался к отцу и со страхом поглядывал на чужих людей возле хаты. А рядом стояла жена Прача с меньшим ребенком на руках и фартуком утирала слезы.

— Кто да венци? — взывал пристав, оглядываясь. Тут подошел к нему сам Мордка Шиндер и, левой рукой коснувшись ермолки на голове, сказал:

— Ну, зачем, прошу пана, давать венци? Я дам сорок.

— Мордка Шиндер дает сорок, кто да венци? Раз! — выкликал пристав.

---

[1] Кто даст больше? *(польск.)*

— Два!..

Все молчали, слышно было только, как глухо всхлипывала Прачиха.

— Три!

Громкие удары молотка о доску были ответом на этот возглас. Мордка Шиндер за свои сорок гульденов стал владельцем надела и хозяйства, оцененных в сто пятьдесят гульденов, а стоящих по меньшей мере двести.

— Ну, ты, глупый хлоп,— обратился он к Миколе.— Не говорил я тебе, лучше миром отдай мне половину твоего надела? А теперь, видишь, я получил все!

— Бог тебя покарает за нашу обиду, кровопийца! — крикнула, захлебываясь слезами, Прачиха.

— За что меня будет бог карать? Чтó я не по правде делал? Пусть тебя бог карает, ты, паскудница ты! Сейчас же убирайся с моего двора!

Прачиха живо утерла слезы и хотела еще что-то сказать Мордке, но Прач махнул рукой и произнес срывающимся, глухим голосом:

— Оставь его в покое! О чем уж теперь говорить? Ничего не поделаешь! Бог нас покарал, на то его воля... Так тому и быть! Пойдем!

Он встал, взял за руку мальчика и пошел, а за ним, заливаясь слезами, пошла и его жена с малым ребенком на руках.

— Так-то, кум, вот еще одного хозяина как не бывало,— говорили промеж себя селяне на дворе.

— Да, видно, попущение господне на мир христианский!

— Толкуйте, «попущение господне»! — заметил один, несколько лучше других одетый.— Народ сам виноват, и все тут!

— Эх, кум, кум,— ответил первый,— не говорите так. Хорошо, что вас бог благословил, горя не знаете. А бедняк, будь он хоть какой хозяйственный, все же двоих в одну рубашку не оденет.

— Те-те-те,— возразил тот, что побогаче,— все это пустая болтовня. Работать больше надо, сложа руки не сидеть!

— Ой, да разве ж, кум, бедняк не работает,— иной раз глаза на лоб лезут... А какая от того польза? Вот стоим мы тут сейчас, а разве мы знаем, не выпадет ли завтра кому-нибудь из нас то же, что нынче выпало Миколе?

— То же, то же,— повторил тот, что побогаче.— Не бойтесь, с хорошим, порядочным хозяином никогда такого не случится. а все с каким-нибудь непутевым, вот как этот Микола! Толкуйте, что хотите, а я на своем стою: он сам виноват...

На Святоюрской горе

II

Свет велик, а куда деваться бедному, беззащитному? Микола Прач шел по селу, как лунатик, а жена следовала за ним, рыдая и голося, будто над покойником. Был душный летний день. Народ работал в поле, и в селе никого не было видно. Жена прибавила шагу и поравнялась с мужем.

— Микола, куда ты идешь?

— В Свичу,— ответил тот угрюмо.

— Боже мой, что ты говоришь!

— Ну, а куда ж теперь идти? Другого выхода нету...

— Храни нас господь от этого, Микола! Не говори так! Послушай, вон там живет моя тетка, идем к ней, лётом будем работать, а зиму как-нибудь перебьемся.

— А потом?

— Потом... потом опять будем работать и авось как-нибудь проживем меж добрых людей.

— Добрых?.. Ну-ну, стоит меж них жить! Нет, ничего из этого не выйдет.

И Микола двинулся дальше. Жена схватила его за руку.

— Побойся бога, человече, что ты задумал? Ведь это грех великий! А меня ты на кого бросаешь? А дети?

— Ну, останусь в живых, чем я тебе и детям помогу? Глупая, пусти меня!

Но она не пускала и настойчиво тащила его через мосток к тёткиной хате.

— Знаешь что,— сказал наконец Микола,— если хочешь, ты ступай к тетке...

— А ты?

— Я не пойду.

— Почему?

— Я не могу ни минуты больше прожить в этом проклятом селе! Если силой удержишь меня — повешусь. Так лучше пусти.

— Да куда же ты пойдешь?

— Пойду на заработки, в Людвиковку, на лесопилку.

— На лесопилку? Господь небесный, да ведь ты слаб, как комар! Что ты там сможешь делать?

— Не бойся, что-нибудь уж найду. Там теперь работники нужны, так примут.

— А когда же вернешься?

— Когда заработаю столько, чтоб выкупить свое добро у проклятого Мордки. Не раньше.

Она вытаращила на него удивленные глаза и с тревогой глядела ему в лицо.

— Микола, что ты говоришь?..

— То, что слышишь.

— Да ведь это...

Не могла договорить, что-то душило ее, точно в горле застрял камень.

— Будь что будет, но как-то быть должно. Либо заработаю, либо пропаду... На что мне такая жизнь!

Он поцеловал жену и детей и медленным, нетвердым шагом пошел дальше по дороге. Они, плача, глядели на него с мостка, пока он не скрылся за холмом на повороте.

III

Миновал год. Снова лето. С погожего неба солнце осыпает жаркими лучами высокие лысые горы, зеленые мочажины у реки, строения людвиковской паровой лесопилки. Свича бурлит и разбивается о валуны; на не вырубленных еще склонах млеет хвойный лес, окутанный прозрачной синеватой дымкой. Посреди котловины высится сам завод, точно могучей серой стеной окруженный со всех сторон высокими штабелями толстых бревен. Из красной трубы валит дым, раздается пронзительный свист; внутри лесопилки слышно бешеное клокотанье, писк, скрип и лязг паровой машины вперемежку с оглушительным шумом воды и криком рабочих. А вдали, на вершинах гор, звучит там и сям стук топоров и треск срубленных громадных елей.

— Ура! — кричат лесорубы всякий раз, когда падает такой лесной великан, а затем начинается стук, у великана обрубают ветви и по торной колее спускают вниз с горы в реку, а она донесет его прямо к машине. День за днем со всех окрестных вершин несется этот стук и крик, день за днем сотни лесных великанов с треском сползают по голым, каменистым обрывам в долину, чтобы там, на воде, ожидать, когда придет их черед ложиться под неумолимые железные зубья паровых пил. И изо дня в день четырнадцать соединенных вместе пил, точно четырнадцать громадных неутомимых червяков, грызут кости лесных великанов.

Среди лесорубов вот уже с год работает и Микола. Вид у него еще более изнуренный и худой, но сегодня он рубит с каким-то ожесточением, словно ель — его смертельный враг.

«*Авось это в последний раз, господи, авось в последний раз!*» — думает он, высоко замахиваясь топором.

Он сегодня счастлив. В его кожаном поясе, завернутые в тряпицу, лежат надежно спрятанные пятьдесят гульденов, годичный заработок. Сорок, размышляет Микола, пойдут Шиндеру, а десять на обзаведение. Сегодня вечером кончается его работа, а завтра он идет домой.

И в самом деле, на следующий день ни свет ни заря Микола Прач был уже далеко от Людвиковки. Он шел быстро, даже запыхался. Мысли его витали в будущем, не желая и оглянуться назад, где они не встретили бы ничего, кроме нужды и горя.

«Прежде всего пойду к Мордке,— думал бедняк,— выкуплю поле и хату, а тогда уж до жинки... Пойдем, скажу, пришла пора снова на своей земле устраиваться!»

Эта мысль придавала силы его слабым ногам. Солнце клонилось к закату, когда он дошел до своего села. Сердце забилось у него в груди, едва он завидел издалека свою полуразвалившуюся хату и большую корчму на краю села. Из последних сил он поспешил к ней.

— Добрый вечер, Мордка! — крикнул он, входя в корчму.

— Доброго здоровья! А, это вы, Микола? — сказал Мордка.— Где это вы пропадали, что вас так долго не было видно?

— Работал,— ответил Микола.— Слушай, Мордка, я тебе кое-что хочу сказать.

— Ну, что такое?

Микола достал из пояса тряпицу, развязал ее и положил перед Мордкой четыре десятки.

— На, видишь! Отдай мне землю и хату.

— Что, что, что? — закричал Мордка и попятился.— Ты хочешь за сорок гульденов купить землю и хату? Ха-ха-ха!

— Не купить, а получить свое обратно!

— Обратно? Овва, как это обратно?

— Я тебе отдаю, что был должен, а ты мне отдай землю и хату.

— Ого-го! Ты, я вижу, Микола, где-то большого ума набрался. У нас так не делается! Мне за этот надел дают триста гульденов. Я хочу четыреста, но тебе отдам за двести пятьдесят. Понял?..

Микола остолбенел от этих слов. Мордка, как видно, испугался, потому что шмыгнул за перегородку и запер за собой дверь. В корчме было несколько знакомых селян. Они обступили Миколу, заговорили с ним, стали его утешать, но он стоял как столб, не сводя глаз с того места, где минуту назад был Мордка.

Долго-долго простоял так бедняга, а затем обернулся к односельчанам.

— Люди добрые, да может ли это быть? — спросил он глухим, дрожащим голосом.

— Что ж, куманек, поделаешь, когда все у Мордки в руках? — ответил кто-то.

— И закона на это никакого нету?

— Нету.

— А! — произнес Микола и умолк, только крупные, жгучие слезы покатились по его бледному, измученному, пылью покрытому лицу.

— Люди добрые,— сказал он немного погодя,— возьмите эти деньги, прошу вас, и отдайте моей жене. Мне их не надо. Поклонитесь ей от меня и скажите, что скоро вернусь. А о том, что тут у меня с Мордкой было,— ни слова! Слышите, ни слова!

— Ладно, куманек, ладно.

— А теперь — бывайте здоровы!

Он нахлобучил шапку и вышел. Солнце горело кроваво-золотым огнем над самым горизонтом. Кровавой полосой блестела Свича среди темно-зеленой равнины, извиваясь меж лозами. Шумела по камням вода. Чирикали воробьи в лозняке, а в сердце бедного Миколы теснилось горе.

IV

В то время, когда все это происходило, в Людвиковке случилось одно событие. В корчме возле Долины, уединенно стоявшей среди поля, ночью вырезали всю семью арендатора. Один только мальчуган каким-то чудом уцелел, притаившись за печкой, и рассказал потом о происшедшем. Людей, которые это сделали, он не знал и даже не понимал их речи. Подозрение пало на двоих итальянцев, которые работали в Людвиковке. Их и арестовали. Итальянцы эти работали «на спуске». Это была очень опасная работа. Одна из лесистых гор стояла далеко от воды, так что некуда было спускать с нее срубленные деревья: кругом была совершенно неприступная, вся в огромных камнях, круча. А деревья на той горе были как раз самые лучшие, самые рослые. Директор лесопилки думал-думал, как бы это до них добраться, и наконец придумал способ. На середине этой горы выбивался из-под камней небольшой родник; он тонкой струей падал в долину и, клокоча, срывался меж скал, чтобы только внизу, под горою, успокоиться и тихо влиться в Свичу. От этого родника директор приказал построить спуск (желоб) прямо на заводский

двор. Спуск этот был попросту небольшой водослив, сложенный из толстых деревянных брусьев в виде длиннейшего корыта. Как струна, протянулся он от завода над страшной, ощетинившейся камнями и кое-где поросшей ежевикой и дикими травами пропастью, туда, к самому сердцу горы напротив. Со дна пропасти водослив этот казался толстым канатом, а козлы, на которых он держался,— длинными жердочками, которые вот-вот зашатаются и упадут. По этому деревянному корыту текла вода из родника, и с ее помощью легче было спускать деревья с горы на лесопилку. Но вода одна не могла гнать такие громадные стволы, хотя для того, чтобы они легче скользили, с них обдирали кору. Поэтому двое рабочих должны были все время тащить эти бревна вниз по спуску. Это делалось так: рабочий, глубоко загнав топор в один конец бревна, хватался обеими руками за топорище и, ступая по краю желоба, всем телом повиснув над страшною пропастью, волок бревно по скользкому дну за собой. Не быстро это шло, и работа была опасная, потому что стоило топору вырваться из бревна или топорищу выскользнуть из рук рабочего — и его ждала неминуемая, явная смерть на дне страшной пропасти. Потому-то местные рабочие ни за что на свете не хотели идти на эту работу, хотя директор давал за нее по два гульдена в день. Только те два итальянца согласились и, в самом деле, вот уже три месяца счастливо справлялись с этим делом. Другие рабочие боялись даже глянуть на них, когда они, вися над пропастью, волокли бревна вниз по спуску. Правда, рядом с главным желобом положены были на козлах доски, чтоб удобнее было ходить, но в случае, если бы топор вырвался из дерева, доска не спасла бы рабочего.

Так вот, когда Микола вернулся обратно в Людвиковку, место двух арестованных итальянцев было свободно.

— Пан директор,— сказал Микола, входя в заводскую контору,— вот я опять у вас и прошу работы.

— Работы? — проворчал директор.— Ага, хорошо. Вот тут на спуске есть работа, хочешь?

— На спуске? — охнул Микола.

— Я тебе хорошо заплачу, два гульдена в день, пойдешь?

Микола задумался. Холодом повеяло на него от этой мысли, но выхода не было. Да наконец, о чем ему теперь жалеть?

— Ладно, пан директор! — сказал он.— Пойду на спуск, да будет божья воля!

— Что, пойдешь? — произнес директор и удивленно взглянул на него. Он теперь сам, казалось, испугался смелости Миколы.

— Да, пойду! — сказал Микола твердо.

На следующее утро у спуска собралась целая толпа рабочих и заводских надзирателей. Хотели посмотреть, как справится Микола со своей головоломной работой. Микола был уже в лесу. Там слышны были возгласы рабочих, стук топоров и треск валившихся деревьев. Вот уже втащили громадный ствол в желоб. Белое, очищенное от коры смолистое дерево блестит на солнце. Вот и Микола. Он перекрестился, схватил обеими руками огромный топор с длинным, крепким топорищем и, взмахнув им над головой, вонзил что есть силы в толстый конец бревна.

— А ну, во имя божье! Пошли!..

Микола ухватился за топорище, согнулся, совсем перевесившись над пропастью, и при помощи других рабочих тронулся с места.

— Потихоньку! Потихоньку! — закричали снизу.

Бревно довольно легко двигалось по дну желоба. Микола уверенно шел по доске, шаг за шагом. Он уже приближался к самому страшному месту над пропастью. Более робкие отворачивались, не в силах глядеть на человека, который точно по ниточке шагал между жизнью и смертью.

— Боже, спаси его! — шептали рабочие.

— Интересно, перейдет ли? — шептал директор.

А Микола шел. Он уставился глазами в бревно и в блестящий топор, который, точно большой зуб какого-то лютого зверя, впился в белое гладкое тело бревна. Кроме дерева и топора, он ничего не видел, ничего не чувствовал. Не чувствовал и страха. Ему только казалось, что это он глазами держится за бревно, а отведи он на миг взгляд, тут ему и смерть.

Но что это?.. Рука у него дрожит?.. Или топор в дереве зашатался? Миколе что-то сдавило сердце. Он чувствовал, что топор слишком слабо забит и вот-вот выскочит. Он хотел остановиться и поправить его, но что-то словно толкало его вперед. Он глянул вниз, в пропасть, и в тот же миг голова у него закружилась, в глазах потемнело, и одно-единственное слово сорвалось с его уст:

— Боже!

Один общий тревожный крик вырвался в ту же минуту из груди всех, кто смотрел с другой стороны. Микола только мелькнул в воздухе и вниз головой полетел в пропасть. На первом же остром выступе голова его разлетелась на куски, как разбитый арбуз.

— Боже! — ахнули рабочие, увидев это, и побежали вниз, хотя знали, что для бедного Миколы нет уже спасения.

Его похоронили за Свичей, у подножья высокой горы. Зеленая, мохом и полевыми цветами заросшая поляна, с двух сторон окаймленная рекой, подымается над нею так высоко, что вода никогда не заливает ее; она хранит в себе его тело. Свича брызжет и ревет вокруг, как бы в бессильной злобе за новую жертву. Со всех сторон задумчиво глядят высокие горы на неприметную зеленую могилку на одном берегу и на большой завод с красной трубой на другом. В орешнике кукует кукушка, словно спрашивая: «Кто тут? Кто тут?» А чижик в высокой траве протяжно вызванивает: «Несчастный! Несчастный!» Только сердитая пестрая сойка на одинокой пихте дразнит: *«Сам виноват!* Ага! ага!..»

Львов, 20 декабря 1880

ЦЫГАНЕ

I

Ластовки, убогое горное село, лежит у верховьев Стрыя, там, где он, после крутой излучины у Турки, поворачивает вдруг к Синеводскову, изливаясь среди гор и лесов. Село небольшое, заброшенное, прячет в лесах и дебрях раскиданные там и сям жалкие бойковские хаты. Пониже села, за полосой черного леса, который тянется вплоть до самого берега реки, торчит над Стрыем высокая скала. Крутою стеной громоздится она над самой излучиной реки, а головастой вершиной, зеленой от мха и папоротников, поглядывает на окрестные горы. Летом Стрый мирно плещется у ее подножья, но осенью ревет грозно и пенится, заливая узкую тропинку, вьющуюся под скалой вдоль берега. А кругом расположились горы, покрытые черным сосновым лесом; только кое-где вершины их просвечивают безлесными полянами, которые маячат серо-зелеными пятнами на темном фоне. Печально и пусто в осенний день у скалы, только волны Стрыя ревут и разбиваются о щербатые камни.

Печально и пусто было на душе у полицейского стражника, который ненастным осенним днем пробирался по тропинке над рекой, в плаще и в кивере с петушиным пером, с карабином через плечо, и зорко поглядывал вокруг. Нигде ни живой души, ни голоса человеческого, и если б не протоптанная у реки дорожка, можно было бы подумать, что сюда, в эту дикую лесную котловину, от сотворения мира не ступала еще нога человека.

— Тьфу ты, собачья служба! — ворчал стражник, платком обтирая усы, с которых капала дождевая вода.— Лазь и лазь,

как про́клятый, по этим чертовым ущельям, и все понапрасну. Паршивые бойки боятся стражника пуще черта. Всякий норовит обойти его за тысячу шагов, чуть только завидит. Так и кажется, что любой из них только что украл или убил. А если кого и поймаешь, то уж скорей добьешься чего-нибудь от этой вот скалы, чем от него. Хоть бы черти побрали этот паршивый тупой народ!

Так ворчал стражник, приближаясь к скале, и то и дело поглядывал на Стрый, который яростно разбивал свои волны о камни, будто и он тоже был сердит на этих диких, тупых бойков.

— Ого, как река-то разлилась! — ворчал стражник.— Только бы она не залила тропы и мостков не посносила, а то и к ночи не доберешься нынче до этих чертовых Ластовок, хоть они и совсем близко. Ну, не везет мне в этих горах, хоть плачь! Вот уж четвертый раз обхожу дозором эти ущелья, а ни разу еще не посчастливилось мне поймать какого-нибудь вора или разбойника. А между тем довольно один раз заглянуть сюда, и станет ясно, что воров и разбойников тут должно быть немало. Хуже того, даже какого-нибудь несчастного бродягу или старика нищего до сих пор не пришлось арестовать. Будто сговорились не попадаться мне на глаза. А другой стражник пойдет, так всякий раз этих бродяг, нищих да цыган целое стадо пригонит, полную тюрьму набьет. А я хотя бы одного! Плевка такое счастье не стоит, вот что!..

И стражник сердито поглядывал вперед. Он стоял уже перед самой скалой. Тропинка здесь поднималась несколько в гору и шла как бы по каменному карнизу, то приближаясь к отвесной каменной стене, то вновь опускаясь чуть ли не к самой воде. Еще издали стражник заметил, что тут же, на первой из таких впадин, тропинку уже залило мутной, пенистой водой.

— Вот тебе и на! — воскликнул он в раздражении.— Снова помеха! Придется обходить кругом эту заводь, полчаса карабкаться по кустам да расщелинам, а за это время я уже был бы в Ластовках. А, побей тебя гром небесный с такими порядками!

И, скользя в своих тяжелых сапогах по мокрому мху, стражник свернул направо, меж пнями, под гору, чтобы обойти скалу. Невзначай он глянул в сторону и остановился. Что за черт! Ему показалось, будто из скалы легкими клубами выползал дым и, словно в испуге, тут же расплывался и пропадал в воздухе. Стражник поначалу и глазам своим не верил. Но когда он остановился и присмотрелся внимательней, то увидел, что действительно между щербатыми зубцами скалы, точно из самой середины ее, выбивался дым. Возможно ли это? Стражник был не из робких, однако дрожь пробежала у него по спине, ибо он никак

не мог понять, что бы это означало. Наконец он бросил соображать.

— Наверно, лесорубы костер развели. А может быть, воры? Что тут лесорубам делать? Пойду проверю.

И он с трудом начал взбираться по скользким обвалам туда, где, возвышаясь над ними, точно великан, торчала высокая каменная стена. Сначала не мог ничего разглядеть. Уже наступали сумерки, к тому же тень от скалы еще более затеняла то место, откуда пробивался дым. Напрасно стражник напрягал зрение и слух — ничего нельзя было ни разглядеть, ни услышать, кроме бешеного рева прибывающей воды под скалой да осеннего, протяжного стенания леса.

— Эй, кто там? Отзовитесь! — крикнул стражник, но только голос его уныло и глухо загремел среди скал да гора напротив повторила обрывок его оклика: «...витесь!» Тогда стражник стал взбираться выше. На небольшой площадке среди камней он увидел поломанные сухие ветки, какие-то еще свежие кости и даже какие-то полусгнившие тряпки. «Ну конечно, это след человека!» — подумал стражник. А приглядевшись поближе, он увидел еле заметную тропку, она змеей вползала из-за камней, ползла прямо через площадку и терялась в тени, под отвесной стеной, как раз там, откуда пробивался дым. И только приблизившись еще шага на два, стражник увидел продолбленное небольшое отверстие, заложенное обгорелым бревном сосны. Неведомо почему, сердце как-то необычно забилось у него в груди. Схватив обеими руками карабин, точно готовясь к атаке, он осторожно приближался. Тишина внутри таинственной ямы еще больше тревожила его, и в душе он начал сердиться на самого себя за то, что за минуту перед тем закричал так громко и выдал свое приближение. Почем знать, может быть, неведомый враг, предупрежденный его окриком, уже подстерегает его в какой-нибудь скрытой и надежной засаде? Но возвращаться было, пожалуй, еще опаснее, и он пошел дальше. Наконец перед самой пещерой он остановился, осмотрел саблю и патронташ, а затем сразу толкнул бревно штыком и очистил вход в пещеру. Дым клубами хлынул ему в лицо, но за дымом ничего не было видно. Чтобы заглянуть в глубь пещеры, ему пришлось нагнуться. Только когда дым немного рассеялся, стражник увидел внутренность высеченной в скале пещеры. Серые каменные стены сходились вверху, как своды. Влага зеленоватыми каплями так и свисала с них. Внизу, в каменном полу посреди пещеры, была выдолблена небольшая яма, где тлел костер, прикрытый полусгнившим бревном, которое сильно дымило. У огня сидели не-

сколько человек, детей и взрослых, еле прикрытых грязным тряпьем. Лица их стражник не мог еще разглядеть, только видел, как несколько пар черных испуганных глаз с тревогой уставились на него.

— Кто вы такие? — крикнул он грозно.

— Цыгане, паночек,— отозвался грубый, но смирный голос.

— А что вы тут делаете?

— Пропадаем, паночек.

Стражник с трудом протиснулся внутрь пещеры и начал оглядывать жилище и людей. В одном углу пещеры лежали кузнечные инструменты: мех, наковальня и молоты на маленьком возке, в другом — кучка хворосту для костра. На сучьях было развешано какое-то тряпье. Поближе к огню, посреди пещеры, находилась постель всего семейства — охапка полусгнившей соломы, разбросанная по камням, и куча сухого мха и листьев. Только в одном конце той постели, на самом почетном месте, лежала невыделанная лошадиная шкура, которою укрывался на ночь старый ром [1].

— А сколько вас здесь? — снова грозно спросил стражник, поворачиваясь к костру.

— Пятеро, паночек, пятеро,— ответил цыган и поднялся на ноги, весь дрожа от холода. Остальные цыгане тоже поднялись. Кроме старика, были тут еще цыганка, парень и двое маленьких, совершенно голых цыганят. Все они посинели от холода, казались распухшими, должно быть, с голоду.

— Чем же вы тут живете, бродяги? — продолжал стражник.

— Милостью божьей, паночек, милостью божьей. Вот кляча у нас околела недавно, так пока еще было у нас мясо.

— А давно вы здесь?

— Две недели, паночек.

Неизвестно почему, стражника злили эти слишком покорные ответы старого цыгана. В его плаксивом голосе и в ежеминутно повторяемом «паночек» стражник видел затаенную насмешку над своей властью.

— А много крадете по селам? — продолжал он допрашивать.

— Нет, паночек, мы не крадем ничего. Ром Пайкуш не крадет! Ром Пайкуш, пока может, живет своим трудом. А теперь, когда кляча наша погибла, мы не можем двинуться дальше. Должны переждать здесь, пока малость распогодится.

— Пока новую лошадь не украдете! — передразнил стражник.— А ну, собирайтесь, марш за мной.

---

[1] Цыгане сами себя называют ромами.

— Куда, паночек? — спросил старый цыган дрожащим голосом.

— Нечего спрашивать! Собирайся со своим поганым родом да приплодом, в село пойдем. А там увидим, что с вами делать.

Старый цыган стоял, остолбенелый, но в это время старая цыганка, точно камень с неба, кинулась стражнику в ноги и зарыдала, будто ее резать собрались:

— Ой, паночек! Голубчик наш! Что тебе сделал старый Пайкуш, что тебе сделали бедные ромы, что ты нас хочешь в такой лютый холод выгнать отсюда? Посмотри только, мелюзгато моя совсем голенькая, да и мы тоже не выдержим такой стужи. Смилуйся, паночек, смилуйся, не гони нас никуда! Пусть бедные ромы подышат еще на божьем свете!

— Замолчишь ты, чучело гороховое! — закричал на нее стражник и отпихнул старую цыганку.— Сию же минуту собирайтесь все!

Но тут все семейство, от мала до велика, с визгом и плачем кинулось стражнику в ноги и начало его упрашивать и умолять, чтоб оставил их в каменном жилище. Между тем стражник и сам раздумывал, что ему делать. До села далеко, дорога неровная, безлюдная, ночь наступает, трудно будет ему одному доставить в село всю эту ватагу. И он быстро надумал другое.

— Ну,— сказал он,— чего ревете, глупые цыгане? Не бойтесь, ведь не съем я вас живьем. Пускай будет по-вашему, оставайтесь тут! Но слушай, старик, пока я не вернусь, не сметь мне уходить отсюда!

Старый цыган стоял как столб. Удивленными глазами поглядывал он на стражника, предчувствуя в его словах какую-то новую беду.

— Ну, чего уставился на меня, чего хлопаешь глазами, как недорезанный баран! — крикнул стражник.— Слышишь, что я тебе говорю, или нет? Не сметь мне трогаться отсюда, пока я не вернусь назад, не то беда тебе!

Старый цыган все еще стоял как онемелый. Только цыганка, низко кланяясь стражнику, сказала:

— Хорошо, паночек, хорошо!

Стражник еще раз оглядел пещеру, сплюнул с отвращением и вышел.

— Бродяги проклятые! — ворчал он, с трудом спускаясь со скалы.— Вот забрались куда! А все-таки я их нашел. Ну, хоть теперь какой ни на есть «белобунг» [1] будет!

---

[1] Поощрение, вознаграждение (*искаж. нем.* die Belohnung).

II

Ластовецкий войт был, как все бойки, человек неграмотный, властям покорный и на все соглашающийся, а к подвластным себе упрямый тем бессмысленным упрямством, которое отличает человека с ограниченным умом. Стражники редко заходили в это маленькое село, и потому каждое появление стражника вызывало в селе настоящий переполох. Эти люди, выросшие в горах и лесах, считали должность войта великим бременем главным образом потому, что войт всякий раз обязан был являться перед разными «панами», наезжающими в село, должен был отвечать на их вопросы, исполнять приказания. И кого из общества однажды «посадили в войты» насильно, тот обычно и оставался в этой должности по нескольку лет, иногда больше десяти, пока был в силах двигаться, ибо никто другой не отваживался без крайней необходимости взять на себя эту страшную должность.

Наш войт был только недавно выбран и потому еще не совсем освоился с начальством. Он немало испугался, когда стражник поздним вечером вошел к нему в хату. Но еще больше он испугался, когда прибывший «пан» рассказал ему о цыганах. Правда, войт знал, что цыгане сидят в ущелье, стало быть, не самих цыган он испугался. Испугался он оттого, что стражник даже и там разыскал их и что теперь наверняка и его заодно с цыганами потащат в Подбуж.

— Ну, а вы знаете об этих цыганах?

— Да вроде того что знаю.

— Что ж они, крадут?

— Да, пожалуй, не без того чтобы не крали. Разве цыган без этого выдержит! Правда, старик иной раз что-то клепает, работает будто. Такая уж его цыганская работа!..

— Я так и знал,— буркнул стражник.— Ну, войт, на вас лежит ответственность за них.

— На мне? — воскликнул перепуганный войт.— Ежели они что украдут, так я должен за них отвечать?

— Да, да. Вы отвечаете за все, что случится в черте вашего села. У вас должен быть порядок. Такую цыганскую голытьбу нельзя оставлять без присмотру.

— А что ж я с ними поделаю? Привязать их на веревку, что ли?

— Как только встретите их в селе, тотчас арестовать и отдать в руки стражникам.

— Э, паночек, да ведь вельможные стражники к нам редко когда заходят. А тут арестуй я кого из цыган, так другие возьмут да меня еще подожгут.

— Подожгут? — крикнул стражник.— Так они такие? Постоите, приберем их к рукам. Войт, присмотрите мне за этими цыганами, пока я не вернусь с обхода! Я их заберу с собой в Подбуж.

— А когда пан вернется?

— Завтра, самое позднее — послезавтра.

— Хорошо, я велю присмотреть за ними,— ответил войт, низко кланяясь стражнику.

Поев молока с «будзом» (свежим овечьим сыром), стражник улегся на лавке, укрылся плащом и заснул. А тем временем войт не спал, хотя и лежал в постели.

«Какая нелегкая наслала этого стражника,— думал он,— что выискал цыган в таком тайнике, где их до сих пор никакое начальство не замечало? И что теперь с ними делать? Вздумай я арестовать их и доставить в село, так что с того, что стражник заберет их в Подбуж? Посидят под арестом дня два, а потом выйдут на волю и наверняка направятся в Ластовки. Что им стоит обокрасть меня или поджечь? Цыгану что? Стражник далеко, а цыган кочует множество: довольно одну шайку зацепить — и все станут твоими врагами. Ой, горе мое горькое! Тьфу на твою голову! Разве вот что сделать! Вот, вот, это будет лучше всего! Ежели цыгане убегут, что мне стражник сделает? Ведь они могли сбежать еще этой ночью, прежде чем я узнал от стражника, что их надо арестовать! Вот это самое лучшее, самое лучшее!..»

И с этою мыслью войт заснул уже около полуночи.

А стражнику тем временем, хотя и спал он на жесткой лавке, снились гораздо более приятные вещи: «белобунг», денежная награда и перевод на лучшие места, на Подолье, на русскую границу, где легко можно было бы «делать» хорошую контрабанду: и выслужиться и нажиться. Сон этот придал ему еще больше охоты и уверенности. На другой день он поднялся чуть свет, собрался и, еще раз строго-настрого приказав войту присматривать за цыганами, поспешно двинулся в дальнейший путь, чтобы нынче же закончить обход и назавтра вернуться в Ластовки.

Тотчас после его ухода войт намотал на ноги тройные онучи, обулся в кожаные постолы, надел кожух, мохнатую баранью шапку, перекинул через плечо барсучью сумку с «цесарским орлом», а в сумку опустил пару овсяных лепешек и кусок

овечьего сыра. Так снарядившись и не сказав никому ни слова, отправился он к скале.

— Добрый день, Пайкуш! — молвил он, входя в пещеру.

— Доброго вам здоровья, пан начальник,— ответил старый цыган.

— А что у вас нового слышно? — спросил войт, по бойковскому обычаю не приступая прямо к делу.

— Плохое слышно, пан начальник. Был тут у нас вчера «шишка», хотел нас в село отвести.

— В село? Э, да он хотел вас, милые мои, в Подбуж вести, в тюрьму.

— За что?

— Разве я знаю за что? Может, ему в других селах на вас наговорили. Уж недаром он за вами так следил, что даже здесь разнюхал.

— Ой, ой, ой, боже наш, боже! — разом застонали цыгане.— Что же теперь нам делать?

— Что же я вам, бедняги, посоветую? — спросил войт.— Он велел мне присматривать за вами, пока сам не вернется, а потом передать вас ему в руки.

— И вы хотите нас теперь арестовать? — сказал спокойно, но со скрытой угрозой в голосе старый цыган.

— Бог с вами, Пайкуш,— сказал войт.— Разве я вас с нынешнего дня знаю, что ли? Я тотчас сказал стражнику, что цыган как ветер в поле: вот он здесь, вот его нет. Кто его на привязь посадит? Знаете что,— вот вам немного хлеба и сыра, примите это от меня и ступайте себе, куда хотите, чтобы я о вас и не слыхал. Не хочу я вам зла делать, но и сам не хочу из-за вас в беду попасть. Понимаете?

— Понимаем, пан начальник, понимаем. Да вознаградит вас господь! — сказал цыган, кланяясь, а за ним начало кланяться все его семейство. Положив на каменный пол лепешки и сыр, войт торопливо зашагал назад в село, стараясь, чтобы никто его не заметил. А в душе он посмеивался над тем, как разозлится стражник: явится завтра, а цыган уж и духу не будет.

III

Верно люди говорят: осень в горах стоит хорошей зимы в долинах. Едва наш стражник вышел за другой конец Ластовок, едва войт, завершив свою дипломатическую миссию, вернулся в село, как вершина Парашки, вздымающаяся ввысь, словно

огромный трезубец, заволоклась мглой, или, как говорят, «закурилась». Огромными клубами катилась эта мгла вниз, гонимая сильным, завывающим ветром. Через полчаса все уже исчезло в вихрях и клубах снежной метели, которая со всех сторон била в глаза и ослепляла пешехода, заметала у него под ногами тропинку.

Бранясь и то и дело отплевываясь, боролся стражник с метелью и упорно продвигался вперед. Уже невдалеке было село, куда он хотел добраться к ночи,— крайний пункт его обхода. Оставалось еще по мосткам перейти на другой берег реки. Но это уже было дело далеко не безопасное. Река шумела под мостками как бешеная, а вверху бушевал ветер, точно руками дергая за перила. Мостки были скользкие от снега, а ветер слепил глаза. У самого берега стражник поскользнулся и упал в воду. Река была неглубокая, но страшно быстрая. В одну минуту у стражника сорвало с плеча карабин, а с головы — кивер с петушиным пером. Большой камень-валун, который вода катила по дну, ударил его по ногам и сшиб его. Только с большим напряжением выбрался стражник на берег. Он промок до нитки, замерз, был напуган. Чтобы согреться, бедняга пустился во весь дух бежать в село, к знакомому попу. Но хотя это и недалеко было, а все-таки, пока он добежал до дома, мокрая одежда на нем заскорузла от холода и голос пропал в груди. Правда, в доме у попа тотчас кинулись растирать его, отогревать, спасать. Эта помощь да еще его железное здоровье сделали то, что он не схватил никакой тяжелой болезни, однако же ему пришлось пролежать целую неделю в постели, в сильной горячке. Всю эту неделю мело снегом, свистал ветер, стоял мороз, так что в горах даже здоровому не стоило пускаться в дорогу из одного села в другое. Через неделю ветер утих, установилась ясная погода, но мороз еще более окреп. Стражник не хотел дольше задерживаться, но поп не решился отпустить его от себя пешком, полубольного. Он велел заложить сани и отвезти его в Подбуж, куда заранее дал знать о случившемся.

Когда стражник проезжал через Ластовки, он вспомнил про цыган, о которых совсем было позабыл после происшедшего с ним несчастья. Он велел возчику остановиться у хаты войта, вызвал войта и спросил его:

— А что вы сделали с цыганами?

— Да что было с ними делать, прошу пана,— ответил войт, почесывая свою лохматую голову,— когда мы их уже не застали.

— Как так не застали?

— Да так. Как только пан изволил от меня уйти, я вмиг собрался и пошел, чтоб их арестовать и доставить в село. Но в пещере я не застал никого. Видно, испугались пана и в ту же ночь сбежали.

— Вот бестии! — воскликнул стражник.— Ну погодите, я вас еще где-нибудь поймаю!

Войт поклонился, а втайне только усмехался, что ему удалось так хитро да умно выкрутиться из беды. А стражник, злой и раздраженный, завернулся в свой плащ и в тяжелый бараний кожух, данный ему на дорогу попом, и велел ехать дальше.

IV

Стрый скорчился от мороза. Внизу, под скалою, переезд был свободен, а так как этой дорогой ехать короче, то стражник велел везти себя по ней. Едва выехали за лес, черной стеной отделяющий Ластовки от остального мира, как глаза стражника с каким-то беспокойством уставились на громадную скалу, бывшую уже совсем близко перед ними. Вершина скалы не была покрыта снегом, ветер посметал с нее зимний пух и сдвинул его пониже, в расщелины. Что-то дрогнуло в сердце у стражника, когда он увидел вершину скалы, сплошь усеянную воронами, галками и прочими птицами, обычно слетающимися на падаль: они то опускались, то кружились целыми тучами и своим зловещим криком и гомоном наполняли воздух.

Но что это? Из темноватой расщелины в горе, глубоко засыпанной снегом, как и восемь дней назад, пробиваются еле заметные клубы бледно-синеватого дыма. Несколько мгновений стражник сомневался — так ли это, или только ему мерещится после горячки, но его возница, горец, уверил его, что дым на самом деле пробивается из скалы. Неужели там еще кто-нибудь есть? Стражник даже затрясся — так ему не терпелось узнать, что это значит. Уже подъехали к скале. Тропинка, которая вела в гору, была заметена снегом, и ни единого человеческого следа не было видно на этой белой пелене. Только галки да вороны при их приближении подняли еще больший крик.

— Недобрая это примета, что столько воронья сюда слетелось,— заметил возчик.— Не было ли здесь какого несчастья? Проклятая птица тотчас это почует.

Стражник, не говоря ни слова, сбросил с себя кожух, а за ним и плащ, чтобы легче было вскарабкаться на вершину скалы: возчик выломал две палки для опоры, и так, помогая друг другу,

с большим трудом взобрались они на верхнюю площадку. Воронье с криком вилось над их головами, словно хотело отстоять свою верную добычу.

Вход в пещеру был, как и тогда, завален бревнами и заткнут мхом, только сквозь маленькую щелку вверху пробивался дым. Отвалили бревно и вошли. В пещере было темно и тихо. Спустя некоторое время глаза у них настолько освоились с темнотой, что могли разглядеть какую-то черную беспорядочную груду посреди пещеры. Это были цыгане, сбившиеся в кучу, укрытые мхом и листьями и мертвые, видимо, уже несколько дней. В очаге дымилось еще, дотлевая, последнее бревно.

Что было причиной их смерти? Голод? Холод? Или, может быть, угар от густого дыма? Тела у них были синие, окоченелые, замерзшие. Но, разрывая груду, стражник увидел, что под старым цыганом уже не было невыделанной лошадиной шкуры, на которой тот спал, обглодки этой шкуры оказались... в руках у детей.

Долго стояли стражник и его возница над мертвецами молча, остолбенелые, охваченные испугом и жалостью. Может быть, в душе у них промелькнули долгие дни и ночи мучительного умирания этих несчастных, плач и стоны детей, беспомощность и отчаянье стариков, целое море нужды, горя и страданий, от которых осталась теперь лишь вот эта недвижная, сплетенная в один клубок, груда трупов...

Молча, как пришибленные, вышли наконец стражник и возница из пещеры на свежий воздух, завалили вход в пещеру, чтобы не допустить птиц к трупам, и когда они снова уселись в сани, возница перекрестился и, обернувшись лицом к скале, стал шептать молитву. Тем временем стражник начал мысленно составлять рапорт о случившемся.

Нагуевичи, июль 1882
Переработано в 1887

ЛЕСА И ПАСТБИЩА

(Рассказ бывшего доверенного)

Господи боже, крику-то было у нас из-за этих лесов да пастбищ! Уж как хлопотали паны, как мудрили, инженеров да адвокатов подкупали, лишь бы от всяких тягот избавиться! Хитрые головы. Они знали, что хотя цесарь и дал мужикам свободу и панщину уничтожил, а все же, если не дадут они им лесов и пастбищ, так и придется мужику либо вовсе погибать, либо к

ним же — «приидите поклонимся», а тогда снова вернется панщина, хотя, может, и в другой одежке, но для мужика нисколько не легче.

И вы думаете, не вернулась у нас панщина? Придите только да поглядите на наше село, сами удостоверитесь. Правда, приказчики да управители не ездят уже под окнами с нагайками, на помещичьем дворе нет уже той дубовой колоды, на которой, бывало, каждую субботу совершалась «общая палочная расправа»; но посмотрите вы на людей, потолкуйте с ними! Черные, как земля, хаты, убогие, ободранные, старые, набок покосились. Плетней почти вовсе нет; хотя лес вокруг села, как море, приходится людям окапывать поле рвами да вербами обсаживать, как на Подолье. Скот истощенный, заморенный, да и то редко у какого хозяина найдется. А спросите вы у тех, что идут с серпами да косами: «Куда, люди, идете?» И вам наверняка ответят: «На панское поле жать», или: «На панский луг косить». А если удивитесь вы, как это так, что идут они к пану на работу теперь, когда у самих-то еще ничего не сделано, а пора жаркая, колос осыпается, то они разве что головами покачают и грустно ответят: «Что же поделаешь? Сами видим, сердце у нас разрывается, но что делать? Задолжали мы пану, а у него порядок такой, что сначала ему отработай, хоть гром разразись, а потом уж себе». Это у нас из году в год так: у пана сработаем все вовремя, и хорошо и чисто, а наше добро тем временем пропадает и гибнет в поле. И ловко это придумал наш пан! У него лес — у нас без его ведома и щепки во дворе нет! У него пастбище — у нас весь скот пропал, погиб, а который и остался — ходит как сонный. У него поле в порядке, чистое, а наше — пыреем поросло, горчаком да бурьянами, навозцу нету, чтобы удобрить, скотинки рабочей нету! А ежели что и на том уродится — все равно в поле пропадет, оттого что должны мы пану наперед отработать, пока вёдро. И никогда мы не можем поправиться, не можем стать на ноги, не можем выбиться из-под панской руки. А пан нажимает, о, вовсю нажимает! Он у нас теперь старостой, какой-то из его прислужников — писарем, и все общество должно по их воле гнуться. Бедняка из села ни на заработки не выпустит, ни на службу, книжки не выдаст. «Сиди тут, никуда не суйся, работай себе!» А у себя работать-то нечего,— ступай к пану! А пан — бац по десять крейцеров за день в самую горячую пору, и надо работать, ведь деться-то некуда! Так-то он нас прикрутил и все больше прикручивает! Вот и скажите сами, нужно ли нам еще какой другой панщины? Думается мне, что прежняя панщина с палками да управителями такой тяжкой не была.

А теперь послушайте, как он нас обошел, чтоб на поле выгнать и после забрать в свои руки. Я сам при этом был и могу вам верно сказать и каждое слово хоть под присягой подтвердить. Вот слушайте!

Пошло все наше несчастье с переписи, знаете, той, что в пятьдесят девятом году была. До той поры жили мы с помещиком в добром согласии. Он трогать нас боялся, тогда, знаете, еще страх был среди панов, мазурскую резню помнили. А нам трогать его и надобности не было: пастбище у нас было, в лесу мы рубили, как и отцы наши с древних времен, и всегда считали, что лес этот общественный — даже лесничего на общественный счет держали. А тут — бац! — перепись. Знаете, народ темный, не понимает, что к чему, перепугался. Наш мужик-то все боится, чтоб податей не прибавили. Так и тогда: переписывать будут не только людей, но и скот! Дело тут неспроста.

А тут как раз в воскресенье, после обедни, вышел, как всегда, народ из церкви, собрался на луговине совет держать. Там и войт приказы какие-то читает, другие о жнитве толкуют... А тут пан: «Так, мол, и так, панове громада, дело важное, перепись. Я вам друг, я теперь такой же мужик, как и вы. Знаете, цесарь поравнял нас всех, теперь панов уже нет...» Ну, проще говоря, начал он нас обрабатывать. Мы и рты пораскрывали, ведь впервые слышим от нашего пана человеческое слово! «Так и так, продолжает, перепись дело важное. Кому угодно, прошу зайти ко мне, нужно кое-что важное сказать, как вам во время переписи держаться». Да и пошел прямо к себе на усадьбу. А мы все, сколько нас было, толпою за ним. Вошли на панский двор. Он стал на крыльце, оглядел людей, а потом вызвал несколько человек постарше к себе и пошел с ними в комнаты. Стоим мы, дожидаемся.

— Знаете, люди добрые, почтенные хозяева,— заговорили наши старики, когда мы снова стали на своем лужке,— завтра прибудет к нам перепись. Так вот пан наш, дай ему бог здоровья, велел нам предостеречь общество. «Обратите внимание, говорит, на скот! Они скот записывают, а потом наложат на вас за каждую голову по гульдену подати. А скажете, что пасете в лесу, так будете и за лес двойную подать платить: сначала за лес, а потом за то, что пасете». И вот пан советует так: первонаперво не говорить, что пасем в лесу, а после припрятать на день часть скотины в лесу и при переписи показывать скота меньше, чем у нас есть. «Так, говорит, делают и в других селах. А лес, говорит, как был ваш, так и останется, перепись землей не занимается».

Толковали мы, толковали и решили послушаться пана. Вот ведь дураки! Ежели у кого было пять голов скота, он три — в лес, а две для показу оставляет: у кого десять голов, он семь — в лес, а три оставляет. Целое стадо коров со всего села в лесу запрятали, в самой чаще, и ждем себе спокойно переписи. И без того тяжко достается от этих податей человеку, а тут еще пан так напугал нас новой будто бы прибавкой, что мы и не колебались обмануть попросту эту перепись, лишь бы как-нибудь выкрутиться из беды.

С утра на другой день, так около обеда, уже и перепись в селе. Записывают. Ну, все мы держимся того, как порешили: показываем скота как можно меньше, отказываемся от выпаса в лесу, да еще радуемся, что гладко идет дело. Но вот под конец дошла перепись и до помещика. Кое-кто пошел из любопытства за нею. Немного погодя прибегают в село, запыхавшись, испуганные...

— Что мы наделали! — кричат.— Тут что-то не так, тут дело плохо! Уж не подвел ли нас пан на какую беду? Он записал не только весь свой скот, но и наш, какой в лесу спрятан, и комиссия поехала туда!

Мы так и остолбенели, услыхав о таком деле. Тут же собрались все гуртом и побежали в лес. Комиссии уже не было. Спрашиваем пастухов. «Были, говорят, паны и наш помещик, что-то писали, считали скотину, а нас ни о чем не спрашивали». Мы — в село, а нам говорят, что комиссия уже выехала из усадьбы окольной дорогой. Двинулись мы за ней, догнали только в другом селе. Так и так, рассказываем, паны наш скот в лесу считали...

— Как он может быть ваш, если вы сами говорили, что больше скота у вас нет и в лесу не пасете?

— Мы-то говорили, да нас пан научил.

— Так что же вы теперь хотите? Чтоб мы вторую перепись у вас делали, что ли? Будьте здоровы! Что наделали, то и получите. Что написано, то пропало. А впрочем, нет, вы можете подать жалобу, но говорим вам наперед: жалоба вам ничуть не поможет, а только сами еще под суд попадете за то, что обманывали имперскую комиссию.

С тем мы и вернулись. «Пропало,— сказали мы,— посмотрим, что из этого выйдет».

Ждем год, другой — нет ничего. Помещик опять с нами по-хорошему, только, ежели напомнишь про перепись, усмехается и говорит: «Э, что там, шутка — да и все!»

Но вот на третий год, слышим, едет какая-то комиссия в село, пастбище межевать.

«Черти тебя принесли, думаем, это что еще, зачем, на что? Пастбище наше с дедов-прадедов, зачем его межевать?» Правда, за последние годы мы одну полоску между собой поделили и запахали; думаем себе: может, приехали смерить, сколько мы запахали, а сколько еще осталось. А комиссия прямо к пану; пообедали, а потом на пастбище. Разложили планы, пан сам ходит с ними и показывает: вот отсюда тянется и вот туда, а это они запахали.

Подошли мы к комиссии, кланяемся издали, после подошли ближе, кланяемся опять, а комиссия и не смотрит. Потом войт осмелел и говорит:

— Это, ваша милость, пастбище наше, зачем вы его меряете и ставите вехи?

— А ты кто таков? — спрашивают паны.

— Я войт сельский.

— Ну и хорошо,— отвечают они, а сами свое продолжают. Отметили вехами запаханный кусок особо, а остаток опять-таки особо. Мы уже с войтом за ними ходим да поглядываем, но что они говорят, того не понимаем, по-немецки лопочут. Кончили и в бричку садятся. Войт за ними, не отступает и все допытывается. Тогда один из панов встает в бричке и к нам обращается:

— Вы, люди, видели, как комиссия мерила пастбище?

— Видели,— говорим.

— И видели, как вехи ставили?

— И это видели.

— И знаете, что вон там,— и он показал на запаханную полосу,— это ваше, общественное, а вот это помещичье?

— А, что, как? — закричали мы все как ошпаренные — и к комиссии. Комиссия — ходу.

На другой день гонят наши пастухи скотину на пастбище, а там панские слуги: «Марш отсюда, это пастбище панское, не смей сюда и ногой ступить». Пастухи завернули скот, гонят в лес, а там панские лесники и гайдуки: «Марш отсюда, лес панский, не смейте и ногой за ров ступить». Пастухи, известно, дети — в плач, гонят скотину назад домой. Крик, шум в селе такой поднялся, точно кто все село с четырех сторон поджег.

Что тут делать? Бабы кричат: «Мы с ухватами пойдем и панским слугам головы поразбиваем!» Но мужья, кто постарше, кое-как утихомирили их и тотчас выбрали несколько человек, чтобы ехали прямо во Львов, к адвокату, посоветоваться. Вы-

брали и меня. Поехали мы, разыскали адвоката, украинца, заслуженного, говорят, и честного. Пришли к нему, рассказываем: так, мол, и так. «Что ж, говорит, начнем процесс. Постарайтесь насчет свидетелей, бумаг, денег, а тем временем сидите спокойно, всякий бунт только делу повредит».

— Но, паночек,— говорим мы,— как же нам сидеть спокойно, если некуда скотину выгнать. А без выпасу скотина и вовсе пропадет!

— Ну,— говорит адвокат,— чем я могу вам тут помочь? Вот выиграем процесс, должен будет пан вам все убытки возместить, а теперь поступайте как знаете.

С тем мы и ушли. Начался процесс. Сколько мы денег на него ухлопали, один бог ведает. Я одному только адвокату на гербовые марки что-то больше семисот гульденов отсчитал. Общество тянулось из последнего, хотя и нелегко приходилось. Ведь лес-то и луг в помещичьих руках остались, и мы должны были тотчас бóльшую половину скота продать почти задаром, потому что нечем было кормить. А прочий скот толокся, да и сейчас толчется, то по гусиным лужкам, то на пару, то по огородам. Сады наши из-за того погибли, пасеки вывелись, а скотинка ходит — одна кожа да кости.

Семь лет тянулся наш процесс, да так, словно кто семь лет подряд из нас жилы выматывал. Вовсе извелись мы за это время, но к пану ни-ни, упорствовали. И пан тоже. Уже в каких мы судах да инстанциях не побывали! И в уезде, и в губернии, и в министерстве, и бог знает где. В одном месте проиграем — апеллируем; в другом выиграем — пан подает кассацию, а конца все нет да нет. Ну, наконец,— слава тебе, господи! — дождались мы! Приходит судебный исполнитель, приносит нам резолюцию из главного министерства. Так и так, чтоб порешить спор между обществом и помещиком, назначается губернская комиссия, которая на спорном месте все рассмотрит, документы проверит, выслушает свидетелей и вынесет окончательное решение. И должны обе стороны в такой-то день явиться на спорное место со всеми своими доказательствами. Решение комиссии апелляции не подлежит и будет приведено в исполнение. «Ну, слава тебе, господи! — подумали мы.— Теперь уж наверняка наша правда будет, если комиссия будет судить на месте. Тут каждый сможет сказать все, что знает, каждого выслушают, а в таком случае должны же будут признать, что правда на нашей стороне».

Пан наш, получив такую же резолюцию, очень что-то осунулся и нос повесил, но потом, видно, кое-что надумал, сел в бричку и махнул во Львов. Куда он ездил, неизвестно, двое из

нашего села были тогда во Львове и сказывали потом, что видели его, как крутился он в городе с нашим адвокатом. Разумеется, рассказывали тогда уже, когда все кончилось. Достаточно того, что спустя два или три дня приехал наш пан из Львова уже более веселый и даже радостный. Глядим мы, а сами-то и не знаем, что это оно значит.

Наведались и мы к своему адвокату. Обрадовался очень. «Выиграем дело,— говорит.— Я сам, говорит, выступлю с вами на месте спора перед комиссией. Но за день до этого приходите ко мне сюда: войт, доверенные, свидетели, привезите с собой какие у вас есть бумаги, надо все пересмотреть, посоветоваться. Знаете, как перед битвой на войне готовятся, так вот и нам надо готовиться. Приезжайте пораньше, и я объясню каждому, что и как ему говорить, а то, видите, дело запутанное, а с полдня сядем в повозку — и айда на село, чтоб в назначенный день быть пораньше на месте спора».

Послушались мы его совета, да еще и благодарим. Собрались: войт, двое доверенных и три самых старых хозяина в селе как свидетели, собрали все старые бумаги, какие у кого были, и поехали ночью во Львов, за день до приезда комиссии в село. Приходим рано утречком к адвокату,— нет дома, куда-то ушел, но скоро вернется, просил обождать. Ждем мы, ждем — нет адвоката. Уже десятый, одиннадцатый, двенадцатый час — нету. Проголодались мы, пошли к возам кое-чего перекусить. Прибегаем немного погодя — нету еще адвоката. Что за несчастье такое? Уже первый час, глядь, и второй, а там и третий — тут бы нам как раз время домой ехать, чтобы к вечеру добраться, а его нет. Наконец, этак часу в четвертом, идет он.

— Ах, простите, пожалуйста,— говорит,— пожалуйста, простите, почтенные, но вина не моя, что я так запоздал, был в суде, слушалось дело, затянулось до сих пор. Ну, это ничего, мы еще все успеем устроить как следует. Прошу в комнаты!

— А может, мы сейчас бы сели на подводу да поехали в село,— сказал я.— Вы могли бы там пересмотреть бумаги и научить нас, что нам говорить.

— Э, чего там торопиться,— говорит,— доехать успеем, а просмотреть бумаги — дело недолгое.

Вошли мы с ним в его кабинет, сели. Бумаг нанесли целый ворох. Принялся он все это читать: читает, читает, не спеша, внимательно, иногда нас спросит о чем-нибудь, мы отвечаем, он снова читает, а тут уже и полчаса прошло, а там и час, глядь, и второй прошел — он ничего. Мы тут как на иголках сидим, ерзаем, потеем, а он все нас выспрашивает, как на допросе, все

бумаги читает, бормочет про себя — ну, прямо беда! Уж мы ему сколько раз намекали, не пора ли ехать. А он все свое: сейчас! И опять читает. Шесть часов пробило, когда дочитал. «Ну, думаем, слава тебе, господи, конец уже чтению, поедем!» Э, как бы да не так! Как начал теперь наш адвокат растолковывать нам весь процесс с начала, обстоятельно, подробно, будто мы совсем ничего и не знаем. Говорит, говорит, а нам прямо-таки невтерпеж,— другой бы человек на нашем месте вскочил, плюнул ему в глаза и ушел. Ан нет! Начал он нас учить дальше, как должны мы говорить перед комиссией,— и правда, хитро научил! Таким ясным стало нам все дело, так хорошо знал каждый, что ему говорить,— прямо любо. Одно жаль,— как кончилось это обучение, девять часов пробило. Смерклось совсем. А он только теперь будто заметил, а тут еще и погромыхивать начало.

— Ого, а это что же, вечер уже? — говорит он, оглядываясь.

— Да, вечер уже,— ответили мы, как приговоренные.

— Что же теперь делать? Как ехать?

— А я знаю, что ли,— ответил я.— Теперь трудно ехать, дорога плохая, да и далеконько, лесом!

— Сами не знаем, что делать! — говорят наши.

— А в котором часу должна завтра приехать комиссия!

— В десять утра.

— В десять? Э, пустяки, ночуйте вы здесь, а завтра встанем пораньше и покатим в село, да так, что только пыль столбом. К восьми будем там. А теперь идите, как раз тут возле моего дома шинок есть, шинкарь человек порядочный, там переночуете, а завтра, помните, не запаздывать, я буду ждать вас.

Что делать? Рады не рады, ушли мы. А шинкарь как будто поджидал нас.

— Вы не от пана ли адвоката? — спрашивает.

— Да, да.

— Ну, ну, заходите, найду для вас место, ночуйте на здоровье! А может, что подать?

— Дайте, пожалуй, по стаканчику водки, лучше будет спаться.

Выпили мы, улеглись в добрый час и сразу заснули как убитые. Долго ли мы спали, бог ведает. Довольно сказать, просыпаюсь я — совсем светло. Подбегаю к окну, смотрю на солнце — уже за полдень. Оглядываюсь — все наши хозяева спят как убитые. Господи боже, что же это такое? Во сне ли это или наяву? Закричал я изо всех сил — нет, не сон! Повскакивали и они — и тоже к окну! А что это? За полдень? Неужто ж мы так долго спали? Вот несчастье-то! Заметались мы, как пескари

посоленные, а в голове у всех шумит, кости все ноют, как побитые! Зовем шинкаря:

— Сколько вам за ночлег?

— Немного, всего шесть гульденов.

— Как? Что? Как это так?

А он, ворюга, видя, что нам к спеху, что расшибаемся мы и волосы на себе чуть не рвем от нетерпенья, стал себе в дверях да только усмехается, бороду поглаживая.

— Так у меня все гости платят!

Кое-кто из наших начал с ним торговаться, но где там, слова не дает сказать. Бросили мы ему деньги, сколько хотел,— и к адвокату. Прибегаем — нету дома, утром ждал-ждал нас, а потом один поехал, велел нам как можно скорей вслед за ним ехать.

— А бумаги-то наши?

— Бумаги оставил, вот вам ваши бумаги!

Вот тебе и на! Поехал, а бумаг не взял.

Господи милосердный, что с нами тогда творилось — и вспомнить страшно! «Что, ежели, думаем себе, там без нас уже порешили, общество проиграло, что нам люди скажут? Какая беда ждет нас впереди?» А мы точно наперед знали, что нас ожидало, да и нетрудно тогда уже было все наперед видеть!

Погнали мы домой, да не в село, а прямо на пастбище. Нет никого. Мы — в лес. Нет никого! А тут уже вечер подходит. Мы к пану на усадьбу, а там пенье, смех, угощенье, музыка — это пан комиссию принимает. Смотрим мы, и наш адвокат тут, весь красный, веселый, говорливый. Сколько проклятий в ту минуту на него посыпалось — наверно, он за всю свою жизнь столько бутылок вина не выпил! Мы уже прямо одеревенели, не говорим ничего, ни о чем не спрашиваем, да и зачем? Сами знаем, беда стряслась. Как остолбенели, стоим на крыльце, стоим, дожидаемся и сами не знаем — кого и зачем. Господа вдруг нас увидали, хохочут в комнатах, но к нам никто не выходит. Панские слуги ходят мимо нас, тоже посмеиваются над нами, насмехаются, толкают нас, но нам ни слова. Панские псы подбегают, обнюхивают нас, иные порычат, а другие и так отходят тихо. А мы ничего, стоим как неживые. Уже смерклось, в комнатах зажгли свет, господа и барыни песни какие-то завели, на дворе дождь начал накрапывать, а мы всё стоим на крыльце, глаза в освещенные окна уставили, трясемся всем телом, а в сердце — отчаяние.

Но вот наконец, уже поздно ночью, распахнулись двери и начали один за другим выкатываться гости к своим бричкам.

Раньше всех господа из комиссии. Проходя мимо нас, самый толстый из них остановился, поглядел на нас грозно и говорит:

— Вы кто такие?

— Местные.

— Что вам надо?

— Чем наш процесс окончился?

— Ваш процесс? И вы только теперь заявились узнать об этом? Пьяницы проклятые! Пастбища вам надо, лесу надо? А сумы нищенской не хотите? Ступайте домой и не смейте об этом и вспоминать! Прошла коту масленица! Пропали, Иван, твои деньги!

Вся комиссия захохотала, уселась в брички и поехала. Вслед за комиссией вышел наш адвокат, крадучись, точно вор, смущенный, пьяный будто.

— А, вы здесь, вы здесь? — лепетал он.— Ждал вас, ей-богу, ждал, почему не приходили?

— А много вам наш помещик заплатил, чтобы вы нас в городе задержали, пока тут комиссия присудит в его пользу?

— Что? Как? А! Оскорбление!..— лепетал он, усаживаясь в бричку, и покатил во весь дух со двора.

— Чтоб ты себе голову сломил! — напутствовали мы его вдогонку. Да и то напрасно: не сломил головы, собака!

А тут и пан наш вдруг точно вынырнул перед нами. Стоит, покачиваясь, в дверях.

— Хе-хе-хе,— говорит он с пьяным хохотом,— панове громада, местные обыватели, землевладельцы, доверенные, ну что там слышно? Как процессик идет? Ничего, ничего! Вот постойте, буду я вас теперь уму-разуму учить! Теперь запляшете вы под мою дудку! Я вам себя покажу, будете меня помнить!

И сдержал слово! Прикрутил всех так, что и дохнуть нельзя! Правда, общество не сразу уступило. Подали мы протест, но протест отклонили. Тогда порешили мы защищать свои права силой, но этим еще больше себе навредили. Бабы, дети, взрослые и старики — все, как один, двинулись из села, чтоб не дать помещику занять выгон. Пан вызвал войско. Мы перед войском наземь попадали, кричим: «Хоть топчите нас, хоть стреляйте, а мы с этой земли не уйдем, это наше!» Но войско не стреляло и не топтало, а только, разделившись на две роты, двинулось на конях по хлебам, через плетни, и в село. Пришлось нам вернуться. Два месяца стояли в селе солдаты. Какой был скот получше, повырезали и поели, всех нас разорили, а когда уехали, пан мог быть спокоен: общество было сломлено и разрушено дотла и вынуждено было само отдаться ему в руки.

Такая-то вот наша доля. Будет ли когда лучше, доведется ли нам хоть перед смертью вздохнуть свободней — бог весть! А помещик изо всех сил старается, чтоб все крепче и крепче опутать нас. Пять шинков в селе завел, школы нету, попа выбрал себе такого, что с ним заодно, а нам и посоветоваться-то не с кем, живем, как волы в ярме, даже и для детей не ожидаем лучшей доли...

Май, 1883

К СВЕТУ!

(Рассказ арестанта)

I

Ученые естествоиспытатели говорят, что те слои воды, которые лежат на самом дне глубоких морей,— это подлинная «мертвая вода». Гигантский столб верхних слоев давит на каждую частицу нижних, лишает их всякого движения, всякой жизни. Солнечный свет сюда не доходит, никакие живые существа здесь не водятся, никакие подводные течения, бури, землетрясения не откликаются здесь даже слабым отголоском. Единственное движение, какое здесь можно заметить,— это вечное и непрестанное оседание миллионов трупов и скелетов живых существ, которые когда-то, и очень давно, жили и веселились там, наверху, красовались на солнце, купались в тепле, колыхались на могучих морских волнах. Погибнув, они медленно-медленно спадают вниз — особенно крошечные форамениферы, диатомеи и прочая мелочь, составляющая основную массу морской жизни,— трупы их медленно пробираются сквозь все более плотные и богатые кислородом и углекислотой слои, разлагаются, как бы сгорая в них, и лишь со временем, став микроскопическими катышками и щепками, достигают дна и ложатся на этом обширном кладбище, чтобы когда-нибудь, через тысячи лет, образовать меловую скалу.

Тяжко и грустно, должно быть, этим нижним слоям воды застывать, неподвижно цепенея на мертвом дне, в ужасающей темноте, под неслыханным бременем, среди одних только трупов. Тяжко и грустно им, особенно если в них тайно отзовется та вечная, неумирающая сила, без которой не существует ни одного атома в природе. Живая, неумирающая сила внутри, а кругом мрак, страшное бремя тяжести и бесконечное кладбище! И если в этих несчастных, на вечную смерть обреченных атомах зашевелится порой, раз в тысячу лет, слабое подобие мысли — по-

вашему, это невозможно? но ведь и наш мыслящий мозг, что же он такое, как не соединение тех же атомов кислорода, углерода и других элементов? — как горька, тяжела должна быть эта их мысль-мечта!

— Матерь-природа! Откуда же такая к нам несправедливость? Неужто мы хуже тех, которые там, наверху, над нами, веселятся, колышутся и красуются в дивном сиянии света? И отчего бы тебе не установить очереди, отчего бы не отпускать нас хоть на часочек туда, наверх?

Но матерь-природа не знает сентиментальности и не слушает фантазий.

— Стану я с вами, дураками, возиться! — ворчит она.— Чувствуете в себе силу, так и старайтесь вырваться сами наверх! Не хватает еще мне вас подсаживать!

Да, старайтесь сами вырваться!

Вам не случалось видеть подобное в жизни человеческой? Ох, случалось, милые мои, кому не случалось такое видеть! И при каждом таком случае щемило ваше сердце, и доныне щемит, когда вы пробуете перенестись мыслью в положение этих бедных живых атомов человеческого общества, обреченных завистливой судьбой на вечную тьму, на тупую неподвижность, на смерть безвестную. Да и все мы — разве не такой же нижний слой среди народов? Разве каждое сильное, здоровое движение этих свободных и счастливых народов не отдается болью, нажимом, толчками в нашем народном организме?

А любой из вас, который зачастую ценой страшных усилий, может быть, ценою жизни самых близких людей выбрался из этих темных низов хоть чуточку повыше,— разве не почувствует он порою невольный страх и боль при одной только мысли о тех низах и о том, что, если бы не счастливый случай, пропадал бы он, пожалуй, и поныне там,— темный, беспомощный, никому не известный, не человек, а частица *массы человеческой?* И разве не стеснится наше сердце при воспоминании о тысячах и тысячах таких, кто так же, как и мы, силились вырваться из этой тьмы, стремились к свету, рвались к воле и теплу — и все напрасно? И не задрожим ли мы от страха, представив себе жизнь и смерть таких вот безвестных, забытых, нередко затоптанных и оплеванных единиц, когда мы увидим воочию, что иногда одно какое-нибудь глупейшее в мире обстоятельство, слепой случай, недоразумение, шутка, неосторожное слово, пылинка одна столкнула их с пути и навеки отбросила назад, в ту тьму, из которой они почти уж выбрались на вольную волю?..

Такие мысли сверлили мой мозг и отгоняли сон от моих глаз

в течение долгих, долгих ночей и дней, прожитых в тюрьме. Мои товарищи по несчастью, у которых тоже непокойно было на душе, не могли найти для меня слова утешения,— наоборот, я видел, что сами они зачастую гораздо больше нуждались в таком целительном слове. Чтобы не обезуметь среди этой сумятицы горя, мы беседовали, рассказывали друг другу—не о себе, а о других, далеких—и все-таки о горе. Один такой рассказ, глубже других запечатлевшийся в памяти, я и предлагаю читателям. Тот, кто рассказал его мне, был—не говорю о его «специальности» — парень еще молодой, полный силы и отваги, не лишенный добрых, подлинно человеческих чувств, воспитанный на городской манер, окончил народную школу, обучался ремеслу,— одним словом, тоже немало положил сил и средств, чтобы выбиться наверх, выйти в люди — ну, а вышел... Да не об этом речь!

Шестой раз уже сидел он под замком и знал все арестантские порядки, едва ли не историю каждой камеры: кто в ней сидел, за что, на какой срок был осужден, как обращались с заключенными прежде, а как теперь, и так далее... Была это настоящая арестантская летопись. Надзиратели считали его неуемным скандалистом и давали ему это чувствовать частыми дисциплинарными взысканиями. Но он не успокаивался и вспыхивал как порох, едва замечал, что делается не так, как должно, что в чем-нибудь обижают заключенных. Особенно частые столкновения бывали у него с часовым, который ходит под окнами тюрьмы и следит за тем, чтоб заключенные не выглядывали в окно и не переговаривались друг с другом. Несколько раз солдат угрожал ему, что будет стрелять, если он не отойдет от окна, но тот сидел спокойно, не говоря ни слова, и только когда солдат начинал щелкать курком, отскакивал от окна и кричал:

— Ну, ну, ведь я знаю, что ты не смеешь стрелять!

— А откуда вы это знаете? — спросил я однажды.

— Как откуда! Сам был свидетелем, сам видел!

— Что видели?

— Э, да это целая история, после нее часовым запретили стрелять! Вот лучше я вам расскажу,— пусть бедный рекрут успокоится. Ведь и он, бедняга,— что ему прикажут, то и должен делать.

II

— Два года уже этому будет,— начал он,— вот как раз теперь два года. Сидел я тогда в этой же яме под следствием. Двое нас только в камере было — я и какой-то субчик, по фами-

лии Журковский. Кто такой он был и за что сюда попал, я уж и не помню.

И вот как-то раз вечером, после вечернего обхода, уж мы разделись и спать улеглись,— слышим вдруг шаги сторожа и громкий скрежет ключей в замках. Наконец он отпер дверь и впустил в камеру сноп желтого света от своего фонаря, а вместе с ним какую-то скорченную, полуголую, тщедушную фигурку. Выдвинул ее вперед и впихнул в камеру, так как фигурка, по-видимому, сама не поспевала двигаться.

— Вот тебе одеяло и простыня,— крикнул он, швыряя эти вещи фигурке на голову и пригнув ее чуть не до земли.— Ложись и спи! Миску получишь завтра.

Сказав это, сторож замкнул дверь и ушел. В камере стало темно, как в погребе, и тихо, как в могиле. Только то и дело слышим, будто кто-то мясо на доске рубит,— это наш товарищ зубами стучит. Ведь уже глубокая осень была, холод такой, что не дай бог.

— Кто ты таков? — спрашиваю я окоченевшего товарища, не вставая с постели. Я уж согрелся, и не хотелось мне вставать, а в камере стоял изрядный холод, ведь окно полагалось держать день и ночь открытым — для вентиляции.

Товарищ наш молчит, только еще сильнее стучит зубами, а сквозь этот стук пробивается отрывистое всхлипывание. Жаль мне стало парня, я ведь сразу догадался, что это какой-то совсем еще зеленый «фраер». Поднялся я и на ощупь постлал ему постель.

— Ну, ну,— говорю,— перестань, не плачь! Раздевайся и ложись спать!

— Не... не... мо... гу,— едва пробубнил он.

— Почему?

— По... по... тому... очень замерз...

Господи! Я к нему, а он весь окоченел, ни рукой, ни ногой двинуть не может. Каким чудом дошел до камеры, не понимаю. Встал и Журковский, поснимали мы с него лохмотья, раздели догола, крепко растерли, завернули в простыню и одеяло и положили на койку. С четверть часа прошло — слышу, вздыхает, шевелится.

— Ну, что, лучше тебе? — спрашиваю.

— Лучше.

— Отошли руки, ноги?

— Не совсем еще, но уже лучше.

— А откуда ты?

— Из Смерекова.

— Это тебя, видно, стражник привел?

— А как же! Гнал меня нынче с самого утра, чуть не голышом и босого, по морозу. Раз десять падал я по дороге,— идти не мог. Он бил меня ремнем — заставлял идти. Только в корчме, в Збоисках, мы малость передохнули,— корчмарь мне водки дал.

— А как тебя зовут?

— Йосько Штерн.

— А! Так ты еврей?

— Ну да, еврей.

— Черт тебя возьми! Хоть убей меня, а я бы никак не догадался по выговору, что ты еврей,— так чисто говоришь по-нашему.

— Что же, пан, я вырос в селе, среди мужиков. Я пастухом был.

— А сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— А за что ж это тебя в уголовную тюрьму притащили?

— Ой, пан, не знаю! Говорил стражник, что мой хозяин обвиняет меня в краже со взломом, но я, ей-богу, ничего не крал. Только свои бумаги, ей-богу, только свои бумаги!

И он начал всхлипывать и совсем разревелся, как ребенок.

— Ну, ну, перестань, дурачок,— говорю,— скажешь все это завтра судье, а меня это не касается. Спи теперь.

— Ой, пан, а стражник говорил, что меня за это повесят! — голосил Йосько.

— Да ты спятил, дурак! — прикрикнул я.— Что за вздор! Где ты слышал, чтоб за такую чепуху вешали?

— А мой хозяин сказал, что меня посадят на десять лет.

— Ну, ну, не тужи,— говорю.— Бог милостив, как-нибудь обойдется. Спи теперь, а завтра поговорим.

Мы замолчали, и я вскоре захрапел. Чем хороша для меня тюрьма,— сплю, как заяц в капусте.

III

Только на другой день смогли мы хорошенько рассмотреть новичка. Мне даже смешно стало, что я вчера не сразу признал в нем еврея. Рыжий, с пейсами, нос крючком, как у старого ястреба, сутулится, хотя для своих лет совсем не тщедушный и хорошего роста. Пожалуй, уже за десять шагов в нем виден был еврей. А вчера, когда мы его растирали впотьмах и только голос его слышали, никак об этом не могли догадаться!

Он со страхом начал оглядывать камеру, точно вспугнутая белка. Вскочил на ноги, еще когда мы оба с Журковским лежали, умылся, прибрал свою постель, уселся на ней и не шелохнется, как заклятый.

— Ты небось голоден? — спрашиваю его.

Молчит, только как-то еще больше съежился.

— Ел что-нибудь вчера? — спрашивает Журковский.

— Да... вчера... когда стражник собрался меня вести, войтиха дала мне борща немножко и краюшку хлеба.

— Ага, ну, теперь все ясно! — усмехнулся Журковский.

Он дал ему позавтракать — добрый ломоть хлеба и вчерашнюю котлету. Даже затрясся бедняга. Хотел, видно, поблагодарить, да только слезы на глаза навернулись.

И вот еще одна неожиданность в этом парнишке! По виду сущий еврей, а в натуре не заметно ничего, ну, ни крошки еврейского. Тихий, послушный, без капли самохвальства, не болтун; но если ему что-нибудь приказывали,— взвивался, как искра. Было что-то простое, крестьянское во всем его поведении. Если не было работы,— а какая у нас в камере работа! — он любил сидеть в уголке молча, скорчившись, обхватив руками колени и уткнувшись в них подбородком,— только глаза блестят из темноты, как у любопытного мышонка.

— Ну, так расскажи нам, какой грабеж совершил, что стражник даже петлей грозил тебе? — спросил его однажды Журковский, когда уж видно стало, что парнишка немного отошел и освоился.

— Ой, пан! — сказал Йосько и затрясся всем телом.— Долго рассказывать, а слушать нечего. Это очень глупая история.

— Ну, ну, рассказывай, послушаем. Все равно тут никакого умного дела нет,— можно и глупую историю послушать.

— Рос я у Мошки, арендатора в Смерекове,— начал Йосько.— Сначала я играл вместе с его детьми и звал Мошку «татэ», а жену его «мамэ». Думал я, что они мои родители. Но вскоре начал я примечать, что Мошко своим детям шьет хорошие бекешки, а Мошчиха дает им каждую пятницу чистые сорочки, а я хожу грязный да оборванный. Когда мне исполнилось семь лет, мне приказали стеречь гусей, чтобы не было потравы. Мошчиха не смотрела, холодно или жарко, а гнала меня из дому на луг и при этом все меньше и меньше давала еды. Страдал я от голода, плакал не раз на лугу, но это не помогало. Крестьянские мальчики были ко мне добрее. Давали мне хлеба, творогу, позволяли играть с ними. Привык я к ним, а позже стал помогать им стеречь гусей. Был я для своих лет силен и ловок,

Каменщик

деревенские хозяйки сами начали доверять мне гусей, а потом и телят, когда их детям наступала пора ходить в школу. За это получал я у них хлеб, горячую пищу, а то — на праздник — и пару крейцеров. Мошчиха была очень скупа, вот и радовалась, что дома я не прошу есть. Но Мошкины дети, узнав, что я ем мужицкую пищу, прозвали меня «трефняком», начали дразнить, а потом и вовсе сторониться меня. Сперва это меня не задевало, но вскоре я почувствовал эту неприязнь, и очень ощутительно.

Мошко нанял для своих сынов бельфера, чтобы он учил их читать и писать. Было это зимой, и у меня был досуг. Но когда я подсел к ним, чтобы тоже учиться, мальчики подняли крик, начали толкать меня, щипать и, наконец, с плачем заявили матери, что вместе с трефняком учиться не будут. Как видно, Мошчиха сама подговорила их, очень уж меня эта ведьма ненавидела, неведомо за что. И сразу, как только дети подняли крик, она прибежала и вытолкала меня из комнаты, говоря, что ученье не для меня, что они бедны и не могут содержать бельфера еще и для нищего. Заплакал я, но что поделаешь? Пойду, бывало, в село, играю с крестьянскими детьми или присматриваюсь, как старшие ладят телеги, сани или другой какой инвентарь. Не раз всей гурьбой бегали мы к кузнецу, в кузницу на околице села, и там по целым часам следили за его работой. А так как я был сильнее всех ребят, кузнец порой позволял мне то мех раздуть, то молотом ударить, то вертеть точило. Как я тогда бывал счастлив! Как горячо хотелось мне, уж если ученье не для меня, хоть какое-нибудь ремесло получить в руки!

Весной я снова возвращался на луг, к гусям и телятам, которых Мошко скупал в окрестных селах и, подержав недолго у себя, возил во Львов на продажу. Луг в Смерекове был большой, кое-где поросший кустами, так что много бегать мне не приходилось. Сяду, бывало, где-нибудь на кочке, наточу ножик и начинаю стругать, долбить, вырезывать из дерева разные вещи — поначалу маленькие лестнички, плуги да бороны, потом клетки, ветряки да водяные мельнички. Через какой-нибудь год стал я уже таким мастером, что далеко до меня другим хлопцам! Начал фабриковать трещотки и скрипучие пугала — гонять воробьев из пшеницы, проса да конопли — и продавал пару таких пугал по десять крейцеров. Скоро я заработал столько, что смог завести кой-какой столярный инструмент: долота, сверлики и прочее. Я брался за все более трудные вещи, так как имел к этому охоту. Что только ни увижу, так и хочется самому сработать. Зимой я просиживал целые дни то у столяра, то у кузнеца,

помогая им и приучаясь к их делу. Мне уже шестнадцать лет стукнуло, а Мошко и не думает куда-нибудь меня пристроить,— сделал меня пастухом и успокоился. Не знал я даже, кто был мой отец и откуда я родом. В селе знали только, что Мошко привез меня откуда-то малышом; ходил даже слух, что я сын какого-то свояка Мошки, у которого не осталось никаких наследников, кроме меня, и что мне полагается порядочное имущество, но что будто бы Мошко все загреб и присвоил.

— Жалко тебя, Йоська,— говорили мне порой мужики,— такой ты проворный хлопец, и к ремеслу охоч, а что из тебя выйдет?

— Что выйдет,— отвечал я.— Выйдет общественный пастух.

— Ой, нет совести у Мошки, совсем о тебе не заботится!

— Говорит, что он бедный, что ему взять неоткуда,— возражал я.

— Не верь ты старому скупердяю! Есть у него деньги, и порядочные, да все для своих сынков прячет. А тебя не научил даже богу молиться.

Встревожили меня такие слова. Начал я раздумывать.

«В самом деле, думаю, до чего я тут досижусь? Работать на Мошку задаром всегда успею. Мне бы хоть какому ни на есть ремеслу научиться, чтобы иметь свой кусок хлеба. Но как добиться этого? Как освободиться от Мошки? Куда податься, да еще если не знаешь, откуда ты родом, кто был твой отец и есть ли у тебя родня?»

Наша корчма стояла у дороги. Часто сюда заходили стражники, отводя скованных арестантов во Львов или в Жовкву. Я всегда боялся этих здоровенных, грозных людей в черных мундирах, с карабином за плечом и в шапках с пучком ярких петушиных перьев. Дрожа от страха, съежившись у печи, слушал я порой, как они беседовали с Мошкой или с местными крестьянами. Говорили обычно о страшных для меня вещах — о пожарах, о ворах, бродягах, и в разговорах этих очень часто слышал я слово «бумаги». «Ежели нет бумаг, тут же его задержать». «Эге, смотрю, а у него бумаги не в порядке». «Будь у него хоть одна приличная бумага, я бы его отпустил». «Да что же это за бумаги,— думал я порой,— ежели в них такая сила, что одна бумага может прохожего человека защитить от стражника с карабином и петушьим пером? Но на этот вопрос я не мог найти ответа,— и тем сильнее пугала меня мысль об этих бумагах. Как же пускаться в свет, не имея бумаг? Ведь меня тут же, на первом шагу, стражник поймает и поведет бог знает на

какие муки! Я всем телом дрожал при этой мысли. Чем больше я думал, как освободиться от Мошки, тем чаще эти бумаги вставали у меня перед глазами. Даже снились мне бумаги, старые, пожелтелые, с огромными печатями, они поворачивали ко мне сердитые, морщинистые лица, скалили на меня мерзкие беззубые рты. Был я тогда очень несчастен. Все, кого я ни спрашивал, подтверждали, что без бумаг и в путь нельзя двинуться, и никто без них меня в ученье не примет. Но где же мне взять эти бумаги? Кузнец советовал мне спросить о них Мошку: он должен же был получить какие-нибудь бумаги после моего отца.

Да, спросить Мошку! Как будто мне так легко было к нему приступиться. Прежде, когда я был маленьким, он был со мною ласковее; когда же я стал подрастать, он отдал меня целиком в руки своей жены-ведьмы и почти никогда со мной не заговаривал. Казалось мне даже, что он как-то сторонился меня. С тех пор как люди сказали мне, что он наверняка захватил деньги после смерти моего отца, стал я присматриваться к нему внимательнее; я понял, что мое внимание его тревожит. Он беспокойно вертелся, когда нам случалось оставаться наедине, словно его что-то мучило. «А что, думаю, ежели так вот, когда жены не будет дома, насесть на него неожиданно,— может, и удастся от него хоть что-нибудь выведать?» Вот я и решил при случае так поступить.

Случай такой скоро представился. Мошчиха уехала в Жовкву, в корчме не было никого, кроме Мошки,— вот я подошел к нему, да и говорю:

— Реб Мойша, толкуют люди, что у тебя остались какие-то бумаги после моего отца.

Вскинулся Мошко, словно его оса ужалила.

— А ты это откуда знаешь?

— Да люди говорят.

— Что за люди?

— Да все, всё село.

— Ну, а тебе на что эти бумаги? Ведь ты даже читать не умеешь?

— Так. А все-таки я хотел бы знать. Значит, есть они у тебя?

— Есть, есть эти нищенские бумаги! — выкрикнул Мошко с раздражением, словно я ему невесть что неприятное сказал.— Нищий твой отец был, спустил состояние, а мне тебя на беду оставил. Какая мне от тебя выгода?

— Знаешь что, реб Мойша,— говорю я,— отдай мне эти бумаги. А я уйду, ежели я тебе не нужен.

— Что? — завизжал Мошко.— Ты хочешь уйти? А куда же ты, дурак, пойдешь?

— Я хотел бы поступить куда-нибудь в ученье, ремеслу научиться.

Мошко громко захохотал.

— Иди, иди, голова садовая, думаешь, тебя кто-нибудь примет? За ученье надо платить, а к тому же еще нужно уметь читать и писать, и не по-еврейски, а по-пански!

Я так и остолбенел. Наконец нашелся:

— Так хоть покажи мне эти бумаги, дай взглянуть на них!

— Тьфу! — крикнул Мошко.— Прицепился, как репей! Ну, идем, покажу тебе твои сокровища! Счастье твое, что я их еще не сжег!

Эти последние слова меня как ножом ударили. А что, если б Мошко на самом деле сжег мои бумаги? Ведь остался бы я одинодинешенек на свете, как листок, оторванный от дерева. И сам не знал бы, откуда родом, и меня никто не знал бы. Не мог бы тронуться с места, остался бы навеки прикован к Мошкиному порогу, до самой смерти остался бы невольником. Я прямо задрожал при этой мысли, в глазах потемнело. С трудом пересилил я себя и спокойно пошел за Мошкой в чулан.

Чулан был деревянный, пристроенный к задней стене корчмы, а входили в него через сени. В нем было только одно узкое оконце, забитое накрест железными прутьями. Там Мошко складывал всякие вещи, которые брал у мужиков в залог, и все более ценное, что у него было. Там было полно кожухов, бараньих шапок, сапог; в сундуке лежали мониста, говорили даже, что на самом дне были припрятаны старинные дукаты и талеры. Дважды подбирались к этому чулану воры, но не смогли вломиться в него, потому что он был крепко построен и собак Мошко держал чутких. Дверь чулана была низкая и узкая, Мошке пришлось нагнуться, чтобы войти внутрь. За ним влез и я.

— А ты сюда зачем? — огрызнулся он на меня.

— Как зачем, ты же велел мне идти!

— Да не сюда! Обожди в сенях!

— Все равно,— говорю,— обожду и здесь. Ведь ничего у тебя не съем.

Мошко вытаращил глаза и уставился на меня, словно впервые в жизни увидел. Не знаю, что ему во мне не понравилось, но он плюнул и отвернулся. Потом взобрался на сундук, потянулся к полке, прибитой под самым потолком, и достал оттуда сверток пожелтелых бумаг.

— Вот твои бумажонки! — буркнул он, показывая их мне издали.

— Дай хоть поглядеть на них,— говорю я и протягиваю руку.

— Ну, что ты, дурак, в них увидишь,— ответил Мошко,— и что тебе с того? Сиди у меня, коли тебе здесь хорошо, и не ищи себе беды!

И положил бумаги обратно на полку.

— Пойдем отсюда,— говорит,— теперь можешь быть спокоен. А тому, что тебе обо мне говорят,— я знаю, у людей языки длинные,— ты не верь. Это все брехня!

— Что брехня? — спрашиваю.

— Э, с тобой говорить — все равно что горохом об стенку,— проворчал Мошко и прямо вытолкнул меня из чулана, а потом, задвинув щеколду и заперев замок, пошел в корчму.

IV

Йосько замолчал на минуту. Журковский, внимательно слушавший его рассказ, улыбнулся и заметил:

— Ну, ты говорил, что глупая будет история, а рассказываешь так, будто по книжке читаешь.

— Э, пан,— ответил Йосько,— пока что история была не глупая. А вот теперь начнутся глупости. А что так гладко рассказываю,— не удивляйтесь. В селе научился сказки сказывать. Память у меня хорошая,— стоит мне один раз какую-нибудь сказку услышать, так после я передам ее еще лучше и занимательнее, чем тот, кто мне ее рассказал. Той зимой меня в селе все так за эти сказки полюбили, что ни одна вечорка без меня не обходилась.

— Эге, я вижу, ты мастер на все руки,— сказал Журковский.

— Ой, пан,— ответил Йосько, вздыхая,— не знаю почему, но мне сдается, что тут-то и все мое несчастье. Когда чувствую, что могу что-то сделать, чему-нибудь научиться, то у меня внутри что-то так жжет, так давит и мучит, что не успокоюсь, покуда этого не сделаю, не узнаю, не научусь. Вот это-то и довело меня до тюрьмы.

— Ну, ну, рассказывай!

Но на этот раз Йосько не смог закончить свой рассказ, потому что в эту самую минуту отворилась дверь нашей камеры. Йоську вызвали на допрос.

— Вот необыкновенный парень,— пробормотал Журковский и в раздумье зашагал по камере.

— А по-моему, он много врет,— говорю я.— Научился мужикам сказки рассказывать, вот и нам сказку придумал.

— По-твоему, так?

— А как же еще?

— Пожалуй, и так, но выражение лица говорит в его пользу. Впрочем, у нас еще будет время проверить.

Йосько недолго был на допросе, не больше получаса. Возвратился гораздо веселее и спокойнее, чем ушел.

— Ну, что,— спрашиваю я его,— не съел тебя судья?

— Э, что там, судья добрый человек,— сказал Йосько.— Признаться, сперва я его очень боялся. В селе мне говорили, что здесь бьют, пока не признаешься, раскаленным железом пятки припекают.

— Ха-ха-ха! — засмеялся я.— Теперь я понял, отчего ты по ночам так вертелся, кричал да охал! Видно, снилось, что тебе пятки припекают.

— Ой, не смейтесь, прошу вас. Даже вспомнить страшно эти сны — такого я в них натерпелся. А все зря. Судья такой добродушный, говорил со мною по-хорошему, не кричал, не ругался, не бил меня, как тот стражник.

— А разве тебя стражник бил? — спросил Журковский.

— Ой, пан, я думал, он дух из меня вышибет. Поглядите только на мои плечи!

И Йосько снял рубашку. Мы так и ахнули! Вся спина мальчика была сплошь в синяках и кровоподтеках.

— Ну, а о чем же тебя судья спрашивал? — спросил Журковский.

— Да все об этом злосчастном грабеже, как все было.

— Ну, и что же?

— Да что же? Рассказал ему все, как было, и конец. Он составил протокол и приказал меня отвести.

— Ну, так теперь расскажи и нам все, как есть.

— Да, все, как есть! Вы уже знаете, какое мне житье было у Мошки. Не хотел я дольше у него оставаться, а к тому же боялся, что, если еще раз напомню ему о бумагах, он возьмет и сожжет их. Вот я и задумал их выкрасть. Мне легче было пробраться в чулан, чем захожему вору, ведь и собаки меня знают, и сам я знаю все ходы и выходы и весь порядок в доме. Поначалу я хотел выкрасть у Мошки ключи, но он, как видно, что-то пронюхал и всегда держал их при себе или прятал так, что я не мог найти. А меня прямо лихорадка взяла, раз уж я надумал

забрать свои бумаги. Ни о чем больше мысли не было, только об этом. Да и что мне было раздумывать? И вот как-то ночью, когда все спали, скорехонько подпилил я одно бревно в чулане,— он был сложен в сруб,— вывернул долотом брусок, влез в чулан, взял свои бумаги, а потом вставил брусок на место. И все.

— Пустое! — буркнул Журковский.

— А как только бумаги оказались у меня в руках, то я, даже не посмотрев на них, не развязав веревки, которой они были обвязаны, замотал их в тряпку, сунул за пазуху и покинул корчму Мошки. «Куда теперь пойти?» — думаю. Еще у меня страх не совсем прошел. А вдруг Мошко меня надул, показал какие-нибудь дурацкие бумаги вместо моих! А вдруг впотьмах я взял какой-нибудь другой сверток? Непременно нужно было с кем-нибудь посоветоваться, как в таком случае поступить. И вот, переночевав в первом попавшемся стоге сена, пошел я на другой день к знакомому кузнецу и рассказал ему все. Он первый как холодной водой меня окатил.

— Худо, хлопец, ты поступил,— говорит.— Ступай сейчас же к войту, расскажи ему все и сдай ему бумаги!

Сердце у меня так и заныло от этих слов. Но что было делать? Вижу, совет разумный, и пошел. Прихожу к войту и еще со двора вижу сквозь окно, что за столом, на скамье, сидит стражник. Сразу точно шепнуло мне что-то, что это смерть моя. Оцепенел я и не могу шагу ступить дальше. Блеснула в голове мысль: бежать! Но уже было поздно. Войт меня увидел и радостно закричал:

— Вот и он сам! Про волка помолвка, а он тут! Ну-ка, иди, иди сюда!

Вижу, что все уже открылось, что меня ищут,— и вот, собравшись с силами, вошел в дом.

— Как тебя зовут? — спрашивает меня стражник.

— Йоська Штерн.

— Откуда родом?

— Не знаю.

— Ага, значит, бродяга.

Окаменел я на месте. Не один раз слышал я это страшное слово, слышал много страшных историй о том, как обходятся стражники с бродягами, и всегда больше всего этого боялся. А тут на́ тебе, с первой же минуты и сам попался!

— Но ведь я здешний,— простонал я.— Пан войт меня знают.

— Я? Тебя? — говорит мне войт.— Врешь, любезный! Знаю тебя в лицо, знаю, что зовут тебя Йоськой, что служишь у

Мошки-арендатора, но кто ты таков и откуда взялся, этого я не знаю.

— Ага, значит, еще и врет не моргнув глазом! — крикнул стражник и что-то записал в книжечке.— Иди сюда,— снова обратился он ко мне.— Ближе! Смотри мне в глаза!

И только я поднял на него глаза, он своим кулачищем так ударил меня по лицу, что я сразу повалился и облился кровью.

— А ну, вставай! — крикнул мне стражник.— И не сметь кричать, а то еще получишь! А теперь отвечай правду на мои вопросы. Ты служишь у Мошки?

— Да.

— Ты обокрал его?

— Нет.

— Как так — нет?

Снова я взглянул на стражника, утирая рукавом кровь с лица, и снова здоровенный его удар повалил меня на землю.

— Пан стражник,— сказал тут войт, пока я корчился, пытаясь встать,— я, как сельский староста, не могу смотреть на такое обхождение с арестантом. Я обязан быть только при составлении протокола, а то, что до этого делается, меня не касается. Если хотите научить его, что он должен говорить,— выберите себе другое место. У меня это не положено.

Стражник прикусил губы, а затем, не сказав ни слова, встал со скамьи, достал из своей сумки наручники, надел на меня и повел в корчму к Мошке. Что там со мной делали, как меня учили говорить, рассказывать не стану. Раза два я терял сознание от такой науки. И они недаром мордовали меня. Задал я им хлопот! Мошко с первых слов объявил стражнику, будто бы я украл у него много денег, завернутых в бумагу. Думал, что, как только стражник поймает меня и приведет в корчму, он тут же бумаги у меня отнимет и сожжет, и я навеки останусь его рабом. Едва я вошел в корчму, первый вопрос был:

— Где деньги?

— Не знаю. Никаких денег я не брал.

— А где бумаги?

— Спрятал.

— Где спрятал?

— Не скажу.

Начали они меня уговаривать, сначала битьем, потом добром, а я одно повторяю: «Бумаги я взял, потому что они мои. Не посмотрел даже, что в них есть. Спрятал и не покажу никому, кроме войта».

Мошко чуть с ума не сошел. Со злости велел стащить с меня сапоги и одежу, что была на мне, и обрядил меня вот в эти лохмотья. Наконец, избитого и полуголого, повели меня к войту. Опять стали меня там допрашивать о бумагах. Но я не дурак. Как только я увидел, что собралось много свидетелей, я пошел в сени и вытащил бумаги из щели. Сени у войта темные, большие. Подойдя к дому и увидев стражника, я ткнул свой сверток в щель, чтобы его у меня не отобрали. Когда Мошко увидал сверток в руках у стражника, он кинулся к нему, как ворон, и закричал, что это его деньги и пусть их отдадут ему.

— Э, э, Мошко,— ответил войт,— так не годится. Мы все это обязаны представить в суд. Составим протокол, а коли хлопец сознается, что у вас этот сверток украл, то уже дело суда — как дальше поступить. Запечатаем все, как есть, общественной печатью, и пан стражник доставит это вместе с арестантом во Львов. А уж вы в суде будете свои права доказывать.

Мой Мошко так скривился, словно кварту своей собственной водки выпил. Но никто на это не посмотрел. Стражник принялся писать протокол. А когда все было написано, войтиха дала мне немного поесть, стражник опять надел на меня наручники, и мы направились во Львов. Я думал, что околею по дороге от боли и от холода, и до сих пор не пойму, как это я выдержал. Ой, пан, как вы думаете, что со мною будет?

— Ничего не будет! — ответил Журковский.— Посидишь немножко и выйдешь на волю. И даже, может быть, вся эта история еще тебе на пользу пойдет.

— Как это?

— Посмотрим. Никто не знает заранее, что его ждет.

V

Примерно дня через два-три вызывают Йоську, но не в суд, а к врачу. «Что бы это значило? — думаю я.— Ведь он не заявлял, что болен?»

— Сам не заявлял,— отвечает Журковский,— да если бы и заявил, это ему не помогло бы. Но я заявил о нем. Пошел я в воскресенье к начальнику и просил, чтоб он приказал осмотреть его. Страшное дело, что тут творится! Дальше так продолжаться не может.

И в самом деле врач велел Йоське раздеться и составил протокол. Вышло ли что-нибудь из этого — не знаю. В наших

судах с такими делами не торопятся, и не всякому выпадает счастье дождаться результатов.

Между тем Журковский как-то говорит Йоське:

— Слушай, парень, хочешь, я научу тебя читать?

Йоська вытаращил глаза.

— Ну, чего уставился? Коли есть у тебя охота, так в два дня научишься читать. А как увижу, что ты в самом деле не врешь и память у тебя хорошая, устрою так, что тебя примут в ремесленное училище, и обучишься, какому захочешь, ремеслу.

— Ой, пан! — воскликнул Йоська и, заливаясь слезами, кинулся ему в ноги. Больше ни слова не мог выговорить, только целовал ему руки.

Назавтра принесли Журковскому букварь, и он принялся учить Йоську читать. Через два дня тот научился распознавать и складывать буквы, а через неделю почти бегло читал небольшие отрывки. Что называется — дорвался! Читал бы, наверно, и днем и ночью, да по ночам нам огня не давали. Только на минутку оторвется от книжки, чтобы поесть.

А когда смеркалось и читать уж нельзя было, Йоська садился в углу на своем сеннике, подбирал под себя ноги, обхватывал их руками и так, скорчившись, начинал рассказывать сказки. Сочинял их без конца, хоть видно было, что он повторяет одни и те же знакомые истории, ему каждый раз удавалось по-иному расположить их и рассказать на другой лад. А по временам перед нами наглядно представали в сказке его собственные мечты. Он рассказывал о бедном мальчике, который, тяжко нуждаясь, встречает доброго волшебника, узнает от него чудесные слова и заклинания и уходит в широкий свет — добывать себе счастье и помогать другим. Трогательными и вместе с тем простыми словами рисовал он его горести и похождения, встречи со стражниками, рабство у арендаторов, порою забавно переплетая вымысел с пережитым на деле.

Никогда еще не видал я мальчика, который так горячо ухватился бы за книжку, как Йоська. Казалось, за эти две недели хотел он наверстать все, что упустил за десяток лет. Больше всего огорчало его, что осенние дни так коротки и в камере так рано темнеет. Единственное наше оконце, выходившее на запад и расположенное почти под самым потолком, скупо пропускало свет даже в полдень; в четвертом часу читать уже нельзя было. А Йоська готов был удлинить день вдвое. Наконец он радостно закричал:

— Придумал! Буду читать у окна. Там светает скорее и видно дольше, чем в камере.

— Неудобно тебе будет читать, стоя на нарах,— говорю я ему.— Да и высоко для тебя.

— Как захочу, так и сяду! — говорит он.

— Как же ты это сделаешь?

— Привяжу простыню обоими концами к решетке, в середину положу свернутое в трубку одеяло и буду сидеть, как в седле.

Действительно, изобретение было практичное, и с тех пор все в тюрьме так поступают. Несколько дней Йоська просто наслаждался окном. Вставал в шестом часу, чуть только станет светлее, прилаживал свою люльку и, вскарабкавшись на нее, слепил глаза над книжкой, прижавшись лбом к самой решетке, лишь бы побольше божьего света захватить. Мы с Журковским оба по очереди сторожили у двери, не идет ли сторож, и вовремя предупреждали Йоську, чтоб слезал и снимал свое сооружение, потому что сидеть у окна арестантам строго запрещалось. И нам всегда удавалось счастливо избегнуть беды, а может быть, и сторож, питая известное уважение к Журковскому, не так строго присматривал за нашей камерой.

Но беда пришла с другой стороны.

Кроме надзирателей в коридоре, есть еще стража: под окнами тюрьмы ходит часовой — солдат с ружьем. Ему строго приказано следить, чтобы заключенные не выглядывали в окна, и особенно чтобы между собой не переговаривались. По уставу ему положено в случае сопротивления даже применять оружие. Правда, до сих пор такого случая не было. Нужно было что-нибудь уж очень значительное, чтобы часовой, сойдя со своего поста, доложил дежурному коменданту о том, что из этого или другого окна переговаривались или смотрели. Старые солдаты, те давно поняли, что правило — это одно дело, а выполнение — другое, и обычно не слишком строго придерживались правила. Большинство спокойно смотрело на разговоры, оказывало нам, так сказать, протекцию; иной мягко напоминал или просил арестантов вести себя потише. Но хуже было, когда в караульные попадал рекрут, который боится капрала пуще огня. Такой всякое распоряжение понимал буквально. Приказали ему: «строго следить», он и воспринимал это так, что любого арестанта, который покажет голову в окне, надо изругать последними словами, доложить капралу или даже взяться за ружье. Такому «клапачу» заключенные мстили тем, что в его смену, особенно вечером, поднимали неистовый крик у окон, так что бедный рекрут чуть с ума не сходил и на каждый выкрик из окна почитал своим священным долгом ответить по меньшей

мере таким же громким и обидным окриком. Но так как заключенных бывают десятки, а он один, то после нескольких минут адского крика он обычно бывал вынужден замолчать и не зная, как быть, хватался за карабин. Разумеется, в ту же минуту окна напротив него пустели, зато галдеж поднимался в другом конце длинного тюремного здания, и часовой, как загнанный зверь, бежал туда и опять грозил ружьем — ясное дело, с теми же результатами.

Такой шум поднимался обыкновенно по вечерам, но иногда и днем. И вот случилось, на беду, что однажды с трех до пяти дня стоял на часах именно такой злосчастный рекрут. С самого начала он обругал какого-то арестанта, смотревшего в окно. Подали знак: устроить «клапачу» «кошачий концерт». В разных концах тюремного здания, с разных этажей, из доброго десятка окон сразу посыпались выкрики, вой, свист и пронзительное мяуканье. Рекрут тоже кричал, кидался ко всем окнам, но нигде никого не мог захватить. Доведенный до бешенства, он наконец замолчал и остановился передохнуть. Минуты через две замолк и «кошачий концерт». Казалось, наступило полное спокойствие. В камере уже темнело, и вот Йосько пристроил свою люльку и с книжкой в руках так и припал к окну. Но едва он прочитал себе под нос несколько слов, как часовой, заметив его, подскочил и стал перед окном.

— Марш, воришка, от окна! — визгнул он Йоське.

Йосько поначалу даже не расслышал окрика — так сильно его увлекла история о цапле и рыбе, которую он как раз читал.

— Марш от окна! — еще громче закричал часовой.

— Чего тебе от меня надо? — ответил Йосько.— Ведь я тебе не мешаю. Видишь ведь, читаю. В камере уж темно, так я выбрался поближе к свету.

— Пошел вон, не то выстрелю,— взревел часовой, и, прежде чем Йосько успел слезть со своего седалища, раздался выстрел.

— Ой!—вскрикнул Йосько и как сноп рухнул на койку, стоявшую под окном. Ноги его судорожно задергались, а руки, в которых он держал книжку, прижались к груди. Из-под раскрытой книжки ручьем бежала кровь. Пуля попала прямо в грудь.

— Что с тобой? Куда тебя ранило? — закричали мы оба, бросаясь к Йоське. Но он ничего не отвечал, только черные глаза его сверкали, как два раскаленных угля, страшно выделяясь на мертвенно-бледном лице.

Во дворе, под нашим окном, и в коридоре, у наших дверей, одновременно поднялся шум. Там караульный наряд выбежал

на выстрел, здесь надзиратель со сторожами искал камеру, в которую стреляли. Ворвались к нам.

— Ага, это здесь! — закричали они, увидев лежащего Йоську.— А что, ворище, жидюга, досталось тебе на орехи?

Йоська еще бился и тихо стонал, все прижимая книжку обеими руками к груди, точно хотел зажать ею смертельную рану.

— Что он делал? — спросил меня надзиратель.

— Да... я... только... к свету...

Йоська хотел еще что-то сказать, но дыхание у него прервалось. Последним движением он оторвал руки от груди и показал надзирателю окровавленный букварь.

— Он читал у окна,— объяснил я.

В эту минуту появился посыльный из суда с бумагой, он искал сторожа.

— Господин надзиратель,— позвал он из коридора,— где тут сидит Йоська Штерн? Вот бумага из суда — его освободили.

Но Йоська уже минуту назад получил свободу.

Львов, сентябрь 1889

СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

(Рассказ)

I

Что вы разглядываете мои руки? Ну полно вам, бросьте! Некрасивы они, да еще и в мозолях. Господа не любят таких рук у девушек. Вы не думайте, что я на легких хлебах выросла и так себе, с легким сердцем, на легкий хлеб пошла! Какое там сердце! Не хочется об этом и говорить — и не спрашивайте! И вспоминать не хочу!

А что рассказывать вам о прежней жизни? Это такая неинтересная и обычная история, каких тысячи можете услышать.

Отец мой был управляющим у одного помещика на Подолье. Хорошо ему жилось. Мать свою плохо помню. Помню только, как она меня ласкала и целовала, называла яблочком румяным. Верно, и не думала и во сне ей не снилось, куда ее яблочко покатится.

Отдали меня в школу в Тернополе. Недолго я там училась. Я была очень красива, и мама очень меня любила, вот и уговорила отца взять меня из школы после трех лет ученья.

— На что нашей Ромочке школа,— говорила она,— на что ей голову себе забивать? С ее красотой недолго она дома заси-

дится. Скоро ее возьмут от меня, так хоть нагляжусь, как она, мой цветочек, растет да красой наливается.

Вернулась я домой и тоже рада была. В селе так хорошо. У помещика тоже были девочки, мы вместе резвились, на фортепиано играли, гуляли по огромному саду, мой отец катал нас по пруду на лодке.

Недолго продолжалась эта радость. Мама умерла от воспаления легких, отец очень затосковал, начал пить и плакать по ночам, и однажды утром я нашла его в постели мертвым, с перерезанным горлом, в луже крови. Я обомлела, увидев его, плакала и убивалась, не в состоянии понять, что с ним случилось. Говорили тогда, что он убил себя с тоски по маме, но я этому не верила. Мне было уже двенадцать лет, и я знала, что он маму не любил, часто у себя в спальне они ссорились, и мама втихомолку плакала и все твердила:

— Ну, что этот негодяй делает! Что он делает! Он меня в гроб вгонит! Собственного ребенка зарежет!

Я тогда не понимала этого и потом не могла понять, что все это значило. Я только смутно догадывалась, что и мама, наверно, из-за этого умерла. Я мучительно раздумывала над всем этим, но так ни до чего и не додумалась. Отец был так добр ко мне, так меня любил, одевал меня хорошо, покупал все, чего я ни захочу, и страшные мамины слова «собственного ребенка зарежет» не укладывались в моей голове, казались какою-то дикою выдумкой.

Но после смерти отца мне сразу все открылось.

Еще не успели обмыть и обрядить покойного, как в доме появился помещик, управляющий и еще несколько служащих вместе с комиссаром из уезда и полицейскими стражниками. Начали отпирать ящики, перетряхивать всё, заглядывать во все углы. Что там нашли — не знаю, я все время стояла возле тела покойного, жалась к нему, словно у него искала защиты,— не плакала, а только дрожала и всхлипывала, как ребенок. Лишь потом я слышала, как вокруг шептались: «Вор, вор, обкрадывал хозяйскую кассу, держал любовницу в селе!»

Я и не прислушивалась ко всему. Я так любила отца!..

Помещик приходил еще раз, когда покойный уже был обряжен, но и не взглянул на него, только подозвал меня, взял за подбородок, посмотрел на мое заплаканное лицо, погладил по голове, дал дукат, а после похорон велел уложить мои нехитрые пожитки, посадить меня на подводу и отвезти в Тернополь, к дяде, брату покойницы мамы. Все остальное, что было в доме, помещик удержал как возмещение за то, что украл отец.

II

У дяди, бедного магистратского чиновника, было пять дочерей — старшей перевалило за двадцать восемь лет, а младшей было пятнадцать. Все на возрасте, все замуж хотят, а тут решительно никто не навертывался. Бедные были девушки. Неученые, необразованные, без состояния, не знали никакого рукоделия, кроме все того же жалкого шитья, да еще и некрасивые, косоглазые какие-то, с толстыми губами, низенькие, как бочоночки. А с претензиями: всё же они дети чиновника, а их мать была дворянка, из зажиточных. Подружиться с простой работницей они сочли бы страшным позором. Принести из колодца воды или из ближней лавки хлеба — куда там, боже сохрани! Пять таких девиц, а прислугу держали! А в доме бедность — жалованье отца невелико. Ну, да что вам рассказывать, какая жизнь была в этом доме. Целых четыре года я терпела, и знаете... Может быть, то, что я делаю теперь, и большой грех, но я думаю, что за тот ад, какой я перенесла там, у дяди, в эти годы, все мои грехи простятся. Я свою кару еще до греха искупила.

Едва я вошла в дом, как тут же почувствовала, что начинается для меня новая жизнь. Мои кузины обступили меня, обнимают, целуют, гладят по щекам... «Ромочка, Ромочка! Ай-ай, как она выросла, какая хорошенькая!» Оглядывают меня со всех сторон, точно какого-нибудь зверька. И, нечего бога гневить, приняли меня, несколько дней гуляли со мной, водили к знакомым и так, по городу. Всё так деликатно, ласково. «Ромочка, подай то! Ромочка, принеси это!»

Через несколько дней, увидев страшную пустоту их жизни, вечные разговоры о молодых людях, которые не желали ходить к ним, о платьях, о том, как одета та, как эта, я почувствовала какое-то отвращение. Людей, о которых они говорили, я не знала, а дома, еще при маме, да и потом, после ее смерти, я привыкла к труду,— я вела все отцовское хозяйство. Вот и здесь я рвалась к работе. А им только этого и нужно было. Сразу после первого числа прислугу уволили, а я, отчасти добровольно, отчасти по их просьбам, как-то незаметно заняла ее место.

— На что нам прислуга? Правда, Ромочка? Мы и одни управимся! Колодец близко, лавка тоже, ну, а кухня да стирка нам тоже не в диковину!

Я соглашалась, потому что эта была правда, и только удивлялась немного, почему они за каждым словом так целуют и обнимают меня, точно я каждой из них по дукату подарила.

— Правда, Ромочка, мы всё будем вместе делать, будем

помогать друг другу, как сестры! Ты ведь наша сестричка, правда?..

И вышло так, что я стала у них прислугой. Я была еще слабенькая, подросток, но, не считаясь со своими силами, таскала воду, еженедельно стирала их белье, чистила обувь дяде и паннам, стряпала. Считалось, будто и они мне помогают, но что это была за помощь! Когда белье выстирано и высушено, они возьмут и выгладят его. Если нужно утром идти за покупками в город, одна из них идет со мной: я несу корзинку с покупками (порою приходилось тащить на плечах), а она платит и улыбается. «Ромочка, сделай то!», «Ромочка, сделай это!», «Ромочка, сбегай туда!» «Отнеси письмо на почту!», «Купи табаку пане!» И так с утра до поздней ночи. И всё нежно, ласково. Правда, когда мы ходили по рынку, я должна была держаться позади, как служанка. А дальше понемногу появился и другой тон.

— Ромка, что ты медленно ходишь!

— Ромка, как ты долго сидишь у колодца! А тут посуда не мыта!

— Ромка, ты очень долго волосы расчесываешь! Что ты так долго копаешься, а наши платья не чищены!

А у меня волосы были густые, пышные, и над ними в самом деле приходилось потрудиться, чтобы привести в порядок. Вижу, что некогда мне возиться с моими пышными косами, взяла да и обрезала их. Как обрадовались этому мои деликатные кузины, я и сказать не могу!

— Ах, Ромочка! Какая же она хорошенькая! Что за милый мальчик! Ей-богу, мальчик!

И снова поцелуи, поглаживание по щекам, объятия... Я знаю, что это от доброго сердца, но для меня уже было, пожалуй, слишком. Да что поделаешь — никуда не денешься, чувствую себя здоровой, вижу, и они мною довольны и ежедневно подсчитывают, сколько теперь экономят на расходах: и на жалованье прислуге (ведь мне-то они ничего не платили), и на припасах, и на дровах. Видите ли, служанка за покупками всегда ходила одна, и только теперь, когда она ушла от нас и панна стала ходить со мною, оказалось, что прислуга каждый день обсчитывала их на двадцать, а то и на тридцать крейцеров, да еще и припасы покупала похуже. Ну, и когда панны не заглядывали в кухню, она жгла дров больше, масла расходовала больше, чем я. Справлять на меня ничего не требовалось, у меня было достаточно своих платьев, и от мамы осталось. Были и кой-какие деньги за проданную одежду отца, которую я, уезжая из имения, упаковала вместе со своей. Эти деньги я берегла про

черный день, не показывала их дома и не говорила о них паннам, считая, что незачем вводить их в искушение, а себе причинять неприятность.

Особенно полюбила я дядю. Очень добрый был человек, седой уже, сгорбленный и тихий такой, что дома его никогда не слышно. Вернется из канцелярии,— лишь бы ему обед подали, никогда не скажет: это плохо сварено, этого не люблю, как бы мне того или этого!.. Нет, даже не поморщится! Ест, еще и дочек унимает, чтобы не морщились, а благодарили бога за то, что есть. А потом — и зимой и летом — усядется в кресло, закурит трубку и читает газету, пока не задремлет. Дочери в соседней комнате скачут, шумят, хи-хи да ха-ха, а потом соберутся и всей гурьбой идут гулять,— а ему все равно. Привык, как мельник к грохоту мельницы.

Не раз, бывало, когда дочки разойдутся и я одна останусь, верчусь по кухне или убираю комнаты, он встанет, долго смотрит на мою работу и пожалеет меня:

— Бедная Ромочка, деточка моя золотая! Чем только я отплачу тебе за твое старание, за твой неустанный труд?

Я молчу, только глаза на него вытаращу,— глупенькой представляюсь. Да и что мне ему сказать?

А он подойдет, поцелует меня в лоб, а у самого даже слезы на глазах.

— Ожил я при тебе, дитя мое! — говорит.— И телом и душой ожил. Прежняя служанка обкрадывала нас, кормила всякой дрянью. Дочери ссорились с нею каждый день, но ни одна пальцем, бывало, не пошевельнет, чтобы исправить плохое. А при тебе и на них стыд нашел, хоть что-нибудь порой сделают Господи боже, и что с ними будет, на что они надеются?

Видно было, что он очень озабочен судьбой своих дочерей, но не решается сказать им в глаза ни слова, боится их стрекотанья. Только со мною он душу отводил, знал, что я все пойму и паннам ничего не скажу.

— Бог тебя вознаградит, дитя мое,— повторял он после каждого такого разговора.— Бог тебя вознаградит за твое доброе сердце, а я, бедный, больной человек, никогда не смогу этого сделать!

III

Проходил год за годом. Я подрастала, и мое положение среди незамужних кузин становилось все хуже. Несмотря на непрестанный труд, я была здорова, крепка и весела. Не нра-

вилось им то, что я была красивее всех их. Когда, бывало, идем на рынок за покупками, то хоть я и одета в грязное, поношенное платье, хоть панны нарочно не давали мне перед тем умыться и причесаться, все же встречные молодые люди не на панну смотрят, а провожают глазами меня.

— Ромка, куда ты смотришь! — шипит на меня панна, когда я встречусь глазами с взглядом какого-нибудь молодого человека. А сама небось прямо умоляет этого же молодого человека: «На меня, на меня взгляни!» Куда там, если у нее в глазах, как говорится, зависть тлеет, что искра в пепле, а в моих глазах веселость живым огнем горит. Это мне их собственный отец говорил.

Никогда меня не только с собой гулять не брали, но и одну не пускали.

— Нельзя! — говорили между собой.— Она наша родственница, сирота, мы за нее отвечаем. А у нее уже по глазам видать, какая дорога ее ждет, если ей дать волю!

И при этом поглядывали друг на друга и усмехались так противно, что я вся до глубины души сгорала со стыда, хотя и не знала, куда они клонят и что именно ожидает меня.

Таким образом, из прислуги я превратилась в рабыню. Со мною уже вовсе не церемонились. «Ромка, как ты смеешь говорить с нами, как с равными?», «Ромка, марш на кухню!», «Раздобрела на наших хлебах, да еще хочет из себя панну строить!» — только я от них и слышала. Начали попрекать меня и отцом-вором, да что там — стали и поколачивать в уголку. Разглядели, что ем много, хотя я ела только то, что от их обеда оставалось. Решили не давать мне этого, а покупать для меня особо картошку и крупу ячменную или гречневую, и велели варить это в отдельном горшке.

С некоторого времени они завели обыкновение по четвергам собирать гостей на чашку чая. Приглашали обычно молодых людей, гимназистов старших классов, чиновников, военных. Я в таких случаях не смела показываться на людях, панны сами прислуживали, чтобы показать, какие они хозяйки. Я не раз, бывало, забьюсь в темный угол кухни, поплачу немного, а потом плюну и слушаю до полуночи, что они там в гостиной болтают. Панны мои щебечут, смеются громко; отца их никогда не слышно,— хотя он для вида также сидел с гостями, но я знала, что старик, забившись в угол, дремлет в кресле с трубкой в зубах.

Тяжело мне, бывало, станет, когда наслушаюсь этого веселого говора там, в освещенной гостиной, когда представлю себе веселые лица и сверкающие глаза молодых людей и подумаю,

что ведь я не хуже их, а должна торчать здесь, в темной, грязной кухне. А после подумаю: что же делать им, бедным девушкам, моим кузинам! Они боятся, как бы я у них какого-нибудь жениха не отбила. Бедность наша, а не злое сердце делает нас злыми и завистливыми.

IV

Как-то в один из четвергов, когда гости уже собрались и панны были с ними, я возилась на кухне. Обычно, когда гости приходили, панны встречали их в кухне и старались так заслонить меня, чтобы никто не мог меня разглядеть. Еще и толкнет меня та или другая, обернет лицом в угол. Вот гости и думали, что у них какая-нибудь старуха служанка. А теперь случилось так, что, когда они сидели там и пили чай, вошел еще один гость, молодой офицер, красивый такой, приветливый. Первый раз увидел меня — и удивился.

— А, кухарочка! — сказал весело.— Новая кухарочка!

И хотел ущипнуть меня за подбородок.

— Простите,— сказала я, почувствовав вдруг, что во мне все возмутилось,— не кухарочка, и не новая. Я здесь уже три года.

— О, а я ни разу не видал! — сказал он, снимая шинель.

— Что ж, мне для вас напоказ стоять? — ответила я и принялась за работу.

— Ну-ну,— сказал он шепотом и хотел обнять меня,— только не брыкайся! Так ты говоришь, что уже три года здесь служишь?

— Не служу! — ответила я резко.— Я здесь у своего дяди.

Словно холодной водой облили его эти слова. Он остановился, широко раскрыв глаза, и ничего больше не сказал, только по лицу его какая-то тень пробежала: видимо, он размышлял о моем положении. В эту минуту отворилась дверь, из гостиной вбежала старшая панна с подносом и тоже остолбенела, увидав офицера.

— А, пан лейтенант! — воскликнула она, не зная, радоваться его приходу или сердиться на меня.— Так-то пан держит свое слово? Это у вас семь часов?

— Простите,— сказал офицер, кланяясь,— пришлось караулы разводить, вот и запоздал.

И они пошли в гостиную.

Не знаю, почему я была так зла на него, даже слезы навернулись на глаза, хотя в то же время в душе я должна была бы

признаться, что он мне понравился. В его лице видна была доброта и мягкость, а его удивление, когда он услышал, что я кузина этих девушек, также говорило в его пользу.

Прибравшись, я опять села в своем уголку и прислушивалась к голосам гостей. Сердце мое билось как-то необычно, и я напрягала слух, стараясь узнать его голос. Говорил он просто, без обычного для многих офицеров нарочито резкого тона. Говорил коротко и мало. И это мне также понравилось.

На другой день впервые панны набросились на меня с бранью. «Ты чучело, ты негодница, как ты смела ему показываться на глаза!» Я заплакала и сказала, что я не виновата, что он пришел неожиданно и первый заговорил со мною. О том, что он заигрывал со мною, как обычно молодые паничи заигрывают со служанками, я постыдилась и побоялась сказать им. Смягчились панны, стали меня целовать, купили мне платок за пять гульденов и просили, чтобы я всегда, как только сойдутся гости, гасила свет в кухне и сидела в потемках. Из этого я поняла, что офицер им тоже очень нравился. Но каково же было их огорчение, когда в следующий четверг он, несмотря на приглашение, не явился. Тысячи догадок, кислые мины и гримасы, даже на меня снова принялись покрикивать, когда вдруг пришло от него письмо. Он оправдывался тем, что был назначен в караул.

Спустя несколько дней, когда я ранним утром шла за водой, кто-то сзади положил мне руку на плечо. Оглянулась — он.

— Добрый день, панна Ромуальда! (Откуда-то и имя мое узнал!)

— Добрый день, — ответила я и почему-то задрожала.

Он пошел рядом со мной, хотя я несла ведра в обеих руках. На улице еще было пустынно. Он молчал добрую минуту и приглядывался ко мне в рассветных сумерках.

— Бедное дитя,— сказал он наконец.— Значит, дядя не стал для вас отцом.

— Мой дядя добрый человек,— возразила я, не поднимая на него глаз.

— Знаю, знаю,— сказал он с легкой усмешкой в голосе.

Опять помолчал. Мы уже подходили к колодцу, возле которого стояли две-три служанки.

— Вы ходите иногда на почту? — спросил он вдруг, словно очнувшись от какой-то задумчивости.

— Дядя посылает за газетой.

— Там на ваше имя есть письмо до востребования. Вы умеете читать?

— Ну, как же не уметь!

— И не забудете? До востребования, одно имя без фамилии. Прочтите его! Подумайте над тем, что я вам пишу. У меня нет случая поговорить с вами, вот я и надумал написать. Прощайте!

И, не дожидаясь моего ответа, он быстро ушел.

У меня словно камень в груди залег вместо сердца. Письмо мне! От него! Что ему от меня нужно? Надеюсь, ничего плохого? Выглядит он человеком солидным, знающим, что делает. Я ему никакого зла не сделала, так за что же ему платить мне злом?

Трудно мне было скрыть свое волнение от кузин. Все утро я была сама не своя, все дожидалась десяти часов, когда обычно меня посылали на почту за газетой для дяди. Закутав голову платком, я поспешила на почту и протиснулась к деревянной решетке, из-за которой экспедиторша выдавала письма до востребования.

— Прошу вас, нет ли там письма «Ромуальде»? — сказала я таким неверным и дрожащим голосом, что несколько посетителей, также стоявших у решетки, обратили на меня свои насмешливые, как мне показалось, взгляды.

Экспедиторша начала перебирать письма в шкафу.

— Откуда ждете письма? — спросила она

— Местное,— едва слышно прошептала я, закрывая лицо платком.

В эту минуту в моих руках оказался небольшой продолговатый конверт. Я стиснула его и вся затрепетала, как будто взяла в руки горсть горячих углей. Выбежав из канцелярии, я стала у окна там же, в коридоре почтового здания, чтобы прочитать письмо. Я знала, что дома у меня не будет возможности прочесть его украдкой. Дрожащей рукой я разорвала конверт и вынула листок белой почтовой бумаги. Почерк был красивый, четкий, но буквы некоторое время прыгали, как бы пылали у меня перед глазами. Наконец я немного успокоилась и прочла вот что:

«На днях я уезжаю в Перемышль и не буду больше в доме вашего дяди. Не хочу даже бывать там — почему, сейчас поймете. Я видел ваше несчастное положение и говорил о вас с вашим дядей Если бы я сказал, что люблю вас, то вы имели бы право не поверить мне, потому что как же можно полюбить кого-нибудь, не зная его ближе? Поэтому не буду говорить вам о любви, а только скажу вот что. Я бедный офицер, из простой семьи. Холостая жизнь мне опротивела, хочется изведать хоть немного тепла семейного гнезда. Собственной семьи у меня нет,

жениться без реверса нельзя, такой девушки, которая внесла бы за меня реверс и при этом была бы мне по душе, я, наверно, не найду, а продавать себя за реверс в мужья такой, которую я не смогу полюбить,— также не хочу. Между тем моего месячного жалованья с грехом пополам хватило бы на содержание семьи. Что же мне делать? Законные пути для меня закрыты, обстоятельства сами толкают меня на незаконный. Я знаю вас как честную девушку и не должен был бы пользоваться вашим печальным положением. Но я знаю, что это положение безвыходно, и потому думаю, что лучше вам будет стать моей, хоть и невенчанной, женой, чем вечной служанкой ваших кузин. Будем жить вместе, будем довольствоваться тем, что имеем, а когда я дослужусь до повышения, то брошу службу, и тогда мы поженимся. Не буду скрывать от вас, что это не легкое и не скорое дело. Но может случиться война, я могу на ней отличиться, и тогда дело пойдет лучше. Решайте, как знаете. Скажу вам только кое-что о себе. Я человек простой, тихий, вырос в бедности, привык к скромной жизни и труду, и если правда то, что говорят о вас, то мне кажется, я полюблю вас. Если решитесь уйти со мной, то будьте в субботу вечером со всеми своими вещами на вокзале. Я возьму вам билет. Во всяком случае, в субботу вечером буду ждать на вокзале. Если не придете — ваша воля, я не поставлю вам этого в вину. А если придете, то до свидания!»

Как видите, я хорошо выучила на память это письмо. Оно и до сих пор у меня, единственная памятка моего счастья. Читая его, я почувствовала, что вся то заливаюсь румянцем, то опять бледнею. Меня кинуло в дрожь, я не знала, как поступить, куда спрятать бумагу, куда идти, что думать. Мне вспомнилось, как мать когда-то целовала и ласкала меня и прочила мне самых лучших и богатых женихов, а позже, когда я начала подрастать, все старалась остеречь меня от военных. Мне вспомнились слышанные мною разговоры кузин об офицерах, об их безнравственной жизни, о девицах, которых они берут на содержание, а через некоторое время прогоняют, отдают на позор,— и мне страшно стало письма, которое я спрятала на груди под лифчиком. Так и чудилось мне, что там зашевелилась холодная змея. Но затем я вспомнила о своем жалком и безвыходном положении, о том, что и сами мои кузины не раздумывали бы много, если бы первый попавшийся офицер предложил им то же, что мне; дальше встало у меня перед глазами красивое улыбающееся лицо моего офицера, его мягкий голос, ласковые движения, а особенно его глаза, ясные, глубокие и искренние, и я

уже тогда почувствовала, что не устою перед этим первым в моей жизни искушением, что пойду туда, куда меня зовет надежда на хотя бы недолгое и дорого оплаченное счастье.

До субботы было еще три дня, но в эти три дня я почти не думала о своем будущем. Я прожила эти три дня в какой-то беспрерывной горячке, в беспамятстве, в страхе и надежде одновременно. А в субботу вечером, когда мои кузины с отцом ушли гулять, я переоделась в самое лучшее свое платье и, собрав свои вещи в небольшой узел, пошла на вокзал, не оглядываясь, не говоря никому ни слова, и только уже из Перемышля написала дяде письмо, поблагодарила его за хлеб-соль и сообщила, что перешла на новое место.

V

Да что мне томить вас долгим рассказом? Офицер мой был очень добрый человек. За полтора года, прожитые с ним, я не слышала от него худого слова. После тяжелой школы, которую я прошла у дяди, он был для меня как солнечный свет и тепло. Приласкал меня, избавил от тяжелой работы, дал свободно вздохнуть, говорил со мною, как с равною, любил меня, как сестру. Через несколько недель я ожила, пришла в себя. Выйду, бывало, в город — люди на меня оглядываются, и то и дело слышу, как молодые люди шепчут: «Какая хорошенькая!» Офицер сшил мне несколько платьев и, видно, любил меня, потому что выискивал тысячи случаев доставить мне удовольствие: приносил подарки, книжки, цветы.

Одно только сложилось не так, как я думала: мы не жили вместе. Ему приказано было по служебным обстоятельствам жить в казарме, ну а я не могла там находиться вместе с ним. Нашел он мне квартирку — одна комнатка, хорошенькая, с мебелью; столовалась я у соседки, жены какого-то ремесленника, а он приходил ко мне в свободные от службы часы и тогда обычно ночевал. Мы вместе пили чай и разговаривали до полуночи. Он рассказывал мне о своей жизни, о службе и ее трудностях, о том, что делается на свете. Я глаз с него не сводила и, казалось, готова была слушать его всю ночь. Целый день сидишь одна, читаешь, шьешь, в окно глядишь — вот и рада живому голосу человеческому. А он так хорошо умел рассказывать!

— Ромочка, ну расскажи же ты что-нибудь о себе,— скажет он, бывало.

Я чувствовала, что люблю его, у меня родилось желание уберечь его любовь, и я не заставляла никогда просить себя.

Мне хотелось показать ему, что я не такая уж темная, глупая гусыня. Я рассказывала ему мельчайшие подробности своей жизни, с горячим желанием занять его, и не раз, бывало, он слушает, слушает, да и начнет целовать меня, прижмет к своей груди и скажет:

— Бедное дитя! Что могло бы выйти из тебя, если бы судьба тебе улыбнулась!

Когда со временем исчерпалось все, что я могла сказать о себе, я рассказывала ему о том, что прочитала и передумала за день. И это также занимало его.

— Скучно тебе, моя любимая,— скажет он, бывало,— но что же делать? Такие уж мы несчастные с тобой. Ты думаешь, мне не достается порой на службе? Потерпим, Ромочка, еще года два,— может, все обернется иначе.

— Милый мой,— говорю ему в ответ,— разве я жалуюсь тебе на скуку? Мне не скучно. Я всегда найду себе занятие, и чего бы мне скучать? А как подумаю, из какого ада ты меня вырвал и как я теперь счастлива, то мне иногда приходит в голову: господи, не слишком ли много счастья для меня? Знаешь, я с малых лет привыкла бояться счастья и все думаю, что за каждое счастливое мгновенье придется расплачиваться, как за какую-то тяжкую провинность. По крайней мере, у меня всегда так получалось.

К осени ему пришлось идти на маневры, и мы должны были расстаться на несколько недель. Он заплатил за меня все и, прощаясь, сказал только: «Не забывай меня, Ромочка! Я тебя люблю!» Верил мне, что я не изменю ему; он и не знал еще, что я уже носила плод его любви. Я за несколько дней перед тем заметила это и не хотела ничего говорить ему, но только теперь почувствовала вполне, как сильно я его люблю. При его словах я расплакалась, повисла у него на шее, целовала его в губы и в глаза, не в состоянии ничего сказать, кроме:

— Милый мой!.. Любимый!.. Золотой!..

Скучно было после его отъезда. В городе духота, пыль. Выйду, бывало, за город, к Сану, сяду на берегу, где-нибудь в таком уголке, чтобы меня никто не видел, и целыми часами смотрю на воду.

Ой, сяду я на шпилечок —
Та рине вода, рине...
Ой, і не дайте мене за нелюба,
Та нехай він загине! [1]

[1] Ой, сяду я на пригорке — // А вода бежит, бежит... // Ой, не выдавайте меня за нелюбимого, // Пропади он пропадом! *(укр.)*

Эти слова и мелодия так и звучат у меня в голове, а у ног моих играет и скользит волна за волной, без конца и без устали. И думается мне, бывало: что это такое — вода? Почему она должна бежать и бежать? Откуда ее там, в горах, столько берется? Порою меня так и тянуло броситься в ее таинственную хрустальную глубину. Подо мной медленно плавали крупные красноперые голавли, играли серебристые уклейки, лениво дремали в глубине толстые сазаны да грелась у самого берега прожорливая щука, вытянувшись неподвижно, как полено, и я думала, что там, в воде, и жизнь и порядки, должно быть, много лучше, покойнее, чем у нас. А иногда загляжусь на волны, и мне представится, что и вся жизнь наша со всем ее горем, со всеми радостями и надеждами — такие же волны. Одна прозрачная, другая мутная. Одна шумит и бурлит, другая тихо, едва слышно скользнет по поверхности и пропадет бесследно. Не так ли и наша жизнь? И мне иногда хотелось броситься в эти хрустальные волны, уйти в них и раствориться. И не от горя,— ведь я тогда не знала горя. Уезжая, он оставил мне кое-какие деньги, заплатил за квартиру и стол, а какие у меня, кроме этого, были расходы? И о будущем я не думала. Я чувствовала за собою опору — его, и видела только одну цель перед собою — уберечь его любовь, усладить его жизнь. И если порою мне хотелось погрузиться в эти чистые волны, то только по какому-то неясному чувству, что там, в воде, мне было бы очень покойно и хорошо, что я вечно плыла бы куда-то без собственной воли и мыслей, качалась бы на волнах и мне не нужно было бы ни думать, ни заботиться ни о чем.

Но вот прошел месяц, закончились маневры, он вернулся усталый, запыленный, потрепанный, но здоровый и веселый. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести в порядок его белье и одежду, но труд этот был для меня истинным наслаждением. Он получил отпуск на несколько дней для отдыха и все время просиживал у меня. Мы беспрерывно болтали, рассказывая друг другу о своей жизни в разлуке. Он рассказывал, что видел императора и что император даже похвалил его за искусное исполнение какого-то маневра. Мы радовались оба, потому что императорская похвала много значит для продвижения по службе. Не раз мы вдвоем ходили гулять, обычно на Сан, на мое любимое место среди ив. Он завел себе удочку и ловил рыбу, хотя обычно ему ничего не удавалось поймать. И все же эти дни были, пожалуй, счастливейшие в моей жизни. Сидим рядышком, глядим на поплавок и ни о чем не говорим,

только чувствуем взаимную близость и знаем, что друг за друга готовы на все.

Ну, ну, не смейтесь! Бывают такие минуты в жизни каждого человека. Необязательно только в книжках читать об этом.

VI

— Слушай, Ромочка! Мне очень хочется пить.

— И мне тоже,— сказала я.

Мы возвращались с прогулки на Сан. Уже несколько недель прошло, как он вернулся к служебным обязанностям, но как только выпадал свободный вечер, он приходил ко мне, я ждала его уже одетая, и мы отправлялись на реку.

— Знаешь что, зайдем в ресторан, выпьем пива.

Мне как-то не по себе стало от этого предложения.

— А может быть, лучше пойдем домой и закажем принести пива? — сказала я.

— Э, что это за пиво будет! Здесь лучше. Идем же! Или ты боишься?

Я ничего не ответила, хотя в самом деле боялась неведомо чего. Мы сели за столик. Он заказал пива. Через минуту подошел к нам офицер, его знакомый, сказал ему несколько слов, взял под козырек и ушел. Мы еще не допили пива, как подошел другой офицер, сел около нас, поговорил с ним и как-то странно уставился на меня, причем я заметила, что мой Олесь смутился. Офицер встал, откозырял и ушел. Мы тоже ушли. Олесь был какой-то кислый, словно сам не свой.

— Милый мой! — обращаюсь я к нему.— Тебе неприятно было, что тот офицер упорно разглядывал меня?

— Дурак! — бросил Олесь сквозь зубы.

— Нет, дорогой, не говори так,— возразила я.— Мы сами виноваты, что пошли в ресторан, где всякий может меня разглядывать!

— Если б ты была законная жена, то никто бы не посмел. А так... И все же он, дурак, должен быть хоть немножко деликатнее!..

Я чувствовала, что он весь кипит, что гнев душит его, и только теперь поняла, как сильно он полюбил меня.

— Милый,— говорю я ему, когда мы пришли домой.— Успокойся! Забудь об этом! Я тебе скажу что-то такое, чему ты обрадуешься!

— Что такое? — мрачно спросил он.

Меня холодом обдали эти слова, и его тон, и взгляд, каким он смерил меня, и я рада была взять назад свои слова и оставить признание до лучшей минуты, но было поздно. Я обняла его за шею, наклонила к себе голову его и шепнула ему на ухо те слова, которые не раз наполняли меня невыразимою радостью и весельем.

Его они совсем не порадовали. Какая-то тревога, нежелание, даже что-то вроде отвращения промелькнули в его глазах. Страшную боль причинил мне этот взгляд. Но и нехорошее выражение его лица, и боль у меня внутри длились только минуту.

Он просветлел, обнял меня, стал целовать и расспрашивать: как, что, когда. И мне было приятно поделиться с ним тайной, о которой я до сих пор никому ни слова не сказала. И как он был мил, когда через некоторое время заговорил о различных вещах, необходимых для ожидаемого гостя, и все это так серьезно, словно этот гость должен прибыть завтра... И как мы смеялись от всего сердца, когда я ему сказала, что все принадлежности я в свободную минуту приготовила, нужные знакомства завела, значит, ему не о чем беспокоиться.

Чудесно провели мы тот вечер. Выпили бутылку вина за здоровье ожидаемого, шутили, даже спели в два голоса. Но я почувствовала, что с той поры с ним произошла какая-то перемена. Он часто бывал мрачен, словно чем-то огорчен. Не раз обрывал беседу на полуслове, хмурился, как бы собираясь с мыслями. А о своей жизни в казарме, о своих отношениях с другими офицерами никогда ни слова. Даже просил меня, чтобы я никогда его не расспрашивала об этом. Из этого я поняла, что у него какие-то неприятности, и мучилась мыслью, что все это, может быть, из-за меня.

И так между нами стало постепенно возникать темное облачко. У каждого из нас были свои огорчения, и каждый боялся или не хотел поделиться ими с другим. Одно только связывало нас — мысль о будущем ребенке. Мы говорили о нем так, будто он уже существует, бегает, лепечет, смеется, любовались им, беспокоились, как бы он не ушибся, не упал, не простудился, решали, что надо сменить квартиру, взять прислугу, рассчитывали, сколько это будет стоить. По всему этому я видела, что он меня любит, и еще больше чувствовала благодарность и любовь к нему.

Наступила зима, и он опять стал реже бывать у меня. Служба удерживала его. Иногда бывало так, что он целую не-

делю не мог зайти. Я познакомилась с несколькими соседками — женами ремесленников и рабочих, потому что к «пани» чиновнице или учительнице боялась подходить, чувствуя, что они могут меня оттолкнуть. А у этих темных и бедных женщин я нашла больше сердечности и помощи. Я попробовала даже через них подыскать какую-нибудь работу, чтобы заработать хоть сколько-нибудь на содержание свое и своего ребенка. Я умела шить и брала шитье на дом. Потом с помощью одной служанки, работавшей у профессора, я достала хороший заработок — переписывать начисто какую-то книгу, которую написал профессор. Я пишу хорошо и быстро, и, засев вплотную за работу, я за два месяца заработала около пятидесяти гульденов. Олесю я ничего не сказала о своем заработке,— боялась, как бы он не рассердился. Все же он спустя некоторое время узнал об этом, должно быть, от самого профессора, учинил мне допрос и, разузнав все, ничего не сказал, только поцеловал в глаза и потом в каком-то печальном раздумье прошептал: «Бедное дитя!»

В мае наконец я родила. Ребенок был хорошенький, как ангел, но мне было невесело, когда я глядела на него. Теперь я начала думать о своем будущем и о будущем своей дочушки. Что с нею будет? То же, что со мной? И я, до того не раз благодарившая бога за свое счастье, вдруг почувствовала какую-то невыразимую тревогу. Боже мой! Что я такое на самом деле? Содержанка — и больше ничего! Искренне или неискренне говорит Олесь о своем будущем повышении, о намерении повенчаться со мной, а все же теперь от этого дело не меняется. Теперь я поняла сострадательные взгляды, затаенные вздохи и покачивания головой моих соседок, бедных жен рабочих, поняла их уклончивость, когда заходила речь об Олесе, перешептывания, когда в комнату приходила какая-нибудь новая соседка, те тысячи мелочей, которые хотя и не имели целью уколоть и ранить меня (эти женщины очень хорошо понимали мое положение, потому что многие из них сами прошли через это в своей молодости), но все же причиняли мне боль и печалили меня.

Олесю я ничего не говорила о своих страданиях, да и зачем? Если он меня любит, думалось мне, то, наверно, и сам страдает, а если нет — то ни к чему. А он на самом деле мучился. Маленькую нашу он целовал и ласкал, как мать, не как отец, и временами я видела, что у него слезы на глаза навертывались, когда он смотрел на нее, спящую. Что же мне было ему говорить? Оставалось только набраться терпения и ждать.

VII

Через три месяца наша девочка умерла.

Олесь стал реже бывать у меня. Летние лагери, потом маневры, потом опять какие-то занятия — целыми неделями, а то и дольше не бывал у меня. Наши встречи стали короткими и холодными. Казалось, со смертью ребенка улетело наше счастье и то тепло, которое прежде охватывало нас обоих, когда мы бывали вместе. После маневров он заболел и пролежал больше месяца. Написал мне, чтобы я сидела дома и не вздумала приходить к нему. Что я вытерпела за это время!..

Лишь на третью неделю я узнала, что у него была дуэль из-за меня. Офицеры, подходившие к нам тогда в ресторане, встретясь с ним во время маневров (они были львовские), стали расспрашивать его о той даме, которая сидела с ним, и почему он ее им не представил, и при этом сказали обо мне что-то такое, что Олесь вызвал их обоих на дуэль. Одного он ранил, а другой ранил его, и довольно серьезно. Это я узнала от одного солдата из его роты, которого остановила, сидя у окна.

Я не могла дольше выдержать, побежала к нему. С большим трудом я добилась, чтобы меня допустили. Он лежал в постели, белый как мел, исхудалый. Пуля попала ему в грудь и только чудом не сразила его насмерть.

Рыдая, я припала к нему, целовала ему ноги и руки. И он расплакался.

— Ну, что ты! Что ты! — повторял он.— Тебе здесь нельзя быть. Ступай домой, я тебе напишу.

Долго я не хотела уходить, только когда пришел доктор и сказал мне, что он будет здоров, но теперь ему нужен покой,— я ушла.

Он не писал мне, но через несколько недель сам пришел. С каким нетерпением, с какой тревогой ждала я его! Какими чудесными красками рисовала себе первую встречу с ним после этого страшного испытания, как твердо клялась, что всю, всю жизнь свою, труд и все помыслы отдам ему! А когда он пришел, посмотрел на меня и молча сел в кресло, я сразу поняла, что между нами все кончено, что нам надо расстаться, что все дальнейшее будет лишь долгим или коротким прощаньем.

Прощанье вышло короткое. Он сказал мне сразу, что его повышение в чине отодвинулось теперь на долгое время, и что его в наказание перевели в Арад охранять военную тюрьму, и что он через неделю должен собираться в дорогу.

Я выслушала его слова, как ледяной столб. Он начал утешать меня, говорил, что никогда не забудет обо мне, что будет писать мне,— но я знала, что сам он нуждается в утешении. Уезжая, он дал мне немного денег на жизнь и два письма к своим знакомым и посоветовал поискать себе какую-нибудь службу.

Я продала кое-что из своих платьев и первое время могла не беспокоиться о своем существовании,— я могла в крайнем случае переждать недели две, пока не попадется что-нибудь подходящее. Служба нашлась сразу, у того же профессора, которому я переписывала книгу. Профессор был добрый человек, но жена его начала ревновать меня к мужу, и через два месяца, среди зимы, мне пришлось оставить это место.

Я бросилась к другим знакомым Олеся, к которым у меня были письма, но испытала столько обид и стыда, что плюнула на все. Все они знали мою историю, все глядели на меня, как на зверя, отсылая меня один к другому, чтобы все увидели ту «мерзавку, которая извела и погубила такого хорошего и способного человека». Эти слова сказал мне, наконец, один старый ротмистр, к которому меня также послали в поисках службы.

После этого я больше уже не ходила ни к кому, а поехала во Львов. Здесь я остановилась в одной еврейской гостинице и принялась искать какую-нибудь работу. Но работы не было, денег не стало. Дня два я бегала как очумелая, потом целый день сидела в каком-то отупении в своей комнате, пока не вошел кельнер и не сказал мне несколько слов. Остатки крови бросились мне в лицо, я вскочила, как будто попала на раскаленные уголья, но кельнер не унимался,— я не ушла, не могла уйти от своей судьбы...

Я не раз видела, как ветка, оторванная от дерева, плывет по воде, пока не попадет в водоворот. И тут еще сначала она плывет спокойно, описывая большие круги; но чем дальше, тем круги становятся уже, движение быстрее, пока течение не завертит ее и не увлечет в пенистую бездну, где она и пропадает. Ветка ли виновата или вода, что так случается?..

Львов, 20 марта — 9 апреля 1890

РАДИ ПРАЗДНИКА

I

Было это в августе 1880 года, во время поездки императора по Галиции.

Большая фабрика парафина и церезина (земляного воска) недалеко от Дрогобыча шумела, как улей. Только что прозвонили «фаерант» [1], и рабочие высыпали из разных построек на широкий фабричный двор, где в живописном беспорядке валялись: тут разбитая бочка из-под жидкого топлива, там ржавый обломок железной машины, тут жестяные ведра с зловонными остатками нефти, там какие-то невыразимо грязные, вонючие клочья, всякий инструмент, возок со сломанным дышлом и тому подобные украшения. Лица и одежда выходивших рабочих совершенно соответствовали окружавшей их обстановке; здесь фоном служили грязные, облупившиеся стены фабричных строений, затем высокий дощатый забор, которым была обнесена вся фабрика, а вдали — прекрасный ландшафт Подгорья, холмы со сжатыми нивами и золотистыми полосами спелой ржи. На запад от фабрики, за мелкой, хотя довольно широкой речкой Тысменницей и расположенным над нею небольшим селом Млынки, подымался на невысоком пригорке могучий дубовый лес — Тептюж, к которому из Дрогобыча, мимо фабрики, через речку без моста и через Млынки, вело прямое, как по линейке проведенное, казенное шоссе. Долина Тысменницы, извиваясь, как змея, около фабрики поворачивает на юг, а потом на восток между дрогобычскими холмами, а еще дальше, к западу, над до-

[1] Конец работы *(искаж. нем.* Feierabend — вечерний отдых).

линой, как фантастическая темно-синяя, слегка волнистая стена, стоит строгий, нередко закрытый туманом, словно задумавшийся, Дил, а у подножия его дымится множеством фабрик и щетинится множеством острых нефтяных вышек Борислав — главное гнездо галицкого нефтяного и парафинового промысла с его десятью тысячами колодцев и десятью тысячами спекулянтов.

Но лица и одежда фабричных вполне гармонировали с ближайшим грязным и зловонным окружением. Работавшие у котла были почти голые, в порванных рубахах, и многих из них душил кашель — следствие ядовитых испарений, которыми приходилось дышать при фильтрации и очистке земляного воска. Работавшие при печах также были в одних рубахах и казались ошпаренными: глаза их налились кровью, обожженные лица побагровели от пылающих топок. Подносчики озокерита, казалось, были сплошь залиты зловонной смолой. Шли еще из бондарни, со склада, с других вспомогательных работ — все оборванные, несчастные, усталые, явно желавшие одного: перекусить как можно скорей и как можно скорей упасть где-нибудь в углу на солому, на щепки или голую землю, лишь бы заснуть и проспать мертвым сном до ближайшего звонка.

— Ожидать, ожидать! Не расходиться! — кричал директор фабрики; он в сопровождении двух надсмотрщиков вышел как раз из своей канцелярии и остановился в воротах, загораживая выход.

— Что там такое? Что случилось? — спрашивали стоявшие ближе.

— Пускайте! Чего столпились? Нам есть хочется! — кричали стоявшие дальше, не знавшие причины задержки.

— Обождите! Обождите! — закричали громовыми голосами надсмотрщики.— Спокойно! Спокойно!

— Что там за черт? Чего нам ждать? — кричали рабочие.

— Пан принципал приехал. Хочет вам что-то сказать! — крикнул директор толпе.

— Пан принципал! Пан принципал! — зашумела толпа, которая господина принципала, известного дрогобычского капиталиста, видела только в дни выплаты. Но сегодня не был платежный день. Что же может понадобиться от них господину принципалу?

Толпа понемногу стала отодвигаться от ворот, собираясь перед фабричной конторой, откуда обычно показывался принципал. И действительно, через несколько минут, когда шум затих, в дверях конторы показалось полное, обросшее черной подстриженной бородой лицо господина Гаммерпляга; он, по обык-

новению, полувежливо-полупрезрительно улыбался и хитро щурился. Он небрежно махнул рукой толпе рабочих, стоявших тесными рядами и смотревших на него с выражением пассивного ожидания, и вовсе не ответил на их приветствия.

— Ну, как поживаете? — спросил хозяин.

— Да как,— будто нехотя ответил один рабочий, стоявший ближе к хозяину,— неважно живем! Обижают нас надсмотрщики, плохо кормят, сегодня одному из котельной всю руку ошпарило.

— Лучше б смотрел! Я тут ни при чем! — крикнул один из надсмотрщиков.

— Молчать! Молчать! — закричали сразу директор и другие надсмотрщики.— Не об этом теперь речь. Скажете при выплате.

— Как же молчать,— огрызнулся рабочий,— если пан принципал спрашивает, как мы поживаем.

— Да не тебя спрашивает, ду-рак! — отрезал надсмотрщик.

— А не замолчишь ли ты сам, хозяйский прихвостень! Помалкивай, хам! — закричали возмущенные рабочие по адресу услужливого надсмотрщика.

Пан принципал с олимпийским спокойствием выслушивал эти выкрики, стоя на высоком крыльце конторы; он молчал, пока крики не умолкли.

— Ну, видите, какие вы,— проговорил наконец с легкой усмешкой.— Всё вы недовольны, никак на вас не угодишь, постоянно на что-то жалуетесь. А я знаю хорошо: если приглядеться получше к вашим жалобам, ни одна не подтвердится. И одного вы не можете понять, почтенные господа рабочие, одной чрезвычайно важной вещи. Если б не я и не моя фабрика, которая существует на мои деньги, что было бы с вами тогда?

Рабочие на неожиданный для них вопрос ответили молчанием.

— Вот видите, позатыкало вам рты,— говорил уже более ласково пан принципал.— Раз вы молчите, я отвечу за вас. Вы дохли бы с голоду друг за дружкой. Благодарили б бога, видя раз на день шелуху от картошки да щепотку соли. А теперь у вас и хлеб, и сыр, и мясо каждую неделю, и водка, и голодных дней не знаете, а все недовольны, никак на вас не угодишь, все жалуетесь. Обдирают вас, говорите. Ну, ну,— прибавил он с иронической улыбкой, окинув взглядом их оборванные фигуры,— немного с вас сдерешь.

— Кровь нашу пьете! Шкуру с нас деретe! Салом нашим жиреете! — ответил крик из толпы.

Пан принципал стрельнул огненным вглядом в ту сторону, откуда крикнули, но не мог найти в толпе крикнувшего, только в памяти отметил несколько подозрительных фигур для будущего расследования, а сейчас сделал вид, что не слышал ничего, и спокойно продолжал:

— Ну, видите, вы всё так! Вместо благодарности жалуетесь и выдумываете всякую всячину. Не думаете о том, что чем лучше мне, тем лучше будет и вам; вы меня и фабрику считаете своими врагами!

Рабочие стояли молча, а некоторые, может быть, даже сконфузились, не будучи в состоянии взвесить, сколько правды в словах господина принципала.

— Ну, слушайте, почтенные господа рабочие,— говорил все ласковей, уже почти сердечно, пан принципал.— Через две недели у нас на фабрике будет великий праздник. Должны к этому отнестись серьезно, слышите? Наш всемилостивейший монарх, наш император будет проезжать через наш город. Я приложил все старания, чтобы он проездом побывал и на нашей фабрике и осмотрел ее. Понимаете, конечно, какая это великая честь не только для меня, но также и для вас всех, как велика доброта нашего монарха.

Рабочие молчали, словно их зачерствелые сердца не чувствовали ни чести, оказываемой фабрике «нашим всемилостивейшим монархом», ни его доброты.

— Но, сами понимаете, к приему такого гостя надо хорошо подготовиться. Ведь не покажем ему фабрики и сами не покажемся в таком отвратительном виде, как сейчас. Надо тут навести порядок.

— Это пана принципала дело, не наше,— проговорил один рабочий.

— Как мое? Как так не ваше? — мгновенно подхватил пан принципал.— Не бойтесь, я хорошо знаю свое дело. Обо мне не беспокойтесь. Я в грязь лицом не ударю. Но вы также должны постараться. Разумеется, я не имею права заставлять вас, но вы должны сделать это не для меня, а для нашего милостивого монарха. Видите, здесь все надо привести в порядок, выбросить мусор, очистить двор от грязи, убрать все ненужное. Ведь это свинство не я наделал, а вы. Надо двор посыпать гравием, это нетрудно, река под боком, времени у нас достаточно. Ну, стены велю оштукатурить и побелить, а в ваших бараках, где ночуете, надо тоже навести порядок,— вдруг наш всемилостивейший государь захочет заглянуть и туда. Знаете, какой он добрый монарх, как заботится о благе своих подданных, больше,

чем отец о своих детях, он всем интересуется. Но, заметьте, все это нужно сделать вам, специальных рабочих не буду нанимать. Ежедневно после фаеранта поработаете часок-другой, и все будет чисто, как зеркало. Хорошо, хлопцы?

Глубокое молчание было ответом на эту речь.

— Ну, не думайте, что я хочу всего этого от вас даром. Посмотрите только на самих себя, как вы выглядите. Ведь в таком виде ни один из вас не захочет показаться своему императору. Надо вас приодеть как-нибудь поприличней. Так вот слушайте, сделаем так. Завтра пришлю вам сюда нескольких портных, сошьют вам мундиры, чтобы у вас было, во что прилично одеться. А за это вы сделаете здесь все, что понадобится.

— Да, если так, тогда другое дело,— отозвался кое-кто из рабочих.

Пан принципал принял этот нерешительный отклик за знак согласия и сказал совсем спокойно:

— Вот и хорошо. Пан директор распорядится обо всем. Придется украсить фабрику. Лес близко, зеленых веток там много, можно приготовить венки и гирлянды из листьев дуба. На воротах надо вывесить флаги. Это уже все пан директор обдумает подробно. Только поживей, хлопцы, дружней принимайтесь за работу, и я даю вам свое честное слово, мы все будем довольны, все будет хорошо.

«Хлопцы», среди которых было немало взрослых, бородатых и усатых мужчин и даже несколько седых стариков, выслушав речь своего хозяина, не проявили особенной радости; некоторые вздыхали печально, а другие стали молча расходиться. Только у младшего поколения слова хозяина вызвали веселое настроение. Молодым улыбалась надежда парадировать перед императором в новых мундирах. Поэтому, едва пан принципал, сопровождаемый директором, повернулся к рабочим спиной и направился к двери фабричной конторы, кое-кто из молодежи, может быть, не без поощрения со стороны надсмотрщиков, подбросил шапки в воздух и закричал:

— Виват! Да здравствует наш всемилостивейший монарх!

II

— Виват! Да здравствует наш всемилостивейший монарх! Виват! Виват!

Так кричали бесчисленные толпы празднично разодетых людей, преимущественно евреев, занимавших всю площадь перед большой фабрикой парафина и церезина в ту минуту, когда

император в сопровождении наместника и многочисленной свиты прибыл из Дрогобыча. Длинный ряд блестящих экипажей медленно двигался между тесными рядами приведенной в восторг толпы и остановился у фабричных ворот. Сегодня, однако, это были не те ворота, которые две недели назад скрипели на ржавых железных петлях, сбитые из старых досок, снизу забрызганные грязью, а сверху украшенные нецензурными рисунками и надписями al fresco нефтяной жижей. Сегодня от этих ворот осталось одно только широкое отверстие в заборе, а над этим отверстием поднималась до высоты второго этажа оригинально, почти художественно, в стиле рококо исполненная триумфальная арка из глыб разноцветного земляного воска.

На основаниях из зеленоватого, желтого с прожилками, необработанного озокерита, а также из черных, как смола, глыб перетопленного воска поднимались в небо массивные колонны из белого, как снег, парафина с изящными капителями, колонны поддерживали красиво выгнутый и тысячами цветочков-завиточков из того же самого материала украшенный фронтон. Это был замысел директора фабрики, бельгийца Ван-Гехта, выполненный, очевидно, не кем другим, как самими фабричными под руководством одного дрогобычского инженера.

В воротах стоял сам хозяин во фраке, с шапокляком под мышкой, с золотой цепочкой от часов через живот, и приветствовал императора краткой речью на немецком языке, которую кончил, выкрикнув во все горло:

— Seine Majestät der Herr Kaiser lebe hoch! [1]

— Lebe hoch! Niech żyje! [2] Многая лета! — подхватила толпа на шоссе и во дворе фабрики. А во дворе, чистеньком, как бонбоньерка, посыпанном гравием и украшенном зеленью, стояли выстроенные длинными рядами рабочие. Вымытые, побритые, в новых мундирах, они выглядели совсем прилично, тем более что в первых рядах, ближе к воротам, поставили молодых, наиболее сильных и здоровых, а более пожилые, больные, согнутые вдвое или с недавно залеченными ранами должны были стоять дальше от входа.

— Вот мои рабочие! — радостно и гордо проговорил господин Гаммершляг, вступая в роль хозяина, которому надлежало сопровождать достойного гостя по всем отделам фабрики.

Император подошел к шеренге рабочих, и тогда снова послышались крики в его честь. Монарх поблагодарил, махнув

---

[1] Да здравствует его величество император! *(нем.)*

[2] Да здравствует! Да здравствует! *(нем. и польск.)*

рукой, потом спросил стоявшего в первом ряду рабочего, как его зовут, второго — давно ли работает на фабрике, третьего — женат ли и сколько у него детей. На этом окончился осмотр рабочих. Обращаясь к хозяину, который в эту минуту чувствовал себя как на иголках, терзаемый мучительным страхом, и то бледнел, то краснел, боясь, чтобы кто-нибудь из рабочих не ляпнул невежливого или бунтарского слова, монарх проговорил добродушно:

— Sie haben tüchtige, gesunde und ordentliche Leute. Sind Sie mit ihnen zufrieden?

— Vollkommen, Majestät! Wir sind wie eine Familie.

— Es freut mich sehr,— ответил император и, повторяя медленно: — Sehr gut, sehr gut [1],— пошел дальше, чтобы осмотреть станки, аппараты, а также фабричные постройки.

Тут все пошло как по маслу. Машины и все оборудование блестело как зеркало, в помещениях и комнатах пахло сосновой смолой и можжевельником, а в бараках, где спали рабочие, было чисто, светло и опрятно, так как ради праздника здесь нарочно прорубили несколько окон и привезли из Дрогобыча койки; режиссеры этой комедии сделали так, будто бы для каждого рабочего было тут отдельное, отгороженное досками помещение с постелью, матрасом, подушкой, набитой стружками, и с жестким одеялом.

— Primitiv, primitiv, aber hygienisch [2],— сказал император, осмотрев одну такую спальню.

— Ach, Euere Majestät! — воскликнул в глубоком волнении господин принципал.— Dies ist ein Paradies im Vergleich mit dem, was diese Leute einst in ihren Bauernhütten hatten. Sie sagen es selbst.

— Freut mich sehr! Freut mich sehr [3],— проговорил император, направляясь к выходу.

— Виват! Виват! Да здравствует наш всемилостивейший монарх! — закричала толпа еще оглушительней, когда император и его свита сели в экипажи, чтобы проехать несколько сот шагов к ближайшей железнодорожной будке, где дожидался императора придворный поезд, который должен был отвезти

---

[1] У вас превосходные, здоровые, порядочные люди. Довольны вы ими? — Совершенно, ваше величество. Мы как одна семья.— Это меня очень радует. Очень хорошо, очень хорошо! *(нем.)*

[2] Примитивно, примитивно, но гигиенично *(нем.)*

[3] Ах, ваше величество, это рай по сравнению с тем, что эти люди когда-то имели в своих крестьянских хижинах. Они сами это говорят.— Очень рад! Очень рад! *(нем.)*

его в Борислав. Блестящие экипажи медленно двинулись, провожаемые непрестанными криками толпы; но только они отъехали от ворот фабрики — все на ее территории почувствовали, что прекрасные мгновения праздничного дня ушли безвозвратно.

III

Прошло несколько недель. Фабрика быстро утратила свой опрятный и праздничный вид. Арка из воска, на которую еще несколько дней ходила смотреть любопытная публика из Дрогобыча и окрестных селений, была разобрана и пошла на свечи. Гравий, которым был посыпан двор, после первого же дождя сотнями рабочих ног и тяжелых колес был превращен в прежнюю грязь и исчез почти бесследно. Из бараков, где ночевали рабочие, давно уже были вынесены перегородки, дверцы, кровати и белье. Все это было изготовлено на время или взято взаймы, и теперь рабочие снова спали на голой соломе и стружках, на досках или на голой земле, где кто свалился. Они так уже привыкли к этому, что перемена вовсе их не удивляла. Ведь они знали, что не каждый день пасха, а для императора надо было устроить парад. Одно только утешало их, как память о праздничном дне,— новые мундиры, которые у них не отобрало фабричное управление, и поэтому рабочие с благодарностью вспоминали о приезде императора.

Но однажды вечером после фаеранта снова позвали их к конторе, объявив, что господин принципал хочет им что-то сказать. Весело переговариваясь и шутя, рабочие собрались перед конторой. Им пришлось ждать довольно долго — пан принципал все не выходил и не выходил.

— Ого, что-то, видать, испортилось, если насос не фыркает,— шутили рабочие, между собой называвшие хозяина насосом.

Но насос и не думал портиться. Пан принципал вышел веселый, почти лучезарный, держа в руках какую-то бумагу с огромной печатью.

— Ну, хлопцы,— проговорил он, указывая на бумагу и даже не поздоровавшись с рабочими,— видите?

— Видим,— ответили удивленные рабочие.

— А знаете, что это такое?

— Откуда нам знать? Может, завещание пана принципала?

— Тьфу, тьфу, тьфу! Чтоб тебе лопнуть! Что ты плетешь? — крикнул пан принципал, который страх как не любил

думать о «последних минутах».— Ты с ума сошел? Посмотри ближе, дурак! Тут стоит подпись императора, а тебе чудится завещание! Тьфу, тьфу, тьфу!

Отфыркавшись, пан принципал снова распогодился, лицо его прояснилось.

— Это указ, хлопцы! Указ всемилостивейшего государя, который за заслуги мои перед этим краем даровал мне титул барона. Понимаете, что это значит? Теперь я для вас не просто пан принципал, а господин барон. Понимаете? Так должны меня звать.

— Да здравствует господин барон Гаммершляг! — заверещал один надсмотрщик, стоявший среди рабочих, а вслед за ним и некоторые рабочие, стоявшие поближе к новоиспеченному барону.

Однако едва затихли крики и господин барон, поглаживая бороду, собрался было продолжить свою речь,— вдруг выступил вперед один рабочий и, низко поклонившись, выпалил, будто из ружья, на своем мазурском диалекте:

— A może by ta pan barun psy takij urocystosci racyli nam troche podwyssyć podzienne? [1]

Господин барон ушам своим не поверил, услыхав такие слова.

— Что, что, что? Проклятые мазуры! Съесть меня хотите вместе с костями, что ли, вовсе замучить? Разве вы не знаете, что фабрика не приносит мне почти никакого дохода, что я ее держу только из чести, только для вас, чтоб вы, дармоеды, не подохли с голоду? И откуда я найду средства повысить вам поденную плату? Из каких капиталов? Хотите, чтоб я докладывал на вас? Ах, неслыханное дело! Это, это... af mane Munes [2], пропадешь с такими людьми!

Рабочие стояли сконфуженные. Господин барон как сумасшедший бегал по крыльцу, махал руками, строил разные гримасы и выливал целые потоки выкриков, желая излить все свое негодование по поводу неслыханных претензий рабочих.

— Я не то еще хотел сказать вам,— проговорил он наконец решительно и грозно.— Знаете, дураки, сколько стоит мне этот титул? Впрочем, откуда вам знать? Больше десяти тысяч убухал я на него, а вы хотите еще с меня что-то получить? Ну, откуда мне взять? Рвите меня на части, выматывайте жилы, но

---

[1] А может, господин барон по случаю такого торжества малость повысит нам поденную плату? *(польск. диалект.)*

[2] Клянусь *(еврейск.)*

денег у меня не вырвете. А тут еще эти ваши мундиры. Какая мне польза с того, что одел я вас как порядочных людей, чего, собственно говоря, даже не был обязан делать? Разве вы чувствуете какую-нибудь благодарность? Где там, ни капли! Но погодите! Если вы не чувствуете благодарности по отношению ко мне, и я не стану с вами церемониться. Господин кассир! Суммы, истраченные на мундиры, записать каждому на его счет, разложить на полгода и высчитывать еженедельно при выплате!

Рабочие стояли ошеломленные.

— Получили, что хотели? — грозно кричал господин барон, хотя никто и не пробовал возражать.— А теперь ступайте! Но запомните одно! Теперь я уже не просто Лейб Гаммершляг, но господин барон Leo von [1] Гаммершляг. Сам всемилостивейший император наградил меня за мои заслуги. Пан староста и полиция должны будут теперь повнимательней прислушиваться к моим словам. Вы меня понимаете? Держитесь потише, не заставляйте растолковывать вам это ясней. А ну, марш!

И господин барон махнул рукой. Но рабочие все еще стояли, будто остолбенев. Из-за этих несчастных мундиров, которые были как бы платой за кровавую, сверхурочную работу по уборке фабрики, их заработок теперь уменьшится! Их жалкий заработок будет из-за этого подарка, которого они не просили, урезан почти на полгода! Вдобавок, что же оказывается? А оказывается, они своей работой только помогли возвышению пана барона, укреплению его авторитета, и это, в первую очередь, обратится против них же самих. Все эти мысли, мгновенно пришедшие в голову каждому, даже самому тупому, самому забитому рабочему, дохнули на них чем-то тяжелым, душным. Какой-то смутный логический процесс заставил их мысли обратиться к недавней праздничной встрече императора на этой фабрике. Тогдашний блеск, тогдашняя радость, тогдашние крики воодушевления — все это казалось им теперь таким далеким, таким фантастическим и невозможным в действительности, что контраст, словно разверстая пасть пропасти, повлек их к себе. И вдруг несколько шапок полетело вверх, и из нескольких десятков ртов вырвался крик, подхваченный тотчас же всеми рабочими этой фабрики: «Виват! Да здравствует наш всемилостивейший монарх! Виват!»

[*1891*]

---

[1] Лео фон *(нем.)*.

ПОЛУЙКА

(Рассказ старого нефтяника)

I

Да, теперь наш Борислав вовсе на нет сошел! И спекулянты бранятся, и хозяева бранятся, и рабочие бранятся. Всем худо. Работают люди, как лошади в упряжке, долбят землицу святую, черпают нефть, добывают воск. Сказал бы: дар божий! Золото! Богатство! А присмотреться — куда-то все девается, так что и следа нет. Будто черт всем этим давится. Чем больше этого «божьего дара» добывают из земли, тем больше все беднеют. Не пойму, как это делается, а все же это так. И заработков прежних нет, и веселья, и гульбы нет, как бывало, а идет человек в Борислав, будто скотина на бойню; нынче, дескать, моя очередь голову сложить! А не пропаду, так все равно много не заработаю, только бы перебиться. А о том, чтобы бедный человек из этого заработка купил что-нибудь для хозяйства или вовсе на ноги встал, из работника сделался хозяином, как прежде бывало,— об этом нынче нечего и думать. Нищета, и только!

А в мои молодые годы не так было. Этак лет тридцать тому назад следовало бы вам заглянуть в Борислав. Тогда было на что посмотреть, было что послушать! Этого теперешнего, так сказать, городка плачевного еще вовсе не было, одни колодцы над ручьем, и то неглубокие. Этих нынешних головоломных шахт по сто да по полтораста метров тогда и во сне не видывали. Прокопаешь, бывало, пять, шесть саженей, а как десять, двенадцать,— так уже и великий праздник, и уже чувствуешь: угар подымается, на дне колодца выступают пузыри, слыхать какой-то клекот, шипенье,— ого, значит, пора забивать колодец! Забьешь, на одну ночь, на другой день откроешь — полный колодец нефти, только бери да черпай!

Посмотрели бы вы, как чужаки-спекулянты скакали над таким колодцем, как причмокивали, как увивались около нас, рабочих! Только что рук не целовали, а как потчевали да приговаривали:

— Иванюня! Дай вам бог здоровья! Ну выпейте! А как полагаете, забьем нынче колодец?

— Нет, еще надо копать.

— Ну, а может, нынче забить?

— Да забивай, коли хочешь, а я тебе говорю — напрасно забьешь!

И так было, как рабочий говорил. Э, тогда все чужаки перед нами заискивали, обращались с нами не так, как нынче, потому что сами еще были маленькие, еще, как говорится, только начали пробовать шилом патоку!

А тогдашние рабочие! Что это за хлопцы были! Не та шушера, какая нынче в Борислав лезет. Тогда шли самые первые парубки, даже хозяйские сыны, а чаще беднота, батраки, круглые сироты, те, что век свой прожили вналмах, в тяжкой работе, не имели за всю свою жизнь гульдена в кармане, не пробовали ничего, кроме борща, да кислой капусты, да водки. А тут тебе гульден в день! И твое все, никому не давай отчета, ни с кем не делись, ни на кого не оглядывайся! Никто на тебя не смотрит, никто тебя не знает, никто тебе в руки не заглядывает. Один ты в компании таких же, как ты,— делай что хочешь, живи как знаешь! И жили хлопцы! Работа работой, но после работы, вечером, как пойдет гульба, было на что посмотреть! Нынче о такой гульбе и думать нечего! Крики, песни, пьянство, драки, разное баловство и шутки, лишь бы деньгам глаза промыть. Настоящему нефтянику стыдно было не пропить в воскресенье все, что заработал за неделю. Там заплатил за харчи или нет, отложил или не отложил про черный день, а в шинке среди товарищей он был пан. Водка, пиво, вино, жаркое — все ему подай.

— Начхать мне на все! Завтра или послезавтра, может, черт меня заберет! Гуляй, хлопцы, пока гуляется, пока наша пора!

В воскресенье, да и в понедельник стояла в Бориславе такая ярмарка, такой шум и гам, будто сто синагог в одну кучу свалили. Пьем, гуляем, а потом, взявшись за руки, стеной валим по дороге среди бараков — таков был тогдашний Борислав; село поодаль, а тут, где нынешний Борислав, здесь была посредине дорога, а по обеим сторонам бараки, кое-где только начали строить дома,— так вот идем по дороге и ревем нечеловеческими голосами:

Ой, не жалуй, моя мила,
Що я п'ю!
Тоді будеш жалувати,
Як я вмру! [1]

---

[1] Ой, не жалей, моя милая, // Что я пью! // Тогда пожалеешь, // Когда я умру! *(укр.)*

Покажись только хозяин да скажи:

— Иванюня, пора и на работу!

Ну-ну! Достанется ему! Сейчас его обступят, словно хорошие приятели. Этот в бочку с нефтью руку сунет да сзади на бекешу влепит ему здоровую пятерню! Другой в бочку руку сунет и нафабрит ему всю бороду, третий такою же рукою пейсы ему подкрутит, четвертый обе руки положит ему на плечи, да еще и скажет:

— Мошко! Чего тебе торопиться? Нас черт возьмет и тебя возьмет. Мы погибнем нефтяниками, ты сдохнешь богачом. Не бойся, твое не уйдет! Пойдем выпьем с нами! Ох, и красиво же ты выглядишь! Ай-ай, твоя родная Сура тебя не узнает!

Еврей будто улыбается, а сам со злости чуть не лопается. Но что поделаешь? Мужики как медведи, да еще пьяные. Ни полиции, ни стражников тогда еще в Бориславе не было, хозяева носы не очень задирали.

Скоро они этому научились!

II

Ага, о чем это я хотел рассказать вам? Да, полуйка! Теперь уже про нее мало кто и помнит, а тогда это было для нефтяников все равно как для ребенка калач, который мать привозит из города.

Видите, был такой обычай: когда в колодце показывалась нефть, то первая бочка шла рабочим, работавшим в нем. Они могли ее взять и продать, кому хотели, или хозяин должен был выкупить ее у них. Небольшие это были деньги — десять, позднее пятнадцать гульденов,— но для четырех человек, работавших в колодце, это была хорошая сумма. И как только проходил слух, что в том или другом колодце докапываются до нефти, поднимался шум на всех промыслах:

— Ого, у Гершка или там у Мошки послезавтра полуйка будет.

Ну и говорить вам не надо, что это означало. Это означало — пьянство такое, что все эти деньги на месте должны остаться. Оттого и сбегались нефтяники на полуйку, как свахи на свадьбу.

Не знаю, кто установил такой обычай, но думается, не хозяева. Они очень косо смотрели на него, но не могли ничего поделать. Раз уж так повелось, то нефтяники разнесли б хозяину весь промысел и его самого с головой в бочку всадили

бы, не пожелай он дать им полуйки. Сперва хозяева, пока были победней, охотно ее давали; потом, как разжились малость, морщиться начали, потом доходило до ссор, а, наконец, после большого пожара тысяча восемьсот семьдесят четвертого года, и совсем упразднили этот обычай.

Так вот с этой полуйкой на моих глазах была история.

Работали мы — я и Гриць Хомик, он теперь войтом в Запалом, и Иван Карапуз, покойник,— в одном колодце у Ионы. Какая-то странная у него была фамилия, но мы называли его «Иона с тремя бородами» — борода у него была разделена на три пряди, к тому же средняя прядь была черная, а две по краям — седые. Выглядел точь-в-точь как темноперый гусак. Давно уже дуба дал, из-за этой самой полуйки жизни лишился, о которой я вам хочу рассказать, а вот сын его Борух совсем обнищал, извозом занимается теперь в Дрогобыче.

Этот Иона недавно явился в Борислав откуда-то с гор. Говорили, сколотил деньгу, торгуя волами, а теперь хотел разбогатеть в Бориславе. Сразу же у одной бабы приобрел участок,— не скажу чтобы дешево, тогда пришлось бы ей кое-что дать, а прямо-таки даром: за две кварты сладкой водки. Баба была одинокая, старая, была у нее хата да клочок земли далеко за селом, на мочажине. Часть земли муж ее перед смертью пропил. Вот она и рада была избавиться от оставшейся части и, выпив водочки и проспавшись, сшила себе торбы, перекрестилась и пошла по миру. А Иона сейчас же начал рыть два колодца на том клочке.

Как-то ему не везло. Видно было по нему, что прямо трясется, так хочет поскорей разбогатеть, бегает, пыхает, подгоняет рабочих, заглядывает в колодцы. А наши нефтяники страсть этого не любили. Обманывали его. Возьмут принесут откуда-нибудь ушат нефти, вечером выльют в колодец, а утром, как поднимут глину из колодца, наш Иона прямо пляшет:

— Ого, есть уже, есть! Есть нефть у меня! Иванюня, а много ее там? — кричит он вниз рабочему.

— Столько, что и не видать.

— Как это? Как это? А вот на глине есть.

— Так это, Иона, земля слюни пускает! — отвечает тот из колодца.

— Как так пускает? Я еще не слыхал, чтобы земля слюни пускала.

— Да так нефть еще глубоко, а пока только пена проступает.

— Ну, а скоро будет нефть, Иванюня? Скоро будет?

— Да сказывала, что будет, только подождите! — сердито ответит рабочий и изо всех сил стукнет киркой о твердый грунт.

— Ну-ну, в добрый час! — приговаривает Иона и отходит,— и не идет, а бежит к другому колодцу, чтобы и там услыхать, что в колодце «земля слюни пускает, а нефть сказывала подождать».

Сколько раз так дурачили хлопцы Иону, а сами смеются, со смеху прямо на карачках ползают. Однако им смех, а Ионе начинает уже терпенья не хватать. И не столько терпенья, сколько денег. Их у него было в запасе не очень много, а два колодца сразу рыть и срубы ставить — это каждый день денег стоит. Доят его колодцы, вовсю доят, а дохода нет. Как-то в пятницу он, видно, подсчитал кассу, пришел после полудня на участок, ходит, заглядывает в колодцы, причмокивает и пальцами пощелкивает да свои три бороды расправляет, а потом и говорит мне,— я как раз одну смену воздух качал:

— Слушайте, Иванюня, как вам кажется, скоро будет у нас нефть?

— А кто же ее знает! — ответил я.

— А земля слюни пускает в колодце?

— Что-то перестала.

— Угар слыхать?

— Что-то не слыхать.

— Может, мы не на добром месте начали копать?

— Все может быть.

— Может, начать в другом месте?

— Откуда я знаю.

— Я думаю, вон там, в той ложбинке... Как вы полагаете, Иванюня, скорее бы там пошла нефть?

— А кто ее знает.

— А я думаю, что там была б, если не на пятой, так на шестой сажени.

— А почему вы так думаете?

— Видите, Нута Грауберг рядом, в той же ложбинке копает.

— Да что с того, что копает? Еще ни до чего не докопался.

— Жижа показалась.

— А, раз она показалась, наверно, скоро будет и нефть.

— Так что ж, может, и мы начнем там один колодец?

— Как хотите.

— Но здешние жаль бросать.

— Жаль.

— Кабы знать, что тут скорее будет!

— Э, кабы знать!

Так советовался со мной Иона. Упаси боже, нельзя сказать, чтобы я склонял его в ту или другую сторону. Я так же знал, где копать, а где не копать, как и он.

Еще несколько дней Иона ходил, бормотал что-то, прикидывал так и этак, советовался с другими евреями, а потом сказал:

— Будет, хлопцы! Забивайте эти колодцы! Начнем новые в другом месте.

Нам все равно. Начнем так начнем. Нам еще лучше, наверху легче работать.

III

Нута Грауберг был ближайший сосед и злейший враг нашего Ионы. На самом ли деле так было, или только казалось Ионе, что Нута делал ему все назло. Назло ему купил участок тут же, рядом с Иониным, и так же почти даром, как и он. Назло ему тоже начал копать два колодца, только был осторожней и один колодец рыл на пригорке, там, где были Ионины оба, а один в ложбинке, где теперь собирался копать Иона. Оба соседа ненавидели друг друга страшно. Иона, утром встретив Нуту, плевал ему вслед, а если он сам попадался Нуте на пути, то Нута никогда не забывал буркнуть от чистого сердца:

— A Richn da'n Tat'n aran! [1]

Но если Иона был жаден, суетлив, лебезил, но быстро выходил из себя, то Нута был спокоен, любил подшучивать и подтрунивать, а с рабочими обращался, как с добрыми соседями. Иногда он становился около своего сарая и, видя, как Иона возится у своих колодцев, и зная, что нефтяники издеваются над ним, тоже начинал подшучивать.

— Иона! — говорил он.

— Что? — отвечал Иона.

— Пускает слюни твой колодец?

— Лопнули бы твои кишки! — отвечал Иона и отходил к колодцу. Повертится там, будто забыл что-то, и идет прочь, а через минуту слышим уже издалека, как Иона говорит:

— Нута!

— Ну?

---

[1] Черт бы побрал твоего отца! *(еврейск.)*

— Прикажи своим людям, чтобы не ссыпали твою землю на мой участок.

— Загороди свой участок,— отвечает Нута.

— Я тебе сперва рот загорожу.

— Biste meschüge? Чего пристаешь? — кричит Нута.

— Сам ты meschüge! [1] Сам пристаешь ко мне!

Ссоры с каждым днем случались все чаще, пока в конце концов оба противника не сошлись на одном: сообща разгородить свои участки высоким забором. Но все-таки мира между ними не было. Иона завидущим оком смотрел на Нуту, ежедневно желал, чтобы его колодцы засыпало, чтоб у Нуты «лопнули кишки» и чтобы ему никогда не видать его даже в глаза. Кажется, и Нута платил Ионе той же монетой. Когда же у Нуты в колодце, вырытом в ложбинке, показалась черная жижа с нефтяным запахом, но для выработки нефти непригодная, разве только для колесной мази, Иона не мог заснуть, не мог успокоиться, пока не забил оба колодца на пригорке и не начал рыть два новых в ложбинке.

— Иона,— издевался из-за забора Нута,— пускают слюни твои колодцы?

— Так же как твои.

— А когда будет полуйка?

— Вместе справим.

— Приготовил уже бочки под нефть?

— Будет нужно, найдутся.

— Верно, это твой бондарь пошел сегодня в лес за обручами?

— Такой же мой, как и твой.

— А я тебе очень благодарен, Иона.

— За что?

— За то, что ты уступил мне пригорок.

— Я тебе?

— Ну да. Ты выкопал десять саженей, и я десять. Теперь я прокопаю еще две — и вся нефть из твоего колодца стечет в мой.

— Бери ее себе! Дай боже, чтобы у тебя всю жизнь было столько, как в моем колодце!

Нута шутил, а Иона от всего сердца желал ему того, о чем говорил. А тем временем судьба иначе подшутила над обоими. Не прошло и двух дней, как у Нуты в колодце на пригорке показалась нефть. Нута первый справлял полуйку

---

[1] Ты с ума сошел?.. сумасшедший! *(еврейск.)*

и нас пригласил на угощенье. Иона едва не извелся от злости.

— Ай-вай! Что я наделал! Зачем мне было бросать свои колодцы! — кричал он и рвал на себе пейсы.— У меня уже была бы нефть, а теперь этот трефняк вычерпает ее всю! Его колодец глубже, с моей земли все стечет к нему.

— Не бойтесь, Иона,— говорил я,— раз у Нуты показалась, и у вас будет. Прорыл он двенадцать саженей, проройте вы четырнадцать, тогда из его колодца потечет в ваш.

— Правда ваша, Иванюня, правда ваша! — закричал Иона.— А ну, хлопцы! Бросайте новые колодцы, возвращаемся к старым.

— Слушайте, Иона,— говорю я ему.— Не так вы сделайте. Оставьте одну партию здесь, пусть роют один колодец, а другая пусть идет туда.

— Правильно говорите, Иванюня, правильно говорите,— лебезил Иона.— За ваши хорошие советы, только у нас нефть покажется, я вам такую полуйку справлю, такую полуйку!..

— Да уж мы надеемся, что вы не из таких... Нас не обидите. Видели ведь, какую Нута полуйку справил.

— Что Нута? При чем тут Нута? Нута голодранец, паскуда! Что он понимает? Я еще увижу, как он побежит отсюда с сумой!

А Нута тем временем черпает из своего колодца нефть да черпает, в день по двадцать бочек вывозит на нефтеочистительный завод. А Иона стоит у своего сарая, считает Нутины бочки и прямо задыхается, прямо зубами скрежещет от злости и зависти. У Нуты на участке шум, крик, полно подвод и лошадей, а у Ионы пусто да печально, только слышен скрип ворота, подымающего бадью с грунтом, да визг насоса, которым качают в колодец свежий воздух.

— Иона! — кричит из-за забора Нута.

— Что тебе? — отвечает Иона.

— Верно, что ты завтра забиваешь свой колодец?

— Дай боже, чтобы твое слово было сказано в добрый час.

— А я хотел тебе что-то сказать.

— А что такое?

— Если завтра не забьешь, так продай его мне.

— Подавись своим.

— Ну, зачем сердишься? Я тебе верну все затраты и дам пять шисток отступного.

— Чтоб тебе твой язык вывернуло из твоего трефного рта!

— А знаешь что, Иона?

— И знать не желаю.

— Я вижу, ты добрый человек. Как зароешь все свои деньги в землю, поступай ко мне в приказчики.

— А ты, когда нищим станешь, приходи ко мне по два раза в неделю, каждый раз получишь «феник».

— Хорошо, Иона! Запомню, а ты запомни, что я тебе сказал. Да не забудь, как соберешься продавать колодцы, так уж по соседству обратись ко мне первому. Хорошо заплачу.

— Чтоб тебе не дождаться платить, а мне получать с тебя! — кричал рассвирепевший Иона и прятался в свой сарай.

IV

И все, о чем шутя говорил Нута, должно было исполниться. Эта перебранка происходила в четверг, а в пятницу после полудня работаю я смену в колодце, чувствую — угарно становится, и все сильней, сильней, начинает мне память отшибать. Звоню я тому, который при насосе, чтобы качал вовсю.

— Что там, Иванюня? — кричит сверху Иона.— Есть угар?

— Да, есть.

— А пускает слюни колодец?

— Нет, не видать.

— А не булькает?

— Нет, не слыхать.

Только сказал, а тут — смотри! Чуть ударю киркой по глине, а из-под кирки — пшш! Угар идет, словно из кузнечного меха дует. А потом начинает проступать что-то вроде пены, будто пузыри.

«Э, думаю, быть завтра полуйке! А то еще и сегодня будет. Но не Иона даст нам ее справить. Хорошо, что у него скоро шабес начинается! Справим мы полуйку сами, да такую, что будет о чем вспоминать».

Думаю так и прислушиваюсь. А подо мной будто что-то живое в земле шевелится, булькает, кажется — вот-вот вырвется и зальет. И угар душит меня, хотя тот, что при насосе, качает изо всей силы.

Остановился я, соображаю, что тут делать, а Иона уже кричит сверху:

— Ну, Иванюня, что ж ты стоишь?

— Измучился, и угар душит.

— Может, слюнится?

— Где там слюнится!

— А может, булькает?

— Булькает, булькает.

— Ой, правда? Ну, Иванюня, скажи!

— Булькает, только у меня в животе, поздно обедал сегодня.

— Чтоб ты всегда шутил, а не хворал. Ну-ну, долби, пусть бадья не ждет.

«Чтоб ты задубел, жидюга!» — подумал я. А тут чувствую — еще разок долбану как следует, сразу же нефть забьет. Разумеется, хозяин увидит, поднимет шум, поставит сторожей — и наша полуйка пропала, получим самую каплю. А мне очень этого не хотелось. Вот я и принялся долбить, только не дно, а по сторонам колодца. Да только и тут отовсюду из-под кирки пшш, пшш! Что за диво! Вдруг будто пудами пригнало эту самую нефть, так и слышно, что со всех сторон напирает, давит. Я уже и так, и сяк, и вожусь, и ковыряюсь, чтоб дотянуть до вечера, а все подаю в ведре одну сухую глину без следа нефти. Потом начала моя лампочка чихать. Угар в колодце слишком большой. У меня голова хоть крепка, а тоже начала сдавать. Все кружится, перед глазами круги забегали, сперва зеленые, потом красные, тошнит, словно в горло засунули сухую ложку,— нет, больше невмоготу! Звоню я, чтоб меня вытаскивали.

— Ну, Иванюня,— кричит Иона сверху,— что там?

— Тащите, плохо мне! — кричу. И, схватив обеими руками кирку, я изо всех сил всадил ее в уже склизкую от нефти глину на дне колодца, а к концу ручки привязал тонкую, но крепкую веревку, которая была у меня за поясом на всякий случай.

— Тащите! — кричу еще раз.

Потащили меня наверх. Пока тащили, я помаленьку отпускал эту веревку из-за пояса, а конец ее привязал к сучку на срубе уже перед самым выходом из колодца. В колодце темно, им сверху этого не видать, а я себе свое знаю.

Вытащили меня, и я сразу повалился на землю, как мертвый.

— Ой-ой,— закричал Иона,— он угорел! Иванюня! Иванюня! Что с тобой? Ты слышишь меня?

Я слышу хорошо, но притворяюсь мертвым. Надулся, посинел. Еврей даже руками всплеснул:

— Ай-ай! Спасайте! Оттирайте! Воды!

— Водки! — крикнул тот, который воздух качал.

Иона бросился доставать из своего мешка водку. Пока меня терли, да приводили в чувство, да подкрепляли, уже начало смеркаться. Мне только того и надо.

— Ну что, Иванюня,— допытывается Иона, наклоняясь надо мной с водкой,— есть что-нибудь в колодце?

— Черт с лапами есть! Один угар.

— А *нефти нет*?

— А сгори она там вся, и ты вместе с ней!

— Ну-ну, зачем так говорить? Она все-таки дар божий.

— Чертов, не божий! Еще ничего нет, а я едва душу не погубил.

— Ну, а как думаешь, будет что-нибудь?

— *Конечно*, будет, да *неизвестно* когда. Угар есть, а нефти не слышно.

— Она подойдет, Иванюня, она подойдет,— радостно говорит хозяин.

— Сама не подойдет. Надо прокопать еще с сажень, тогда, может, и подойдет.

— Ой,— закричал Иона как ужаленный.— Еще сажень? А я думал сегодня на ночь забивать.

— Можешь забивать, коли хочешь. Но от этого одна корысть — в колодце наберется столько угара, что завтра придется до полудня в два насоса работать, пока человек сможет сунуть нос в колодец.

Иона стоял в нерешительности. Он прямо трясся, его била лихорадка от нетерпенья, но, с другой стороны, он знал хорошо, что я тоже не привык бросать слова на ветер. Еще минуту он пробовал спорить.

— Эй, Иванюня, а не обманываешь ты меня?

— Ну тогда сам лезь в колодец и попробуй!

— Ну-ну, я ничего! Разве я что? Пусть будет так, как вы говорите! Так, по-вашему, нынче еще нельзя забивать?

— Наоборот, надо оставить колодец открытым, чтобы угар выходил. До нефти еще не близко.

— Но вы тут ночуйте! А вдруг ночью нефть пойдет? А если что случится, слышите, Иванюня, дайте мне знать!

— Да уж вы, Иона, не беспокойтесь,— говорят нефтяники.— Иван и хотел бы уйти, да не уйдет никуда — слаб.

— Вы уж не оставляйте его одного.

— Что, еще и нам всем ночевать у вашего колодца? Да пропади он пропадом! Видано ли это, чтобы нефтяник, имея деньги в кармане, не пошел прогуляться? Слышите, вон уже у Менделя в бараке играет музыка. Давайте деньги!

— Нет,— говорит Иона.— Знаете, дорогие мои, ночуйте нынче здесь! Я вам завтра заплачу, не посмотрю, что шабес. А нынче я вам ничего не дам, чтобы вас не тянуло гулять. При-

несите себе сюда хлеба, водки, колбасы, я сейчас прикажу Менделю, чтобы прислал вам всего побольше, а сами не ходите никуда. Прошу вас, уж эту ночь не уходите. Постерегите колодец! Мне все кажется, будто этой ночью случится что-то. А ежели, в добрый час будь сказано, случится что, прошу вас — хоть поздно ночью, но сейчас же дайте мне знать.

Он говорил без умолку, старался нас задобрить, уходил, и снова возвращался, и упрашивал, и лебезил. Видно было, что страх как не хотелось ему уходить. Ежеминутно подходил к колодцу, заглядывал в его темную пасть, нюхал тяжелый нефтяной угар, валивший из колодца клубами, и все слушал, не булькает ли внутри. Так и тянуло его взять лампу, чтобы при свете заглянуть в колодец, но это была опасная забава — мог произойти взрыв. Я все еще лежал, будто больной, в углу сарая на охапке соломы, служившей постелью тому, кто оставался ночевать у колодца. Лежу и мучусь: а вдруг чертова нефть забьет в эту минуту, зашипит, заклокочет, забулькает! Не раз мне даже слышался этот клекот, но это только казалось. Наконец кое-как Иона ушел. В небе замигала первая звезда, ему было пора садиться за субботний ужин. Я поднялся с соломы и проводил его глазами почти до конца улицы. Иона жил с женой и детьми в селе, в доброй четверти мили от колодца.

Ну, ушел! Не видать! Теперь уж, понятно, не вернется...

V

— Эй, хлопцы! — крикнул я своим нефтяникам.— Сюда! Ко мне!

— А что такое?

— Будет полуйка!

— Когда?

— Сейчас.

— Как сейчас? Разве есть кипячка?

— Нет еще, но, если я захочу, сейчас будет. Сбегайте кто-нибудь к Нуте. Сдается, он еще на своем участке.

— Я слышал, еще галдит там со своим приказчиком,— подтвердил один нефтяник.

— Бегите к нему, зовите его сюда, но так, чтобы никто не знал, зачем.

Один вскочил, перемахнул, как собака, через забор и побежал искать Нуту, а я тем временем ощупью полез к колодцу.

— Хлопцы! Двое ко мне! Держите меня за ноги! Да покрепче!

Они, не говоря ни слова, схватили меня за ноги. Тогда я, перевесившись через край колодца, сполз по срубу так, что одни ноги торчали наружу, нащупал на сучке веревку, которую привязал к нему, когда меня вытаскивали наверх. Угар из колодца душил меня, но мне было все равно. Крепко обмотав веревку вокруг руки, я шепнул своим хлопцам:

— Тащите!

Потащили. Я сильно дернул за веревку, вырвал кирку, которую всадил в дно колодца, и ее острие — я чувствовал это — отвалило добрый ком глины. И в тот же миг в колодце засвистело, зашуршало, зашипело, словно три десятка лютых змей, а потом забулькало, заклокотало, как кипяток в большом котле. Мои товарищи поняли:

— Нефть!

В ту же минуту в сарай вбежал Нута.

— Ну, что у вас?

— Слушайте, Нута!

Он недолго и слушал.

— Ну, в добрый час, в добрый час! — сказал он так, словно почувствовал оскомину.— А зачем вы меня звали?

— Не знаете зачем? Это наша полуйка. Купите ее.

— А!

Он вскрикнул так радостно, будто нашел на дороге сто гульденов.

— Хорошо.

— Почем даете?

— Как обычно: десятка за бочку.

— Сколько у вас бочек порожних?

— Те, что на подводах, все двадцать пустые. Мой колодец вычерпали; я забил его.

— Ладно. Готовьте деньги. А мы, хлопцы, за работу!

Сейчас же мои хлопцы бросились, разобрали часть забора, прикатили подводу с бочкой, положили в ведро тяжелый камень, опустили в колодец. Недолго и шло оно вниз! Через минуту вернулось полным. Тотчас же мы принесли от Нуты еще три ведра, прицепили все четыре на один вал, на два каната — и ну черпать! Через полчаса бочка полная — назад с ней на Нутин участок! Новую давай!.. Через полчаса эта полная — назад с ней! Новую давай!..

Поработали мы так до самого утра. Нуты при этом не было, но его приказчик, отпустив сторожа, сам сидел всю ночь в своем

сарае. Ни свет ни заря — все двадцать бочек Нуты были полны. Тогда мы забор назад поставили, следы загребли, навели на своем участке порядок и, получив — нас было восьмеро — по двадцать пять гульденов на рыло и еще сверх того десятку на водку, легли спать как ни в чем не бывало.

Мы и минутки не пролежали, не успели и задремать — бежит наш Иона.

— Что слышно? — были первые его слова. И, не ожидая ответа, он — прямо к колодцу. Не надо было и заглядывать в него: во́роты, канаты, сруб — все было черно, со всего так и капала нефть.

— Иван! Иван! — закричал он не своим голосом, тряся меня за плечо.

— Что там? — буркнул я, будто спросонок, хотя не спал и слышал все хорошо.

— Что случилось?

— Да сами видите.

— Есть нефть?

— А есть.

— А почему во́рот мокрый? Почему сруб мокрый?

— Это нефть забила и все забрызгала.

— Ой-ой! Забила! Так уж сильно забила!

— Видите, нас всех обляпала.

— Вас всех? Как это так?

— Да так, только начало в колодце шипеть да свистеть, мы проснулись и бросились к нему. А в этот миг как забьет нефть, так нас всех и обляпало.

— Ну, Иванюня, этого не может быть! Вы меня обманываете!

— Поглядите на меня, как я выгляжу!

И правда, я выглядел как черт, весь перемазанный в нефти. Мы ночью об этом и не подумали, а теперь приходилось отбрехиваться. Но если хозяин вчера был как в лихорадке, сам не свой, то сегодня, уверенный в успехе, стал хладнокровней, будто его облили холодной водой.

— Эй, Иванюня, что-то мне не верится! Я еще не слыхал, чтобы нефть так била.

— А я слыхал и своими глазами видел.

Тем временем на участке становилось все светлее, и стало видно, что земля свеже взрыта и залита нефтью, виднелись и следы колес, которые вели к самому забору Нуты. Иона так и пожирал глазами эти следы.

— Иванюня, а что это за следы?

— Какие?

— Да вот, будто тут телеги въезжали и выезжали с участка.

— Вы, может, и лошадиные копыта увидите? Верно, черт в карете заезжал и вам богатство в колодец бросил.

— Нет, Иванюня, не шути! Что это за следы?

— Да это от наших тачек следы. Мы еще вчера вечером вывозили глину из сарая.

— А! А почему тут всюду нефтью накапано?

— Да что вы, Иона, выдумываете? Что вы пристаете? Накапано, потому что нефть забила и накапала. Ведь мы вашу нефть не украли. Возьмите ее себе! Вон там ее, верно, полный колодец.

— А может, вы ее украли, Иванюня, а? Знаете, я не хочу сказать ничего худого, но мне сдается, что вы уже немного черпали ее.

— Ага! — закричали нефтяники, которые, все еще лежа в сарае, молча слушали этот разговор.— Теперь мы вас поняли, Иона! Вы говорите так, чтобы не дать нам полуйку.

— Конечно, не дам! — закричал Иона, даже подпрыгнув от злости.— За что мне давать? Вы сами ее справили, вы не известили меня! Вы меня обокрали! Вы целую ночь черпали мою нефть. Караул! Воры! Караул! Разбойники! Что мне делать?

Иона начал кричать и метаться по сараю как сумасшедший.

— Успокойтесь, Иона,— сказали мы ему тихо, но выразительно.— Успокойтесь, вам же будет хуже. Есть ли у вас хоть один свидетель того, о чем говорите?

— Я найду!

— Найдите, тогда и говорите. Жалуйтесь на нас в суд. А теперь успокойтесь! И заплатите нам за работу.

— Заплатить? За что вам платить? Вы обокрали, ограбили меня, а я еще должен вам платить?

Это было уже для нас слишком. Вижу, мои хлопцы зубы стиснули, а это дурной знак. Если человек натощак зубы стискивает — берегись.

— Хлопцы! — обращаюсь к ним.— Успокойтесь, Иона шутит.

Но Ионе было не до шуток. Его глаза, как мыши, все время бегали по следам колес, от сарая к забору и обратно. Потом он не выдержал, выскочил из сарая, как кот вскарабкался на забор и посмотрел на ту сторону.

— Ай-ай! А тут что! А тут что! — закричал он, схватился за пейсы, и тут же как грохнется с забора...

— Да что там, Иона?

— Я сейчас же бегу в Дрогобыч! Подаю в суд. Пошлю за полицией. Это кража! Разбой на большой дороге! Да тут, как на ладони, все видно, куда мою нефть возили. Целые лужи налито!

— Не будьте дураком, Иона! Ведь при вас же вчера Нута возил нефть — свою, не вашу. Еще как раз под забором одна бочка лопнула. Вы сами видели, сами смеялись! — так говорили Ионе нефтяники. Но Иона не переставал охать.

— Слушайте, Иона,— обратился я к нему, когда он вошел в сарай,— не пробуйте на нас отыграться. Заплатите лучше нам за работу, дайте нам на полуйку, что следует, и расстанемся по-хорошему.

— Ну, конечно! — закричали нефтяники.— Ежели вы ни за что ни про что обозвали нас ворами, мы у вас больше работать не станем! Ищите себе других рабочих.

— Овва! И найду! — закричал Иона.

С болью в сердце он выплатил нам, что полагалось, еще с полчаса нам пришлось торговаться с ним из-за полуйки, и мы едва вырвали ее у него, как у собаки из зубов, и тогда распрощались с ним.

— Прощайте, Иона! Дай бог, чтобы этот колодец был так же щедр к вам, как вы к нам! — крикнул ему один, уходя.

— И чтобы вам не дождаться больше кому-нибудь полуйку давать! — поправил другой.

А Иона все еще стоял в сарае, потихоньку охал и со страхом и любопытством присматривался к плохо затертым следам, которые вели из его сарая к забору Нуты.

VI

Ну, не смешно ли? Как ему пожелали нефтяники, так все точь-в-точь и вышло!

Всю ту субботу шнырял Иона по участку, бормотал, причмокивал, охал, а потом собрался и отправился к раввину. Пожаловался на Нуту. А я у Нуты стал на работу, поэтому все знаю от него самого. Пожаловался раввину на Нуту, что тот обокрал его, а Нуте плевать. Смеется. Что ему раввин сделает? Нута на нашей полуйке заработал чистых пять сотен — ему горя мало!

Начал Иона на улице приставать к Нуте, начал бросаться на него, совсем обезумел. Видно было, что человек понемногу с ума сходит. А все одно твердит: обокрали меня, ограбили!

Да и колодец, в котором показалась нефть, принес ему убыток. Иона нанял новых рабочих, начали черпать, начерпали что-то около пяти бочек нефти — и все. Забил Иона колодец, переждал день — пусто, переждал второй — пусто. А у Нуты хоть не такой глубокий колодец, нефть идет да идет. Я, работая у Нуты, вижу, бывало, как Иона ходит около своего сарая, разводит руками, бормочет что-то, остановится и снова бежит, заглядывает в колодец и сам не знает, что с собой делать. Не раз у меня язык чесался подшутить над ним, но опять-таки и жалко мне его было. Мы, по правде сказать, немного обидели его. Но кто же знал, что колодец так быстро иссякнет?

— Иона,— говорю ему однажды из-за забора.

Он даже вздрогнул, услыхав мой голос, будто бы его внезапным выстрелом разбудили.

— Не бойтесь! Это я, Иван.

— Ну, что тебе надо?

— Послушайтесь вы меня, Иона,— говорю ему от чистого сердца,— бросьте вы этот колодец, ройте вон там, в ложбинке.

Он не ответил ничего, но в самом деле послушался. На другой день его рабочие заколотили этот несчастный колодец и принялись рыть другой, начатый в ложбинке. Работали там несколько дней. Казалось, Иона успокоился немного, только глаза у него блестели каким-то безумным огнем, а на улице, когда шел, не узнавал никого.

И однажды слышим: кричат на Ионином участке. Нефтяники бросили работу и кличут Иону. А он как раз тогда сидел, а может быть, дремал в том самом сарае, где мы справляли полуйку.

— Хозяин! Хозяин! — кричат нефтяники в ложбинке.— Идите-ка сюда!

Был как раз полдень. Мы отдыхали, в колодце не было никого, поэтому, услыхав крик, выбежали из сарая.

— Ого,— говорю я,— у Ионы сегодня полуйка будет!

В этот миг выбежал Иона из сарая и, должно быть, услыхал мои слова, потому что на бегу крикнул в нашу сторону:

— Ага, черта получите, а не полуйку!

Мы расхохотались, влезли на забор и смотрим, что будет. А Иона, еще не добежав до колодца, кричит издалека:

— А что, есть нефть?

— Есть.

— А не бьет?

— Нет.

— А много?

— Да уже с полколодца.

И полушутя, полурадостно один прибавил:

— То-то полуйка будет!

Тут Иона вовсе обезумел. Бросился на бедного рабочего — и хлоп его по лицу!

— Вот тебе полуйка! А, голодранцы! А, разбойники! И вы хотите меня обокрасть? Не дам! Не дам! Ничего не дам!

И он, совершенно ошалев, бросился к колодцу и, раскинув руки крестом, упал на него, чтобы закрыть собой источник своего богатства. Жерло колодца было довольно узкое; стоя на коленях над самым срубом и ухватившись широко раскинутыми руками за его края, Иона закрывал собой колодец, будто у него хотели его отобрать, и все кричал:

— Не дам! Ничего не дам! Караул! Помогите! Разбойники!

Отовсюду начали сбегаться люди и, увидев над колодцем Иону и не понимая, чего он хочет, думали, что произошло какое-нибудь несчастье, что кто-нибудь упал в колодец или задохся. А у меня прямо сердце похолодело.

— Хлопцы! — крикнул я рабочим, стоявшим вокруг колодца.— Он рехнулся! Оттащите его от колодца! Живо!

— Пусть его черт возьмет! — буркнул, не двигаясь с места, рабочий, ни за что получивший пощечину.

И в тот же миг Иона, угорев от испарений, валивших из колодца, схватился обеими руками за грудь, так как ему не хватало воздуха, и, потеряв опору, только мелькнул, взмахнул туфлями и, как галушка, бултыхнулся в колодец. Нефть, которая должна была обогатить его, принесла ему смерть. А полуйки своим нефтяникам так и не дал справить.

Его вытащили только через три дня,— к колодцу из-за угара нельзя было подступиться.

[*1899*]

ЧАБАН

На глубине ста метров под землей в десятиметровой штольне, в духоте и нефтяных испарениях трудится рабочий. Непрестанно ударяет он киркой в глинистый грунт, отбивает от него куски. Но глина твердая, скупая и только по небольшому кусочку дает отрывать части своего тела. Она глухо гудит и стонет под ударами кирки, словно плачет, словно угрожает; она покрывается зловонным потом, но не поддается, упрямо охраняет скрытые свои, потайные клады. Рабочий, здоровенный па-

рень, недавно прибывший с гор в Борислав на работу, начинает злиться.

— Г-ге! — приговаривает он, ударяя изо всех сил в ямку, в которую ударял уже три раза, но никак не мог отколупнуть ни кусочка породы.— Ах, мать честная! Долго ли ты будешь держаться? Пусти!

И он изо всех сил ударил киркой в ямку, чтобы оторвать кусок. Кусок наконец поддался, и рабочий взял его обеими руками и бросил в бадью.

— Вот еще собака! Ступай на свет! Попробуй солнца! — приговаривал он.— Ну-ну, сердечный! Я не шучу! Со мной шутки плохи, справлюсь и не с таким! Ты не знаешь, что значит семьсот овец. Это тебе не комок глины, а я и с овцами справлялся.

И он берет бадью с породой, несет ее к шахте, подвешивает к канату и звонит, чтобы тащили, а сам с пустой бадьей возвращается назад в штольню и принимается снова долбить землю. Его мысли бегают вслед за овцами по пастбищу, и он, чтобы преодолеть одиночество и темноту, упивается своими мыслями, говорит о них и с глиной, и киркой, и с путой бадьей, и с топором — вот и все его общество тут, в этой бездне.

— Ты думаешь, милый, это пустяк — семьсот овец! Да ведь все они живые, у каждой свой разум. Небольшой умишко, конечно, тварь бессловесная, а все-таки и он богом дан. Вот в лес овца зайдет или на пастбище — уже и держится стада. Не разбегаются одна туда, другая сюда, как коровы или быки. А все вместе. Г-ге!

— А медведь, ворюга, только и ждет этого. Ого, он тоже разумный! Да еще как! Недаром медведь — пан Кулаковский! Сидит за колодой и ждет, пока целый гурт овец не появится среди бурелома, а тогда только — скок, и все — его, как в овчарне. И всех задерет, до одной. А они, бедняжки, даже не блеют, только собьются в кучу и тихо ждут своей смерти. Г-ге!

— Палка в руке, ружье через плечо, дудка за поясом — так я, милый, каждое утро выходил с овцами. Три пса! цу-цу! Перед отарой один, два по бокам, а я сзади. Иду, иду и стану. Овечки, как рой пчелиный, рассыпались по зеленому. Черная кучка, белая кучка, черная кучка, белая кучка. Тут щипнет травки, там щипнет — и дальше и дальше. Не пасется, как скотина, только щиплет, будто ребенок, будто играет, будто спешит куда-то. А впереди бараны, командиры. Отару не надо заворачивать, только их. А бир-бир! А дря-у!

Пастушьи крики раздаются в темной штольне, сливаясь с глухими ударами кирки.

— А хорошо там у нас, в горах, на пастбище! Ой, хорошо! Красиво! Не так, как тут у вас, чтоб вам...

Он хотел выругаться, но ударил себя ладонью по губам. Его душа была теперь в атмосфере поэзии, среди живой природы, чуткой и зрячей, и он боялся оскорбить ее — подвластный ей.

— Хорошо там у нас! Ой, господи! Сколько человек внаймах ходил, мытарствовал, на чужих работал, а все-таки не жаль вспомнить. Выйдешь на поляну, зелено вокруг, только «головатни» [1] прижались к земле своими белыми головками, словно любопытные глаза выглядывают из травы и мха. Холодно. Ветер дует. Дышишь широко, полной грудью. Все вокруг благоухает, все так и дышит на тебя здоровьем и силой. Внизу лес окружает поляну черной стеной, а над тобой поднимается круглая вершина. Тихо вокруг, только овцы шуршат папоротником, изредка где-нибудь пес тявкает, зеленый дятел застучит в лесу или закричит белка. А я иду себе потихоньку, стану, сопилку из-за плеча — да как заиграю, как залью песней, как заведу,— прямо сердце в груди пляшет или слезы на глаза навертываются. Г-ге! Чтоб тебе! Пусти! Г-ге!

Звонок сверху. Прибыла пустая бадья. Рабочий берет свою полную, относит к шахте и отправляет наверх, а сам возвращается с порожней. Возвращается в воинственном настроении, потому что начинает ощущать голод. Яростно бьет киркой, отрывает глину большими кусками, в мечтах борется с медведем.

— Го-го! Дядя медведь! Нет, не будет по-твоему! Одна овца будто и ничего, но сегодня ты зарезал одну, завтра зарежешь две, а послезавтра передушишь мне полстада. Нет, дружок! Такого уговора у нас не было. Ты думаешь, я ружье только для вида ношу? Го-го! Уж я не пожалею ночи, уж я подкараулю тебя в буреломе! Мне все одно, смерть или жизнь, а с тобой должен свести счеты.

Он ударил раз-другой — и остановился, отдыхает, опираясь на кирку.

— Ворюга, медведь! Три ночи промучил меня! Будто пронюхал — не приходил! Но меня не проведешь! Уж раз я взялся — не выпущу. На четвертую ночь таки пришел. Темно, хоть глаз выколи. Ветер стонет в верхушках пихт. Ручей шу-

---

[1] Горный будяк, низкорослый, так что его цветы, величиной с кулак, торчат у самой земли.

мит внизу, а я, притаившись среди корней огромного дерева,— глаз на мушке,— сижу, жду. Слушаю. Уже слышу — идет, знаю — должен пройти мимо меня, и сижу, затаив дыхание. Хрусь-хрусь, уже близко. Таращу глаза — идет дядюшка, как копна сена в темноте. Морду поднял, нюхает, идет медленно, осторожно. У меня глаза чуть на лоб не вылезли, так присматриваюсь, чтобы угодить ему прямо под левую лопатку. Почуял порох. Поворачивается на месте, стрекача задать, а в ту минуту — бух-бух! Из обоих стволов картечь я и всадил. Даже пасти не разинул дядюшка, как громом его поразило, грохнулся наземь. Да только на минуту. Через минуту вскочил, зарычал, поднялся на задние лапы — да прямо на меня. Видно, не попал я ему в сердце. А я уже сижу, не шевелюсь. Бежать некуда, заряжать — времени нет. «Ну, думаю, если я плохо стрелял, только задел его,— тут мне и конец. А впрочем, божья воля. Один раз помирать». Пока что у меня еще топор за поясом. Сплюнул в горсть, схватил топор, перекрестился, стал как следует, чтобы ноги в корни упирались, плечами прижался к комлю упавшего дерева, который, словно стена, торчал в небе, стиснул зубы, наклонил голову, чтобы лучше видеть, и жду дядю. А он уже вот-вот. Хватается лапами за корни, нюхает и рычит, как рассерженный пьяница, который не может сказать слова разумного, только понимает, что зол, и рычит и лезет вперед. Вот он учуял мою ногу и провел по ней лапой. Так, будто ожег крапивой, не больше. А в тот же миг острие моего топора по самый обух врезалось в медвежью башку, разворотило ее вконец. Он еще раз застонал, так тяжко, так жалобно, как грешная душа в муках, и повалился наземь, исчез в глухой тьме, в яме под буреломом. А я и топор не успел вытащить, так с медведем и покатился вниз. А потом как выскочу из бурелома, да чащобой, да на тропу, да лесом, да на поляну, да над обрывом, можжевельником,— духом очутился на пастбище, возле кошары. Стучу. «Это ты, Панько́?» — спрашивает из кошары старшой. «Да я, отворите». Поднялся он, зажег фонарь, отворил. «Ну, что?» — «Да ничего»,— говорю. «Был медведь?» — «Да, был».— «И ушел?» — «Нет, не ушел».— «А где ж он?» — «Лежит».— «Что ты...— Старшой не докончил.— Ой, миленький, а что у тебя с ногой?» — крикнул. «С ногой?» Я и сам не знал, что у меня с ногой, и только теперь, взглянув, увидел, что лапоть, и вся онуча, и завязки в крови, и кровь заливает следы. Раз, только разок мазнул меня дядюшка медведь когтем по ноге и сразу разодрал и обувь, и онучу, и ногу до самой кости. Когда размотали онучу, я сомлел, крови много вытекло. Но старшой,

спасибо ему, умел заговорить, остановить кровь, приложил какой-то мази, и через неделю я был уже здоров. А медведя на другой день нашли мертвым, с моим топором в башке.

Снова звонок, снова тащит рабочий полную бадью породы к шахте и приносит новую и, вновь копая, разговаривает сам с собой, наполняет глухое подземелье не только стуком своей кирки, но и звуками своих слов, поэзией своих лесов и пастбищ. По мере того как голод его возрастает и он слабеет от усталости и тяжелого воздуха, его мысли становятся более грустными. Он вспоминает овсяные коржи, картошку и жидкую овсяную похлебку, которые составляют зимой всю его еду, скучную молотьбу и еще более скучное ничегонеделанье в великом посту, голодные дни перед новым хлебом, болезни, ссоры из-за ломтя хлеба или недопеченной картошки. Он вспоминает о том, как теперь овчарский промысел хиреет из-за того, что пастбища скупили спекулянты,— им выгодней пасти волов, чем овец. А при волах уже не та служба, как при овцах. О, тут тяжелая, плохая служба! Тут уж не покушаешь ни сыворотки, ни свежего творога, ни брынзы, ни кулеша из кукурузы на овечьем масле. Живи, как пес, и сторожи, как пес! И он вскоре оставил эту работу, послушался товарища, который посоветовал ему идти в Борислав, заработать денег, пойти в приймаки (с деньгами теперь всюду примут!), жениться и хозяйничать. И он припомнил даже песенку, которой научил его этот товарищ:

Ой, піду я в Бурнславку
Грошей зароблятп —
Повернуся з Бурнславки,
Буду газдувати [1].

Он попробовал спеть эту песню громко, как он, чабан, обычно пел,— но нет, как-то не выходило. Как-никак, а в штольне, на глубине ста метров под землей, не пелось.

И он с каким-то остервенением продолжает долбить землю. Он уже ненавидит ее, эту темную, тяжелую, немилосердно твердую землю, которая так упорно не поддается его кирке.

— Ну и тверда ж ты, святая земелька! — говорит он.— И бог тебя знает, святая ты или нет?

Он останавливается, выпрямляется и начинает размышлять над этим вопросом, будто он невесть какой важный.

— Да и правда, святая ли она тут? Наверху, там, конечно, святая. И воду святят, и кропят, и божье слово на ней читают.

---

[1] Ой, пойду я в Борислав // Деньги зарабатывать — // Ворочуся из Борислава, // Обзаведусь хозяйством *(укр.)*

Но тут? Ведь с тех пор как мир пошел, сюда, наверно, ни капли святой воды не попадало, ни одного божьего слова. Недаром тут такой угар. Наверно, это не от святого, а от проклятого. Ведь из этого воска нельзя делать свечей для церкви, видать, что это нечистое, поганое! Прости, господи, грехи мои! Человек в такое место лезет, собирает нечистое. А пойдет ли это ему впрок? Ой, нет, миленькие, нет! Не впрок оно идет! Вот товарищ, что мне советовал сюда идти, разве не погиб в такой же самой штольне? Засыпало его, задавило, даже тела не достали. Подавился им нечистый! Ой, господи!

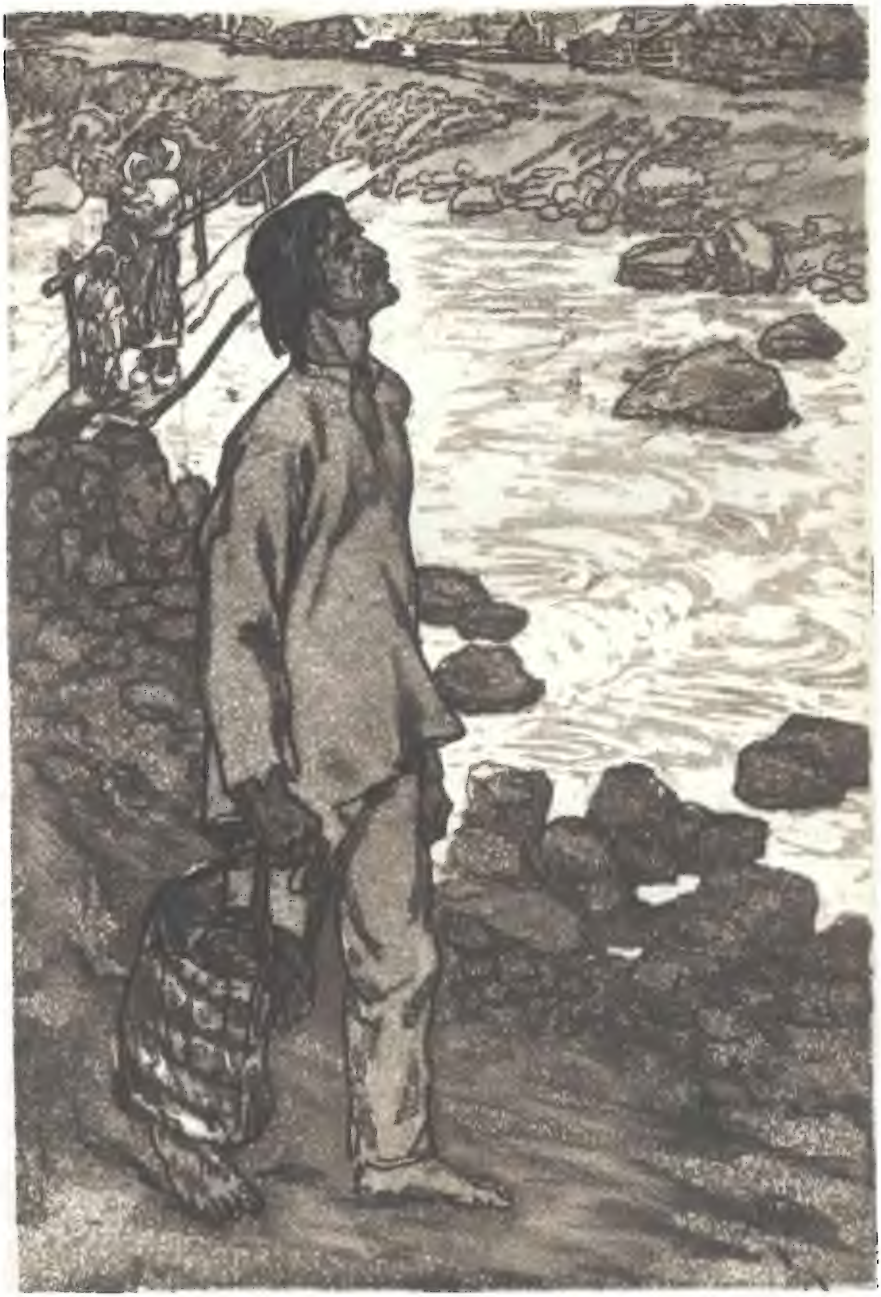
И он крестится и начинает еще упорней долбить. По урчанью в животе он чувствует, что уже скоро полдень, и ждет тройного звонка, минуты, когда ему прикажут вылезать. А тем временем его фантазия работает без устали, разворачивает перед ним все новые образы, и прежде всего прекрасные, тихие, светлые образы пастбищ, лесов, овечьей отары и всех нехитрых происшествий чабанской жизни. Брошенный судьбою в глубокую подземную штольню, он чувствует, что эти давние дни минули бесповоротно, что его дорога повернула в другую сторону, что он из давней патриархальной жизни перешел в новую, незнакомую его дедам и прадедам, на первых порах страшную и диковинную, но кое в чем более свободную, привольную, широкую, чем старая. Но эта старая жизнь живет в его воспоминаниях; от нее осталось как раз столько, чтобы поэтическим очарованием заполнить и оживить мрак и одиночество новой жизни. Так порою солнце зайдет за тучу, и от всей пышности летнего дня, от всего богатства света и красок останется лишь столько, чтобы золотым сиянием облить краешки тяжелых туч, нависших на западе.

[*1899*]

МОЯ ВСТРЕЧА С ОЛЕКСОЙ

(Рассказ Мирона Сторожа)

Я человек прòклятый, ненавидимый, изгнанный из среды «порядочных» людей,— одним словом, подвергнутый проскрипции. Подвергнутый проскрипции — это самое подходящее определение. Это не значит, скажем, что совесть моя восстает против меня или что-нибудь в этом роде,— нет, это означает только, что люди «уважаемые» (если хотите, можете назвать их «богатыми», «сильными», «практическими» — это по сути одно) вытолкнули меня из «уважаемого» и «порядочного» общества,— то есть попросту из своей среды. И совершенно справедливо! Мое имя вместе с именами нескольких подобных мне «во время оно» облетело весь край, было пугалом для «мирных и верноподданных граждан», с моим именем у всех у них связано представление о перевороте, революции, резне. Правда, в то время, когда «защитники существующего порядка» подняли страшнейший вой, я и мои товарищи спокойно сидели за тюремной решеткой, подсчитывая дни краткой жизни, потраченные бесплодно, впустую. Но допустим даже, что на деле все это было не так, что мне и моим приятелям перевороты и революции и не снились,— что ж из того? Разве недостаточно одного факта, что я сидел в тюрьме, чтобы навеки запятнать меня в глазах «честных» людей? Да, но всеведущий и всемогущий суд и в самом деле признал меня виновным, и в самом деле усмотрел в моем организме революционную жилку, в моей крови обнаружил каплю той крови, которую французские «защитники порядка» не успели выпустить до конца в 1872 году, в моих глазах разглядел искру того огня, который может поджигать дома «мирных граждан» не хуже керосина. Одним словом, на суде я оказался кругом



Сам виноват

виноват,— значит, пренебрежение и проклятия «порядочных» людей совершенно справедливы.

Я вовсе и не жалуюсь на это, потому что, кто знает, может быть, мне даже и легче стало, когда, выйдя из тюрьмы, я почувствовал себя свободным, как птица в воздухе (как говорят немцы — vogelfrei [1]). Я испытывал тогда нечто похожее на то, что чувствует ученик, по окончании курса выходящий из школы. В руках у него хороший аттестат, а в голове блестящая, заманчивая перспектива приятных вакаций. И я также прошел курс наук «порядочных» людей, просидел рядом с ними долгие годы и получил по окончании аттестат, правда, не совсем так написанный, как обычно, но все же освобождающий меня от дальнейшего сидения на проклятой парте. Я вышел на улицу, на свежий воздух. В голове моей теснились новые мысли, новые впечатления, и среди них все ярче обозначались звуки грустной и вместе с тем счастливой песни:

Обриваються звільна всі пута,
Що в'язали нас з давнім життям! [2]

Я чувствовал, видел, знал по тому, как сильно билось сердце, что это правда, что путы разорваны, что прежняя жизнь кончена,— а на первую минуту, на первый свободный вздох этого было достаточно.

Правда, чувство, каким бы оно ни было сильным и пылким, недолго горит,— век им не проживешь. После первого, хмельного взрыва оно быстро погасло, и я взглянул на свет более трезвыми глазами. Жизнь подвергнутого проскрипции, чужого среди людей, ненавидимого, от которого отворачиваются все те, кто еще недавно заверял его в своей дружбе,— такая жизнь всякому скоро надоест. И верно, увидишь одного такого, который отворачивается при встрече с тобой,— плюнешь и проворчишь: «Ничтожество! Ну его к черту!» Увидишь второго, третьего,— то же самое! Но под конец самому станет горько, тоскливо, отчаяние охватит. «Что это,— подумаешь про себя,— или я в самом деле так мерзок и страшен, или эти люди видят все шиворот-навыворот?» — «Да нет,— отвечаешь сам себе,— ни то, ни другое — все дело в том, что они «уважаемые и порядочные», а ты... ну, хватит!» На такой довод нечего возразить. Остается

---

[1] По-немецки одновременно означает: «свободный, как птица» и «лишенный покровительства закона».

[2] Обрываются постепенно все путы, // Связывавшие нас с былой жизнью! *(укр.)*

только два пути: либо, посыпав пеплом главу и разорвав и те последние «ризы», которые на тебе остались, плакать, вздыхать о невозвратном времени, когда и сам ты был «честным и порядочным», и идти «на распутия и стогны града» — просить прощения у каждого «порядочного» за страшное, хотя и не совершенное, преступление, либо раз навсегда плюнуть на всю эту «комедию», взвалить на себя «крест свой»,— иначе говоря, вступить добровольно, сразу, бесповоротно в ряды подвергнутых проскрипции и отверженных и, не оглядываясь назад, идти искать общества себе подобных. Разумеется, так я и сделал,— и, поверьте, я не только ничего на этом не потерял, а, напротив, достиг того, что теперь могу веселым, критическим оком глядеть на все минувшее, что «уважаемым и порядочным» людям совсем не так легко сделать.

Живя меж про́клятых и отверженных «порядочным» обществом людей, человек совершенно естественно вспоминает обо всех подобных ему «про́клятых», которых он когда-либо встречал. Вскоре это произошло и со мной. Со мной, собственно, это должно было произойти скорее, чем со всяким другим, потому что я таких «про́клятых» не только знал,— нет, они были мои свояки! Весь мой род, все Сторожи, от первого до последнего, были именно такими. Во всем селе ни один «порядочный» хозяин не произносил имени «Сторожи», не присовокупив: «Вот разбойники, чтоб их до корня выбило». Но этим дело не ограничивалось. Сторожи были притчей во языцех и козлами отпущения всей общины, точнее говоря — общинного начальства. Случится в поле потрава — скотина овес поела или потоптала, а виновника не поймали,— ого, вина падает на Сторожей! Срубил кто-нибудь в лесу дерево, а лесничий не уследил кто,— ну, прямо идет на Сторожевщину, и хоть никого и не найдет, а все-таки выльет свою злобу в целом потоке проклятий и всяческой ругани по адресу «этих воров, разбойников Сторожей». На их слова и оправдания начальники внимания не обращали: «Весь свет знает, что вы вруны и пустомели, готовы бога продать!» Где какая расправа, где продажа с торгов, штраф или общественная повинность — на Сторожей первых валится все, как из дырявого мешка. Одним словом, такие же отверженные, как и я!

Нужно ли говорить, что в этих условиях жизнь Сторожей не была счастливой? Их было три брата (мне они приходились двоюродными). После смерти отца, а моего дяди, они разделили меж собой его небольшой участок, поженились, отбыв военную службу, и начали «толкать перед собой свою беду». С детства

уже не было меж ними согласия,— нет, вру, бывали времена, когда более дружных и сердечных людей и не сыскать,— но случались и такие минуты, когда они ни за что ни про что дрались до крови, таскали друг друга за волосы, словно потеряв рассудок. Потому-то, поженившись, стали они жить в особицу, хотя хаты их стояли почти рядом. Понятно, что, разделив и до того небольшой отцовский надел на три части, они бедствовали и никак не могли прокормиться. Поначалу еще все шло так-сяк, но вскоре их злосчастный характер превратил всех «порядочных», то есть хозяев побогаче, в их врагов.

Еще гуляя парубками в нашем селе, все три брата выделялись среди прочей молодежи тем, что, как люди говорили, «очень уж были охочи до драки, вспыхивали, что твоя искра!». Чуть резкое слово, чуть неправда — они уже как огонь. В особенности в корчме редко когда обходилось без драки, если только там были Сторожи. Поссорятся два хозяина — они сейчас же вступятся за более слабого, того, что победнее. Не было такого богача, которому бы они не оставили по себе памятки. Однако вскоре забрали Сторожей на военную службу и продержали по двенадцать лет. Отец их умер, хата запустела, поле обрабатывал в эти годы мой отец, и односельчане мало-помалу совсем забыли о Сторожах. Но вот они вернулись. Старший, Олекса, вернулся первым (два других брата должны были еще год отслужить) и сразу же стал свататься. Мой отец помог ему на первых порах, ну и женился мой Олекса на дочке Маланчука. Старый Маланчук был хозяин совсем небогатый, у Олексы тоже денег не было, чтобы подняться. Первый год он, правда, обрабатывал все отцовское поле,— значит, было еще туда-сюда. Но когда через год вернулись братья с военной службы — пошли несогласия, затем ссоры, а потом и драки из-за отцовского наследства. Люди по всему селу разносили страшные слухи: Сторожи, мол, заперлись в хате и рубят друг друга топорами — никого внутрь не пускают, только крик слышен да кровь прямо в окна брызжет; и еще: хотят, мол, до тех пор биться, пока не останется только один из них, а тому пусть достанется все... и так далее. Из всех этих сказок верно было лишь то, что Сторожи не хотели обращаться в суд, а задумали сами поделить отцовское наследство, причем, разумеется, дело дошло до драки. Однако поделить все-таки поделили, и после никто не слышал, чтоб они жаловались друг на друга из-за раздела.

А на селе вместе со слухами об их драке ожили и все давние воспоминания. «Вот, вернулись разбойники,— снова будут людям головы проламывать! Точно не могли они где-нибудь там

себе шеи свернуть, в какой-нибудь пропасти»,— толковали сельские богатеи, покачивая головами и угощаясь водкой. К несчастью, слова их, и как раз насчет проламывания голов, сразу сбылись. Сторожи вскоре начали по-прежнему верховодить в корчме. Но военная служба оставила на них немалый след. Они ходили теперь какие-то угрюмые, отвечали на каждый вопрос резко, как топором рубили, а на богачей поглядывали еще более косо, чем прежде. Раньше, по крайней мере, хоть начальства побаивались, а теперь — какое там! На мирское начальство они как раз и точили больше всего зубы,— начальству они никогда и ни в чем не уступали. «Кровопийцы, грабители, живодеры,— раскричался как-то раз Олекса на войта и выборных.— Нажились на мирском добре, а теперь куражитесь! Ах вы, подлые свинопасы, я бы вас всех...» Но выборные не дали ему окончить и, схватив его, разъяренного, потащили в общественный амбар, который обычно стоял пустой и служил «холодной».

Но такое словесное нападение — это еще было по-божески. Олекса не любил тратить слов, а тут же хватал бутылку или другую какую-нибудь посудину и швырял в голову. Нашего прежнего войта он таким образом изуродовал на всю жизнь, когда узнал, что за время его правления из общественной кассы исчезло пятьсот злотых. Войт был молодой и франтоватый, любил при случае за молодицами приударить; Олексина бутылка отняла у него к тому охоту, уподобив физиономию его свежевспаханному полю. Разумеется, Олекса отсидел за этот фокус целых шесть месяцев в «семинарии», но и войту насолил не на шутку.

Да не только сельское начальство,— даже «панов», городских чиновников, не жаловал Олекса. Он с ними круто обходился, а когда слова не помогали, ему и руки пустить в ход недорого стоило. В особенности возные, податные и всякие другие шкуродеры, которые обычно по селам изображают из себя больших панов, бывали начеку, проезжая через наше село, а больше всего остерегались встречи со Сторожами. И правильно — потому что Сторожи нескольких таких подпанков изрядно-таки проучили, к великой радости всех бедняков, которые должны были терпеть их чванство и ругань, и к не меньшему беспокойству войта, которому приходилось за все отвечать перед уездным старостой. Понятное дело, штрафов и арестов для «разбойников» не жалели. И даже сам пан староста, проезжая однажды через наше село, сцепился, и весьма крепко, с Олексой. Это было еще в 1872 году, летом, во время холеры. Староста

приехал с уездным врачом, чтобы выяснить, сколько есть больных. Разумеется, староста стоял посреди улицы и только орал на «хамов», а пан доктор, со страхом и трепетом, проклиная все на чем свет стоит, ходил по хатам... Внутрь он и не заглядывал, а, выслушав, что ему говорили бабы и мужики, накидывался на них, почему не делают того-то и того-то, и быстро убегал со двора на улицу.

— А со? [1] — спрашивал его староста.

— E, niema nadzieji! — был постоянный ответ пана доктора, к которому он еще обычно присоединял: — Niech ich tu wszystkich jasne pioruny! — или: — Przeklęte chłopstwo, samo sobie winno — umiera, a wódkę pije! [2]

Правда, пан доктор умалчивал о том, что ни одного больного он и в глаза не видел, что вообще предпочел бы не осматривать никого, а прямо ехать в соседнее село, где у попа был приготовлен для них сытный ужин и удобный ночлег. Староста был «сознательный» и ни за что не пренебрег бы своими «обязанностями».

Но и его, и пана доктора поджидала еще весьма неприятная переналка на Сторожевщине. Бабы, которые, плача, просили доктора зайти в хату и осмотреть больного и которым доктор отвечал на это только бранью и проклятиями, шли, голося, следом за старостиной бричкой по селу, хоть не осмеливались подойти близко. К ним присоединялось чем дальше, тем больше народу с укорами и угрозами — мужики, дети и женщины. Так дошли до самой Сторожевщины. Олекса, занятый чем-то возле хаты, увидел на выгоне доктора, которого бабы напрасно просили зайти на минутку к тому или другому больному. Он видел, как доктор кричал на них и как, ругаясь, вернулся на улицу. Бабы подняли плач. Олекса вышел к ним и стал расспрашивать: что там такое?

— Да вот видите,— говорила, плача, одна женщина,— живодер поганый приехал будто осматривать больных. Я прошу, чтобы пошел посмотреть на моего мужа, а он как затрясется, как начнет наскакивать да ругаться, господи! «Marsz, babo!» да «marsz, babo!» [3] — «Так зачем же пан приехал?» — спрашиваю его. А он и слушать не хочет, побежал дальше!

Олексе кровь в голову бросилась от такого рассказа.

---

[1] Ну, что? *(польск.)*

[2] А, никакой надежды! Чтоб их всех тут громом разразило!.. Проклятое мужичье, сами виноваты — дохнут, а водку пьют! *(польск.)*

[3] «Марш, баба!» ...«марш, баба!» *(польск.)*

— Что же, он, дармоед этакий, деньги берет, а на больного и взглянуть не хочет! Погоди же! Вот я сейчас приду.

И Олекса, как был, так сразу и пустился вдоль выгона. За ним с воем и причитаниями потянулись бабы. Они подошли как раз, когда доктор садился в бричку, чтобы ехать дальше.

— Пан староста,— закричал издалека Олекса,— что у вас за порядок такой?

Староста обернулся и приказал остановить бричку.

— Nu, co tam takiego? [1]

— Это как же так, это по-каковски? — говорил Олекса, подходя ближе.— Пан доктор сюда приехали больных осматривать, а сами ни в одну хату и не заглянут, только бранятся да людей поносят.

— Kłamiesz, gałganie! [2] — крикнул что есть силы маленький перепуганный доктор.

— Пан сам врет! — отрезал Олекса, у которого от злости надулись жилы на лбу.

— Co, co, co? [3] — забормотал староста, соскакивая с брички.

— А то, что слышите! Как же это так,— пан доктор деньги берет, а люди мрут без всякой помощи!

— A ty, drabie, a ty gałganie,— вскинулся староста, уязвленный в самое чувствительное место — исполнение им службы и взимание мзды,— ta jak ty śmiesz w żywe oczy kłamać? Ta jak ty śmiesz?.. [4]

Злоба сжимала горло старосты, пена брызгала у него изо рта при каждом слове.

— Пан,— отвечал Олекса,— вы с людьми не шутите, мы тут и не таких панов видали! Смотрите, нынче не такое время; кто знает — сегодня еще жив, а завтра тебя уже нет!

— Co, ty będziesz grozić? Hej, przysięzny, wójcie, bierzie tego rozbójnika, bierzce go, on mię zabić chce! [5] — вопил староста.

Олекса больше всего не любил таких «панских» шуток. Злость кипела в нем. Он больше не мог удержаться и осыпал старосту и доктора градом отнюдь не салонных слов. Староста покричал, а потом, видя, что и бабы стали вторить Олексе, умолк, сел в бричку и, плюнув, велел ехать в другое село.

---

[1] Ну, что там еще? *(польск.)*

[2] Врешь, бездельник! *(польск.)*

[3] Что, что, что? *(польск.)*

[4] Ах ты голодранец, ах ты бездельник... как ты смеешь прямо в глаза брехать? Как ты смеешь?.. *(польск.)*

[5] Что, ты еще грозить будешь? Эй, выборный, войт, хватай этого разбойника, хватайте его, он меня убить хочет! *(польск.)*

— A niech was tu wszystkich cholera wytnie! [1] — ругался он.

— Тебя первого, шкуродер, кровопийца, получай! — кричал ему вслед Олекса.

С тех пор пан староста стал считать наше село разбойничьим гнездом.

Припоминая эту не совсем эстетичную, а тем менее патриархальную сцену, я обратил внимание еще на одно любопытное явление. Когда случалась какая-нибудь неприятность, нужно было где-нибудь резко поговорить, поспорить, потребовать чего-нибудь,— односельчане тыкали Олексу. «Ты-де ступай, тебе что? Милостью его ты не дорожишь, ну, а нам, знаешь, всяко приходится!» Олекса, горячая голова, не смотрел, что наживает себе на каждом шагу все больше врагов,— шел и жалил обидчика прямо в глаза. В такие времена наши богатеи забывали свою злобу, ласково заговаривали с Олексой, шутили с ним, довольные, что могут спрятаться за его спину. Но едва неприятность миновала — ого, снова мой Олекса и мерзавец, и разбойник, и вор, и кто его знает что еще. А бедняки хоть и видели порою, как обстоит дело, но живут-то они милостями богачей, вот и должны молчать, а то и подпевать им...

Вот этого-то Олексу Сторожа я и вспомнил, когда в «просвещенном» и «честном» обществе оказался в таком же положении, как он среди «порядочных и честных» хозяев. «А что,— подумал я,— не поехать ли мне его проведать? Это будет любопытная встреча двух подвергнутых проскрипции, и притом за схожие дела. Что-то он скажет? Как встретит меня?»

Мысль эта недолго мучила меня. Раздобыв денег на дорогу, я сел в поезд и поехал.

Разумеется, первым делом я отправился в свою хату, то есть в отцовскую, в которой жили теперь два моих брата, еще молодые хлопцы девятнадцати и пятнадцати лет, и отчим с мачехой. Отчим, мужчина в расцвете сил, считался одним из «наипорядочнейших и наичестнейших» хозяев. Он принял меня очень радушно и приветливо, даже, казалось, слишком уж радушно, расспрашивал о последних новостях, о войне, о Берлинском конгрессе, о выстрелах в императора Вильгельма и с удивительным тактом обходил вопрос о моих «преступлениях» и о моем «наказании». Правда, толкуя о том о сем, мы дошли наконец и до этого щекотливого вопроса, однако отчим, казалось, не проявлял к нему большого интереса, я сказал несколько общих, незначащих слов, он покачал головой, и мы перешли на другие темы.

---

[1] А чтоб вас тут всех холера задавила! *(польск.)*

Я спросил про Олексу и сказал, что хотел бы его повидать.

— Э, что ты, такого разбойника! — бросил презрительно отчим, но тут же поправился, лицо его, как бы через силу, приняло холодное, равнодушное выражение, и он сказал: — Ну, что же, если непременно хочешь, так можно, отчего нет,— пойдешь завтра и повидаешься с Олексой.

Я отлично знал характер отчима и из этого разговора понял: должно быть, что-то немаловажное встало меж ним и Олексой за эти два года. Я начал полегоньку выспрашивать, что произошло, подходил с разных сторон, но, кроме обычных ссор и свар, ничего не нащупал. А мачеха сказала даже своим всегдашним льстивым тоном, что, мол, «теперь отец в такой дружбе с Олексой, что все село удивляется».

Это меня совсем сбило с толку. С тем бóльшим нетерпением ждал я завтрашнего дня, чтобы повидать Олексу.

Но еще в тот же вечер Олекса, прослышав, что приехал Мирон из Львова, сам поспешил ко мне. Я уже поужинал и как раз в этот момент шел спать на гумно, когда увидел Олексу, подымающегося вдоль берега своим обычным медленным, твердым шагом. Его невысокая, чуть приземистая фигура, длинные солдатские усы, большие серые глаза и полудобродушное, полусаркастическое выражение лица, сейчас с ласковой улыбкой обращенное ко мне,— все это живо вызвало в моей памяти прежнего Олексу, молодого, веселого отпускника, который меня, малыша, носил на руках к речке, где покойник отец с другим Сторожем ловил рыбу.

— А довелось, однако, довелось,— неторопливо говорил Олекса, подходя.

Мы поздоровались.

— Ты что ж это, брат, на нас прогневался, между панами так долго живши! — сказал он, и на лице его мелькнула едкая усмешка.

— Да,— отвечал я,— что поделаешь, брат, если паны меня так полюбили, что и на свет глянуть не дают!

— Ага, оно и видно! — сказал Олекса.

— Что-то мы, Сторожи, не в милости у них,— заметил я.

Олекса как-то невесело улыбнулся. Мое замечание задело его, видно, за больное место.

— Ты что же, спать уже ложишься? — бросил он.

— Да вот собрался было, но какой там сон, не хочется.

— Ну так, может, пойдешь со мной поглядеть на Сторожевщину? А то кто его знает, скоро ли тебя снова увидим.

Я пошел, не возражая.

Тропинка вела вниз огородами, через речку и выгон, а там сворачивала за село на Сторожевщину.

Долго мы молчали. Я видел, как лицо Олексы постепенно мрачнело, словно какие-то невеселые мысли теснились в его голове.

— Ну что же, Олекса,— первым прервал я молчание, когда мы вышли на выгон,— расскажите мне, что тут делается, как вам жилось все эти годы.

— А что нам, жилось как жилось,— неохотно ответил Олекса.— Все по-старому. Вот бы ты лучше рассказал, что там с тобой?

При этом он взглянул на меня с таким странным выражением, что я не знал, что и сказать.

— Эх, брат, брат,— грустно произнес он,— не того мы от тебя ожидали! Мы думали: авось хоть один из Сторожей добьется чего-нибудь, будет и нам помощь, а тут вот оно что, такой позор!

Олекса оборвал и отвернулся от меня.

Эти слова, так свысока вдруг сказанные, ударили меня точно молотом по голове. Кровь бросилась мне в лицо...

— Как это — позор? — едва произнес я дрожащим голосом.

— Ну, а что же, честь? — подхватил Олекса.— Сидеть в тюрьме, с ворами, и за что?

— Ну, за что, за что? — спросил я.

— А господь бог тебя знает, за что. Может, ты убил кого, или ограбил, или еще что — кто тебя знает? Вот про нас так уже почитай все говорят, что разбойники, мол, ну, да черт с ними, но о тебе мы такого не слыхали! А тут — бух! А что-нибудь должно же быть, ведь за что-то тебя засудили!..

Как обидно, тяжело, страшно стало мне от этих слов! Глубокая, жгучая боль вошла в сердце, сжала грудь. Так, значит, я уже дошел до того, что и родня от меня отворачивается; нет — даже Олекса, этот несчастный, вечно презираемый и преследуемый, тот, который,— кто знает,— быть может, надеялся получить от меня помощь и спасение, теперь отталкивает меня! А что же тогда должен думать обо мне отчим? Теперь мне совершенно понятен был его холодно-приторный тон. Мне стало очень горько. Весь мир показался мне чужим, холодным, неприступным. Я почувствовал себя оторванным от всего, почувствовал, что всякая здоровая связь с жизнью у меня оборвалась, что, если так будет и дальше, я сойду с ума, наложу на себя руки. Я решил рассказать Олексе все, объяснить ему, в чем моя вина.

— Ну, что же ты молчишь, не скажешь, что там с тобой было? — спросил Олекса уже немного ласковее, увидя, как глубоко задели меня его слова.

— Молчу, потому что о чем мне говорить? Вижу, и ты поверил тем россказням, какие обо мне плетут. Начну оправдываться — скажешь, что вру.

— Те-те-те! — отвечал Олекса.— Поверил россказням! А кто его ведает: что люди говорят, то и я говорю, а откуда мне знать — выдумка это или нет? Ты расскажи всю правду, тогда буду знать. Хорошо, что мы хоть об этом дознались. А то разнесли было весть, что тебя уже нет в живых, а другие говорят — нет, его в Брно увезли на всю жизнь! Эх, чего только мы не передумали, сколько наплакались! Боже всемогущий! А твои братья...

— Так как же,— спросил я,— как тебе рассказывали, за что же я сижу? Должны были все-таки сказать, за что.

— А я знаю? Говорили всякое. Да я не мог хорошо разобраться, а тут мне твой отчим рассказывает: «А знаешь, говорит, за что нашего Мирона засадили?»—«Ну, спрашиваю, за что?» — «Э, говорит, он там спутался с какими-то, бунт какой-то хотят устроить, бога отменить! Ну, говорит, видишь,— разве не спятил человек?» Я как это услыхал, так и сам не знал, что сказать.

— Так, значит, отчим говорил? А не рассказал ли, из-за чего бунтовать собирались? Уж не из-за Польши ли?

— Нет, этого не говорил.

— Погодите-ка, Олекса, вы все-таки и на военной службе побывали, и всякие виды видали. Скажите вы мне, если кого уличат в бунте, убийстве или других таких делах, то, как вы думаете, как его покарают? Присудят ли ему месяц-два или законопатят куда-нибудь лет на пять, а то и больше?

— Э, так это старая сказка! Я так и отчиму твоему сказал! «Нет, говорю, не может того быть! Будь это правда, так они бы его не на месяц засудили, а лет на десять!» А он свое: «Эх, что ты, говорит, знаешь».

Мы замолчали, продолжая идти по полю, покрытому зеленым овсом. Спускалась ночь. Вдали перед нами огромной черной массой высился Дил, за которым на западе еще рдели последние отблески вечерней зари. Позади остался душистый выгон, словно зеленое, искрящееся озеро, на которое с каждой минутой все гуще и гуще ложилась вечерняя мгла. Голоса лягушек с речки широко разливались по росистой траве. Летучие мыши, будто большие черные молнии, проносились в воздухе, порою в неслышном своем полете касаясь земли. С севера повеяло прохладой. Мы пошли быстрее, чтобы ко времени попасть

в село. Олексе как будто хотелось меня о чем-то спросить, но он все не решался.

— Да что, Мирон,— сказал он наконец,— скажи ты мне по правде: может, вы хотите бога сбросить, власти, всё?

Я ожидал такого вопроса и усмехнулся.

— А ты как думаешь, хотим мы или нет? — спросил я.

— А кто вас там знает! Я так думаю, что не может того быть! Однако вот тут, в нашем городе, есть один чиновник, я с ним иногда видаюсь, вот он мне раз за пивом и говорит: «Что ты, говорит, Олекса, знаешь! Вы думаете, что все так и есть, как попы толкуют, и верите, и подаете, и тому подобное, а паны да попы смеются над этим! Они ничему не верят, а говорят, чтоб только морочить простых людей, чтоб те их слушались». Правда это?

— Может быть, да, а может, и нет,— ответил я,— только скажи ты мне, судили того чиновника вот так, как меня?

— Судили? Ого! Вон расхаживает по городу, как ни в чем не бывало, и волосок у него с головы не упадет.

— Ну, видишь, ведь он тебе говорил против бога, и его не судили, а от меня ты как будто никогда такого не слыхал, а меня судили. Значит, за что-нибудь другое.

— Да оно так выходит,— отвечал Олекса.

— Так вот я тебе расскажу, за что нас судили. Нам сказали, что мы,— нас было несколько человек,— составили тайное общество, чтобы распространять среди народа социализм.

— Ага, ага,— перебил меня Олекса,— что-то и наш ксендз толковал насчет социализма. Скажи-ка ты мне, что это такое?

— Социализм,— ответил я,— это такая наука: вот если, к примеру, обрабатывают люди поле по кусочкам, каждый отдельно для себя,— так чтоб обрабатывали вместе, чтобы поле сбили в один общественный клин и чтобы работали на нем все вместе; что уродится, тоже целиком идет в общественный амбар, а потом общественное управление делит, каждому по тому, как работал: работал больше, больше получает, работал меньше, так и получает меньше.

Олекса слушал с удивлением.

— Ишь ты,— говорит,— значит, есть такая наука?

— Вот именно — наука.

— И наука эта запрещенная?

— Нет, не запрещенная.

— Смотри, так за что же вас судили, если не запрещенная?

— Так, понимаешь, нам сказали, что мы будто бы устроили меж собой тайное общество, а это не разрешается.

— Ну, а вы устроили такое общество?

— Да доказательств-то у них не было,— говорю я,— и выдумали они это, основываясь только на том, что нашли у нас письма, которые мы писали друг другу.

— Но скажи ты мне,— начал Олекса после краткого молчания,— тут о вас говорят, что вы власть сбросить хотите, а ты говоришь, что будет власть общественная, чтобы вроде делить, сколько каждому полагается?

— Вот именно,— отвечал я,— как видишь, брехали те, кто о нас такое говорил. Мы хотим только, чтобы каждый работал на пользу всему обществу, а тогда общество сможет каждому обеспечить такую жизнь и такой достаток, каких сейчас не имеет и самый богатый хозяин.

— Ну, а как же это? — спросил Олекса.

— А так: если в обществе все будут работать вместе, то сделают куда больше, чем каждый сам по себе. Ведь человек, работая как следует, всегда сделает больше, чем ему нужно для жизни. Всего хлеба не съедят, хотя никто не будет и голода терпеть, а если придется продавать, то оптом и там, где лучше платят. И тут будет выгода. Вот возьми хотя бы такой пример. Ты знаешь, теперь изобретены разные хозяйственные машины, лучшие плуги, сеялки, молотилки, косилки, соломорезки и много других; они делают всякую работу и лучше и скорее, чем человек руками. Отдельному хозяину иной раз не на что обзавестись и одной такой машиной, а все общество, хозяйничая сообща, как бы одним большим хозяйством, легко может завести такие машины; тогда на ту работу, которая теперь берет месяц времени, хватит двух недель, а это значит, что если теперь люди постоянно работают целый день, то тогда смогут работать по полдня. Еще и другую пользу может это принести. Теперь, как видишь, каждый хозяин у себя занимается одним делом: все на поле да на поле. А когда все хозяйства целого общества станут одним большим хозяйством и при машинах не нужно будет столько людей на полях, как теперь, тогда часть людей сможет взяться за разные ремесла и торговлю. Тогда хватит рук и на то, чтобы осушить болота, замостить дороги, выкорчевать чащи, ухаживать за пчелами и скотом. Дети, которые теперь пасут летом скот, смогут ходить в школу, потому что уже не родители должны будут заботиться о каждой мелочи для них, а общество. Общество же для своей пользы захочет, чтобы они стали здоровыми и разумными людьми. Таким образом, можно будет помочь всем бедным, можно будет сделать так, чтобы не было ни бедных, ни богатых, а были бы все равны, все рабочие люди, кото-

рые за свой труд жили бы хорошо и в достатке и не терпели бы такой нужды, как теперь.

Олекса молчал. Несмотря на густой сумрак, видно было по нему, что мысли в голове у него зашевелились, что он старался понять, разобраться во всем, что услышал.

Между тем мы дошли до Олексиной хаты. Обнесенная старым, полуразвалившимся плетнем и укрытая несколькими полузасохшими яблоньками, она склонилась набок, выделяясь в сумерках старою, ободранною соломенною крышей и покосившимися стенами, которые едва держались на подпорках.

— Вот и мои пышные палаты! — проговорил Олекса с горькой усмешкой.— Заходи, брат, посидим немножко, побеседуем.

Мы вошли. В хате была жена Олексы, Катерина, еще молодая, но от нужды уже увядшая женщина, а вокруг нее — целая куча малых детей. Она кормила их черешнями, а самого маленького держала у груди. С радостью встретила она меня.

— Ну, боже милый, не думали мы вас уже и увидеть, как распустили весть: «Ого, нет Сторожа Мирона!» И наплакалась я тогда!..

Катерина и тут начала утирать рукавом глаза. Олекса во время нашей встречи стоял в стороне, добродушно улыбаясь и обводя глазами хату. Хата была очень бедная, утварь убогая, дети слабые и чахлые (они уже с неделю жили почти на одних черешнях, потому что хлеба не осталось, а картошки, единственной поддержки до нового урожая, еще не было!).

— Видишь мое хозяйство! — заговорил Олекса.— Ну, однако, присаживайся!

Я сел. Олекса придвинул себе табуретку и сел напротив. Он принялся было угощать меня черешнями, но я отказался. Катерина начала рассказывать о своей жизни и о том, как отчим издевается над моими братьями. У меня духу не хватает повторять эти страшные вещи,— они записаны у меня глубоко в сердце, а вам до них никакого нет дела.

Олекса в это время хотя и вмешивался иногда в рассказ жены,— видно было, думал о чем-то другом. Когда Катерина кончила, он снова обратился ко мне:

— Ну, удивительная же у вас эта наука, что ты мне говорил. Думается мне — в ней много правды.

— Какая такая наука? — спросила Катерина.

Олекса начал по-своему и своими словами разъяснять ей, в чем дело. Она удивлялась, вскакивала с места и время от времени вскрикивала: «Ну, вот видишь! Порою человек сам по себе подумает о чем-нибудь таком, а вон и в школах об этом учат».

Олекса, рассказывая ей, сам разгорячился — его серые глаза заблестели, он не мог спокойно усидеть на месте и под конец воскликнул:

— А боже, боже, и почему это человек — темный, почему не видит ничего, что на свете делается! Ну, гляди, жинка, кабы все люди до этого дошли, разве им трудно было бы сделать так? И запретить бы им никто не смел! Ну, а все-таки скажи мне, брат, если наука та не запрещенная, так за что же на вас такое наговаривают?

— Тому есть разные причины,— отвечал я.— Надо знать, кто наговаривает. Больше всего кричат дурные люди, дармоеды, взяточники, потому что видят, что если дойдет до этого, так у них все сразу и лопнет. А во-вторых, кричат дураки, которые не знают, чего мы хотим: им наговорили, будто мы бунтовщики, хотим резать панов, попов и купцов, ну, они и кричат. А мы, как ты сам видишь, не только резать,— и выгонять никого не собираемся, даже наоборот, чем больше людей, тем лучше! Больше рук за работу возьмется, так и работа лучше пойдет. Разумеется, кто не будет работать, тот ничего не получит и может себе идти на все четыре стороны.

— Так, так, так и должно быть! — даже закричал Олекса.— Сколько раз я сам говорил это нашим панам: ни за что кровь людскую пьете! Как вас бог на свете терпит? Так, брат мой милый, этого и держись, от этого не отступайся, хотя бы стали на тебя все так кричать, как вот здесь в селе — на меня!

Я улыбнулся.

— А разве и сейчас, слава богу, не кричат? Не беспокойтесь, и теперь уже есть такие, которые, если бы могли, отправили бы меня прямым путем на виселицу! А отступиться от этого, как сами видите, не так-то легко. Раз человек узнал правду, он от нее уже не откажется, до тех пор, разумеется, пока он хочет быть честным человеком.

— Ну, а ты как думаешь, что с тобой дальше будет?

— А что будет? Думаю как-нибудь заработать столько, чтоб можно было купить земли, а тогда возьмусь за хозяйство: может, людям на что-нибудь и пригожусь.

Олекса и Катерина, видимо, не ожидали этого. Их удивили мои слова.

— Как же это, столько лет учился, и все зря?

— Почему же зря? Или вы думаете, что только тот учится не зря, кто станет попом или паном и будет людей обирать? Нет, брат, теперь высшая, лучшая наука: уметь честно жить на пользу бедным, а не во вред им. Теперь высшая наука говорит,

что нужно работать, трудиться для общественного блага. Теперь наука говорит: то, что я учился столько лет,— это я как бы взаймы получил у всех людей, которые меня содержали, давали мне книги, одежду, пищу, потому что ведь я на все это не зарабатывал. Так вот этот долг нужно как можно добросовестнее вернуть!

Во время моей речи лицо Олексы прояснялось, краснело, он встал с места и, когда я кончил, схватился за голову и крикнул:

— Слышишь, слышишь, Катерина! Слушай, что он говорит! Все поняла? Ох, брат, милый брат! Авось-то бог даст, что от наших Сторожей будет когда-нибудь польза свету хотя бы на маковое зерно! Дай тебе бог удержаться на этом пути, коли уже стал на него!

Он кинулся обнимать и целовать меня. Катерина, утирая рукавом слезы, тоже подошла ближе, маленькие Сторожи, щебеча, обступили меня и разглядывали. В первый раз за два долгих-долгих года на глаза мои навернулись слезы чистой радости. Весь мир стал для меня светлее, новые силы вливались в меня, словно каждый из этих бедных, забитых нуждой, униженных людей часть своей жизни, своих надежд, силы свои отдавал мне!..

Ну, что же, господа, такие минуты выпадают только «подвергнутым проскрипции», так как в десять раз сильнее чувствует тот красоту жизни, кто стоял под ножом палача! Правда, жизнь «отверженного» порою грустна и тяжела,— однако в наших гнусных обстоятельствах только ее и можно назвать жизнью. Душевное спокойствие, сила и ясность убеждений, чистая совесть и борьба, вечная, неустанная борьба против темноты, фальши и тунеядства! И к этому еще такие минуты, из которых одна стоит целой жизни, жизни в отравленной, удушливой атмосфере бездумья! Эх, господа, ради самой борьбы, ради нескольких таких минут стоит плюнуть на все «путы», стоит быть «подвергнутым проскрипции».

[1878]

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПОРЫВЫ

Было около полуночи. Широкими полосами лился свет из окон Д — ской резиденции, мелодическими переливами доносились изнутри звуки фортепиано. Мягкий свет, отраженный чистым, искрящимся на морозе снегом, далеко был виден с высокого

пригорка, словно заря на востоке. Далеко по селу разносились звуки музыки и пения, нарушая мертвую, бесконечную тишину сельской зимней ночи.

— О, что-то долго нынче пируют гости у батюшки! — проговорил спросонок крестьянин, близкий сосед священника, выглядывая из сеней на двор.— А отчего ж им не пировать, коли есть на что, не то что у меня! Ох, боже, боже! — Он вздохнул тяжело, запер дверь деревянным засовом и возвратился в тесную, бедную комнатку.

Масляная плошка чуть мерцала на печи, а в постели лежала — догорала молодая еще женщина. Ее лицо, недавно еще свежее и цветущее, было изможденно и обескровлено тяжким недугом, глаза сверкали, но лихорадочным огнем, а пышные золотистые волосы рассыпались в беспорядке на грудь и на грязную наволочку подушки. Грудь с трудом поднималась толчками, из горла вырывался сухой хрип, а все тело время от времени судорожно вздрагивало от боли и холода.

— Максим! — позвала больная тихо.

Максим стал перед нею молча, заломив руки.

— Что это за музыка?

— Гости у попа,— ответил хмуро Максим.

— А! — вздохнула она тяжело, словно припомнив, что с нею и где она...

— Подай воды, Максим! В груди что-то жжет, ох, как жжет...

Максим молча пошел за водой, а она со стоном старалась улечься поудобнее на жесткой постели, до костей надавившей наболевшее тело — старалась, но напрасно.

А между тем в поповском доме шумно, весело, живо идет вечеринка. Гости постарше засели в небольшой комнатке за тарок, а рядом, на маленьком столике, бутылки с вином, два кувшина пива, поднос со стаканами и несколько пачек табака и сигар. Кроме неизбежной карточной беседы, идет между ними еще и другая — о чем? Ну, известное дело, о высокой политике, о войне и мудрой тактике России, об этимологии и фонетике, об украинцах и социализме. Толкуют обо всем вперемешку, пересыпают шутками, критикуют спокойно, без жара, без горячки, как и полагается старшим, солидным особам. Вопросы, которые для других являются основным в жизни, кровным делом, призывают к кровавым жертвам,— здесь они только повод для приятного времяпрепровождения, для споров, перемешанных грубыми шутками и циничными замечаниями. Все, как полагается старшим, солидным особам!..

В соседней комнате, большой и ярко освещенной, собралась молодежь. Пение, музыка, танцы, серебристый смех, тихий шепот и смелые комплименты несутся оттуда пестрой рекой, наполняют весь дом праздничным, веселым шумом, делают его похожим на улей, в который только что впустили молодой рой. Но рядом с этим, по виду таким веселым и счастливым зрелищем, здесь ведется война — бесконечная, отчаянная, разнообразная, кто знает, может быть, потяжелее, чем на Балканах. Правда, кровь здесь не льется, ни стонов, ни криков не слышно, ран не наносят, но и без этой скверной декорации война возможна. О да, здесь война тяжелее, потому что участники ее стараются не ранить, не убить друг друга, а именно живьем захватить в рабство. Этой цели должны здесь служить и глаза, и губы, и руки, и снежно-белая грудь, и талия, и прическа, и усы, и жесты, и все, все дары природы и искусства! Для этой цели каждый здесь избирает свои способы, свои атаки и маневры, вступает в бой открыто или тайно, применяет в бою то одно, то другое оружие по собственному выбору, ведь все здесь — свободные люди! И помощники тут же! Этот чувствует за плечами сильную опору — отцовские связи и протекции, другая — отцовские книжечки сберегательной кассы, та — собственную красоту, другая — лучшее, чем у иных, образование! Все здесь напоказ, все прикрашено, принаряжено, приготовлено к бою, у каждого одна цель: захватить противника или противницу в рабство. Словом, все как полагается у свободных людей!

Вдруг музыка затихла, танцы, шепот, смех и пение прекратились, из соседних комнат начали сходиться старшие священники и их супруги. Дам было немного, да и то большая часть их сидела среди молодежи, маскируя или подкрепляя атаки и «маневры» своих «малюток»; теперь все стали широким кругом вдоль стен комнаты. Посреди этого круга появилась высокая, гордая фигура отца Ильи, хозяина дома. Его длинные черные волосы были смело откинуты назад; длинная новая ряса лежала на нем, как литая, а черные быстрые глаза и орлиный нос выказывали человека, который любит властвовать и не терпит сопротивления. О. Илья был вдовец, бездетный, и славился по всей округе как первый патриот, опора Руси. Имя его часто появлялось в «Слове» под списком пожертвований, которые он собирал и отсылал то на «Вторую градскую церковь», то на бурсу при «Народном Доме», то на «обновление церкви св. Юра» или на другие «благородные» цели. Каждый, идя к нему в гости,— а гостей собирал о. Илья частенько и угощал хорошо, потому что было чем — знал, что обязательно придется кое-что

«пожертвовать», и откладывал особо гульден, точно подать. Как каждый истинно рутенский патриот, отец Илья был против поляков («уедал» — вульгарно говорили соседи), хотя, разумеется, не встречался с ними близко, а польского народа и совсем не знал; радовался, что мудрые европейские правители разделили Польшу, что Россия так разумно и систематически отнимает у поляков их прежние фантазии, и сожалел, почему Австрия, неизвестно за что, дала им так много воли. Словом, придерживался о. Илья политических и литературных идей «Слова» и, где мог, заботился об увеличении числа подписчиков этой газеты.

Все гости с любопытством ждали, с чем сегодня выступит о. Илья, и каждый полез в карман, отыскивая заранее отложенный гульден. Отец Илья подождал минуту, пока все стихло, огляделся, кашлянул и начал резким, громким голосом:

— Соседи мои честные, гости дорогие! Бог свидетель, как люб мне нынешний вечер, как рад я тому, что могу видеть в своем доме столько сердечных и милых детей святой Руси! Но и в часы радости и веселья не нужно никогда забывать о нашей общей, святой матери, которая именно теперь тяжко стонет и изнывает под напором враждебных элементов!..

— Браво, браво! — громко закричал кое-кто из старших священников, из тех, кому особенно по вкусу такая фраза, в которой меньше смысла, а больше громких слов.

— Вы знаете,— продолжал о. Илья, помолчав минуту,— какие тяжкие времена наступили теперь для нашей народности, как наши извечные враги ляхи действуют и теперь на погибель всему русскому и как удалось им всяческими хитростями уловить часть нашей молодежи, которая, забыв свой священный долг, набралась каких-то пагубных, заграничных идей и вместе с недругами действует в ущерб русскому имени!

— Э, молокососы, недоучившиеся студенты! — закричал кое-кто из батюшек.

— Каждому ушат холодной воды на голову! — выкрикнул один.

— Ого, избыла наша Русь не такие беды, и эту избудет! — добавил важно самый старший, который этой фразой отмахивался от всего, чего не понимал и что не вмещалось в его голову.

— Да,— подхватил о. Илья,— это золотое слово и святая правда! Но вам, верным детям нашей отчизны, нужно стараться, чтобы всем, чем можно, помогать матери, помогать тем, кто сражается за ее благополучие и славу, кто поборает всеми способами явных и скрытых врагов ее!

— Да, да! — зашумели гости, хотя никто еще не мог угадать, куда нацелился о. Илья своим вступлением.

— Таким рыцарем без страха и упрека, таким борцом добрым за нашу Русь является газета «Слово» и ее просвещенный редактор. Так вот, я предлагаю при данной оказии сделать складчину для вспомоществования этому единственному рыцарю. Будет это малая лепта, но употребленная на доброе дело. Я первый жертвую на это десять гульденов, а кто пожелает и свой взнос присоединить, пусть подпишется на этом листе, а завтра же мы отошлем складчину и лист с подписями во Львов.

— Браво, браво! — закричали батюшки и двинулись вслед за о. Ильей целой гурьбой к столу, где лежал уже лист бумаги рядом с жестяным, расписанным цветами подносом. На бумаге в самом верху было написано большими буквами: «В пользу редакции «Слова» пожертвования, собранные о. Ильей в Д...» И дальше: «О. Илья — 10 гульденов». Под о. Ильей подписывались другие, а на поднос посыпались гульдены и мелочь. Все эти деньги носили на себе следы пота, немытых, тяжелых, грубых рук, и не одну такую бумажку, казалось, довольно было сжать в ладони, чтобы потекла из нее горячая людская кровь, чтобы послышались стоны и вздохи тысяч несчастных, замученных, которые вместе с этими гульденами и мелкими монетами вложили в ладонь попу частицу жизни и сердца своего. А завтра эти кровные, по́том и слезами напоенные гульдены и крейцеры пойдут в руки «благородных» редакторов и «издателей-патриотов», и те, в свою очередь, разбросают их за милую душу по кабакам, кофейням и прочим, не менее, чем они сами, «благородным» местам!..

После уплаты контрибуции у всех гостей как гора с плеч свалилась. Батюшки возвратились к тароку, молодежь — к танцам, пожилые дамы к разговорам о вчерашнем снеге,— словом, все опять пошло заведенным порядком, а от минутного патриотического пожара даже искорки, даже пепла не осталось...

Был девятый час утра, когда закончилась вечеринка и гости, засыпая на ходу и протирая сонные глаза, разъехались. Отец Илья за всю ночь не прилег ни на минуту, но его патриотизм не позволял ему и теперь заснуть, пока не напишет письма господину редактору «Слова» и не отошлет ему собранных вчера денег. Он засучил рукава, протер глаза, которые то и дело непослушно слипались, помахал руками, чтобы придать им больше силы и, взявшись за перо, принялся писать. Но глаза слипались,

и рука все сильнее отказывала ему в послушании. Вместо «Благородный», написал «Брагородный», а вместо «Редактор» — «Ледактор», а заметив тут же обе ошибки, рассердился и разорвал лист. В эту минуту послышалось за дверьми в сенях шарканье сапог о пол — знак, что кто-то из сельчан пришел к его преподобию.

— Кто там? — крикнул сердито о. Илья, недовольный, что «какой-то черт носит этих мужиков теперь, когда у него времени нет!»

Дверь медленно отворилась, и в комнату робко просунулась бледная, изможденная фигура Максима.

— Слава Иисусу Христу! — сказал он с низким поклоном.

— А что там? Чего ты так рано? — спросил батюшка.

— Да вот, прошу прощения у вашего преподобия, жинка померла.

— Да? Ну, и что же?

— Так я пришел, может, ваше преподобие захотят, чтобы грешное тело схоронить?..

— А, голубчик,— ответил о. Илья, вставая,— разве она неожиданно померла? Что это за порядок?

— Да как-то так... прошу прощения у вашего преподобия... случилось. Я один... И туда пойди, и туда, и за этим пригляди, и за тем, и около больной день и ночь...

— Э, толкуй мне, некогда было! А в корчму, и на рынок, и повсюду — было когда, только для исповеди нет времени? А теперь, любезный, обойдется это тебе в трипадцать бумажек!

Максим почесал затылок и начал просить, доказывать, что, мол, покойница и так за время болезни разорила его до нитки, что порою и на соль не хватает, что и так придется лезть в долги из-за похорон.

— А мне какое дело,— отрезал о. Илья.— Бери в долг где хочешь, а мое подай!

Не знаю, бывают ли в жизни крестьянина, и без того полной нужды, унижений и деморализующих влияний, минуты более тяжкие, более унижающие и деморализующие, чем те, когда приходится ему, с болью и тоской в душе, в минуту самого большого несчастья, каким является утрата любимого существа, торговаться, как за скотину, с человеком образованным, который свою деятельность расценивает, как ему вздумается. Нет определенного тарифа, который устанавливал бы плату за церковные требы (если даже согласиться с тем, что церковные требы должны быть оплачиваемы!), а если и существует тариф, то крестьянину он неизвестен. С человеческими чувствами, ко-

торые в сердце крестьянина так же глубоки, как и в сердцах образованных людей, при таком торге не принято считаться. Люди, которые сами проповедуют отречение от мирских радостей, без капли стыда протягивают руку за последней, кровной копейкой народа, протягивают так грубо, гордо, дерзко! И еще после этого моралисты и попы говорят и кричат о разврате, о безнравственности и отсутствии человеческого достоинства в народе! Перестаньте, «благородные господа», прежде всего сами убивать и подавлять в этом народе каждый зародыш, каждую искру человеческой самостоятельности, характера и мысли, перестаньте деморализовать его своим собственным примером, собственной жизнью и наукой, познайте однажды и в нем брата, равного себе, познайте его жизнь и нужды, подайте ему искреннюю, не грязную и корыстолюбивую руку, и вы увидите тогда, что народ наш не такой зверь, каким вы его рисуете, и что если кто и виноват в его развращенности, то наверняка больше всего вы сами!

Долго продолжался торг. Отец Илья сердился и кричал, что мужик — это скотина, которой прежде всего нужна хорошая палка, что каждое его слово — ложь и неправда и что разве только на костре он скажет правду. В конце концов он одолел. У Максима не хватило духу спорить с батюшкой, и, вздыхая, он согласился с требованиями о. Ильи. По уходе Максима батюшка только сплюнул и проворчал:

— Тьфу, черт побери этих хамов! Минуты покойной нет!

И, облегчив сердце такими словами, о. Илья снова уселся за письмо. Спор с Максимом и утренняя прохлада протрезвили его. Достал другой лист, и после минутного раздумья перо быстро забегало по бумаге, а лицо о. Ильи прояснилось, просветлело от притока патриотических чувств, которые он в эту минуту изливал на бумаге. Сквозь тучи пробилось солнце и косым, светлым столбом легло поперек комнаты, но до сидящего свет не доходил. В соседней комнате слышен был шорох и шаги служанки, которая убирала посуду после вчерашних гостей, а в отворенную дверь о. Илья видел только стоящее напротив фортепиано с разбросанными на нем нотами.

А в хате Максима в это время тоскливо, мрачно, как в могиле. Покойницу уже обмыли и одели на скамье. Несколько старух тихо-тихо двигаются по комнате, убирая и приводя все в порядок, а Максим, заломив руки, немой, бледный и сгорбленный, стоит в ногах у той, которой предстояло быть его подругой и помощницей в жизненной юдоли и которая теперь стала только лишним, тяжким бременем. Никто не скажет ему ни

слова, не утешит, не успокоит. Одинокий, стоит он в своем горе,— кто знает, может быть, думает о том, откуда теперь взять денег на похороны? Известно, прозаическая душа!

Но горячий, шумный патриотизм со своими великими абстракциями не видит и не хочет видеть этой мелкой будничной прозы!..

1878

ЛЕСНАЯ РУСАЛКА

(Летняя сказочка)

— Гандзя, Гандзюня! Посиди, голубка, дома, а я схожу в лес по грибы!

— Возьмите и меня с собой, матуся! — говорит маленькая Гандзя, чуть не плача.— Мне одной страшно в хате!

— Ай-ай-ай! Такая большая девка выросла, и ей белым днем в хате страшно! Скоро замуж пора, а в хате остаться боишься! Стыдись! И как я возьму тебя в лес? Разве сможешь ты ходить по лесу?

— Ой, смогу, матуся, смогу, не бойтесь! — говорит Гандзя, повеселев.

— Нет, нет, сиди дома! Там в лесу русалки, знаешь, такие, с зелеными косами! Они забирают маленьких девочек!

— О, я русалок не боюсь, матуся! Мне недавно приснилась одна — мы так славно играли! А она все смеялась... Правда, матуся, ведь русалки смеются, так звонко-звонко!.. да и говорит: «Гандзя, ку-ку!» А я говорю: «Я тут!» А она говорит: «Приходи, Гандзя, в лес, там у нас такие качели, у-у! у-у!» Возьмите меня, матусечка, возьмите, может, ее увидим! Я так бы хотела покачаться с нею!..

— Ай-ай, глупая! Что ты такое говоришь! Посиди в хате, я запру двери, никто сюда не войдет. А я скоро вернусь, не бойся.

Мать ушла. Железный ключ звякнул в дверях, поворачивая деревянный засов. Гандзя заплакала.

— Почему мама не захотела меня взять? Я бы увидела русалку! А там в лесу так хорошо, тихо, зелено, тепло!.. Ой, эта мама! Меня заперла в хате... а сама в лес пошла, одна!

Хата, где жила Гандзина мать, стояла на самой околице. С трех сторон подступал к ней издали густой, темный, вечно печальный лес, он неумолчно шумел и заводил какую-то таинственную песню. Странная песня! От иных звуков ее щемит сердце, как свежая, едва зажившая рана; иные уносят за собой

мысль в темную благовонную бездну, в какие-то бескрайные, непроницаемые для глаза просторы; иные затрагивают самые глубокие и сильные струны в человеческой душе, будят жажду жизни, энергию, стремление к неутомимому труду, к светлому будущему, а еще иные навевают какую-то непонятную, глубокую тоску. Гандзя родилась под шум этой песни; с тех пор как стала различать звуки, слышала ее чаще всего, и не диво, что песня эта зачаровала всю ее нервную натуру. Во сне и наяву прислушивалась она к ней зимними вечерами, когда ревела буря и лес стонал, как тысячи раненых на поле боя; радовалась ей весной, когда теплый ветер едва-едва шевелил влажные, еще безлистые, но уже свежим соком налитые ветки, прислушивалась к ней в жаркий летний полдень, когда не чувствуешь ветра, а между тем по вершинам ходит какой-то таинственный шепот, не то вздох, не то сонный лепет задремавших на солнцепеке деревьев. Детская фантазия день и ночь блуждала по лесу, в голосах его находила отклик на свои крошечные, однако такие важные и большие для нее радости и огорчения. Вот потому и не удивительно, что эта лесная песня заворожила нежную, впечатлительную Гандзю. Во сне и наяву у нее только одно на уме — лес и его тайны. Все лучшее, самое прекрасное, что запомнила она за свою коротенькую жизнь (а ей всего пять лет), все это неразрывно связано было с лесом. Ах, как охотно, с каким восторгом слушала она сказки о лесных духах, об этих и страшных и привлекательных созданьях народной фантазии, а особенно о русалках с белым, как березовая кора, личиком и с длинными зелеными косами! Она не могла понять, почему другие дети боятся русалок. Ведь они такие красивые, такие добрые к хорошим детям, так рады поиграть с ними в лесной зелени, покачаться на длинных, тонких березовых ветвях (ах, Гандзя так любила качаться!) и смеются так весело, поют так чудесно! Их голоса, точно серебряные колокольчики, нередко звенели в Гандзиных снах, и она была так счастлива, слушая их издалека... Но она никогда еще не видела русалок своими глазами. Как жалко, что мама не захотела сегодня взять ее с собою в лес! Сегодня она непременно увидела бы русалку, непременно! Ведь недаром ей снятся русалки, вот уже сколько ночей, поют, смеются так звонко-звонко, качаются на ветвях и все зовут ее к себе, в лес...

— Гандзя, ку-ку! Гандзя, ку-ку! — кричали они, маня ее к себе своими беленькими ручками.— Иди к нам в лес! У нас так тепло, так весело, так славно! Гляди, какие у нас косы! И у тебя такая будет! Гляди, какие у нас качели!.. И ты на таких будешь качаться! У-у! у-у!.. Иди, иди!..

Гандзя заплакала. Она оглядела хату. Как здесь убого, сыро, сумрачно! В углах тени стоят — страшно! Ей вспомнилась присказка, которою успокаивали ее, когда она, бывало, заплачет:

Лізе кусіка
З-за сусіка!
Зуби зазубила,
Очі заочила,
Руки заручила,
Ноги заножила!
В серці їй острий ножище,
В плечах їй дубовий колище! [1]

Она задрожала; с опаской поглядела на потолок, где торчал забитый туда черный толстый деревянный крюк, весь в диковинной резьбе. Крюк этот в ее воображении был «кусакой». Лежа в постели, она не раз подолгу вглядывалась в него, испытывая тайный страх; все жуткие истории, которые рассказывала ей бабка, она связывала с этим крюком. И сейчас она в немой тревоге начала вглядываться в кусаку, и чем дольше смотрела на нее, тем больше казалось ей, что кусака эта живая, что это старая, гадкая, сморщенная баба с огромным мешком, куда она забирает маленьких детей. Вот она выпрямляется, топает своими деревянными ногами, лезет, лезет все ближе к Гандзе!.. Гандзя завизжала от страха и соскочила с печи на пол, оттуда забралась на лавку, к окну. Там было светлее. Она обернулась к хате — ничего; робко взглянула на кусаку: не двигается, но такая же черная, горбатая, страшная, как и была. А на дворе, ах, на дворе такое солнышко, так тепло! Из окна виден лес — ах, там, наверно, русалки качаются, поджидают ее. Нет, не в силах она сидеть в этой гадкой хате со страшной кусакой, она вылезет через окно во двор и побежит в лес, на минуточку, пока мама вернется, поиграть с русалками. А если не успеет? Если мама раньше придет, тогда прибьет ее. Нет, мама не придет раньше, ведь она, Гандзя, останется здесь, на опушке, увидит маму, когда та пойдет из лесу с грибами.

Гандзя выбралась через окно из хаты. Легкий, летний ветерок овеял ее теплом, растрепал ее короткие, белые, как лен, волосенки, вызвал краску на бледное личико; только глаза, как прежде, пылали каким-то лихорадочным огнем. Побежала через загон к плетню. Почувствовала себя такой легкой и сильной

[1] Лезет кусака // Из-за сусека! // Зубы наточила, // Глаза навострила, // Руки заручила, // Ноги заножила! // В сердце у нее острый нож, // В спине у нее дубовый кол! *(укр.)*

среди этого тепла, на свежем воздухе, напоенном ароматом цветущих нив. Плетень был чуть откинут; отодвинуть его было бы Гандзе не под силу,— куда ее маленьким, слабым ручкам справиться с такой тяжестью! Она, как мышка, пролезла в узкую щель, сквозь которую разве что коту впору было пройти, и, с радостной улыбкой на губах, дрожа всем телом, выбралась на выгон, к полю. Ветер резче дунул ей в лицо. Гандзя была в одной сорочке, длинной, до щиколоток, подпоясанной красною тесемкой. В первую минуту ей стало как-то холодно. Да нет, это ей только кажется, ведь солнышко вон как греет, где ж тут холодно!..

Через поле тянется узенькая тропка в лес. Гандзя хорошо знает эту тропку, она по ней больше всего любит бегать, отсюда так хорошо виден лес! Вот он, большой, сумрачный, говорливый! У Гандзи дух захватывает от радости, что вот еще чуть-чуть пробежать, и она будет в лесу, одна!

Она бежит, но почему-то ей не удается бежать так быстро, как раньше. Рожь важно кивает колосьями, когда она на бегу проведет ручкой по стеблям. Как она любит сейчас эту рожь, эти васильки и цветочки куколя, тут и там вспыхивающие, как синие и розовые звезды, среди леса золотистых стеблей!

— Русалка! Русалка! — бежит по тропке и радостно кричит Гандзя.— Я уже иду, бегу, гляди, как быстро! Будем с тобой играть.

Все громче и явственнее звучит лесная песня. Гандзя слушает ее, упивается ею. Среди шума и гомона листьев она ясно слышит еще что-то, словно звонкий плеск рыбок в чистой хрустальной воде: это смех и радостные крики русалок. Она слышит даже, как они зовут ее к себе:

— Гандзя, ку-ку! Гандзя, ку-ку!

Да как же они близко! Вот здесь, сразу за опушкой, ну да! Милые русалочки, они, наверно, пришли сюда за мной! И не побоялись! Ведь если бы люди их поймали, то забрали бы в мешок, а как же!.. Отдали бы этой гадкой кусаке в мешок! Но нет, она не дала бы русалок в обиду, они такие добрые, такие красивые!..

— Русалка! Русалка! — кричит Гандзя что есть мочи.— Я уже здесь, я сейчас добегу, еще чуточку подожди.

Ах, вот уже и лес! Какой тихий, огромный, угрюмый! Березы греются на солнце и красуются издалека своей белой корой. Их длинные ветви, как зеленые косы, свесились до земли и колышутся от ветра. Вот здесь где-нибудь и русалки сейчас покажутся. Наверно, спрятались от Гандзи, но она их зовет, они сразу выбегут, засмеются звонко и здесь и там...

— Русалка! Русалка! Я уже здесь, здесь, здесь! Выходи, будем играть!

Ай! Вон засмеялась одна, но как далеко! Ах, вторая, третья!.. Ведь Гандзя знала, что они долго не вытерпят в своих тайниках. Ах, как чудесно звонок их смех! Как ласково зовут они Гандзю с собою! Здесь темно, а там дальше так ясно, там столько зелени, красивой, пахучей!.. Там такие легкие качели! Ох, Гандзя побежит за ними, не так уж это далеко!

* * *

Вечерело.

Гандзина мать давно уже возвратилась с грибами домой и весь день ходила по селу, искала Гандзю. Девочку никто не видел. Бедная мать, чем ближе к ночи, тем с большей тревогой бегала от хаты к хате, но Гандзи и след простыл.

— Вот видите, какое несчастье! И родилась-то она слабенькая да худенькая, а теперь уже с месяц, как начнет иной раз говорить, так словно в горячке! Наплели ей глупые бабы про каких-то русалок, а она только о них и думает, и во сне все русалки да русалки! Наказание мое! А теперь куда девалася, один господь ведает. К тому же не привыкла она далеко бегать никуда, все смотрю за ней, не пускаю...

Но Гандзи нет как нет. Вечером мать со слезами упросила соседей, чтоб пошли в лес поискать. Но прошла ночь, а Гандзи не нашли. Еще день прошел, Гандзи все нет! Как убивалась, куда только не бегала за этот день бедная мать,— и сказать нельзя! Только на третий день, рубя деревья в лесу, селяне нашли под березой маленькую девочку. Она лежала, крепко обняв ствол закоченевшими ручонками. Открытые глаза уже не блестели, только на губах застыла блаженная улыбка; видно. Гандзя только что перестала играть с русалкой.

[*1879*]

ИСТОРИЯ КОЖУХА

Посвящаю
Ивану Лукичу Сандуляку из Карлова

I

Жил-был кожух. Простой бараний кожух, даже не слишком новый; правда, не латаный, но уже изрядно поношенный, пропитанный человеческим потом, с поблекшими от времени узорами, когда-то придававшими ему внешность типичного покут-

ского кожуха. Словом, теперь это был простой будничный кожух, невзрачный, неинтересный для этнографа-любителя и по виду — без малейшего права на гордость.

А между тем он был очень горделив и в беседах, которые, по обыкновению, вел сам с собой в ночной тьме, вися на колышке у постели хозяина, чванился и запосился необычайно.

«Да разве,— рассуждал он,— у какого-нибудь кожуха, у какой-нибудь шубы, у какой-нибудь ризы церковной больше права на гордость и уважение, чем у меня? Правда, с лисами, крытыми гранатовым сукном, больше носятся, шапки перед ними ломают, церковной ризе больше почета оказывают, да это ничего не значит! Все это только для вида! Ведь по правде, какие же у них заслуги? Разве только то, что одна другой дороже. Где же им сравняться со мной, простым бедным кожухом, который своим натуральным теплом согревает целую семью? Да! Смело могу сказать,— без меня никто, именно никто из семьи моего хозяина не мог бы зимою выглянуть из хаты. Ведь я их единственный кожух, единственная теплая одежда. И пусть мне вельможные лисы да волчьи шубы покажут хоть одну одежину, которая так верно, неустанно и бескорыстно служит своему хозяину, как я!

Едва первые петухи запоют, мой хозяин уже встает, снимает меня с колышка и идет в хлев насыпать скотине сечки с овсом. Вернется из хлева и возьмется за работу: готовить сечку для лошадей, а хозяйка уже, накинув меня на плечи, идет в хлев доить корову. Вернется от коровы, опять хозяин надевает меня и идет во двор — дров наколоть. Наколет дров, напоит лошадь у колодца, скотину, воды принесет и вернется в хату, а мне нет отдыха. Уже меня надевает дивчина, дочь, ей идти на целый день прясть у богатого соседа за глоток еды да за сердечное спасибо. Только она туда придет, а батрачка того богача уже несет меня опять домой,— должен я исполнять новую службу. Сынишка хозяина, семилетний хлопчик, съев кусок хлеба с чесноком и миску теплой затирухи, должен идти в школу. Вот он тоже берет меня на свои маленькие плечи, хоть я почти до пяток ему достаю и полами волочусь по снегу, и идет в школу. Но и здесь мне нельзя надолго задержаться. Еще в сенях снимает меня с хлопца парень, работник другого соседа-богача, который позвал моего хозяина, чтобы шел молотить или навоз из хлева убирать. А в полдень, когда дети из школы идут, тот самый парень несет меня в школу, чтобы я укрывал от мороза малыша, когда тот возвращается домой. Из дому несут меня снова хозяину, а вечером снова шествую за дочкой. И так день-деньской

перехожу, как ткацкий челнок, из угла в угол, с плеч на плечи, от одной работы к другой, всегда готовый к услугам, всегда желанный, с тоской ожидаемый, с благодарностью встречаемый. И правда, жить так — значит не напрасно жить! Это значит — выполнять свое назначение, служить старательно, быть полезным! Живя так, можно чувствовать удовлетворение тем, что исполнил свой долг, можно чувствовать гордость».

Так рассуждал добряга кожух. Одно только его печалило: слишком уж скоро он изнашивался.

«Чувствую — недолго мне существовать. Скоро швы поползутся, шерсть вылезет, вон и кожа кое-где уже начинает трескаться. Что тогда делать моему бедному хозяину? Знаю, давно уже его самое горячее желание — разжиться на новый кожух, но как далеко до осуществления этого желания! С той поры как помещик лес вырубил, нет заработка извозом в зимнюю пору. Овец не держит, а что за зиму руками заработает, того едва хватает на кой-какую обувку да на подать. До кожуха ли тут? А без кожуха зимой — как без рук! Ох, тяжка ты, мужицкая доля!»

II

Однажды произошла небольшая перемена в распорядке кожуховой службы.

Утро прошло как обычно.

Кожух отвел хлопца в школу, как вдруг прибежал его хозяин, отец хлопца, в легкой холщовой рубахе. Прибежал в школу, учителя еще не было, и, дыша на пальцы, торопливо сказал сыну:

— Юруня, дай-ка мне кожух! Пан помещик прислал за мной, велит мне ехать с его телегами в лес.

— Ой, а как же я вернусь из школы без кожуха? — спросил малыш, почесывая затылок.

— Возьми, сынок, ноги на плечи да беги побыстрее, согреешься, ничего с тобой не станется,— ответил отец, надевая кожух.— А может, бог даст, в усадьбе у пана найду работу получше, на второй кожух разживемся,— добавил он, чтобы утешить озабоченного мальчугана.

И тогда кожух целый день не слезал с плеч хозяина. Когда же вечером оба воротились домой, рукава кожуха были в трех местах порваны, и хозяин ворчал, недовольный тем, что эконом мало заплатил за работу и даже не сказал приходить на другой день.

Но горшую беду застали дома. Юрко лежал больной. Горячка пожирала мальчугана, он в беспамятстве стонал и все твердил запекшимися губами: «В боку мне колет, ой, колет!..»

С того дня переменилась судьба кожуха. Малыш не ходил в школу. Чего только ни делали, как ворожили, шептали и плакали над ним родичи,— не умею передать. Довольно сказать, что, пролежав недели две, Юрко поправился. Крепка мужицкая натура! Прошла горячка, унялся кашель, не кололо в боку, осталась только слабость. Мальчик рвался в школу, но мать, видя такое состояние, не пускала его.

И вот однажды, как раз когда вся семья сидела вокруг миски затирухи, а кожух висел на колышке, дверь отворилась, и вошла в хату пресветлая власть общественная: десятский и выборный.

— Слава Иисусу,— сказали, войдя.

— Навеки богу слава! — ответил хозяин, вставая из-за стола.

— Время обеденное,— сказала хозяйка.

— С богом святым, да благословит господь,— ответила общественная власть.

С минуту в хате стояло молчание.

— Прошу, садитесь,— пригласил хозяин. Власть села на лавку.

— Зачем, панове, пожаловали к нам? — спросил хозяин.

— Да мы это, кум Иван, не сами по себе,— ответил, почесывая затылок, выборный.— Это пан староста нас прислал.

— Что ж там еще случилось? — охнул хозяин.— Ведь повинность я справил.

— Да тут повинность ни при чем,— сказал десятский.— Вот хлопца вы в школу не посылаете. Пан учитель представил за это к штрафу. Придется гульден уплатить.

— Гульден? Господи! — воскликнул Иван.— Да ведь хлопец был болен!

— Кто же знал? Почему учителю не сказали?

— Господи боже! До того ли тут было? — сказал Иван.

— Ну, а мы в этом тоже неповинны. Нам приказано взыскать с вас штраф, гульден.

— Хоть меня режьте, хоть пятки каленым железом жгите, а во всем моем хозяйстве гульдена наличными не найдется!

— Это нас не касается, куманек,— ответили выборный и десятский.— Мы, кум, люди подневольные: что нам прикажут,

должны выполнять. Если нет денег, приказано взять, что найдем. Вот кожух!..

— Кум, этот кожух — наше единственное добро! — завопил хозяин как ошпаренный.— Без него нам не в чем из хаты выглянуть в этакий мороз!

Но напрасны были все мольбы. Кожух был уже в руках десятского, и тот, оглядев его, сказал, кивая головой:

— Ну, два-три гульдена он еще стоит!

— Не бойтесь, кум,— успокаивал выборный.— Кожух ваш не пропадет. Отнесем его Юдке. Нынче принесете гульден, нынче же вам и кожух вернут.

— Да побойтесь бога, кум! — молил Иван.— Откуда я возьму гульден? А без кожуха зимой и вовсе не заработаешь!

— А нам какое дело? Берите где хотите! Нам строгий приказ дан.

— Кожух-то сырой! — стонала хозяйка, ломая руки.— Если б еще Юдка его просушил, прежде чем кинуть в чулан.

Но власть уже не слышала этих слов. Десятский, взяв кожух под мышку и не попрощавшись, вышел из хаты. Вышел за ним и выборный. Оставшиеся в хате после выноса кожуха испытали такое чувство, как будто было вынесено тело самого близкого из семьи. С минуту сидели как пришибленные, и только затем, словно по команде, женщины громко зарыдали, мальчик стал утирать слезы рукавом, а сам хозяин сидел у окна, понурив голову, и следил за властью, которая ни с того ни с сего налетела как вихрь и унесла именно то, без чего вся семья сразу стала вдвое беднее и совсем беспомощной.

III

Прошла неделя с того дня. Иван каким-то чудом раздобыл гульден, отнес войту и получил разрешение взять обратно отнятый у него кожух. Вместе с десятским он пошел к Юдке, радуясь, что все-таки кожух опять появится в хате. Но радость его вскоре угасла. Когда Юдка вынес кожух из чулана, Иван уже издали услышал запах гнили. Мокрый кожух, пролежав неделю в сыром чулане, стал совсем непригоден к носке, сопрел и расползался в руках. Охнул Иван и даже за голову схватился.

— Разрази вас бог! — сказал он, обращаясь то к десятскому, то к Юдке.

— А при чем тут я? — возвразил Юдка.— Разве я обязан сушить ваши кожухи?

— И я тоже ни в чем не повинен,— говорил десятский.— Мне сказали забрать, я забрал, а остальное меня не касается.

— Да побойтесь бога! — вопил Иван.— Я и гульден уплатил, и кожух потерял! Кто же эту несправедливость поправит?

Юдка и десятский только плечами пожали.

[*1892*]

ПОДНЕВОЛЬНЫЙ ХЛЕБ

Это было зимой, в начале 1896 года. После народного собрания в Перемышле пригласили меня торковские читатели, а главным образом депутат сейма Новаковский, съездить вместе с ними в Торки. Мне давно хотелось побывать в Торках, и я охотно согласился, а двухмильная поездка на санях по снегу, при луне, меня скорее привлекала, чем пугала. Ехала нас довольно большая компания. Мне довелось сидеть в санях Андрея Крицкого, старого крестьянина, который проявил себя на собрании как хороший оратор. В дороге он оказался еще лучшим рассказчиком. У нас было время разговориться, а Крицкий рассказывал без устали. Он знал всех на селе, знал историю каждой хаты, каждого закоулка, и воспоминания его простирались хоть и не так далеко, а все же за несколько лет до 1848 года. Его рассказы о последних годах панщины были, разумеется, самыми интересными, и они глубже других запали мне в душу. Может быть, когда-нибудь мне удастся записать их все (г-н Крицкий жив до сих пор, и дай ему бог здоровья прожить еще много лет на свете!). А теперь я передаю по памяти часть его рассказа — не дословно, а так, как сложилась она в моей памяти.

— Я был еще молод, когда панщину отменили,— рассказывал Крицкий,— только три года и работал при ней. Однако и эти три года буду помнить всю свою жизнь. Лютые времена были, сударь. Нынешняя молодежь, благодарение богу, и понятия не имеет о том, что творилось тогда. И пускай не имеет. И не надо, пожалуй, но кое-что следовало бы об этом знать. То, о чем вы рассказали в своих «Панских забавах», все это правда, но не вся правда. Знать вы об этом подробно не могли, вас ведь тогда и на свете-то не было. А кто этого сам своими глазами не видел, тому нелегко это себе представить. Поглядите на наши поля! Слава богу, землица благодатная, даже самый что ни на есть бедняк и тот может прожить, если есть у него пара здоровых рук и желанье работать. Эмигрантской горячки мы еще здесь не знаем. Едим хлеб ржаной или пшеничный, овсом лошадей

кормим, голода не испытываем. Есть у нас свой рабочий скот, свои кованые телеги, есть у нас в селе школа, читальня, лавка общественная, но зато нет ни одного еврея-ростовщика. Стоим, одним словом, на своих ногах, насколько мужик в Галичине может на своих ногах стоять.

Но не спрашивайте меня, как тут выглядело до 1848 года! Достаточно вам сказать, что на все село не было ни единой телеги. Только у помещика были телеги, а у мужиков — одни только сани. На санях свозили летом зерно в амбары и сено в стога, на санях же вывозили и навоз на поле, на санях, летом ли, зимой ли, отвозили и покойников на кладбище.

Ну, да мертвому-то все одно. А как жили живые! Я только о себе скажу. Отец мой был родом из Медыни, было у него двое братьев, все трое были парни красивые, толковые. Забрал пан одного из них к себе в усадьбу вместо лакея, поехал с ним в Броды и там проиграл его в карты другому пану. Еще и до сей поры где-то под Бродами есть семья Крицких,— это наши свояки. Вернулся пан домой, взял к себе второго брата, поехал с ним в Варшаву и опять куда-то его дел. Видит мой отец, что и его ждет то же самое, взял да и подался в Торки. Оно как будто и под одним паном, а все-таки от пана подальше,— и как-то ему обошлось. Бедствовал отец очень, женился на бедной, не было чем жить, а тут на панщину гонят. Мне только двенадцать минуло, а пришлось уже идти на панщину. Ой, и натерпелся же я за три года всяких обид!.. Не дай господи и вспомнить!.. Но расскажу я вам не о себе.

Был у нас в селе бедный и несчастный человек, по имени Оноприй. И вправду, был он и бедный и несчастный. Нынче словно и победней бывают, а живут на свете; безземельные, без клочка поля, даже бездомные — и те по-людски выглядят. Тогда не так было. Имел Оноприй хатенку, был у него огородишко, было у него с четверть десятины земли. Нынче был бы какой ни говори, а хозяин, а тогда назывался — нешка. Вот как сейчас вижу его! Сутулый, глаза ввалились, а лицо такого цвета, как сама земля божья; и зимой и летом босой, без шапки, по крайней мере, я никогда не видал, чтобы голова у него была чем покрыта; рубаха грубая, из рядины, черная, как потолок в курной хате; поверх рубахи старая, снизу вся истлевшая и обшарпанная дерюга, подпоясанная лыком или свяслом,— вот и вся его одежа и зимой и летом. Ходил он всегда сгорбившись, всегда медленно, еле-еле, все что-то жевал и был всегда голоден. Мы, мальчики, овец панских пася или другую работу выполняя, не раз смеялись над ним, дразнили его. Он никогда не сердился,

Ради праздника

не возвышал голоса, а как-то покорно, каким-то униженным и забитым голосом отвечал:

— Так, детоньки, так! Шутите себе на здоровье, а хлебца, коли есть у вас, дайте, а то ведь, ей-ей, во рту у меня нынче его, святого, не было...

— А что ж вы, Оноприй, все что-то жуете? — спрашиваем его, бывало.

— Э,— отвечал он нехотя и, понурив голову, тяжело вздыхал.

— Оноприй жвачку жует, жвачку жует! — крикнет, бывало, кто-нибудь из пастухов. Другие подхватят, пойдет по выгону смех, а Оноприй ничего, повернется и заковыляет опять к своей работе. Только раз я видел, как он тайком утирал слезы грязным рукавом своей дерюги.

Жена была у него злая — так в селе говорили. По виду сказать этого было нельзя, молодица была она красивая, здоровая, румяная и веселая. Лишь впоследствии я понял, какая тяжелая судьбина соединила их вместе. Оноприй долго был холост, работал на помещичьем дворе, своего ничего не имел, а тут вдруг пан приказал ему жениться на Марте. Было это его несчастьем, так как Марта забрала его в свои руки, принизила его, к земле прибила, голодом морила, говорили даже, что по вечерам била его, а сама за дворовыми бегала. С такою женой Оноприй быстро состарился, сгорбился, пожелтел и завял, «словно пушинка, легкий сделался», как говорили на селе.

Не знаю уж, по какому там списку, но так или иначе Оноприй, хотя будто бы и хозяином считался, а не батраком, а выходил чуть не каждый день на панщину. Кажется, жена сама выгоняла его на работу, сверх обязательных дней, и в те, когда платили. Да какая с него работа была? У бедняги и силы-то не было вовсе, и если не помогут ему, бывало, другие в поле или на току, то приказчик не жалел нагайки, избивал, ногами топтал,— чуть кости у старика не трещали. А он все сносил, безответный такой. И удивительное дело! Казалось не раз, что и не подняться ему после таких бесчеловечных побоев, что все кости у него поломаны,— ан нет! Полежит малость, постонет себе тихонько, встанет потом и снова начинает помаленьку копаться, будто и вправду что делает, но не проворней и не лучше, чем до побоев.

Однажды,— вот как сейчас помню и до самой смерти не забуду,— было дело около полудня. Как раз пшеницу жали. Выгнали всех людей на панское поле и одну полосу уже отработали. Надо было на другую переходить, а далеко, чуть не на

другом конце поля, за проезжей дорогой. Вы, сударь, не думайте, что это такое простое дело было — с одной полосы на другую перейти. Это нынче переходят люди с нивы на ниву, серпами поблескивают, дышат полной грудью, идут напрямик, перекликаются, друг друга приветствуют, шутят или спрашивают о здоровье. Тогда не так было. Паны все долбили своим приказчикам: не умеете вы соблюсти порядок, много времени у вас уходит, пока с одной полосы на другую перелезете. А приказчикам что? Они на лошадях, плети в руках... И только одну полосу дожнем, тотчас крик:

— А ну-ка, живей, на другую полосу! Продолжай!

И пускают лошадей рысью, гонят впереди себя всех жнецов, старых и малых, в самую жару и в жажду, в пыли или под дождем. Утомленные тяжелой работой, не успев отдохнуть, бегут люди изо всех сил; известно, кто помоложе да посильней, те бегут впереди, кричат, визжат, смеются, издали можно подумать, что это свадебный поезд скачет по полю. Но беременные женщины, старухи и дети не поспевают, остаются сзади. Ой, горькая их участь! Старший приказчик верхом за ними, нагайкой бьет, не разбирая, по плечам, по голове. Бегут, бедные, во рвы да в борозды падают, а то и под копыта конские. Ой, сударь, сколько раз я видал, как беременные женщины так вот падали, а подымутся — рубашка у них на плечах исполосована красными подтеками. Это нагайка сквозь полотно тело прогрызла.

Так вот перегоняли однажды крестьян с одной полосы поля на другую. Бежали бедные люди полевой тропкой, запыхавшись, красные, все в пыли, глаза кровью налиты,— жара была страшная. Я стоял у дороги, пас лошадей панских на перелоге. Пробежали мимо меня сперва парубки, потом дивчата, затем взрослые люди, а сзади старичье ковыляет. Оноприй тоже был среди них, но позади всех остался. Так и видно, дрожат у него колени, а раскрытый рот старается побольше воздуху захватить. Да где уж ему, не в силах, бедняга, поспеть за другими! А старший приказчик вот-вот за ним на коне. Еще минутка, и как раздастся крик:

— Prędzej, chamie, prędzej! [1]

И тотчас свистнула плеть, черной змеей в воздухе мелькнула и обвилась вокруг голых до самых колен ног Оноприя. Щелкнула, снова мелькнула в воздухе плеть и снова обвила голые ноги старика. Он только охнул и повалился наземь, и тотчас на ногах выступили два широких красных кольца и из них начала медленно проступать кровь.

---

[1] Живей, хам, живей! *(польск.)*

Приказчик придержал коня.

— Wstawaj, drabie! [1] — кричит Оноприю.

Тот, напрягаясь, начал потихоньку приподыматься. В этот миг нагайка еще раз обвила его плечи. Он качнулся, как согнутая лоза, и в эту минуту что-то черное и твердое выпало у него из-за пазухи и покатилось в ров. Оноприй протянул руку за своей пропажей, но не успел поймать ее на лету.

— Co to jest? [2] — закричал старший приказчик, заметив его движенье.

— Да... да... так! — лепетал Оноприй.

— Podejm i podaj tu! [3] — крикнул приказчик.

Оноприй, все еще сгорбленный, весь дрожа, слез в ров, поднял и подал приказчику то, что выпало у него из-за пазухи. Приказчик долго вглядывался, а Оноприй стоял перед ним без шапки, прижав руки к груди, как на молитве. Я не сводил глаз с его ног. Колени не переставали дрожать, как у человека, который сильно озяб, а из красных шрамов на худых и черных от грязи икрах стекала тоненькими струйками кровь и быстро впитывалась в серую дорожную пыль.

— Co to jest? — спросил наконец старший приказчик Оноприя.

— Да... да... то... то... хлеб.

— Co? Chleb? [4]

— Ну да, хлеб мой. Я такой ем. У других людей это макуха, а у меня, паночек, хлеб.

Приказчик еще с минуту держал в руке хлеб Оноприя, разглядывал его, обнюхивал, а потом рука у него как-то странно задрожала, он швырнул этот хлеб далеко в поле, вынул торопливо из кармана платок и стал вытирать себе глаза. Даже он расплакался.

Знаете, сударь, рассказывают люди, что когда-то, где-то сотворил господь бог такое чудо, что заставил камень заплакать. И верно — чудом была божья сила. Но я, грешный человек, думаю, что куда бóльшим чудом было то, что наш приказчик расплакался над хлебом Оноприя. Был я тогда совсем мальчишкой, годов четырнадцать, а как увидел я его слезы, слезы человека, который был для нас что огонь, что зверь бессердечный,— меня точно ножом по сердцу полоснуло. До этого времени

---

[1] Подымайся, бродяга! *(польск.)*

[2] Что это? *(польск.)*

[3] Подними и подай сюда! *(польск.)*

[4] Что это?.. Что? Хлеб? *(польск.)*

я ничего не понимал, не задумывался: приказывали работать — работал, били — я терпел, видя, что и другие так же поступают. Я и не думал, что могло быть по-другому, даже не понимал, плохо это или хорошо? Наоборот, мне не раз говорили, что это так и должно, что так господь бог велел, что мужик, мол, ленив и надо его на работу выгонять. Но эти вот приказчичьи слезы сразу все у меня в душе перевернули. Я понял, какое страшное зло, страшная неправда существует на свете, если даже такой зверь — и тот от нее заплакал.

Старший приказчик помолчал с минуту, еще раз вытер платком глаза, а потом, достав из-за пояса какой-то грош, кинул его Опоприю и сказал:

— Na, masz! Idź do karczmy! Kup sobie chleba! A zaraz tam wychodź do roboty! [1]

И, не задерживаясь дольше, он ударил коня и поскакал за жнецами, а Опоприй, понурив голову и даже не глядя на окровавленные ноги, побрел по дороге к селу. А когда он отошел уже порядочно, я поднял этот хлеб и спрятал его за пазуху. Поначалу я думал было показать его для смеху пастухам, чтобы они видели, какую жвачку изо дня в день жует старый Опоприй; но когда я взял макуху в руки, меня одолела такая жалость, что и я тут же, среди поля, возле панских лошадей, расплакался, как малый ребенок. И, придя вечером домой, спрятал я ту макуху в укромном месте, под застрехой, и держу ее доныне, внукам своим оставлю как памятку.

Это были уже последние панские жнива. На пасху панщину отменили, и весну люди встречали уже на своей земле. Старый Опоприй не обрадовался, был он все такой же.

— Что уж мне свобода! — вздыхал он.— Будьте вы свободны, а мое уж пропало.

Одного только хотел: отведать своего собственного ржаного хлеба...

— Вот бы мне хлебца ржаного со своего поля отведать! — повторял он не раз.— Может, тогда бы понял я, какая она на вкус — свобода.

Подходили жнива. Рожь уродилась просто на диво, повыше человеческого роста, а колос — в руку. Старый Опоприй каждое утро выбегал на свою полоску, присматривался к своей ржи, в страхе следил за каждой тучей, срывал колосок и вылущивал зернышко,— не пора ли жать? Дождался он, наконец,—

[1] На, получай! Ступай в корчму! Купи себе хлеба! И тотчас возвращайся на работу! *(польск.)*

налилось, созрело зерно, пожелтел стебель, вниз наклонился. Люди на жнитво и не собирались еще, а старый Оноприй взял однажды серп и пошел на свою полоску.

— Сожну два-три снопа, намолочу зерна, смелю на жернове, только бы отведать святого хлебушка.

Вечерело. Я вместе с другим мальчиком возвращался с работы,— сено убирали. Идем это мы тропинкой во ржи, разговариваем, а тут, глядь, перед нами что-то ползет и шелестит. Подбегаем ближе, а это старый Оноприй. Нажал три снопа ржи, положил один себе на голову, другой на одно плечо, а третий — на другое, сгорбился весь и ползет домой. Снопы большие, рожь богатая, колосья по самой земле за ним волочатся. Идем мы следом за ним, беседуем, шутим, и всё то один, то другой, будто невзначай, ему на колосок наступит. А у него и силы-то даже нету, чтоб оторвать колосок от стебля; каждый раз останавливается и, не оборачиваясь, таким жалобно-спокойным голосом говорит:

— Эй, хлопчики, не приставайте! Это ведь хлебушко святой!

Жаль нам его стало, перестали мы ему убыток делать, а потом я и говорю:

— Дайте, отец, отнесу вам эти снопы в хату!

— Нет, сынок, я уж сам!

Проводили мы его до самой хаты. Жены его не было дома, дверь была заперта изнутри. Пока нашли мы деревянный ключ под застрехой, пока открыли дверь, Оноприй стоял, держа все время снопы на себе. А когда дверь отворилась, он опрометью как-то бросился в хату, но споткнулся на пороге и тихонько, вместе со снопами, упал наземь. Будто присел. И затих. Снопы укрыли его.

— Что с вами, отец? — спрашиваем мы со двора.

Он не ответил. Вбежали мы в сени, откинули снопы, а он лежит на земле, лицом вниз, мертвый.

Не дождался отведать вольного хлеба...

[*1896*]

ЧИСТАЯ РАСА

Летом 1895 года ехал я по железной дороге из Будапешта в Галицию. Жара стояла страшная. В открытые окна вагона то и дело заносило от паровоза дым и угольную гарь, так что дыхание захватывало. Мы опустили шторы в купе и ехали молча,

время от времени промачивая пересохшее горло несколькими каплями противного, мерзкого искусственного вина, купленного нами на вокзале в Будапеште за настоящее венгерское.

Почти перед самым Будапештом в наше купе (это было купе второго класса) вошли два новых пассажира. Один — пожилой уже господин, высокий, статный, с проседью в густых усах вразлет и коротко остриженными, совсем уже седыми волосами на голове; однако на лице его все еще пылал здоровый румянец, а губы, красные и мясистые, говорили о сохранившейся физической силе и чувственности. То же заметно было и в его голосе — звонком и сильном, который он, видимо, не привык приглушать. По всему его внешнему облику, по костюму, как будто простому, а на деле из добротного материала и хорошо сшитому, видно было, что это богатый землевладелец из какого-то отдаленного района. Его спутник был еще юноша, лет шестнадцати, шатен, очень красивый собой, с широким открытым лицом, которое еще в детские годы обещает высокий рост, крепкую кость и вообще видную, представительную внешность. И этот юноша, хотя усы у него только начинали пробиваться, был уже ростом только чуть пониже пожилого господина, в котором по схожести черт лица легко можно было узнать его отца. Юноша, очевидно гимназист, по окончании учебного года пробыл несколько дней у знакомых под Будапештом, а сейчас вместе с отцом ехал в родное село, чтобы на свободе провести каникулы. Так это и было,— мы быстро узнали об этом, разговорившись с попутчиками.

Пожилой господин характера был очень живого, любил поговорить, порассказать, пошутить. Пока поезд стоял на станции, он ежеминутно выбегал, то громко говорил, почти кричал кому-то в окно вагона, то обращался к кондуктору на языке, в котором каждая десятая фраза напоминала мне наше испорченное: «Вот Федот, да не тот!»

А когда поезд тронулся, господин удобно уселся, заняв вместе со своим сыном добрую половину купе — правда, нас с ними было всего пятеро: я, мой товарищ русин и еще какой-то немчик-коммивояжер,— и завел беседу. Начал он по-венгерски, но, убедившись, что никто из нас, кроме него самого и его сына, не знает этого языка, стал говорить по-немецки. Говорил он не умолкая, не торопясь, плавно, уверенным в себе и добродушно-покровительственным тоном, обходился с нами весьма учтиво, и было заметно, что, не разобрав хорошенько, кто мы и какой национальности, он разыгрывал перед нами на всякий случай джентльмена. Мы узнали от него, что он происходит из старой

венгерской знати, владеет крупным поместьем где-то около Ньиредьхазы, несколько лет назад овдовел и имеет только одного сына, что сын этот перешел в седьмой класс гимназии, отличается феноменальными способностями и что он, отец, хотел бы обеспечить ему блестящее будущее, и т. д. Когда отец принялся очень уж расхваливать способности своего сына, юноша покраснел, как розан, и заметил по-немецки:

— Но, папа, ты портишь меня! Как можно говорить такое, если сам я отлично знаю, что вовсе не такой уж я умный.

— Замолчи, замолчи! Тебя не спрашивают,— добродушно-строго произнес отец. Глаза его сияли, видно было, что он очень любит сына, который лицом, как он сказал, точная копия покойницы жены.

Услышав, что этот господин — буду называть его пан З.— живет недалеко от Ньиредьхазы, мы невольно вспомнили тамошний громкий процесс по поводу Тиссаэслярского убийства.

— Ах, не вспоминайте об этом отвратительном процессе! — воскликнул пан З. тоном патриотического возмущения.— Ритуальное убийство! Побойтесь бога! Даже верить не хочется, чтобы в цивилизованной Венгрии в девятнадцатом веке было возможно такое! Это просто пятно на нашей истории. Сейчас ничего подобного не могло бы произойти. Смело скажу, нет сейчас в Венгрии человека, который бы поверил такой басне, как ритуальное убийство.

— Венгрия прогрессирует,— сентенциозно произнес коммивояжер.

— О, мы прогрессируем! Прошу только вспомнить, в чем мы за последнее время опередили всю Европу! Поясной тариф на железных дорогах — ведь это достижение цивилизации, не правда ли? И что же? Немцы еще дебатировали, возможно ли это, а мы взяли ввели и сразу решили вопрос. А наши законы в области религии! Наши гражданские браки!.. Господа, это дело очень важное! Принципиально важное!

— Для меня еще важнее принципиально,— сказал я,— знать, затронул ли этот прогресс только верхи нации или он охватывает все ее слои, вплоть до самого низшего!

— Все, все! — горячо и не задумываясь, воскликнул патриот.— Иначе и невозможно. Подумайте, в наших степях слышен свист паровых плугов. Да ведь это социальная революция... мирная, разумеется, мирная!

— Мирная, а может быть, и не мирная! — вставил я.— За паровым плугом последовали бунты альфёльдских сельскохозяйственных рабочих. Это-то, собственно, и вызвало мое замеча-

ние, ибо, признаюсь пану, в этих бунтах проявилось очень мало культурности, но много примитивной дикости.

— Нет, нет, нет! Вас неверно информировали! — кричал патриот, чуть ли не затыкая себе уши.— Мало культурности у венгерских рабочих! Еще разве пришлые словаки да руснаки — это действительно дикари. Но венгерские рабочие! Господи! Я не социалист и не сочувствую никаким социальным теориям, но, глядя на наши рабочие организации, слушая диспуты в рабочих обществах, я радуюсь, как ребенок. Радуюсь не чему иному, а прогрессу, развитию, чувству возрастающей силы венгерской нации. И не я один! Знаете, среди венгерских дворян в этом смысле консерваторов нет. Венгерский патриот должен быть прогрессистом. Не знаю страны, где волна прогресса так сильно и так стремительно охватила бы весь народ, как в Венгрии.

Пан З., наверно, долго бы еще пел хвалебные песни венгерскому прогрессу, но поезд остановился. Мы были на станции Мишкольц, где поезд стоит пятнадцать минут. Надо было выйти и подкрепиться чем-нибудь, поэтому разговор прервался на некоторое время. Но, выходя из вагона вместе с паном З., мы увидели на тропинке за вокзалом группу людей, сгорбленных, с мешками за плечами, в каких-то коротких не то накидках, не то балахонах из белого грубошерстного домашнего сукна и в войлочных шляпах. Они расположились на траве и ели черный, как земля, хлеб, оборотясь лицом к поезду. Между ними были и женщины и девушки, но не слышалось ни веселого говора, ни смеха, ни песен. Вся группа производила впечатление каких-то полудиких кочевников, попавших в цивилизованную страну, где все для них кажется чудны́м, страшным, враждебным, все грозит им гибелью. Я отлично знал, что это за люди, но прикинулся наивным и спросил пана З.:

— А это что такое?

— Это? — протянул пан З., поправляя пенсне на носу и делая вид, будто внимательно присматривается к группе.— А, это наши готентоты. Это те руснаки, о которых я упоминал.

— Рабы? — спросил я самым серьезным образом.

— Рабы? — даже вскрикнул патриот.— Неужели вы думаете, что в Венгрии существует еще рабство?

— Да, но их вид, их забитые и запуганные фигуры...— как бы извинялся я.

— Это некультурность, только некультурность — и ничего больше!

— Значит, они свободные граждане...

— Ну, разумеется!

— Свободного венгерского государства,— продолжал цедить я сквозь зубы, подчеркивая каждое слово.

Пан З. почувствовал шпильку.

— Ну, да. Только, видите ли, тут есть одна вещь, одна закавыка... Ну, да мы еще поговорим об этом.

Мы были в буфете. Началась работа ртом, и прогресс Венгрии мог тем временем спокойно развиваться дальше. Подкрепившись, мы вышли на перрон. До отхода поезда оставалось еще несколько минут, и я хотел ближе присмотреться к группе своих земляков, которых пан З. любезно изволил назвать готентотами. Но, к моему удивлению, их уже не было на их недавнем кочевье. Куда они ушли и почему не сели на поезд, которого, видимо ожидали? Мне недолго пришлось осматриваться, чтобы увидеть их. Вдоль железнодорожной колеи, где стоял поезд, тянулась по полю узенькая, но хорошо проторенная тропинка, которая вела не к городу, не к селу, а куда-то вдаль, далеко-далеко, и вместе с линией железной дороги терялась в пространстве. Вот по этой тропинке двигались мои земляки друг за другом, сгорбленные и запыленные, ползли медленно, словно длинная серая гусеница по зеленому полосатому платку, ползли под жарким солнцем, таща на спине свои убогие торбы. Напрягши немного зрение, я увидел вдали, впереди них, еще одну такую же группу, а с противоположной стороны, также по тропинке вдоль железной дороги, приближалась третья встречная. Найдя одного железнодорожника, который на мои вопросы, заданные на разных человеческих языках, не отвечал стереотипным венгерским «немтудом» [1], а, отойдя немножко в сторону и вглядываясь, с опаской заговорил со мною по-словацки, я узнал от него, что такие группы украинских горцев проходят ежедневно десятками, что все они идут со своих гор до самого Баната, идут вдоль железнодорожной линии, неделями питаясь корочкой хлеба, спешат к началу жатвы, на заработки. На железнодорожный билет у них, видно, денег нет, вот они и идут пешком, а чтобы попасть в Банат, держатся линии железной дороги.

Я хотел было отыскать пана З., чтобы поделиться с ним этими сведениями о венгерских готентотах и о проникновении цивилизации во все слои населения этой страны, но в это время раздался второй звонок и одновременно на перроне поднялся какой-то говор, шум и крик, точно в корчме. Я поспешил на

---

[1] Не понимаю *(венг.)*.

крик и увидел, как швейцар у дверей, схватив за шиворот старого, седобородого, с длинными пейсами еврея, старался силой втащить его в здание станции, а еврей отбивался руками и ногами, трепыхался, охал и кричал, как ребенок. Швейцар сердито бормотал что-то по-венгерски, старик отвечал на своем жаргоне, пассажиры толпились вокруг, одни переговаривались, другие кричали, третьи смеялись. Не понимая по-венгерски, я никак не мог разобрать, в чем дело, но в этот миг рядом с швейцаром и стариком евреем как из-под земли выросла могучая фигура пана З. Он что-то строго сказал швейцару, и последний сразу отпустил еврея, потом пан З. обернулся к еврею и сказал ему что-то по-венгерски, но еврей только головой покачал и с растерянным видом провел рукой по горлу, дескать: «Хоть зарежьте, не понимаю».

— Куда едете, старик? — спросил пан З. по-немецки.

— В Киш-Сольви, господин граф, в Киш-Сольви! — жалобно заговорил еврей.— Я должен сегодня там быть, мой сын заболел, пишет, чтобы я обязательно приехал.

— Должны быть, а не имеете денег на дорогу? — спрашивал пан З.

— Как не имею? — воскликнул еврей.— Имею на полбилета третьего класса.

— Этого мало.

— Как это мало? Я бедный человек, откуда я могу платить больше? Посмотрите, господин граф, вот у меня свидетельство о бедности, здесь, в Мишкольце, выданное еврейской общиной. Мне говорили, что с таким свидетельством с меня возьмут половину цены за билет.

— Когда-то брали, а теперь нет,— произнес пан З.

— Как это — нет? Gott gerechter! [1] Почему нет? Ведь теперь я еще беднее, чем раньше был. А в Киш-Сольви я непременно должен быть! Ай-вай, ай-вай!

— Господа, соберем для этого бедного человека! — воскликнул пан З. и протянул шляпу. Времени было мало, пора было идти по вагонам. Несколько пассажиров второго класса бросили по десять, по двадцать центов, пан З. прибавил еще от себя и высыпал деньги в пригоршню швейцару, приказав ему что-то по-венгерски. А сам взял еврея за руку и повел его с собой в вагон.

— Ну, и что со мной будет? — спрашивал старик, упираясь, словно не верил тому, что произошло на его глазах.

---

[1] Боже праведный! *(еврейск.)*

— Иди, иди со мной! — говорил пан З., таща его за собой.

— Но у меня нет билета! — спорил старик.

— Сейчас будет билет! Иди, не бойся!

— Но это же второй класс! — кричал испуганно еврей.— Зачем мне идти во второй класс?

— Иди со мной, иди! — добродушно подталкивал его пан З. и силком втянул его за собой в наш вагон и в то купе, где мы сидели. Старик вошел немного встревоженный, держа под мышкой какой-то грязный и не очень приятно пахнувший мешок, который он собрался было положить под диван, но, убедившись, что этого нельзя, засунул в уголок дивана, а затем, сообразив, что и это неудобно, с трудом, при помощи молодого З., пристроил на полочке над своей головой. Не знаю, от него ли самого или от мешка, но купе сразу наполнилось тем особенным, специфическим запахом, который так хорошо знаком каждому, кто хоть раз в жизни ездил в третьем классе галицкой железной дороги не в субботний день.

Пан З., казалось, не замечал всего этого. Он был очень доволен и, словно старик еврей был его личным гостем, суетился около него, старался усадить поудобнее, а затем сел сам рядом, но так, чтобы не касаться засаленного лапсердака, и принялся расспрашивать его о сыне, о жене, о других детях, о его ремесле, о заработках — и все это с таким интересом, словно собирался получить от старика бог знает какие важные сведения. А из ответов старика оказалось, что был он самый обыкновенный еврей, держал корчму у Верецких, нажил там целую кучу детей и, женив самого младшего сына на девушке из села Скотарского, бросил корчму и вместе со своим последним сватом принялся торговать льном, пенькой и крестьянским полотном. Эта торговля занесла его почему-то в Мишкольц, где он пробыл несколько недель, и теперь он возвращается домой, потому что, говорят, его сын заболел. Пан З. очень подробно расспросил и об этом сыне, просил описать его внешность, чтобы сравнить с собственным сыном, которого он и представил старику по всей форме. А когда на этом запас тем для разговора был исчерпан, тем более что старый еврей, не привычный к тому, чтобы господа так с ним разговаривали, отвечал как-то неохотно, путался и запинался и поглядывал на пана З. исподлобья, как бы сомневаясь — действительно ли он такой добрый или только издевается над ним,— пан З., оборотясь к нам, сказал:

— Люблю, ужасно люблю таких людей!

— Что же в них так вам любо? — спросил я.

— Их расовость! Посмотрите на этого старика! Ведь это же, так сказать, экземпляр! Скажите, не так ли должны были выглядеть те евреи, которые две тысячи лет назад молились в храме Соломона?

— Наверно, не так. Я бы сказал: так, пожалуй, должны были выглядеть евреи в средневековом гетто.

— А хотя бы! А хотя бы! Разве и это также не частица истории?

— Возможно. Но этот экземпляр, как вы говорите, ведь это не музейный экземпляр? Это, наверно, также венгерский гражданин!

— Понимаю, понимаю вашу мысль! — живо подхватил пан З.— Вы правы, есть доля нашей вины в том, что при огромном прогрессе Венгрии во всех областях жизни у нас не перевелись еще и такие граждане, как вот этот, и такие, как вон те! — И он указал рукой на новую кучку русинов, медленно, усталыми шагами тянувшуюся по тропинке вдоль железной дороги на юг.

— Особенно в отношении этих,— он указал на еврея,— мы часто бывали несправедливы, но теперь пора перестать. Теперь мы их признали нашими братьями, равными себе, и увидите, что мы очень скоро получим из них... А!

Невольное восклицание вырвалось из его груди и прервало его пророческую речь. Он обернулся к старику. Последний, видя, что пан перестал обращать на него внимание, почувствовал себя несколько свободнее и счел за лучший выход при данной ситуации закурить трубку. Он достал из своего мешка длинную деревянную трубку, оправленную желтой медью, вынул большой, видавший виды кисет и, набив трубку каким-то черным табаком, закурил. Именно запах этого табака, которого пан З. совершенно не переносил, и вызвал у него восклицание, оборвавшее сразу его речь.

— Ах, вы курите? — с подчеркнутой любезностью, улыбаясь, обернулся он к старику.— Прошу закурить вот эту!

И он вынул из бокового кармана серебряный портсигар и предложил еврею сигару.

— A fejner Cuba![1] — похвалил старик, посмотрев на сигару глазом знатока, и, преспокойно спрятав сигару в карман, сказал: — Привезу моему сыну.

— Но закурите и вы! — уговаривал пан З.— Вот вам еще одна. Я очень хочу, чтобы вы выкурили мою сигару.

---

[1] Прекрасная Куба (сорт сигар; *еврейск.)*

— Danke, Herr Graf! [1] — повторил старик, пряча в карман и вторую сигару.— Куда уж мне, старику! Я уж как-нибудь свою трубочку...

И он самым спокойным образом начал попыхивать трубкой, пуская из нее клубы сизого, едкого дыма прямо в лицо пана З. Некоторое время пан З. стоял растерянно, задыхаясь от дыма и покусывая кончик уса, а затем так же спокойно вырвал у старика из зубов трубку и швырнул ее в окно вагона. Еврей даже вскрикнул от страха: его стереотипное «ай-вай» невольно вырвалось из глотки. Но, видя, что это его благодетель позволил себе так пошутить с ним, он засмеялся как-то сквозь слезы и пролепетал, очевидно не совсем понимая, что произошло:

— Herr Graf! Я старый человек... Бедный человек... Я с господином графом не могу спорить... Трубка стоила мне два гульдена... три гульдена, клянусь душой, три гульдена!

Пан З., улыбаясь, вынул три гульдена и вручил их старику, который, обрадованный таким неожиданным счастьем, обязательно хотел поцеловать ему руку, а когда пан З. не позволил, неожиданно схватил руку панича и приложился к ней.

— Herr Graf! Позвольте! — повторял он.— Sie sind ä feiner Mann, ä edler Mann! [2] Вы не хотите обидеть старого еврея.

— А в другой раз, когда тебе дают сигару и приказывают курить, так кури,— не то добродушно, не то сердито произнес пан З.— Собственно, тебя самого нужно было так вышвырнуть, как твою трубку, понимаешь?

Старый еврей только теперь понял, что поступок господина графа не был наивной детской шуткой, что господин рассердился и только сдерживает себя при посторонних. Поняв это, старик даже затрясся, побледнел как полотно, хотел, видно, еще что-то сказать, но у него перехватило горло, только посиневшие губы двигались и слегка вздрагивала седая, пожелтевшая от табачного дыма борода. Он сел в уголок купе, как-то сжался и совсем замолк. Некоторое время еще он обводил испуганными глазами купе, но вынужденное спокойствие, жара и спертый воздух, мерное покачивание вагона и перестук колес быстро укачали его. Он несколько раз клюнул носом и заснул, запрокинув голову на боковую подушку дивана. Пан З. не обращал уже на него никакого внимания, только юноша, увидя старика в такой необычной позе, быстро вынул карандаш и маленький

---

[1] Благодарю, господин граф! *(еврейск.)*

[2] Господин граф, вы прекрасный человек, вы благородный человек! *(еврейск.)*

альбомчик для рисования и принялся зарисовывать голову старика с торчащей вверх бородой и вытянутой, словно подставленной под нож, шеей. Пан З. между тем продолжал разговор.

— Расовый человек, нечего сказать,— говорил он, указывая кивком головы на старого еврея.— Великолепно проявляется весь характер его расы в каждом его поступке, в каждом слове. Но что из этого? Эта раса пережила себя. Это древняя, изжитая, покрытая ржавчиной раса... Есть в ней зародыши цивилизации, но нет того размаха, той силы роста, как в нашей венгерской нации. А это самое важное. Широта размаха, энергия! Прошу взглянуть вот на этих дикарей (перед окнами вагона снова промельнула кучка русинов, словно стая серых журавлей, летящих на юг). Тут одного взгляда достаточно, чтобы понять, что это опять другая раса — дикая, неспособная к цивилизации, вымирающая, как американские индейцы при сближении с европейцами. К этим руснакам никакой прогресс не проникает, не касается никакое развитие, всякая культурная работа с ними — потерянное время. Они должны вымереть, и всё.

Он сказал это так решительно, безапелляционно, что я и не подумал спорить с ним. Он должен знать, а я не знаю.

— Я не знаю,— продолжал пан З. с добродушно-горделивой улыбкой,— там, за Карпатами, говорят и думают, будто мы мадьяризируем руснаков. Это не вранье, это глупость! Мадьяризировать — это означало бы ассимилировать их, смешиваться с ними. Господи, да это же было бы самым тяжким преступлением против венгерской нации, против чистоты ее расы. Смешиваться с этим бесхарактерным, ленивым, некультурным народом — значит подрывать собственное будущее. Разве только самый злой враг венгерской нации мог бы совершить что-либо подобное. Нет, господа, мы не думаем мадьяризировать их. Мы считаем, что они находятся в стадии вымирания. Наша цивилизация окружила их кордоном, который все суживается и будет суживаться до тех пор, пока самое их существование не станет достоянием истории. Руснацкие комитаты — это наши «Индиен резервешен» [1], и они также с каждым годом уменьшаются, как и в Америке.

— А пионеры цивилизации, те, кто суживает кордон,— они? — сказал я и тоже кивком головы указал на спящего еврея, который начал громко храпеть.

---

[1] Indian Reservation — так называются в Северной Америке районы, оставленные для индейцев.

— Кто суживает, тот и суживает,— пожав плечами, сказал пан З.— Они никому не могут сопротивляться. Чем скорее вымрут, тем быстрее Венгрия сможет двигаться вперед.

— Странная вещь,— вмешался в разговор коммивояжер.— Кажется, и они чистой расы, а между тем...

— Какая там чистая раса! — даже закричал пан З.— То-то и оно, что не чистая! Это смесь из самых жалких рас: славян, румын, цыган и черт его знает кого еще. Чистая раса, господа, в крови играет, как у породистого коня. Эх, повидать бы вам моего Яноша! Вот это расовый, породистый мадьяр! Чудо, а не человек! Пробудешь день в его обществе, поглядишь на него, и тебя так и подымает что-то, душа у тебя ширится, растет вера в великое будущее нации, которая может создавать такие образцы.

Пан З. долго еще и красноречиво восхвалял своего Яноша, обращаясь то к моему молчаливому товарищу, то к немцу-коммивояжеру, который при каждом его слове даже вскрикивал от удивления и всякий раз выражал желание ближе узнать такого замечательного человека. Я тем временем подсел к юноше, который со стыдливой, как у девушки, улыбкой показал мне свой рисунок, а когда я похвалил его, начал вполголоса рассказывать мне о своем отце, которого он очень любил, о покойной матери, о которой он до сих пор не может вспомнить без слез, о своем селе и предстоящих радостях каникул. Говорил он просто, искренно, в словах его и на лице отражалась чистая, не испорченная еще душа, веяло чем-то таким хорошим и симпатичным, что я невольно горячо пожал ему руку, когда он, посмотрев в окно и увидев новую кучку русинов, плетущихся по тропинке, вздохнул и, понизив голос, сказал:

— Несчастные люди! А как тяжело им приходится бороться за свою жизнь! Хорошо отцу, разъезжая вторым классом, обрекать их на вымирание. А каково-то им, вот так, в жару идти пешком сотни километров, а перед глазами у них мелькает и гремит поезд за поездом!

Я широко раскрыл глаза и пристально посмотрел на юношу, но он, не менее горячо пожимая мне руку, сказал:

— Не удивляйтесь моим словам. Я кое-что читал и думал о многом. У нас в гимназии есть кружок более свободно мыслящих учеников. Мы собираемся, читаем, обсуждаем. Но, знаете, мы вынуждены скрывать это, не столько от учителей, как от наших товарищей. Большинство нашей молодежи, особенно те, кто позажиточнее, это такая гниль!..

Глаза юноши засверкали при этих словах, лицо покрылось румянцем. Мне хотелось расцеловать его. Но заговорили о другом.

— Скажите, кто такой этот Янош, которого ваш отец так горячо расхваливает?

— А, это отцовский лакей,— сказал юноша.— Отец очень любит его, во всем ему верит, но я как-то не могу с ним сблизиться. Признаться вам, даже боюсь его. Такой у него вид, как у злой собаки, которая и хвостом виляет, и на брюхе ползает, но так и чувствуешь, что она может зарычать и кинуться на тебя.

Я не буду повторять всех разговоров, какие велись в купе за дорогу. Наступил уже вечер. Скорость поезда как-то не соответствовала тем громким словам о необыкновенном прогрессе Венгрии, какими то и дело захлебывался пан З. Хотя это был пассажирский поезд, однако он так вяло полз по безграничным, совершенно плоским равнинам, так долго стоял порою на крошечных станциях, что не зазорно было бы и нашим варварским местным галицким поездам. С паном З. нам предстояло ехать до Шаторалья-Уйхель, там он пересаживался на поезд альфёльдской линии, идущий на Ньиредьхазу, и, не доезжая до этого города, должен был сойти на маленькой станции,— и он все волновался, как ему быть, если на этой станции не найдется где переночевать. Местечко от станции далеко, нанять там экипаж или бричку невозможно, а лошадей за ним вряд ли пришлют, потому что, уезжая из дому, он не сказал, когда вернется. Правда, сегодня он отправил телеграмму, но с маленькой станции вряд ли доставят ее вовремя в имение; наверно, телеграмма придет одновременно с его приездом или еще позже.

Вообще к ночи пан З. становился все беспокойнее, словно ждал чего-то или чего-то боялся. На каждой станции он выбегал на площадку вагона, а если хватало времени, то бежал и на вокзал. Иногда попадались ему какие-то знакомые: он здоровался с ними, перебрасывался несколькими словами и тут же обрывал разговор, точно какая-то мысль беспокоила его и гнала вперед. Зато в купе во время хода поезда он молчал и даже пробовал дремать, хотя, видимо, только заставлял себя держать глаза закрытыми и сидеть не двигаясь, а спустя минуту снова вскакивал. Сын обращался к нему, рассказывал что-то по-венгерски; пан З. слушал его, улыбался, но и тут было заметно, что он только заставляет себя слушать сына, но какое-то непреодолимое беспокойство живет в его душе.

Было уже десять часов вечера. Мы приближались к Шаторалья-Уйхель. И вдруг на маленькой станции, не доезжая этого

города, пан З., выбежав на перрон, стал с кем-то громко здороваться, обниматься и о чем-то живо заговорил. Юноша, который остался в купе и глядел в окно, сразу узнал, с кем разговаривает отец.

— Боже, это наш Янош! — воскликнул он.— Что он здесь делает?

Мне было любопытно посмотреть на этого хваленого мадьяра чистой расы, но на перроне, где стоял пан З. с Яношем, было уже довольно темно. Однако мне не пришлось долго ждать: через несколько минут пан З., подталкивая Яноша перед собой, появился в купе, запыхавшийся, обрадованный.

— Представь себе, Лайош,— кричал пан З. по-немецки своему сыну (только сейчас я узнал, что юношу зовут Лайош),— выхожу я на станцию и кого там встречаю? Нашего Яноша! Вот это, господа, мой Янош, о котором мы говорили,— сказал пан З., обращаясь к нам.

Пока молодой панич здоровался с Яношем,— не очень сердечно, но все-таки вежливо,— мы имели возможность присмотреться к нему ближе. Это был парень огромного роста, косая сажень в плечах, руки, как лопаты,— настоящий великан. Волосы черные как смоль, черные глаза и белые как снег зубы, которые он, осклабясь, показывал почти все, придавали его физиономии выражение какой-то дикости и жестокости; этого не могла смягчить и его улыбка, похожая на улыбку людоеда. Внешность его действительно казалась типичной, но скорее цыганской, а не венгерской. Только черные усы, заостренные, как два шила, и подкрученные вверх, и венгерский национальный костюм делали его похожим на венгра.

— Ну, видите, господа, что значит чистая раса! — кричал нам пан З., когда поезд тронулся.— Разве сделает что-либо подобное иной слуга, не чистокровный мадьяр? Встречаю Яноша на перроне на такой станции, где никак не ожидал его встретить. «Янош, спрашиваю, а ты что здесь делаешь?» — «Вас ожидаю».— «Меня? Здесь?» — «Выехал с экипажем на станцию, оставил там экипаж и кучера, а сам поехал вам навстречу в Шаторалья-Уйхель, но, не встретив вас там, к вечеру пришел сюда пешком». Слышите? Пешком пришел! «Как же ты узнал, что я еду?» — «Как узнал? Сердце чуяло. Так тоскливо стало на душе, словно кто-то все время шептал: Янош, поезжай! Янош, поезжай! Нынче пан приедет!» Это его собственные слова! И это слуга, лакей! Существуют ли еще на свете такие слуги? Кто, кроме породистого, чистокровного мадьяра, может быть таким слугой?

Янош во время этого потока панских слов стоял столбом у двери купе и не сводил глаз с губ пана З. Было очевидно, что слов пана З., сказанных по-немецки, он вовсе не понимал и лишь как-то машинально повторял на своем лице все перемены настроения своего господина — будь то смех, удивление или серьезная мысль. И все это делалось у него так естественно, непроизвольно, что невозможно было даже подумать о каком-то притворстве.

— Так герр Янош не понимает по-немецки?—задал вопрос коммивояжер, обращаясь к Яношу и частично к пану З. Янош даже не взглянул на него и не сводил глаз со своего господина.

— Ни словечка не понимает! — ответил пан З.— Да куда ему! Вырос в степи, пас копей. Еще два года тому назад был, можно сказать, дикарь, дитя природы, а сейчас в любом салоне не потеряется, песни сочиняет, на гитаре играет. Господа, это феноменальный человек! А уж верен мне — ну, да вы сами видите, сердцем почуял мой приезд. Нет, только венгерская нация рождает таких людей, а с ними она может надеяться на великое будущее!

Мы приехали в Шаторалья-Уйхель. Поезд остановился. Пан З. распрощался с нами и побежал покупать билеты для дальнейшей дороги; Лайош, еще раз пожав мне руку, поспешил за отцом; Янош задержался на минуту, собирая своими огромными руками их вещи. Когда его господа вышли из вагона, Янош улыбнулся своей широкой, людоедской улыбкой и медленно, цедя слово за словом, с венгерским акцентом сказал по-немецки:

— Guter Herr! Majnt, Janos vérsteht nix dajtch, und Janos vérsteht olles. Gute Nocht, Herren» [1].

Меня словно что-то кольнуло в сердце от этих слов, мороз пробежал по спине. Сам не знаю как и почему, я вскочил было, чтобы бежать за паном З. и предостеречь его. Но уже на площадке вагона я раздумал. От чего я буду его предостерегать? Что я ему скажу? Что его Янош понимает по-немецки? Ну и что тут такого? Разве это грех или позор? Я не пошел на вокзал, и поезд наш вскоре тронулся. На другой день утром я уже был во Львове.

Я не принадлежу к усердным читателям «Pester Llojd» — единственной венгерской газеты, которую чаще других можно видеть во Львове, но иногда просматриваю ее. Так было и через несколько дней после моего приезда. В заголовке одной из ста-

---

[1] Добрый господин! Он думает, Янош не понимает по-немецки, а Янош понимает все. Спокойной ночи, господа! *(искаж. нем.)*

тей я увидел фамилию моего знакомца по поезду, которого я назвал паном З. Я взглянул еще раз и остолбенел и в этом состоянии столбняка, не садясь, прочитал всю статью. Это было подробное описание ужасного происшествия. Пана З. и его сына зверски убили. Тела их нашли жестоко изуродованными. То обстоятельство, что доверенное лицо пана, лакей Янош, за день перед этим с кучером и конюхом выехал встречать хозяина, который с сыном-гимназистом должен был приехать из Будапешта, и что эти трое слуг вместе с бричкой пропали без вести, сразу навело на след убийц. Был сделан обыск в доме убитого, и оказалось, что деньги, ценные бумаги, серебряные и золотые вещи, даже различные документы — все похищено, все пропало. И грабеж и убийство совершены были необычайно умело. Без сомнения, лакей Янош был главарем воровской шайки и поступил на службу к пану З. с умыслом, чтобы со временем ограбить его. Кучер и конюх, недавно принятые на работу, так же как и Янош,— неизвестного происхождения. Несмотря на тщательные розыски, властям не удалось напасть на след преступников. Только в Ньиредьхазе были обнаружены бричка и лошади пана З.

Вот тебе и чистая венгерская раса!

[*1896*]

МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Нет, не выдержу! Не могу дольше терпеть. Я должен всенародно покаяться в грехе, хотя заранее знаю,— на душе у меня от этого легче не станет. Конечно — расплата тут невозможна, ибо какая расплата может возместить невинно пролитую кровь, вернуть загубленную жизнь?

Да, у меня на совести убийство. Собственно, даже не одно. Ведь человек — великий, систематический, рафинированный убийца среди живых существ, да и все существа эти со своей стороны вкладывают не малый пай в общую грандиозную симфонию убийств, которую мы предпочитаем называть «органической жизнью». Все мы убиваем на каждом шагу, режем, топчем, давим, калечим миллионы живых творений. Ни минуты не можем прожить без убийства. Наша пища, наша одежда, наши развлечения, наше движение и наш сон, даже наше дыхание — все это непрерывный ряд тысяч и миллионов убийств. А всего любопытнее, что мы даже не замечаем этого. И не только анафемские микроорганизмы убиваем мы с легким сердцем.

Даже наших более высокоорганизованных братьев, рыб, раков, птицу и зверя, мы губим без угрызений совести и успокаиваем себя единственным и наивысшим raison d'être [1]: они нужны для нашего существования. У меня, человека, который в детстве разорял птичьи гнезда, ловил бабочек, собирал насекомых, который до сих пор не перестал увлекаться рыбной ловлей,— на совести, вероятно, немало тысяч таких убийств. Однако все они забыты, и только это одно мучает, и грызет, и сверлит мою душу в течение долгих лет. Только это одно не умирает и не гаснет и все заново оживает и причиняет тем сильнейшую боль, чем упорнее стараюсь я забыть о нем, стереть без следа.

Мне даже страшно становится, когда вся эта несчастная история ясно, со всеми подробностями, всплывает в памяти. С тех пор прошло много лет, наверно, больше тридцати. Я был тогда маленьким деревенским мальчиком и бегал, играя, по лесам и полям моего родного села.

Как раз наступила весна, один из первых хороших, теплых дней. Впервые после долгой зимней неволи в тесных, душных хатах мы, деревенские ребята, могли побегать свободно. Мы выбежали на луг, еще голый и серый, совсем недавно сбросивший зимнюю перину. Лишь кое-где пробивалась из-под земли свежая зелень, торопливые, острые листья тростника, еще свернутые в тонкие шильца листочки хрена и лопухов над ручьем. Только в недальнем лесу вся земля побелела от начинавшего уже отцветать дикого чеснока и от лесных фиалок и анемонов.

Над нами возвышался темно-синий небосвод, улыбалось солнце, а на далеких вершинах Карпат сверкали еще громадные снеговые шапки, словно искристые алмазные короны. Но красота их не слишком нас трогала, так как мы все еще ощущали холодное веяние зимы, исходившее от них на заре, до восхода солнца. И речка чувствовала то же: утром она была прозрачна и чиста, плескалась тихонько, как в летние дни, а сейчас гневно клокотала в тесных берегах, стремя вниз свои желтовато-грязные, взбаламученные воды: это как раз и были те самые сверкающие алмазы, растопленные весенним солнцем.

Но все это не могло испортить нашей весенней радости. Мы ходили, скакали, и подпрыгивали, и бегали кругом, и навещали всех наших знакомых: старый могучий дуб на опушке леса, по крепким ветвям которого мы летом лазили взапуски с белками; высокую понурую березу с печально повисшими, тонкими ветвями, которыми мы неумеренно пользовались как качелями, к

[1] Здесь — доводом, соображением *(франц.)*.

великому огорчению пана лесничего; тихие роднички в лесной чащобе, где мы, притаившись за толстыми яворами и вязами, не раз подглядывали по вечерам за лисицами, барсуками и дикими кабанами, приходившими сюда на водопой; и, наконец, глубокие, чистые озерца, где мы каждое воскресенье с удочками караулили щук, а когда припекало солнце, с криком и хохотом купались в чистой, холодной воде.

Каждый уголок вокруг этих озерец, излюбленного места наших игр, осматривали и обшаривали мы особенно тщательно. Это были остатки стародавнего большого пруда. Поперек долины, от леса до леса, подымалась огромная плотина, которая теперь, сглаженная и давно перепаханная плугом, выглядела как длинный ровный холм, только в трех местах рассеченный: один раз ручьем, который здесь сворачивал к самому лесу и сердито клокотал, и рыл, и подмывал высокий, крутой берег, и дважды упомянутыми уже озерцами, последними следами прежнего панского пруда. Озерца эти были не слишком широки, глубиной до сажени, осененные кое-где ольхой, ивой и лозняком. Летом густая душистая трава да цветы белого клевера свисали с берегов к самому зеркалу вод. Сейчас, по правде говоря, кругом было довольно голо и грустно; да и в воде, летом оживляемой там и тут всплеском щук и стаями красноглазых плотичек, которые обычно проплывали целыми группами под предводительством одной самой большой,— теперь было тихо. Но мы все-таки поминутно с любопытством заглядывали в воду, под каждый прутик, под каждый увядший лопух, в каждый кустик — не задохнулась ли подо льдом какая-нибудь знакомая нам щука и не была ли так любезна госпожа выдра, не нанесла ли нашим рыбам визит.

— Тсс! Тсс! — зашипели сразу двое или трое мальчишек, шедшие впереди меня, наклонились к земле и тихо поползли вперед, стараясь окружить какой-то куст.

— Что с вами? Что такое? — спросил я тоже невольно шепотом.

— Птичка! Птичка! Не видишь?

— Где она? Где?

— Вон здесь, в кустах. Побежала. Мы такой еще не видали. Не летает, должно быть, только бегает.

Пока ребята окружали куст, я пошел напрямик, осторожно раздвинул густые ветви и в самом деле увидел небольшую птичку, спрятавшуюся в прошлогодней сухой траве. Не знаю, ослабела ли она или перепугалась, достаточно того, что, увидев меня перед собой, не взлетела и не побежала и в то же мгно-

венье оказалась у меня в руках. Все ребята сбежались посмотреть на мою пленницу.

— Ах, какая красивая!

— Такой птички я еще никогда не видал!

— Поглядите только на ее глазки!

— А перышки!

Это была маленькая болотная птичка, какие в нашем Подгорье встречаются очень редко. Оперение у нее было пепельно-серое, с легким жемчужным отливом, клювик тоненький, зеленовато-темный и такие же длинные тоненькие ножки. Она сидела тихо, зажатая у меня в ладонях, не билась, не царапалась и не клевала, как это обычно делают другие дикие птицы, если их схватить в руки.

— Что ты с ней будешь делать? — спрашивали меня ребята, завистливыми глазами глядя на красивую добычу в моих руках.

— Понесу ее домой.

— Зажаришь?

— Почему? Буду ее кормить.

— А ты знаешь, что она ест?

— Увижу. Не захочет есть хлеб, так, может, будет есть мух, а если не мух, так червяков, а не червяков, так улиток, или семечки, или пшено. Уж что-нибудь найду для нее.

Я и в самом деле принес маленькую красивую птичку домой и посадил ее не в клетку, а между двух оконных рам, где у нее было больше возможности бегать и летать, больше света и воздуха. Птичка не летала и не вспархивала, а только бегала вдоль окна, там и тут постукивая своим тоненьким клювиком о стекло и то и дело, как мне казалось, грустно поглядывая на широкий, вольный свет. Иногда останавливалась, опускала голову и снова подымала ее резким птичьим движением или склоняла ее набок, так, что один глаз, казалось, блуждал по веткам ближней яблони, а затем снова кивала головкой так печально и покорно, словно хотела сказать:

— Ах, там снаружи так хорошо и тепло, но весна моя прошла! Я — в неволе!

Меня словно что-то кольнуло в сердце, когда я несколько минут разглядывал эту птичку. Мне самому стало грустно.

— Отпусти ее! Зачем держать ее здесь! — прошептало что-то у меня внутри.

— Но ведь она такая хорошенькая! И я ее поймал! — упрямо ответил я себе самому.— Может, она привыкнет. Если б я только знал, чем ее кормить!

С кормлением у меня в самом деле было много хлопот. Я положил птичке хлебных крошек, проса и несколько комнатных мух, каждый род пищи отдельно в чистенькой ракушке, поставил ей черепок воды и пошел прочь, чтобы предоставить ей покой. Когда я вечером вернулся домой и заглянул к своей птичке, я увидел, что она не прикоснулась к пище, только сидит в уголке, высоко кверху вытянув тоненькую шейку, и, не мигая, глядит сквозь окно наружу, где в пурпурном зареве солнце заходило за снеговую шапку Хребта-горы, и время от времени покачивает головкой так печально и безнадежно, что я не мог дольше смотреть на нее.

«Может быть, это ночная птица,— подумал я,— и ночью она станет есть».

Эта мысль немного успокоила меня, и я спал крепко и о птичке не думал. Рано утром, еще до зари, я снова побежал в комнату и заглянул в окно. Птичка все еще сидела на том же месте, где я вчера оставил ее, все еще вытягивала шейку высоко вверх и все еще, не мигая, глядела сквозь окно на широкий, вольный свет там, за стеклянными створками, и время от времени покачивала головкой. К пище даже не прикоснулась.

— Отпусти ее! Отпусти ее! — закричало что-то у меня внутри.— За что ты ее мучаешь? Ведь она погибнет от голода!

— Нет,— отозвался во мне другой, упрямый голос,— я должен узнать, чем она питается! Принесу ей улиток, и червей, и лягушачьей икры.

Не знаю, откуда попала мне в голову мысль, что птичка может есть лягушачью икру. Короче говоря, я побежал на выгон, насбирал разных мелких слизнячков, накопал червей и выловил из воды добрую пригоршню лягушачьей икры и принес все это своей пленнице. Она никакого внимания не обратила на все эти богатства, когда я раскладывал их перед нею, не выказывала ни страха, ни малейшего любопытства, ни крошки аппетита к этим лакомствам. Казалось, только солнце, тепло и весна там, на широком, вольном свете, приковывают все ее внимание.

В тот день у меня была какая-то работа, так что я ушел и вернулся только вечером. Я поспешил заглянуть к птичке. Она бегала, тихонько покачивая головкой, вдоль окна и даже не прикоснулась к еде.

«Чудеса!» — подумал я и хотел сразу же выпустить ее на волю. Но мне пришло в голову, что она теперь, наверно, ослабела и не способна летать, а если я теперь же, вечером, выпущу ее где-нибудь здесь на дворе, то это будет слишком легкая и

желанная поживa для нашего кота. Лучше будет, если сегодня она еще перепочует у меня. А завтра пораньше я отнесу ее на то самое место, где поймал, и отпущу на волю.

На следующий день, вскочив пораньше с соломы, я побежал к своей пленнице. Она все еще не принималась ни за какую пищу и сидела, ослабевшая и утомленная, в уголке, все поглядывая сквозь окно на волю. Она спокойно дала себя взять и взглянула на меня такими же невыразимо грустными глазками, какими глядела сквозь стекла на солнце и на ветки яблони. Раз она даже кивнула головкой, точно хотела сказать:

— Да, да, знаю, куда меня несут. Я давно знала, что тем оно кончится.

Я вынес ее во двор. Она спокойно сидела у меня в ладонях и не сопротивлялась. Я ощущал ее мягкие перышки и теплое тельце.

— А вкусное, должно быть, у нее мясо! — вдруг мелькнула у меня мысль.— А что, если зарезать ее и дать зажарить?

— Отпусти ее! Отпусти ее! — шепчет что-то, словно добрый ангел, у меня внутри.— Ты же видишь, она такая маленькая. Даже труда не стоит — жарить ее!

— Но ведь жалко ее отпускать! Ведь я ее поймал! — бунтовало детское упрямство.

— Отпусти ее! Отпусти ее! — умоляло тихо-тихо что-то в самой глубине моей души.

А пичужка сидела тихо и покорно у меня в руке. Я раскрыл ладонь — она не улетела. Что-то гнусное, злорадное торжествовало во мне.

— Видишь! Она сама не хочет! Ты ведь дал ей возможность бежать, почему же она не убежала?

— Но ведь она слабая, изголодавшаяся,— тихо-тихо стонало что-то в душе моей.

— Э, чего там! — воскликнуло детское упрямство, и в следующую минуту я свернул головку маленькой красивой птичке. Она дернула раз-другой своими тоненькими ножками, на шейке показались две или три капельки крови, и маленькой красивой птички не стало. У меня на ладони лежал холодный, бездушный труп.

И вдруг сломилось, развеялось все мое упрямство, мое ожесточение, мое самолюбие. Я отчетливо почувствовал, что я сейчас совершил нечто бессмысленное, отвратительное, что я пошел на бессердечное убийство, взвалил на себя проступок, которого не искуплю и не замолю никогда. Ведь я совершенно бесцельно загубил такое красивое, невинное, живое существо!

Вот здесь, на вольном свете, перед лицом этого ясного, теплого, весеннего солнца я вынес и привел в исполнение жестокий, ничем не оправданный смертный приговор. Теперь я совершенно ясно и отчетливо почувствовал, что это убийство было совсем бесцельно. Ведь этот бедный трупик я не смогу ни ощипать, ни съесть. Нет, я не в силах был даже еще раз взглянуть на него. Выронив мертвую птичку из рук, пристыженный, взволнованный, угнетенный и смущенный, я побежал прочь, прочь от нее, чтобы не видеть ее, чтобы стереть в душе даже память о ней. Мне очень хотелось плакать, но я не мог; что-то словно клещами сжимало мне сердце, и оно не могло излить свою боль в слезах. Маленькая красивая птичка лежала у меня на душе, я унес ее с собой, и мне все казалось, что она глядит на меня своими невыразимо грустными глазками, глядит с тихой покорностью, кивает головкой и шепчет тихонько:

— Ах, я ведь знала, что прошла моя весна, что неволя будет для меня и смертью!

В мягком, впечатлительном детском сердце недолго жили эти тревоги. Через два-три дня я уже забыл о птичке и о ее несчастной судьбе. Забыл, казалось, навсегда. Воспоминание о моем преступлении залегло в каком-то темном уголке моей души, и постепенно его заслонили, прикрыли и погребли под собой другие впечатления, другие воспоминания.

А между тем оно не умерло. Прошло целых двадцать лет, и когда на меня обрушился первый тяжелый удар несчастной судьбы, когда я, юный, с сердцем, полным страсти, жажды жизни и любви, среди чудесного лета чахнул и увядал в тюрьме и должен был видеть, как разбиваются все мои надежды, как без милосердия тончут, давят, без цели и без смысла коверкают и разрушают все то, что я считал драгоценнейшим сокровищем моей души,— тогда тревожной, бессонной ночью явилась мне та маленькая, красивая птичка, кольнули меня в самое сердце ее грустные, полные тихой покорности глазки, ее медленные движения воскресили передо мной те невыразимо страшные слова:

— Ах, моя весна прошла! Я — в неволе! Знаю, знаю, чем все это кончится!

И с тех пор я не могу избавиться от этого воспоминания. Оно отравляет мне каждую минуту счастья, лишает меня силы и мужества в несчастье. Оно мучает меня угрызениями совести, и мне кажется, что все глупое, бесцельное, жестокое и злое, что я когда-либо совершил в своей жизни, воплотилось в реальном образе этой маленькой, невинно замученной птички, чтобы тем упорнее терзать меня. В ночной тиши я слышу, как эта птичка

тихонько постукивает клювиком о стекло, и я просыпаюсь. А в минуты тревоги и отчаянья, когда жестокая боль запускает когти в мое сердце и грозит вот-вот сломить силу моей воли, мне кажется, что сам я — та маленькая, слабенькая, голодная птичка. Я чувствую, как какая-то упрямая, жестокая и бессмысленная сила держит меня в руке, дразнит меня видениями недоступной свободы и счастья и, может быть, в следующее мгновение без причины и без цели свернет мне голову.

[*1898*]

ПЕРЕД ОТХОДОМ ПОЕЗДА

— Черепаха идет!

Локомотив «Черепаха» еще спал. Покоясь на трех парах массивных стальных колес, он гордо возвышался в ряду других машин; вся нижняя половина его тела тонула в густом сумраке, заполнявшем обширный зал депо. Только вверху, под потолком, понемногу светлело. Сквозь крышу из толстого, граненого, зеленоватого стекла в депо просачивались первые всплески летней зари, эти слабенькие, синевато-розовые, полусонные еще улыбки природы. В депо они попадали, десятикратно ослабев, чуть приметно, серовато-зелеными проблесками. В этих проблесках лоснящаяся толстая труба машины и ее мощный круглый хребет возникали из мрака в каких-то фантастических очертаниях.

— Черепаха идет! — крикнул громко старший кондуктор, проходя мимо депо, но так, чтобы его услыхали рабочие, ночевавшие здесь же, рядом. И они услышали его. В каморке, служившей им спальней, поднялась возня, послышались сонные голоса, шаги, протяжные зевки, плеск воды — работники обмывали заспанные лица,— и немного погодя двое людей в рабочих блузах отперли широкие двери депо и вошли внутрь.

— Что, старуха, спишь? — проговорил один, постукивая «Черепаху» по железному брюху.— А ну-ка, покажись, как ты выглядишь!

Сквозь распахнутые двери хлынула в депо широкая волна света — не резкого, солнечного, потому что солнце еще не взошло, а ласкового, предрассветного, который лился прямо из бездонной синевы неба, с розовеющим румянцем и золотыми вспышками зари, от бледного лунного серпа, который, застряв посреди неба, казалось, не знал, как ему поступить — спрятаться, светить или погаснуть. При этом свете в депо было до-

статочно хорошо видно, и рабочие принялись за «Черепаху». Они чистили ее, подмазывали колеса, выгребали пепел из топки, наполняли водою котел. Одновременно два кочегара с грохотом забрасывали в тендер каменный уголь, переговариваясь, пожалуй, не слишком дружелюбно. Вот подошел и машинист и тоже стал возиться у машины, тут смазывая маслом, там постукивая маленьким молотком, то открывая, то захлопывая какой-то клапан.

Но «Черепаха» стояла холодная, бесчувственная, как заколдованная царевна в стеклянном гробу. Сквозь стеклянную крышу ее гроба заглядывал все с большим любопытством молодой день; его зеленоватые, стеклянные глаза начали постепенно наливаться сперва серебристым, потом золотисто-розовым блеском. Кроме шороха щеток, которыми чистили машину, лязганья железных лопат и грохота угля в тендере — ничего не было слышно. Рабочие делали свое дело молча; один из кочегаров перестал работать и пошел домой позавтракать: ему предстояло нынче отправляться с «Черепахой» в дорогу. Машинист зевал. Был пятый час утра; он не спал и четырех часов, а впереди у него еще этот пятичасовый перегон, прежде чем он вернется домой и сможет отдыхать целых двенадцать часов.

Машина еще спала.

— Ну, что, готова «Черепаха»? — крикнул старший кондуктор, возвращаясь из своего обхода и остановясь в дверях... Его плотная высокая фигура отчетливо вырисовывалась на фоне рассветного неба, которое уже все было охвачено багряным пламенем с золотой, теперь уже добела раскаленной каймой внизу. В этом свете круглое, полное лицо старшего кондуктора точно налилось огнем, а его черная густая борода была, казалось, прошита пурпурными нитками.

Рабочие ничего не ответили. Вычистив и приготовив машину, они помогали забрасывать уголь в тендер. Только машинист буркнул небрежно:

— Сейчас будет готова.

— Прикажите разжигать топку. Через четверть часа выезжайте! — сказал старший и пошел дальше.

Кочегар «Черепахи», согнув спину, как вол, когда его впрягают в ярмо, полез на свое место по ступенькам между машиной и тендером и, выпрямившись на миг, сразу исчез. Нагнувшись, он потонул в темном зеве топки и начал раскладывать огонь. Сначала он положил и поджег несколько мелких сосновых поленец, а затем, когда те загорелись, начал обкладывать этот костерчик с боков и сверху углем. Едкий дым синими клуб-

ками вился над костром, кидался в багровые, налившиеся кровью глаза кочегара, но тот не отворачивался, делал свое, привычное дело. Вскоре в топке гудел и трещал уже сильный огонь; груда угля, насыпанная кочегаром, развалилась, треща и рдея. Ее придавливали всё новые и новые глыбы. Звенела железная лопата, подбрасывая уголь в огонь, но в котле было еще тихо.

Машина еще спала.

Но вот в котле послышалось легкое бульканье, как бы несмелый ропот какой-то новой, еще слабой и бессознательной жизни. Вот легкою струйкою понеслись из трубы первые клубки белого пара, понеслись и тут же замерли, остановленные умелою рукою машиниста. Стой, детки! Не туда вам дорога! Пожалуйте вон туда, в тот поршень, в тот пустой цилиндр! Смелей! Смелей! Сами себе отворяйте дверцы! Не ждите, детки, пока вам кто-нибудь отворит. И не бойтесь, что там немножко тесно. Только смелее! Дальше! Потеснитесь малость, ведь в этой тесноте — ваша сила. Только там вы узнаете, кто вы и на что способны!

«Черепаха» вздрогнула. Что-то похожее на тяжелый вздох пронеслось в ее железных внутренностях.

— Ах, как сладко я спала!

Она проснулась. Огонь в топке уже гудит. Вода в котле уже начинает играть, точно в гигантском самоваре, сперва долгими, писклявыми тонами, потом жалобно, точно просясь на волю, потом отрывисто, сердито, как бы споря и угрожая, а затем яростно клокоча, бушуя, с ревом и воем. Но машинист не обращает внимания. Он рад этим проявлениям силы, он знает — они должны еще увеличиться, да, очень, очень увеличиться.

— Э, любезная «Черепаха», не так ты еще у меня заноешь! А ну, Максим, поддай жару!

Кочегар Максим трудится молча. Звенит лопата, грохочут глыбы каменного угля, сваливаясь в топку, кровью налилось лицо Максима, пот катится градом с его покрытого сажей лба. Гудит огонь, играет котел. Вот двинулся поршень, а вверху над машиной манометр сделал первый оборот. Машинист взялся за рычаг. Послышался долгий свист, «Черепаха» тронулась с места.

Тронулась, но как будто нерешительно. Ее движения были ленивы, и сейчас же из боковых ее вентилей со страшным шипением вырвался пар. Но машинист держал ее в руках. Выпустив пар, сколько ему было нужно, он щелкнул маленькой ручкой и замкнул клапаны. Этот маленький, невинный жест маши-

ниста был точно удар незримого хлыста для огромного железного коня. «Черепаха» встрепенулась, фыркнула раз, потом второй, третий, а потом, фыркая чаще, чаще, чаще,— вышла из депо. Все ее тело, особенно ее медные и латунные части, крючки, клапаны, винты — все это засверкало на солнце, заискрилось. Гордо и величаво двинулась «Черепаха» по рельсам, не торопясь, пока не стала на свое место.

— Прицепить эти пять товарных вагонов! — крикнул старший кондуктор. «Черепаха» двинулась. Это начиналась уже ее работа. Она свистнула яростно, зашипела, как тысяча лютых змей, на миг затмила солнце клубами пара и столбами дыма,— казалось, страшно не хотелось ей идти на такую низкую работу, как сцепка вагонов, да еще товарных. Но ничего не поделаешь — пришлось.

Вот уже вагоны прицеплены, состав, который идет с «Черепахой», готов, и она гордо стоит во главе его. Зазвенел первый звонок. Один рабочий бегает от вагона к вагону, подметая и наводя в них порядок; другой железной вилкой набрасывает на поезд тормозной трос, вкладывая его в крючки на каждом вагоне; третий возится у колес, смазывает оси; еще один идет по крышам вагонов и наливает керосин в лампы. Кондукторы лениво прохаживаются возле вагонов. Публика собирается понемногу.

«Черепаха» стоит и ждет. Издали можно подумать, будто она ничем не отличается от той «Черепахи», которая час назад спала в депо. Но подойдите к ней поближе! Она вся так и пышет тайным огнем. Внутри у нее уже не бурлит, не шипит, не клокочет,— она вся, всеми своими частями играет, звенит, как муха, попавшая в паутину. Стрелка манометра летает, как бешеная. Машинист положил руку на рычаг, готовый в любую минуту пустить в ход эту огромную, сконцентрированную, свирепую, но притом вполне усмиренную силу. Оборотясь лбом к востоку, «Черепаха» глядит своими стеклянными, подслеповатыми глазами на бесконечную, ровную дорогу. Она неподвижна, но при виде того, как бешено бьется ее металлический пульс-манометр, как яростно кипят ее внутренности, невольно опасаешься — вот-вот она сорвется с места, прыгнет, как дикий зверь, и побежит, помчится в безвестность.

— Готов! — крикнул кондуктор в конце поезда.

— Готов! — крикнул другой.

— Тра-ра-ра! — заиграл рожок старшего.

Машинист пустил «Черепаху». Свист — так что в ушах зазвенело. Шипенье — даже бока машины, кажется, надулись от

натуги. А потом фырк! фырк! фырк-фырк! фырк-фырк! фырк-фырк-фырк-фырк!

И пошло фырканье частое, чаще, еще чаще, пока его не заглушил грохот поезда, перестук колес по рельсам, бряцанье цепей и якорей, вся эта колоссальная, дикая и могучая музыка поезда, двинувшегося в ход.

А «Черепаха» во главе поезда не идет, а плывет, звенит, фыркает, двигает боками, вздрагивает, сыплет искры, пышет дымом и паром, точно ждет не дождется того мгновения, когда сможет во весь дух разогнаться, разбежаться, показать свою силу. Ну-ка, пространство, теперь мы померяемся. Ну-ка, дорога — под ноги мне! А ну, километры, назад, прочь от меня, десятками, сотнями! Живо, живо — «Черепаха» идет! Дальше, «Черепаха»! Вперед, всё вперед!

[*1898*]

ЩУКА

У самого берега, под склонившимся в воду кустом, скрытая гибкими ветками лозняка, лежит большая щука. Она спит. Она медленно раскрывает свою пасть и выпускает воду жабрами. Лежа брюхом на мягком иле, она легонько поводит своими красноватыми плавниками и хвостом. Глаза ее открыты, но не видят ничего. Она спит, вытянувшись как палка, и в ее рыбьем мозгу легкими облачками проносятся неясные сны.

Вот в ее воображении проскользнул вчерашний голавль. Хитрая бестия! Как хорошо она подстерегла было его в шуваре! Совсем спряталась. И он не видел ее. Роясь своим тупым рылом в иле, он приблизился к ней совсем, совсем... И она вдруг кинулась на него, да что из того? В одном она просчиталась. Голавль оказался чуточку великоват для ее пасти. Она лишь на какую-то долю секунды почувствовала его голову между своими зубами. Но в тот же миг он взмахнул хвостом, сильно ударил им по воде и, толкнув ее головой в брюхо, шмыгнул под корягу. Вот бестия! Вот стервец! Щука сквозь сон сердито задвигала подбрюшными плавниками и подвинулась на полдюйма вперед. При этом она наткнулась носом на веточку и проснулась.

Рыбий мозг не удерживает впечатлений так прочно, как наш. Проснувшись, щука уже не помнила того, что ей снилось. Не двигаясь с места, она повела глазом в сторону плеса. Что там слышно? Не вышла ли на охоту проклятая выдра?

При мысли о выдре у щуки задрожал спинной плавник. Там, на спине, у нее был еще шрам от зубов выдры. Щука уже

не помнит точно, когда это было — ее память не простирается дальше вчерашнего дня,— но страх перед выдрой, это у нее не сегодняшнее или вчерашнее впечатление, а извечная, родовая традиция, которая вместе с нею самой появляется на свет из материнской икры. В этом страхе щука рождается и живет. Этот страх преследует ее всю жизнь, не покидая ни днем, ни ночью. Правда, днем этот враг не так страшен, днем выдре самой обычно приходится прятаться от других, более сильных врагов, поэтому днем щука в воде — властелин. Но ночью! Ночью щука спит, а выдра гуляет. И вот тысячелетиями, из поколения в поколение, у нее накапливается мудрость, как беречь себя ночью от выдры. И хоть щука очень любит широкий плес, глубокие омуты, вольные водные просторы,— все же на ночь она вынуждена уходить под берега, прятаться в водорослях или среди затонувших веток и прочего растительного хлама, искать таких укрытых мест, где бы выдра не могла увидеть ее и, увидев, не могла врасплох напасть на нее и схватить в лапы, а вынуждена была бы с шумом продираться к ней — и разбудить и вспугнуть свою жертву.

Недвижно лежит щука на своем мягком ложе, укрытая изогнутыми ветвями лозы. В плесе тихо. Солнце только-только взошло и косыми лучами золотит самую середину озера, оставляя в тени берег, под которым лежит щука. От холодной воды поднимается к солнцу легонький седой пар. Тихо-тихо движется вода в плесе, гладкая, как зеркало. Нигде не шелохнет. Ни звука. Ничто не нарушает водного покоя. Мелкие рыбешки, которые днем тысячами снуют у самой поверхности воды и поминутно высовывают свои крохотные рты на воздух, сейчас еще спят в своих тайниках. Вон там, непосредственно под щукой, на гладком глинистом дне дремлет целая стая толстобрюхих пескарей. Они лежат друг возле друга, толстенькие и красивые, как цыплята на насесте. Увидев их, щука шире раскрывает пасть. Вкусные, черти, что и говорить! Но ей не время еще завтракать. Вода еще холодна, в желудке еще ощущаются остатки вчерашней плотвы — холодная вода замедляет переваривание пищи. И все же от одного только вида этих невинных, толстеньких и ленивых пескарей радостью взыграло щучье сердце. Какие милые созданья! На нее нахлынула сентиментальность. Она любит пескариков — не менее искренне, не менее нежно, чем баре любят своих крепостных, чем пастухи — овец. Сейчас, пока она еще не голодна, она готова любого из них нежно прижать к своему сердцу, а то и всех вместе. Дались бы только! Но увы! Эти глупышки боятся ее, не верят ей, и она вынуждена хитрить,

подкрадываться к ним, вынуждена силой задерживать их, когда они удирают. А поскольку рук у нее нет, только зубы во рту, то очень часто эти бедные простаки вместо ее любвеобильного сердца оказываются в ее голодном желудке. Ах, как это печально! Но ведь она в этом не виновата. Она так любит этих бедных, добрых, пузатеньких пескариков, а любовь, однажды овладев сердцем щуки, становится неодолимой. Ничего с ней не поделаешь.

Вдруг — чу! Что-то плеснулось в воде. Пошла легонькая волна и пощекотала щуке бока. Что такое? Щука не двигается с места, но прислушивается. Сонная одурь еще держит ее тело в объятиях. Что это там плещется в воде? Это не выдра. О, плеск выдры она знает! Выдра шлепает по воде так грубо, шумно, а потом ныряет и исчезает совсем, бегая по дну,— нет, тут что-то другое. Щука продолжает лежать на месте, с повернутой в сторону плеса головой, и ничего не видит. Прислушивается, лениво поводя плавниками, но не видит ничего. Плеск затих, только поверхность озера все еще морщится; легонькие волны бегут одна за другой и тихонько щекочут щучьи бока и мягкий, чешуйчатый живот. Щекочут, убаюкивают ее, и она словно засыпает снова. Она чувствует себя в безопасности в своем тайнике из перепутанных, изогнутых веток, пеньков и корней. Какой враг увидит ее здесь? Кто к ней проберется? Кто подумает, что она здесь? А вот около нее разве не лежит толстая ветка тальника, такая же серая, такая же склизкая, потому что обросла водяным мохом, такая же прямая и остроконечная, как сама щука? Сколько раз эта палка, занесенная сюда половодьем, была самой лучшей защитой для щуки! Издали посмотреть — две палки лежат под берегом. Даже старый рыбак Сарабрин раза два попался на эту хитрость. Раз даже, утомленный долгими и безрезультатными поисками в реке, он, проходя мимо этого самого места и заметив эти две палки, гневно ткнул в них шестом и пробурчал:

— Вот еще мне, ну, просто обман, не палка — совсем на щуку похожа!

И какова же была его досада, когда этот «обман, не палка», едва к ней прикоснулся шест, мощно ударила хвостом и, согнувшись в кольцо, метнулась стрелой вперед, с силой годовалого щенка толкнула его в живот и, хлестнув еще раз хвостом по воде, крутнулась и исчезла в глубине.

— Тьфу, чтоб ты пропала! — ворчал Сарабрин.— Вот тебе и на! Да это же и вправду щука была, черт бы ее забрал! Вот так так! А я, дурак, еще и тычу ее шестом в нос, а сачок на

плечах держу. Ну видал ли кто-нибудь такого дурня, как я? А? Такую здоровенную щуку по собственной воле из рук выпустить!

Старый Сарабрин легко мог утешиться. Таких дурней, как он, было и есть на свете куда больше, чем ему это показалось в момент раздражения.

Вот взять хоть бы Антошку, сына самого Сарабрина. Парень уже большой, второй год пастушит. Казалось бы, и мозги в голове есть. А с этой самой щукой что у него приключилось? Всего неделю назад взял его отец с собой на рыбалку.

— Пойдем, Антошка,— сказал он ему, позвав к себе с другого конца огромного общественного пастбища.— Вот тут, в Горбачевом плесе, есть большущая щука. Я как-то чуть было не поддел ее сачком, да побоялся, как бы сачок не прорвала. (Старик соврал. Ему было стыдно признаться, что он сам вспугнул щуку, приняв ее за палку.) Так вот, я захватил бредень. Ступай, раздевайся! Заведем раз-другой, и наверняка будет наша!

Антошка не очень охотно послушался отца.

— Вода холодная! — сказал он.

— Где там холодная! Смотри, как жарит солнце! Вода как парное молоко.

— Глубоко там.

— Не бойся! Ты пойдешь вдоль берега, а я — где поглубже.

В конце концов малый разделся. Полезли в воду, завели бредень раз — нет щуки, завели второй раз — нет. Заходят с каждым разом все глубже, а отец то и дело шепчет да наставляет сына:

— Осторожно, сынок! Смотри в оба! Вот сюда, под этот куст заведем. Тут она должна быть. Как только метнется в сеть, сразу поднимай свое крыло!

— Хорошо, тату,— говорит хлопец, а у самого зуб на зуб не попадает, не то от холода, не то от напряженного ожидания и боязни как-нибудь не выпустить такую большую щуку.

Обвели куст.

— Смотри, сынок! — крикнул отец и ударил шестом между ветвями. А щука действительно притаилась именно там. Она видела рыбаков, видела, как они заводили сеть, но так как дело было после сытного обеда,— она слопала изрядного голавля,— то ей не очень-то хотелось двигаться. Но всплеск воды от удара шеста испугал ее, она метнулась и изо всей силы ударилась головой в сеть.

— Поднимай! Поднимай! — закричал отец.— Есть щука!

Как же, есть! Хлопец от страха и холода растерялся и,

вместо того чтобы завести нижний конец вправо, поднял его влево, открыв щуке широкий выход. Она только раз плеснулась, показала старому Сарабрину хвост и была такова. А старик остался, точно приговоренный к смерти.

— Ну, Антошка,— сказал он,— думал я, когда помру, так самого большого дурака на свете не станет. А сейчас вижу, что оставлю после себя еще большего.

— Да я ж вам говорил,— добродушно и жалостно промолвил Антошка. И оба, дрожа от холода и волнения, вылезли из воды.

Щука не вполне оценила всю важность этого происшествия. Ее рыбий мозг, под действием многовековой традиции, куда прочнее и дольше хранил страх перед выдрой, чем перед человеком, и, конечно, уйдя из рук рыбаков, она и не сообразила, как близка была к смерти.

Не думала она об этом случае и сейчас. Вода была еще холодна, желудок переваривал пищу лениво, и она, не обращая внимания на легкие всплески, доходившие к ней из отдаленных поворотов речки, лежала, не то дремля, не то сонно мечтая. О чем мечтала она? Наверно, о том, как она проглотит на завтрак парочку вон тех пескарей, в таком идиллическом настроении лежащих сейчас на дне небольшого омута, прямо перед ее глазами. А на обед, когда пригреет солнце, потеплеет вода и очень захочется есть, она обязательно поймает голавля, одного из тех толстых, тупорылых и ленивых водяных повес, которые, нажравшись до отвала всяких червяков, всплывают в полдень наверх и, чванясь своими пышными багряными плавниками, прогуливаются до самого захода солнца, водя за собой целые стаи глупой детворы — мелкой плотвы и верховодок. Что бы там ни было, а сегодня она обязательно одного из них сцапает! И уж сегодня она не будет так глупа, как вчера, не бросится на самого большого, того пузатого, величиной с подсвинка. Черт с ним, с этим старым оболтусом! Пусть достается Сарабрину. Она выберет себе какого-нибудь поменьше. В этом озере их хватает. Правда, сейчас их не видно, дармоедов! Они спят сейчас в тайниках, под корягами и в глубоких глинистых норах на самом дне. Там они в безопасности и от выдры и от щуки. Но пусть только пригреет, тогда они, как миленькие, все повылезают из своих нор, а тогда посмотрим!..

Ах, ах! Щучьи мечты! Много ли вы надежнее и ближе к осуществлению, чем людские?

В ту минуту, когда щука вот так составляла себе порядок дня, мы увидели ее. Мы с товарищем вышли утром на рыбалку.

Вчера мы видели, как огромная щука плеснулась в камышах, в погоне за голавлем, и у нас возник свой план для Горбачева плеса. Вот мы и вышли пораньше, зная, что в эту пору — был седьмой час — щуки спят еще под берегом, и надеясь, что застанем ее еще на ночевке. Правда, вода еще была холодна, но это нас мало беспокоило. Тихонько развернув небольшой бредень, мы продвигались к самой глубокой части плеса, держась берега, поросшего густыми кустами лозняка, и стараясь производить как можно меньше шума и плеска.

Наш труд был не напрасен. Почти под каждым кустом мы захватывали то голавля, то окуня, то плотицу, которые, плеснувшись два-три раза в сети, переселялись в наш рыбацкий мешок. Но большой щуки не было.

Чем дальше в плес, тем становилось глубже. Мы знали, что там, где берега сблизились и создают что-то вроде рукава, обрамленного со всех сторон большими коренастыми вербами, глубина доходит почти до двух метров. Туда нам не пройти, и если наша знакомая щука ночует там, то беды ей от нас мало. Все же мы продолжали осторожно продвигаться дальше, пока позволяла глубина.

— Вот она! Вот она! — прошептал мой товарищ, застыв неподвижно на месте и кивая в сторону щуки.

Я заметил ее почти одновременно.

— Заходи под берег! Под самый берег! — шепнул я товарищу.

Через несколько секунд наш бредень выгнутой дугой охватывал тот куст, под которым сидела щука. Правда, из-за ветвей, торчавших в воде во все стороны, трудно было охватить его как следует, и, заведя бредень, мы еще с минуту поправляли сеть, чтобы удобнее было поднимать. В то же время я не спускал глаз со щуки. Она тоже увидела меня, потому что, не трогаясь с места, вдруг задвигала подбрюшными плавниками, как бы собираясь прыгнуть.

— Хорошо стоишь? — спросил я товарища.

— Хорошо! Болтай шестом!

Но щука не ожидала болтания. Услышав наши голоса, она стрелой метнулась прямо на меня. Между мною и берегом оставалось еще достаточно свободного места, которое из-за течения невозможно было охватить сетью. Тут-то она и надеялась проскочить, как, наверно, не раз уже проскакивала у других рыбаков. Но я был готов к этой уловке. Сильным ударом шеста я преградил ей путь и вынудил ее вывернуться влево. Она только мелькнула передо мной своим широким, как валек, хвостом и

исчезла в глубине. Но я не беспокоился. Я знал, что здесь она не уйдет от нас. Еще один удар шестом, и щука изо всей силы шлепнулась в сеть.

— Кверху!

Низ бредня взлетел вверх, середина его провисла, создавая глубокую мошну, и в ней, как в длинной и узкой клетке, билась щука.

— Назад! Назад! На мелководье! — крикнул я товарищу, и не спеша, заботливо поддерживая края сети над водою, мы вышли на мелкое место.

— Ой! Уж не удрала ли она? — в страхе спросил товарищ.— Что-то ее совсем не слышно.

Мы подтянули бредень к берегу и быстро подняли его весь над водой. Сквозь сеть сверкало белизной широкое толстое щучье брюхо.

— А, здравствуйте, кума! — воскликнули мы радостно.— Пожалуйте поближе!

Щука стала биться в сети, но это уже было ни к чему. Я схватил ее обеими руками, чтобы она не прорвала сеть, товарищ собрал концы бредня, и через минуту мы оба были на берегу.

— А, добрый день, кумушка! Вот где мы с вами встретились!

Щука отчаянно металась в траве, пока мы переодевались в сухое платье.

[*1899*]

В КУЗНИЦЕ

(Из моих воспоминаний)

На дне моих воспоминаний, где-то там, в самой глубине, горит огонь. Небольшой очаг неяркого, но горячего пламени освещает первые контуры, выплывающие из тьмы детской души. Это — огонь в кузнице моего отца.

И сейчас вижу я железную лопатку, которою отец набирает уголь из деревянного ларя,— уголь этот он сам жег за хатами в яме, и место это до сих пор называется «угляркой», хотя от ямы уже нет и следа,— бросает его в горн на кучку жара, принесенного в черепке из дому, а затем своей обычной скороговоркой обращается к подручному:

— Ты-ты-ты, Андрусь, а ну, поддувай, да потихоньку, потихоньку, пока не разгорится.

Андрусь, который на закорках принес меня из хаты и посадил на угольный ларь, поближе к огню, теперь хватается за ручку мехов и начинает качать. У мехов вначале какое-то короткое дыхание, они еще не набрали воздуха, не втянулись в работу; они только разваливают уголь, а пламя не раздувают.

— Помаленьку, Андрусь! Ты-ты-ты, хлопец, помаленьку!

— То дикая баба фыркает! — говорит шутя Андрусь и что есть силы налегает на ручку, чтобы как можно больше воздуха вошло в мехи.

Его упоминание о дикой бабе кидает меня в дрожь.

— Где дикая баба? — спрашиваю я.

Андрусь смеется:

— В мехах. Разве не слышишь, как фыркает?

Я прислушиваюсь — и правда, фыркает.

— Погоди, вот я ее как следует прижму,— говорит Андрусь,— так она у меня застонет.

— Я не хочу! Не зми! — кричу я.

Я уже готов заплакать. Я не понимаю шуток Андруся. Мое воображение населено призраками, упырями, покойниками: я каждый вечер слушаю о них рассказы за прялкой наших двух работниц — Устины большой и Устины меньшой. Они упоминали не раз и про дикую бабу-летавицу, которая сидит на горе Дил и курит оттуда дымом; Андрусь первый поместил ее в кузнечные мехи, и с тех пор мехи эти вселяют в меня ужас.

— Но-но-но, ты, хлопец! Не говори ребенку глупостей. Не слушай, Ивась, не слушай, в мехах нет никакой дикой бабы.

— А что же там так сопит?

— Это ветер, сынок. Видишь, мехи набирают ветер, а когда их сожмут, он дует. Гляди, и я так дую!

И отец разок-другой дует на огонь.

Я успокаиваюсь. Огонь разгорается. Сначала он робко проскальзывает между углей синеватыми язычками. Но дикая баба начинает дуть сильнее — синеватые язычки внизу краснеют и стремительно выскакивают из глубины угольной кучи. Постепенно черный уголь и сам наливается красной краской, пламя шипит и вырывается, будто сноп блестящих ножей или стрел. А дикая баба уже раздула свой кожаный живот чуть ли не до потолка. Андрусь налегает обеими руками, грудью и животом, чтобы опустить ручку вниз. Огненные ножи внизу становятся белыми; уголь из красного делается золотым, как бы прозрачным, словно плавится. Я не могу оторвать глаз от этого неяркого огня, который не чванится светом и едва разгоняет сумрак небольшой деревенской кузницы, но зато плюет крупными иск-

рами под самый корытовидный, обмазанный глиной и обросший сажею свод и таит в себе великое тепло, великую рабочую силу.

А отец, взяв в руку свой небольшой «карманный» молоток, уже стоит у наковальни и ударяет по ней, быстро, раз за разом, как бы выбивая дробь на барабане. Звук разносится по всему поселку — сигнал, что в кузне начинается работа.

Теперь он вытаскивает из-под мехов ящички со всевозможным железом. Здесь выщербленные топоры, которые нужно наварить сталью; вон один выглядывает, будто забулдыга с раскроенной головой,— у него разбит обух, его придется совсем «перелить», как выражается отец на своем образном языке. А вон у дверей сошник — надо его наладить. У кузницы под небольшим навесом возле точила стоит пара тележных колес, принесенных для оковки; там же лежат и новые железные полосы для обручей.

Отец был лучший кузнец на всю округу, особенно же славились его топоры. Еще спустя тридцать лет после его смерти один человек из чужого села, старик уже, разговорившись со мной и вспомнив об отце, сказал:

— Нет, такого кузнеца уже не найти. У меня еще до сих пор топор его работы есть. Живая душа, не топор!

Когда отцовский сигнал, выбитый молотом по наковальне, разносился по слободе, обычно начинали собираться соседи. Работа в кузнице шла больше всего зимой; летом было лишь два коротких сезона в пахоту и в жатву, так что отец открывал кузницу летом разве тогда только, когда попадался какой-нибудь большой и срочный заказ.

А зимой крестьянской работы мало. Кое-где по гумнам стучат цепы, в сенях шуршат пилы и жужжит во́рот, свивая веревку. Работа не спешная. А в кузнице весело.

Кто приходил с большой работой — телегу ли оковать, топор ли сделать,— не забывал сунуть за пазуху бутылку водки. Ходили к кузнецу, как в гости, как к соседу, а не как к ремесленнику, который сделал что нужно — и будь здоров: я тебя не знаю, ты меня не знаешь. У отца никакой таксы за работу не было — «что людям, то и мне», а нету денег, так и подождет. Но любил, чтобы в кузне было весело, шумно. В большой компании, за веселыми разговорами и чаркой горелки ему работалось лучше всего. Да частенько и помощники нужны. Вот хотя бы колеса обтянуть: три-четыре мужика берут толстые палки с железными крючьями; двое других и отец третий длинными клещами несут раскаленную шину, кладут ее на обод, а те, с палками, подхватывают крючьями обруч, упирают конец палки

в обод и начинают изо всех сил нажимать. Отец хватает большой молот, бьет по железу, где нужно. Дерево обода от прикосновения горячего железа кое-где вспыхивает, но быстро гаснет.

«Ну, ну! Ты-ты-ты!» — слышны отцовские присказки, перемежающиеся ударами молота то по железу, то по ободу и лязгом крючьев, которые тянут шину в разные стороны. Потом три-четыре человека хватают такие же большие молоты и начинают в такт, как при молотьбе, набивать натянутую шину на обод. Луп-цуп-цуп! Луп-цуп-цуп! — звучит по всей слободе, пока шина не станет окончательно на свое место. Пожилые хозяева глазами знатоков осматривают колесо, приглядываются, хорошо ли стянула шина обод, вошла ли каждая спица на свое место, крепко ли стоит ступица; то один, то другой поднимет здоровенной рукой колесо, опустит его легонько на землю и прислушивается к звуку.

— Колесо что колокол! — повторяют один за другим. Высшая похвала кузнецу.

А в кузнице дикая баба стонет и стонет, огонь в горне уже весь белый, а в глубине его что-то рдеет, светится, как золото, и пускает длинные рассыпающиеся искры, так называемые «зи́ндры». Это «варится» будущий топор. Отец кинул в огонь две добрых пригоршни гвоздей, этих старомодных, ручной работы, некрупных гвоздей из кованого железа, обложил их угольем и поставил еще одного человека, кроме Андруся, поддувать. В отцовской кузнице таков уж обычай: кто придет — сиди, разговаривай; дойдет дело до угощения — и его не минуют; но если нужно в чем-нибудь помочь, так отец без церемоний обращается к нему: «Ты-ты-ты, хлопец!» (если это кто из молодых) или: «Кум-кум! А ну-ка, за молот!» Или за мехи! Или за что там понадобится. И моя маленькая особа бывала предметом его заботы в таких случаях. Когда нужно было брать на наковальню какой-нибудь крупный кусок сильно раскаленного железа, от которого летели горячие искры или с треском отскакивали зеленовато-белые «зиндры», отец всегда просил кого-нибудь из присутствующих:

— Заслоните-ка там ребенка!

Я очень боялся этих искр, но тем не менее очень любил смотреть, как они, словно рой огненных шмелей, вылетали из-под отцовского молота и брызгами рассыпались во все стороны. Особенно в тех случаях, когда нужно было сварить два куска железа в один. И вот, когда отец сплющит в ком расплавленные в горне гвозди, из этого кома, после неоднократного обжигания, выкует продолговатую плоскую болванку длиной в

полторы пяди и шириной в три пальца, потом на круглом ребре наковальни согнет ее, а концы склепает вместе,— вот тут-то и наступал самый важный момент в отделке топора: сделать хороший, крепкий обух и сварить, выковать и закалить лезвие. Согнутая толстая болванка снова шла в огонь, а когда она раскалялась добела, в бесформенную дыру нужно было вогнать обушницу — железное приспособление, на котором должно было сформироваться отверстие обуха. На этой обушнице отец выковывал обух чрезвычайно старательно: его обухи никогда не давали трещин и не раскалывались, а это в крестьянском топоре, который часто служит и молотом, очень большое достоинство. Вместе с обушницей топор шел снова в огонь, но в каком виде! Часть, где оба конца болванки сходились вместе и где полагалось возникнуть лезвию, была вся облеплена жидко разведенной глиной — это должно было способствовать свариванию железа. Положенный в огонь топор отец старательно, как ребенка, прикрывал горящим, а сверху еще и свежим углем, а уголь этот обрызгивал, кроме того, водой, в которой тоже была жидко разведена глина, это для того, чтобы образовался лучший «гиц» [1]. И дикая баба начинала стонать изо всех сил. До тех пор пока из горна вместе с обыкновенными искрами не начинали вырываться ярко-белые «зиндры». Нет, еще не до тех пор! Вот когда эти «зиндры» начинали густыми роями выскакивать из пламени, тогда это означало, что железо сварено впору. Отец тихонько брал клещами раскаленный металл, счищал с него молотком уголь и расплавленную глину, клал на наковальню и несколько раз легонько ударял его своим молотком. В этих ударах для меня всегда таилось какое-то волшебство: казалось — какие легкие! А между тем после каждого удара с треском отскакивали и разлетались по всей кузне огромные рои «зиндр». И хотя я обыкновенно в эти минуты сидел на своем возвышении, заслоненный от наковальни могучими плечами какого-нибудь «кума», но глаза мои из безопасного укрытия бегали по всей кузнице, следили за каждой «зиндрой» и одновременно не отрывались от железа, которое под ударами отцовского молотка принимало с каждым разом все более отчетливую форму. А придав мягкому железу такую форму, какая ему была нужна, отец подмигивал присутствующим, особенно тем, кто помоложе, и приговаривал:

— Ты-ты, хлопец! А ну, за молот! А ну, живо!

Двое хватали здоровенные молоты и в такт били по железу.

---

[1] Жар (от *нем.* Hitze).

Луп-цуп-цуп! Луп-цуп-цуп! — звучали удары трех молотов. Маленький, отцовский — тоненько, а два других — грубо, с запалом, словно сердясь.

Топор был сварен; теперь-то и начиналась у отца тонкая работа: опять над обухом, пока не наступало время, когда можно было выпуть обушницу, а затем над лопастью и над лезвием. Отец ковал и перековывал каждую часть по нескольку раз, заботясь не только о форме, но особенно о том, чтобы железо было ровно и туго выработано, чтобы нигде не было ни изъяна, ни трещинки, чтобы топор выглядел «как литой».

В кузнице идет беседа. Соседи рассказывают деревенские новости: что слышно в сельской управе, что видели на базаре в Дрогобыче, о чем рассказывал захожий нищий старик. Больше всего разговоров о Бориславе, о колодцах и шахтах: в ту пору начиналась в широких размерах добыча нефти и горного воска. Тысячи дельцов шли в Борислав, за гроши выманивали у крестьян клочки земли и начинали копать «ямы». В соседних селах начал зарождаться тип «рипника»: обычно это были парни, не только бедные, но и более зажиточные, которые «позарились на черную сорочку да белый хлеб»,— так характеризовала крестьянская поговорка нефтяника — первый продукт промышленно-капиталистических порядков в том тихом до тех пор, патриархальном уголке.

До нашей кузницы доходили лишь отдельные, надо сказать — довольно мутные пузырьки этого нового явления. На этой неделе в ямах погибло пятеро парней, а недавно в одном колодце задушило троих, а тот или вон тот выпал из бадьи и покалечился о сплетенный из прутьев короб, который заменял сруб в этих крайне примитивно оборудованных шахтах. Это была одна постоянная тема рассказов. А вот вторая: тот бориславец пошел с сумой, этот спился, того, сказывают, подпоили да пьяного столкнули в шахту. И дальше шли бесконечные несвязные рассказы о мошенничествах хозяев-евреев, о попойках нефтяников, об их больших заработках и о том, как они сорят деньгами, о выбросах нефти на пятой, десятой, двенадцатой сажени.

Я слушал эти рассказы, как фантастические сказки о далеких, заколдованных краях. Борислав с его ужасами, дикими шутками и скачками фортуны, с его удивительным промыслом, удивительным способом работы и удивительным народом завладел моим воображением. Наша слобода лежала далеко от большой дороги; от нас никто не ходил и не ездил в Борислав, но, наслушавшись зимой в кузнице рассказов о нем, я решил про

себя не пожалеть весною ног, побежать на большак и ожидать там до тех пор, пока не увижу нефтяников, которые из далеких, более бедных сел шли в Борислав или возвращались оттуда по субботам домой. Но мое любопытство было удовлетворено раньше: еще зимой отец взял меня как-то в понедельник в Дрогобыч, и тут я увидел целые толпы нефтяников и целую кучу евреев, которые каждого селянина, казавшегося им по виду приезжим из Борислава, спрашивали:

— Хозяин, хозяин! Вы из Борислава? А нет ли у вас участка на продажу?

Отец не любил слушать эти рассказы о Борславе. Он так сжился со старыми порядками сельской жизни, что в этой непривычной бориславской неурядице чуял нечто враждебное прежнему укладу. Он и виду не подавал, что недоволен, не осуждал и не возмущался, как некоторые из заядлых защитников старины, но, когда исчерпывался запас новостей, охотно переводил разговор на другие, преимущественно моральные темы. Отец, усердный и толковый работник, любил подтрунивать над дармоедами и лодырями. В подтверждение своих общих замечаний он любил приводить коротенькие истории и притчи, обычно из области кузнечного ремесла. Здесь, в кузне, я впервые услышал рассказ о мальчике, которого отец отдал кузнецу в науку, но, боясь, «чтоб дитя не обожглось или чтоб ему искра глаза не выжгла», просил кузнеца поместить его сына в корзину, повешенную на стену: «Он, мол, будет приглядываться ко всему, да так и выучится». Хлопец «учился» таким манером семь лет, а вернувшись к отцу, сделал вместо лемеха — пшик.

Раз попав на путь общих тем и рассуждений, беседа текла живо. Охотников послушать было много, да бывали между нашими соседями и неожиданные мастера-рассказчики. Сыпались анекдоты, воспоминания далеких лет: о «Кошутской войне», о трудных годах, о походах наших селян на Подолье в поисках работы, на Покутье и в Буковину по кукурузу. Собственные приключения переплетались с короткими, но меткими характеристиками людей — подолян, гуцулов, бойков — и местностей: Коломыи, Городенки, Черновцов, Садогоры.

Но вот топор готов. Снова раскаляет его отец, но теперь лишь докрасна, а потом опускает лезвие на два пальца в холодную воду: оно закаливается. А потом в тиски его да под рашпиль, чтобы отшлифовать, и, наконец, на точило, чтобы наточить,— и готов неразлучный друг селянина в лесу ли, за плугом ли, в извозе ли — везде, где нужна «подмога рукам». Куз-

нец радостно глядит на свою работу, любуется ею несколько минут, а потом передает соседям. И переходит новый топор из рук в руки. Каждый осматривает обух, пробует пальцем, остро ли лезвие, хорошо ли выклепана лопасть, все обследует, как если бы это был его собственный топор.

— Ну, этот послужит! — говорит один.

— Мне бы те дубочки, что он срубит! — вздыхает другой.

Счастливый обладатель нового топора смотрит на него с гордостью, с любовью. Он видел, как его делали, от самой первой минуты, когда тот был еще пригоршней старых гвоздей. Он помогал раздувать мехи, бить молотом,— значит, топор отчасти и его собственное творение. Он весело благодарит кузнеца, достает из мешка плоскую полукварту горелки. Отец велит принести из хаты чарку, каравай хлеба, полкруга сыру на деревянной тарелке — и начинается угощение, «спрыски» нового топора.

Отец выпивает чарку горелки, закусывает и берется за новую работу; остальная компания угощается, гуторит, шутит. Тот грезит наяву: кабы мне две-три сотни, так бы и то и то сделал, я бы показал! Другой считает, сколько денег за последний год прошло через его руки.

— Двенадцать десяток, ей-богу, кум, двенадцать десяток, как одна копейка! Какая бы пара волов была! А так что! Между пальцев прошло. Ни поел человек, ни попил, ни оделся, только чертовой матери угодил.

— А вот вам, кум Марко...— обращается один к нашему простодушному соседу,— кабы вам теперь двенадцать десяток, что бы вы сделали?

— Я-я-я,— запкается Марко,— я бы-бы-бы уже зна-на-нал, куда их девать.

— Ясное дело, завернули бы в тряпицу да заткнули бы куда-нибудь под стреху! — шутит кто-то. Марко не пытается отвечать, только головой качает: мол, шутите на здоровье, а я свое знаю!

Другие толкуют о своих домашних делах: у того корова отелилась, там ребенок кашляет; иной хвалится, что вчера из копны пшеницы намолотил пять четвертей. Злословия, сплетен об отсутствующих отец не терпел и, если у кого язык в ту сторону поворачивался, умел ловким оборотом или присказкой сбить его с этого пути, а тех, кто помоложе, бывало, и попросту одернет: «Не суй носа в чужое просо!» Также не любил отец ничего непристойного в разговоре: сам он и при нем вся компания держались в рамках приличия — понятно, такого, каким

его представляют себе честные, солидные хозяева. Над женщинами иногда подшучивали, а отец любил рассказывать известную притчу о деве-искусительнице — в доказательство того, что «женская натура и невинного доведет до греха».

— Жил как-то отец со своим сыном в лесу. Хлопец так и вырос в лесу, не видав ни одной живой души, кроме своего отца. Когда минуло ему двадцать лет, отец и говорит:

— Ну, сынок, пойдем малость на свет поглядим, как там люди живут.

А сын говорит:

— Хорошо, отец!

Пошли. Приходят в село, а на краю села кузница. Вошли они в кузницу, уселись. Сын смотрит, как кузнец работает, а потом говорит отцу:

— Отец, может, и мне бы поработать немного?

— Хорошо, сынок, поработай.

Парень подходит к огню, где разогревалось железо, но не берет клещей, а хватает раскаленное железо прямо рукой, кладет на наковальню и кует, а железо не жжет его ни чуточки.

Кузнец глаза вытаращил на такого помощника, а отец ничего, только говорит сыну:

— Ну что, сынок, хорошо идет работа?

— Хорошо, отец!

— Коли захочешь, можешь здесь остаться. Но сначала походим еще немного, а то мы мало свет повидали.

Ладно. Пошли дальше селом, а на улице повстречалась им девка. Сын остановился, смотрит — что это, еще не видел никогда такого,— а потом спрашивает:

— Отец, а это что такое?

— Это, сыночек, искушение,— отвечает старик.

А у сына и глаза разгорелись.

— Эх, отец, қабы у нас в лесу было такое искушение!

Понял старик, что у хлопца кровь взыграла, и говорит:

— Ну, хватит, сын! Давай возвращаться домой.

Возвращаются. Пришли снова к кузнице, а старик говорит сыну:

— Ну что, сынок, может, хочешь еще малость поработать?

— Хорошо, отец,— отвечает сын.

Да снова по-своему: идет к огню, а там железо раскаленное. Он хвать рукой за железо. Эх, как закричит, как отдернет руку! А ладонь вся волдырем вздулась. Обжег начисто. Старик и говорит:

— Видишь, сын, это за то, что ты искушения захотел.

Собрались оба и пошли обратно в лес.

Отец рассказывал эту притчу шутя. Аскетизм, лежащий в ее основе, был совершенно чужд его натуре. Наоборот, всегда и везде он был человек компанейский, общественный. «С людьми и для людей» — это был его жизненный девиз. И до сих пор помню, какое большое впечатление произвел на меня его рассказ про святого, который просил бога освободить его от людской любви.

— Еще в давние времена жил один славный доктор. Он много помогал людям, и бог оказал ему такую милость, что все любили его. Ну так и льнули к нему. Что мухи на мед! Куда ни обернется, куда ни двинется — всюду у него были друзья-приятели, а с кем хоть раз заговорит, тот за него в огонь готов. Но вот однажды, идя лесом, он увидел старца, совершенно голого, обросшего волосами с ног до головы, который молился в какой-то пещере.

— Что ты здесь делаешь, старик? — спрашивает доктор.

— Богу служу,— говорит старец.

— Как же ты ему служишь?

— А видишь: я покинул все мирское, отказался от всего и молюсь да оплакиваю свои грехи.

— А не лучше бы ты послужил богу, если бы остался в миру и работал для людей?

— Нельзя служить и богу и мамоне,— отвечал старец.— Люди и все их горести, заботы и усилия — это мамона. Кто кому служит, от того пускай и платы ждет. Я служу богу, и бог мне воздаст, а тому, кто служит людям, чем отплатят люди в день Страшного суда?

На этом они и расстались: старик остался в лесу, а доктор вернулся к своему делу. Но с тех пор начал он размышлять над словами старца, начал раздумывать и в конце концов дошел до того, что возненавидел людей и захотел и сам отдалиться от них. Ушел в лес, но люди разыскали его, а когда он не захотел вернуться в город, они остались с ним в лесу. Он снова ушел от них, и снова его нашли. Он скрылся в какие-то недоступные дебри — и там его разыскали; уплыл в море и приказал оставить его на скалистом острове — и там люди нашли его и льнули к нему по-прежнему. Тогда он начал молиться богу: «Господи, пошли мне такую болезнь, чтобы меня все люди боялись, чтобы перестали приставать ко мне!»

Начал он молиться, начал бога просить, и наконец господь бог наслал на него такую болезнь, что стал он о землю биться, метаться, пену испускать, рычать не своим голосом, так что все

его пугались и убегали от него. А он при каждом таком припадке все видел чертей, которые его хватают раскаленными клещами, тащат к себе железными крючьями, бьют железными прутьями и всё кричат:

— Иди к нам! Иди к нам!

Так он мучился целых двенадцать лет, но не бежал уже в леса и дебри. Теперь его душа тянулась к людям, но люди бежали от него. Он ходил по городам и селам, просил приюта, но болезнь сделала его таким страшным, что никто не хотел принять его под свой кров. Если где-нибудь он попадал в толпу людей, все разбегались: даже в церковь не мог войти, потому что все убегали оттуда, когда он появлялся, так что его и туда пускать не стали. Наконец, по прошествии двенадцати лет, слышит он голос:

— Валентий! Валентий!

Он откликается:

— Кто меня зовет?

А голос говорит:

— Ну что, сладко жить человеку без людской любви?

А он говорит:

— Господи, я согрешил! Пошли мне смерть, не наказывай больше.

А голос говорит:

— Вот видишь! Кто людям служит, тот мне служит. Я сотворил человека для людей, и только с людьми и благодаря людям он может быть счастлив. Если бы я хотел, чтобы он был счастлив для себя и сам по себе, я сделал бы его камнем. Если бы я хотел, чтобы он только мне одному служил, я сделал бы его ангелом. А так я дал человеку самый большой дар — любовь к людям, и только этим путем он может прийти ко мне. Ты же хотел быть мудрее всех и идти напрямик, да зашел в дебри, где сидят те самые, с клещами да железными прутьями. Ну, а теперь можно снять с тебя наказание. За то, что ты раньше служил людям и спасал их, я беру тебя к себе; а твою болезнь оставлю людям на память: пусть побеждают свой ужас и отвращение и учатся любить и спасать друг друга даже в таком страшном состоянии.

— И доктор Валентий,— закончил отец,— стал святым, а его болезнь до сих пор ходит среди людей. А кто заботится о больном этой болезнью, помогает ему, к тому милостив господь бог.

Сорок лет миновало с тех пор, как в небольшой деревянной кузнице в нашей слободе последний раз прозвучала дробь, вы-

битая отцовской рукой молотом по наковальне. Сколько перемен за это время! Не только от кузницы, но почти от всего, что было тогда основой тихой, патриархальной жизни в нашем уголке, не осталось и следа. Из всей той веселой компании, которая гомонила вокруг кузнечного горна, помогала раздувать мехи, натягивать железные шины на колеса, рьяно била молотом по раскаленному железу и сыпала веселыми анекдотами за чаркой горелки, должно быть, никого уже нет в живых. А веселье и живость тех дней у многих из них погасила судьба еще задолго до их смерти. И, наверно, никому на ту пору и в голову не приходило, что и эта кузница, и эта компания в ней, и ее дружная, радостная атмосфера останутся живыми, непотускневшими в душе маленького рыжеволосого мальчонки, который босиком, в одной рубашке сидел в углу возле огня и которого заботливый отец то и дело просил заслонить от разлетающихся искр.

На дне моих воспоминаний и до сих пор горит этот маленький, но жаркий огонь. В нем переливаются синие, красные и золотисто-белые лучи, рдеет, словно расплавленный, уголь, и пылает в глубине его что-то еще более яркое, лучистое, откуда то и дело с треском вылетают ветвистые «зиндры». Это огонь в кузнице моего отца. И мне кажется, что запас его я ребенком принял в свою душу на долгий жизненный путь. И что он не погас и до сих пор.

Криворивня, 24 июля 1902

В ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ

I

Тюремная больница! В каждом из этих двух слов заключен ад, а соединенные вместе, они — уголок рая, тихая пристань, по которой тоскуют сотни душ, усталых, исстрадавшихся. Здесь они находят облегчение в болезни или хотя бы временную перемену в своей серой, уже из-за одной монотонности невыносимой жизни.

Больница при львовской уголовной тюрьме — это небольшое крыло обширного здания, отделенное тесным и темным коридором от основного комплекса тюремных камер. Больничные камеры чуть побольше обычных арестантских, каждая в два окна. Всего их четыре: для тифозных, кожных, хирургических и глазных больных. Другими болезнями, шутят арестанты,

в здешнем заведении болеть не положено; если же случится кому заболеть еще чем-нибудь, его помещают в одну из этих четырех палат, соответственно тому, к какой из групп ближе его болезнь.

Тюремная больница — только тень больницы обычной, карикатура на нее. Это та же тюрьма с запертыми день и ночь дверьми, с решетками на узких окнах, с голыми стенами и непременной «парашей» в углу. Больницей она называется только потому, что каждое утро сюда заходит врач и осматривает больных, а в случае какого-нибудь острого, тяжелого заболевания врач спустя два-три часа может заглянуть и вторично в тот же день. Кроме того, больным полагается особая пища, так называемая «шпита́лька»: серый хлеб, утром молоко три раза в неделю, а для тяжелобольных и каждый день, бульон и мясо, иногда вино. Эта вот шпиталька, да тишина в больничных палатах, да более мягкое обращение больничных надзирателей с больными и служит главной приманкой, заставляющей заключенных тосковать по больнице и представлять себе пребывание в ней как отдых и счастливую перемену в своей горестной жизни.

Сколько эти мрачные стены слышали отчаянных проклятий, тихих вздохов, криков боли и шепота горьких сожалений о безвозвратно ушедшем! Сколько тут перед ними прошло тяжких смертей, сколько пролито слез позднего раскаяния! А долгими ночами, при свете подвешенной к потолку на черном крюке одинокой лампы, сколько рассказано было здесь скорбных повестей, открывавших иной раз самые глубокие тайники человеческой души, страшные бездны необузданных страстей, порывы светлого ума и безумия, проявления глубокого, нежного чувства или взрывы дикости и жестокости, что, как зверь в темном лесу, таится порой в человеческом сердце.

В памяти у меня застряла одна такая сценка, эпизод, о котором рассказал мне один из тех, кто был привлечен по первым львовским социалистическим процессам, в пору, когда здесь выносили приговор за одно лишь исповедание социалистических идей, когда один из старших советников львовского суда с присущим ему циничным юмором говорил:

— Что такое социализм, я, ей-богу, не знаю, знаю только, что это нечто заслуживающее наказания.

История, о которой пойдет речь, произошла в конце 70-х годов прошлого века. Того, кто мне рассказал о ней, не называю — кому какое дело до его имени. Рассказ его я воспроизвожу по памяти, может быть, не столь колоритно, как рассказывал он сам, но в основном верно.

II

Меня привезли сюда из подследственной тюрьмы в бессознательном состоянии. Я заболел тифом, каждый день настойчиво требовал, чтобы меня отвели к врачу, но врач не давал себе труда даже пощупать пульс и отправлял меня обратно одной и той же фразой:

— Здоров! Ничего ему не сделается!

Я возвращался в свою камеру, и лежал, и мучился в горячке, пока не дошло до того, что не мог уже двинуться. Тогда меня поздно ночью положили в фургон и перевезли в тюремную больницу, в Бригидки.

Как долго я пролежал там в беспамятстве, не знаю. Словно сквозь туман припоминается, что мне страшно докучал какой-то скрип, будто рядом с моей постелью, не останавливаясь, ехал деревянный, давно не мазанный бойковский воз или кто-то со страшной силой сверлил тупым сверлом дыру в сухой ели. Когда я немного пришел в себя, я понял, что это было хриплое дыхание и сухой кашель моего соседа, больного, лежавшего на койке, отделенной от моей лишь узким проходом.

Первое ясное воспоминание: я лежу навзничь, бессильно распростершись. В виски стучит так, что голове больно. Сквозь сомкнутые веки чувствую чуть заметный свет единственной лампы, висящей на потолке посреди камеры. Рядом со мной хрипит, задыхаясь, мой сосед. А тут, из угла откуда-то, как мне кажется, очень издалека, раздается грубый и резкий голос:

— Дед Герасим!

— Ну что? — отзывается мой сосед и заходится страшным кашлем, который долго хрипит, играет, свищет и клокочет в его груди.

— Да у вас уже не скрипка внутри, а целый орга́н.

— Христос играет! — говорит старик.

— А что ваш сосед? Не пришел в себя?

— Спит.

— Ну, еще бы немного...

— Молодой, справился. А ты как?

— Э, что я. Черт меня не возьмет.

— Глупый ты! Разве это дело — самому себя калечить?

— Вы глупые, дед! Что вам, старому! Не сегодня, так завтра. А мне тридцать два года. Хотелось бы пожить. А как подумаю, что я осужден навечно... понимаете, дед, навечно и еще на четыре года... Так это, по-вашему, ничего? Ну, навечно, это бы еще наплевать. Но эти четыре года, по месяцу в камере

и в кандалах, а по месяцу в одиночке да на кирпичах спать — тут, дед, человек волком взвоет. Кто бы ни был, а подумает: один раз мать родила, лучше один раз помереть, нежели так мучиться.

— А я опять говорю: глупый ты! Терпи, коли заслужил! В старые времена и не такое терпели!

Дед снова закашлялся. Через некоторое время, отдышавшись, прибавил:

— Вот меня двенадцать лет в следственной мучили. Глаз лишился и еще на двадцать лет засудили. Не надо и твоего навечно, мне их все равно не дожить. А руки на себя накладывать — избави боже. Что заслужил, то и претерплю. И ты так.

— Да я бы согласен терпеть,— произнес несколько мягче далекий голос.— Но вот эти четыре года, да кирпичные ребра... И, знаете, на этих кирпичах такое снится... такое снится... Ой, дед! А вам снились когда-нибудь ваши евреи, которых вы зарезали?

— Старики — нет, только малые ребята да одна бабенка. Такая видная была... И снится она мне вся в белом, коса распущена до самого пояса... и все будто в церковь идет креститься... и усмехается, и моргает мне. За других меня карают люди, а за нее еще бог покарает...

III

Второе сознательное впечатление. Холодная, сухая рука шарит у меня по лицу, потом по шее и по груди. Сквозь сон ощущаю ее прикосновение, как будто ползает какая-то мерзкая тварь — жаба или гусеница. Я вздрагиваю всем телом и открываю глаза. И вижу: надо мной склонилось старческое лицо — желтое, сморщенное, как сушеное яблоко, до половины заросшее длинной, белой, как молоко, бородой. А между тем нет в этом лице ничего такого, что придает старческим лицам благообразие и привлекательность. Широкий рот и толстые, посиневшие губы страшны, еще страшнее глаза — совсем белые, мертвые.

Я еще раз вздрогнул при виде этого лица, озаренного с одной стороны желтым светом лампы.

— Жив! — буркнул дед, приложив ладонь к моей груди против сердца.

Я хочу крикнуть, но не могу: с моих губ слетает едва слышный стон.

— Спите, панич? — спрашивает дед.

Я гляжу на него не мигая. Потом с огромным усилием еле слышно произношу:

— Нет.

— Ну, слава богу, что живы! Я уже думал, что вам конец.

И он, весь дрожа, снова ложится на свою постель и заходится кашлем.

— Долго я спал? — спрашиваю я.

— Спали! Месяц уже... Между жизнью и смертью. Вчера доктор уже рукой махнул... Как вы сейчас?

— Да не знаю. Как будто ничего не чувствую.

— Лежите тихо, не шевелитесь. Даст бог, поправитесь.

Он снова кашляет, а в перерывах что-то бормочет. Не то молитву, не то мне что-то говорит, не могу понять. Сон меня глушит, и я засыпаю.

С той ночи я начал поправляться. Правда, медленно. Голова еще болела, тело было сковано слабостью, меня мучили сонные видения, а особенно галлюцинации слуха. Во сне кашель деда казался мне то сотни раз повторяющимися выстрелами из карабинов над самым моим ухом, то рокотом и хрустом жерновов у самой моей головы, то скрипом дуплистой вербы под осенним ветром. Да и другие звуки, время от времени раздававшиеся в нашей камере, приобретали для моего больного слуха особенную, во сто крат усиленную остроту, мучили меня. Но постепенно все это прошло, и я начал заметно набираться сил. Только лицо деда Герасима продолжало оставаться для меня страшным и отталкивающим; не смягчали это впечатление ни глубокие морщины, бороздившие его лоб, ни мелкие складки темно-желтой кожи вокруг слепых глаз, ни крупные складки, свидетели перенесенных страданий, крутыми ручьями сбегавшие к уголкам его губ и терявшиеся в зарослях белой бороды. К его лицу со страшными слепыми глазами и со страшным, будто гнилым ртом, ртом сказочного людоеда, я никак не мог привыкнуть. Уж легче я привык к его голосу, старческому, разбитому голосу; порою он, когда удушливый кашель отпускал его на часок, умел рассказать немало любопытного.

Дед Герасим ждал смерти. Он страдал от удушья, от бессонницы, от старческого упадка сил: его уже не лечили и не осматривали врачи, окончательно решив, что «ничто ему не поможет». Каждый более сильный припадок кашля мог кончиться разрывом его обызвествленной аорты; каждый короткий сон мог стать для него последним. А между тем он жил, как цепкий репей держался за эту жалкую жизнь. Иногда, лежа тихо, без движения, я целыми часами глядел на деда Герасима, и мне ка-

залось, что несколько раз уловил в нем какую-то страшную тревогу. Он чутко прислушивался к чему-то, беспокойно ворочался на своей койке, что-то бормотал и украдкой настораживал ухо в мою сторону, словно шпионил за мной, словно ждал чего-то. Чем дальше шло мое выздоровление, тем чаще я замечал тревожное, беспокойное выражение на лице деда.

— Что с вами, дед Герасим? — спросил я его однажды.— Вы будто ждете чего-то или боитесь?

— Смерти, паныч. И жду и боюсь.

— Ну, смерти мы все ждем, да и бояться ее нечего,— сказал я.

— Я не оттого... Вот, что *там* будет? Так на то воля божья! — бубнил дед.

— Ну, а что ж с вами такое? Видно, вас что-то гложет.

— Видно? — кашляя, простонал дед.— Может, и гложет, да что поделаешь!

— Не лучше ли рассказать кому-нибудь? Авось полегчает,— сказал я.

— Э-э! — ответил дед и умолк. Я не расспрашивал его больше.

IV

Настал день, когда незадачливый самоубийца, который был осужден навечно и еще на четыре года, оставил нас: раны его зажили настолько, что его перевели обратно в его камеру. Мы остались вдвоем с дедом Герасимом, состояние которого тем временем сильно ухудшилось.

— А что, нас здесь только двое? — тяжело дыша, медленно, чуть слышно, с волнением спросил дед.

— Только двое.

— Господи, слава тебе! Наплу дождался! Господи...— бормотал дед, вздыхая и кашляя.

— А что? Разве тот вечник мешал вам?

— Да что мне!..

Дед, не договорив, махнул рукой, а откашлявшись, добавил:

— Не хотелось при нем... Поганый он... Зверь.

— Это вы потому, что он хотел зарезаться?

— Зарезаться? — проскрипел сердито дед.— Ему этого не миновать! Это нечистый тянет к нему свои лапы. Он его не выпустит.

— А за что его засудили?

— Тут, видите!.. Пять душ зарезал. Да не в том дело. Не один тут такой, а все же бога в сердце имеет. Грех меж людей ходит. Согрешит человек — и покается. Но бывают грехи... Вот хотя бы этот... Пана и пани, панича и служанку... А служанка его полюбовница была, впустила его ночью, не зная, чего ему надо. Думала, что к ней. А там еще панночка была; как увидела, стала просить: «Все, что хочешь, сделаю для тебя, пойду с тобою, слугой тебе буду, только не убивай!» А он у трупов отца и матери с ней... знаете... а потом встал да и всадил ей нож в самое сердце. Ну, есть у такого человека бог? И это, заметьте, мальчишкой еще, девятнадцати лет! Потому его и не повесили, а засудили навечно.

Дед лежал почти без дыхания, торопливо, отрывисто шепча мне это. Кашель разрывал его грудь. Лицо посинело, перекосилось от боли. Я уж думал, что тут ему и конец, но нет, отдышался.

— А какие это еще четыре года, что ему прибавили сверх вечной?

Дед махнул рукой.

— Пустое. Это здесь уже заработал. Надзирателя заколол.

В коридоре послышался стук шагов, голоса, какие-то далекие крики и звон ключей.

— Опять сюда кого-то ведут! — с испугом сказал дед, прислушиваясь.

Шаги и голоса прошумели мимо. В нашу камеру не дали никого. Дед тяжело дышал.

— Послушайте, пан,— заговорил он, с трудом приподнявшись на койке и повернув ко мне свое страшное лицо.— Я бы хотел... я бы хотел вам сказать что-то...

Но тут на него напал кашель. Он ослабел, упал навзничь на койку. Припадок был страшный. Видно было, что дед всем усилием своей воли боролся за жизнь, судорожно комкая в руках простыню, которой был укрыт.

— Успокойтесь, дед,— сказал я.— Вы теперь очень ослабели. Не говорите. Попробуйте уснуть, может, вам легче станет, тогда и скажете.

— Боюсь... сынок... боюсь, что не дотяну до завтрашнего дня... а хотелось бы... еще перед смертью... надобно...

Но усилия его были напрасны. Удушье сжало его горло, и он распростерся на постели без движения. Только хрип свидетельствовал, что жизнь еще не ушла из старого тела. Я долго прислушивался к этому хрипу. Через некоторое время он стал полегче, дыханье сделалось ровнее. Дед, очевидно, спал.

V

Полночь. Снова меня будит холодное прикосновение протянутой с соседней койки руки.

— Спите, пан?

— Нет, не сплю.

— Послушайте. Я хотел вам... хотел вас...

Он запнулся, как бы не зная, с какой стороны подойти к делу.

— Я знаю, пан... вы здесь за правду... вы против людской кривды встаете... за то вас и мучают... Пока вы тут лежали без памяти, доктор с надзирателем не раз говорили... А я слушал это, и на сердце у меня... знаете, как весною лед тает... легко так, весело... И я вспомнил... давно, давно... знаете, я уже тридцать лет тюремные нары протираю... Двенадцать лет только под следствием... по России таскали черт его знает куда. Успел уже позабыть, как оно там на вольном свете... А как стали говорить о вас... как это вы хотите людям облегчение сделать... обиды уменьшить... так у меня вдруг...

Кашель прервал его. Он говорил все это бессвязно, отрывисто, то громче, то снова тише, словно борясь с какой-то невидимой силой за каждый глоток воздуха, за каждый чуть более свободный вздох. Для меня этот поворот в мыслях старого разбойника был совершенно неожиданным, я слушал молча. Спустя добрых десять минут дед Герасим заговорил опять:

— Слушаете, пан?

— Слушаю.

— Не думайте, что душа у меня из камня... я тоже... Ну, каждый по-своему... А та евреечка — то и дело во сне ко мне приходит, и до того явственно: креста просит. Я уже раза два с попом говорил... признался, что у меня деньги есть, закопаны. Говорит: отдай на церковь. Да меня что-то словно за руку держало. Не надежда, что вот, мол, выйду на волю и сам попользуюсь... Я давно уж потерял ту надежду, еще когда ослеп. А теперь вижу, что это был какой-то добрый дух. К чему церкви эти деньги? А вы обернете их на добро для бедных. Ведь не церковные это деньги, а с бедных людей содранные... лихоимские... так пускай идут на подмогу... как вы рассудите...

Снова перерыв. Снова дед, отдышавшись, начал нащупывать меня рукой, не сплю ли.

— Говорите, говорите! — отозвался я.

— Вы что-то сказали? — произнес он.

Я повторил громче.

— Кажись, глохнуть стал. Сам своих слов не слышу. Уши заложило... Видно, смерть моя подходит. Слушайте же. У меня большие деньги — сорок тысяч — одними дукатами... в железном сундучке... надежно... закопаны... Я знаю, вы скоро выйдете на свободу... так сразу, не мешкая... никому ничего не говорите... только, только в ваши руки... я знаю, у вас зря не пропадут... и душе моей легче будет, нежели бы на десять церквей...

Страшный припадок кашля прервал его речь.

— Где же они спрятаны? — решился я спросить его. Но он, должно быть, не слышал этого вопроса, потому что опять его холодная рука коснулась моей головы.

— Слушаете?.. Сразу за селом... лесок, сосновый... каждый вам покажет... через лесок речка течет... над речкой большой камень... один-одинешенек... там речка поворачивает на север... А вы от камня отсчитайте сто шагов на восток, наткнетесь на старый дубовый пень посреди поляны... заметьте, дубовый!.. И под тем пнем...

— Но где это? В каком селе, какой волости?

— Что вы говорите? Не слышу! Говорите громче! — сказал он. В груди у него страшно хрипело. Рука его судорожно схватила мою руку и потянула ее к себе. Я поднялся с постели и приблизился к нему, нагнулся к его голове и крикнул в самое ухо:

— В каком селе?

— Селе? Селе? — повторил он, едва дыша.— Слуш...

И обеими руками он притянул мою голову к своему лицу. Его широкие, сейчас совершенно белые, бескровные губы еще двигались, будто говорили что-то, но голоса уже не слышно было вовсе, ни малейшего шепота. Вдруг глубокий вздох вырвался из его груди, руки судорожно дернулись и отпустили мою голову, тело напряглось, губы сразу посинели и замерли.

Дед Герасим умер, не сказав больше ни слова. Ростовщичьи дукаты и по сию пору мирно лежат где-то в своем надежном убежище. Мне, видно, не суждено было обратить их на дело, которое заполонило душу, мечты старого разбойника в дни его тяжкой кончины. И все же они сделали свое, дали хотя бы *ему* облегчение в его беспросветном горе.

Львов, сентябрь 1902

ПОД ОБОРОГОМ

I

Маленький Мирон сегодня счастлив. Воскресенье. Ему не велели выгонять скот, не посылают ни в поле, ни на сенокос, ни на какую другую работу, как в будни; сегодня у него настоящие каникулы.

С тех пор как он вернулся из города, из школы, это у него только второй такой свободный день. И он счастлив. Длинная неделя мучений на солнцепеке или в ненастье, за работой, которая подчас превышает его детские, истощенные десятимесячными школьными тяготами силы,— все это исчезает, забывается. Он видит перед собой только чудесное воскресенье, этот прекрасный день, когда его оставят в покое,— и он счастлив.

Утром он вскочил с постели, умылся, схватил ломоть хлеба и побежал в лес. Для него нет большей радости, чем одному бродить по лесу — ранним утром, в воскресенье, когда там нет ни живой души. Это его храм. Он слушает, как шумят дубы, трепещет вместе с осиновым листком на тонкой веточке, ощущает прелесть каждого цветка, каждой травки, клонящейся под тяжестью алмазного ожерелья росы,— и сызнова наслаждается мистической дрожью перед таинственным и неведомым, которая охватывает его, когда он заглянет в Глубокую Балку с ее крутыми обрывами, поросшими густым кустарником и высокими деревьями, и когда со дна этой балки дохнет на него густой сумрак и затаенный шелест чего-то сокрытого в глубине этого сумрака, не то шелест змей, извивающихся по сухим листьям, не то шорох крошечного ручейка, что сочится-струится по дну... Все те неясные чувства, из которых зарождается в человеческой душе религия, охватывают маленького Мирона в лесу во время таких одиноких прогулок, и они-то и создают ту необыкновенную привлекательность, то очарование, каким лес окутывает его душу.

Хотя лес велик и занимает пространство чуть ли не в квадратную милю, однако маленькому Мирону в нем не страшно: он знает здесь каждый овражек, каждую поляну, каждый пригорок и каждую просеку; как старых знакомых, навещает он по воскресеньям и самые красивые дубы, и странно согнутую скрипучую березу, которая под ветром стонет, словно ребенок плачет, и родничок солоноватой воды, у которого он порой, притаившись среди густых елочек, целыми часами следит, как прибегают на водопой тонконогие серны с маленькими пест-

рыми детенышами, и козлы-рогачи, и луноглазые зайцы. А наглядевшись, он идет дальше в ельник, к знакомым грибным местам, и, набрав кучу грибов и сложив их вместе, достает небольшой ножичек, усаживается возле них на пеньке и начинает чистить, весело беседуя с ними:

— А, мой паночек! Какой ты беленький и сверху и снизу! Видно, только этой ночью вылез из земли. Да и корешок здоровый! Это хорошо. А вы, старенький дедусь? Вы что это, приволокнуться собрались, что так заломили набекрень свою шляпку? Ой, гадкая веточка! Легла вам на голову и вот какой шрам оставила. А вот и панночка-сыроежечка, сизенькая и кругленькая, как табакерочка! А нет ли у вас в середине слизнячка? Как же не быть! Есть, есть! Ну, да он еще не навредил, еще только успел расположиться. Геравс [1], Грицько! Убирайся отсюда, ищи себе какого-нибудь старого хрыча!

Сосед Рябина, тоже охотник до ранних лесных прогулок, както раз подслушал эти рассуждения маленького Мирона и не переставал потом рассказывать о нем, по своему обыкновению часто и, так сказать, теоретически сплевывая (потому что на самом деле он не плевал, только произносил «тьфу») и говоря в нос:

— Тьфу, тьфу, нечисть! Иду стежкой и вдруг слышу — что-то бормочет. Тьфу, тьфу, думаю себе, что это такое? Зверь не зверь, птица не птица, прислушиваюсь: будто ребенок. Тьфу, меня, знаете, аж мороз пробрал! Ведь это лес, рано еще, что тут ребенку делать? Да еще в такой еловой гуще, что разве лисе пролезть впору. Тьфу, тьфу, нечисть! И отсюда захожу — не подступиться, и оттуда — не подступиться. А оно в самой середине, как за плетнем, бормочет себе да бормочет! Даже страшно мне стало. Тьфу, чур тебя, может, какая лесная душа! Думаю: уходить или дознаться? Осмотрелся — белый день вокруг, солнышко святое светит. Прислушиваюсь — а оно по-человечьи бормочет, будто с кем разговаривает, а другого голоса не слыхать. А тут, слышу, хрустнула одна ветка, потом вторая, прямо на меня идет. У меня аж душа застыла. А как посмотрю — да это, понимаете, тот мальчишка, школяр, вот! Тьфу, тьфу, нечисть! Расти на здоровье!

И сегодня с утра Мирон был в лесу, вернулся только часов в одиннадцать, как раз к обеду, а пообедав, побежал с соседскими ребятами к мельнице купаться. Вот он, выкупавшись, возвращается домой, перешел по кладке речку, перебрался через перелаз к себе в сад и потихоньку идет тропкой на

[1] Пошел вон (от *нем.* heraus).

пригорок, потом дальше, дальше, мимо грядок, через сад, раскинутый на склоне, под фруктовые деревья, а на ходу, как всегда, разговаривает с собой:

— Вот это да! Выкупаться мы выкупались. И в лесу побывали. Двадцать восемь грибов нашли. А теперь бы еще грушу спелую отыскать. Э, нет, не отыщем! Еще грушки зеленые! А пока зеленые, они терпкие. Откусишь — и язык колом станет. И не сочные. Пожуешь, пожуешь, да и выплюнешь. Ну, так что же теперь будем делать? Там хлопцы куда-то на выгон побежали вперегонки. Да мне не хочется бегать. Ноги болят. А что ж, я ведь до старой просеки доходил и до униатских порубок. Малина была славная! Может, еще пойти по малину? Нет, не хочется уже, да и теперь там, наверно, народу, народу! Нет, не пойду. Ноги болят. Лучше мы вот что сделаем: залезем на оборог и полежим. Там холодок, свежее сено, мух нет, и все вокруг видно. А ну!

Так рассуждая, он уже подошел к оборогу, который, заложенный свежим сеном сажени на три в вышину, стоял в конце сада, словно пузатый богач, надвинув на голову свою здоровенную шапку и удобно расположившись между четырьмя оборожинами, как в широком кресле. Хотя лестницы не было, но маленького Мирона это не смутило. Он обхватил руками оборожину и, упираясь босыми потрескавшимися ступнями в туго сложенное сено и цепляясь руками все выше и выше, как котенок по гладкому дереву, мигом вскарабкался наверх, где шапка оборога почти налегала на сено (это так казалось снизу, а на самом деле она была еще на локоть над ним), и, ловким движением обернувшись вокруг оборожины, соскочил внутрь и в первый момент чуть не потонул в свежем, мягком, пахучем сене.

«Вот где славно! Вот где чудесно!» — чуть не закричал маленький Мирон,— но сдержался. Он с малых лет привык скрывать от людей каждое проявление чувства, а потому и теперь не закричал, чтобы кто-нибудь не услышал его, только вполголоса, бормоча, произнес эти слова — и сразу умолк.

II

Некоторое время он лежал на спине и глядел. Над ним была внутренняя сторона оборога: прямые жерди, косо вставленные в основание крыши — «огниво», бежали вверх и связывались все вместе в узел, а поперек них шли тонкие перекладины из ореховых прутьев, перевитые кое-где пучками соломы,

и поверх всего этого лежал густой соломенный настил. И Мирон припоминает, как отец делал этот оборог, а он, присматриваясь к работе, не переставал расспрашивать его о всякой всячине, и как отец время от времени отвечал ему.

— А зачем, татуня, кладете в огонь конец огнива? Так славно выдолбили и жжете?

— Нет, сынок, не жгу, а только сверху легонько припаливаю. Этот конец будет торчать наружу — так, чтобы не гнил.

— А разве, если обжечь, так не будет гнить?

— Нет, сынок, к углю гниль не пристает.

— А зачем, татуня, так косо дырки вертите? И совсем не одинаково, одна больше наклонена, другая меньше.

— Так нужно, сынок. Когда забьем в эти дыры жердочки, они со всех четырех огнив должны собраться в один узел.

Мирон еще и теперь вспоминает, как ему нравилась эта отцовская мудрость, и улыбается.

— Со всех четырех сторон! Это хитро так сделать. А я, когда буду большой, тоже сумею так?

— Учись, сынок, так сумеешь.

— И такой вот оборог сделать?

— Еще и не то сумеешь, сынок. Вот пойдешь в школу — много узнаешь такого, что мне и в голову не приходило, так научишься и более хитрому искусству.

Маленький Мирон зажмуривает глаза и минутку мечтает о тех неведомых чудесах, которые ему обещал отец, а потом снова обводит взглядом скелет оборога и жерди, которые со всех сторон, направленные мудрой отцовской волей, так аккуратно и ровно сбегаются вверху в один узел.

«А это неплохая штука!» — думается ему.

В эту минуту какой-то странный голос привлекает его внимание. Обыкновенные звуки, которые долетают до него,— лай Лыскà возле хаты, пение петуха, стрекот сороки на груше,— они только касаются его слуха и не доходят до сознания. Но это — что это было? Он передвигается по сену на южный край оборога и в щель между сеном и крышей выглядывает наружу. Перед ним расстилается хорошо знакомый ему вид: сбегающий к югу склон сада, под ним скрытая меж крутых берегов узенькая речка — воды с оборога не видно, только перильца кладки, прибитые к двум ивам, которые с двух сторон клонят к речке свои косматые задумчивые головы; дальше небольшой участок заречных огородов — конопля и капуста, капуста и конопля; за ними свежескошенный луг — кое-где еще стоят копенки, а больше голая пожня, то есть не голая, а серо-зеленая,

потому что покрывается уже молоденькой, мягкой отавой. А еще дальше,— а с оборога кажется: совсем-совсем близко,— густою темно-зеленою стеною стоит Радичев лес. На его опушке видны отдельные деревья: вон белая береза опускает вниз длинные гибкие косы, которые так и просятся, чтоб сплести из них качели; а вон толстенный дуб греет на солнце свои ветви; а вот тут на мочажине приземистые ольхи расселись густыми купами, словно прачки над водой. Все это ему известно, привычно, хотя он и не может без радостной усмешки смотреть на эту картину — так она хороша и привлекательна под горячими, такими ослепительными лучами июльского солнца. Но голос, голос! Что за голос доходит до его слуха? Как будто не заметно, чтобы кто-нибудь в селе или в поле кричал, отбивал косу (нынче воскресенье!) или полоскал белье, на что лес мог бы откликаться, а между тем Радичев — так как, очевидно, это он — своим могучим голосом гудит и выкрикивает все одно и то же слово, и оно у Мирона в ушах звучит так:

— Раны! Раны! Раны!

Мирон таращит глазенки, напрягает слух, озирается по сторонам,— нет, не видно и не слышно ничего, что могло бы издавать такие звуки. А голос все идет от Радичева, отчетливейшим образом долетают слова, не произнесенные ничьими устами, выкликаемые дубами, да березами, да грабами:

— Раны! Раны! Раны!

Мирону становится не по себе. Он еще раз озирается кругом, прислушивается, затаив дыхание, напрягает свое воображение, чтобы понять, что̀ именно в селе могло бы издавать такой звук и выкрикивать такие слова, на которые откликался бы лес — лесное эхо он хорошо знает и не раз испытывал его, стоя в саду и выкрикивая в сторону Радичева леса разные слова,— но никак ничего не может придумать. Неужто сам лес кричит вот так, среди бела дня, под горячими солнечными лучами, в полуденной тиши? И о каких ранах кричит он? Слова звучат отчетливо, но не страшно. Это не крик раненого человека, не стон, не слышно в нем боли, мольбы — это совсем не отзвук людского или звериного крика. Это монотонные, ритмичные выкрики, как бы слитная и на человеческую речь переложенная музыка самого леса, неодушевленная, а между тем странно волнующая в своем кажущемся равнодушии и первобытной силе...

— Раны! Раны! Раны!

Нет никакого сомнения! Радичев выкрикивает эти слова. Будто уснув, растянувшись на солнечном пригреке, он произносит их сквозь сон.

«О каких ранах он говорит?» — размышляет маленький Мирон, незаметным прыжком воображения представляя Радичев лес каким-то живым существом. И его фантазия рисует ему сцену за сценой тяжкого, многолетнего умирания среди могучего потока лесной жизни. Вот они под одним дубом раскладывали костер и выжгли в его живом теле большую дыру — ведь этот дуб болеет, умирает понемногу! А сколько берез покалечили они, надрезая их весной, чтобы добыть сок? А может, Радичев припомнил теперь всех тех серн, козлов и диких кабанов, которых застрелили в нем в последнюю зиму? А может, он плачет о том пихтовом леске в его недрах, который погиб в прошлом году от червяка?

Мирону становится не по себе, словно он подслушал какую-то страшную тайну, словно заглянул ранним утром в Глубокую Балку — нет, в какую-то гораздо более глубокую бездну, полную неведомых и страшных чудес, и его детский лоб морщится, и детская душа испытывает одно из тех потрясений, какие у первобытных людей должны были быть очень часты и очень сильны и вылились в чувство религиозного ужаса перед неведомым в природе, которое младенческие представления человека преобразили в неведомое за природой и над природой.

III

В этот миг послышался новый звук, который отвлек внимание Мирона. На западе, над Дилом, загремело. Мирон глянул туда, и то, что он увидел там, так заинтересовало его, что он не улежал на месте, поднялся на колени, переполз по сену к западному краю оборога и снова лег на живот и разгреб перед собой в сене широкую прогалину, чтобы удобно было смотреть.

Перед ним на этот раз расстилался несравненно более широкий и величественный вид, чем с южной стороны. И тут сначала шли пологие сады и огороды, вплоть до самой речки, за речкой простирался ровный, тоже уже скошенный луг, но за лугом легкими волнами поднимались все выше и выше вспаханные поля, тянулись разноцветными полосами поперек горизонта, словно исполинские куски разной материи: желтой, зеленой, серой, бурой и голубой, сложенные в огромную скирду, верхушка которой кончалась далеко-далеко и выглядела точно основание, постамент для колоссального здания — Дила, который огромной темно-синей стеной вздымался, казалось, совсем отвесно над этой шахматной доской полей, монолитный, недо-

ступный, встающий под самое небо и такой длинный, что простирался от одного края горизонта до другого. Верхний его контур, слегка волнистый, ярко вырисовывался на чистой небесной лазури, хотя и сам он нависал над всей панорамой как огромный пласт той же лазури, но только густой, какой-то тяжелой, темноватой. В одном только месте, где над линией этой синевы, между нею и небом, висела серо-зеленая заплатка — безлесная полонина Хребта-горы,— только там, над этой полониной, стояло то, что так привлекло внимание Мирона.

Это была исполинская, чуть только поменьше самой Хребта-горы, голова на длинной толстой шее, которая, казалось, таращилась из-за горы и не то с любопытством, не то с какой-то звериной радостью глядела на села, долины, леса внизу, и вот вдруг уставилась своими огромными глазищами прямо на оборог, под которым лежал Мирон.

Он узнал ее сразу. Узнал и глаза, и нос, больше, чем башня ратуши в Дрогобыче, и низкий, словно вальком приплюснутый лоб, и густые темные космы, торчащие во все стороны, и толстые, широченные, чудовищные губы, растянутые в гнусной усмешке. Ему показалось, что этот великан подмигивает ему, как старому знакомому, и Мирон улыбнулся. Ему не страшно было ни чуточки — наоборот, его смешили и широкие губы, и длинющий нос, и растрепанные космы.

«Ага, это, наверно, один из тех великанов, который как станет под Дилом, так другому в Радичев топор подает,— сказал сам себе Мирон.— Ну, ну, дяденька, вылезай из-за горы, покажи, на что ты годишься!»

И правда, словно по приказанию мальчика, голова великана зашевелилась. Разумеется, не по-человечьи. С ней стало происходить что-то такое, от чего маленький Мирон, не сводя с нее глаз, даже захохотал. Носище ее перекосился, один глаз пополз кверху, а другой куда-то на сторону, губы раскрылись и начали раздвигаться все шире и шире, а между ними показался красный язык, который высовывался все сильнее и сильнее, свисал все ниже и ниже, точно собирался слизнуть весь лес с Хребта-горы.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — захохотал Мирон.— Вот так выкатил! Да куда ты, полоумный! Спрячь свой язычище, спрячь!

И в самом деле, великан, казалось, устыдился и спрятал свой красный язык как-то так незаметно, что Мирон и не увидел. Но его внимание уже было обращено на другое — на уши великана! Еще минуту назад их почти не было видно, а теперь они вдруг вздумали расти. Растут и растут прямо вверх — как

две толстенные оборожины, как два огромных рога, а вот теперь уже выглядят как два паруса — широкие, тяжелые. И космы великана встопорщились и тоже растут, развеваются, рвутся, уносятся по кусочку, как клочья сена, вырванные буйным ветром. Маленький Мирон смотрит на все это и смеется, смеется от всего сердца!

— Ну что? Чего остановился? — весело кричит он великану.— Почему не вылезаешь? Отчего лежишь на одном месте да надуваешься? Вылезай весь! Покажись-ка! Или, может, меня боишься?

Последние слова вырвались у Мирона как-то так, нечаянно, и сразу же потянули за собой целую цепь мыслей, или, вернее, представлений. А ведь правда великан, словно задержавшись, вперил в него свои огромные глаза, а теперь, едва прозвучали Мироновы слова, из-за Дила снова послышалось глухое ворчание.

— Ого, ты сердишься! — вскричал Мирон, все еще в веселом настроении.— А чего тебе сердиться? Вылезай из-за Дила! Стань передо мной!

В эту минуту голова великана будто и вправду ожила. Она неловким и очень забавным движением склонилась на одну сторону, потом на другую, шея начала вытягиваться, и следом за ней показались огромные плечи, словно колоссальная стена, которая заняла четверть всего Дила, и плечи эти начали высовываться дальше, дальше над линией Дила, а голова, все больше разрастаясь, то и дело как бы покачивалась, как бы набухала и перекашивалась то в одну сторону, то в другую. Мирон не отводил глаз от этого диковинного зрелища — и смеялся теперь еще пуще.

— Дядька! — кричал он, хлопая в ладоши.— Что с тобой такое? Плясать, что ли, собрался? Или, может, пьяный? Напоминаешь мне... знаешь кого? Того рипника,— вон того, что пьяный шел, танцуя, по борпславскому тракту в Дрогобыче. На тракте грязь по щиколотку, жидкая и черная, как смола, а он шлеп-шлеп то на один край улицы, то на другой, руками размахивает, головой мотает, точь-в-точь как ты, широкий, слюнявый рот разинул и изо всех сил ревет плясовую:

Заграй мені: тадрітом!
Та й іще раз: тадрітом!
Заграй мені круцю-верцю
Та й іще раз тадрітом! [1]

[1] Сыграй мне: тадритом! // И еще раз: тадритом! // Сыграй мне круть-верть // И еще раз тадритом! *(укр.)*

Ха-ха-ха! Дядька! А может, и ты бы так же поплясал? Может, и ты запел бы «круцю-верцю»? А ну-ка, хвати!

— Уррр! — загудело над Дилом, и легонько, как будто несмело еще, подхватил этот гул Радичев и, как мяч, перебросил его через долину, к Мирону под оборог. Мальчик не испугался, но смех его затих, и он стал внимательнее вглядываться в голову этого громадного «дядьки». Голова уже разрослась так, что ее нельзя было узнать даже при живой и возбужденной Мироновой фантазии. Она поднималась над Дилом огромной темно-синей глыбой, а ее космы белыми прямыми прядями покрыли уже полнеба и почти достигали солнца. Только две точки напоминали еще о сходстве с головой — это были глаза великана. Теперь они склонялись уже не над Дилом, а совсем близко, над верхним концом села, и неизвестно, от солнца или от какого-то внутреннего огня, они налились пурпурным заревом, стали вращаться на одном месте, как два огненных колеса, и Мирону казалось, что они с какой-то дикой злобой глядят на него. Он уже не мог смеяться, но его веселое настроение еще не совсем прошло, и он еще раз поднял голос против великана:

— Что, дядька, сердишься? Разве я тебя обидел? Я ж тебе не сказал ничего дурного. А если не хочешь плясать, так я тебя не неволю. Может, запоешь, а?

Будто в ответ на этот вопрос сильный гром загремел с вершины Дила. И Радичев, и Панчужная, и более отдаленные леса отозвались теперь громким ревом. И рев этот разбудил в ярах какую-то новую силу. Словно лютый зверь из засады, вырвался буйный ветер и зашумел, засвистел, завыл в лесах, застонал меж крутых берегов речки, покатился по покосам целой тучей выхваченного из копен сена, а на большой дороге, пролегавшей между нивами, поднялся к небу серо-желтыми столбами пыли. И в одну минуту все словно изменилось вокруг. Тучи погасили солнце, погасили и пурпурные глаза великана, исчезла восточная, до тех пор чистая, улыбающаяся половина неба, пропал призрак великана, все небо заволоклось тяжелыми, темными тучами, и из-за Дила, пониже этих туч, помчались огромные серые кони на восток, всё на восток, быстро, быстро! Сперва поодиночке, затем рядами, а дальше целым табуном. Они за несколько минут пробегали все небо и скрывались где-то там, за лесом, а за одним табуном вылетал из-за Дила второй, третий... Вихрь развевал по небу их гривы, сотни копыт гремели по небесному помосту, а из-под копыт вылетали крупные холодные капли воды, вначале редкие, но чем дальше, тем все чаще и чаще. Несколько этих капель упало Мирону на лицо,

В кузнице

слегка высунувшееся из-под оборога,— это были как бы нацеленные в него стрелы невидимого великана. Он встрепенулся. Он ясно почувствовал, что великан сердится на него, грозит ему чем-то, своим шумом, и свистом, и стонами сзывает на помощь какие-то страшные силы. Ветер ворвался под оборог, заворошил сено вокруг Мирона и даже дохнул какою-то леденящей, холодной струей мальчику за распахнутый ворот. От этого дуновения он весь задрожал, слегка отодвинулся от края оборога, съежился, глубже зарываясь в сено, но все-таки не сводил глаз с запада. Ни Хребта-горы, ни Дила уже не было видно. Великан, казалось, уже весь передвинулся по эту сторону Дила и лег грудью на Подгорье. Но над Дилом слышен был теперь непрестанный глухой грохот, будто там пересыпали огромные груды битого щебня. Великан перетаскивал через Дил свое здоровенное брюхо, полное беды и разорения, чтобы вывалить его содержимое на плодородные нивы и несжатые поля благодатного Подгорья.

Мирон весь дрожал. Он тер ладонью разгоряченный лоб, словно старался сообразить, что тут происходит и к чему это приведет.

IV

Постепенно картина изменилась.

До сих пор только над Дилом ежеминутно мигали красные молнии, точно незримые руки перебрасывались там раскаленными железными полосами. Но теперь вдруг потемнело. Небо затянула густая завеса, и под оборогом стало почти темно. Но в тот же миг чья-то сердитая рука разорвала завесу от одного края неба до другого и залила всю землю страшным, ослепительным светом. И одновременно взревели, казалось, сотни громов, тысячи пушечных выстрелов. И затряслась земля. И Мирону показалось, что оборог с сеном и с оборожинами от страха подскочил на сажень от земли и тут же снова стал на место, но вот-вот готов повалиться набок. Рев был такой страшный, что Радичев и Панчужная будто забыли язык во рту, будто онемели и не откликнулись обычным эхом,— должно быть, не могли издать такой мощный звук. Только дальние Дилы — Попелевский и Бориславский — отозвались и загрохотали долгим, грозным рокотом.

Но за первым ударом тотчас последовал другой, третий... Молнии со всех сторон сбегались к середине неба, как раз к тому месту, под которым стоял оборог. Вихрь прижимал к земле

хлеба, ломал ветви деревьев, новым прутьём свистал возле оборога и, казалось, упирался сильными плечами в сено и оборожины, чтобы перевернуть оборог или хотя бы сорвать с него шапку. Во всей природе поднялась неслыханная сумятица, рев, шум, треск и скрип. Мирон лежал на сене, ничего не слыша, ничего не видя, и только таращил глаза, зажимал ладонями уши и старался, старался что-то припомнить.

Он не боялся смерти, и мысль, что молния может ударить в оборог и убить его, как-то не приходила ему на ум. Не пугали его также ни рев бури, ни грохот грома, ни самый вид разбушевавшихся стихий, потому что все это не было для него ново, все это он видел не раз. Не боялся он и одиночества среди этой бешеной пляски природы — он любил одиночество, и ему не впервой было находиться одному в дождь и грозу. А между тем что-то словно томило его, какая-то тяжесть налегла на душу, подступала к горлу, душила, точно насильно сдерживаемый кашель или подавленные слезы. Мысль его усиленно работала, воображение терзалось, безуспешно пытаясь что-то припомнить, извивалось и напрягалось, как живой человек, придавленный камнем. А страх все сильнее хватал его за сердце, волосы на голове вставали дыбом, холодный пот покрывал ребячий лоб.

— Что я должен был сделать? Что это я должен был сделать? — бессознательно шептали его губы, между тем как ладони изо всех сил зажимали уши, чтобы их не оглушил бешеный рык грома и рев бури.

Только новая молния, распоровшая чрево тьмы и гигантским зигзагом прыгнувшая в Радичев и тут же рассыпавшаяся оглушительным звоном, словно с безмерной высоты высыпали сто возов железа на стеклянный ток, только эта молния помогла его воображению. Он вдруг понял, почему ему страшно, понял, что означает этот глухой рокот в туче, более грозный и тяжкий, чем раскаты грома и рев бури, и что означает тот тонкий звон, который едва-едва доходил до его слуха сквозь общий беспорядочный шум осатанелой природы, будто звон золотой мушки, запутавшейся в паутине: это были голоса колоколов, которые били на сполох, чтобы прогнать град, и которые сейчас, по сравнению с гигантской музыкой природы, звучали как теньканье дрымбы рядом с мощным оркестром. Мирон сразу все понял. Молния ярко озарила перед ним широкие поля, покрытые уже почти созревшей рожью, колосистой пшеницей, овсом, клевером, луга, покрытые травами,— и все это прижимается к самой земле под отчаянными порывами ветра, сгибается, кланяется, умоляет, просит:

— Пощади нас! Пощади нас!

И его воображение уже видит, как страшный великан там, наверху, злобно кривится, морщится, хохочет дьявольским хохотом, от которого Дилы сотрясаются на своих вековечных основаниях, и оглушающе ревет:

— А-га-га! Вот я вас сейчас! Вот я вас сейчас!

Голоса церковных колоколов замирают в грохоте неизмеримых груд толченого льда, которые горой надвигаются в той темно-серой туче,— нет, им не остановить великана. Мирон чувствует: еще минута, еще один удар грома — и шлюзы откроются, и хлынет роковой чудовищный град, и застонет земля, и все живое на ней повалится ниц, и вся красота и радость на ней рухнут, как раненая птица в болото, — и его детское сердце останавливается, в голове шумит, в глазах мелькают огненные искры, и он, не помня себя, в припадке какой-то экзальтации, истерии, безумия, протягивает обе руки за край оборога и изо всех сил кричит:

— Не смей! Не смей! Здесь тебе не место!

Вместо ожидаемого страшного грома, который должен был явиться началом разрушения, слышен лишь глухой грохот, сердитое ворчанье великана.

— Не смей! Я говорю тебе, не смей! Тут тебе не место! — кричит маленький Мирон, грозя кулаками небу.

Ветер меж берегов реки свистит, визжит, завывает, словно сердится.

— Нет, не пущу! Не смей тут рассыпаться! Не пущу! — кричит Мирон, как безумный.

Над Дилом рокот усиливается. Чудится, что громады разрушительной материи напирают, теснят великана и что он сгибается и стонет под их тяжестью.

— Не смей сюда! Поворачивай назад! На Дилы, на лесные чащи! Сюда я тебя не пущу! — не перестает кричать Мирон.

В туче, на этот раз уже не над Дилом, а здесь, почти над головой Мирона, послышался страшный грохот и шум. Над Дилом перелетали молнии. Туча все раздувалась, становилась все толще, нависала над землей, тяжелела; казалось, на нее давит какая-то страшная тяжесть, и что-то с неслыханной силой поддерживает ее снизу, но вот-вот отпустит, и тяжесть обрушится на землю и разрушит, сотрет в прах все живое; казалось, диковинные голоса пищали, скулили, визжали и ревели в туче, но решительного удара все еще не было.

— Не пущу! Не пущу! — кричал Мирон.— Напрасно грозишь! Я тебя не боюсь! Должен меня слушаться! Ты видишь,

до сих пор я мог тебя сдержать. И сдержу! И не пущу! Поворачивай назад! На горы, на Дилы! Не смей тут рассыпаться!

Мальчик поднялся на колени. Лицо его пылало, глаза горели, в висках, как молотками, стучала кровь, дыхание участилось, в груди хрипело, как будто он сам двигал какую-то огромную тяжесть или боролся с кем-то невидимым в крайнем напряжении всех сил.

Визг, шум, вопли в туче стали еще сильнее. Вот-вот она лопнет, вот-вот осуществится угроза великана. Даже ветер утих на мгновенье. Молнии над Дилом погасли. Была минута страшного, тревожного напряжения всей природы: все, что живет на земле,— деревья, хлеба и травы, звери и люди стояли, дрожа и затаив дыхание; звон колоколов на далекой колокольне слышался теперь ясно, но не как могучая, победоносная сила, а лишь как похоронный плач по умершему.

Но маленький Мирон и теперь не сдался. Он чувствовал, что, ослабей он сейчас, опусти руки, понизь голос,— и ближайшая минута принесет опустошение всему селу, а великан захохочет во всю свою огромную глотку и засыплет, погребет, раздавит все живое вокруг. Он чувствовал, что силы его слабеют, что руки и ноги его стали как лед, что грудь его сжимает что-то, что чья-то холодная рука, как клещами, стиснула ему горло, но он безмерным напряжением воли еще раз поднял голову, погрозил туче обоими кулаками и изо всей силы крикнул:

— В стороны! В стороны! На Радичев и на Панчужную! А здесь не смей! Ни на одно зернышко на ниве! Слышишь!

И в этот миг сразу как бы сняли тайную печать с природы, как бы отодвинули неведомый засов, как бы подняли щеколду! Загрохотал гром, ослепили глаза молнии, которые, казалось, со всех концов света одновременно ударили в середину градовой тучи, и туча эта мгновенно раскололась надвое, и страшный ветер заревел и погнал одну ее половину на Радичев, а другую на Панчужную — на два бора, что обрамляли село с юга и с севера. Еще минута, и над Радичевым встал огромный, плотный серый столб — это обрушилась на лес градовая туча. Еще минута, и из лесу послышался глухой стон, треск, скрип деревьев, хруст сломанных ветвей, и зеленым облаком понес ветер над этим адом сбитые с деревьев листья. Маленький Мирон затрясся. Что-то спазматически всхлипнуло у него в горле и сразу же отпустило. Силы его были исчерпаны. Он, как неживой, повалился на сено, из глаз его брызнули слезы, а из груди вырвался непроизвольный смех.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот видишь! Вот видишь! Я сильнее тебя! Ты все-таки меня послушался! Должен был послушаться! Должен был пойти туда, куда я приказал! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Под рев ветра, стук града над лесом и шум дождя над оборогом, под частые, но с каждым разом все более далекие удары грома еще слышен был некоторое время этот резкий, неистовый хохот обессиленного мальчика. Еще не кончилась гроза, а он, с головой зарывшись в сено, впал в глубокий сон.

V

Вечерело. Небо совсем уже расчистилось, только далеко на востоке лежала еще темная полоска тучи. Бурлила речка, полная до краев темно-желтой, мутной воды. Было холодно; из лесу веяло ледяным дыханием: там насыпало граду чуть не по колено. Много деревьев было выворочено с корнем, а кучи града везде были смешаны со сбитыми листьями и обломанными ветками. Люди, еще бледные после испытанной тревоги, ходили по полям, крестились и благодарили бога, что градовая туча миновала их нивы.

— Мирон! Мирон! — звала мать Мирона, бродя по саду и глядя вокруг покрасневшими от слез глазами. Она обегала уже все хаты на селе, все сады и закоулки, отец и остальные домашние, встревоженные тем, что ребенок не вернулся до грозы, и опасаясь, не побежал ли он в лес и не попал ли там под град, разбрелись по лесу, разыскивая Мирона. В доме было уныло, по углам затаилась глухая тревога. Все соседи тоже были в беспокойстве; одни сами пошли искать мальчика, другие стояли у перелазов и загонов, переговаривались между собой или успокаивали взволнованную мать Мирона.

— Да не бойтесь, кума,— говорила Василиха.— Не может того быть, чтоб он пошел в лес.

— Утром ходил в Панчужную,— говорила мать.— Пришел к обеду, поклевал чего-то, как воробышек, и убежал. Спрашиваю: «Куда идешь?» А он говорит: «Купаться».

— Да, дети ходили на мельницу. И мой Андрусь ходил.

— Вот и я боюсь, не пошел ли он с мельницы в Радичев.

— Нет, кума! Андрусь говорит, что с мельницы он вернулся домой.

— Да ведь дома-то никто его не видел.

— А вы не искали на гумне, под оборогом? Может, забился где-нибудь в сено и уснул.

— Да искали хлопцы. По всему гумну искали. Нету. А под оборогом... кто его знает! Да и как бы он забрался под оборог? Там возле него и лестницы нет.

— А пойдите-ка, кума, пойдите! Хлопец как белка. Много ли ему надо, чтобы взобраться на оборог? Ну-ка, поищите!

Миронова мать была молодая еще женщина, здоровая и энергичная. Ей не нужно было дважды повторять, в особенности когда дело шло о ее любимом сыночке. Она, так же как Мирон, взобралась по оборожине под оборог и заглянула внутрь.

— Нет, ничего не видно! — сказала она не то себе самой, не то Василихе, стоявшей за плетнем у себя в саду. И хотела уже спуститься вниз, когда что-то словно толкнуло ее взобраться на самый стог и поглядеть поближе. Взобралась — и тут же увидала Мирона, который спал, зарывшись в сено, так что издали его совсем нельзя было заметить.

Мать даже перекрестилась, потом села возле сонного мальчика, отгребла от его головы сено и стала всматриваться в разрумянившееся лицо ребенка. В это время Мирон открыл глаза и увидел мать.

— Ах, это вы, мама? — спросил он.

— Я, сынок.

— А долго я спал?

— Уж солнышко заходит.

— Так это мне приснилось!..

— Что, сынок?

— Что над Дилом стоял великан, черный и страшный, а после начал вылезать из-за Дила и хотел засыпать градом все наше село. И сердился очень.

— Это, сынок, вправду туча была.

— Вправду? И засыпало поля градом?

— Нет, сынок. Бог миловал. Перегнало градовую тучу, разорвало ее надвое. Одна часть пролилась над Радичевым, а другая над Панчужной. Такой беды в лесу натворила, что глядеть страшно. Если бы это, не дай бог, выпало на поля, выбило бы все под корень.

Мирон улыбнулся какой-то странной улыбкой.

— Это я сделал, мама,— сказал он.

Мать взглянула на него удивленными глазами.

— Ты, сынок? Что такое ты сделал?

— Я не пустил град на нивы.

Мать как-то невесело улыбнулась.

— А как ты это сделал?

— Я боролся с этим великаном.

— С каким великаном?

— А с тем, что тащил из-за Дила градовую тучу. Я его остановил. Я накричал на него. Он здорово сердился, но не мог меня побороть.

Мать усмехнулась снова и повеселела.

— Да это тебе снилось, сынок.

— И я так думал, мама, что снилось. Но если и вправду была градовая туча и если вправду град пошел на лес, так это мне не снилось. Глядите, я весь мокрый, так устал. И руки мокрые совсем, потому что я их выставил под дождь.

— Зачем, сынок?

— А если бы я спрятал хоть одну, он бы меня осилил.

Мать снова улыбнулась, но в глазах ее заблестели слезы. Она прижала губы ко лбу Мирона и почувствовала жар. Потом поцеловала мальчика и сказала:

— Хорошо, сынок, хорошо. Но никому не говори об этом. И отцу не говори.

— Почему?

— А то отец браниться будет.

— Я не хочу, чтобы татко бранился.

— А ты больше никогда в такую пору не выходи из дому.

— Почему?

— Нехорошо малым детям быть одним среди таких страхов.

— Да я не боялся, мама.

— Ладно, ладно. Но ты мог бы перепугаться и умереть с испугу. И тогда мама плакала бы по тебе.

— Не надо, чтобы вы плакали.

— Ну, а теперь идем домой. Там, верно, отец уже из лесу вернулся.

— А зачем татко в лес ходил?

— Тебя искать.

— Вот, а я и не знал. А я сплю тут, как в люльке. А все-таки хорошо, что я был сегодня под оборогом. Если бы не я, град бы все поля побил.

Мать снова поглядела на сына долгим взглядом. В глазах ее мелькнула тревога. Она боялась за здоровье своего сына. Но вместе с тем на дне ее души заклубился какой-то суеверный страх. А вдруг и на самом деле у мальчика какая-то особенная натура? А вдруг он связан с какими-то сверхъестественными силами? Не раз уже в разговорах с ней он ронял такие слова, что она и удивлялась и ужасалась. И теперь опять! Неужто

в словах его не болезнь, не лихорадка, а какая-то таинственная, высшая, недоступная ей правда?

Она прижала Мирона к себе, перекрестила его и, целуя горячий лоб, сказала еще раз:

— Хорошо, сынок, хорошо! Но помни: не говори об этом никому.

— Почему, мама?

— А то все будут над тобой смеяться. И тогда твоя мама будет плакать.

— Нет, мама! Не надо, чтоб вы плакали. Не скажу об этом никому.

И в каком-то чудесном, праздничном настроении оба — сперва мальчик, а за ним мать — спустились с оборога и молча пошли домой.

Львов, 18—22 января 1905

ГЕРОЙ ПОНЕВОЛЕ

I

Старый рассыльный львовского магистрата, в мундире национального гвардейца, в сборчатом кафтане с вишнево-красными отворотами, в сапогах и при сабле, тихонько отворил дверь в канцелярию императорско-королевской государственной бухгалтерии. Узкая, продолговатая комната со сводчатым потолком тонула в полумраке: шел только девятый час, к тому же этот день первого ноября 1848 года был ненастный и хмурый, словно чем-то рассерженный. В канцелярии, похожей на большой семейный склеп, стояла тишина, а черные деревянные конторские столы, вытянувшиеся в два ряда вдоль главной стены, напоминали два ряда старых истлевших гробов. Рассыльный окинул взглядом канцелярию, словно искал чего-то; его подслеповатые глаза поначалу ничего не заметили, и он уже хотел возвратиться, а может быть, и запереть канцелярию, когда вдруг в углу, возле одного из столов, что-то зашевелилось. Не доверяя своим глазам, старик прислушался и отчетливо услышал тихий, монотонный скрип пера, которое медленно ползало по бумаге.

— Это вы, пан Калинович? — спросил он, оборотясь в ту сторону, откуда слышался скрип.

— Я. Здравствуйте, пан Згарский,— сказал Калинович, повернувшись к дверям и закладывая перо за ухо.

— Я думал, в канцелярии нет никого,— проговорил Згарский, входя в канцелярию и затворяя за собой дверь.

— Не намного ошиблись,— сказал с усмешкой Калинович.— Как видите, я один. Прихожу ровно в восемь — нет никого. Разделся, засел за работу, думаю: вот-вот придут. Но нет, прошло четверть часа, и половина, и три четверти, а вот уже и девять пробило, а наших господ все нет и нет в канцелярии. Что это значит, пан Згарский?

— Что это значит,— повторил как-то значительно Згарский.— Гм, откуда мне знать.

— Но ведь сегодня не праздник? — неуверенно улыбаясь, проговорил Калинович.

— Нет. По календарю праздника нет.

— Ну, может, какой-нибудь народный праздник?

— Откуда мне знать! — таинственно проговорил Згарский, махнув рукой. И, наклонясь к Калиновичу, добавил тихо: — Праздника нет, но, кажется, будет праздник.

— Какой праздник?

— Не знаете?

— Что я должен знать? Ничего не знаю.

— Не читали газет?

— Э, стану я читать газеты! Ругаются, дерутся, визжат, и все попусту.

— Ну, иногда и в мякине зерно встретишь. Вот поглядите-ка! Нашу газету все-таки следовало бы читать.

И он с таинственным видом вынул из кармана сложенный вчетверо номер газеты «Gazeta Powszechna, godło Postęp» [1] от 30 октября. Калинович развернул газету и начал пробегать ее глазами, а тем временем Згарский смотрел ему в лицо, улыбаясь в седые усы и покачивая головой. Спустя несколько минут Калинович отложил газету в сторону и, взглянув на рассыльного, спросил его с разочарованным видом:

— Ну и что же? Все старая требуха.

— Да? Не нашли ничего необычного?

— Необычного? — протянул Калинович и, точно не веря своим глазам, начал снова пробегать столбцы газеты.

— Нет, ничего такого не могу найти,— произнес он наконец, снова кладя газету на стол.

— А ну, прочитайте вот это! — сказал рассыльный, тыча пальцем в самый конец номера, где крупными буквами было напечатано по-польски:

---

[1] «Газета для всех, лозунг Прогресс» *(польск.)*.

«Уведомление

Главное управление города Львова создало в своем составе комиссию безопасности, общественного порядка и национальной гвардии, задачей которой является охрана безопасности и общественного порядка и принятие всех соответственных мер. Члены комиссии, как отличительный знак в случае необходимости, будут носить на головном уборе белую ленту с кокардой и иметь при себе удостоверение. Каждый житель Львова, постоянный или временный, обязан подчиняться этой комиссии или отдельным ее членам и выполнять их распоряжения».

Калинович поначалу читал это объявление как-то небрежно, вполголоса, но чем ближе подходил к концу, тем медленнее, внимательнее и отчетливее произносил слово за словом. Заключительную фразу едва выдавил из себя, точно на грудь его навалился тяжелый камень.

— Пан Згарский,— произнес он, внимательно всматриваясь в лицо посыльного,— ради бога, что это означает?

— Вы, пан счетовод, мудрая голова, ученее меня,— ответил Згарский с довольной улыбкой.— Так, может, мне следовало бы прийти к вам и сказать: пан счетовод, будьте любезны, объясните мне, что это означает?

— Не шутите! — сказал с беспокойством Калинович.— Ведь это... это...

— Понюхайте, чем оно пахнет!

Калинович как-то машинально поднес газету к носу и вдруг резко отбросил ее прочь.

— Пахнет революцией! Comité du salut publique! [1] «Соответственные меры... В случае необходимости... Каждый житель, постоянный или временный, обязан подчиняться...» Диктатура! «Охрана безопасности и общественного порядка» — а для чего же существует полиция, народная гвардия? И кто, собственно, нарушает покой и безопасность? Против кого направлено острие этого постановления?

Калинович поднял очки высоко на лоб и посмотрел из своего кресла вверх, на Згарского, который стоял рядом с ним и тоже заглядывал в газету.

— Не знаете, против кого? Кто нарушает спокойствие? Не читали газет? Там в каждом номере по десять раз повторяют, что во всем виновато имперское войско.

---

[1] Комитет общественной безопасности! *(франц.)*

— Значит, против него...

— Не слыхали, у нас уже не только свое войско, но и свой комендант, генерал Выбрановский, считающийся главным командующим гвардией по всему краю.

— Ну, я это знаю. Ясное дело, уж на что, на что, а на отсутствие генералов не придется жаловаться, лишь бы рядовые солдаты были,— с горечью сказал Калинович.— Но от генеральства пана Выбрановского до этого шага главного управления еще довольно далеко. Чего они хотят? К чему стремятся?

— Ой, пан счетовод! — не то сердито, не то шутливо проговорил Згарский.— Как же вы медленно считаете! А не читали вы всего несколько дней назад вот это?

И он из другого кармана вынул другой номер той же газеты, датированный 28 октября, и показал ему отчеркнутый красным карандашом абзац на первой странице:

«Организуемся в соответствии с новейшими принципами нынешней революции, а в момент общественных волнений пусть ведет нас всегда одна общая мысль — демократическая Польша!»

— Ну что? Разве это не ясно? — спросил рассыльный, понизив голос.

— «Демократическая Польша»! — бормотал между тем Калинович.— Ну, а мы с вами русины, так что с нами будет? Мы и демократы, однако придется ли нам по вкусу эта «демократическая Польша»? Вот еще и Польши этой нет, а вас, старика, не спросили, поляк вы или русин, а всунули в польскую ливрею, да еще и конфедератку на старую голову напялили.

— Ну да, а если не хочешь, так вон со службы на старости лет! — добавил рассыльный.

— То-то и оно! А я четырнадцатого марта, во время первых сборищ, плетусь по улице и слушаю, чуть не оглох. Все ревут: «Niech żyje Polska!» [1] А меня, дурака, угораздило крикнуть: «Да здравствует Украина!» Ой, матушки! Как накинулись на меня! С палками, с кулаками! «Предатель! Как он смеет!» Чуть живой я вырвался. Вот тебе и «демократическая Польша»! Да и теперь — комиссию создали, очевидно, для польских революционных целей, и тут же приказывают, чтобы каждый ей подчинялся. А если я не хочу ни Польши, ни революции?

— Тогда вы враг безопасности и общественного порядка! — ответил ехидно рассыльный.— А в таком случае — на фонарь вас.

---

[1] Да здравствует Польша! *(польск.)*

Калинович долго молча смотрел на старика, потом как-то невольно, с выражением испуга на лице, огляделся по сторонам и, увидев совершенную пустоту в комнате, перепугался еще сильнее. Даже с места вскочил.

— Побойтесь бога, пан Згарский! — воскликнул он.— Скажите же мне, что тут творится? Почему сегодня никто из наших господ не пришел в канцелярию?

— Наверно, заняты муштрой в гвардии...

— А может... Может, там... может, уже сегодня что-то начнется?

— Не знаю, милый пан,— сказал рассыльный, пожимая плечами. Но тут же, оглянувшись по сторонам и нагнувшись к самому уху Калиновича, прошептал торопливо:

— Берегитесь! Я вчера подслушал беседу двух господ — как раз из вашей бухгалтерии,— кто это был, того вам не скажу... Подозревают вас, что вы шварцгельбер, что шпионите...

— Я? Шпионить... Плюю на них!

— Все равно. Берегитесь. Теперь такие времена, знаете...

В эту минуту в коридоре ратуши резко прозвучал звонок.

— Ой, ой, ой! Это, наверно, пан Видман! — воскликнул в испуге рассыльный.— Будьте здоровы, пан счетовод! Если выпадет свободная минутка, забегу еще к вам около полудня.

И, не дожидаясь ответа, он выбежал в коридор, даже не затворив за собой дверь канцелярии. А звонок где-то в дальнем углу темного коридора продолжал неистово дребезжать, и его голос звучал, как плач испуганного ребенка.

II

Степан Калинович был канцелярист при львовском казначействе. Двадцать лет подсчитывал он казенные доходы и расходы, двадцать лучших лет жизни провел в этой темной канцелярии, похожей на большой семейный склеп, в одном и том же деревянном кресле, над большими счетными книгами, живя изо дня в день размеренно и точно, как хорошо заведенные часы, не помышляя ни о каких переменах, ни о какой другой жизни. Понадобилась буря 1848 года, чтобы в это тихое, одинокое существование внести волнение и тревогу. Правда, в политику Калинович не вмешивался, газет не выписывал, даже мало читал их, в уличных сборищах, митингах и кошачьих концертах участия не принимал; в продолжение всех бурных сцен с марта и до ноября сидел изо дня в день, пунктуально, на своем месте в

темной и пыльной канцелярии ратуши и считал, считал, считал, как если бы весь крепостнический и абсолютистский строй стоял все так же нерушимо, а не распадался на куски.

Воспитанный в старой немецкой школе, проникнутый духом бюрократической субординации, он постепенно в общественных и национальных вопросах (поскольку он вообще размышлял о них или, скорее, неясно ощущал их), утратил сознание своей воли, своей личности и индивидуальности. Он знал, что по рождению он русин — украинец,— об этом говорила его метрика, его служебный аттестат; но в жизни это не имело для него никакого практического значения. В канцелярии был принят немецкий язык, дома, у хозяев, где он снимал крошечную холостяцкую квартирку из двух комнат, говорили по-польски; не имея семьи, Калинович даже праздников украинских не справлял. Только однажды в году, на крещение, принимая ex offo [1], в полной парадной форме участие в водосвятии на львовском рынке, он чувствовал себя русином, с каким-то странным, неясным волнением пел вместе с массой народа «Во Иордане крещающуся тебе, господи» и радовался, как ребенок, когда из кропила, раскачиваемого рукой митрополита, обильным дождем падали на него капли освященной воды и орошали ему не только шапку, но даже щеки, глаза и бороду.

Буря 1848 года разом изменила всю обстановку и настроения вокруг него. Там, где до сих пор царила глухая, хотя и вынужденная тишина, вдруг заклокотало, загудело, затрещало со всех сторон. Конституция, свобода печати, освобождение политических узников, политические общества и собрания, народная гвардия, уличные демонстрации, выборы в сейм, а дальше явные конспирации с революционными лозунгами, гонение на старых чиновников, шварцгельберов и фондраусеров [2], и открыто выставленное знамя независимой Польши — шляхетской или демократической — все это бурлило вокруг него, рушило до основания все его прежние, твердо устоявшиеся взгляды и привычки и терзало его тысячами сомнений, тысячами новых вопросов, которые надвигались со всех сторон и требовали быстрого и недвусмысленного ответа. Кто он — австриец, или поляк, или, может быть, что-нибудь иное? Он присягал на верность правительству,— да, но это было правительство абсолютистское, по-нынешнему — враждебное краю, чуть ли не дьявольское; теперь этого правительства уже нет, теперь конституция,— зна-

[1] По обязанностям службы *(лат.)*.
[2] Чужак (от *нем.* von drauszen).

чит, действительна ли его прежняя присяга или нет, а если нет, так кому он обязан быть верным? Прилично ли ему, как чиновнику, вмешиваться в эту сумятицу, которая идет вокруг него, в эту партийную, национальную, политическую борьбу, которая разжигала некоторых до подлинного безумия, но мотивов, пружин, целей и средств которой он не видел и не понимал? Все это тяготило, пугало его; его совесть, как коса на камень, на каждом шагу, каждую минуту натыкалась на какие-нибудь преграды и не находила ясной дороги. Сперва он чуть не одурел, кидаясь то сюда, то туда и всюду встречая какую-то неразбериху. Поляки побили его на улице, когда он признался, что он русин; русины смотрели на него косо, когда он не захотел подписать программное заявление Головной Русской Рады, потому что, как сам он говорил, он не понял его. Не принятый нигде, он, как улитка, забрался в свою скорлупу, старался как можно реже показываться на улицах, издали обходил все такие места, где слышал крик и шум и видел толпу. Он норовил с самого утра, еще до восьми часов, пока еще улицы пусты, пробежать в свою канцелярию, забиться за свой стол в самом углу и притаиться там за кучей книг, распоряжений, табелей и протоколов. Он работал изо всех сил. Старательный и честный чиновник с давних пор, он никогда не работал так старательно и честно, как теперь. Этот труд, порученный ему свыше, значит, кому-то зачем-то нужный, был теперь не только его служебным долгом, но щитом для его совести, единственной дверцей, через которую он день за днем ускользал от бурного революционного и демагогического кипения на спокойную, твердую почву хоть какого-нибудь труда. Здесь он все видел ясно, в своем, хотя и узком и ограниченном кружке, а там не видел, не понимал ничего. Не привыкший самостоятельно мыслить и действовать, он теперь, как за соломинку, держался за эти последние остатки старого строя, не в силах освоиться с новым. Он видел, как вокруг него, в той самой канцелярии, где он служил, рвались все узлы прежней дисциплины. Новый дух веял и здесь; вместо прежней покорности старшим, теперь низшие чиновники держались с высшими запанибрата, а бывало и так, что старший по канцелярии оказывался в подчинении у своего низшего чиновника в национальной гвардии или в каком-нибудь комитете. Вместо недавнего «gehorsamster Diener» [1] теперь звучали повсюду, даже в канцеляриях, возгласы: «wolność, równość, braterstwo!» [2]

[1] Покорнейший слуга *(нем.)*.
[2] Свобода, равенство, братство! *(польск.)*

Особенно его ближайший сосед по канцелярии, тот, который сидел напротив него, лицом к лицу, отделенный лишь широким столом и грудой книг, был теперь его самым злостным мучителем. Иосиф Валигурский, старый ветеран, некогда солдат Наполеона, в 1809 году помогавший выгонять австрийцев из Львова, а в 1831 году принимавший участие в польском восстании, каким-то чудом получил место в бухгалтерии и вот уже десять лет был соседом Калиновича. Зная свое прошлое и понимая, что его должность висит на волоске, он все это время молчал, работал, согнувшись, как вол в ярме, и только украдкой, изредка, злобно сверкал серыми запавшими глазами из-под седых кустистых бровей на ненавистных ему «швабов». Что Валигурский ненавидел швабов всей душой, об этом Калинович знал по отрывистым возгласам и проклятиям, срывавшимся иногда с его уст в минуты, когда в канцелярии не было никакого начальства. В общем, Валигурский держался в стороне от всех своих сослуживцев, не доверяясь никому из них, и у Калиновича было достаточно оснований полагать, что он глубоко презирает всех их. Калинович, чувствуя его недоброжелательство, и не пытался ни разу сблизиться с ним; знал только, по рассказам других чиновников, что Валигурский живет очень бедно, где-то далеко на Байках, со своею дочерью, ради которой он остался во Львове, не желая тащить ее за собой в эмиграцию; кое-кто добавлял, что старик, помимо крошечной пенсии за выслугу лет, получает еще небольшую пенсийку от французского правительства, полагающуюся за орден Virtuti militari, который он получил после какого-то сражения из рук самого Наполеона.

И вот в 1848 году Валигурский внезапно переменился. С приходом конституции его хребет выпрямился, его глаза, привыкшие слепнуть над казенными бумагами, загорелись живым огнем, его уста отверзлись и оттуда начали сыпаться ракеты и гранаты. Он с огромным, юношеским пылом кинулся в водоворот митингов, участвовал в демонстрациях и первый встревожил вековечную мертвую тишь канцелярии пылкими речами и возгласами, за которые месяц назад можно было дождаться бесплатной квартиры в Кармелитах, а там и отправки на Грайгору с железными браслетами на руках и на ногах. Он был одним из первых добровольцев Национальной гвардии и, как старый наполеоновский солдат, сразу получил под свое начало целую роту, которую и обучал воинскому делу. Разумеется, это обучение, в которое он вкладывал всю свою душу, отодвинуло на задний план его канцелярскую работу; в канцелярию он приходил разве на какой-нибудь час, и то небрежно перелистывал

книги, осыпая градом насмешек, попреков и брани своих товарищей, особенно тех, кто не принимал участия в движении. Разумеется, Калинович был при этом главным козлом отпущения.

— Ну что, моль канцелярская, книжная тля, черно-желтая стоножка! — обращался он к Калиновичу, не скрывая своего глубокого презрения.— Тебе еще не надоело копаться в этих затхлых бумагах?

— Хоть и надоело, да что делать? — покорно отвечал Калинович, давно переставший оскорбляться грубыми попреками старого вояки.— Чей хлеб человек ест, тому и должен служить.

— Хлеб ест! Эх ты, скотина! Тебе бы только кормушку да пастбище! Ну, скажи, ты никогда в своей жизни не подумал, что может быть что-нибудь такое на свете, ради чего стоит отдать не только хлеб, но и кровь, и жизнь?

— По-разному человек думает, пан Валигурский,— неохотно отвечал Калинович.— Одному одно дорого, а другому — иное.

— Ну да, а тебе твои швабы дороже всего! Не можешь успокоиться, что им руки укоротили!

И Валигурский резким, хотя уже несколько разбитым голосом запевал на всю канцелярию любимую песенку польских конспираторов:

Гей, шваби-драби, гей, шваби-драби,
Вже ми вас із краю наженем до чаби!
Гей, шваби-драби, ще лиш півгодинки,
Будете тікати, гублячи патинки [1].

— Не кричите, пан Валигурский! — умолял Калинович, зажимая уши.— Не кричите, ведь я не шваб.

— А кто ж ты?

— Я русин.

— Русин? Я тоже русин. На Руси родился, в Житомире. Даже больше русин, чем ты. А все же я люблю нашу общую мать Польшу и тружусь во имя ее освобождения. Каждый сознательный, интеллигентный русин должен быть польским патриотом. Ступай спроси пана Ценглевича,— он, наверно, тоже русин, а как он любит Польшу!

— Потому что он польский шляхтич! — буркнул Калинович.

---

[1] Гей, швабы-босяки, гей, швабы-босяки, // Уж мы вас из края выгоним всех! // Гей, швабы-босяки, еще полчаса, // И побежите, теряя туфли *(укр.)*.

— А ты хам! — накинулся на него Валигурский.— Русин, который не чувствует себя поляком, может быть только хамом! Тьфу! Не хочу говорить с тобой.

И Валигурский отходил, раздраженный. Но Калинович вскоре понял, что это раздражение было не совсем искренним, потому что Валигурский, появившись снова спустя два-три дня в канцелярии, продолжал подшучивать и издеваться над ним все тем же солдафонским, грубым тоном, но все-таки не порывал с ним отношений, как можно было ожидать, судя по его резким выпадам.

Горше всего для Калиновича было то, что с другими своими сослуживцами Валигурский не вел себя так грубо и резко. Правда, некоторых он, казалось, совсем не признавал, не здоровался и не разговаривал с ними; зато с другими, с теми, кто вступил в гвардию и все глубже втягивался в политику, говорил как с товарищами, иногда перекидывался какими-то короткими, только им понятными словами или шептался о чем-то в коридоре. Калинович чувствовал себя все более и более одиноким в канцелярии и хорошо понимал, что если так пойдет дальше, то ему вскоре придется оставить свое место.

Но вот через несколько недель атмосфера во Львове начала делаться все жарче, хотя на дворе стояла осень и уже начались октябрьские дожди. Ежедневно на улицах происходили сборища, стычки гвардейцев с войсками. Вести из Вены, где вспыхнуло открытое восстание, где повесили министра Латура, не позволили войскам выступить против взбунтовавшихся венгерцев, а особенно вести из Венгрии, где под предводительством Кошута было объявлено низложение Габсбургов и начались уже кровавые бои, наполняли сердца польских патриотов волнением. В Вене действовал генерал Бем, который, оставив Львов, строил смелые планы разделения Австрии; в Венгрию вместе с венгерскими солдатами, стоявшими в Галиции, толпами бежали польские добровольцы, которые в создании независимой Венгрии видели основу для освобождения Польши из-под австрийского ярма. Да и в самом Львове бурлило, закипало что-то неясное; всеобщее возбуждение и напряженность все возрастали и грозили рано или поздно взрывом.

Канцелярия государственной бухгалтерии в эти последние дни октября по целым дням бывала почти пуста; кроме Калиновича, всего два-три чиновника заглядывали в нее на несколько часов, да и тем, видимо, не хотелось работать. Они сидели в каком-то оцепенении, время от времени срывались с места, подбегали к окну, смотрели на рыночную площадь, потом убегали

совсем, точно эти старые, мрачные, серые стены давили их и наполняли тревогой. Калинович оставался в полном одиночестве, а скрип его неутомимого пера по шершавой бумаге раздавался в пустой канцелярии, точно пение сверчка в покинутом доме. Старый рассыльный Згарский был единственной живой душой, с которой Калинович мог иногда побеседовать спокойно, откровенно. Валигурский вот уже две недели вовсе не показывался в канцелярии.

III

Згарский оставил Калиновича в самом дурном настроении. «Берегитесь!» Хорошо ему говорить, но как беречься? От кого беречься? Ведь в мышиную нору не спрячешься, должен же я показываться на народе, должен посещать канцелярию, ежедневно дважды проходить по рынку и главным улицам города, среди сотен и тысяч людей. Как же здесь беречься? «Шварцгельбер!» Разве это преступление? Ну да, Калинович чувствовал в глубине души и сам себе признавался, что он шварцгельбер. Он слуга австрийского правительства, от него получал жалованье, ему присягал верно служить. Что же в этом дурного? Ведь и Валигурский еще в начале года, еще до половины марта этого года был таким же точно шварцгельбером. То есть, может быть, в его душе скрывалось нечто другое, что теперь вышло наружу. Но у Калиновича не было такой широкой натуры, на дне его души не было ничего другого, а к новой матери Польше, которую теперь навязывали ему с криком, бранью и угрозами, он никак не мог воспылать сыновней любовью. «Нет, это не моя мать»,— повторял неясный голос в глубине его души, и он не мог заставить себя пуститься вместе с другими в тот бешеный танец вокруг нового божества, в котором вот уже несколько месяцев кружилось большинство обитателей Львова. Да, он, бедняга, остался шварцгельбером даже тогда, когда эти цвета стали отнюдь не модными, так же как во времена венгерок и конфедераток спрятал свой совсем немодный белый бюрократический цилиндр.

Зато другое обвинение, в шпионстве, возмущало его до глубины души. Шпион! Нет, он никогда не был шпионом! Не был тогда, когда за это ремесло платили деньгами, повышениями по службе и орденами, тем менее желал им быть теперь, когда за это очень легко можно было получить если не удар кинжалом, то хотя бы десятка три тумаков в бок от разъяренной, фанатической толпы. Но кто же и для чего мог пустить о нем такой

слух? Ведь если этот слух дойдет до народной толпы, она не станет разбираться, правда это или нет, но в любую минуту готова будет расправиться с ним по-свойски. Калинович впервые почувствовал, сидя в канцелярии, как мороз прошел у него по спине. Ему сделалось душно, перо выпало из его руки, и голова поникла бессильно.

Но в ту же минуту он вскочил с места и выпрямился. Что это такое? Обычный шум и говор на рыночной площади, казалось, притих, и вдруг окна зазвенели и воздух сотрясся от крика:

— Niech żyje Polska!

Но не это так испугало Калиновича. Среди этих возгласов, то и дело повторяемых, все громче и упорнее раздавались какие-то удары в такт, точно военный марш, а еще дальше, где-то в конце рынка, слышались какие-то слитные возгласы, крики, треск, точно где-то дом рушился или начиналось землетрясение.

— Что это такое? Боже! Что это такое? Неужто начинается?

Шум вокруг ратуши не утихал. В коридорах ратуши гулко разносились шаги, может быть, сотен ног, какие-то голоса, какие-то резкие, мерные выкрики, точно слова команды. Калинович стоял на месте ни жив ни мертв. Его губы побелели, вытаращенные глаза смотрели на дверь, не мигая.

«За мной идут! За мной идут!» — вихрем мелькало в его голове. Ему казалось, что среди бешеного шума внизу он отчетливо слышит голоса: «Шпион! Где шпион? На фонарь шпиона!»

Проходили минуты, для Калиновича — минуты страшной тревоги. Он, точно приросши ногами к полу, стоял неподвижно, не в силах сесть в кресло, не осмеливаясь ни подойти к окну и взглянуть, что происходит на рынке, ни выйти в коридор и удостовериться, действительно ли ему грозит какая-нибудь опасность. Он дрожал всем телом и прислушивался, затаив дыхание.

— Niech żyje Polska! Smierć szwabam! [1] — ревели толпы народа на рыночной площади.

— Do broni! Do broni! [2] — раздавались громкие крики, гремели шаги, скрипели повозки.

— Na barykady! Na barykady! Nie daimy się! [3] — слышались выкрики с другой стороны. Из моря слитных голосов по временам возникали какие-то одиночные возгласы, слова команды или, может быть, лозунги ораторов, поднимавших на-

---

[1] Да здравствует Польша! Смерть швабам! *(польск.)*

[2] К оружию! К оружию! *(польск.)*

[3] На баррикады! На баррикады! Не сдадимся! *(польск.)*

род на бой, а может быть, голоса более рассудительных, призывавших к успокоению.

— Szpieg! Szpieg! Na latarnię z nim! [1] — завопили вдруг десятки голосов в одном месте. Снова крик, стук шагов, отчаянный вопль: «Ależ, panowie!» [2] — грубый хохот толпы и снова вопль:

— Niech żyje Polska!

Но в эту минуту какой-то новый, могучий гул сотряс воздух. Бум! Бум! Бум! — раздалось, и одновременно по крыше ратуши точно гигантский град застучал и с грохотом покатился вниз, обрушиваясь на камни площади.

— Бомбардировка! Бомбардировка! — завопила толпа на рыночной площади. Крик оборвался. Его заглушил топот тысяч ног — все бежали, неслись, прятались, кто куда мог, в двери ратуши, в двери домов, в боковые улицы.

А пушки, заняв первое место в этом безумном оркестре, продолжали ворчать. Они ворчали глухо, где-то вдали, казалось даже, не очень сердито, но все здание ратуши начала сотрясать какая-то дрожь. Окна тихо, но непрерывно звенели, столы и конторки качались, а снаружи доходили лишь короткие, сухие стуки: цяп, цяп, цяп! — все чаще, все горячее. Это били в стены пули и гранаты.

Калинович все еще стоял, чуть живой от страха, не понимая хорошо, что происходит, ожидая ежеминутно нападения.

Но о нападении никто и не думал. Вокруг ратуши, очевидно, образовалась пустота: стоять на площади под пулями было небезопасно. Правда, в ратуше, особенно в нижних этажах и во дворе, точно улей гудел: сюда сбежалась основная часть гвардии и немало народа, только что заполнявшего площадь. Но шумное, задорное настроение, минуту назад проявлявшее себя такими криками, теперь прошло. Лишь откуда-то издали, из боковых улиц, ведущих к рынку, доносился глухой шум, грохот камней, треск ломаемой мебели и возгласы команды: это строили баррикады.

А пушки не переставали греметь. Сперва картечь падала на крышу ратуши и скатывалась оттуда вниз; теперь орудия навели по-другому: снаряды били в стены, иные падали прямо на площадь. Вот зазвенело одно окно в ратуше, потом второе: это пули начали попадать внутрь здания. Ратуша все сильнее сотрясалась и как будто качалась; вместо обычных пуль начали

---

[1] Шпион! Шпион! На фонарь его! *(польск.)*

[2] Но, господа! *(польск.)*

лететь разрывные гранаты, они щелкали, падая, разлетались на мелкие осколки и взрывались столбами огня. Калинович, стоя в своем углу, видел в окно такие огненные столбы на рынке, куда также попадали эти снаряды. В своем оцепенении он все же с интересом наблюдал это зрелище, подобное молниям среди бури; он ждал, когда щелкнет и разорвется новая граната, и переставал на мгновение думать о себе. Ему даже захотелось подойти поближе к окну и выглянуть на площадь.

Но едва он двинулся с места, как звякнуло окно в его канцелярии — коротко, резко, точно раскаленное железо, кинутое в воду, и в ту же минуту затрещал деревянный шкаф с бумагами, стоявший в углу недалеко от окна. Калинович сперва не видел ничего, но спустя мгновение услыхал шелест на полу канцелярии, точно там мышь бегала между бумагами. Довольно было одного взгляда, чтобы сердце его замерло и все тело похолодело. Граната, влетевшая как-то рикошетом, наискосок, через окно, оторвала один угол шкафа и выбросила из него целую кучу бумаг, а сама, отскочив от шкафа, упала на пол и бегала по нему, вращаясь вокруг своей оси, точно волчок, которым забавляются дети. Сперва граната кружилась так быстро, что ее едва было видно, и разбрасывала вокруг себя бумаги; но вот ее движения делаются все медленнее, в верхней ее части становится виден какой-то дымок, который тоненькой белой струйкой поднимается вверх, еще несколько оборотов и как бы веселых прыжков железного гостя, он переворачивается набок, описывает широкий круг, стукается о ножку какого-то шкафа, и в то же мгновение вспыхивает гигантский огненный столб, в следующее мгновение раздается оглушительный треск, и вся канцелярия наполняется дымом, пылью, клочками разорванной бумаги и щепками разбитой мебели, среди которых, как шершни, жужжат и мгновенно затихают железные осколки гранаты. Все это произошло так внезапно, в таком бешеном темпе и с такой роковой четкостью, что у Калиновича помутилось в голове. В беспамятстве, ничего не сознавая, он кинулся в дальний угол канцелярии, между своим столом и большой печью, скорчился тут и закрыл лицо руками. Несколько щепок ударило его по голове, но больше с ним ничего не случилось. Резкий, удушливый чад горящей бумаги отрезвил его.

Он выглянул из своего угла, выпрямился и осмотрелся. Половина канцелярии, та, что ближе к окну, выглядела как сущий ад. Взрыв гранаты вырвал часть пола, разбил конторку, шкаф. рассыпал и разбросал множество бумаг, которые теперь горели ярким пламенем. Не раздумывая долго и не прислушиваясь

больше к щелканью пуль, Калинович схватил свое пальто и шляпу; держа их в руках, он выскочил в коридор.

Канцелярия находилась в верхнем этаже. Коридор был пуст. Натягивая на себя пальто, Калинович бежал по коридору и кричал:

— Горит! Горит!

Его голос раздавался в пустынном коридоре и отдавался где-то далеко, в другом его конце. Добежав до лестницы, Калинович побежал по ступеням вниз, туда, откуда доносились людские голоса, и не переставая кричал:

— Горит! Горит!

— Где горит? Что горит? — спросил его какой-то гвардеец на лестнице, заступая ему дорогу.

— Бухгалтерия горит!

— Э, бухгалтерия! — с презрением произнес патриот.— Это пускай горит.

— Но с нею сгорит и ратуша! — кричал Калинович, минуя гвардейца.

В вестибюле при этом известии поднялся шум. Несколько десятков людей побежали вверх по лестнице, а Калинович тем временем, замешавшись в толпу, начал протискиваться к выходу.

— Нельзя выходить! — крикнул ему гвардеец, который в целой шеренге других стоял у дверей ратуши, преграждая выход.

— Как это нельзя? Мне нужно выйти! — запротестовал Калинович.

— Куда пойдете? Вы с ума спятили? Ведь тут стреляют!

— Но я ни в чем не виноват, за что в меня будут стрелять!

Вся шеренга гвардейцев захохотала.

— Спятил человек! Хочет, чтобы пули имели глаза, да еще умели отличать, кто виноват, а кто не виноват.

— Прошу меня выпустить! Я пойду! Я не могу оставаться здесь дольше! — умолял Калинович, не помня себя от страха.

— Назад! Прочь отсюда! — крикнул какой-то старый гвардеец и толкнул его в грудь так сильно, что он даже зашатался.

— Ой, боже! Но ведь я должен выйти! — застонал Калинович. Страх отнял у него остаток соображения. Он повернулся и что есть духу побежал в противоположную сторону, к другому выходу. Чтобы дойти до него, нужно было пересечь двор ратуши. Здесь, вдоль стен, укрытые от пуль, стояли гвардейцы в полном вооружении, рядами, готовые выскочить из этой засады, с ружьями на плечах. Калинович мигом перебежал через двор, боясь даже оглянуться по сторонам, чтобы его не приняли

за шпиона, который хочет выдать хитрость гвардейцев. Вторые ворота ратуши были заперты, только маленькая калитка была отворена. Но и здесь сторожила кучка гвардейцев. Отчаяние и желание вырваться из этой западни подсказали Калиновичу внезапную мысль. Он подбежал к гвардейцам, точно специально присланный к ним с этим известием, и повелительным тоном крикнул:

— Господа, ратуша горит! За ведра и насосы!

— Ратуша горит! Ратуша горит! — заметались гвардейцы в растерянности и побежали во двор к своему командиру. Этой минутой воспользовался Калинович, мгновенно открыл калитку, выскочил на площадь и тотчас закрыл дверцу за собой. В ратуше слышен был глухой гул, из которого все чаще и отчетливее доносились возгласы:

— Горит! Горит!

IV

Очутившись на рыночной площади, Калинович с трудом отдышался. Он тревожным взглядом окинул местность, стараясь быстро ориентироваться, как ему быть дальше.

Площадь была пуста. Кое-где щелкали и свистели пули, поднимая столбики пыли. Но едва Калинович показался на площади, его сразу же увидели невидимые глаза из нескольких приотворенных дверей и десятки голосов закричали:

— Бегите! Бегите!

Калинович, плохо соображая, что делает, пустился бежать вдоль стены ратуши, пока не добежал до угла. Здесь он поглядел вперед и, увидав перед собой открытые ворота в каменном доме Андриолли, съежился и кинулся через площадь прямо к этим воротам.

От дома Андриолли, с давних пор хорошо ему знакомого, узким пассажем можно было пройти прямо к иезуитскому костелу. Он надеялся выбежать отсюда на площадь Св. Духа, а оттуда на Сикстусскую улицу, где была его квартира. Но и здесь ему встретилось препятствие. Двор дома Андриолли был полон людей; второй выход был завален всяческой мебелью, поленьями дров, панельными плитами и прочими вещами, из которых у самого выхода из здания, между стеной соседнего дома и иезуитским костелом, сооружали баррикаду.

— Нельзя туда идти! Нельзя! — кричали ему люди, подносившие материалы для баррикады.

— Я вам не помешаю! — умолял Калинович.— Мне нужно домой.

— Эге! — шутили те.— Это как цыгану, который говорил: «Либо вешай, либо отпусти, а то мне нужно на ярмарку». Тут железным горохом угощают, а ему домой захотелось!

— Каким железным горохом?

— Разве не слышите, как жарят? Ведь на площади Св. Духа гауптвахта, так оттуда солдаты хотят напасть на рынок, а мы им кидаем бревна под ноги.

— Ну-ка! — крикнул какой-то командир и схватил Калиновича за шиворот.— За работу! Несите!

Калинович еще больше съежился. Он не смел возражать, подхватил полено на плечо и понес, протискиваясь с ним понемногу к выходу. Узкие ворота дома походили на преддверие ада. Крик, стук, грохот бросаемых тяжестей и треск выстрелов оглушали, отуманивали. Калинович слышал, как над его головой свистели пули, сбивая штукатурку со стен. Выход из дома также был забаррикадирован, кроме небольшой отдушины вверху; у отдушины стояла кучка вооруженных людей, они время от времени стреляли. Калинович убедился, что выйти отсюда и пробраться на Сикстусскую улицу совершенно невозможно. Не долго думая, охваченный какой-то лихорадкой, он кинул полено, которое тащил на спине, и начал проворно протискиваться назад, туда, откуда пришел, то есть на рынок. Здесь ворота были открыты, и когда он добрался до них, стрельба вдруг затихла.

— Ратуша горит! — слышались голоса.

— Белый флаг выкинули! — кричали другие.

— Убили того, кто выставил белый флаг! — воскликнул кто-то рядом с Калиновичем.

— Нет, не убили, только ранили. Смотри — шатается!

— Машет белым лоскутом!

— Послали парламентеров к Гаммерштейну!

— Войска отступят!

— Пусть ратуша горит, что нам до того!

— Не поддавайтесь! Войска отступят!

Такие возгласы раздавались вокруг, и рыночная площадь почти мгновенно наполнилась толпами народа. Из ратуши высыпали вооруженные, построенные рядами части Национальной гвардии. На углах площади толпились кучки людей, раздавались речи ораторов, громкие возгласы и команда.

— Не поддадимся! Пусть войско отступит! Не покидать баррикады! Внимание!

Калиновича подхватила человеческая волна и мгновенно вышвырнула на площадь. Тут у него возникла мысль добраться

до Краковских ворот и обходным путем, по Армянской улице, выйти на Гетманские валы, а оттуда на Сикстусскую улицу. Но и это ему не удалось. В Краковских воротах стояла баррикада чуть ли не до крыши здания, а из-за нее слышалась воинская команда. Скопление народа понесло его в Трибунальскую улицу, опять к тому же иезуитскому костелу, забаррикадированный угол которого он видел из пассажа дома Андриолли.

Теперь ему удобнее было оглядеться. С угла Трибунальской улицы он мог видеть, как на ладони, всю картину, дико-живописную, необычайную, фантастическую, которая, наверно, никогда ему и не снилась. Гвардейцы в мундирах, мастеровые в полотняных куртках и фартуках, с засученными по локоть рукавами, бегали взад и вперед, валя в кучу бочки, поленья дров, плиты тротуара, затыкая отверстия вместо цемента подушками, матрацами и сеном. Несколько человек тащило с веселыми возгласами захваченную на улице коляску, из которой только что выпрягли лошадей и выгнали владельца и слугу; коляску тут же перевернули вверх колесами и втолкнули в большой просвет, остававшийся еще между баррикадой и воротами костела. В окне одного из домов, выходивших на Трибунальскую площадь, показались разгоряченные лица нескольких работников, они кричали: «Берегись! Берегись! Прочь от окна!» Калинович, среди всей этой сутолоки пробиравшийся вдоль стены, едва успел отскочить, как из окна верхнего этажа с адским звоном грохнулся огромный старый рояль.

— Ура! — радостно заревели голоса на площади.— Вот это музыка! Как раз в пору! Браво! Браво! Давайте его сюда!

И десятки рук подхватили старую развалину и потащили на баррикаду.

Калинович снова прижался к стене в самом углу площади и стоял окаменелый. Вот она, революция! Точно такая же, как те, о которых так много говорили и писали в этом году в сообщениях из Парижа, Берлина, Вены. Баррикады во Львове, и он, вернейший из верных имперский подданный, тоже добавил хоть одно поленце к этому зданию революции! Что случилось с этими людьми? Чего они хотят, за что борются, на что надеются? Он никогда не понимал революционного пыла, а теперь меньше всего. Чувствовал только, что ему нет выхода, что он здесь — как в клетке. Правда, баррикада возле иезуитского костела еще не была закончена. А что, если протискаться ближе, взобраться на нее, пока не стреляют, соскочить на другую сторону и бежать на волю? Безумная мысль,— ведь либо с той, либо с другой стороны его могли заметить и угостить пулей. А бежать по Гетман-

ской улице в направлении к Академии тоже было нельзя, потому что и там строили вторую баррикаду, между стенами Академии и театром. Калинович стоял, обливаясь холодным потом, и ждал, что будет дальше. Единственная его надежда была на то, что дело кончится спокойно, что больше стрельбы не будет, что солдаты отступят. Бедный шварцгельбер — он и не понимал, что все свои надежды возлагает на победу революции!

Но почти в ту же минуту, когда в его голове ясно сформулировалась эта нелепая мысль, от рынка послышались громкие возгласы:

— Стреляют! Стреляют! По нашим стреляют!

Калинович действительно услыхал несколько далеких выстрелов, но не понимал, что они означают. Лишь позднее он узнал, что это было. На крыше горящей ратуши стояло несколько гвардейцев, они наблюдали отсюда за передвижениями имперского войска и подавали сигналы своим. Выстроенные возле управления наместника, на Губернаторских валах, солдаты, стрелки с Гуцульских гор, видя подозрительные движения этих паничей и не думая ни о каких переговорах насчет капитуляции, навели на них несколько ружей, взяли их на мушку, и — паф-паф! — гвардейцы на ратуше повалились замертво. Остальные спаслись бегством с криком: «Стреляют!» — который в ту же минуту подхватила вся толпа на рыночной площади и на смежных с нею улицах.

— На баррикады! На баррикады! Измена! — ревели толпы народа.

— Отойди, кто без оружия! С оружием — на баррикады! — раздавались голоса команды.

Калинович стоял на своем месте. Правда, когда послышался возглас: «Отойди, кто без оружия!» — несколько ворот отворилось, и туда укрылись кучки безоружных. Но прежде чем Калинович успел протиснуться к воротам, грянул ружейный залп, ворота захлопнулись перед самым его носом, и он остался снаружи. Мимо его ушей засвистели пули, как рой шершней. Каким-то бессознательным броском он согнулся в три дуги и скорее пополз, чем побежал, в свой угол, где все же был в безопасности от пуль. Его сердце билось неистово, все тело дрожало, а губы машинально, в беспамятстве повторяли одну фразу, которая неизвестно откуда и зачем пришла ему в голову:

— Мое почтение, всечестнейший господин!

Теперь на небольшой площади перед иезуитским костелом оставалось всего человек тридцать. Большая часть их сгрудилась у баррикады,— она, хотя и не закопченная, все же да-

вала им хорошее укрытие от вражеских пуль и защищала их позицию. На баррикаде, опустившись на колени и нагнувшись так, что с противоположной стороны их совсем не было видно, стояли ее защитники, числом не более десяти: два молодых студента, два-три рабочих и несколько старых ветеранов. Они, скорчившись, неподвижно стояли на своих местах и выпрямлялись во весь рост лишь изредка, чтобы выстрелить и снова спрятаться за баррикаду. Остальные защитники стояли внизу, заряжали ружья и подавали стрелявшим. Один смельчак, уцепившись за какой-то крюк от вывески и опираясь одной ногой о ножку рояля, торчком поставленного на вершине баррикады, занял пост наблюдателя; в таком положении, защищенный от пуль углом стены и высунув немного голову, он мог хорошо видеть все, что происходило за баррикадой, и громкими возгласами подавал весть о том товарищам. А за баррикадой солдаты в бессильной ярости посылали залп за залпом, осыпая площадь пулями, выбивавшими все стекла в домах на противоположной стороне и сбивавшими штукатурку со стен. Как майские жуки весной жужжат в теплом вечернем воздухе и поминутно, налетая, ударяются о стены домов и стекла окон, так здесь жужжали и ударялись о стены пули. И после каждого залпа защитники баррикады радостно восклицали:

— Браво! Браво! Еще раз!

А один подросток, мальчуган лет пятнадцати, с головой круглой, как тыква, с румяным улыбающимся лицом, после каждого залпа выскакивал из-под баррикады на площадь с шапкой в руке и, набрав в нее пуль, убегал назад на баррикаду и подавал пули тем, кто заряжал ружья.

— Браво, Броня! Браво! — кричали обрадованные защитники, а он вертелся на одной ноге, широко усмехался всем своим румяным лицом и пискливым голосом затягивал мазурскую песенку:

Oj nima to, nima,
Jako djablu w piekle:
Napije się smoły,
Posiedzy się w cieple! [1]

Калинович невольно, совсем машинально, улыбнулся тоже при виде этого веселого подростка, который опять, подпрыгивая и посвистывая, выбежал на площадь и собирал в шапку ружейные пули, точно землянику в лесу.

---

[1] Ой, всего лучше // Дьяволу в аду: // Смолы он напьется, // Посидит в тепле! *(польск.)*

Между тем солдаты, видя бесполезность стрельбы залпами, затихли. Держась руками за крюк в стене, разведчик шептал своим, но так громко, что и Калинович в своем углу мог услышать:

— Внимание! Разделились на партии! Ползут вдоль стены по сторонам! Пан Валигурский! Вам там видно!

В эту минуту грянул выстрел, и пуля ударилась в тот самый крюк, за который держался отважный разведчик. Всего, может быть, в полувершке от его руки! Он сплюнул и захохотал, но все же не покидал своей позиции. Но внимание Калиновича привлекло его обращение к пану Валигурскому. Что же, значит, и пан Валигурский здесь? И взглядом он начал искать его на баррикаде. Искать пришлось недолго — почти в ту самую минуту, когда наблюдатель захохотал, услыхав, как пуля ударила в крюк возле его ладони, с противоположного конца баррикады, из-под самой стены иезуитского костела раздался выстрел, а за баррикадой послышался глухой стон.

— А ты, босяк, куда лезешь? — закричал стрелявший.— Получай! Не лезь!

Калинович узнал голос Валигурского и только теперь смог хорошо разглядеть довольно необычную, даже среди этой адской фантасмагории, картину.

На углу иезуитского костела, сложенного из тесаного камня, над малой входной дверью, на высоте верхнего этажа находится, за железной решеткой, низкое полукруглое окно в глубокой нише. Значительно ниже того окна, справа от входа, расположена вторая ниша, выдолбленная не более чем на полметра вглубь, со стоящей в ней каменной статуей мадонны. Сооружая баррикаду, ее довели с этой стороны вплоть до самой решетки над входом, сорвали решетку и втащили на баррикаду, укрепив этим коляску, которую вкатили наверх, положили вверх колесами и привалили камнями. Вытащили из ее ниши и статую мадонны и привалили ею на баррикаде кучу ломаной мебели, вперемешку с охапками соломы, подушками и матрацами. Калинович еще прежде того заметил на вершине баррикады, в полукруглом окне костела, наваленную как бы случайно, как бы забытую в этом месте груду обломков. Теперь он увидел за этой грудой какое-то движение, заметил там какого-то человека.

В глубокой оконной нише, за грудой этих обломков, стоял, согнувшись, Валигурский. Его позиция была удобна и безопасна. Согнувшись чуть ли не вдвое, он мог почти весь укрыться в нише над баррикадой и в то же время окидывать взглядом всю

противоположную сторону площади Св. Духа, выход из дома Андриолли и соседние с ним дома. Выпрямившись в нише и став одной ногой на статую мадонны, он мог высунуть голову за угол костела, осматривать гауптвахту и всю площадь и посылать и туда свои пули. И он сидел, как крыса в муке: не видно ее, а знаешь, что она из укрытия осматривается по сторонам. Но вот он вдруг поднимается до половины, вытягивает руку с заржавелым, старым наполеоновским штуцером, у которого первоначальный кремневый замок переделан на капсюльный, и, почти не целясь, стреляет вниз и тут же снова ныряет в свой тайник, и только глухой стон и немецкие ругательства за баррикадой говорят об эффекте его выстрела. И в то же время Калинович увидел, как из верхней ниши протягивается вниз рука Валигурского с большим пистолетом, как этот пистолет берет у него какая-то другая фигура, которая, скрытая телом баррикады, стоит в нижней нише, откуда святотатственные руки выбросили статую мадонны. Фигура так заслонена, что Калинович почти совсем не может разглядеть ее. Только по зову Валигурского сверху она высовывается из своей ниши, чуть приподымается, протягивает руку, берет от него разряженный пистолет и одновременно подает ему другой, такой же точно, заряженный. И пока Валигурский в своей засаде снова начинает прицеливаться, и издали видно только, как его рука поводит дулом пистолета,— фигура внизу, скорчившись, возится над чем-то, делает какие-то быстрые движения; приглядевшись внимательнее, Калинович мог проследить эти движения по тому, как быстро шевелился большой бумажный платок, которым прикрыта фигура. А через минуту снова выстрел из окна, снова стон за баррикадой, снова рука Валигурского с пистолетом протягивается вниз, а навстречу ей высовывается снизу рука с заряженным пистолетом,— Калинович видит: ей-богу, белая, тонкая, нежная, женская рука!

«Неужели его дочь с ним здесь?» — подумал Калинович, и его сердце забилось отчего-то, словно ко множеству сильных и волнующих впечатлений добавилось еще одно, дикое, неожиданное, но сильное именно своею неожиданностью.

— Это уже восьмой! — сказал сверху Валигурский тем, что стояли внизу и заряжали ружья.

— Браво, Валигурский, браво! — послышались голоса.— Поджаривайте их! Так им и нужно!

— Внимание! — крикнул повисший на крюке с противоположной стороны.— Они что-то новое готовят! Внимание!

V

На площади наступила минутная тишина. Солдаты перестали стрелять; у баррикады тоже было тихо. Какая-то глухая тревога повисла в воздухе, как во время бури перед страшным взрывом стихийных сил. Все слушали, затаив дыхание, все чувствовали: то, что было до сих пор,— только детская забава, а теперь начнется нечто новое, совсем иное, нечто решительное, страшное. Стрельба затихла и в других местах, ее не было слышно нигде. Только на рыночной площади полыхал огромный пожар, трещали балки, трескались каменные своды, огненными роями взлетали к небу искры, а дым тяжелыми клубами падал на город. А вдалеке по неровной каменной мостовой грохотало что-то, стонало глухо. Что такое? Конские копыта, или размеренный шаг пехотных полков, готовящихся к атаке, или что-нибудь иное? Защитники баррикады отлично понимали, что имперское войско железным кольцом охватывает центр города. Самые отважные побледнели, но никто не покидал позиции.

— Будь они прокляты! Пушки тащат! — буркнул в своей нише Валигурский.

— Отец их видит? — спросил женский голос снизу. Калинович впервые услыхал этот голос.

— Нет, не вижу, но слышу. Стена слышит. Стена в этом смыслит, сразу даст знать.

— Внимание! — воскликнул тот, что держался за крюк.— У гауптвахты готовятся к атаке.

Валигурский в своей нише выругался по-французски. Это был последний человеческий голос, который мог расслышать Калинович. Еще минута мертвой тишины, а затем показалось, что земля разверзлась и ад вырвался наружу. Рев орудий, свист пуль, щелканье гранат, треск разбиваемых стен, досок, мебели и всего, что было свалено в баррикаду, какой-то дикий рев, словно порыв буйного ветра, который внезапно поднялся и рвет с корнями столетние деревья, словно какие-то дикие, неудержимые стихийные силы разыгрались и стремятся мгновенно смести с лица земли этих ничтожных червяков — людей с их ничтожными делами. Калинович стоял в своем углу, оглушенный, без мысли, без движения. Он сперва зажмурился, но во мраке, охватившем его, сверкали какие-то гигантские огненные языки, они подымались от земли выше каменной башни иезуитского костела, и он в смертельном страхе тут же открыл глаза. Нет, огненных языков не было, баррикада стояла еще, но она походила на копну сена, разметанную сильным ветром. Перья

из распоротых подушек летали по площади, как крупные хлопья снега; одна ножка рояля очутилась посреди площади, неподалеку от Калиновича, а каменная статуя мадонны на баррикаде, выведенная из прежнего положения, стояла теперь почти выпрямившись, слегка склонив голову вперед, как женщина, которая стоит над глубоким омутом, заглядывает вниз, в воду, и решает — кинуться туда или нет. А рев, треск, грохот не прекращались. Пули свистели в воздухе, иные из них падали на камни мостовой, рассыпая тысячи искр от удара, и с диким визгом взмывали вверх и летели дальше.

Поперек площади, согнувшись, с ружьями в руках, один за другим нестройно и молча бежали недавние защитники баррикады. Бежали под градом пуль и исчезали в устье Трибунальской улицы, по направлению к рынку. Одним из последних бежал подросток Броня, по-прежнему веселый, румяный, точно весь окружающий ужас вовсе не касался его. Он на минуту остановился, чтобы отшвырнуть ногой большую гранату,— упав на мостовую, она кружилась и жужжала, как огромный шмель.

— Оставь! Оставь! Не трогай! — крикнул ему один из беглецов. Но было уже поздно. Броня толкнул ногой гранату, раздался адский грохот, вспыхнуло пламя, потом дым покрыл площадь и о стены застучали осколки гранаты. Калинович невольно скорчился вдвое в своем укрытии, а когда через мгновение глянул на то место, где произошло несчастье, то увидел страшно изуродованный труп Брони, с оторванной ногой и размозженной вдребезги круглою головой; тело лежало тихо в луже крови, а рядом, с разорванным животом, впихивая внутрь кишки, лежал, извиваясь от боли, тот, кто предостерегал минуту назад мальчика.

Это было первое кровавое зрелище, открывшееся перед глазами Калиновича. Впервые смерть показала ему свой лик в самом страшном виде. Но, к превеликому его удивлению, зрелище это не произвело на него такого впечатления, какое в иную пору произвел бы, пожалуй, один рассказ о таком событии. Он так уже освоился с неожиданностями и ужасами этого дня, так отупел, что сознание его при виде всего происходящего оставалось бессильным, как птичка в слишком большой мороз. Он глядел на мертвеца и на раненого лишь мгновение; кровь их обоих медленно разливалась черными ручейками вокруг; стоны раненого глухо раздавались на пустынной площади. Точно в ответ на них, заглушая их, еще раз загрохотали пушки так, что земля содрогнулась. Еще раз пролетел огненный ураган по всей улице, от Марьяцкой площади до костела иезуитов. Затрещала, загу-

дела баррикада и пошатнулась. Еще один крик с вершины ее. Калинович глянул туда. «Что сталось с Валигурским? — мелькнуло в его голове.— Неужели он еще там, на своем месте?»

Валигурский был на своем месте. Был и не был. Граната, отскочив рикошетом от угла костела, влетела на баррикаду и ударилась о статую мадонны. И в ту же минуту лопнула. Разбила в куски голову статуи, разметала баррикаду. Несколько осколков — неизвестно, гранаты или статуи,— угодили в старого Валигурского; он в агонии выпрямился в окне костела, протянул высоко руку с пистолетом и лицом вперед повалился на груду развалин, которая минуту назад была баррикадой.

— Папочка! Папочка! Что с вами? — послышался снизу девичий крик; согнутая фигурка в дверях костела сбросила с себя платок, выпрямилась и метнулась вперед. Не в добрый час! Что-то ударило ее. Она схватилась за голову, вскрикнула и повалилась ничком. На нее обрушилась коляска, до того лежавшая вверх колесами на баррикаде. Падая сверху, коляска за что-то зацепилась и скатилась вниз, став на колеса. Девушка, таким образом, оказалась под колесами, а тем временем с верха баррикады валились доски, мебель и всякие обломки, покрывая, но не трогая ее.

Калинович смотрел на все это стеклянными, бессмысленными глазами. Катастрофа произошла так внезапно, мгновенно, что ему не было времени раздумывать. Его глаза не могли оторваться от того места, где исчезла девушка. Что с нею? Жива она или убита? Вероятнее всего можно было думать, что убита, но в душе Калиновича что-то шептало: жива. Что, если жива? И погибнет под обломками? Задохнется в беспамятстве? Или солдаты, идя по баррикаде, затопчут, исколют ее штыками? Дрожь прошла вдруг по всему его телу. Казалось, какая-то невидимая сила схватила его за шиворот и толкнула вперед, неслышно и неотступно крича ему:

— Что стоишь, как столб? Иди, спасай!

У него вдруг зашумело в ушах, пятна пошли перед глазами. Он с каким-то отчаянием огляделся по сторонам, как бы ища спасения. А вокруг было тихо, пушки не гремели, пули не свистели. За баррикадой, на площади Св. Духа, слышались громкие, резкие возгласы команды. Идут на приступ! Еще минута, и пойдут на баррикаду. Скорее! Скорее! И Калинович, не помня ничего, согнувшись вдвое, бледный, почти без сознания, кинулся к баррикаде. Несколькими сильными движениями он расчистил себе дорогу к коляске, наклонился, вытащил из-под нее неподвижную, бесчувственную девушку — она показалась

Крыло сойки

ему легкой, как ребенок,— и, держа ее, как сноп, перед собой, кинулся бежать поперек площади к выходу на Трибунальскую улицу.

— Habt acht! [1] — послышалась команда за углом костела, и Калиновичу показалось, что это выкрикнул кто-то над самым его ухом. Он встрепенулся, но, не оставляя своей ноши, не оглядываясь, изо всех сил побежал дальше. Но девушка в его руках становилась все тяжелее; в сущности, это слабела его сила; организм, истощенный множеством необычайных и сильных впечатлений, быстро слабел. У него зазвенело в ушах; огненные круги замелькали перед глазами; мгновениями все исчезало перед ним, ноги отяжелели, словно на них были не сапоги, а тяжелые свинцовые ядра. Только какое-то диковинное усилие воли, мужество отчаяния толкали его вперед, но и то ему казалось, что он вот-вот упадет. Остановясь у дверей дома, где теперь ресторан Брайтмайера, он ударил ногой в дверь и крикнул:

— Ради бога! Отворите!

В ту же минуту дверь отворилась. Две сильные руки, казалось, поджидавшие его, протянулись и взяли у него из рук его ношу, втащили его самого в парадное и снова заперли дверь. Произошло это так тихо, неожиданно и легко, что Калинович при других обстоятельствах готов бы был поверить в некое чудо. Но сейчас он неспособен был собрать и двух мыслей. Еще минуту стоял он в парадном, как бы окаменев, еще долетели до его слуха немецкие слова команды на площади, здесь, у самой двери, послышались ему шаги множества солдат; они, казалось, громко шлепали по теплой еще крови, ручьями разлитой по мостовой. Но в тот же миг ему почудилось, словно где-то там внутри у него лопнул пузырь, наполненный теплой водой, и эта вода нежно, ласково начала разливаться по всему его телу, легонько щекоча его под сердцем...

Он пошатнулся и всей тяжестью своего тела рухнул в обмороке на каменный пол.

VI

В каменном доме, где только что, чудом или по воле случая, очутился Калинович, жила графиня М. Наследница славного исторического имени, знаменитая когда-то красотой и богатством, она вышла замуж за польского магната, веселилась с ним за границей и приобрела не менее громкую славу своими

[1] Смирно! *(нем.)*

любовными похождениями. Восстание 1831 года призвало ее мужа назад в родные края, в его обширные поместья в русской Подолии. Общий подъем захватил и его; он вооружил свою дворню и слуг и составил из них полк, который принес ему больше славы среди шляхты, чем истинной пользы польскому делу: он вскоре был разбит и рассыпался, сам граф попал в плен и был выслан в Сибирь, а его поместья конфискованы. Графине едва удалось спасти то, что она принесла в приданое мужу, но и эта часть была сильно подорвана благодаря разгульной жизни графини за границей. Она продала остатки, переселилась в Галичину, купила здесь маленькое именьице и, сдав его в аренду, сама жила во Львове очень скромно. Всегда в трауре, со строгим лицом, с белыми, как молоко, волосами, хотя ей не было и пятидесяти лет, она стала теперь пылкой польской патриоткой. Те, кто не знал ее шумного прошлого, считали ее образцом добродетели и жертвенности, образцом старопольской матроны, которая на своих женских плечах держала и лелеяла силу и славу Польши и у домашнего очага хранила священные дедовские традиции. А те, кто знал графиню получше, молчали и делали вид, что так же вторят хвалебным гимнам в ее честь. Что́ им это стоило? Наоборот, слава, окружавшая имя графини, разливала часть своего блеска на все шляхетское сословие.

Нечего и говорить, что графиня, живя уже двенадцать лет во Львове, весьма заботилась о том, чтобы поддерживать свою славу. Она быстро, как-то незаметно создала себе репутацию великой филантропки, заступницы и благодетельницы бедняков, и прежде всего бедных ветеранов польского войска, бывших повстанцев и новых заговорщиков. Располагая широкими связями и знакомствами не только в польских, а также в немецких дворянских и магнатских кругах, она действительно могла оказать не одну услугу, особенно в те времена бюрократического самовластия и всемогущества. Она не жалела ходатайств и просьб, устраивая одним места, другим амнистию, третьим освобождение из-под полицейского надзора, заграничные паспорта или разрешение проживать в Галиции. Да и обыкновенных бедняков, сирот, обращавшихся к ней за помощью, она никогда не отсылала ни с чем, хотя всегда так умело устраивала дела, что из собственного кармана на все эти благодеяния не истратила ни крейцера. Расточив смолоду немалое состояние, графиня под старость сделалась скрягой. Однако она умела помогать беднякам чужими руками: тут напишет записочку, большей частью какому-нибудь мещанину, купцу или богатому еврею, который на радостях, что «сама графиня» обратилась к нему, тряхнет

мошной и даст вдесятеро больше, чем если бы давал по собственной милости; а там, если дело поважнее, а намеченный исполнитель ее филантропических замыслов туговат на карман или уже и прежде попадался на удочку, она едет сама, в трауре, с торжественной миной на лице и с голосом, полным набожного умиления. И трудно было найти такого упрямца, который воспротивился бы ее просьбе, тем более что за каждой просьбой графини, как злая собака за углом, сидела угроза: благодаря своим связям и знакомствам графиня могла навредить еще легче, чем помочь, и не одному случалось пожалеть, что он отказал когда-то в ее просьбе. У графини была хорошая память, и кто хоть однажды чем-нибудь не угодил ей, мог быть уверен, что когда-нибудь, в трудную минуту, почувствует на себе ее мстительную руку.

С годами все возрастало пристрастие графини к двум вещам: она становилась все набожнее, исповедовалась еженедельно у иезуитов, молилась по целым дням, и вообще все время, свободное от выездов по благотворительным делам, посвящала религиозным занятиям; а во-вторых — полюбила сватать молодых девушек и юношей. Роль свахи или посаженой матери была самой любимой из ее ролей, какие она могла еще играть в жизни, наверно, еще более любимой, чем роль кающейся Магдалины. Она сватала всех своих молодых свояченицы и свояков, выдавала замуж молодых вдов и разводок, а со временем дошла до того, что брала себе на воспитание по десятку и больше молодых девиц, оставшихся сиротами по смерти мелких служащих, обнищалых шляхтичей или чиновников, в основном для того, чтобы через два-три года выдать их замуж по своей воле и вкусу: самоё невесту обычно при этом не спрашивали; она обязана была принять свою участь из рук ясновельможной пани графини, расплакаться, упасть ей в ноги и быть до смерти благодарной.

И не нужно думать, будто бы графиня даже и при этом несла какие-нибудь материальные жертвы. Она брала «на воспитание» девушек не моложе пятнадцати лет,— более молодых отдавала в теплые руки другим милосердным людям. Эти воспитанницы жили у нее в селе и, под видом обучения домашнему хозяйству, исполняли бесплатно всю черную работу сельских кухарок, служанок и работниц. Зато, выдавая их замуж, графиня давала за ними «гардероб», то есть пару рубашек и еще что-нибудь из дешевого женского платья, и два-три золотых «на обзаведение»: все было тщательно рассчитано так, чтобы ни одна воспитанница не обходилась дороже того, что она зарабо-

тала. Основное приданое, какое давала графиня, была ее протекция: она добывала должности и продвижение по службе для мужей своих воспитанниц, устраивала их на работу у знакомых помещиков и не забывала о них и впоследствии.

В тот день, когда разразилась бомбардировка, графиня провела все утро, как обычно, за молитвой. Когда же поднялась стрельба и перед ее окнами начали возводить баррикаду, она приказала своему лакею Яну запереть дверь, а сама, поместившись у окна так, чтобы, под прикрытием стены, видеть все происходящее на площади, стояла все время, шепча молитвы и глядя в окно. Несколько пуль с площади Св. Духа влетели в ее комнату через раскрытое окно, но это не испугало ее; она происходила из знатного рода и не боялась оружия; когда она была девушкой, еще существовала такая мода: паничи для забавы отстреливали паннам каблуки туфель во время полонеза. Таким образом, графиня была свидетельницей обороны и падения баррикады, видела, как упали и последний защитник, находившийся в окне иезуитского костела, и девушка, сидевшая в нише; видела, наконец, поступок Калиновича. Видя, как он с девушкой на руках бежит поперек площади, она тут же крикнула своему лакею:

— Ян! Живо! Живо! Беги, отопри дверь и втащи этих двоих в парадное! Живо, не то их расстреляют на месте!

Ян подбежал с ключом к двери и как раз вовремя втащил Калиновича и девушку внутрь дома. Едва заскрипел ключ, запирающий дверь, на площади послышались голоса команды и шаги целой роты солдат. Офицер, должно быть, видел еще Калиновича, когда тот бежал с площади, но не заметил хорошо, куда и как он скрылся. Поравнявшись с дверями дома, где жила графиня, он скомандовал:

— Compagnie, halt! [1]

Рота остановилась. Офицер, подозвав к себе двух капралов, позвонил у дверей. Внутри ничего не было слышно, никто не отворял. Офицер позвонил еще раз и начал рукояткой сабли стучать в двери и ругаться по-немецки. Наконец дверь открылась. В парадном стоял Ян в богатой ливрее.

— Чем могу служить господину лейтенанту? — спросил он учтиво.

— Кто здесь живет? — строго спросил офицер.

— Пани графиня М...

— Одна?

---

[1] Рота, стой! *(нем.)*

— Одна.

— Я видел, как сюда бежали бунтовщики, те, что с баррикады стреляли по имперскому войску.

— Пан лейтенант ошиблись,— учтиво, но решительно ответил Ян.— Пани графиня не имеет ничего общего с бунтовщиками. Действительно, минуту назад я отпирал дверь, но лишь затем, чтобы спасти жизнь одного имперского чиновника, которого бунтовщики даже в последнюю минуту хотели расстрелять. Вот он!

И Ян, отступив в сторону, указал офицеру и солдатам на Калиновича,— все еще в глубоком обмороке, он лежал на каменном полу. Разумеется, девушки, которую он вынес с баррикады, не было и следа.

— Прошу посмотреть,— продолжал Ян, наклоняясь над Калиновичем.— Под плащом имперский мундир, на руках нет ни следа пороха, только следы чернил на пальцах.

— Todt? [1] — спросил коротко офицер.

— Нет, в обмороке. Должно быть, ударили прикладом по голове. Видите, цилиндр сломан.

— Gut. Ich werde es melden. Когда придет в себя, задержите его. Compagnie, marsch! [2]

И солдаты пошли дальше, а Ян запер за ними дверь. Он все время боялся, как бы Калинович не очнулся прежде времени и не испортил своими признаниями импровизированную им историю. А теперь даже легко вздохнул и возблагодарил бога, что ложь победила.

VII

В эту минуту Калинович застонал и открыл глаза.

— Где я? Что со мной? — спросил он, озираясь по сторонам.

— У добрых людей,— ответил Ян.— Не бойтесь ничего, все будет хорошо.

Калинович сидел на полу и озирался с удивлением. В голове у него шумело, воспоминания недавнего пережитого еще не ожили.

— Где я? Кто вы? — спросил он, снова вглядываясь в Яна.

— Вы в доме пани графини М. Я впустил вас, когда вы убегали...

---

[1] Мертв? *(нем.)*

[2] Хорошо. Я об этом доложу... Рота, марш! *(нем.)*

— Ах! Да! А где же та девушка, которую я нес?
— Наверху, у пани графини.
— Так она не убита?
— Кажется, нет. Пани графиня приводит ее в чувство.
— Больше не стреляют?
— Нет, затихло.
— А не будут искать нас?
— Были уже здесь. Надеюсь, больше не придут.
— Были здесь? Видели меня?
— Видели. Да вы не бойтесь ничего. Ваш мундир, ваши руки, испачканные чернилами, а не порохом, убедили их, что вы не повстанец.
— Слава тебе, господи! — вздохнул Калинович.— Значит, теперь я могу идти домой?
— Я не советовал бы вам. Теперь еще не совсем безопасно.
— Ах да, верно! Слышите? Гудит, трещит — что это такое?
— Ратуша горит. Солдаты окружили ее и не позволяют тушить. Обыскивают дома. Побудьте еще немножко здесь, потом я провожу вас домой.
— О, спасибо вам! — сказал Калинович.— К тому же мне следует поблагодарить пани графиню за ее доброту. Ой!

Калинович при воспоминании о графине попытался встать, но почувствовал боль в пояснице и охнул. Ян помог ему встать, проводил его наверх в свою комнату и, рассказав графине обо всем, принес ему графинчик вина, бисквитов и фруктов. Калинович подкрепился и, сидя в кресле, пока Ян ходил услуживать графине, силился привести в порядок свои впечатления от недавно пережитых страшных минут. У него сильно болела голова, он ощущал какую-то глухую боль в пояснице и во всем теле какое-то отупение, точно после тяжкой работы.

В комнатке, где он сидел, было уже почти совсем темно. Вошел Ян и поставил на стол две зажженные свечи. Вслед за тем отворилась дверь, и вошла графиня.

Калинович почтительно поблагодарил ее за спасение, поцеловал ей руку и просил позволения отправиться к себе на квартиру. Графиня села в кресло у стола и внимательно оглядела его с ног до головы.

— Вы какой-то чиновник? — спросила она с оттенком разочарования в голосе.

— Да, ясновельможная пани, канцелярист при государственной бухгалтерии.

— Как вас зовут?

— Степан Калинович.

— Во всяком случае, было очень хорошо с вашей стороны, что вы не поколебались пожертвовать своим положением и рисковать жизнью, когда дело шло о борьбе за наши общие, священные идеалы.

— Прошу прощенья у ясновельможной пани графини,— возразил Калинович.— Я вовсе не думал ни о жертве, ни о риске.

— Ну да! Человек не думает о таких вещах, а следует велению патриотического долга.

— Прошу прощения у ясновельможной графини,— снова возразил ей Калинович,— я не шел ни по чьему велению. Я вышел из канцелярии, когда там разорвалась граната и подожгла бумаги. Я намеревался идти домой, но улица была преграждена баррикадой.

— И все же вы стали в ряды защитников.

— Мне очень неприятно, что я вынужден еще раз опровергнуть мнение ясновельможной пани. Я ни в чьих рядах не стоял, я стоял в углу, чтобы меня не могли настичь пули. Я не военный человек.

— А эта девушка, которую вы вынесли с баррикады, разве она не ваша сестра, не подруга по борьбе?

— Нет, ясновельможная пани. Эту девушку я увидел сегодня впервые и даже не знаю, как ее зовут. Догадываюсь только, что она дочь моего сослуживца Валигурского, который действительно стоял на баррикаде и стрелял, пока не упал, убитый осколком гранаты. Тогда она выскочила из какого-то укрытия, крикнула: «Папочка!» — и тут же упала. Я видел, как на нее свалилась коляска, а так как в эту минуту перестали стрелять, я выскочил из своего угла, вытащил ее из развалин и понес — сам не знаю куда.

Графиня нахмурила лоб и строго поглядела на него.

— Так вы совершили это не из патриотизма?

— Нет, ясновельможная пани, не могу этого сказать. Я никогда не вмешивался в политику.

Графиня улыбнулась как-то кисло.

— Какая же это политика? Борьба за самые священные идеалы, за отчизну...

— Ясновельможная пани, я австрийский чиновник, а по рождению — русин...

— Ah! Comment il est mal elevé! [1] — воскликнула графиня с видом полного разочарования, обращаясь не то к самой себе,

---

[1] Ах! Как он дурно воспитан! *(франц.)*

не то к Яну, стоявшему за ее креслом, а помолчав, добавила скучающим голосом:

— Ну, хорошо, можете идти. Девушкой я займусь. На всякий случай, если вы были знакомы с ее отцом, оставьте Яну свой адрес. Может быть, она захочет повидаться с вами. Adieu![1]

И графиня встала, надменно подала Калиновичу два пальца, которые он поцеловал с низким поклоном, и вышла, зашелестев платьем.

С той поры прошел месяц. Ратуша сгорела, и с нею все бумаги государственной бухгалтерии. Калинович пребывал в невольном отпуске и страшно скучал. Привыкший к нетрудной, но ежедневной и регулярной работе, он теперь не знал, что ему делать с собой: сначала, пока еще город был на военном положении, он по целым дням сидел запершись в своей комнатке, кое-что почитывал, пытался даже писать стихи и тут же сжигал все написанное. Позднее, несмотря на снег и грязь, он бродил по улицам и вскоре заметил, что его, пожалуй, слишком часто тянет на Трибунальскую улицу. Было ли это воспоминание о тех страшных часах, которые он пережил возле баррикады, или что-нибудь иное? Он пытался уверить себя, что вправе хотя бы раз еще увидеть ту девушку, которую он, рискуя собственной жизнью, спас от неминуемой смерти. Но позвонить у дверей гордой графини все же не отважился.

Но вот однажды, как раз когда он собирался на свою обычную прогулку, в его дверь кто-то постучал. Калинович обмер от страха; он все еще боялся, чтобы его как-нибудь не привлекли к ответственности за злосчастную баррикаду. Он не знал, что делать: запереть дверь и притвориться, что его нет дома, или пригласить незнакомого гостя войти. Но дверь открылась без его приглашения, в комнату вошел Ян в богатой ливрее и подал ему раздушенную записку.

— Пани графиня просит вас нынче на вечер,— сказал он, поклонился и ушел.

Весь этот день Калинович провел в странном волнении. Он долго бродил по улицам, старательно обходя рынок и Трибунальскую, несколько раз заходил в кофейню, читал газеты, но, не в силах что-нибудь понять, откладывал их в сторону. Наконец настал вечер. Надев парадный мундир, Калинович взял извозчика, потому что на улицах было грязно, и, подъехав к знакомому дому на Трибунальской, позвонил. Дверь распахнулась. Ян повел его на второй этаж, в покои графини.

---

[1] Прощайте! *(франц.)*

В ярко освещенной комнате у стола сидела в кресле графиня, а рядом с нею бледная, нежная девушка в скромном, но элегантном черном платье.

— Пан Стефан Калинович! — объявил Ян, вводя Калиновича в комнату и удалился. Девушка, сидевшая рядом с графиней, как-то нервно шевельнулась, точно желая встать. Но графиня сделала ей знак оставаться на месте.

Калинович приблизился и поцеловал графине руку.

— Панна Эмилия Валигурская, узнаете? — сказала она ему с легкой усмешкой.

— Если бы не слова ясновельможной пани графини, то никогда бы не узнал,— ответил Калинович и поклонился девушке.

Она встала, обошла кресло графини и протянула ему руку. Калинович со странным чувством взглянул на эту крошечную белую ручку, о которой никто бы не подумал, что она так ловко и умело заряжала месяц назад тяжелые наполеоновские пистолеты.

— Позвольте, сударь,— проговорила девушка приятным голосом, чуть картавя,— поблагодарить вас за подлинно геройский поступок, спасший мне жизнь. Насколько я знаю со слов пани графини, это был героизм поневоле. Тем хуже для вас, что вы встретили бедную сироту, которая ничем не в состоянии отблагодарить вас.

— Вы очень низко, панна, цените меня, если полагаете, что я в ту минуту, когда спасал вас, или когда-нибудь позже мог бы хотя на миг подумать о какой-то плате за это с вашей или с чьей-нибудь иной стороны. А теперь, увидав вас впервые, я поистине счастлив, что мой невольный поступок спас жизнь такой достойной и прекрасной особы.

При этих словах панна покраснела и смущенно глянула на графиню, но и Калинович покраснел и потупил глаза.

— Il n'est pas si mal elevé, comme j'avais songé [1],— проговорила графиня, гладя панну Эмилию по голове. Потом она принялась расспрашивать Калиновича о том, откуда он родом, где служит, какое получает жалованье, что делает теперь и что собирается делать. Он отвечал на ее расспросы попросту, искренне, ничего не преувеличивая, и графиня выслушивала его ответы с явным интересом и одобрительно кивала головой. Потом пригласила его остаться еще на полчасика и поужинать с ними. Ужин был очень скромный, а так как графиня при этом была не слишком разговорчива, то и довольно скучный. За ужином Калинович сидел напротив панны Эмилии, а графиня между

[1] Он не так дурно воспитан, как я думала *(франц.)*.

ними, на узком конце стола. Графиня заставила Калиновича рассказать еще раз при панне историю памятного дня первого ноября, и Калинович почувствовал, что на этот раз рассказывал интереснее, чем месяц назад, по временам даже с юмором, так что на лицах обеих дам показывалась легкая улыбка.

— А я пана давно знаю по рассказам покойного отца,— проговорила панна Эмилия.— Он очень часто рассказывал мне про вас, своего сослуживца. «Единственная искренняя и честная душа в нашей канцелярии,— так говорил он обычно,— жаль только, что такой забитый шварцгельбер».

— Да, ваш покойный отец часто попрекал меня шварцгельберством, хотя, признаюсь по правде, я никогда не понимал, чем именно заслужил я эти упреки. Я человек простой, неученый и необразованный. Знаю свою канцелярскую работу, которая меня кормит, и свою присягу, которая велит мне работать точно и честно. Вот и все. Но это вовсе не означает, чтобы я, вне этого круга, не мог бы понять справедливых чаяний польского, украинского или какого-нибудь иного народа.

— Pas mal dit! [1] — заметила графиня, кивнув головой.

— Я часто просила отца, чтобы он пригласил к нам когда-нибудь этого закоснелого шварцгельбера,— продолжала панна,— но папочка не хотел. Он и не знал...

Она не договорила и прижала платок к глазам, утирая слезы.

Графиня встала. Калинович поцеловал ей руку, поклонился панне и ушел. Он не знал, что и думать об этом своем визите, о его цели и следствиях, но чувствовал, что без последствий это не останется. И действительно, спустя несколько недель, уже в конце февраля 1849 года, он вторично получил записку от графини с просьбой навестить ее на минутку. На этот раз графиня приняла его одна. Она снова спросила его, чем он занимается. Калинович ответил, что все еще не имеет постоянной службы, потому что государственную бухгалтерию упразднили и реорганизуют. Правда, его не уволили со службы и жалованье, двадцать гульденов в месяц, ему платят, но что будет дальше — этого он не знает. Графиня выслушала его и сказала ему коротко:

— Обратитесь в наместничество.

— Вельможная пани графиня,— возразил Калинович,— я уже справлялся. Все должности, на которые я мог бы рассчитывать, там давно уже заняты.

— Это пустяки,— проговорила графиня решительно.— Сегодня же подайте прошение. Не говорите ни о какой должности,

---

[1] Неплохо сказано! *(франц.)*

а подайте прошение. Приложите свидетельства, бумаги, какие у вас есть. Поняли?

И, не ожидая его ответа, она встала и позвонила. Явился Ян и подал удивленному Калиновичу пальто и калоши.

Калинович написал прошение, хотя и без всякой надежды на то, что оно к чему-нибудь приведет.

VIII

Новый наместник Голуховский был уже известен как человек строгий, настоящий службист; говорили, что он хочет организовать наместничество и вообще всю политическую администрацию в крае на свой лад и подбирает людей способных, энергичных и решительных. Калинович не замечал за собой таких качеств: он был хорошей, терпеливой и точной счетной машиной, но отнюдь не администратором. И действительно, поначалу казалось, что его надежды получить должность в наместничестве совершенно тщетны. Неделя проходила за неделей, а никакого ответа не было. Калинович ожидал терпеливо, с тем терпением упрямого, но и пассивного русина, какое выработали долгие годы политической и социальной зависимости и несамостоятельности. Он пробовал через знакомых канцеляристов, служивших в наместничестве, разузнать, в каком положении его дело, но никто не мог сказать ему ничего определенного; одно только было ясно, что все личные дела взял в свои руки сам наместник и ни одно, даже самое ничтожное назначение по политической службе не совершается без его ведома.

Положение Калиновича становилось все хуже. После упразднения старой государственной бухгалтерии, которую теперь на новых началах перестраивали в краевую финансовую дирекцию, ему угрожала перспектива, если он не получит должности в наместничестве или не обратится своевременно в какое-нибудь другое государственное учреждение, остаться ни с чем, без всяких средств к жизни, кроме крошечной пенсии за прежнюю двадцатилетнюю службу. Несколько раз он собирался было пойти к графине и просить ее помощи, а то и протекции, но всякий раз что-то останавливало его. Наконец, уже в великом посту, он надумал пойти в наместничество, взять оттуда свое прошение и бумаги и обратиться в какое-либо другое место, хотя бы в суд. Но, к величайшему удивлению, в тот самый день, когда он решился на этот шаг, он получил повестку из наместничества — тогда-то и тогда-то явиться в полной форме на аудиенцию к самому наместнику.

У Калиновича даже поджилки затряслись. Он весь дрожал от страха, что должен будет предстать перед таким великим и страшным лицом, которое казалось ему силой, первой после императора и второй после бога. Но это не был страх отчаяния и безнадежности, наоборот, за этим страхом шевелилось радостное чувство, что все это неслучайно, что эта аудиенция будет большим и счастливым поворотом в его жизни.

У Калиновича замирало сердце, когда в тот памятный день он вошел под своды наместничества и низко поклонился пышно одетому швейцару, стоявшему при дверях с позолоченной булавой в руке. Еще сильнее замирало его сердце, когда, пройдя по лестнице и длинному коридору, он вошел в приемную наместника и снова низким поклоном почтил слугу, потребовавшего у него его повестку. И уж совсем замерло его сердце, когда тот же слуга после многих других имен назвал, наконец, его и распахнул перед ним дверь в кабинет наместника,— этого ни словами сказать, ни пером описать. Почти в беспамятстве вошел Калинович в этот зал, отделанный пурпурной материей, с мебелью, обитой алым бархатом, с огромным столом, крытым красным сукном. Перед его глазами начало колыхаться и клубиться какое-то багряное море.

Он остановился у самых дверей, не зная, идти ли ему дальше или нет. В эту минуту из-за красного стола встал господин высокого роста, с резкими и выразительными чертами лица, с носом длинным и острым, как гуцульский топорик, с бакенбардами и бритым подбородком и медленно подошел к нему. Этот господин окинул его с ног до головы пронзительным, не то сердитым, не то надменным взглядом.

— Слушай, Калинович,— заговорил высокий господин резким и очень неприятным голосом, чуть в нос.— О чем ты думаешь? Родом ты русин, был на польских баррикадах, квалификации не имеешь и хлопочешь о государственной должности в наместничестве. Как же это так?

Калиновича все еще трясло от страха, а теперь он почувствовал себя так, словно кто-то ошпарил его кипятком. Вот тебе и на! Дождался должности, нечего сказать. Наместник знает о его приключении на баррикаде! Значит — вместо должности погонят на старости лет в солдаты, как многих других баррикадных героев. У него дух захватило. Он стоял молча, бледный, и трясся всем телом.

— Ну, что же ты не отвечаешь на мой вопрос? — настаивал наместник, не сводя с него пытливого взгляда и явно любуясь его смертельной тревогой.

— Ва... ва... ваше...— пролепетал Калинович, не в состоянии выговорить ни слова.

— Ну, что? Говори смело! — поощрил его наместник, слегка смягчив голос.

— Ваше превосходительство... я... я... хотел...— заикался, выдавливая из себя невнятные слова, несчастный Калинович.

— Ну, что ты хотел?

— Хотел... именно... сегодня... взять назад свое прошение.

— Это почему же?

— Потому что понял... что я... куда мне... на политическую службу...

— Почему же ты не подумал об этом прежде, чем подавать прошение?

— Ва... ва... ваше превосходительство... я... я...

Он колебался. Сказать ли про графиню? Что-то точно ладонью замыкало ему рот. Какая-то врожденная гордость наложила путы на его язык. Нет!

— Я... я был глуп,— выдавил он.

— Вижу и сам, что ты глуп. Даже теперь не умеешь отбрехаться. Ну, скажи, зачем мне такой чиновник? Куда я такого дену?

— Ваше превосходительство... я не претендую на высокую должность. Я на самой меньшей готов искренно и честно...— осмелился проговорить Калинович, у которого более мягкий тон наместника снова пробудил некоторые надежды. Но бедняга опять не в ту дверь попал.

— Слушай, Калинович,— прервал его наместник строго, хмуря брови,— не говори мне о своей искренности и честности. Это твои личные качества, до которых мне нет никакого дела. Для меня главное — служба. Будешь нечестен по службе — попадешь в тюрьму. Будешь неискренним по службе — выгоню тебя. Об этом нечего и говорить. А мне прежде всего нужны люди умные, энергичные, смелые, подкованные на все четыре ноги, понимаешь? Такие, которые умели бы ловко исполнять мои распоряжения, даже те, которых я им не давал. Чтобы умели угадать мою волю, мои намерения. Чтобы умели действовать от моего имени, не подводя меня под ответственность... действовать по-государственному и прятать концы в воду... чтобы умели в нужном случае смолчать, а если нужно, то и пострадать там, где этим можно снять ответственность с меня. Понимаешь? Мне нужны такие чиновники, которые были бы в моих руках без души, без воли, без совести, и все же имели бы голову на плечах. Понимаешь, Калинович?

— Одно понимаю, ваше превосходительство, что я в такие чиновники не гожусь,— сказал Калинович.

— Да, мелочь мелочью и останется,— презрительно буркнул наместник и сделал такой жест, словно собирался отвернуться. Калинович поклонился и собрался было уходить, считая аудиенцию оконченной. Но тут наместник снова обратился к нему, как бы внезапно припомнив что-то.

— А слушай, Калинович, скажи мне, как это ты дрался на баррикаде?

— Ваше превосходительство, я не дрался.

— Не дрался? А как же ты спас эту панну... как ее... Валигурскую из развалин баррикады?

— Ваше превосходительство... я... я... поневоле.

Ни один мускул не дрогнул на каменном, заостренном, как топор, лице наместника, только искорки в глазах показывали, что он смеется в душе.

— И что же ты сделал этой панне, что она с тех пор плачет и жалуется на тебя?

Калиновича снова мороз пробрал по спине.

— Ва... ва... ваше превосходительство, я ничего не знаю. Я перенес ее, когда она была в обмороке, на руках...

— Эге, перенес на руках! Славно перенес! Теперь девушка несчастна, плачет по тебе. Сейчас же ступай и успокой ее. А когда получишь от нее свидетельство, что у нее нет к тебе никаких претензий, тогда приходи сюда за резолюцией. Иначе и видеть тебя не желаю.

Как пьяный, вышел Калинович из наместничества. Что за новая напасть привязалась к нему? Чего хочет та панна? Что ему делать? Не думая, не соображая, что и куда, он как-то машинально очутился на Трибунальской и позвонил у знакомых дверей. Ян, не говоря ни слова, провел его к графине. Заикаясь и путаясь, Калинович рассказал ей, чего требует от него наместник.

— А вы в самом деле поступили нехорошо, не по-кавалерски,— строго и холодно сказала ему графиня.— Ведь вы с первого раза могли заметить, что панна Эмилия неравнодушна к вам, и все же столько времени не навещали ее, совсем забыли. Бедная девушка, как она наплакалась!

— Вельможная пани графиня! — воскликнул перепуганный Калинович.— Клянусь честью, я ничего не заметил. Да разве бы я смел!.. Я человек без положения, без рода... мне уже почти сорок лет... а панна Эмилия...

— А вот видите! Прошу, пройдемте!

Графиня повела Калиновича в гостиную, где за роялем сидела Эмилия, хотя и не играла.

— Милька! — сказала графиня.— Представь себе, твой пан кавалер ни о чем и не догадывался!

— Панна Эмилия,— произнес Калинович, подходя и целуя ей руку,— простите мою слепоту. Но на такое счастье я никогда не мог надеяться... не смел бы...

— Ну, ну, не нужно быть снова таким несмелым,— проговорила, усмехаясь, графиня.

— Вельможная пани графиня! — сказал Калинович, не выпуская руки панны Эмилии.— В эту радостную минуту не откажите быть нам, сиротам, матерью!

И они оба упали перед нею на колени.

— Боже вас благослови! — набожно промолвила графиня, кладя руки им на головы.

Не прошло и получаса, как Калинович снова возвратился в наместничество, на этот раз уже действительно пьяный — пьяный не только от двух бокалов вина, выпитых у графини по случаю своего обручения, но больше всего пьяный от счастья, которое так неожиданно свалилось на него. В кармане у него было письмо графини, которое он и вручил наместнику.

— Ну, вот и хорошо! — сказал наместник.— Поздравляю тебя с обручением, и прими от меня вот это!

И наместник подал Калиновичу серебряную табакерку, полную дукатов.

— Это тебе на обзаведение. А сразу после свадьбы получишь назначение на должность в бухгалтерию с жалованьем пятьдесят гульденов ежемесячно. И сейчас же после свадьбы прими присягу. А жалованье будет идти тебе с завтрашнего дня; завтра же начинается и служба.

Наместник махнул рукой — аудиенция была окончена.

Время от обручения до свадьбы было, конечно, счастливейшим в жизни Калиновича. Все его радовало: и надежда получить молодую, такую красивую, такую скромную женушку, и так неожиданно полученная, такая выгодная и высокая, по сравнению с прежней, должность, и служба в новой канцелярии, где к нему относились с уважением, зная, что он в милости у наместника и что наместник лично сделал ему подарок. Но после свадьбы все быстро переменилось.

В сущности, не все. Служебные отношения Калиновича оставались хорошими, наместник был доволен его работой и хвалил его точность и старательность. Но дома все пошло вверх дном. Вскоре после свадьбы оказалось, что Эмилия вовсе

и не думала плакать и грустить о нем, что всю эту историю выдумала графиня, которой обязательно захотелось выдать ее за него замуж и спровадить из дому. Брак был совсем неравный, и Эмилия вскоре дала понять Калиновичу, что он ей противен. Правда, она тянула супружескую лямку, так как ей некуда было деваться, но домашняя жизнь Калиновича шла плохо. Не поправили дело и дети, два мальчика, которых Калинович очень любил. Эмилия взяла их воспитание целиком в свои руки и почти не допускала его к ним. Она особенно ненавидела в нем его «русинство» и следила, чтобы оно, не дай бог, не привилось и к ее детям. После пяти лет такой жизни Калинович начал пить, а простудившись как-то зимой и подхватив горячку, он, уже больной, после какой-то домашней сцены неверными шагами направился в кабак, выпил там четыре кружки холодного пива и без чувств повалился на пол. Его принесли домой в беспамятстве. Врач, которого позвали милосердные соседи, только головой покачал. Эмилия не захотела и взглянуть на больного.

— Так тебе и надо, старый пес! — ворчала она.— Помирай скорее. Заел ты мою молодость, так не думай, что я стану грустить по тебе.

Калинович, придя на минуту в сознание, слышал эти слова. Он не сказал ничего, закусил губы, чтобы не застонать от боли, поворотился лицом к стене и умер.

Его сыновья выросли горячими польско-шляхетскими патриотами; о том, что их отец украинец, они и не слыхали никогда.

И сколько их, вольных и невольных героев, сошло так же на нет! Издавна привыкшие считать себя и все свое ничтожным, а бить поклоны перед чужим, они при первом мощном дуновении исторического ветра отрывались от своих, а у чужих, которым отдавали свои силы, свое сердце и жизнь, не находили ни признания, ни уважения, ни памяти. И потомство покрывает забвением их дела и могилы.

[*1904*]

КРЫЛО СОЙКИ

(Из записок нелюдима)

Завтра Новый год и заодно — сороковая годовщина моего рождения. Двойной праздник. Даже двойной памятный день. И я надумал встретить его необычно, празднично.

Ха, ха, ха! Празднично! Что такое праздничная встреча Нового года? Шумное общество, молодые женские голоса, как

серебряные колокольчики. Господа постарше гудят, как дубы под теплым ветром. Ярко освещенная гостиная. Звуки фортепьяно. Хоровое пение, соло... Декламация, возгласы «браво!», аплодисменты. Шутки. «Как засядем, братцы, всем застольем...» Подходит полночь. Бьет двенадцатый час. Все поднимают бокалы, выпивают залпом, а отец семейства швыряет свой об пол. Пусть так же пропадут всяческие заботы! Бреннь! И вдруг гаснет свет. Все затаили дыхание. Бам... бам... бам... Считают до двенадцати. С Новым годом! С новым счастьем! Света! Музыка. Пение. Новые бокалы, новые тосты. Поцелуи. Радостные рукопожатия... Дети, дети!

Да что говорить! И я там был, мед-пиво пил. Когда-то и я также встречал эту торжественную минуту, смеялся и радовался соблазну, именуемому Новым годом. И ко мне тянулись теплые руки, сверкали улыбкой глаза, не одни алые губы шептали сладкие слова. И я верил, мечтал, любил. Тонул душой в розовом тумане, строил золотые замки на песке, считал венцом жизни то, что было лишь заведомой ложью...

Все прошло. Сороковой год жизни, как и тридцать девятый, и тридцать восьмой, начну совсем по-иному. Нелюдимом, отшельником. Но на этот раз попытаюсь веселее, лучше, гармоничнее начать его, чем два прошедших года.

Прежде всего — к черту меланхолию!

Два прошедших года я еще был новичком в суровой школе одиночества. Еще не порвал всех нитей с прошлым и настоящим. Еще что-то влекло меня куда-то. В душе еще не умер малый ребенок, плачем зовущий свою маму. Теперь это закончилось. Старые счеты сведены, старые раны закрылись. Там, где когда-то бушевали волны, теперь тишь да гладь.

Нынешний праздник будет и первым триумфом моего нового мировоззрения, новой житейской нормы. А эта норма — старое горациевское: «Aequam servare mentem!» [1]

Без оптимизма, без излишних надежд, ведь оптимизм — это признак детской наивности, которая видит в жизни то, чего нет, и надеется на то, чего жизнь не может дать.

Без пессимизма, ибо пессимизм — это признак болезненного малодушия, это testimonium paupertatis [2], которое сам себе выдает человек.

Без излишнего равнодушия и без излишнего энтузиазма! Без излишнего упорства и жестокости в житейской борьбе, но

---

[1] Сохранять душевное равновесие! *(лат.)*

[2] Свидетельство о бедности *(лат.)*.

и без небрежности и расслабленности. Во всем разумно, осмотрительно, обдуманно и прежде всего спокойно, спокойно, как подобает сорокалетнему мужчине.

Глупец, кто на пороге своего сорокалетия не познал цену жизни, не сделался художником жизни!

Я прошел тяжелую школу и, кажется, кое-чему в ней научился. Я растерял много цветов на жизненной дороге, схоронил много иллюзий, но сберег драгоценный плод и вынес его изо всех катастроф, как Камоэнс свою эпопею из кораблекрушения, а именно — умение жить и наслаждаться жизнью.

Жить ради себя самого, с самим собою, в самом себе!

Жизнь — вот мое богатство, мое собственное, единственное, мельчайшей частицы которого, одной минутки не возместят мне все сокровища мира. Никто не вправе требовать от меня, чтобы я пожертвовал самой малой долей этого богатства, как и я не требую такой жертвы ни от кого.

Общество, государство, народ! Все это двойные цепи. Одно звено цепи выковано из грубого железа — насилия, а второе, параллельное ему, сплетено из мягкой паутины — заведомой лжи. Одно вяжет тело, второе — душу, и оба с одной целью — опутать, связать, обезличить и унизить высокое, свободное создание природы — человеческую личность.

Живет, реально живет, трудится, думает, страдает и борется, падает и торжествует только личность. И моя скромная личность пришла к тому, чтобы торжествовать после многих и чувствительных падений. Торжествовать не шумно, с тирсами и тимпанами, чтобы тревожить слух врагов и будить зависть завистников. Это триумф дикарей, недостойный культурного человека. Мое торжество — тихое и ясное, как погожий летний вечер. Мое торжество не знает врагов и не пробуждает ничьей зависти. Но оно — подлинно, глубоко и продолжительно. Не мгновенное, не результат бешеной борьбы и усилий. Это моя повседневная жизнь, но возведенная на высшую ступень, озаренная двойным солнцем, напоенная красотой и гармонией.

Я создал себе эту жизнь, как недоступную твердыню, в ней я живу и властвую, отсюда могу видеть весь мир, и, однако, она никому не мешает, никого не раздражает своим видом и никого не зовет на приступ. Эта твердыня воздвигнута в моей душе.

Мировые бури, запросы, страсти, как нечто далекое и постороннее, шумят надо мной, не достигая моей твердыни. Я плачу этому внешнему миру свою дань, посвящаю ему частицу своей жизни взамен тех материальных и духовных благ, какие нужны мне для поддержания моей внутренней жизни. Я служу в одной

конторе, занят работой, которая напрягает мой ум, но не затрагивает сердца. Я обхожусь со своим начальством и товарищами по конторе и с остальными знакомыми учтиво, даже дружески, но сдержанно. Все они уважают меня, но никто из них не допущен в мое «святая святых», никому я не открываю своей души, да, сказать по правде, никто из них и не выражает особенного желания заглянуть в мою душу. Таких излишне любопытных я умею быстро выставить за дверь.

И никто из тех, кто раскланивается со мной на улице, пожимает мне руку в кафе, советуется со мной в конторе, даже не догадывается, что у меня помимо этой условной, шаблонной жизни есть своя, другая, особая. Никто не подозревает в этом сухом формалисте и реалисте сибарита духа, художника, который ценит лишь одно искусство для искусства — умение жить.

Вот здесь, в этом уютном кабинете, обставленном хотя и небогато, но по моему вкусу, я сам себе господин. Здесь цель и поэзия моей жизни. Здесь я могу быть сегодня ребенком, завтра — героем, и всегда — самим собой. Со стен глядят на меня превосходные портреты великих мастеров в искусстве жизни: Гете, Эмерсона, Рескина. На полках стоят мои любимые книги в красивых переплетах. На подставке в углу мраморная копия старинной статуи — мальчик вытаскивает занозу из ноги, и всюду на столиках цветы — хризантемы, мои любимые хризантемы разных цветов и сортов. На письменном столе — портфель с моим дневником. А рядом столик, накрытый скатертью, украшенный цветами — ей-богу, сегодня не одни только листья барвинка, но и синенькие его цветы! Шутник мой Ивась, это он придумал для меня такой сюрприз. Знает, что я по этой части суеверен, верю, что цветы барвинка под Новый год приносят счастье.

Верю — скорее, не верю, а так только. Приятно раскачиваться в такой надежде, как в гамаке.

А на столике — вся холодная кухня. Яблоки, апельсины, инжир. И несколько бутылок вина. Только отборных марок. И два бокала! Ха, ха, ха! Проказник Ивась! Думал, что и она будет! Что без нее праздник не в праздник и Новый год — не Новый год! Ошибся парень! Прошло мое времечко. Теперь «она» уже не влечет меня к себе, какая бы раскрасавица ни была. Попробуем обойтись без нее. И думаю, что моя радость будет не меньше, а, во всяком случае, глубже, чище, чем с нею. А то кто ее разберет! Кажется, и хорошая девушка, и говоришь с нею, как с другом, и вдруг — на́ тебе, ни с того ни с сего с ее розовых губ слетит грубое словцо, циничный намек, а то и про-

сто по лицу ее промелькнет какая-то тень, что-то грязное, отталкивающее, и испортит тебе весь вечер, прогонит всю радость, развеет всю поэзию.

Со времени моей последней любовной истории, там, в доме лесника, тому три года назад, на меня порой находит странное чувство. Когда мне улыбается, говорит со мною, заигрывает молодая девушка, особенно брюнетка, мне все кажется, что кожа, и мускулы, и нервы на ее лице стали прозрачными и навстречу мне скалит зубы страшный череп мертвеца. В такие минуты меня всего прямо озноб пробирает. Неужели это признак старости или, быть может, нечто иное?

Ну, баста! Какой у меня нынче распорядок вечера? Я всегда намечаю заранее распорядок таких праздничных вечеров, с таким, однако, условием, что можно и вовсе не придерживаться его. Получаю двойное удовольствие: намечая пункт за пунктом, мысленно любуюсь каждым из них, а после, меняя их порядок, наслаждаюсь новыми комбинациями.

Первый пункт: увертюра Россини к «Вильгельму Теллю», в исполнении на фисгармонии. Мое любимое произведение — всегда настраивает меня на серьезный и вместе с тем бодрый тон. Потом посмотрим хризантемы, понюхаем гелиотропы и туберозы в гостиной — они, бедняжки, давно ждут меня и сегодня, как нарочно, раскрылись во всей красе. Потом выпьем и закусим. Потом проглядим новый номер «Neue deutsche Rundschau» [1], а именно статью Уайльда о Христе — что такой мастер стиля и такой болезненно-современный человек сказал нового на эту тему? Потом — да, а какой теперь час?

Семь часов! Ну, до двенадцати на все хватит времени. Еще просмотрим свежие иллюстрированные журналы — и «Jugend», и «Liberum veto» [2], и «Художественный вестник». Заботятся добрые люди о нас, грешных, чтобы мы не скучали. А если ничего не найдем в этом ворохе бумаги, то у нас и другое развлечение приготовлено на сегодня — целый набор новых валиков для фонографа с пением и речами разных знаменитостей. Послушаю, как с парламентской трибуны гремит Жорес, как в кругу друзей беседует Габриэль д'Аннунцио о необходимости распространять красоту в массах народных, как со сцены жжет словами Элеонора Дузе в роли Джиоконды и как щебечет в своем салоне Клео де Мерод. Правда, желательно было бы... Но нет, нет, нет! Ничего не желаю. Не надо ничего желать сверх того,

---

[1] «Новое немецкое обозрение» *(нем.)*.

[2] «Юность», «Право запрета» *(нем., лат.)*.

что здравый смысл считает достижимым. Нечего желать жареного льда. Пусть молокососы и фантазеры желают невозможного! Мои желания должны идти и пойдут рука об руку с возможностью выполнения.

Итак, затем часы начнут бить двенадцать, и тогда...

Дзинь-дзинь-дзинь!

Что такое? Звонок в квартиру? В такую пору? Ко мне? Этого не может быть! Ну, разумеется, я никого не принимаю. Кому дано право сегодня врываться ко мне, и нарушать мой порядок, и лишать меня моих тихих, честно заработанных и без ущерба для кого бы то ни было достигнутых радостей?

Тихие шаги в гостиной.

— Это ты, Ивась?

— Я.

— А кто там звонил?

— Почтальон. Письмо господину советнику.

— Мне?

* * *

Вот оно у меня в руках, это письмо. Не письмо, а объемистый пакет. Адрес надписан небрежно. Мое имя и фамилия — и Львов. Хорошо, что в городе нет никого больше с такой же фамилией, как моя. Правда, еще и «д-р» впереди. Но чувствуется, что пишет кто-то...

А что это такое? Русская марка и штемпель «Порт-Артур»! Из Порт-Артура? Что за диковина? Кто там, в Порт-Артуре, может интересоваться мною? Кому там, в Порт-Артуре, понадобилось сообщить мне что-нибудь? А может, это не мне? Может, это ошибка? Может быть, внутри — второй конверт и письмо, назначенное для передачи кому-нибудь другому?

Распечатать конверт и убедиться — было бы проще всего. Но нет. Пускай еще минутку полежит. Вот здесь, передо мной. Запечатанное письмо на твое имя, из неведомых мест, написанное неведомой тебе рукой,— это все-таки тайна, мистерия, загадка. Люблю такие загадки, ведь жизнь моя теперь лишена их. Моя жизнь — как прямая, широкая, удобная, красивыми деревьями обсаженная аллея, которая ведет...

Тьфу! Что это я? С какой стати сегодня вспоминать о том, что красуется в конце этой аллеи, в конце любой жизненной дороги, будь это прямая аллея или крутая, каменистая и ухабистая тропинка? Оставим это, нас оно не минует, а своей охотой лететь туда нет нужды.

Но письмо! Чем это оно так набито? Газетная корреспон-

денция, или дневник какого-нибудь полководца, или официальные донесения, или последняя воля какого-нибудь землячка, загнанного судьбой на самый край света и застигнутого там войной?

Адрес надписан, по-видимому, женской рукой, но это ничего не значит. Такие женские адреса скрывают порою весьма мужские цели.

Внутри что-то твердое. Бумага плотная, трудно прощупать, что там такое. Ключик не ключик, монета не монета... Ну, вскроем и посмотрим.

Где ножницы? А может, не вскрывать? Может быть, это письмо, которое теперь лежит еще так спокойно и соблазняет лишь своей таинственностью, будучи вскрыто, утратит все свои достоинства, станет ящиком Пандоры, откуда выползут змеи, которые отравят мою жизнь, разрушат мою твердыню, а самое меньшее — смутят и нарушат мой сегодняшний праздник? Такой огромный пакет — это ведь не просто чистая бумага. Сколько там слов написано! И подумай — иногда ведь достаточно слова, чтобы убить человека, чтобы навсегда или на долгие годы сделать его несчастным!

Я издавна боюсь всяких писем и сам не пишу их, разве что очень редко — официальные или деловые. Любое письмо — это бомба. Она может оказаться и шоколадной, но по внешнему виду разве распознаешь, не заряжена ли эта бомба мелинитом и не разорвет ли она тебя в следующую минуту. Моя рука дрожит! Какой-то холодок пробегает по всему телу...

Стоп! Это верный знак, что письмо содержит что-то роковое. Стоп! Не трогай его! Что, если я возьму и, не распечатав, брошу его в огонь? Оно сгорит и унесет все свои тайны в безмерный простор, назад, туда, откуда пришло. А я останусь с затаенным в душе чувством еще одной неразрешенной загадки — и все. Неразрешенная загадка тревожит, навевает грусть или печаль — все это чувства приятные. Разрешенная — может поранить или убить.

Ха, ха, ха! А я таки порядочный трус! Чувствую себя так уверенно в своей твердыне, за стенами своей философии, на башне своего одиночества — и боюсь этого бумажного гостя. Даже если это бомба, кинутая злобной рукой, то что она мне сделает? Лично меня не затронет, а никого постороннего, дорогого и милого мне не погубит, потому что таких, кажется, во всем свете у меня нет! А если так, то чего мне бояться ее?

Но отчего же дрожит моя рука, держащая ножницы? Отчего сердце сжимается в каком-то тревожном предчувствии?

Так и есть! Это какое-то роковое письмо! Помимо моей воли, каким-то механическим движением рука вскрыла его. Тоненькая полоска с края конверта отрезана. Загадка открыта — и если у тебя есть еще какой-то запас оружия против меня, судьба, если ты именно сегодня, под Новый год, с другого конца света, из далекого Порт-Артура навела на меня вражеские батареи, то стреляй! Поборемся!

Письмо вскрыто!

* * *

Письмо. Не корреспонденция. Нет особого конверта и никакой передачи. Значит — мне. Кто же это может писать? Отправлено из Порт-Артура в сентябре,— как раз четверть года прошло. Этот пакетик мог бы кое-что рассказать о том, как ему пришлось пробираться сквозь японскую блокаду. Но кто пишет?

Подпись «Твоя Сойка». Что это значит? Никакой Сойки — боже мой! И крыло сойки в письме!.. Да неужто? Неужто она, та, которую я вот уже три года считаю умершей? Та, чье внезапное и загадочное исчезновение свело в могилу ее отца, а меня выбросило из бурного потока общественной жизни и загнало в эту тихую, нелюдимую пристань? В последние дни нашей дружбы она любила называть себя сойкой и постоянно дразнила меня той сойкой, которая гнездилась над самым моим окном, пока она не убила ее. Неужели это крыло той самой сойки?..

Мои руки дрожат еще сильнее. Сердце еще сильнее бьется, голова кружится. Что ты, глупое сердце? Что с тобой? Неужели ты не оплакало, не похоронило ее? Неужели одно появление нескольких листков, исписанных ее рукой, одного засушенного крылышка давно убитой птицы может вывести тебя из равновесия?

Впрочем — есть еще выход. В огонь это письмо! От покойников писем не принимаю.

Дурень, дурень! Мелешь языком такое, чего не можешь исполнить! Разве ты смог бы вот теперь, сейчас, сжечь это письмо, ее рукой написанное, не прочитав его?

Это — рок! Я прочитаю письмо, хотя бы после этого сердце мое разорвалось от гнева, жалости или возмущения.

* * *

«Помнишь ли ты меня?

Ха, ха, ха! Ха, ха, ха!

Помнишь мой смех? Ты когда-то любил его слушать. Слышал его издалека и приходил ко мне. Слышишь ли ты его теперь, через океаны, и степи, и горы? Звенит ли он в твоих ушах

вместе с шумом ветра? Мерцает ли вместе с лучами закатного солнца? Ха, ха, ха! Ха, ха, ха!

Помнишь ли ты меня?

Помнишь ли ту весну, пурпурные зори, ее тепло и ясность, ее грозы, как ссоры влюбленных, ее громы, как крик любимых детей, резвящихся в просторной комнате? Это я была.

Помнишь ли тот лес, его поляны и чащи, его тропинки и межи, его порубки и молодые заросли, где стояли высокие цветы с печально поникшими головками, где на солнце играли тысячи стрекоз, а в воздухе звенели миллионы мушек, а в тени гнездились стаи голосистых пташек, а на полянах паслись ясноглазые серны, и всюду разлита была величественная гармония, и жизнь текла ровным, могучим ритмом, который передавался душам людским? Помнишь тот лес, мой родной лес, равного которому нет на свете? Это не был лес, это я была.

Помнишь ли ты меня?

Помнишь ли ты домик лесника в самой глубине этого леса? К нему сходились все лесные дороги, как артерии к сердцу, а из него во все края леса исходил и покой, и порядок, и сильная воля. А в нем текла тихая, уединенная жизнь старика отца и молодой девушки. Раздавался громкий, резкий, из золотого сердца плывущий голос мужчины и еще более громкий, звонкий смех и пение девушки-баловницы. Помнишь ее? Это я была.

Помнишь ли ты меня?

Помнишь ту поляну, где мы встретились впервые? Я была в зеленой охотничьей куртке, с двустволкой через плечо, со свежеподбитым глухарем в сумке, со свистком возле губ. Помнишь, как ты вытаращил глаза, увидав меня? А я расхохоталась, увидев твое удивление. Ты был в простой блузе, подпоясанной ремнем, бледный еще после недавнего сидения в тюрьме, с изможденным, усталым лицом, в широкополой шляпе, надвинутой на лоб. А услыхав мой хохот, ты сразу встрепенулся и снял шляпу, и подошел ближе, и начал извиняться, что без разрешения ходишь по лесу, но тебе советовали врачи... а ты только вчера приехал... и как раз собирался представиться отцу... и помнишь меня еще маленькой девочкой... и помнишь мою маму... и простите, что сперва был так удивлен вашим видом... не ожидал встретить вас таким Нимвродом. А я подала тебе руку, и ты поцеловал ее, и я чувствовала, как твои губы под черными усами трепещут и горят, и думала, что это у тебя лихорадка, и просила тебя проводить меня домой... А ты спросил, что я подстрелила, и я показала тебе глухаря, и ты удивился, откуда здесь взялся глухарь, и сказал, что провел в этом

лесу всю свою молодость, и не один раз ночевал здесь с лошадьми, и слонялся по лесу и утром, и вечером, и никогда не видел и не слышал глухаря. А я, смеясь, сказала, что это ради меня завелись здесь глухари, привлеченные моим смехом и моим свистом, и что я колдунья и прошу тебя беречься меня. Ха, ха, ха! Вспоминаешь теперь? Это я была!

О, я знаю, ты помнишь меня! Должен помнить! Невозможно, чтобы ты забыл меня! Ведь я собрала всю силу своей воли, весь огонь своей страсти, все чары своей души и тела, чтобы навеки, неизгладимыми буквами вписаться в твою память. Как хороший режиссер, я брала в помощь себе все, что было под рукой: солнце и лес, пурпур восхода, волшебство полудня и меланхолию вечера. Рассказы отца и шум леса. Рев бури и тихий шепоток дружеской беседы. Все, все это было аксессуарами, декорацией для моей роли, которую я хотела сыграть перед тобой, чтобы оставить в твоей душе неизгладимое, незабываемое, художественное впечатление, такое впечатление, где иллюзия ни на волосок не отличалась бы от самой поэтичной реальности. Ха, ха, ха, господин художник, благодарен ты мне за мою роль?»

* * *

Хватит читать! Этого достаточно!

Что ты, как ворона, дерешь глотку своим непрестанным: «а помнишь? а помнишь?» И сама знаешь, что помню. Но, пожалуй, не знаешь, как помню. Аккуратненько собрал все воспоминания, как прах покойника после кремации, сложил их в драгоценную мраморную урну и поставил в дальнем углу своего сердца. Пускай стоит, пускай будет украшением, а не помехой в жизни.

А ты из дальних краев протягиваешь свою бесовскую руку, возвышаешь свой вороний голос, вытаскиваешь эту урну из глубокого закоулка души, открываешь и перебираешь косточку за косточкой, одеваешь их плотью и кожей, наполняешь кровью и соками и насыщаешь своим огненным, бесовским дыханием. Да еще хохочешь, как дьяволица, и показываешь мне эти образы, и выкрикиваешь каждую минуту свое ненавистное: «Ты помнишь меня? Это я была!»

Женщина, демон! Чего тебе нужно от меня? Зачем ты принялась мучить меня? Разве я за всю свою жизнь причинил тебе какое-нибудь зло? Я отдал тебе все, что было лучшего в моей душе, без примеси хотя бы одного атома низкого, подлого, темного, а ты поиграла моими святынями и закинула их в грязь.

Я верил тебе, как себе самому, а ты говоришь, что только роль разыгрывала передо мной. Я вкладывал всю свою жизнь, всю свою душу в каждый свой взгляд, в каждое мое слово тебе, а ты хотела оставить во мне только незабываемое художественное впечатление!

Женщина, комедиантка, будь проклята! Все твои слова, и смех, и слезы — все комедия, все роль, все обман!

Но довольно! Я теперь expertus Robertus. Напрасно ты теперь играешь передо мной свою роль, ведь я знаю, какая ей цена и чего она стоит. Теперь я крепче защищен от твоих стрел. Теперь я и сам сижу за эстетической оградой, и она, как шлифованная сталь, отражает от себя все пули и гранаты фальшивых слов, и слез, и смеха.

Говори себе, пиши себе что хочешь! Я теперь смотрю на все глазами эстета, распознаю любой момент фальшивой игры. И там, где ты засмеешься, я равнодушно пожму плечами. И там, где ты заплачешь, я улыбнусь и скажу: «Нет, дитя! Это не так! Тут еще то-то и то-то нужно для достижения полной иллюзии». А там, где ты впадешь в пафос, я поморщусь и скажу: «Фи, это уж совсем дурной вкус!»

Говори себе! Пиши себе! А я еще почитаю.

* * *

«Не сердись на меня, мой Массино, не сердись на меня!

Помнишь, как я из украинского Фомы перекрестила тебя в итальянского Томассо, а после уменьшила в Томассино, а после сократила в Массино? И как ты тогда сердился на меня за то, что я за один час, между тремя сериями поцелуев и ласк, трижды перекрестила тебя?

Ты всегда сердился на меня. Твоя любовь проявлялась преимущественно в сердитости. Была как бы невольной, вынужденной уступкой перед твоим пророческим или апостольским достоинством.

Ха, ха, ха! Помнишь, каким пророком и апостолом ты явился мне? Ты не говорил, а благовещал, не кланялся, а снисходил? И это раздражало меня. И я втайне решила сбросить тебя с пьедестала — иронией, издевками, смехом, шутками. А когда эти средства не помогали, потому что твоя душа была защищена памятью о перенесенных страданиях, то я пустила в ход другие средства — сердечность, искренность и, наконец, последнее, самое могучее,— свою любовь. И ты не мог противиться ей, и я победила. А ты, чувствуя свое бессилие передо

мной, перед тем человеческим, мужским, что было в твоей натуре,— сердился на меня, на себя самого, ворчал — и плыл по течению. Ты помнишь все это, Массино мой?

Впрочем, не сердись, не сердись даже теперь, когда нас разлучила трехлетняя разлука. Не попрекай меня комедиантством! Не попрекай тем, что я играла роль перед тобой! Разве я могла иначе?

Ты любишь цветы, правда? А присматривался ли ты к ним когда-нибудь внимательно? Пробовал проникнуть в их душу, в их психологию? Ты ученый, вдумчивый человек, тебе следовало бы частенько делать это.

Неужели ты не знаешь, что цветение — это кокетство растения, что все эти розы, гелиотропы, хризантемы и туберозы только и делают, что кокетничают, играют роль, бьют на эффект — и лишь с одной целью. Ты знаешь, с какой. Они дразнят наше зрение своими пышными красками, щекочут наше осязание несравненной нежностью своих листочков и чашечек, тревожат наше обоняние многообразными и роскошными комбинациями ароматов, которых наш язык не в силах назвать, а наша наука — классифицировать. Но и этого им мало. Они не довольствуются нашими ощущениями, входят в нашу душу, глубоко затрагивают наше эстетическое чувство неслыханным богатством и разнообразием рисунка, грацией всего своего существа, привлекательностью и загадочностью своих движений. Ведь гелиотроп поворачивает свою головку вслед за солнцем! Ведь другие цветы стыдливо опускают свои чашечки днем, чтобы солнце не выпило из них ароматов, и раскрывают их только вечером. Вдумайся в их психологию, Массино, и упрекни их в том, что они играют роль, что они кокетничают, что красота их лжива. Разве они могут иначе?

И разве женщины могут иначе? То, что вам, более грубым, более тупым, кажется кокетством, комедией, это у них самое интимное, подсознательное проявление их натуры, это для них так же просто, и необходимо, и неизбежно, как дыхание легкими и хождение ногами.

Не сердись на меня, Массино мой! Я не виновата, что в моей жизни ты был тем жарким солнцем, которое заставляет цветок развиться, и распуститься, и раскрыть свою чашечку, и разлить свои самые драгоценные ароматы.

И признайся откровенно самому себе, разве ты не был тогда счастлив? Разве не была я цветущим оазисом в твоей жизни? Разве в нашем домике лесника ты не прожил самое лучшее лето из всех, какие вообще выпадали тебе на твоем веку?

Ты сам говорил мне это тогда. А теперь, после трех лет разлуки, что скажешь?

Осмелишься ли ты проклясть то лето за одно только, что оно миновало? А ты как же хотел? Чтобы лишь твое счастье явилось исключением из всего существующего и никогда не кончилось?

Осмелишься ли ты швырнуть в меня камень за то, что я бросила тебя? Эх, Массино, в таком случае камень попал бы в тебя самого. Не я бросила тебя, а ты не сумел удержать меня. Вот как, голубчик! В твоем распоряжении было шесть месяцев, и ты не сделал ничего для этого. Так неужели я виновата, что другой за шесть недель управился со мной лучше?

Это я, Массино, я была бы вправе упрекать тебя, проклинать тебя. Ведь признайся по совести самому себе: ты не верил в меня, в мою искренность, в мою любовь. Ты принимал мои ласки, все проявления моего взволнованного молодого чувства с пассивностью сибарита — пусть нежно, благодарно, но не выходя из-за ограды своего спокойствия, своего эгоизма. И я почувствовала это. Как было мне больно, ты этого не знал и не узнаешь никогда, ты, паршивый эгоист и сибарит! Вот и получай наказание! Я наказала тебя, и, если у тебя есть хоть кусочек человеческого сердца в груди, ты должен был почувствовать, что наказан, и должен был еще не так, не так почувствовать это!

И все же, Массино, не сердись на меня! Наказывая тебя, я пострадала в сотню, в тысячу раз сильнее, чем ты, и за мое страдание...»

* * *

Конец фразы смазан, буквы расплылись — это капля воды или слезы?

А быть может, она права? Быть может, в силу своего темперамента, своей крови, своей натуры она поступала так, как была должна, и не могла иначе?

Ха, ха, ха! Я, человек образованный, материалист и детерминист, и ставлю такой вопрос! Я верю, что в природе ни один атом не движется иначе, как в силу неизбежной необходимости, и я смею еще сомневаться, что человек может поступать не так, как должен? Не так, как заставляет его вечный, безошибочный, хотя в данном случае непомерно сложный параллелограмм сил!

Это только мы, глупые и тупые, не понимая законов этого сложного параллелограмма, не видя всех сил, слагающихся в конечный результат, болтаем о свободе воли, о злой воле или самостоятельности человека. И плачем, когда движение по диаго-

нали этого параллелограмма пройдет через наше глупое, слепое, эгоистическое сердце и поранит или хотя бы чувствительно ударит его.

Говорит, что она много выстрадала...

Говорит, что могла бы упрекнуть меня в том, что я не сделал ровно ничего, чтобы удержать ее, приковать ее к себе. Что я раскачивался в колыбельке сибаритства и эгоизма, пока она разливала передо мной драгоценные ароматы своей первой любви...

Это — гм — это... это такое, о чем не сегодня следует думать.

Это может отравить человеку не только канун Нового года, но даже радости рая.

Нет, хватит об этом думать. Человек не может доходить до конца в каждом случае, не то «i umrze i nie będzie umiał w to ugodzić» [1], как говорил некогда Кохановский.

А мы будем читать дальше! Может, там что-нибудь повеселее найдется.

* * *

«Посылаю тебе крыло сойки. Помнишь ту сойку, которая свила гнездо на сосне у самого окна того домика в лесу, в котором ты проводил лето?

По моей подсказке. Я хотела, чтобы ты был близко от меня.

Каждое утро я с ружьем за плечом прибегала к твоему домику, чтобы пожелать тебе в окно доброго утра. И всякий раз эта сойка, угнездившаяся на сосне перед самым окном своим стрекотаньем предупреждала тебя о моем приходе.

Я сразу полюбила ее. Она была как бы моей поверенной, моей служанкой. Ради нее я щадила всех соек в лесу, так как боялась, стреляя, подстрелить и ее.

Помнишь, как мы порою, обнявшись, молча сидели возле домика, в счастливом забытьи, и смотрели, как спокойно хозяйничает эта сойка в своем гнезде? Как она, вычистив гнездо, садилась в нем и тихими, умными глазами с любопытством смотрела на нас, презабавно выглядывая из-за края гнезда и поворачивая головку? Ее глаза оказывали на тебя какое-то магическое влияние. В такие минуты ты целовал жарче, прижимал меня к груди сильнее, и с твоих уст лились слова, которые были для меня как роса для увядшего цветка. В такие минуты мне казалось, что я заглядываю в твою душу, а сквозь нее в какой-то величественный мир, полный чудес и несказанной красоты.

[1] «Умрет, и то не сумеет туда попасть» *(польск.)*.

А потом я начала ревновать тебя к этой сойке. Тайком, в глубине души, я испытывала глухую зависть к ней. Мне казалось, что ты не меня любил, а ее. Ее веселая стрекотня будила тебя по утрам; ее тихая возня в гнезде оживляла тебя; ее любопытный взгляд наполнял тебя чарами, окрыляя твои слова. И я возненавидела ее, как свою соперницу.

Не смейся надо мной, Массино! Это правда. Постепенно я дошла до того, что голос сойки — не только этой, а любой вообще — портил мне настроение, делал меня злой и сердитой. Я чувствовала, что не смогу терпеть ее возле себя.

И я убила ее.

Однажды утром я пришла раньше обычного. Хотела подойти так тихо, чтобы эта ненавистная сойка не услышала меня, чтобы мой, а не ее голос разбудил тебя. Но нет! Едва я показалась в каких-нибудь пятидесяти шагах от твоего дома, едва мое зеленое платье появилось на тропинке среди серых дубовых пней, как уже моя соперница почуяла мой приход, увидела меня, выскочила из гнезда и, прыгая по ветке над самым твоим окном и злорадно — так мне казалось — трепеща крыльями, заверещала своим хриплым голосом:

— Кре, кре, кре, кре, кре!

И в эту минуту я увидела, как твоя рука изнутри открывает окно. Она разбудила тебя, а не я!

Нет, я не могла стерпеть этого! Я прошла между сосенками за угол твоего домика, вскинула ружье и, пока ненавистная сойка все еще стрекотала, сидя на ветке, прицелилась.

Грянул выстрел, посыпались перышки, и моя соперница, еще трепеща крыльями и лапками, как комочек скатилась вниз.

Ты выбежал из дому. Бледный как смерть. Увидев меня, ты не улыбнулся, не протянул ко мне, как обычно, обе руки, только с каким-то укором в голосе спросил:

— Манюся, что такое? Ты убила нашу сойку?

А у меня в момент выстрела уже наступила реакция в душе. Мои руки дрожали. Я схватила мертвую птичку и принялась целовать ее окровавленную головку. Потом расплакалась.

Помнишь, как ты стирал кровь сойки с моих губ, и целовал меня, и утешал? А все-таки не узнал, за что я убила сойку.

А в обед мы зажарили ее и съели. И смеялись. Помнишь? Но я тогда уже знала, что не быть нам вместе, что эта сойка — наша разлучница.

Я спрятала ее крылышки, положила их между страницами своего молитвенника и не расставалась с ними никогда. Вместе со мной они приехали даже сюда, в Порт-Артур.

А теперь посылаю тебе одно из них. Мне кажется, это летит к тебе половина моей души. А когда одна половина долетит, то уж от тебя будет зависеть, прилетит ли и вторая. Если в твоем сердце сохранилась еще хоть искра любви ко мне, хоть капелька желания увидеть меня, это будет той силой, которая привлечет и второе крыло, вторую половину моей души к тебе.

Лети же, сойка, в далекий мир! К тому, кто любил слушать твою стрекотню, любил глядеть на тебя! Затрепещи этим крылом над его душой и раздуй то, что еще тлеет там под пеплом равнодушия и разочарования! Навей на него сладкие грезы, милые воспоминания! Расшевели его сердце, чтобы забилось невыразимой тоской, зажги в его глазах блестящие искры, чтобы горели, как дорогие бриллианты, и потом угаси их слезами, как жемчугами и хрусталем!

А когда он, взволнованный, спросит тебя: «Где же ты бывала? Что же ты слыхала?» — тогда молчи! молчи!»

* * *

Впадаете в сентиментальность, сударыня! Она вредит вам. Поэтические выражения и слезоточивые фразы вам не к лицу.

Этой писанины еще толстая пачка. Уже восемь пробило. Если и дальше одно и то же, то становится скучновато. Не стоило и заниматься таким пустословием.

Все это, если сказать вам по правде, панна Маня, ни капельки не трогает меня. Все это одни слова, фразы. Подлинного чувства тут нет, вот что. А я слишком старый воробей, чтобы попасться на мякине.

Ваша история с сойкой тут совсем неуместна. И какую-то мистику с этим крылом вы некстати приплели. Это к лицу малым детям да старым бабкам, а не нам с вами, панна Маня.

Почитаю еще немного. Если и там то же самое, брошу. Не стану дочитывать. Или отложу на завтра, или теперь же кину в огонь. Не интересно. Вставлю лучше валики в фонограф, послушаю Габриэля д'Аннунцио, или Дузе, или красотку Клео. Это будет повеселее, чем нудная сентиментальная болтовня авантюристки из Порт-Артура! Ну, что она там дальше пишет?

«Я знаю, Массино, ты не любишь сентиментальности. И тебе уже надоела эта бессодержательная болтовня. И ты спрашиваешь себя: чего она хочет? Зачем пристает? Неужели намерена без конца забивать мне голову своей шарманкой: а помнишь? а знаешь?»

* * *

Это черт, а не женщина! Чувствую, что она, пишучи это, как бы разговаривала мысленно со мной и, слагая свои фразы, одновременно своими глазами ящерицы следила за каждым движением моей души. Вела со мной неслышный диалог и теперь отвечает на каждый отголосок, возникающий в моей душе.

Allen Respekt! [1] Это тоже талант. А может быть, какая-нибудь другая сила? А может быть, только привычка, виртуозность? Ну, почитаем дальше, посмотрим, умеет ли она говорить и в другом тоне, потому что на этом, как видно, закончились ее рассуждения.

* * *

«Итак, начну о другом. Начну о том, чего ты меньше всего ожидаешь.

Знаешь? Я возвращаюсь к тебе. Как только я освобожусь, как только провожу в могилу своего мужа, возвращаюсь к тебе.

Не думай, что я бессердечна, что я спекулирую смертью своего мужа. О нет, я верна ему так, как была верна всем его предшественникам. Но ему недолго осталось жить. В последнем штурме ему ядром оторвало обе ноги, и теперь он безнадежен, лежит и умирает уже вторую неделю.

Я сижу возле него. Вместо сестры милосердия. Дни и ночи ухаживаю за ним. А в свободные минуты пишу тебе это письмо. Когда тоска слишком сдавит сердце, я хоть на бумаге улыбаюсь тебе. Когда жестокая действительность клещами хватает за душу, я вспоминаю свое прошлое, свою молодость, свое счастье и тебя, неотлучно тебя, Массино мой.

И я вернусь к тебе. Только умрет Николай Федорович,— а он неизбежно умрет, не сегодня, так завтра,— я тотчас прочь из этого ада. Сажусь на первую попавшуюся китайскую джонку и темной ночью, в сопровождении хоть китайцев, хоть самих чертей, пускаюсь в море и плыву, лечу, мчусь — хоть на дно моря, хоть к тебе, Массино мой!

Я не рассчитываю ни на что, не жду от тебя ничего, не хочу завоевывать тебя для себя. Мне все равно, примешь ли ты меня, поздороваешься или оттолкнешь. Все равно. Я хочу только увидеть тебя, еще раз пожать твою руку. А потом — все равно.

Видишь, какая я фантазерка! Ты сказал бы: глупая сойка! По крайней мере, в этом смысле я не изменилась за те три года, что мы не видались.

Николай Федорович застонал. Спешу к нему!..»

---

[1] С совершенным почтением! *(нем.)*

* * *

«Ты веришь в силу исповеди?

Когда-то в детстве я была очень набожна. Моя мама была набожна и меня воспитывала в этом духе. И я испытывала дивное облегчение в молитве и дивное наслаждение в исповеди.

После пришла веселая, вольнодумная молодость. Отец был свободомыслящим и своими шутками, остротами, а потом и доводами развеял мою детскую веру.

А после пришла буря, она подхватила меня, как листок, оторвавшийся от ветки, и покатила вдаль, пока не занесла сюда, на край света. И все это время, как ни бывало мне порою больно, тяжело, страшно, я не молилась, не исповедовалась. И не чувствовала нужды в этом. Сердце запеклось и ни разу не смягчилось.

Но теперь... Ночь. Тихо, ясно. Запахи осени вливаются в раскрытое окно вместе с теплом ночи. Вдали шумит море, а по его волнам пляшут роями маленькие светлячки и время от времени передвигаются огромные столпы света — это прожекторы следят, не подкрадывается ли японец. Мой больной спит тяжелым, полумертвым сном. Над ним плачет тень его далекой матери. Я свободна. В этой же комнатке, отделенной только занавеской от его постели, сижу при свете лампы и пишу.

Беседую с тобой, Массино мой. Прижимаюсь к тебе, как бедная, несчастная сиротка, которая приплелась издалека, вся исстрадавшаяся от множества перенесенных мук! Прижимаюсь к тебе, и мне как-то легко становится на душе. Ощущаю присутствие какой-то высшей, доброй силы над собой.

Помнишь чудесную главу в Библии: по степи прошла буря, но в буре не было Иеговы. Грохотал гром, но в громе не было Иеговы. Свистел ветер, но в ветре не было Иеговы. Земля тряслась, но и в землетрясении не было Иеговы. Но когда прояснилось, и засияло солнце, и повеял теплый ветерок над цветами — в дуновении этого ветерка и был Иегова.

Вот так и я теперь, в одну из редких для меня минут тишины и покоя, ощущаю нечто подобное этому мистическому тихому ветру. Душа раскрывается, как цветок, который в бурю свернул было свои лепестки.

Чувствую, что нужно исповедаться. Поделиться с кем-нибудь всеми своими похождениями, всеми своими преступлениями, всем своим страданием.

Массино, любимый мой, единственный на свете, кого я по-настоящему и беззаветно любила и до сих пор люблю, прошу тебя, выслушай мою исповедь!

Не прошу у тебя милосердия себе. Не прошу у тебя отпущения моих грехов. Ничего не прошу, только выслушай мою исповедь. А потом суди или не суди меня, как знаешь!»

* * *

Femina — animal clericale [1]. Кто-то сказал это?

И не ошибся. Женщина живет чувством и, как гелиотроп к солнцу, всегда поворачивается к тем, кто умеет лучше играть на струнах чувства. А это, разумеется, прежде всего черные сутаны.

Мистерии, загадки, церковные таинства — вот их стихия. Это неотразимая потребность их природы.

Если бы у людей не было веры в чудеса, женщины создали бы ее.

Разве не с женщиной произошло первое чудо? С нею заговорил змей.

Если бы не было церкви с ее таинствами, женщины создали бы ее. Недаром в раннем христианстве роль женщины так значительна, как не была в первоосновах ни одной другой религии.

Когда общество начнет освобождаться от клерикализма, женщины силой своей чувствительной натуры опять затащат его в сумрак исповедальни. Недаром дочери Дюма, воспитанные в духе атеизма, став старше, поступили в монастырь.

Как глупы наши прогрессисты и радикалы, разглагольствующие о необходимости равноправия и равного образования женщин с мужчинами! Как будто бы это возможно! Как будто бы это нужно! Как будто бы это кому-то на пользу!

Дай им сегодня равноправие в государстве, они сделаются нерушимой опорой всех отсталых, реакционных, клерикальных и бюрократических направлений.

Дай им равноправие, когда для них любое просвещение, любая наука — только особый сорт туалета, спорт, средство приманить подходящих женихов.

Конечно, бывают исключения. Исключениям — полная свобода. Но тащить поголовно всех женщин, а особенно сытых, элегантно одетых и надушенных, в высшую науку — это сплошная потеря времени и средств.

Ну, полно! Что это я в антифеминизм вдался? Послушали бы меня наши фанатики прогресса, вот бы мне досталось! Чело-

[1] Женщина — существо клерикальное *(лат.)*.

век меньше всего понимает шутки в таких вещах, которые он меньше всего понимает.

А мы все-таки послушаем исповедь нашей сойки из Порт-Артура!

* * *

«Ах, та сцена, та сцена, последняя сцена нашей совместной жизни!

Помнишь ее, Массино? У меня она до сих пор жива в памяти.

Отец уехал во Львов и должен был возвратиться поздно ночью. Ты после целого дня работы над какой-то книжкой в своей лесной избушке под вечер пришел к нам. Мы пили чай — я, ты и пан Генрих, молодой папин практикант, принятый за месяц до того.

Помнишь его? Парень лет двадцати шести, румяный, нежный, как барышня. Он мало говорил в обществе... Краснел при каждом намеке на любовь и на женщин. Так усердно трудился в папиной канцелярии. Был такой тихий, послушный, такой деликатный и вежливый... Помнишь его, Массино?

О, я думаю, что хорошо помнишь и будешь помнить до самой смерти.

Мы пили чай на веранде. Пробовали свежее смородиновое варенье, которое я сварила в тот день. Ты очень любил его, а пан Геприх не терпел запаха смородины. А я положила ему варенья в чай. Он залился краской и, поблагодарив, отодвинул стакан. А ты молча взял его стакан и подал ему свой с чистым чаем. А я хохотала, хохотала как сумасшедшая.

О, я много смеялась в тот вечер, очень много. Слишком много.

Я знала, почему смеюсь, но не знала, что это последний мой смех. Не знала, что придет после. Ты рассказывал о том, как утром собирал грибы. Потом о своем разговоре с крестьянином, которого ты повстречал в лесу. Потом перешел вообще на положение крестьян, на отношение к ним управления казенными имениями. Ты развивал передо мной свой излюбленный план передачи казенных имений местному самоуправлению, устройства на этих землях свободных крестьянских кооперативов с участием в них крестьян и интеллигентов, постепенного выкупа помещичьих земель и распределения их между кооперативами, постепенной разбивки нынешних сел на группы хуторов, входящих в такие кооперативы. Иной раз я так любила послушать о твоих реформаторских планах. Ты еще и теперь носишься с ними?

Но тогда мне было не до кооперации, и не до хуторов, и не до грибов, и не до штрафов за порубку леса. У меня перед глазами мерцали, искрились, играли волшебным блеском другие, широкие, чудесные миры. Миры, о которых тебе и не снилось, бедный мой Массино. Миры, полные невыразимых наслаждений, сплошной свободы, пылкой любви. Я уже несколько дней носила их в своем сердце, лелеяла и берегла, как самую заветную святыню, и остерегалась, всячески остерегалась, чтобы не выдать тебе это свое сокровище. Чтобы даже блеском глаз не выдать тебе то, что пылало, сияло и искрилось в моей душе.

Я напустила на себя серьезный вид и начала расспрашивать тебя, как же ты думаешь осуществить передачу казенных имений местному самоуправлению? А ты начал толковать мне о необходимости агитации среди народных масс, об организации большой народной партии, о борьбе за избирательную реформу. А мне, когда я слушала твои рацеи, было так смешно, так смешно!..

Ты весь мыслями и душой парил в будущем, в общественном деле, в служении массам, а не знал, что творится здесь, рядом с тобой.

Твои глаза покоились на мне с такой уверенностью, с такой любовью и верой, а мне было смешно, смешно, что ты так слеп, так добр, так детски легковерен!

Генрих посидел немного и сказал, что ему надо идти запрягать лошадей, потому что еще сегодня он должен съездить в соседнее село, передать какие-то распоряжения тамошнему лесничему. Выходя, он даже не взглянул на меня.

Мы остались вдвоем. Я задумалась. Мы молчали минуту. Лес вокруг нашего дома понемногу погружался во мрак. Сова закричала на дуплистом дубе, и ты встрепенулся.

— Хорошая птица,— сказал ты, помолчав,— а когда так закричит, отчего-то на душе нехорошо становится.

— Точно что-то живое умирает,— добавила я, и мне тоже стало как-то не по себе при этих словах.

— Точно какой-то демон насмехается над людской верой, над людскими надеждами.

— И над людской любовью,— добавила я сентиментально.

А мне было так смешно, так смешно!..

— И знает человек,— заговорил ты после паузы, когда сова откликнулась еще раз,— что ведь это ни в чем не повинная, ни к каким дьявольским штукам не причастная птичка, и все же ее голос производит такой эффект. Чисто театральный эффект. Искусство для искусства.

— А ты уверен, что за этим искусством не скрывается какая-нибудь тенденция? — спросила я.

— Какая же тут может быть тенденция?

— Ну, а может, и вправду какой-нибудь злой демон в эту минуту смеется над нами?

— Ха, ха, ха! — засмеялся ты.— Над нами? Чем же мы его рассмешили?

— Нашей любовью. Может быть, он завидует ей.

— Гм... на демона это похоже. Но у нас есть крепкий щит против его стрел.

— Какой?

— Наша любовь. Ее сила... Ее искренность. Прямота, которая не допускает ни малейшей тени между нами.

Ты сказал это с такой детской доверчивостью, с такой уверенностью, что у меня даже не хватило духу подразнить тебя. Я зажала тебе рот горячим поцелуем.

— И ты, Массино, так веришь мне? — спросила я.

— Неужели можно не верить тебе? Не верить вот этому?..

И ты привлек меня к себе и целовал меня в губы.

В эту минуту зазвенел колокольчик возле нашей конюшни.

— Это Генрих собрался куда-то ехать,— сказала я небрежно.

— Пускай себе едет. Ночь светлая,— сказал ты, держа меня в своих объятиях.

Застучали копытами лошади. Загремела бричка. Скрипнули ворота. Я еще раз горячо поцеловала тебя и легонько выскользнула из твоих объятий.

— Минутку, Массино! Я сейчас вернусь.

И я выбежала с веранды в гостиную, оттуда в свою комнату и тут едва не повалилась на постель. Меня душил бешеный смех. Я залилась пьяным, безумным хохотом.

— Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! Минутку, Массино! Я сейчас вернусь. Ха, ха, ха!

Долго ли ты ждал?

Эта минутка несколько затянулась, мой бедный, глупый, недогадливый Массино! С этой минутки мы больше не видались».

* * *

«Мой бедный, глупый, недогадливый Массино!»

А ты-то, богатая, мудрая, догадливая Мария, большого счастья добилась? Ведь ты обливаешь слезами эти листки!

Ты, как живая, стоишь передо мной, в эту последнюю

минуту нашего свидания. Веранда густо обросла диким виноградом. В одном углу простой дощатый столик. На нем лампа. Ты сидишь в кресле с одной стороны, я с другой. Генрих только что вышел. Ты смеешься ему вслед.

— Манюся,— говорю я.— Тебе сегодня очень весело.

— Да, очень весело, очень весело! Ха, ха, ха!

— А нельзя узнать, отчего тебе так весело?

— Должно быть, перед слезами.

— Что ты, милая! Откуда могут быть слезы, птичка моя? И я беру твою руку и пожимаю ее.

Ты встаешь и подходишь ко мне. Тихонько вынимаешь свою руку из моей, кладешь обе руки мне на плечи и серьезно, тихо смотришь мне в лицо.

Я и сейчас вижу, как ты стоишь передо мной. На тебе платье из тонкого перкаля, красное в белый горошек. На шее золотая брошка с опалом. В волосах металлический гребень. Стоишь, нагнувшись надо мной. Я смотрю на твою грудь, слегка волнующуюся под платьем. Потом перевожу взгляд на твое лицо. Твои губы слегка вздрагивают.

— Любишь меня, Массино? — спрашиваешь ты тихо.

— Дитя мое, ведь ты знаешь, как я люблю тебя!

Я беру одну твою руку и прижимаю ее к губам. Ты тихонько отнимаешь ее и снова кладешь мне на плечо. Что-то, похожее на подавленный вздох, наполняет твою грудь. А я сижу и любуюсь тобой.

— Ты любишь меня, Массино? — после минутной паузы снова спрашиваешь ты.

— Манюся моя!

И я обнимаю рукой твою талию и привлекаю тебя к себе, не вставая с места. Ты вся начинаешь трепетать. Твое дыхание ускоряется, руки дрожат на моих плечах.

— Да неужели это правда, Массино? — спрашиваешь ты.— Неужели ты любишь меня?

— Как же доказать тебе это?

— Как доказать? — медленно, как бы разочарованно, повторяешь ты, и твой взгляд уносится куда-то далеко поверх моей головы.— Как доказать? Откуда я знаю?

— Счастье — это факт, не требующий доказательства,— проговорил я, не отпуская тебя.— Я счастлив.

— Ты счастлив,— повторила ты как-то бездушно, точно эхо. А потом, обратив ко мне взгляд, в котором вдруг зажглись какие-то загадочные искры, ты спросила:

— А что такое счастье?

Я смотрел на тебя. Мне было так приятно смотреть на тебя, упиваться твоею красотой. Это было мое счастье. Вдаваться в такую минуту в философские определения счастья — было бы грубой профанацией. Ты первая прервала эту минуту своим смехом. Со двора донесся звук колокольчика.

Ты выбежала, чтобы не возвращаться больше. А я сидел на веранде, курил папироску, пускал тонкими клубками дым и плавал в розовых волнах наслаждения, ожидая тебя.

Дурень, дурень! Ослепленный, эгоистичный дурень! Как же я мог не понять тебя тогда? Как мое глупое сердце не вспыхнуло, как мои уста не вскрикнули, как мои руки, мои зубы не впились в тебя?

Ведь я знаю, понимаю теперь, что эта минута решила мою участь. Что в эту минуту я потерял тебя.

О, я дурак! О, я ослепленный эгоист! Эстет убил во мне живого человека, а я еще и горжусь своим трупом!

Маня, Маня, простишь ли ты мне непростимый грех этой минуты?

* * *

«Помнишь ты платье, в котором я была в тот вечер? Красное в белый горошек. Оно до сих пор со мной. Я берегу его как святыню, как самую драгоценную памятку.

Оно мне напоминает последние минуты, проведенные с тобой. Бывает так, что, глядя сама на себя, вспоминая свои похождения, я начинаю сомневаться, я ли это или, может быть, моя душа вошла в какое-то другое, чужое тело. В такие минуты это платье — живое доказательство моего тождества.

Я целую его и омываю слезами. А знаешь почему? У меня возникла и гвоздем сидит в голове мысль, что именно в этом платье я должна снова появиться перед тобой.

Вот почему я берегу его как святыню. Оно для меня — живая порука лучшего будущего.

Бедные мы создания с нашими святынями! Клочок старого полотна, засушенное крыло давно убитой птицы, давно засохший цветок, старая книга на давно забытом языке — а смотри-ка!

Прикипит наше сердце к такой вот бездушной вещи, построит на нем наше воображение все самое лучшее и самое страшное, что есть в нашей природе,— и мы носимся с этой вещью, бережем ее, страдаем, и боремся, и умираем за нее!

А глянуть со стороны нечуткими глазами и неверящим сердцем — только засмеешься или плюнешь и отвернешься!»

* * *

«Как я смеялась, как я смеялась, садясь в бричку рядом с Генрихом!

Звонок колокольчика — это был наш условный сигнал. Я еще днем уложила свои вещи и тайком передала ему. Он держал их у себя в бричке.

В своей комнате я только написала записку отцу: «Папочка! Уезжаю на два дня к тетке в Городок. Она очень звала. Не беспокойся обо мне». Положила ему на стол и вышла. Ни облачка сожаления не было в душе.

О, позже, гораздо позже пришло оно, но уже не облачком, а настоящей осенней тучей, которая перешла в трехдневную — что я говорю! — в трехлетнюю непогоду.

Как я смеялась, уезжая из родного дома! Сердце так и прыгало, в груди трепетало что-то как пташка, которая рвется из клетки. Я пылко обнимала Генриха, а у него обе руки были заняты — в одной держал вожжи, в другой кнут. Я сжимала его, целовала, грызла от радости его плечо, чуть ли не кусала его девически-невинное лицо.

Ох, если бы я знала в эту минуту то, о чем узнала немного позже! Ох, если бы я знала!

Мы приехали в Городок в одиннадцать часов вечера. Самое время было. Я сразу кинулась к знакомому еврею, у которого обычно останавливались на ночлег люди из нашего села. Сказала еврею, что приехала одна (уже не раз так приезжала) и пробуду два дня у тетки. Не ночует ли у него кто-нибудь из нашего села, кто отвел бы лошадей и бричку назад к отцу? Конечно, тут же нашелся такой человек из нашего села. Я написала отцу еще одну записку и передала с тем человеком. Дала ему крону. Обрадовался бедняга, ведь ему предстояло завтра идти пешком три мили и терять рабочий день. Пообещал, что как только покормит лошадей, сейчас же поедет домой, чтобы к утру быть на месте. Уладив все, я побежала на железнодорожную станцию.

Только-только успели. Уже дали сигнал, что поезд вышел из Каменоброда. Еще минута, другая — и мы вдвоем с Генрихом сидели в отдельном купе второго класса и на всех парах мчались в Краков.

Между нами все было договорено. У Генриха в Кракове родители. Отец его — зажиточный купец, видный краковский обыватель, только что купил село с изрядным участком леса, оттого и сына отправил на практику к лесничему. Отец хочет передать ему это село и будет очень рад увидеть сына заодно и женатым. Мы справим свадьбу в Марианском костеле и через

несколько дней — к себе в село! Чудесные места на Подгорье. Устроимся на новом месте и сейчас же перевезем к нам папу. Ой, как хорошо будет!

Генрих умышленно не хотел ничего говорить заранее отцу. Мы знали, что папа не будет противиться моей воле, а увидев меня счастливой с Генрихом, и сам будет счастлив. Вот такие планы строили мы до самого Кракова, пересыпая их пылкими поцелуями, ласками, смехом и серьезными разговорами.

Генрих умел рассказывать забавные анекдоты и, чуть только замечал облачко задумчивости на моем лице, сразу же заводил какой-нибудь веселый рассказ, чтобы рассмешить меня.

В Кракове нас встретила первая неожиданность. На вокзале ожидал нас пан Зигмунт — Генрих сказал, что это мажордом его отца. Что это за должность, я не могла понять, да и не до того мне было. Это был рослый, сильный мужчина, плечистый, как медведь, с огромной черной бородой, с маленькими сверкающими глазками, с мрачным лицом, от которого веяло каким-то холодом и страхом. Я сразу же почувствовала к нему антипатию. Но Генрих поздоровался с ним как с хорошим, близким знакомым и долго беседовал с ним о чем-то. Я сидела в ресторане и завтракала. Потом ко мне пришел Генрих и сказал, что его родители выехали в Варшаву и велят нам сейчас же ехать туда. Там у них большая семья, и там состоится наша свадьба. Переждем только этот день в Кракове, в гостинице, потому что их собственный дом нанял на несколько месяцев граф Стенжицкий для каких-то заграничных гостей. Все это сообщил ему пан Зигмунт. Ко мне он не подходил, заметив, должно быть, что я посмотрела на него, как на собаку. «А к вечеру,— продолжал Генрих, целуя мне руку,— поедем дальше. Пан Зигмунт выхлопочет нам паспорта, и завтра мы будем у наших в Варшаве».

Несмотря на усталость, я была так счастлива и весела, что даже не стала вдаваться в подробности всего этого. Я отдалась Генриху в разгаре своей страсти, и мне безразлично было, где справлять свадьбу, в Кракове или в Варшаве. Мы поехали в гостиницу.

Я легла спать. Генрих куда-то ушел. Пришел только к обеду. Пообедали, понежились, и Генрих снова ушел куда-то. Сказал, что ему нужно еще устроить кое-какие дела. Вернулся вечером. Наши паспорта были уже готовы, вернее, один для него «с супругой». Я кинулась ему на шею и начала страстно целовать его, увидев уже официально утвержденный этот свой титул. Мы расплатились в гостинице, поехали на вокзал и через четверть часа мчались скорым поездом в Варшаву».

* * *

Генрих, Генрих! Что-то я позабыл его. Так себе, молокосос. Не любил прямо глядеть в глаза. И кто бы подумал, что он...

А, правда! Старик лесничий ездил с дочерью во Львов. Два дня гостили там. Вернулись втроем, привезли этого Генриха. Старик очень радовался, что нашел такого хорошего практиканта. Парень хоть куда. Из очень хорошего дома. Закончил лесную школу. Аттестации отличные. Не торговался за жалованье, говорил, что получает кое-какую помощь из дому, а ему нужна только практика.

Да, хорошо попрактиковался!

Старик любил его, как своего сына. Держал у себя в доме. Водил с собою по лесу. Кажется, ничего от него не скрывал.

Любопытно, что, когда пропала дочь, и целую неделю по ее отъезде от нее не было вестей, и тетка из Городка ответила на запрос, что Манюси вовсе у нее не было, и никакие розыски через полицию и жандармерию ничего не дали, никаких следов, кроме того, что Манюся и Генрих вместе уехали в Краков, и когда оказалось, что у Генриха в Кракове не было никакой родни и никто его не знает,— когда обнаружилось все это, старик, казалось, совсем забыл о Генрихе, тосковал по дочери, но не делал никаких дальнейших попыток найти ее, а вскоре и совсем замолк, перестал говорить и встречаться с людьми, пока в начале зимы не упокоился в могиле.

Ну, ну, интересно, как-то проявит себя этот Генрих.

* * *

«Веришь ли ты в сны, Массино?

Снилось ли тебе когда-нибудь, будто ты чего-то испугался и убегаешь? А за тобой погоня. Какие-то враги, какие-то бешеные собаки, какие-то дикие звери. Гонятся изо всех сил, с разных сторон. Ты бежишь что есть мочи, скорее, скорее, а они за тобой. А с боков все новые. Вот и спереди забегают. Ты отскакиваешь в сторону и снова бежишь. Полетел бы, но у тебя ноги слабеют, становятся свинцовыми. Как будто что-то хватается за них. Ты падаешь, а под тобой земля проваливается. Ты летишь, летишь вниз и все еще слышишь за собой погоню. Секунда, вторая, третья, каждая, как вечность, и страшная, как сам ад. Ты ждешь, что вот-вот разобьешься о камень,— и просыпаешься. Ты весь мокрый от пота, сердце стучит, дыхание перехватило,

ты весь дрожишь и не знаешь, что это было минуту назад — сон или явь?

Переживал ли ты когда-нибудь такой сон, Массино? А теперь представь себе, что такой сон со всеми его ужасами я переживаю вот уже три года. Не секунды, а недели, месяцы, годы. И каждый час может убить живую душу.

А я живу и, как говорят мои поклонники, выгляжу недурно.

Я давно отупела от всех ужасов своей жизни. Я разучилась плакать, разучилась жаловаться, разучилась бояться чего-нибудь. В минуты недолгих раздумий у меня всегда было такое чувство, будто я несусь, как былинка, по ветру и лечу куда-то, лечу в какую-то бездну, сама не зная, что там на дне и далеко ли это дно.

Ничего не пожалела для меня судьба за эти три года. Ни разочарований, ни позора, ни богатства, ни бедности. А в последние месяцы уже здесь, в Порт-Артуре, порадовала меня встречей с одним солдатом, родом из Томашова, который часто ходил на заработки в Галицию и знал моего покойного отца. Порадовала меня судьба встречей с ним только для того, чтобы я из его слов узнала, что мой отец спустя три месяца после моего бегства умер и до самой смерти считал меня воровкой. Меня, Массино! Меня, гордую, чистую, честную и непорочную тогда!

Богом клянусь тебе, сокол мой, если и до тебя дошли такие слухи, будто бы я, убегая, обокрала своего отца, не верь этому!

Богом клянусь тебе, я ровно ничего не знала о том, что его обокрали. Только позднее узнала...

Неужели ты мог допустить, чтобы я тогда, в ту минуту, когда рассталась с тобой, способна была побежать прямо в отцовскую канцелярию, взломать его стол, вынуть ключи от несгораемой кассы и забрать оттуда казенные деньги?..

Как видишь, и этого загробного отцовского подозрения не пожалела для меня судьба!

А я все это вытерпела, Массино! И даже... мои поклонники уверяют, что я и теперь еще выгляжу недурно. Правда, они здесь, под японскими бомбами и гранатами, не слишком разборчивы».

* * *

«То, что я здесь рассказываю тебе, это лишь эскиз, очерк, скелет моих приключений. На более подробный рассказ у меня не хватило бы ни бумаги, ни времени, ни сил.

Только слегка коснусь наболевших струн, потому что от полного их звучания можно с ума сойти».

* * *

«Русскую границу мы миновали без осложнений. Я немного побаивалась, но оказалось, что бояться было нечего. Генрих как-то загадочно подмигнул жандарму, проверявшему паспорта, и тот только заглянул в наши и тут же вернул их нам.

После первой же станции за границей в наше купе вошел Зигмунт. Это меня удивило. Я не знала, что он едет с нами. Но еще больше я была удивлена, когда он повел себя с Генрихом даже не как равный с равным, а как старший с подчиненным. Он, который в Кракове выглядел не то лакеем, не то управителем, низко кланялся нам и разговаривал сладким голосом, теперь хлопал Генриха по плечу, щипал его за щеку, как девчонку. Я кинула на него возмущенный взгляд, но ему это было безразлично. Потом нарочно сказала Генриху так, чтобы тот слышал: «Убери отсюда эту лакейскую душу!» Но они оба только рассмеялись при этих словах, и Зигмунт по-прежнему остался в купе. Я рассердилась и заплакала. Генрих сказал ему что-то, вроде бы по-польски, но так, что я ровно ничего не поняла, и тот, ответив на таком же жаргоне, вышел из нашего купе и больше не показывался.

— Генрих! — воскликнула я после его ухода, прижимаясь к своему любезному и вся дрожа от волнения.— Кто этот человек? Я боюсь его. Чего он хочет от нас? И как он смеет обращаться с тобой, как со своим слугой?

— Дитя мое! — успокаивал меня Генрих.— Это мой дядя, брат моей мамы. Очень состоятельный, живет в Люблине. Бездетный.

— Отчего же ты не сказал мне этого раньше? Почему ты представлял его мне как своего мажордома?

Генрих покраснел, но сейчас же оправился:

— Видишь ли, Манюся, он в Австрии чем-то скомпрометирован и приезжал туда по паспорту нашего управляющего.

Я так мало знала жизнь, Массино! Выросла в лесу, с мамой и папой, среди добрых, честных, неопытных людей. Что-то в моей душе восставало против этих слов Генриха, но уста ничего не могли ответить. Своими шутками и поцелуями он успокоил меня.

Я прилегла на диван в купе и заснула, и проснулась только, когда мы подъехали к варшавскому вокзалу.

Мы остановились в гостинице. Я и Генрих переночевали в одной комнате, а Зигмунт в соседней. Утром вместе позавтра-

кали. Потом оба они ушли, приказав мне сидеть в комнате и никуда не выходить.

Я взяла какую-то книжку и принялась читать. В полдень пришел Генрих. Мы пообедали молча, потому что он выглядел утомленным. На мои расспросы отвечал коротко и как-то неохотно. После обеда ушел, не сказав, куда. Вернулся только поздно ночью. Мне казалось, что он был немного под хмельком. На мои расспросы не отвечал ничего. Быстро заснул. Зигмунта я в этот и в следующие два дня не видела.

На другой день то же самое. На третий — тоже. На вопрос, когда же мы поедем к его родственникам, Генрих как-то странно улыбался, грубо, цинично отшучивался или отмалчивался, будто ничего не слышит. Я по целым дням плакала.

Разные фантастические мысли приходили мне в голову: телеграфировать отцу, пойти в полицию и самой разыскать родственников Генриха. Но я была совсем обескуражена. Боялась выйти на улицу. Боялась всех в гостинице и постоянно сидела запершись.

Однажды вечером, уже поздно, пришел Зигмунт и привел Генриха, пьяного до бесчувствия.

— Боже мой! — воскликнула я.— Дядя, что с ним?

Зигмунт захохотал.

— Какой я вам дядя? Лучше постелите постель этому мальчишке. Видите, как его развезло.

Генрих повалился на диван и сразу захрапел.

— Вы не дядя? Кто же вы такой?

— Я такой же, как и ваш Генрих.

— Такой же?.. Что это значит? Какой же он?

— Такой, как я.

— Кто же вы такие?

— Разве он не сказал вам? До сих пор оставляет вас в детской невинности? Ха, ха, ха! Мы, панна Маня, изволите ли знать, такие благодетели человечества, которые уменьшают заботы богатым людям.

Я вытаращила на него глаза. Он расхохотался и сделал рукой недвусмысленный жест, показывая, как вытаскивают что-то из чужого кармана.

Я вся побледнела. Хотела кричать, но горло у меня перехватило. Потом кинулась в другую комнату и пыталась повеситься. Но Зигмунт, услышав, как я бьюсь в петле, прибежал и снял меня, уже совсем лишившуюся чувств».

* * *

«Я проболела две недели. Генрих уже не покидал меня днем, находился при мне, ухаживал за мной. Теперь он уже не разыгрывал со мной комедии, говорил откровенно. Был он от природы неплохой парень, но испорченный до мозга костей. С малых лет, сбежав из отцовского дома, прошел всю воровскую школу на варшавских мостовых. У меня сердце стыло, когда я слушала его рассказы.

Пробыв месяц в Варшаве, мы выехали в «турне», как говорил Генрих. В Лодзь, Домброву, Радом и другие города. Нас двое, Зигмунт и еще несколько совсем темных типов, которые порою приходили к нам по ночам, говорили что-то на своем непонятном воровском жаргоне, делились добычей и опять расходились. Зигмунт был вожаком этой шайки, разрабатывал планы, распределял работу, проверял исполнение. В случае неповиновения или небрежности бывал страшно жесток.

Постепенно он начал вовлекать и меня в свои планы. Я должна была нарядно одеваться и прогуливаться с Генрихом по магазинам и выставкам, где бывало много богатой публики. Я должна была привлекать к себе внимание и приманивать богатых молодых людей, а члены шайки шныряли в толпе и «работали». Я знала это, Массино! Моя душа возмущалась, но мои губы улыбались. Я все больше и больше покорялась какой-то магической, дьявольской силе Зигмунта. Чем дольше мы жили вместе, тем больше Генрих тускнел и изглаживался из моей души. Все его ничтожество выходило наружу, и я уже не обращала на него никакого внимания. Зигмунта я боялась, но его сила, ум и энергия импонировали мне.

Помню, это было в Дорпате. Генрих попался с поличным, и его арестовали. Я сидела в гостинице, когда ко мне прибежал Зигмунт.

— Панна Маня, оденьтесь как можно лучше. Да не забудьте свежее белье!

Я уставилась на него с немым вопросом.

— Не смотрите на меня, как баран на новые ворота! — сердито закричал он.— Генрих арестован. Пока еще держат в участке и не отправили в тюрьму, вы можете спасти его.

— Я?

— Да. Вот вам пятьдесят рублей. Это — приставу. Чтобы он провел вас к полицмейстеру, которого вы будете просить лично. Поняли? Так и скажите: лично! Скорее!

Через десять минут я сидела в пролетке... Через час Генрих был на свободе.

Догадываешься, какой ценой?

В тот вечер я вторично пыталась повеситься, и опять Зигмунт спас меня. Он, как видно, понимал, что кипит в моей душе, и следил за мной, хотя и делал вид, что обращает на меня внимания не больше, чем на любое другое орудие своей воли».

* * *

«Наше турне по русским городам затянулось надолго. К весне мы завернули в Одессу.

Здесь мой Генрих исчез. Зигмунт сказал, что его поймали во время кражи на судне и, без дальних слов, завязали в мешок и кинули в море. А я думаю, что скорее всего он сам убрал его. В последнее время он все чаще сердился на него.

— Ну, Маня,— заявил он мне однажды вечером.— Ты теперь моя.

Я посмотрела на него с тревогой, но чувствовала себя до такой степени в его власти, что не смела противиться.

— Тот молокосос не стоил одного волоска из твоей пышной прически,— сказал он, привлекая меня к себе.— Я тебе покажу, как любит мужчина.

Удивительное дело! Пока Зигмунт являлся передо мной, как вожак, как командир, окруженный тайной и недоступностью, в каком-то роковом ореоле, его образ владел моей душой, и мне иногда казалось, что я могла бы полюбить его. Но теперь, когда он предстал передо мной как мужчина, некрасивый, немолодой, с грубыми, некультурными привычками и манерами, я уже через несколько дней почувствовала к нему презрение, отвращение, а потом и смертельную ненависть. За то, что он старался доказать мне свою любовь, преследовал, мучил меня ею.

И по мере того, как я начинала презирать его, ненавидела его, издевалась над ним, он все больше слабел, проникался все большей страстью ко мне, терял свою волю и силу.

— Маня,— кричал он не раз пьяный, когда мы оставались одни,— ты доведешь меня до того, что я тебе и себе сделаю конец.

— Овва,— отвечала я, пожимая плечами,— о себе я не забочусь, о тебе еще меньше.

В Нижнем Новгороде, во время весенней ярмарки, его арестовали за крупную кражу. Он не выдал меня, и меня не трогали. У меня были кое-какие деньги, и в первый раз я почув-

ствовала себя свободной. Но я уже была сломлена, обессилена своей жизнью до этого дня. Что с собой делать? Куда податься? Я не знала. Вернуться домой? К кому? Для чего?..

Я взяла билет и поехала в Москву. Зачем — и сама не знала. Думала, что там найду какое-нибудь место, где смогу устроиться. По дороге, в вагоне со мной познакомился молодой инженер-железнодорожник, направлявшийся в Иркутск, а отсюда еще дальше, за Байкал, на постройку железной дороги. Мы разговорились — и быстро сговорились. Он был человек холостой, ехал на большое жалованье в далекие, первобытные края. Я недолго раздумывала, когда он предложил мне ехать с ним.

Владимир Семенович был чудесный человек. Столько смирения, деликатности и чуткости я еще не встречала у мужчины. С первой минуты нашего знакомства я говорила с ним свободно, как со старым, добрым знакомым. Он услуживал мне, предупреждал мои желания, заботился прямо по-матерински о всяких мелочах по дороге и на квартире. Я не раз удивлялась, откуда в России берутся такие мужчины.

Но вскоре мне пришлось с сожалением увидеть, как они погибают, как быстро и как глубоко падают!

Мы остановились в Иркутске. Сперва на неделю, пока не придут инструкции из Петербурга. Но прошла неделя, вторая, а там и месяц и два, а инструкций все не было. Жалованье моему Володе платили, и очень хорошее, а работы не было никакой, приходилось ждать.

Вот тут я и узнала его с другой стороны. Свой медовый месяц мы прожили быстро, а затем он начал тяготиться мной. Мы переговорили об всем, что могло интересовать его, но вскоре оба наткнулись на такие темы, о которых говорить не хотелось. Книг не было, порядочного общества не было. На дворе снег, мороз, метелица. Вскоре мой Володя начал уходить из дому после обеда и возвращаться только вечером, уже пьяным. Сперва стеснялся этого, а после перестал даже извиняться передо мной.

Пьяный, он делался очень милым. Шутил, смеялся, рассказывал анекдоты. Лишь после я узнала, что в этом его состоянии к нему привязывается еще одна ведьма — карты. Во хмелю им овладевала страсть игрока, и тогда он готов был проиграть все на свете.

Слишком поздно я узнала об этом его пороке — только тогда, когда он проиграл... меня самое.

Это было так. В Иркутск приехал откуда-то из дальней Сибири богатый золотопромышленник Светлов. Человек немолодой уже, из тульских купцов, страшный богач. Чудеса рас-

сказывали о его жестокости и богатстве. Между прочим, он был большой любитель женщин, и на каждом своем промысле, а их у него было несколько за Байкалом, содержал, как рассказывали, целые гаремы. Увидев меня с Володей в какой-то компании и проведав, что я не жена его, он начал раздумывать, как заполучить меня в свои руки. Он быстро узнал характер Володи, подпоил его, уговорил играть в карты и обыграл начисто. Распаленному проигрышем, одолжил немного денег. Володя опять проиграл. Светлов одолжил еще — опять проиграл мой Володя. Тогда Светлов предложил Володе играть на меня: если Володя выиграет, он ничего не должен Светлову, а если выиграет Светлов, то берет меня.

Разумеется, Светлов выиграл».

* * *

«Помню, как сейчас, эту сцену, Массино! Ночь. На дворе вьюга, ветер воет. Я сижу при лампе за какой-то работой и поджидаю Володю.

Стучатся. Входят. Не один Володя, слышны еще чьи-то грубые голоса. Я так и замерла от страха. Какое несчастье!

Входит Володя, а за ним гигант в медвежьей шубе, с широкой рыжей бородой, с толстым багровым лицом и приплюснутым носом. За ним полицмейстер и еще какие-то господа.

Я встала и обернулась лицом к ним. Володя подходит ко мне нетвердыми шагами. У него на глазах слезы.

— Манюся,— говорит он и замолкает.

Потом взял обе мои руки в свои ладони, поцеловал, а после моими же руками ударил себя изо всей силы по щекам — раз, второй, третий...

— Манюся, я подлец, я негодяй! Я проиграл тебя в карты. Вот ему... Никанору Ферапонтовичу проиграл.

И показал на гиганта, а тот, растянув свое лицо в какой-то невиданно широкой усмешке, сделал шаг ко мне.

— Так-с! Мы имели честь и удовольствие,— проговорил он, неуклюже кланяясь.

— Чего же, господа, вам угодно от меня? — спросила я чуть слышно, охваченная волнением.

— Манюся, забудь меня, подлеца! — умолял, рыдая, Володя.— Не стою я тебя! Одного пальчика твоего не стою. Наплюй на меня! Отвернись от меня! Я не твой, а ты не моя.

— Покорнейше вас просим,— говорил мне, усмехаясь, рыжий гигант.— У нас вам, Мария Карловна, хорошо будет.

Я человек крещеный, и к вашей милости, скажу прямо, всей душой и всем сердцем.

— Но я вас не знаю и знать не хочу! — крикнула я ему.

— Познакомимся, Мария Карловна, это дело недолгое. И охота придет. Покорнейше просим не терять времени, а то завтра нам надо в дорогу. Вещички свои, какие вам нужно, извольте забрать. Здесь у меня и сани на улице.

— Нет, милостивый государь! — проговорила я решительно.— Я не понимаю всего этого и прошу вас оставить меня и моего мужа в покое.

— Покорнейше просим, Мария Карловна,— продолжал все тем же сладким тоном Светлов,— не гневайтесь и не сопротивляйтесь. И не забывайте, что вы в Сибири, а не в вашей еретической неметчине. Мы еще тут, слава богу, живем в страхе божием и в послушании и знаем способы, как утихомирить непокорных. Вот мой кум, его высокоблагородие господин полицмейстер, он может, в случае надобности, поговорить с вами по-другому.

Полицмейстер, который до сих пор держался как-то в тени за гигантской фигурой Светлова, выступил вперед и спросил меня коротко:

— Вы знали Зигмунта Зембецкого? Знали, правда? Не возражайте. Он здесь у нас в остроге, и мы можем представить его вам на глаза. И если не хотите завтра сидеть в остроге вместе с ним, то не разыгрывайте комедии и послушайтесь Никанора Ферапонтовича. Это вам мой совет и мой приказ...

На другой день, закутанная в шубы и медвежьи шкуры, я с Никанором Ферапонтовичем ехала уже на восток, далеко на восток, в бескрайние снежные просторы Сибири».

* * *

«Николай Федорович умирает.

Под моими окнами только что разорвалась японская бомба и снесла половину крыши. Ни одного целого стекла не оставила. Что-то будет дальше?

Кажется, кто-то стоит за моей спиной, и толкает под руку, и шепчет:

— Скорее! Скорее! Кончай!

Куда скорее? К какому концу гонит меня неумолимая судьба? Под бомбу, или на дно моря, или к какой-то потайной дверце, через которую еще сегодня, еще завтра я смогу вырваться на вольный свет, к лучшему будущему, а послезавтра уже нельзя будет?

Массино мой! Я ни о чем не думаю, только о тебе. Мысль о тебе придает мне силы и уверенности среди этой адской жизни. Что я ни делаю, куда ни иду, мне все кажется: это все ради одного только, чтобы возвратиться туда, в родные края, и увидеть его. А каким будет наше свидание после всего... всего того, что стоит здесь, как ряды мертвецов, на этих листках?

Все равно! Не думаю об этом.

Скорее бы, скорее конец, каким бы он ни оказался!»

* * *

«Никанор Ферапонтович был очень добр со мной. Однако грубость его натуры и неотесанные манеры вызывали во мне отвращение, тем большее, чем больше силился он придать им цивилизованный вид.

Боже мой, когда подумаю об этих трех месяцах, проведенных с ним...

Но нет! К чему тебе мои переживания, мой горький опыт, оплаченный кровавыми слезами? Скорее бы, скорее конец!

Весной, под самым Красноярском, когда мы вдвоем ехали на какой-то его промысел, на нас напали бродяги. Должно быть, долго охотились за ним. Должно быть, ямщик был в сговоре с ними. Так или иначе: едем лесной просекой, и вдруг — тпру! Лошади стали, и к нам со всех сторон теснятся страшные, косматые рожи, сверкают ножи, револьверы...

Никанор Ферапонтович защищался. Он был невероятно силен. Но в самом начале схватки один бродяга воткнул ему свой нож между лопатками. Он рванулся, и нож остался в теле. Пока нож был в теле, Никанор Ферапонтович оборонялся. Отбрасывая нападающих, как снопы, ломал им ноги ударами своих огромных сапог. Но когда бродяга подобрался сзади и вырвал нож из раны, Никанор Ферапонтович быстро ослабел и повалился наземь.

Мучили его страшно... Издевались над ним, пока он не умер.

Я сидела в повозке, как мертвая, и глядела на все это мертвыми глазами.

Потом мы поехали. Что такое? На козлах сидел другой ямщик, а рядом со мной, в шубе Никанора Ферапонтовича... Зигмунт.

— Целый месяц гоняемся за тобой,— сказал он коротко.— Ну, слава богу, наконец поймали.

На лесной поляне состоялся совет. Боже мой, какие лица! Какие фигуры! Какие голоса!

Делили добычу. Из-за меня поднялась драка. Зигмунт доказывал, что я его жена, но там, в сибирских лесах, этот довод ничего не значил. Я досталась вожаку. Его звали коротко «Сашка», но кто он был, какой национальности и какой веры, этого не знал никто и всем это было безразлично.

Мне кажется, он был еврей.

Зигмунт покинул шайку, шепнув мне на прощанье:

— Не бойся.

Спустя две недели всю шайку в ее лесном логове окружили три роты солдат. Сашку повесили на месте. Остальных заковали в кандалы.

Меня взял капитан. Зигмунта, который привел их туда, заковали вместе с остальными. Больше я его не видела. Ночь нас свела, ночь развела, и для меня он остался страшным порождением ночи».

* * *

«Перевожу дух. Вспоминаю...

То, что продолжалось затем, почти целый год, было тяжелее всего, страшнее всего из пережитого мною.

Ни общение с ворами, ни блужданья по сибирским тундрам, ни жизнь в тайге среди бродяг не были для меня так страшны и отвратительны, как жизнь в доме капитан-исправника Серебрякова.

У него была законная жена, злая, как змея, но забитая им, пребывающая в страхе и в вечных побоях. Подумай, какое житье было нам обеим?..

Капитан пил без просыпу, а напившись, бил нас обеих, не разбирая.

Дни и ночи проходили для меня, как на самой тяжелой каторге.

Наконец я убежала от него. Хотела пойти к Байкалу, утопиться, но попала на поезд, в котором войска ехали на войну с Японией. И поехала с ними. Мне было все равно с кем...»

* * *

«Страшная была ночь. Бомбардировка сильнее, чем когда-либо до сих пор. Казалось, весь город разнесут в прах.

Николай Федорович умер. Похоронили его торжественно.

Сегодня тихо. Штурм отбит. Обе стороны хоронят убитых и перевязывают раненых. Если бы ты видел, что кроется в этих коротких, неприметных словах!..

Китаец говорит мне:

— Эта ночь — почта поехал.

Кончаю письмо. Довольно. Всего не пересказать. Но вот тебе доказательство, что я ничего не хотела утаить от тебя.

Прощай! Любимый мой!.. Но нет, не буду разжалобливать тебя.

Мы ведь увидимся... Если не здесь, то там? Веришь в свиданье там? Я верю. Кажется, если бы на минуту перестала верить, с ума сошла бы, руки на себя наложила бы. А может, именно эта вера — симптом безумия?

Прощай! Пушки начинают стрелять. Опять новый штурм? Иду к морю, передать письмо китайцу. Еще раз прощай! До свиданья.

Твоя *Сойка».*

* * *

И это правда? Нет, никогда!

Глупая, романтическая девчонка наговорила на себя, чтобы...

* * *

Да что это я?

Без четверти двенадцать! Господи! А я сижу над этим письмом и все залил слезами!

Целый час просидел, сам себя не помня. И — плача. Что со мной творится?

Новый год приближается. Разве так надеялся я встретить его?

Где мои заветные радости? Где мои эстетические принципы? Где мое тихое довольство? Пропало, пропало все! Вот где жизнь! Вот где страдание! Вот где борьба и разочарование, и безграничные муки, и крохи радостей, ради которых и безграничные муки — не муки!

Что такое человек человеку? И палач, и бог! С ним живешь — мучаешься, а без него еще хуже! Жестокая, безвыходная загадка!

«До свиданья». Так она заканчивает. Но неужели это возможно? Неужели для нас, разделенных столькими могилами, существует какое-то свидание? Нет, не верю!

А над этими могилами течет, как река, одно великое, непрерывное страдание и мучает нас.

До свиданья, сердце! Приходи! Приходи! То, что спаслось, пройдя через столько могил, что осталось живым в наших сердцах после стольких разрушений,— пускай живет! Пускай надеется!

Но нет, пожалуй, не для нас надежда! Не для нас весна. Мы сами расточили, похоронили ее. Нашей весны не воскресит никакая сила!

Где ты теперь? Все еще там, в кровавом Порт-Артуре, среди раненых и обреченных на гибель, сама неся свое огромное кладбище в сердце? Или, может быть, давно уже твои кости моет бурное Желтое море?

А может быть, опять судьба выбросила тебя в широкий мир, в сибирские тундры, в китайские грязные предместья, швырнула в грязь и играет тобой, как замаранной, поломанной игрушкой, пока не оставит в какой-нибудь мусорной яме? Голубка моя! Где ты, откликнись! Пусть в этот новогодний час хотя бы дух твой пролетит по моему дому и коснется меня своим крылом! Пусть его дыхание внесет волну подлинной, широкой, многострадальной жизни в мое жалкое, бумажное, недостойное прозябание! Быть может, и я проснусь, и сброшу с себя эти путы, и рванусь к новой жизни!

* * *

Дзинь-дзинь-дзинь!

Звонят! В такую пору?

Что такое? Телеграмма?

Ивась, пожалуй, спит уже?

Но нет. Слышу, отпирает.

Какие-то голоса! Что это? Кто это? Ко мне? В такую пору?..

Шаги в гостиной.

— Это ты, Ивась?

— Я, барин.

— Ты еще не спал?

— Нет, барин. Читал.

— Что там такое?

— Какая-то дама в прихожей. Непременно хочет видеть вас.

— Дама? Старая? Молодая?

— Не знаю. Под вуалью. Я не пускал — не захотела уйти. Сбросила шубу. Там холодно, а она сидит в таком легком платье, красном в белый горошек.

— Проси!

Февраль 1905

БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ

ПОВЕСТЬ

I

Солнце уже достигало полудня. Часы на башне ратуши быстро и жалобно пробили одиннадцать. От кучки веселых, нарядных дрогобычских господ-обывателей, гулявших возле костела, в тени цветущих каштанов, отделился господин строитель и, размахивая блестящей тросточкой, пересек улицу, направляясь к рабочим, занятым на только что начатой стройке.

— Ну что, мастер! — крикнул он, подходя.— Готово у вас наконец?

— Все готово, пан строитель.

— Ну, так велите бить раст.

— Хорошо, пан! — ответил мастер и, обращаясь к помощнику, который стоял рядом с ним, кончая обтесывать для фундамента громадную глыбу попелевского песчаника, сказал: — А ну, Бенедя, олух этакий! Не слышишь разве, что пан строитель велят раст бить?.. Живо!

Бенедя Синица бросил кирку на землю и поспешил исполнить приказание мастера. Перепрыгивая через разбросанные вокруг камни, запыхавшись и посинев от натуги, он бежал во всю мочь своих худых, словно щепки, ног к высокому забору. На заборе была подвешена на двух веревках доска, а рядом с нею на таких же веревках болтались две деревянные колотушки, которыми стучали по доске. Таким способом давались сигналы к началу и окончанию работ. Бенедя, добежав до забора, схватил колотушки в обе руки и изо всех сил загремел ими о доску.

«Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» — раздался веселый, громкий лай «деревянной суки»... Так каменщики образно называли это приспособление. «Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» — без передышки гремел Бенедя, улыбаясь доске, которую так немилосердно

истязал. И все: каменщики, занятые на широкой площадке кто обтесыванием камня для фундамента, кто гашением извести в двух глубоких четырехгранных ямах, все землекопы, которые рыли котлованы под фундамент, плотники, стучавшие топорами, словно дятлы, обтесывая громадные стволы елей и дубовые балки, пильщики, пилившие тес ручными пилами, рабочие, складывавшие привезенный кирпич,— весь этот разнообразный рабочий люд, сновавший, как муравьи, по площади, двигаясь, стуча топорами, покачиваясь, кряхтя, потирая руки, перебрасываясь шутками и смеясь,— все остановились и перестали работать, подобно огромной сторукой машине, которая при одном нажиме кнопки вдруг прекращает свой бешеный ход.

«Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» — не переставал упорно греметь Бенедя, хотя все уже давно услышали лай «деревянной суки». Каменщики, которые стояли, согнувшись над каменными глыбами и с размаху звонко ударяли в твердый песчаник, так что время от времени искры взлетали из-под кирок, теперь, бросив свои инструменты, распрямляли спины и широко разводили руки, чтобы вобрать в себя как можно больше воздуха. Те, кому удобнее было работать на коленях или на корточках, медленно поднимались на ноги. В ямах шипела и клокотала известь, словно злилась, что ее сперва жгли на огне, а потом бросили в холодную воду. Пильщики так и оставили пилу в недопиленном бревне: она повисла, зацепившись верхней рукояткой за бревно, и ветер раскачивал ее из стороны в сторону. Землекопы повтыкали лопаты в мягкую глину, а сами выбрались наверх из глубоких рвов, вырытых под фундамент.

Между тем Бенедя перестал стучать, и весь рабочий люд, выпачканный кирпичной пылью и глиной, с опилками и мелкими осколками камней на одежде, руках и лицах, начал собираться у фасада нового строения, где находились главный мастер и господин строитель.

— Как же мы, пан, спустим этот камень на место? — спросил мастер строителя, опершись широкой сильной рукой о громадную, обтесанную для фундамента глыбу, которая хотя и лежала плоской стороной на небольших деревянных катках, все же доходила мастеру почти до пояса.

— Как спустим? — медленно повторил строитель, взглянув сквозь монокль на камень.— Очень просто — на шестах.

— А может быть, оно того... немного опасно, пан? — робко заметил мастер.

— Опасно? Это для кого же?

— Ну конечно, не для камня, а для людей,— ответил, усмехаясь, мастер.

— Э-э-э! Вот еще. Опасно! Не беспокойтесь, ни с кем ничего не случится! Спустим!..

И господин строитель важно наморщил лоб и сжал губы, как будто заранее натуживался и напрягался, опуская камень на предназначенное для него место.— Спустим безопасно! — повторил он еще раз так уверенно, будто убедился, что его сил хватит для такого дела. Мастер в ответ недоверчиво покачал головой, но ничего не сказал.

Тем временем и остальные горожане, которые до сих пор небольшими группами прогуливались возле костела, услыхав голос «деревянной суки», начали медленно стекаться к новой стройке, а впереди всех шел хозяин будущего здания — Леон Гаммершляг, высокий и представительный еврей с подстриженной в кружок бородой, прямым носом и красными, как малина, губами. Он был сегодня очень весел, разговорчив и остроумен, сыпал шутками и занимал, видимо, все общество,— все толпились и жались вокруг него. Затем с другой группой пришел и Герман Гольдкремер, самый уважаемый, то есть самый богатый, из всех присутствующих горожан. Он был более сдержан, тих и даже как будто опечален чем-то, хотя и старался не показывать этого. Затем шли другие предприниматели, богачи дрогобычские и бориславские, кое-кто из чиновников и один ближний помещик, большой приятель Гаммершляга, вероятно, потому, что все его имение было заложено Гаммершлягу.

Все это общество — в модных черных сюртуках, в пальто из дорогой материи, в блестящих черных цилиндрах, в перчатках, с тросточками в руках и перстнями на пальцах — странно выделялось среди серой массы рабочих, пестревшей разве только красным цветом кирпича или белым цветом извести. Только веселый говор тех и других смешивался вместе.

Вся площадь на углу улиц Панской и Зеленой была заполнена людьми, лесом, камнем, кирпичом, тесом, кучами глины и походила на огромную руину. Только одна дощатая беседка чуть пониже, в запущенном саду, имела живой и привлекательный вид. Она была украшена зелеными елками у входа, внутри увешана коврами, в ней и вокруг нее суетились слуги, крича и перебраниваясь... Готовили угощение, которым Гаммершляг хотел отметить закладку нового дома. И еще один необычайный гость изумленно присматривался ко всему этому скоплению людей и предметов. Это была не бог весть какая важная персона, однако все поглядывали на нее с любопытством и удивлением.

— Послушай, Бенедя,— спросил измазанный глиной рабочий,— а это в честь чего здесь щегленка вывесили?

— Что-то, видно, собираются с ним делать,— ответил Бенедя.

Рабочие перешептывались и поглядывали на щегленка, прыгавшего в проволочной клетке, подвешенной на шесте у самого котлована, но никто не знал, зачем он здесь. Даже мастер не знал, хоть и делал понимающее лицо и на вопросы рабочих отвечал: «Ишь ты какой, все ему надо знать! Состаришься, если все знать будешь!»

А щегол между тем, оправившись от первого испуга при появлении всей этой толпы, прыгал по перекладинкам клетки, теребил клювиком конопляное семя и время от времени, вскочив на верхнюю перекладинку, встряхивал красно-желтыми полосатыми крылышками и тоненько щебетал: «Тикили-тлинь! Цюринь, цюрпнь! Куль-куль-куль!»

Над шумной, говорливой толпой вдруг показалась голова Леона Гаммершляга, раздался его голос. Он вскочил на глыбу камня и обратился к присутствующим:

— Господа, мои дорогие и глубокоуважаемые соседи!..

— Тише! Тише! Тсс! — зашумело вокруг и затихло.

Леон продолжал:

— Очень, очень благодарен вам за то, что вы были так добры и почтили своим присутствием мой сегодняшний, такой важный для меня праздник...

— О, пожалуйста, пожалуйста! — раздалось несколько голосов.

— Ах, вот и наши дамы идут! Господа, прежде всего пойдемте встречать дам.— И Гаммершляг снова исчез в толпе, а несколько молодых господ направились на улицу, куда как раз в эту минуту подкатили экипажи с дамами. Они помогли им сойти и под руку повели на площадь, где для дам было приготовлено место рядом с огромной каменной плитой.

Дамы эти были большей частью старые и некрасивые еврейки, которые недостаток молодости и красоты старались возместить пышным и показным богатством. Шелка, атласы, сверкающие камни и золото так и горели на них. Они поминутно осторожно осматривали свои платья, боясь испачкать их прикосновением к кирпичу, камням либо к не менее грязным рабочим. Одна лишь Фанни, дочь Гаммершляга, выделялась из толпы дам именно тем, чего им недоставало,— молодостью и красотой,— и была среди них словно расцветающий пион среди отцветающих сорных трав. Поэтому-то вокруг нее группировa-

лись наиболее молодые из гостей, и скоро тут составилась компания, в которой шла оживленная, громкая беседа, в то время как другие дамы, после первых обычных восклицаний изумления, после первых более или менее пискливых и заученных пожеланий хозяину всяческого благополучия сделались неразговорчивыми и начали глазеть по сторонам, словно в ожидании представления. Этим ожиданием вскоре заразились и остальные. Веселый говор затих. Казалось, вместе с дамами слетел на общество дух скуки и какой-то тягостной для всех принужденности.

И Гаммершляг как бы растерялся. Он словно забыл, что минуту тому назад начал было произносить речь и бегал с места на место, начинал то с одним, то с другим разговор о посторонних вещах, но все это как-то не клеилось. Вдруг он увидел перед собой Германа, который стоял молча, опершись о сложенные в штабеля бревна, и осматривал всю эту площадь так, словно собирался ее купить.

— А что же нет вашей супруги, дорогой сосед? — спросил Леон, улыбаясь.

— Простите,— ответил Герман,— она, вероятно, нездорова.

— Ах, какая жалость! А я надеялся...

— Впрочем,— ответил угодливо Герман,— разве она такая важная особа? Обойдется и без нее.

— Нет, любезный сосед! Пожалуйста, не говорите «неважная особа»... Что вы? Вот моя Фанни, бедное дитя, как бы она была счастлива, если бы имела такую мать!..

Лицо и глаза Леона явно выдавали лживость этих слов, но уста, послушные воле хозяина, произносили их, а рассудок соединял фразы, как того требовала выгода.

Но вот со стороны Лана, где на востоке виднелась высокая белая синагога, послышался сильный крик и шум. Все гости и рабочие обернулись в ту сторону. Через минуту показалась на улице как бы черная гудящая туча — это был еврейский кагал во главе с раввином, который должен был совершить обряд освящения закладки нового дома.

Вскоре всю площадь заполнили евреи, которые говорили все сразу, громко и быстро, сновали, как муравьи в потревоженном муравейнике, все осматривали и словно оценивали глазами, а затем вздыхали и покачивали головами, как бы удивляясь богатству Леона и вместе с тем жалея, что это богатство находится в его, а не в их руках. Несколько мелких панов-христиан, также бывших здесь, вдруг притихли и отступили в сторону, чувствуя себя не в своей тарелке. Сосед-помещик хмурил брови

и кусал губы от злости, видя себя в этой толпе торгашей, которая не обращала на него никакого внимания. Он, по-видимому, искренне проклинал в душе своего «сердечного друга Леона», но, однако, не сбежал, а простоял до конца обряда, после которого ожидалось угощение.

Всеобщий говор на площади не только не утих, но еще увеличился. Щегленок, испуганный внезапным наплывом этих черных крикливых людей, начал метаться в клетке, биться о проволоку. Старого седого раввина с длинной бородой взяли под руки два служки и подвели к каменной глыбе, приготовленной для фундамента. Вокруг образовалась такая давка, словно каждый непременно хотел быть возле самого раввина, невзирая на то что там не хватит места для такого множества людей. Среди давки и шума толпы не слышно было того, что читал раввин над ямой. И только когда служки время от времени в ответ на его молитву выкрикивали «умайн», то есть «аминь», вся толпа повторяла за ними «умайн».

Пробило двенадцать. На колокольне возле костела, против новой стройки, загудел огромный колокол, возвещая полдень. За ним зазвонили и все другие колокола дрогобычских церквей. Казалось, весь воздух над Дрогобычем застонал какими-то заунывными голосами, среди которых еще печальнее и жалобнее раздавалось нестройное, разноголосое «умайн». Рабочие, услыхав звон колоколов, поснимали шапки и начали креститься, а один служка, подойдя к Леону и поклонившись ему, прошептал:

— Благослови бог вас и начатое вами дело. Мы уже кончили.— А затем, наклонившись еще ближе к Леону, зашептал еще тише: — Видите, господь послал вам хорошее предзнаменование,— вам будет удача во всем, что вы ни задумаете.

— Хорошее предзнаменование? Это какое же? — спросил Леон.

— Вы разве не слышите, что христианские колокола сами, по доброй воле, служат вам и призывают на вас благословение христианского бога? Это значит, что все христиане также будут вам добровольно служить. Будут помогать вам достичь того, что вы задумаете. Этот звон — хорошее предзнаменование для вас!

Если бы Леон услышал эти слова при других, он, наверно, посмеялся бы над ними. Он любил показать себя вольнодумцем, но в глубине души, как все малоразвитые и себялюбивые люди, был суеверен. И сейчас, зная, что никто не слышал их, он с большой радостью встретил слова о хорошем предзнаменовании и сунул десятку в подставленный служкой кулак.

— Это для вас и для синагоги,— шепнул Леон.— А за доброе знамение — благодарение господу!

Обрадованный служка снова стал на свое место возле раввина и сразу же начал перешептываться с другим служкой, который, очевидно, спрашивал его, сколько дал Леон.

А тем временем господин строитель принялся уже за свое дело и начал командовать рабочими.

— А ну, к шестам! — кричал он.— Бенедя, олух этакий, где твой шест?..

Галдеж на площади усилился. Раввина отвели в сторону, толпа расступилась, чтобы дать место рабочим, которые должны были сдвинуть огромную каменную глыбу и опустить ее в глубокий котлован. Дамы с любопытством протискивались вперед: им очень хотелось посмотреть, как будут опускать такой большой камень. Только щегленок весело щебетал в клетке да широкое, равнодушное лицо солнца улыбалось сверху, с темно-синего безоблачного неба.

Все приказания строителя были быстро исполнены. Поперек небольшой дорожки, по которой нужно было продвинуть камень, положили четыре катка, такие же толстые, как и те, на которых он лежал. Таких же два катка положили поперек ямы, в которую нужно было опустить камень. Рабочие окружили его с шестами в руках, словно собирались палками заставить его двигаться — сломить его каменное упрямство. Кое-кто шутил и смеялся, называя камень серой коровой, которую такое множество людей загоняет в стойло.

— Ну-ка, подвинься, маленькая! — крикнул один, толкая камень рукой.

Но вот раздалась команда строителя, и все утихло. На всей многолюдной площади слышно было только человеческое дыхание и щебетание щегла в клетке.

— А ну, двигайте! Раз, два, три! — крикнул строитель. Десять шестов, словно десять огромных пальцев, подхватили камень с обеих сторон, и он медленно пополз по каткам. Послышался тяжелый хруст щебня, которым была усеяна дорожка.

— Ур-ра! Эй! Нажми на него, пускай двигается! — весело кричали рабочие.

— Еще! — раздавался голос строителя.

Рабочие снова натужились. Снова захрустел щебень, заскрипели катки, и камень, словно огромная черепаха, медленно пополз вперед. На лицах присутствующих гостей видна была радость, дамы улыбались, а Леон шептал какому-то «соседу»:

— Да! Что ни говорите, а все-таки человек — господин природы! Нет такой силы, которую бы он не преодолел. Вот скала, тяжесть, а и та движется по его велению.

— И особенно, прошу заметить,— добавил «сосед»,— какая сила в единении людей! Соединенными силами творят чудеса! Разве один человек смог бы сделать что-нибудь подобное?..

— Да, да, соединенными силами — это великие слова! — ответил Леон.

— Ур-ра! Дружно! А ну! — весело кричали рабочие. Камень уже был над ямой, неподвижно лежал на двух поперечных перекладинах, которые по обеим сторонам котлована своими концами глубоко врезались в землю под его тяжестью. Однако предстояла самая трудная часть дела — опустить камень на дно котлована.

— А ну, ребята, живо к шестам! — скомандовал строитель. Рабочие мигом заняли свои места по обеим сторонам рва и поддели пять пар рычагов под камень.

— Под ребра его! Так, чтобы у него сердце подпрыгивало,— шутили рабочие.

— А теперь поднимайте кверху! А как только перекладины будут отброшены в сторону и я крикну: «Ну!» — все разом вытаскивайте шесты и — прочь от ямы! Понимаете?

— Понимаем!

— Только все сразу! Если кто запоздает, будет беда!

— Ну, ну! — крикнули рабочие и дружно налегли на шесты, чтобы приподнять камень. И в самом деле, он медленно, словно нехотя, отделился от перекладин, на которых лежал, и поднялся на несколько дюймов вверх. У каждого невольно замерло сердце. Рабочие, посинев от натуги, держали камень на рычагах над ямой, ожидая, пока веревками вытащат из-под него перекладины и строитель даст сигнал выхватывать шесты.

— Ну! — крикнул вдруг строитель среди всеобщего молчания, и девять рабочих вместе с шестами метнулись в противоположные стороны. А десятый? Вместе с глухим грохотом камня, падающего на приготовленное место, все услышали глухой, болезненный стон.

— Что такое? Что такое? — раздались голоса. Все начали снова проталкиваться вперед, шуметь и расспрашивать, что случилось.

Случилась простая вещь. Девять рабочих выхватили одновременно свои рычаги из-под камня, а десятый — помощник каменщика Бенедя Синица — не успел сделать это вовремя. Одна секунда опоздания, но эта секунда могла его погубить. Камень всей своей тяжестью рванул рычаг и вырвал его из рук

Борислав смеется

Бенеди. Рычаг ударил его — счастье, что не по голове, а только в бок. Бенедя вскрикнул и замертво упал на землю.

Густым клубом взлетел вверх песок в том месте, где упал с размаху рычаг. Рабочие в смертельной тревоге бросились к Бенеде.

— Что это? Что такое? — спрашивали гости.— Что случилось?

— Шестом убило человека.

— Убило? Боже! — послышались возгласы дам.

— Нет, не убило, жив! — раздались голоса рабочих.

— Жив! А! — перевел дух Леон, которому крик Бенеди словно клещами сжал сердце.

— А сильно искалечен?

— Нет, не очень! — Это был голос строителя, который при этом происшествии внезапно почувствовал, как у него начали дрожать колени.

Толпа шумела и теснилась вокруг искалеченного. Дамы охали и визжали, гримасничая и выставляя напоказ свою чувствительность и мягкосердечие. У Леона все еще что-то глухо шумело в голове, и он не мог собраться с мыслями. Даже щегленок в своей клетке жалобно пищал и порхал по углам, словно не в силах был смотреть на человеческое страдание. А Бенедя все еще лежал неподвижно, посиневший, без чувств, с крепко сжатыми зубами. Рычаг задел его острым суковатым концом за бок, прорвал фартук и рубаху и врезался в бедро, из которого лилась кровь. Но рычаг угодил ему и немного выше, под ребра, отчего у него на минуту прервалось дыхание.

— Воды! Воды! — кричали рабочие, стараясь привести Бенедю в сознание и перевязать ему рану. Принесли воды, перевязали рану и остановили кровь, но привести его в чувство не могли. Удар был слишком силен и пришелся в опасное место. Над толпой снова нависла туча тревоги.

— Заберите его, вынесите на улицу! — крикнул наконец Леон.— А не то отнесите домой и позовите доктора!

— Живо! Живо! — подгонял строитель.

В то время как двое рабочих взяли Бенедю за руки и за ноги и понесли сквозь толпу на улицу, к строителю подошел сзади мастер и тронул его рукой за плечо. Строитель вздрогнул и резко обернулся, словно от прикосновения жгучей крапивы.

— Вот видите, пан строитель, я правильно говорил...

— Что, что такое? Кто говорил?

— Я говорил,— шептал мастер,— не спускать камень на шестах: опасно.

— Э, дурак! Этот хам не иначе как пьян был, не отскочил вовремя. Кто в этом виноват? — ответил сердито и высокомерно строитель и отвернулся. Мастер пожал плечами и замолчал. Но строитель почувствовал шпильку в его словах и кипел от злости.

Между тем пора было кончать закладку. Служки подвели раввина к маленькой, но довольно удобной лесенке, и он спустился по ней на дно котлована, где на предназначенном месте лежал камень. На поверхности камня была выдолблена четырехугольная, довольно глубокая ямка, а вокруг нее багровели свежие пятна крови, брызнувшие из раны Бенеди. Раввин пробормотал еще какую-то молитву, а потом первый бросил небольшую серебряную монетку в выдолбленную в камне ямку. Вслед за ним то же самое проделали служки, а затем и остальные гости начали спускаться по лесенке и бросать кто мелкие, кто крупные монеты. Дамы вскрикивали, пошатывались на ступеньках, поддерживаемые мужчинами; только дочь Леона, Фанни, горделиво и смело спустилась в яму и бросила дукат. За дамами и мужчины один за другим начали спускаться в котлован. Отпрыск польской шляхты шел следом за Германом и косо посмотрел на богача, когда тот брякнул блестящим золотым дукатом; у шляхтича в кармане был лишь серебряный гульден, но, чтобы не поступиться своим шляхетским гонором, он быстро отстегнул от манжеты золотую запонку и бросил ее в ямку.

Долго тянулась вереница гостей, долго звенело золото и серебро, падая в каменную ямку и заливая ее блестящей волной. Рабочие, стоявшие возле котлована в ожидании приказания мастера, с завистью смотрели на этот обряд. Наконец бросание денег кончилось,— ямка наполнилась почти до краев. Леон, который до сих пор стоял возле лесенки и всем выходящим из котлована дружески пожимал руки (с Германом и шляхтичем он на радостях даже поцеловался), выступил теперь вперед и приказал принести плиту и цемент, чтобы замуровать фундамент. Рабочие бросились исполнять его приказание, а он тем временем подошел к клетке с щеглом.

«Тикили-тлинь! Цюринь, цюринь! Куль-куль-куль!» — щебетала птичка, не ожидая для себя ничего плохого. Тонкий, чистый голосок щегла звенел в тихом воздухе, как стекло. Вокруг все смолкли, с любопытством глядя на завершение торжественного обряда закладки. Леон снял клетку с птичкой с шеста и, высоко поднимая ее, сказал:

— Мои дорогие соседи, а сегодня гости! Великий это день для меня, очень великий. Человек, который сорок лет скитался по безлюдным пустыням и бурным морям, сегодня впервые

увидел себя вблизи спокойной пристани. Здесь, в счастливом городе Дрогобыче, я задумал свить себе гнездо, которое было бы красой и славой города...

— Браво, браво! — закричали гости, прерывая его. Леон поклонился с улыбкой и продолжал:

— Отцы наши учили нас, что для того, чтобы начать какое-нибудь дело счастливо, чтобы счастливо его завершить и счастливо воспользоваться его плодами, нужно прежде всего привлечь на свою сторону местных духов. Вы верите в духов, господа? Может быть, есть среди вас такие, которые в них не верят. Я, признаюсь вам, верю в них. Здесь, в этой земле, в этих каменных глыбах, в этой извести, в руках и в головах людей — во всем этом живут духи, сильные, таинственные. Только при их помощи будет воздвигнут мой дом, моя твердыня. Только они будут ее опорой и защитой. Умилостивить этих духов жертвой, кровавой жертвой — вот цель сегодняшнего великого обряда. Чтобы довольство и благополучие — не для меня, а для всего города — процветали в этом доме, вы любовной рукой бросили в эту каменную борозду золотое семя. Чтобы здоровье, веселье и красота — не для меня, но для всего города — расцветали в этом доме, я жертвую духам города этого жизнерадостного, здорового, веселого и красивого певца!

С этими словами Леон засунул руку в клетку. «Пи-пи-пи!» — запищала птичка, порхая и прячась по углам. Однако Леон быстро поймал ее и вытащил из клетки. Щегол сразу замолчал в его руке, только смотрел вокруг испуганными глазами. Его красноперая грудь казалась большим кровавым пятном на руке Леона. Леон вынул красную шелковую нитку и связал ею щегленку крылья и ноги, а затем спустился по лесенке вниз к фундаменту. Вокруг воцарилась какая-то гнетущая тишина. Рабочие принесли большую плиту и вокруг четырехугольной ямки с монетами положили цемент, чтобы сейчас же замуровать это отверстие. Тогда Леон, прошептав еще какие-то слова, снял сначала с пальца золотой перстень и бросил его к монетам в каменную ямку, а затем положил сверху щегла. Птичка спокойно лежала на своем холодном, смертном ложе из золота и серебра, только головку подняла кверху, к небу, к своей ясной, чистой отчизне, но тотчас же большая плита прикрыла сверху этот живой гроб, утверждая будущее счастье дома Гаммершлягов...

В эту минуту Леон глянул в сторону и увидел на камне следы иной жертвы — кровь человеческую, кровь каменщицкого помощника Бенеди. Эта кровь, уже застывшая, поразила его до

глубины души. Ему показалось, что «местные духи» смеются над ним и берут вовсе уж не такую ничтожную жертву, как только что принесенная им. Ему показалось, что эта другая, страшная человеческая жертва вряд ли будет ему на пользу. Капли крови, запекшейся на камне в темном котловане, показались ему черными головками железных гвоздей, которые пробивают, буравят и подтачивают основание его пышного строения. Ему стало вдруг как-то холодно, тесно в яме, и он поскорее выбрался наверх.

Гости теснились вокруг него с поздравлениями. Герман пожал ему руку и громко проговорил:

— Пусть этот небольшой клад, заложенный дружескими руками в основание вашего дома, растет и множится в тысячу раз! Пусть он станет основанием славы и богатства вашего рода!

— И точно так, как ваш дом сегодня закладывается на фундаменте из камня и золота,— добавил со своей стороны так же громко шляхтич,— пусть счастье и процветание вашего рода отныне основываются на всеобщей искренней дружбе и расположении к вам!

Леон радостно пожимал руки гостям, радостно благодарил их за дружбу и внимание, радостно объявлял о своем желании работать в дальнейшем только в сотрудничестве со всем обществом и для общества, но все же на сердце у него все еще лежали холодные сумерки, сквозь которые грозно проступали большие черные капли крови, словно живые железные гвозди, незаметно пробивающие и подтачивающие основы его счастья. Он чувствовал в словах гостей какой-то холод, за которым, несомненно, скрывалась глубоко запрятанная в их сердцах зависть.

Между тем рабочие под руководством строителя замуровали со всех сторон принесенную ими плиту и быстро возводили стену на дне котлована. Пробило час.

— Ну, ребята, хватит на сегодня работы! — крикнул Леон.— Нужно и вам немного повеселиться. Таких дней, как нынешний, в моей жизни немного, пусть же и для вас он будет праздником. Сейчас вам принесут пива и закусок, а вы, мастер, присмотрите за порядком.

— Хорошо, пан!

— А вас, мои дорогие гости, прошу со мной. Фанни, доченька, будь хозяйкой и займись дамами! Пожалуйте, пожалуйте!

Гости, весело переговариваясь, направились между штабелей кирпича, камней и леса к дощатой, украшенной венками и разноцветными флажками беседке. Только раввин, служки и

еще кое-кто из правоверных евреев пошли прочь, не желая сидеть за одним столом с людьми, едящими трефное.

Пока господа среди веселого шума угощались в беседке, рабочие, образовав широкий круг, сидели под открытым небом на камнях... Два помощника наливали пиво, двое других разносили ломти хлеба и сушеную рыбу. Однако рабочие были как-то необычно молчаливы. После несчастья с Бенедей еще у всех щемило в груди, да и весь этот странный еврейский обряд закладки им очень не понравился. Кто придумал замуровать живую пташку? Разве это принесет счастье? А впрочем, может быть, и так... Действительно, хорошо кто-то сказал: «Панам забава, а курице смерть». А тут еще рабочие, которые относили Бенедю домой, возвратились и стали рассказывать, как старая мать Бенеди перепугалась и горько заплакала, увидев своего единственного сына без чувств, окровавленного. Вначале бедняжка думала, что уж нет у нее больше сына, но, когда удалось привести Бенедю в сознание, обрадовалась, как дитя: суетится вокруг него, и целует, и плачет, и охает, так что сердце разрывается, глядя на нее.

— Знаете, ребята,— отозвался мастер,— надо устроить складчину и помочь бедным людям. Нужно же им чем-нибудь жить, пока он будет болен и не сможет работать. Ведь старуха иглой немного наковыряет!

— Правильно, правильно! — закричали рабочие со всех сторон.— Скоро получка, каждый подбросит по пять крейцеров; нам убыток небольшой, а им поддержка.

— А как же строитель,— сказал один из каменщиков,— неужто он ничего не даст? Ведь все несчастье из-за него!

— Это еще хорошо, что так обошлось,— заметил другой.— Ведь камень мог и пятерых этак же изуродовать!

— Надо ему сказать, пусть и он поможет.

— Ну это уж вы сами говорите,— сказал мастер,— я не буду.

— А что ж, и скажем,— ответили несколько голосов сразу.

Как раз в эту минуту строитель вышел из беседки, чтобы взглянуть на рабочих. Его лицо уже налилось густым румянцем от выпитого вина, а блестящая тросточка очень уж быстро летала из одной руки в другую.

— Ну как, ребята? — крикнул он, подходя к рабочим.

— Все хорошо, пан,— ответил мастер.

— Ну, в таком случае продолжайте! — и хотел идти обратно.

— У нас есть к пану одна просьба,— послышался голос из кружка рабочих.

Строитель обернулся.

— Ко мне?

— Да,— загудели все сразу.

— Ну, в чем дело?

— Мы к вашей милости, просим, чтобы вы приняли участие в складчине для того рабочего, которого сегодня рычагом пришибло.

Строитель стоял, не произнося ни слова, только румянец еще сильнее начал выступать на его лице — знак того, что просьба неприятно его задела.

— Я? — сказал он наконец.— А вы почему ко мне с этой просьбой лезете? Разве я виноват в этом, что ли?

— И мы, пан, не виноваты, но, сдается нам, следует все-таки помочь бедному человеку. Он болен, некоторое время не сможет работать, надо же ему и старухе матери чем-нибудь жить.

— Если хотите, помогайте, а я здесь ни при чем! Первому встречному лоботрясу помогай! Еще чего не хватало!..— Разгневанный строитель быстро повернулся и хотел было уходить, как вдруг один из рабочих, возмущенный его словами, громко сказал:

— Смотри, какой пан! А сам больше всех виноват, что Бенедю искалечило! Вот если бы его самого так изукрасило, я не пожалел бы, наверно, не то что пяти, а и десяти крейцеров на такого прохвоста!..

— Что? — заревел строитель и подскочил к рабочим.— Кто это сказал?

Молчание.

— Кто посмел сказать это? А?

Ни звука.

— Мастер, вы здесь сидели: кто это сказал? Говорите, а не то вас выгоню с работы вместо этого мерзавца!

Мастер оглянулся на рабочих и спокойно сказал:

— Я не знаю.

— Не знаете? Так я вас с этой минуты не знаю здесь на работе. Вон!

— Это я сказал! — отозвался один из рабочих, вставая.— Я сказал и еще раз скажу, что ты дрянь, если не хочешь помочь бедному рабочему. А за твою работу я не держусь.

Строитель стоял взбешенный и от злости не мог слова выговорить. Рабочий тем временем взял свой угольник, кирку и меру и, простившись с товарищами, спокойным шагом направился к рынку. Остальные рабочие молчали.

— Босяки, лодыри! — кричал строитель.— О, разве он дорожит работой? Ему бы только лежать вверх животом, как свинье в болоте. Но погодите вы, я вас научу порядку! Вы у меня другими станете! Ишь вы, мерзавцы! — И, трясясь от злости и проклиная всю эту «рвань», строитель пошел обратно в общество господ.

В беседке тем временем царило веселье. После закуски слуги собрали блюда и тарелки, а вместо них поставили бутылки с вином и рюмки. Рюмки быстро совершали свой путь. Вино постепенно развязывало языки, умножало веселье и шум. Ароматный дым дорогих сигар клубился над головами до самого потолка, тонкой струйкой тянулся в окно. Слуги Леона суетились возле гостей, подавая каждому то, чего он хотел. Одни гости сидели группами, другие стояли или ходили, болтая, шутя либо торгуясь. Леон не покидал Германа. Сегодня он впервые так близко сошелся с этим крупнейшим бориславским тузом и почувствовал к нему какое-то странное влечение. До сих пор они противостояли друг другу как враги. Леон лишь два года тому назад появился в Бориславе с наличным и немалым капиталом. Он был более образован, чем Герман, хорошо разбирался в коммерческих делах, читал кое-какие книжки по горному делу и думал, что достаточно ему только появиться в Бориславе — все покорится ему, и он станет единовластным господином. Он заранее мечтал о том, как он дешево закупит громадные, самые удобные для разработки участки, как заведет себе машины для более быстрого и дешевого извлечения подземных сокровищ, как поднимет всю местную нефтяную промышленность и по своему желанию будет повышать и понижать цены. Между тем на деле все оказалось иначе. В Бориславе были уже свои силы, к тому же такие силы, с которыми ему нелегко было тягаться, и самой большой силой был Герман. Леон вначале злился, видя, с какой нескрываемой неохотой принимают его старые бориславские предприниматели. Особенно Герман, этот простой, необразованный еврей-тряпичник, был для него как бельмо на глазу, и он старался всегда и всюду, где только мог, уколоть его, а в обществе никогда не упускал случая вежливо показать Герману свое духовное превосходство. Герман мало обращал внимания на эти уколы, а донимал его на деловом поприще: перехватывал участки, которые хотел купить Леон, переманивал его лучших рабочих и вместе с тем при встречах с Леоном всегда делал вид, будто ничего не случилось. Это было уже слишком. Леон увидел, что таким способом не добьется ничего. Правда, до сих пор в Бориславе ему везло: он напал на несколько богатых жил гор-

ного воска, нефть также шла хорошо; но Леон справедливо боялся, что счастье не вечно будет к нему благосклонно, что оно, возможно, когда-нибудь и отвернется от него, а в таком случае — лучше иметь сильных друзей, нежели сильных врагов. К этому прибавилось еще и то, что после смерти жены у Леона появилось желание пожить спокойно, осесть, пустить корни, воспользоваться на старости плодами своей беспокойной, хлопотливой жизни и обеспечить хорошую жизнь своей единственной дочери. Тут же, ясное дело, нужно иметь кружок друзей, а не врагов. К тому же он услыхал, что у Германа есть единственный сынок во Львове, в ученье у купца,— и у него сразу возникла мысль: сын Германа и его Фанни — вот это пара; самые крупные капиталисты, вместо того чтобы бороться и подкапываться друг под друга, соединяются, связанные тесными семейными узами,— и мысль Леона строила золотые замки на этом крепком фундаменте.

— Видите ли, дорогой сосед,— говорил он Герману,— сам не знаю, в чем дело, отчего меня так потянуло к спокойной, тихой и счастливой пристани. Ведь был же я до сих пор словно перелетная птица: то здесь, то там. Нет, пора успокоиться!

— И я то же говорю,— сказал Герман, делая вид, будто этот разговор его очень занимает.

— Не дал мне бог сына, как вам, но у меня есть дочь, милое дитя. Видеть ее счастливой, с любимым человеком, в кругу детей — ох, это единственная цель моей жизни...

— Даст бог, и это сбудется.

— Да, я очень желаю этого!.. Ах, и еще кружок добрых друзей, таких, как вы, дорогой сосед. Больше мне ничего не нужно для того, чтобы быть счастливым.

— Ну, что касается меня,— сказал, усмехаясь, Герман,— я из Дрогобыча никуда не убегу, я всегда к вашим услугам.

— О, я знаю,— сказал Леон и крепко сжал Герману руку,— я знаю, что вы искренний, добрый человек! Не поверите, как давно хотел я с вами поближе познакомиться... А ваш сын? Правда, я не имею чести знать его лично, но и он уже заранее мил и дорог мне, как собственное дитя.

Герман слегка поморщился при воспоминании о сыне, словно вдруг в медовом прянике разгрыз зерно перца.

— Мой сын...— проговорил он неохотно.— Благодарю вас за доброе слово! Работает, как может.

— Об этом нечего и говорить! — воскликнул Леон.— Я и сам знаю, что сын такого отца, наверное, и минуты не просидит зря. Эх, дорогой сосед, как бы я был счастлив, если бы мы могли

соединиться с вами, сойтись близко во всем, так, чтобы...— Он замолчал и глядел на Германа, а Герман на него, не догадываясь, куда тот метит.

— Знаете,— снова начал Леон,— в нынешний день, такой большой и счастливый для меня...— В эту минуту собеседники встали и подошли к окну: в павильоне было очень душно. Герман выглянул в окно. Едва он отошел от окна, как вдруг кусок кирпича пулей влетел в окно, как раз в том месте, где стоял Герман. И в ту самую минуту, когда Леон говорил о большом сегодняшнем счастье, кирпич врезался в кучу стаканов, стоявших на столе. Жалобно зазвенело и разлетелось стекло, а кирпич полетел дальше и, ударившись о противоположную стену, упал на землю. Все сорвались с мест, а Герман побледнел как полотно: он догадывался, что кирпич предназначался для него.

— Что это? Что? Кто это такой? — послышались встревоженные голоса. Леон, Герман и еще кое-кто из гостей выскочили во двор. Во дворе также был шум.

— А ну, хватай его, босяка! — кричал изо всех сил мастер.

— Кто здесь бросил кирпич? — крикнул Леон.

— Да вот, прошу пана, какой-то босяк, угольщик. Шлялся здесь по улице, высматривал, высматривал, а потом увидел вот этого господина в окне (он указал на Германа), схватил кирпич, да как швырнет — и наутек! Держи его, держи, да в полицию! — снова закричал мастер двум рабочим, которые гнались вниз по Зеленой улице за убегающим молодым угольщиком в черной, как деготь, рубахе и в таком же фартуке.

— Эва, как удирает, бестия! Не догнать! — говорил мастер. Рабочие, гнавшиеся за парнем, были, по-видимому, такого же мнения, потому что, запыхавшись, остановились. Однако один из них наклонился, поднял камень и запустил им в убегающего, который в эту минуту готов был скрыться за поворотом. Камень угодил угольщику в самую пятку, и тот, почувствовав боль, дико вскрикнул и исчез за стеной. Крик этот странно поразил Германа.

— Что это за паренек? — спросил он. Никто не знал угольщика. Леон взглянул на Германа и даже испугался.

— Боже мой, что с вами?

— Ничего, ничего,— ответил Герман,— это от жары, видимо. Какое-то стеснение в груди. Но этот голос, этот голос... такой странный...

Леон не мог понять, чем странен этот голос. Ему он показался самым обыкновенным. И Герман не мог объяснить себе, что это за голос,— ему казалось, что он где-то слышал его, но

где — не знал. Знал только, что какой-то таинственной, необъяснимой силой этот голос воскресил в нем какие-то страшные, давно забытые впечатления, какую-то бурю, следы которой еще не изгладились в его сердце. Но что это за впечатления, как они возникли и как были связаны с этим диким, мучительным криком угольщика,— этого Герман не мог себе объяснить.

Леон между тем взял его под руку и повел в сад под тенистые деревья на душистую высокую траву. Прохладный, свежий воздух быстро успокоил Германа, и Леон снова начал говорить ему о своих желаниях и надеждах.

— Ах, как горячо и давно я ждал наступления такого дня, как нынешний! Как я хотел, чтобы этот день начал новую, спокойную, счастливую полосу моей жизни! Чтобы от него во все стороны протянулись счастливые для меня нити, завязывались счастливые узлы. И вот настал этот день, надежды мои сбылись, узлы завязаны, кроме одного, самого главного... Ах, а вы, мой дорогой сосед и друг, вы сделали бы меня самым счастливым человеком в мире, если бы помогли мне завязать этот последний, самый главный узел!..

— Я? — спросил изумленный Герман.— Какой же это узел?

— Что тут долго говорить! — сказал Леон и взял Германа за руки.— Самое глубокое желание моего сердца, чтобы наши дети, моя Фанни и ваш Готлиб, составили пару!

Герман молчал. Эта мысль не была для него неожиданной, все же его несколько поразило то, что от Леона первого услышал он это предложение.

— Что же, вы согласны? — спросил Леон.

— Гм, не знаю, как бы это...— сказал нерешительно Герман.

— Вы колеблетесь? Не раздумывайте, дорогой сосед. Разве вы не видите тех выгод, которые принесет нам этот союз? Подумайте только: мы, две первые, смею сказать, бориславские силы, мы породнимся, соединимся воедино: кто тогда сможет противостоять нам? Все будут покорны нашей воле, а кто не захочет, тот одним нашим ударом будет повержен в прах! Подумайте: мы станем хозяевами всего нефтяного рынка, мы будем определять цены, скупим окрестные села, леса, каменоломни и копи! Весь этот край в наших руках. Не только торговые и промышленные, но и политические дела края в наших руках. Все выборы проходят, как мы хотим, депутаты и представители говорят то, что мы велим, защищают наши интересы, помещики и графы добиваются нашей милости! Понимаете ли вы? Мы — сила, и пока будем держаться вместе, до тех пор никто против

нас не устоит! — И, разгоряченный собственными словами, Леон бросился обнимать Германа.

— Согласны, дорогой друг, брат мой? — воскликнул Леон.

— Согласен,— сказал Герман,— только не знаю, как моя жена.

— Разве ваша почтенная и умная жена может не желать счастья своему сыну и моей дочери? Нет, этого не может быть! Пойдем, пойдем к ней! Я сегодня же должен уладить это важное дело. Как только разойдутся гости, пойдем вместе, объясним, поговорим...

— Она очень любит сына, это верно. Но мне кажется, что и она лучшей партии, чем ваша Фанни, не найдет для него,— сказал Герман.

— Ах, дорогой друг! — воскликнул обрадованный Леон.— Какой счастливый день для меня сегодня! Боже, какой счастливый день! Пойдем, пойдем!

II

Рука об руку шли два приятеля борисла́вским трактом к дому Германа. Говорил больше Леон. Он был человек очень впечатлительный, и всякая новая мысль его живо захватывала. Неутомимо рисовал он перед Германом все новые картины их будущего величия и силы. Все, о чем он говорил, словно медом было подслащено, все затруднения так и таяли, как снег под лучами солнца. Практичный и холодный Герман вначале не очень шел на приманку этих золотых гор, но чем дальше, тем больше Леон увлекал его за собой, и в его недоверчивой голове постепенно начал шевелиться вопрос: «Ну и что же, разве это невозможно?»

Со своим сыном Готлибом он всегда имел столько хлопот и огорчений, что ему даже в голову не приходило ждать от него чего-нибудь путного, а тем более строить такие широкие планы. Вот и недавно купец, у которого Готлиб около двух лет был на практике, писал Герману, может быть, в сотый раз, что Готлиб плохо ведет себя, за делом не смотрит, деньги, присылаемые из дому, разбрасывает как безумный, над сослуживцами издевается и бог знает каких только глупостей не делает. «С горестью должен признать,— писал далее купец,— что его двухлетнее пребывание в моем заведении не принесло ему почти никакой пользы. Его познания в торговом деле остались такими же, какими были вначале...» Все это невольно приходило Герману на ум сейчас, когда Леон такими заманчивыми красками рисо-

вал ему будущность их «домов» после соединения Готлиба и Фанни. «Пока я жив,— думал Герман,— может быть, дело и будет как-нибудь идти, ну а потом?» Изменить, исправить Готлиба может только чудо, на которое Герман не надеялся. Но он все же слушал Леона, постепенно поддавался чарующему влиянию его слов, словно на легком челноке отплывал в тихое, нежно волнующееся, вечерним блеском позолоченное море, и у него на душе становилось легко, сладостно, словно и в самом деле исполнялись его самые смелые надежды. «А что же, разве это невозможно?» — думал он, и в нем крепла уверенность, что все это не только возможно, но и действительно будет, должно быть.

Тем временем приятели спустились от рынка вниз, на мостик, откуда улица снова поднималась вверх, между двумя рядами высоких ясеней, пока не обрывалась на вершине холма, там, где блестящий позолоченный крест мерцал на солнце. Тут же за мостом, направо, начинался огромный сад, окруженный высокой каменной стеной. Дальше стена кончалась, вместо нее шла дубовая решетчатая ограда между каменными столбами с блестящими черными глазированными маковками. За этой решеткой был уже не сад, а цветник, довольно запущенный, окружавший старинный одноэтажный, но зато просторный дом, крытый тесом. С улицы к нему вели широкие ворота и рядом — маленькая калитка для пешеходов. Это была усадьба Германа. Тут он жил уже много лет, хотя имел еще несколько домов в других частях города и три каменных здания на рынке. Все это он сдавал внаем, а сам не имел охоты трогаться из этого старинного удобного гнезда. Этот дом вместе с большим садом, огородом, двором, конюшнями и прочими пристройками приобрел он у вдовы одного родовитого польского пана. Пан этот владел когда-то громадным имением, ему принадлежало несколько окрестных сел. Но большая часть этого состояния ушла на поддержку неудачной революции 1831 года, а что осталось — было истрачено на многолетний процесс из-за какого-то наследства; таким образом, после отмены панщины именитый владетель очутился словно рак на мели и не мог назвать своим ничего, кроме этого дома с садом да пары лошадей. Здесь он и дожил свой век в тиши, а после его смерти вдова продала и этот последний обломок былого величия и удалилась из этих мест. Вместо прежнего польского помещика появился новый хозяин в этих стенах — Герман. Он в то время только начинал оперяться, покупка этого дома была первым шагом к его будущему богатству; может быть, оттого он и свыкся с этим старым жилищем...

Впрочем, Германа мало занимало внутреннее устройство дома, еще менее интересовал его сад, в котором прежний владелец просиживал, бывало, все лето и в котором, как судачили соседи, и теперь еще не раз в лунную ночь можно было видеть его высокую фигуру с длинными усами и белыми, как молоко, волосами, бродящую по высокой траве,— можно было видеть, как он осматривает каждое дерево, словно старого знакомого, время от времени заламывает руки или тяжко вздыхает. Герман, слушая эти рассказы, смеялся над ними, но в сад его все-таки не тянуло. Он довольствовался тем, что каждую весну подсчитывал деревья и затем сдавал сад в аренду, а сам в него редко когда заглядывал.

И в самом доме Герман мало что изменил. Старинную мебель обил новым репсом, вместо старопольских больших печей поставил новые, изразцовые, между окнами повесил большие зеркала — вот и все. На стенах, рядом с кое-какими новыми гравюрами, висели почерневшие от времени портреты старых польских магнатов, с густыми бровями, грозными усами и залысыми лбами. Странно выглядела эта смесь старины и неуклюжих, казавшихся случайными новшеств, но Германа это мало трогало, он был занят другими, более важными делами: его задачей было накоплять, а не пользоваться, и он накоплял, собирал, умножал с какой-то лихорадочной поспешностью, не беспокоясь о том, кто будет пользоваться всем этим.

— Вот и мое гнездо! — сказал Герман, открывая калитку и пропуская гостя вперед. Леон впервые сегодня переступал через его порог.

— Ах, как здесь удобно, как просторно! — с подчеркнутой любезностью поминутно восклицал Леон, оглядывая выложенный плитами двор. Посредине двора был колодец под навесом, с большим колесом на две бадьи. Дальше, в стороне, виднелась конюшня, а рядом с нею — вход в сад.

— Просторно-то просторно,— ответил Герман,— но, правду говоря, немного пустовато. Видите, человек в мои годы, когда ему недостаточно себя одного, когда он рад бы видеть себя среди целой кучи маленьких, веселеньких...

— О да, да,— перебил его Леон,— именно эта мысль и мне сейчас пришла в голову. Действительно, если жить здесь в кругу молодого потомства, это был бы рай, настоящий рай...

— А сейчас что? — продолжал Герман.— Сын наш во Львове... Ну надо же, чтобы молодой человек смолоду чему-нибудь научился...

— Конечно, конечно!

— А мы с женой — двое нас, к тому же еще она болезненная... Согласитесь, что иногда человеку тошно делается.

Они вошли в дом.

— Правда? — говорил Герман.— Тихо, как в могиле... Слуг держим немного: кучер, кухарка и горничная, больше нам не нужно. И весь день у нас так. Меня обычно редко дома видят,— все дела.

— Да, да,— ответил Леон.— Тяжелая у нас жизнь. Говорят: чего не хватает капиталисту? Живет себе, бездельник, да деньги загребает. А вот посмотрели бы они, пожили несколько дней нашей жизнью, так, наверно, отказались бы и от этих капиталов, и от такой жизни.

— О, разумеется, ручаюсь вам! — подтвердил Герман, хотя в эту минуту и промелькнула у него в голове шаловливая мысль, что при всей тяжести, при всех неудобствах их жизни еще ни один капиталист, однако, не отказался добровольно от своего богатства и не променял его на посох и нищенскую суму.

Герман прошел со своим гостем уже три комнаты. Всюду было тихо и пусто. Он искал жену, но не мог найти. Вошли в четвертую комнату, огромную, словно манеж. Герман оглянулся вокруг,— и здесь не было никого.

— Что за чудо, куда она девалась? — пробормотал вполголоса Герман, как вдруг из соседней комнаты, спальни своей жены, он услыхал громкое всхлипывание.

— Что это? — сказал он, прислушиваясь.

— Не плачет ли кто? — спросил, также прислушиваясь, Леон.

— Прошу вас, дорогой сосед, присядьте здесь, отдохните минутку, вот, пожалуйста, посмотрите альбом, может, найдете знакомые вам лица... Простите, я выйду на минутку, посмотрю, что там такое...

— Пожалуйста, пожалуйста,— ответил Леон, садясь в кресло возле круглого стола. Он взял альбом в руки, но у него не было охоты смотреть. Минуту сидел, не двигаясь и ни о чем не думая. Разыгравшаяся волна его фантазии вдруг иссякла, присмирела под влиянием этой тишины, этого могильного холода, царившего в доме. Он сам не знал, отчего эта тишина ему не нравилась.

— Тьфу! Что за черт, словно какой-то разбойничий притон, человеку даже жутко становится!.. Кажется, вот-вот кто-то вылезет из-за двери и схватит тебя за горло. А тут еще эти картины, дурацкие морды! Тьфу, я этого и минуты не потерпел бы.

А ему хоть бы что: живет себе, как мышь в сапоге, да и в ус не дует!..

Он начал прислушиваться к тому, что делается в соседней комнате, куда пошел Герман, но не слышал вначале ничего, только все то же всхлипывание.

— Хорошее предзнаменование для начала...— продолжал он ворчать.— Вхожу сюда с такими надеждами, а здесь какая-то нечистая сила подыхает, что ли. Это, вероятно, она сама... Слышал я, злая, сварливая ведьма... Ничего не поделаешь, ради пользы дела надо водиться и с такими!

Он снова прислушался. Голоса. Это Герман говорит что-то, но что — не слышно. Шорох какой-то. Тишина. Снова голоса и всхлипывание. Вдруг треск, словно удар чем-то твердым о пол, и пронзительный женский крик:

— Разбойник! Кровопийца! Прочь с моих глаз! Прочь, чтоб тебя глаза мои не видали!

Леон даже подскочил в кресле. Что такое? Он продолжал прислушиваться, но теперь из-за визга и стука не мог разобрать слов. Догадывался только, что какие-то страшные проклятья, ругательства и обвинения градом сыплются на голову Германа, но за что, из-за чего — этого он не знал.

Не знал этого и Герман. Войдя в спальню жены, он увидел, что она, растрепанная, лежала на софе с видом умирающей и всхлипывала. Из ее глаз текли слезы и смочили уже широкий кружок на обивке софы. Герман удивился и не знал, что подумать об этом. Жена, казалось, не заметила, как он вошел, лежала не шевелясь, только грудь ее то поднималась, то опускалась порывисто, как бы с большим усилием. Герман боялся подойти к ней, зная ее крутой нрав, но затем набрался храбрости.

— Ривка! Ривка! — сказал он тихо, приближаясь к ней.

— Чего ты хочешь? — спросила она, быстро поворачивая голову.

— Что с тобой? Чего ты плачешь?

— Чего ты хочешь? — повторила она громче.— Кто здесь с тобой пришел?

— Да никто не пришел. Смотри, никого нет.

— Не ври! Я слышала, что вас двое. Кто это такой?

— Леон Гаммершляг.

— А он зачем?

— Ведь ты знаешь, у него сегодня закладка была, просил меня...

— Но зачем его сюда нелегкая принесла?

— Слушай, Ривка,— начал Герман, видя, что она как будто успокоилась немного.— Леон богатый человек, хороший человек, с головой...

— Скажешь ты наконец, зачем он сюда пришел, или нет? — перебила его Ривка, сжимая кулаки.

— Ведь ты же слышишь, что говорю. Послушай-ка, Леон — богатый человек. А жены у него нет, только одна дочка. Слышишь, Ривка, ты знаешь его дочку Фанни? Правда ведь, девушка ничего?

— Ну?

— Знаешь, что говорит Леон? «Сосед, говорит, у меня одна дочка, а у вас один сын...»

Герман не докончил. При напоминании о сыне Ривка посинела, задрожала вся, а затем, швырнув в сторону скамеечку из-под ног, выпрямилась и закричала:

— Разбойник! Кровопийца! Прочь от меня! Прочь с моих глаз!

Герман остолбенел. Он не знал, что сталось с Ривкой, и только бормотал:

— Ривка, что с тобой? Что ты делаешь, Ривка?..

— Прочь с моих глаз, чудовище! — визжала жена.— Пусть тебя бог покарает! Пусть под тобой земля расступится! Ступай прочь от меня. Ты, ты говоришь мне о сыне! У тебя был когда-нибудь сын? У тебя было когда-нибудь сердце?

— Послушай, Ривка, что с тобой? Послушай!..

— Нечего мне слушать тебя, изверг! Пускай тебя и бог не послушает на своем суде!.. Разве ты слушал меня, когда я тебе говорила: не надо ребенка мучить школою, не надо ребенка донимать проклятой практикой... А ты все нет да нет! Теперь добился, добился того, чего хотел!

— Ну, что случилось, Ривка? Я ничего не знаю!

— Не знаешь? А не знать бы тебе, какой сегодня день, злодей! На, погляди, узнай! На! — И она швырнула ему листок бумаги. Герман дрожащими руками взял измятое, смоченное слезами письмо, в то время как Ривка, словно обессиленная, тяжело дыша, снова упала на кушетку, закрыла лицо ладонями и горько заплакала.

Письмо было из Львова, от купца, у которого находился в ученье Готлиб. Герман, бормоча, читал: «Милостивый государь! Сам не знаю, с чего начать и как рассказать о том, что у нас здесь произошло. Ваш сын Готлиб уже три дня тому назад исчез, и все поиски были напрасны. Только сегодня утром удалось полиции найти его одежду, связанную в узел в кустах на

Пелчинской горе. Его же самого до сих пор нет и следа. Было подозрение, не утопился ли он в пруду, но до сих пор не могли найти тело. Приезжайте как можно скорее, может быть, удастся нам дознаться, что с ним случилось. Впрочем, если что-нибудь откроется еще до получения вами этого письма, сообщу телеграммой».

Герман взглянул на дату: еще позавчера! А телеграммы не было,— значит, ничего! Он долго стоял как в столбняке, сам не зная, что с ним происходит. Громкий плач Ривки вывел его из оцепенения.

— Видишь, видишь! — кричала она.— До чего ты довел ребенка! Утопился мой сыночек, утопился мой Готлиб!.. Лучше бы ты захлебнулся своей нефтью в какой-нибудь бориславской прорве!

— Боже мой,— сказал Герман,— жена, надо же иметь рассудок, разве я в этом виноват?

— Ты не виноват? А кто же? Может быть, я? Иди, людоед, не разговаривай, не стой, поезжай во Львов, может быть, еще можно спасти его или хоть тело отыскать!.. Боже, боже, за что ты меня покарал таким мужем, который свое собственное дитя в гроб вогнал! И пускай бы хоть у него их много было... А то одно-единственное, и того не стало!.. Ой-ой-ой, голова моя, головушка!..

— Да замолчи же, Ривка, может быть, еще не все так плохо, как там написано. Слышишь, только одну одежду нашли! А одежда что? Одежду мог снять...

— А-а... снял бы ты с себя свою шкуру поганую! Ты еще меня уговариваешь, добиваешь меня, изверг! О, я знаю, тебе и дела мало, что твоего сына где-то там в воде рыбы едят! Тебе что! Но я! Мое сердце разрывается, мое сердце чует, что все погибло, нет моего сыночка золотого, нету, нету!

Герман видел, что с женой нечего больше разговаривать, что ни до чего путного с ней нельзя договориться. Он бросился как можно скорее отдать приказание кучеру, чтобы тот собирался в дорогу, запрягал лошадей. Железная дорога в Дрогобыч тогда еще не была проведена. Желающие ехать во Львов должны были на лошадях ехать до Стрыя и лишь оттуда поездом во Львов.

Проходя через зал, Герман взглянул в сторону и увидел Леона,— тот все еще сидел в кресле, словно на иголках; он слышал разговор, прерываемый внезапными взрывами рыданий, но не мог понять, что случилось с его «соседями» и что все это значит. Герман только сейчас вспомнил о Леоне, о котором,

оглушенный криками жены и собственным несчастьем, совсем позабыл.

— А, дорогой сосед,— сказал он, приближаясь к Леону,— простите, но несчастье...

— Господи, что с вами? — воскликнул Леон.— Вы бледны как полотно, дрожите, ваша жена плачет. Что случилось?

— Эх, и не спрашивайте,— сказал тихо Герман.— Несчастье, словно гром с ясного неба, обрушилось на наш дом и так неожиданно, что я до сих пор еще не знаю, сон ли это или действительность.

— Но скажите, боже мой, неужто и помочь нельзя ничем?

— Какая там помощь! Кто может воскресить мертвого!.. Погибло, погибло мое счастье, моя надежда!

— Мертвого?

— О да! Моего сына, моего Готлиба уже нет в живых!

— Готлиба! Что вы говорите? Может ли это быть?

— Пишет из Львова его хозяин, что пропал без вести. Несколько дней не могли отыскать ни малейшего следа, лишь недавно полиция нашла его одежду в кустах на Пелчинской горе.

— А тело?

— Нет, тело не найдено.

— Ах, так, может быть, он еще жив?

— Трудно поверить, любезный сосед! Я и сам так думал вначале. Но затем, взвесив его характер и все... все.. я потерял надежду! Нет, не видать мне его больше, не видать!

Только теперь, когда Герман облегчил свое сердце этим рассказом, из его глаз потекли слезы. Он знал, что его сын был испорченный и полусумасшедший, но знал также, что это был его единственный сын, наследник его богатства. Еще только сегодня Леон убаюкивал его сердце такими сладкими надеждами! Он начинал уже думать о том, что если сам Готлиб и не исправится, то, *может быть, умная, хорошая жена, Фанни, сумеет*, по крайней мере, сдерживать его дикие причуды, приучит его понемногу к степенной, разумной жизни. А теперь вдруг все лопнуло, словно пузырь на воде. Последние ниточки отцовской любви и крепкие нити себялюбия в его сердце были неожиданно и больно задеты — и он заплакал.

Леон бросился утешать его.

— Ах, дорогой сосед, не плачьте! — говорил он.— Я уверен, что ваш Готлиб жив, что он еще принесет вам утешение. Только не поддавайтесь скорби. Больше твердости, мужества! Нам, сильным людям, капиталистам, передовым людям своего времени, нужно быть всегда твердыми и непоколебимыми!

Герман только качал головой на эти слова.

— Что мне от этого? — ответил он печально.— Зачем мне теперь сила, капитал, если больше некому им пользоваться? А я... старик уже!..

— Нет, не теряйте надежды. Не теряйте надежды! — уговаривал Леон.— Поскорее поезжайте во Львов, и я ручаюсь, что вам удастся его отыскать.

— О, если бы дал господь, если бы дал господь! — воскликнул Герман.— Вы правы: надо ехать, я должен найти его, живого или мертвого!

— Нет, не мертвого, а живого,— подхватил Леон.— И уж теперь не оставляйте его там, у какого-то купца, а привозите сюда, всем нам на утешение, на радость! Да, дорогой сосед, да!..

В эту минуту открылась дверь из спальни, и в комнату вошла Ривка, заплаканная и красная, как огонь. Ее полное, широкое лицо запылало гневом, когда она увидела Леона. И Леон сразу почувствовал себя не в своей тарелке, когда увидел Германиху, высокую, полную и грозную, словно само воплощенное возмездие. Однако, скрывая свою растерянность, он с преувеличенной вежливостью подбежал к ней, поклонился с выражением скорби на лице и уже открыл было рот, чтобы заговорить, когда Германиха, смерив его презрительным взглядом с ног до головы, коротко, но громко спросила:

— А ты зачем здесь, бродяга?

Леон остолбенел, услыхав такое приветствие. Затем на его лице появилась холодная, деланная улыбка, и, поклонившись еще раз, он начал:

— Действительно, сударыня, я очень сожалею, что в такое неподходящее время...

— Что тебе здесь нужно, я спрашиваю? — выкрикнула Ривка и посмотрела на него с такой злостью и презрением, что Леону страшно стало, и он невольно сделал шаг назад.

— Прошу прощения,— сказал он, еще не теряя мужества,— мы здесь с вашим супругом, а моим дорогим товарищем, строили планы,— ах, какие хорошие планы,— о нашем будущем, и я твердо верю, что бог нам поможет дождаться их осуществления.

— Вам? Бог поможет? Людоеды, двуличные твари,— бормотала Ривка и вдруг, словно одержимая, подняла сжатые кулаки и бросилась на перепуганного Леона.

— Уйдешь ли ты наконец из моего дома, душегуб? — кричала она.— Ты еще смеешь терзать мое сердце, говорить мне свои глупости, после того как мой сын из-за вас и ваших про-

клятых денег погиб!.. Вон из моего дома! Вон! А если еще раз осмелишься здесь появиться, я выцарапаю твои бесстыжие гадючьи глаза! Понимаешь?

Леон побледнел, съежился под градом этих слов и, не спуская глаз с грозного видения, начал пятиться к двери.

— Но послушай, Ривка,— вмешался Герман,— что с тобой? За что ты обижаешь нашего доброго соседа? А ведь, может быть, все это еще не так, может быть, наш Готлиб жив, и все то, о чем мы говорили, может сбыться?

Герман надеялся таким образом успокоить жену, но оказалось, что эти слова привели ее в еще бóльшую ярость.

— А хотя бы и так,— крикнула она,— я скорее соглашусь десять раз увидеть его мертвым, чем видеть вот этого паршивца своим сватом! Нет, никогда, пока я жива, никогда этого не будет!

Оба мужчины стояли минуту как остолбенелые, не зная, что случилось с Ривкой и откуда у нее такая бешеная ненависть к Леону. А так как Ривка продолжала кричать, метаться и выгонять Леона из дому, тот, съежившись и надвинув цилиндр на голову, вылетел вон из негостеприимного дома и, не оглядываясь, весь дрожа от неожиданного волнения, пошел в город.

— Боже, эта женщина в самом деле взбесилась,— ворчал он.— И она должна была стать свекровью моей Фанни? Да она, змея полосатая, съела бы ее за один день! Счастье мое, что так случилось, что этот... сынок их куда-то запропастился! Тьфу, не хочу иметь с ними никакого дела!..

Так Леон ворчал и плевался всю дорогу. Ему только теперь стало понятно, почему и другие богачи избегают Германа, неохотно бывают в его доме и, кроме торговых и денежных, не имеют с ним никаких других дел. И все-таки Леону было досадно, что так случилось: ему было жаль тех блестящих надежд и планов, которыми он еще так недавно упивался. Впрочем, в голове его всегда было много планов, и, когда рушился один, он недолго горевал, а сразу же хватался за другой. И сейчас он быстро оставил недавние мечты и старался свыкнуться с мыслью, что «работать» ему в дальнейшем придется не в союзе с Германом, а одному, без Германа, и, возможно, против Германа. «Против! Да,— думал он.— К этому, наверно, вскоре принудит меня и сам Герман, будет стараться теперь еще больше вредить мне».

Леон и сам не знал, с чего это ему пришло в голову, что Герман должен теперь непременно враждовать с ним. Он и наедине с самим собой откровенно не признался бы, что приписы-

вает свои мысли Герману, что в его сердце закипает какая-то дикая неприязнь к Герману за обиду, испытанную в его доме, за разрушение его блестящих планов. Леон и сам себе не признавался, что это именно он рад был бы теперь навредить Герману, показать ему свою силу, «научить его уму-разуму». Он не вникал в причины, но думал только о самой борьбе, старался заранее представить себе ее способы, многочисленные случайности, неудачи, чтобы своевременно предохранить себя от них, чтобы поставить Германа в наиболее невыгодные условия, нагромоздить на его пути как можно больше препятствий и трудностей. И по мере того как шаги его замедлялись, он все глубже погружался в свои мысли, все более тяжелые несчастья и потери обрушивал на голову Германа, громил этого толстенького, спокойного, словно за каменной стеной схоронившегося богача, нагонял на него страх и, наконец, перед самым входом в дом, свалил его совсем и вместе с его сумасшедшей женой выгнал из последнего убежища — из дома на бориславском тракте.

— У-у, так вам и надо! — шепнул он, словно радуясь их отчаянию.— Чтобы ты знала, ведьма, как выцарапывать мне глаза!

В то время как Леон, погруженный в свои мечты, радовался полному упадку дома Гольдкремеров и заранее подсчитывал прибыль, которая придется на его долю в результате этой великой победы, Герман в карете вихрем мчался по улицам Дрогобыча на стрыйский тракт. Лицо его все еще было очень бледно, он то и дело чувствовал какой-то холод за спиной и мелкую дрожь во всем теле, а в его голове кружились и бурлили мысли, словно вода на мельничном колесе. Несчастье свалилось на него так неожиданно, к тому же несчастье такое странное и непостижимое, что он в конце концов решил не думать ни о чем и терпеливо ждать, что из всего этого выйдет. Он решил прожить несколько дней во Львове и употребить все средства на то, чтобы отыскать сына и выяснить точно, почему и куда он пропал. Через несколько дней он должен был выехать в Вену, куда компаньон по торговым делам вызвал его телеграммой для улаживания важного дела, связанного с нефтяными промыслами Бориславa. Если в течение нескольких ближайших дней ему не удастся во Львове добиться своего, он решил предоставить это дело полиции, а самому все-таки съездить в Вену. Правда, жена не велела ему возвращаться без сына, живого или мертвого, а о поездке в Вену по «нефтяным» делам она и слышать не хотела,— но что жена понимает! Разве она знает, что Герман хоть и будет сам руководить поисками во Львове, но Готлиба все-

таки может не найти, а деньги и без него свое сделают, если вообще можно еще что-нибудь сделать. В Вене же ему, конечно, необходимо быть, там дело без него не двинется. Так размышлял Герман, быстро катясь в карете по дороге в Стрый. Волнистая предгорная местность проносилась перед ним, не оставляя в его душе никакого следа. Он ждал нетерпеливо, скоро ли вдали забелеют башни Стрыя; на него нагоняли тоску бесконечные ряды берез и рябин, тянувшиеся по обеим сторонам дороги; он постепенно начал успокаиваться, покачиваясь от одной стенки кареты к другой, и наконец, прислонившись лицом к подушке, уснул.

После отъезда Германа Ривка снова бросилась на софу, всхлипывая и вытирая глаза, и всякий раз, как она взглядывала на злополучное письмо из Львова, слезы с новой силой лились из ее глаз. Слезы смягчали ее горе, отгоняли докучные мысли, она уносилась с ними вдаль, как на тихих волнах, не думая о том, куда они несут ее. Всхлипывая и вытирая глаза, она както забывалась, забывала даже о Готлибе, о письме, о своем горе и чувствовала только льющиеся холодеющие слезы.

Куда девалось то время, когда Ривка была бедной молодой работницей? Куда девалась прежняя Ривка, проворная, трудолюбивая, веселая и довольная тем, что имела? То время и та Ривка сгинули бесследно, изгладились даже из затуманенной памяти теперешней Ривки!..

Двадцать лет прошло с той поры, когда она, здоровая, крепкая девушка-работница, однажды вечером встретилась случайно на улице с бедным «лыбаком» — Германом Гольдкремером. Они разговорились, познакомились. Герман в то время, неуверенными еще шагами, начинал идти к богатству; он занимался казенными подрядами и залез в долги, рискуя все потерять, так как у него не хватало денег, чтобы выполнить все свои обязательства. Узнав о том, что у Ривки есть немного денег, собранных в приданое, он поспешно женился на ней, спас при помощи ее приданого свое дело и добился больших прибылей. Счастье улыбнулось ему и с тех пор никогда не покидало его. Богатство текло ему в руки, и чем больше оно становилось, тем меньше были потери и тем вернее прибыли. Герман весь отдался этой погоне за богатством; Ривка стала теперь для него пятым колесом в телеге; он редко бывал дома, а если когда и заглядывал, то избегал ее чем дальше, тем больше. И недаром: Ривка сильно изменилась за эти годы, и изменилась не к лучшему, хотя, повидимому, и не по своей вине. Можно сказать, что богатство Германа заело ее, подточило морально. Сильная и здоровая от рождения, она нуждалась в движении, работе, деле, которым

могла бы заняться. Пока она жила в бедности, в этом у нее недостатка не было. Она служила у богатеев, бралась за любую работу, лишь бы прокормить себя и свою тетку, единственную родственницу, которая осталась в живых после холеры. Выросшая в бедной семье, она не получила, разумеется, никакого, даже начального, образования. Тяжелая жизнь и однообразная, механическая работа развили ее силу, ее тело, но совершенно не затронули ум. Она выросла в полном невежестве и темноте духовной, не обладала даже теми врожденными способностями и сметкой, какие обычно встречаются у деревенских девушек. Лишь то, что касалось непосредственно ее, могла она понять, осмыслить,— вне этого ничего не понимала. Такой вышла она замуж за Германа.

Любви между ними не было. Правда, молодая здоровая натура обоих вначале влекла их друг к другу — неразвитые мысли и чувства и не требовали ничего, кроме простого физического наслаждения. Но и тогда они целыми днями обычно не виделись,— тем приятнее была встреча вечером. У них родилась дочь, которая, однако же, скоро умерла, кажется, из-за неосторожности самой матери, ночью. В то время Гольдкремеры считались еще бедными: Герман рыскал целыми днями по городу или по окрестным деревням, Ривка хозяйничала дома, варила, стирала белье, рубила дрова, шила и мыла,— одним словом, была работницей, как и прежде. И это была наиболее счастливая пора ее замужества. Первый ребенок — здоровая и красивая девочка — очень ее радовал и доставлял ей немало хлопот и забот. Чем больше она работала и хлопотала, тем здоровее и веселее становилась. Правда, она и сама не знала, что это именно от работы, и частенько жаловалась мужу, что не имеет никогда ни минуты отдыха, что губит здоровье, повторяя скорее обычные жалобы других женщин, нежели исходя из собственных убеждений и собственного опыта.

К несчастью, ее желания очень быстро исполнились. Герман разбогател, купил удобный и просторный дом на борисловском тракте, нанял прислугу, которой требовала жена,— и ей вначале стало как будто легче. Она ходила по тем комнатам, в которые еще недавно робко заглядывала с улицы, присматривалась к картинам, мебели, зеркалам и обоям, распоряжалась на кухне, заходила в кладовую, но скоро поняла, что все это было не нужно. Герман сам выдавал слугам все по счету и за малейшую неточность грозил прогнать со службы, хотя при небольшом хозяйстве, которое они вели, нечего было бояться воровства. Нанятый повар понимал в кушаньях гораздо больше,

чем сама хозяйка, и ее советы и распоряжения принимал с вежливой улыбкой; переставлять мебель и перевешивать картины ей скоро надоело. И вот началась новая, страшная пора ее жизни. Она прежде не знала, что такое скука,— теперь скука пронизывала ее до мозга костей. Она то слонялась по огромным комнатам как неприкаянная, то сидела на кухне и болтала с прислугой, то лежала целыми часами на софе, то выходила на улицу и быстро возвращалась домой, не находя себе никакого занятия, никакой работы, ничего, что могло бы привести в движение ее нервы и мозг. Слуги были с нею неразговорчивы, зная ее раздражительность, вспыльчивость. В гости она ходила редко, да и принимали ее везде очень холодно. Впрочем, всякие посещения были для нее мукой. В том новом кругу людей, в который так неожиданно ввело ее богатство мужа, она чувствовала себя совсем чужой, не умела шагу ступить, не знала, что говорить, не понимала ни их комплиментов, ни ядовитых намеков, а своими грубыми шутками и простодушными замечаниями вызывала только смех. Скоро она спохватилась, что в самом деле становится посмешищем в глазах этих людей, и совсем перестала бывать в обществе, перестала принимать у себя посторонних, за исключением нескольких пожилых женщин. Но и они вскоре были разобижены ее раздражительностью, внезапными необузданными вспышками и перестали у нее бывать. Ривка осталась одна, мучилась и металась, как лесной зверь, запертый в клетку, и никак не могла понять, что с ней происходит. Ее неразвитый ум не мог ни доискаться причины этого положения, ни найти из него выхода,— найти хоть какую-нибудь деятельность, хоть какое-нибудь занятие для ее здоровой, крепкой натуры. Лишенная всякого дела, всякого живого интереса в жизни, она замкнулась в самой себе и, пожираемая внутренним огнем, время от времени вспыхивала неукротимым, безумным гневом из-за какой-нибудь мелочи. По мере того как Ривка отвыкала от работы, труд становился ей все более ненавистным и тяжелым: она не могла заставить себя прочитать хотя бы одну книжку, а ведь несколько лет тому назад тетка научила ее немного грамоте. Скука застилала все перед ее глазами серой, отвратительной пеленой, и она делалась все более одинокой, все глубже падала на дно той пропасти, которую вокруг нее и под нею вырыло богатство ее мужа и которую ни она, ни ее муж не умели заполнить ни сердечной любовью, ни разумным духовным трудом.

Вот в такое-то время родился у Ривки сын — Готлиб. Врачи вначале не надеялись, что он выживет. Ребенок был болезненный, непрерывно кричал, плакал, и слуги шептались между

собой на кухне, что это не ребенок, что его «черт подменил». Но Готлиб не умер, хоть и не становился более здоровым. Зато для его матери хоть на некоторое время свет прояснился. Она с утра до вечера бегала, кричала, суетилась возле ребенка и сразу почувствовала себя более здоровой, менее раздражительной. Тоска пропала. И, выздоравливая, Ривка тем сильнее любила своего сына, чем слабее и беспокойнее он был. Бессонные ночи, непрерывные волнения и заботы — все это делало Готлиба более дорогим, более милым. Со временем мальчик как бы окреп немного, поздоровел, но уже и тогда видно было, что его духовные способности будут далеко не блестящи. Он едва на втором году начал ходить и в три года лепетал, как шестимесячное дитя. Зато, к великой радости матери, начал хорошо есть, словно за первые три года сильно проголодался. Животик у него всегда был полный и вздутый, как барабан, и стоило ему лишь немного проголодаться, он сейчас же начинал визжать на весь дом. Но чем больше подрастал Готлиб, тем хуже делался его характер. Он всем надоедал, портил все, что можно было испортить, и ходил по комнатам словно неприкаянный, высматривая, к чему бы прицепиться. Мать любила его без памяти, дрожала над ним и ни в чем не прекословила ему. Ее неразвитый ум и чувство, которое так долго подавлялось, не могли указать ей другого пути для проявления материнской любви; ей и в голову не приходило подумать о разумном воспитании ребенка, и она заботилась только о том, чтобы исполнить каждое его желание. Слуги боялись маленького Готлиба, как огня, потому что он любил ни с того ни с сего прицепиться и либо порвать платье, облить, исцарапать, укусить, либо, если он не мог этого сделать, начинал кричать изо всей силы, на крик прибегала мать, и его несчастной жертве приходилось тогда еще хуже. Хорошо, если дело ограничивалось бранью и побоями, а то случалось, что прислугу немедленно прогоняли со службы. Герман не любил сына уже хотя бы потому, что и в те редкие дни, когда бывал дома, никогда не имел из-за него покоя. Маленький Готлиб вначале боялся отца, но когда мать несколько раз яростно схватилась из-за него с отцом и отец уступил, мальчик своим детским чутьем ощутил, что и здесь ему воля, что мать защитит его, и начал выступать против отца с каждым разом все смелее. Это бесило Германа, но он не мог ничего поделать, так как жена во всем потакала сыну и готова была за него глаза выцарапать. И это увеличивало холодность Германа и к жене и к сыну. Разлад в семье усилился, когда пришлось отдать Готлиба в школу. Само собой разумеется, что несколько дней до этого Ривка

плакала над своим сыном так, словно его должны были повести на убой: она разговаривала с ним, словно прощаясь навеки, рассказывала ему, какие строгие люди эти учителя, и заранее уже грозила тем из них, которые осмелятся задеть ее золотого сыночка; она приказывала ему, чтобы он сейчас же пожаловался ей, если кто-нибудь в школе оскорбит или обидит его, а она уж покажет учителям, как нужно с ним обращаться. Одним словом, не начав еще ходить в школу, Готлиб уже питал к ней такое отвращение, словно это был сущий ад, изобретенный злыми людьми нарочно для того, чтобы мучить таких как он, «золотых сыночков».

Зато Герман ударился в другую крайность. Он пошел к ректору отцов базилиан, которые содержали в Дрогобыче единственную в то время школу, и просил его присматривать за Готлибом, чтобы тот учился и привыкал к порядку. Он рассказал, как мальчик избалован и испорчен матерью, и просил держать его в строгости, не жалеть угроз и даже наказаний и не обращать внимания на то, что будет говорить и делать его жена. Добавил даже, что, если это будет нужно, он найдет для Готлиба отдельную квартиру вне дома, чтобы избавить его от вредного влияния матери. Отец ректор был очень удивлен, услыхав это, но вскоре и сам увидел, что Герман говорил правду. Готлиб не только был малоспособным к учению ребенком, но его начальное домашнее воспитание было так дурно, что отцы учители, вероятно, ни с кем еще не имели столько хлопот, сколько с ним. Ученики, товарищи Готлиба, помнутно жаловались на него: тому он порвал книжку, другому подбил глаз, а у третьего отобрал шапку и забросил ее в монастырский огород. Если кто-нибудь в коридорах и классах больше всех шумел и кричал, то это наверняка был Готлиб. Если кто-нибудь во время урока возился или громко стучал партой, то это также был он. Если кто-нибудь в целом классе осмеливался поспорить с учителем, уйти с урока, да еще и дверью хлопнуть,— это тоже он. Учители вначале не знали, что с ним делать; они изо дня в день жаловались ректору, ректор писал отцу, а отец отвечал коротким словом: «Бейте!» Тогда посыпались на Готлиба наказания и розги, которые хоть внешне как будто усмирили немного, сокрушили его крутой нрав, но зато развили в нем скрытность и упорную злобу и, таким образом, окончательно испортили его. За семь или восемь лет Готлиб едва окончил четырехклассную нормальную школу и, искалеченный морально, неразвитый духовно, с безграничным отвращением к учению и ненавистью к людям, а особенно к отцу, поступил в гимназию. Здесь он за три года

не окончил еще и второго класса, когда скверная и темная история, происшедшая у него с отцом, навсегда прервала его школьное учение [1].

Но кто знает, может быть, эти несчастные школьные годы были более тяжелыми и мучительными для Ривки, нежели для самого Готлиба. Школа на большую часть дня разлучала ее с сыном и тем самым ввергала ее снова в бездонную пропасть бездействия и скуки. Вечные же слезы и жалобы Готлиба еще больше озлобляли и раздражали ее. Вначале она, словно раненая львица, ежедневно бегала к отцам базилианам, упрекала в несправедливости и неспособности учителей, кричала и проклинала до тех пор, пока ректор не пристыдил ее и не запретил приходить в школу. Потом она решила было настоять на том, чтобы отобрать Готлиба у отцов базилиан и отдать в какую-нибудь другую школу, но скоро сообразила, что другой школы в Дрогобыче не было, а отдавать Готлиба в другой город, к чужим людям,— о том она и думать не могла без содрогания. Она металась в поисках выхода, словно рыба в сети, и порою целые дни просиживала на софе, плача и думая о том, что вот в школе в эту минуту, может быть, тащат ее сына, толкают, кладут на скамейку, бьют,— она громко проклинала и школу, и ученье, и мужа-злодея, который нарочно изобрел эту муку для сына и для нее. Эти вспышки становились все более частыми и довели ее в конце концов до ненависти ко всем людям, до какого-то непрерывного раздражения, готового в любую минуту взорваться дикими проклятьями. Теперь уже Ривка и не думала бывать в обществе или как-нибудь разогнать свою скуку; она слонялась по дому, не находя себе места, и никто из слуг без крайней нужды не смел показаться ей на глаза. Такое положение дошло до предела, когда Герман два года тому назад отвез Готлиба во Львов и отдал в ученье купцу. Ривка словно обезумела, рвала на себе волосы, бегала по комнатам и кричала, затем успокоилась немного и долгие месяцы сидела день изо дня молча, как зверь в клетке. Одиночество и пустота вокруг нее и в ней самой стали еще более страшными,— даже муж боялся подступиться к ней и старался по целым дням не бывать дома. И среди всего этого мрака в ее сердце горел лишь один огонь — безумная, можно сказать звериная, любовь к Готлибу. Теперь завистливая судьба намеревалась отнять у нее и эту последнюю опору, стереть в ее сердце все, что оставалось в нем человеческого. Страшный удар

[1] Об этом рассказано в повести «Boa constrictor», напечатанной в 1878 г. в издании «Громадський друг» [«Друг общества»], ч. II, «Дзвін» [«Колокол»] и «Молот».

обрушился на нее, и если она в эти минуты не сошла с ума, то лишь потому, что не могла поверить в свое несчастье.

После отъезда Германа она так и застыла на своей софе. Ни одна мысль не шевелилась у нее в голове, только слезы лились из глаз. Весь мир исчез для нее, свет померк, люди вымерли, она ощущала лишь непрестанную ноющую боль в сердце.

Вдруг она вскочила и задрожала всем телом. Что это? Что за шум, что за стук, говор долетели до нее? Она затаила дыхание и прислушалась. Говор у входа. Голос служанки, которая как будто бранится с кем-то и не пускает в комнату. Другой голос, резкий и гневный, стук, словно от падения человеческого тела, треск двери, топот шагов по комнате, ближе, все ближе...

— Ах, это он, это мой сын, мой Готлиб! — вскрикнула Ривка и бросилась к двери. В эту минуту чья-то сильная рука толкнула дверь, и перед нею предстал весь черный, в истрепанных черных лохмотьях, молодой угольщик.

Ривка невольно вскрикнула и отпрянула назад. Угольщик глядел на нее гневными большими глазами, в которых сверкали злоба и ненависть.

— Что, не узнаешь меня? — проговорил он резко, и в ту же минуту Ривка, словно безумная, бросилась к нему, начала тискать и целовать его лицо, глаза, руки, смеясь и плача.

— Ах так, это все-таки ты? Я не ошиблась! Боже, ты жив, ты здоров, а я уж чуть не умерла! Сыночек мой! Любимый мой, ты жив, жив!..

Восклицаниям не было конца. Ривка потащила угольщика на кушетку и не выпускала из объятий, пока он сам не вырвался. Прежде всего, услыхав шаги приближающейся служанки, он запер дверь и, обращаясь к матери, сказал:

— Прикажи этой проклятой обезьяне, пускай идет к черту, а то я разобью ее пустой череп, если она сейчас же отсюда не уберется.

Ривка, послушная сыну, не открывая дверь, приказала служанке идти на кухню и не выходить, пока ее не позовут, а сама начала снова обнимать и ласкать сына, не сводя ни на минуту глаз с его гневного, измазанного сажей лица.

— Сыночек мой,— начала она,— что это с тобой? Что ты наделал?

И она начала разглядывать его с выражением бесконечной жалости, словно речь шла не о нищенской одежде, а о смертельной ране на его теле.

— Ага, а вы думали, что я так и буду до самой смерти страдать у этого проклятого купца? — крикнул Готлиб, топая

от злости ногами и вырываясь из объятий матери.— Вы думали, что я не посмею поступить по своей воле? А?

— Что ты, золото мое, кто так думал? — воскликнула Ривка.— Это, может быть, изверг этот, твой отец так думал!

— А ты нет?

— Я? Господи! Сыночек, да я бы крови своей не пожалела для тебя. Сколько раз я говорила ему...

— А он куда уехал? — перебил ее Готлиб.

— Да во Львов, искать тебя.

— А-а, так,— сказал Готлиб с довольной улыбкой,— пускай поищет.

— Но как же ты добрался сюда, голубчик?

— Как? Не видишь? С угольщиками, которые возвращались из Львова.

— Бедное мое дитятко! — воскликнула Ривка.— И ты ехал с ними всю дорогу! То-то горя натерпелся, должно быть, господи! Ну-ка, сбрось поскорей эту гадость с себя: я велю принести воды, вымойся, переоденься!.. Я уж больше не пущу тебя, не позволю, чтобы этот мучитель увез тебя назад, нет, никогда! Снимай, голубчик, эту нечисть, снимай, я сейчас пойду принесу тебе чистое платье. Ты голоден, правда? Погоди, я позову прислугу...

И она встала, чтобы позвонить. Но Готлиб силой удержал ее.

— Оставь меня в покое, не надо,— сказал он коротко.

— Но почему же, сыночек? Ведь ты же не будешь так...

— Ага, ты думала,— сказал Готлиб, вставая перед ней,— что я для того только вырвался из Львова в этих лохмотьях, для того только тащился с угольщиками пятнадцать миль, чтобы поскорее снова отдаться вам в руки, дать запереть себя в какую-нибудь клетку, да еще в придачу слушать ваши крики и ваши наставления? О нет, не бывать этому!

— Но, сынок,— вскрикнула, бледнея и дрожа от страха, Ривка,— что же ты хочешь делать? Не бойся, здесь, дома, я защищу тебя, никто ничего тебе не сделает!

— Не нужна мне твоя защита, я сам за себя постою!

— Но что же ты будешь делать?

— Буду жить так, как сам захочу, без вашей опеки!

— Господи, да ведь я же не запрещаю тебе и дома жить, как ты хочешь!

— Ага, не запрещаешь! А стоит мне только выйти куда-нибудь, задержаться, сейчас же расспросы, слезы, черт знает что!.. Не хочу этого. А еще он приедет, о, много я тогда выиграю!

Сердце Ривки сжалось при этих словах. Она чувствовала, что сын не любит ее, терпеть не может ее ласки, и это чувство испугало ее, словно в эту минуту она теряла сына вторично и уже навсегда. Она неподвижно сидела на кушетке, не сводя с него глаз, но не могла ни слова выговорить.

— Дай мне денег, я устрою свою жизнь так, как мне нравится,— сказал Готлиб, не обращая внимания на ее волнение.

— Но куда же ты пойдешь?

— Тебя это не касается. Я знаю, что ты сразу же расскажешь ему, как только он приедет, а он прикажет жандармам привести меня.

— Но я богом клянусь, что не скажу!

— Нет, я и тебе не скажу. Зачем тебе знать? Давай деньги!..

Ривка встала и открыла конторку, но больших денег у нее никогда не было. В конторке она нашла только пятьдесят гульденов и молча подала их Готлибу.

— Что это? — сказал он, вертя в руках банкнот.— Нищему подаешь, что ли?

— Больше у меня нет, сыночек, посмотри сам.

Он заглянул в конторку, все перерыл в ней и, не найдя больше денег, проговорил:

— Ну, пусть будет так. Через несколько дней раздобудь побольше.

— Ты придешь? — спросила она радостно.

— Посмотрю. Если его не будет, приду, а не то пришлю кого-нибудь. Как покажет от меня знак, дай ему деньги в запечатанном конверте. Но запомни,— здесь Готлиб грозно потряс перед нею сжатыми кулаками,— никому обо мне не говори ни слова.

— Никому?

— Никому! Я тебе приказываю! Ни ему, ни слугам, никому! Пусть никто в Дрогобыче не знает обо мне. Хочу, чтобы мне никто не надоедал. А если скажешь кому, то пеняй на себя!

— Но, сыночек, тебя же здесь видела прислуга.

— Эта обезьяна? Скажи, что посыльный от кого-нибудь или что другое! Говори, что хочешь, лишь обо мне ни слова. А если он дознается, что я жив и бываю здесь, или если кто вздумает следить за мной, то помни — такой вам натворю беды, что и не опомнитесь. Хочу жить так, как мне нравится,— и все тут!

— Боже мой! — вскрикнула Ривка, заламывая руки.— И долго ты будешь жить так?

— Сколько мне захочется.

С этими словами Готлиб подошел к окну, открыл его, словно желая посмотреть в сад, и в одно мгновенье выпрыгнул через окно во двор. Ривка вскочила, вскрикнула, подбежала к окну, но Готлиба уж и след простыл. Только высокие лопухи в саду шелестели, словно тихо шептались о чем-то между собой.

В эту минуту служанка, бледная и испуганная, вбежала в соседнюю комнату и начала кричать:

— Пани, пани!

Ривка быстро опомнилась и открыла дверь.

— Пани что с вами? Вы кричали, звали меня?

— Я? Тебя? Когда? — спрашивала Ривка, вспыхнув вся, как огонь.

— Сейчас. Мне показалось, что вы кричали.

— Это в твоей дурной голове кричало что-то, обезьяна! Марш на кухню! Разве я не приказывала тебе только тогда приходить, когда тебя позовут?

— Но мне казалось, что вы меня зовете,— робко пробормотала служанка.

— Марш на кухню, тебе говорят,— закричала Ривка,— и пускай в другой раз тебе не кажется ничего, понимаешь?

III

Прошло три недели со дня закладки. Строительство дома Леона быстро продвигалось вперед: фундамент был уже готов, и фасад из тесаного камня возвышался почти на метр над землей. Строитель наблюдал за работой, а в первые дни и сам Леон с утра до вечера просиживал на стройке, всюду совал свой нос и всех торопил... Но это продолжалось недолго. Какое-то срочное дело потребовало присутствия Леона в Вене, и, хотя без него работа не пошла медленнее, однако рабочие вздохнули с облегчением, не слыша больше его вечных понуканий.

Однажды утром, незадолго до шести часов, несколько рабочих сидели на бревнах и камнях, ожидая сигнала к работе. Они разговаривали о том и о сем, пока собирались остальные рабочие. Вот пришел строитель, взглянул на рабочих и строго крикнул:

— Ну что, все вы здесь?

— Все,— ответил мастер.

— Начинайте работу!

Один из рабочих дал сигнал. Все пришло в движение на площадке. Каменщики плевали на ладони и брались затем за

кирки, лопатки и молотки, парни и девушки, нанятые таскать кирпич, кряхтя, сгибали спины и, просовывая шею в деревянное ярмо, взваливали на себя приспособления для ношения кирпича; плотники размахивали блестящими топорами; пильщики взбирались на козлы; большая машина человеческой рабочей силы со скрипом, стонами и вздохами начинала приходить в движение.

Вдруг на улице со стороны рынка показался еще один рабочий, сгорбившийся, жалкий, болезненный, и свернул на строительную площадку.

— Бог на помощь! — сказал он слабым голосом, останавливаясь возле мастера. Мастер оглянулся, посмотрели и другие каменщики.

— Это ты, Бенедя? Ну, что же ты, здоров уже?

— Как будто здоров,— ответил Бенедя.— Некогда хворать; видите, мать у меня старая, больная, не ей за мной ухаживать!

— Ну, а сможешь ли ты работать, парень? — спросил мастер.— Ведь ты выглядишь словно мертвец, куда тебе работать!

— А что же делать? — ответил Бенедя.— Что смогу, то и буду работать. А разойдусь немного — может, и сам окрепну, поправлюсь. Найдется ведь местечко для меня?

— Да оно бы так... как же, найдется, рабочих нужно как можно больше, хозяин торопит с постройкой. Поди заявись строителю, да и становись на работу.

Бенедя положил мешок с хлебом и инструментами в сторонке и пошел искать строителя, чтобы объявить ему, что пришел на работу.

Строитель ругал какого-то плотника за то, что тот не гладко обтесал бревно, когда Бенедя подошел к нему с шапкой в руке.

— А ты чего здесь шляешься, почему не работаешь? — гаркнул он на Бенедю, не узнав его вначале и думая, что это кто-нибудь из каменщиков, работающих на постройке, пришел к нему с какой-нибудь просьбой.

— Я пришел сказать пану строителю, что я уже поправился и вышел на работу. Прошу назначить, куда мне становиться.

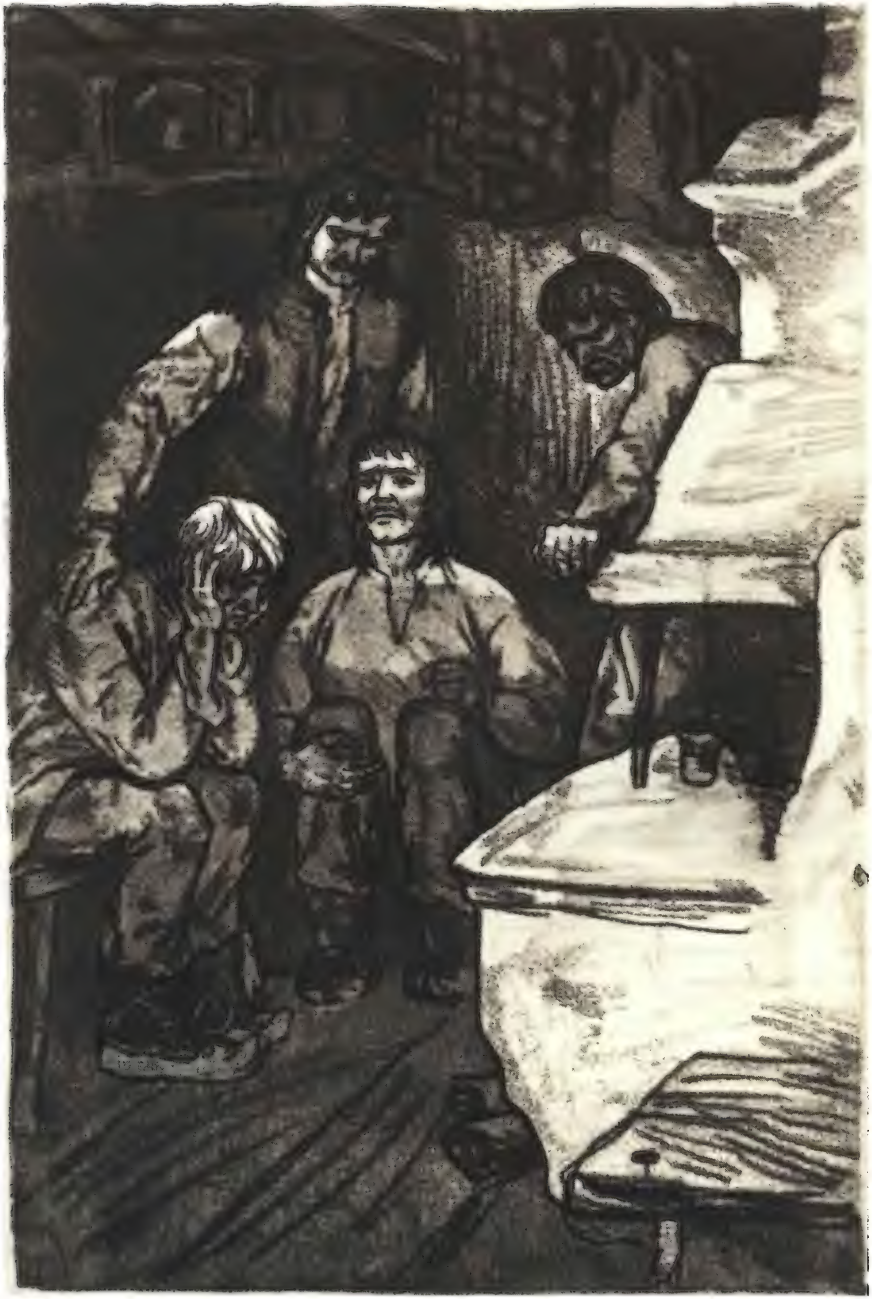
— Поправился? А-а, так ты сегодня первый раз?

— Нет, сударь, я уже был здесь на работе, только во время закладки меня рычагом покалечило.

— А, это ты? — закричал строитель.— Это ты тогда наделал нам беды, а теперь снова сюда лезешь?

— Какой беды, сударь?

— Молчи, дурень, когда я говорю! Ты напился, не отскочил



Борислав смеется

вовремя, а мне позор! Чуть что, сейчас же все на меня: он виноват, не заботится о жизни рабочих, не умеет камень спустить! Нет, хватит с меня этого, мне такие рабочие не нужны!

— Я напился? — вскрикнул изумленный Бенедя.— Пан строитель, я отродясь еще пьян не был... Кто вам сказал?

— О да, тебе только поверь, так ты готов присягнуть, что и не знаешь, как выглядит водка. Нет, дрянь твое дело, клянись, чем хочешь, а я тебя на работу не возьму!

— Но, пан строитель, побойтесь бога! Чем я виноват? Я здесь здоровье свое потерял, едва поправился немного, а если вы меня теперь прогоните, где я тогда заработаю, кто меня примет?

— Пускай тебя принимает кто хочет, меня это не касается! Я волен принимать или не принимать на работу, кого мне захочется!

— Но ведь я здесь уже принят, а если меня не было три недели, то это не моя вина. Я уже не говорю о том, что я болезнь перенес и не требую ничего за время болезни, хотя, ясное дело, если бы мне не помогли добрые люди, то я вместе с матерью погиб бы с голоду. Но теперь ведь должна же найтись для меня здесь работа!

— Те-те-те! Должна! Вишь ты, как он рассудил! А знаешь ли ты, безмозглый хам, что ты здесь каждый день, каждый час по моей милости работаешь? Если я не захочу, то и тебя не будет, выгоню, и ступай тогда, судись со мной!

На эти слова Бенедя не нашел уже никакого ответа. Он опустил голову и молчал, но слова строителя глубоко запали ему в душу. Правда, он и прежде слышал не раз такие слова, но никогда еще они не задевали его так сильно, никогда еще не вызывали в душе такого жгучего чувства несправедливости и угнетения. «Неужто это правда? — думал он.— Неужто рабочий всегда работает по его милости? А если рабочий живет кое-как, то, значит, это также по его милости? А по чьей же милости меня искалечил рычаг? А если он всегда так милостив к рабочим, то чья же милость меня гонит с работы на голодную смерть? Но нет, здесь, видно, что-то не так! Живу ли я на свете по милости строителя, этого я не знаю, но я знаю, что по его милости я искалечен, болен и без работы!»

— Ну, что еще,— прервал его мысли строитель,— чего ты стоишь? Убирайся отсюда!

— Да я, ваша милость, места здесь не простою, уберусь. Только мне все-таки сдается, что не так должно быть, как вы говорите.

— Что, что? Ты хочешь меня учить? Ну хорошо, ну говори, как должно быть?

— Вы, пан, должны знать, что вы такой же слуга, как и я. Если бы вас не нанимали на работу, то и вы померли бы с голоду, как и я!

— Ха-ха-ха! Ты, наверно, лежа в своей халупе таким умником сделался! Ну-ну продолжай, как еще должно быть?

Строитель стоял перед Бенедей, держась за бока, и смеялся, но его здоровое лицо, красное, как бурак, свидетельствовало, что злость кипела в нем и в любую минуту готова была прорваться сквозь деланный смех. Но Бенедя не обращал внимания ни на его смех, ни на его злость. Чувство пережитой обиды придало ему смелости.

— А еще так должно быть,— сказал он твердо,— чтобы вы, пан строитель, не издевались над бедным рабочим и не попрекали его халупой, потому что кто знает, что вас ждет впереди.

И с этими словами, не ожидая ответа строителя, Бенедя повернулся, взял свой мешок, сказал рабочим: «Будьте здоровы, братцы»,— и вышел с площадки на улицу.

А теперь куда? Бедный Бенедя все надежды возлагал на эту работу. Он знал, что такого слабого нигде не примут. А сейчас, когда и эта последняя надежда рухнула, он стоял на улице, словно пришибленный, не зная, куда направиться. Идти домой? Там старуха мать ждет заработанных им денег. Идти искать работу? Но где? Ниоткуда не видно было никакой надежды. Как вдруг ему пришла мысль обратиться к более высокому пану, нежели строитель, к самому Леону, и просить его, чтобы принял на работу.

Пока он все это обдумывал, стоя на улице, перед площадью, на которой строился дом, прибежал рассыльный и громко позвал строителя к хозяину. Строитель удивился и спросил: разве хозяин уже приехал из Вены?

— Приехал вчера ночью и просит, чтобы пан поскорей пришел к нему.

Строитель, а за ним Бенедя пошли к Леону. Хозяин ходил по двору и, увидев их, пошел навстречу.

— У меня к вам небольшое дельце,— сказал он, поздоровавшись со строителем; затем, обернувшись к Бенеде, спросил:

— А ты зачем?

— Я, ваша милость, хотел бы стать на работу,— сказал Бенедя.

— Это меня не касается, проси господина строителя.

— Я просил уже, но пан строитель не хотят...

— Разумеется, не хочу,— вмешался строитель.— Это тот самый,— сказал он, обращаясь к Леону,— который во время закладки был искалечен благодаря своей неосторожности. Какой мне прок в таком работнике! К тому же он сейчас болен, а рабочих у меня достаточно.

— А-а, это тот самый! — вспомнил Леон.— Гм, оно бы следовало для него что-нибудь сделать.— И прибавил, обращаясь к Бенеде: — Ну-ну, что-нибудь придумаем, обожди здесь, пока я тебя не позову. Вот сядь здесь на крыльце и сиди.

Долго продолжалась беседа Леона со строителем. Бенедя тем временем сидел на крыльце и грелся на солнце.

Наконец спустя некоторое время появился строитель, какой-то кислый как будто, и, не обращая внимания на Бенедю, ушел. Через несколько минут вышел и Леон.

— Тебе нужна работа? — спросил он Бенедю.

— Конечно, сударь, человек живет работой, значит, работа для него все равно что жизнь.

— Да, но, видишь, господин строитель не хочет тебя держать здесь, в Дрогобыче. Но ты не горюй, я начинаю сейчас строить в Бориславе новую паровую мельницу, там тебе работы будет достаточно.

— В Бориславе?.. Паровую мельницу?..— изумился Бенедя, но сразу же замолчал, не смея пускаться с таким важным паном в разговор.

— Ну и что ж ты так удивился? — спросил, усмехаясь, Леон.— Мельница так мельница: тебе, каменщику, все равно.

— Да я уж и сам подумал, что панское дело приказывать, а наше дело работать. Мельница так мельница...

— Только, видишь ли, я хотел бы, чтобы постройка была немудреная, так себе, в два кирпича, одноэтажная, но пошире. Это не будет обыкновенная паровая мельница, какие все строят. Я нашел такого человека, который все это придумал, и план сделал, и сам будет вести работу. Но, видишь, строитель уж очень носом начал крутить, когда увидел этот план. Ну, а ты разбираешься в том, как нужно работать по плану?

— Почему же нет? Если человек имеет под рукой чертеж и масштаб, то это не хитрая штука...

— Да, да, разумеется, не хитрая штука,— сказал Леон.— Так вот, видишь ли, я не всегда смогу присматривать за тем, что там делается, в Бориславе, а строитель так здесь со мной спорил, что готов спутать мне все и построить не так, как в плане указано. Так я уж буду тебя просить, чтобы ты в случае, если что не так, дал бы мне знать.

Бенедя с изумлением слушал все, что говорил ему Леон. Что за мельница такая, что строитель от нее нос воротит, а хозяин боится, как бы он не сделал иначе, чем в плане указано? И с чего это вдруг Леону пришло в голову просить его, чтобы он следил за строителем? Бенедя не мог найти в своей голове ответа на все эти вопросы и стоял перед Леоном, как бы колеблясь.

— Не бойся, будь только откровенен со мной, и ты не пожалеешь об этом. Пока будет идти строительство в Бориславе, до тех пор ты будешь там, и на жалованье не подручного, а каменщика. А потом посмотрим.

Бенедя еще пуще прежнего удивился. Откуда вдруг такая щедрость у Леона? А впрочем, кто его знает,— продолжал он раздумывать,— может быть, ему в самом деле это необходимо, вот он и платит. Разве для него это большое дело? А для бедного помощника каменщика все-таки благодеяние большое. Размышляя так, Бенедя решил согласиться на условия Леона, еще и поблагодарил его за милость.

— Ну-ну, не благодари,— ответил Леон,— я не благодарности от тебя требую, а верной службы; если будешь стараться, я тебя, конечно, не забуду. А теперь иди, собирайся как можно скорее в Борислав, чтобы завтра же ты мог быть на месте — за Бориславом, возле реки.

С этими словами Леон дал Бенеде несколько гульденов задатка и пошел к себе. Бенедя не надеялся на такой успех. Радостный, вернулся он домой и рассказал своей старой матери обо всем, что сегодня с ним приключилось.

— Что делать, мать? — закончил он свой рассказ.— Надо брать работу там, где дают. Пойду в Борислав.

— Да я тебе, сынок, и не перечу, а только помни,— всегда по правде живи и к дурному никогда рук не прикладывай. С этой мельницей, сдается мне, что-то не так. Бог его знает, что этот нехристь задумал, а ты заботься о своей душе.

— Мне и самому показалось, что здесь что-то не так, как он говорит. А то, что он просит меня присматривать за строителем, мне и вовсе не понравилось. Правда, строитель наш — плут и пройдоха, но с чего это мне, простому рабочему, присматривать за ним?.. Ну, а если бы я и в самом деле что-нибудь заметил неладное, я бы и без денег сказал ему обо всем. Посмотрим, что будет.

Но когда Бенедя совсем уже собрался в дорогу и стал прощаться с матерью, старуха ни с того ни с сего расплакалась и, обняв сына, долго не хотела его отпускать от себя.

— Ну довольно же, мама, довольно, скоро увидимся! — утешал ее Бенедя.

— Ой, сыночек, хорошо тебе говорить! — ответила мать, плача.— Разве ты не видишь, как я стара? Мне еще день, час пожить, да и жизнь вся. Как посмотрю, что ты уходишь от меня, так и чудится мне, что уже никогда больше тебя не увижу.

— Избави бог! Мама, что вы говорите!..

— То говорю, что мне сердце подсказывает. И еще мне сдается, что ты, сынок, идешь в этот Борислав, словно в западню какую, и что было бы лучше, если бы ты отнес назад этот задаток и остался тут.

— Но, мамочка, с чем оставаться здесь, когда работы нет? Я же вам говорю, что чуть увижу что-нибудь недоброе, так пусть меня этот человек хоть всего озолотит, я и часа не останусь работать у него.

— Хорошо, иди, если такова твоя воля, я тебе не запрещаю, и пускай тебя господь благословит!

И старая мать со слезами проводила своего сына на дорогу, ведущую в Борислав, а когда вернулась в свою лачугу и осталась одна, долго стояла с заломленными руками, а затем зарыдала:

— Сыночек мой! Да благословит тебя бог на добром пути! А я уж, видно, не увижусь с тобой!

Было воскресенье, когда Бенедя отправился в дорогу. В церкви святой Троицы, мимо которой он проходил, духовенство громогласно возглашало «хвалу божью». А рядом, на убогой дрогобычской мостовой, возле каменной ограды сидели группами рабочие в пропитанных нефтью рубахах и драных кафтанах, ожидая, скоро ли окончится «хвала божья», чтобы двинуться затем в Борислав. Одни из них крестились и шептали «Отче наш», другие дремали на солнцепеке, некоторые же держали в руках хлебцы, по десять крейцеров ценой, и лук и ели, откусывая от целого, неразрезанного каравая. Бенедя не стал дожидаться возле церкви, когда окончится служба. Хоть от Дрогобыча до Борислава и не очень далеко, всего какая-нибудь миля, и хоть ему не нужно было искать работы, подобно большей части этих нефтяников, но он слыхал, что в Бориславе очень трудно найти квартиру, а ему хотелось устроиться где-нибудь недалеко от «фабрики», на которой предстояло работать: он после несчастного случая во время закладки чувствовал сильную слабость в ногах и знал, что по бориславской непросыхающей грязи далеко ходить не сможет. Поэтому Бенедя спешил в Борислав, чтобы отыскать себе жилище, пока не нахлынули туда толпы рабочего люда и не заняли все углы. Но ему нужно было нанять

квартиру на длительное время, хотя бы на месяц; найти такое помещение было труднее, так как в Бориславе бóльшую часть всяких углов сдают пришлому люду на одну ночь, что значительно выгоднее владельцам домов.

Каково же было удивление Бенеди, когда, выйдя за город, он увидел, что на всем протяжении дороги, куда только достигал взгляд, виднелись группы нефтяников, медленно шагавших в облаках пыли. Эти не ждали окончания «хвалы божьей», а торопились, чтобы заполучить хоть какую-нибудь работу. У каждого была грязная полотняная сумка, где лежал кусок хлеба; у некоторых торчали из сумок зеленые стебли молодого лука. Бенедя вначале молча обгонял этих людей и шел один. Но вскоре ему стало тоскливо и неприятно одному. Солнце жгло иссохшую и потрескавшуюся землю. Хотя май был уже на исходе, но по хлебам в поле это никак не было заметно. Овсы, едва взойдя, завяли без дождя и полегли на землю. Озимая рожь поднялась немного над землей, но так и осталась в трубках и не колосилась, хотя для этого было самое время. Яровые и картошка еще и не взошли: земля, засохшая и выжженная солнцем на несколько дюймов в глубину, не давала посевам никакой влаги. Уныние охватывало, лишь взглянешь на поле. Только крапива и горчица, рано проросшие и пустившие глубже в землю свои извилистые корни, шумели и буйно разрастались. А солнце все жгло и палило; тучи, словно смеясь над бедными крестьянами, к вечеру собирались в небе, а затем, не уронив и капли дождя, к ночи исчезали. В селах, через которые проходили рабочие, их встречали люди такие же печальные и черные, как сама земля. Не слышно было обычных воскресных шуток и смеха на выгонах. Пожилые крестьяне глядели то на поле, то на небо с каким-то упреком, а затем в отчаянии беспомощно опускали руки. Бенедя, весь облитый потом и покрытый пылью, с тяжелым сердцем глядел на эти бедные селенья, которые уже теперь умирали с голода и ожидали еще более тяжелых дней в будущем.

— Обрати, господи, милосердие свое на мир христианский,— долетали до Бенеди почти с каждого двора тяжкие молитвы крестьян. А желтоватое небо глядело на них, солнце жгло, словно назло, и облака, тонкие, белесые и прозрачные, лениво тянулись с запада.

Тяжело и скучно было Бенеде идти одному среди этого убожества. Он присоединился к группе нефтяников.

— Куда бог несет? — спросили они Бенедю после обычных приветствий.

— Туда же, куда и вас,— ответил Бенедя.

— Но вы не в шахты?

— Нет, я каменщик.

— Так, может, поблизости будет что-нибудь новое строиться?

— Как же, я уже нанят. Здесь вот этот... Гаммершляг будет строить новую...— Бенедя запнулся. Он не верил в паровую мельницу Леона и прежде, но теперь, разговаривая с рабочими, невольно почувствовал, что сделал бы несусветную глупость, если бы рассказал им про паровую мельницу.

— ...новый нефтяной завод,— докончил он.

— Ну, благодарение господу, значит — хоть немного прибавится работы,— сказал один нефтяник.— Может, кто-нибудь там и пристроится.

— Разве в шахтах нет работы? — спросил Бенедя.

— Эх, почему не быть! — ответил нефтяник и махнул рукой.— Да что нам с того, если платят столько, что и прожить нельзя? Гляньте, сколько народу идет, а ведь это только какая-нибудь сотая доля! Год тяжелый, а теперь еще, смотрите, наказанье божье! Май, а печет так, как во время жатвы; дождя нет, думаете — голода не будет?.. Куда же людям деваться? Кто еще чувствует в себе силы, тот сюда тащится, чтобы хоть сколько-нибудь заработать. Ну, а для хозяев это праздник. Рабочих привалило — сейчас же плату снижают. Вот и получается: работай за гроши, а не хочешь — сейчас же десять на твое место станут. Думаете, не станут? Посмотрите рано утром на улицу: людей как травы, все работы ищут. Половину, может быть, наймут, а остальные либо домой возвращаются с пустыми руками, либо перебиваются кое-как со дня на день; где воды принесут, дров нарубят или еще что, лишь бы кусок хлеба или ложку похлебки добыть. Вот горе-то какое в нашем Бориславе!

В разговор вмешались другие рабочие. Рассказ их товарища о бориславском горе задел всех за больное место. Каждый нашел что-нибудь добавить, и перед Бенедей вдруг встала страшная картина человеческой нужды и угнетения. Он издавна привык слышать, что в Бориславе работа опасная, но зато оплачивается очень хорошо. Правда, жалкий вид нефтяников, которые сотнями сидели каждое воскресенье возле дрогобычской церкви, наводил его на мысль, что здесь, видно, что-то не так с этим хваленым заработком, но никогда он не имел случая достоверно в том убедиться. Только теперь рассказ рабочих сразу раскрыл ему всю правду. Страшное, безотрадное положение такой огромной массы людей поразило его так сильно, что он шел, словно

оглушенный, и ни о чем другом не мог думать. «Неужто это правда? Может ли это быть?» — спрашивал он себя. Конечно, и он видел горе на своем веку, и он изведал нужду и голод, гнет, произвол и безработицу. Но все-таки до такой степени падения и нищеты, о которых рассказывали рабочие, ни один ремесленник в городе не доходил. Нефтяники рассказывали о страшных случаях голодной смерти, самоубийства, грабежей. Из их рассказов Бенедя узнал и о том непривычном для него обстоятельстве, что на товарища, попавшего в беду, другие рабочие совсем не обращали внимания, не помогали ему, а оставляли его на произвол судьбы. Нефтяники рассказывали и о том, как их больные товарищи умирали, покинутые всеми, разъедаемые червями, как нередко спустя лишь несколько дней находили в каком-нибудь безлюдном закоулке труп умершего без всякого присмотра рабочего. Эти рассказы глубоко поразили Бенедю. Он родился и вырос в городе. Его отец был таким же подручным каменщика, как и он,— Бенедя с малолетства свыкся с традициями городских ремесленников, с их, хотя и плохонькой, цеховой организацией, с их, пусть слабым, стремлением к взаимной помощи, к более тесной связи между людьми одного ремесла. Правда, во времена Бенеди цеховая организация дрогобычских каменщиков была уже накануне развала. Мастера давно уже разворовали цеховую кассу, в которую вносили деньги поровну и мастера и рабочие, но которой, без всякого контроля и отчетности, распоряжались одни мастера. Не на что было содержать «господу», то есть помещение, в котором в определенные дни собиралось цеховое совещание и где регистрировался каждый нуждающийся в работе, где был как бы рынок для найма рабочих. Мастера перестали заботиться о цеховых делах и только следили за точным соблюдением очередности, кому и когда во время торжественного шествия нести старое цеховое знамя. Но вместо этой старой и прогнившей связи начинала во времена Бенеди намечаться между дрогобычскими каменщиками новая связь, хотя еще и неясная и непостоянная. В случае болезни кого-нибудь из рабочих другие рабочие и кое-кто из беднейших мастеров собирали добровольные взносы и назначали больному или его семье еженедельное пособие на все время его болезни. Точно так же оказывали они помощь, хотя и меньшую, тому, кто иногда оставался без работы, и вместе с тем старались подыскать ему работу по специальности или хотя бы какую-нибудь. Правда, это были только слабые зачатки солидарности, но они сохранялись и крепли. Со временем дошло до того, что в случае необходимости уже все, а не отдельные рабочие, делали регулярные

взносы, между тем как прежде ни о всеобщности взносов, ни об их регулярности не могло быть и речи.

В таких городских ремесленнических традициях вырос Бенедя. Отбыв срок учения и став рабочим, а затем помощником каменщика, он живо проникся новыми идеями рабочей солидарности и взаимопомощи. Бедный, к тому же еще и болезненный, Бенедя остро, как никто другой, чувствовал необходимость в такой солидарности и взаимопомощи и с той поры, как стал на работу, не переставал напоминать своим товарищам и уговаривать их, чтобы они в случае необходимости своевременно выплачивали то, что обязались выплачивать, чтобы обещали только то, что смогут выполнить, а однажды обещанное свято выполняли,— так, чтобы слово рабочего было самой лучшей порукой. Все это были вещи хотя на словах и не новые для рабочих, но на деле очень редко практиковавшиеся, требовавшие серьезной дисциплины и выдержки. И Бенеде вместе с несколькими наиболее сознательными рабочими, которые приняли это дело близко к сердцу, пришлось в течение многих лет порядочно поработать, прежде чем они приучили людей к большей точности и выдержке.

Все это делалось дрогобычскими каменщиками, так сказать, на ощупь. Они не были связаны с рабочими больших городов, если не считать каменщиков Стрыя и Самбора, таких же темных, как они сами. Они ничего не знали об огромном росте рабочей солидарности и организованности в других странах, не знали о том, как рабочие объединяются и организуются для великой борьбы с буржуазией и угнетением, для борьбы за повышение заработной платы, за обеспечение своих жен и детей, своей старости и своих вдов и сирот. Не знали дрогобычские каменщики ни о великом росте рабочих идей на Западе Европы, ни о борьбе рабочих всех стран за их осуществление. Всего этого они не знали, а между тем одинаковые условия, одно и то же веяние времени сделали так, что те же самые стремления, та же борьба начали неясно зарождаться в их среде.

Бенедя не раз в тяжелые минуты задумывался над судьбой рабочего. С детства хилый и болезненный, он был очень чувствителен ко всякой, хотя бы и чужой, боли, ко всякой обиде и неправде. Обидит несправедливо, оскорбит мастер рабочего, урвет кассир несколько центов из жалованья рабочего, прогонит строитель человека с работы без причины или за какое-нибудь резкое слово — Бенеде будто нож воткнут в живое тело. Он побледнеет, согнется в дугу; лицо, и без того худое и длинное, еще больше вытянется, и он молча делает свое дело, но видно

по нему, что он готов лучше сквозь землю провалиться, нежели видеть все это. Вот в такие минуты задумывался Бенедя над судьбой рабочего. Каждый его может обидеть, думалось ему, и никто обидчику ничего не скажет, словно так и надо. Вот строитель столкнул человека со стены, обругал самыми последними словами, еще и по шее надавал и прогнал с работы. А что, если бы этот человек обернулся да хоть раз стукнул строителя по затылку? Сейчас же его и в полицию, и в суд, и в холодную! Но эти мысли Бенеди всегда возвращались к своему первоначальному источнику: к старому вопросу об общественном неравенстве между людьми. И хотя он не раз повторял, как повторяют миллионы людей у нас: «Так не должно быть»,— однако эти слова не помогали ему разгадать трудную загадку о причине этого неравенства и о возможности его уничтожения.

Вот так было и теперь. Молча шел Бенедя, слушая рассказы рабочих о тяжелой борисловской жизни. «Как же так,— думал он,— тысячи людей день за днем терпят такую муку, а в это время новые тысячи непрерывно прибывают, чтобы испытать то же самое! Сами себе вредят. Правда, тем, кто остается в селах, еще хуже: хотя над ними никто не издевается, никто их так не обдирает, но зато там голод. Господи, но как же помочь такой массе народа? Никто не в силах помочь».

— Как же вы,— спросил вдруг Бенедя рабочих,— не пробовали каким-нибудь способом облегчить себе жизнь?

— Какой же может быть тут способ? — ответил рабочий простодушно.— Тут способа нет никакого.

Бенедя опустил голову. То, к чему пришел он сам, нефтяник высказал так решительно, уверенно. Значит, так оно и должно быть, так бог дал. А может быть, способ есть, только они либо слепы и не видят, либо ленивы и не ищут, не то нашли бы и увидели.

— Ну, а пробовали вы устраивать складчину, чтобы помогать друг другу в беде, в болезни? — спросил Бенедя.

Рабочие расхохотались. Сколько нужно было бы собрать, чтобы помочь всем нуждающимся! Ведь там все бедствуют.

— Ну, все же один больше бедствует, другой меньше. Все-таки можно было бы поддержать более нуждающегося, больного, безработного. Вот так, как у нас, каменщиков, в городе.

— Эх, у вас одно дело, а здесь — другое. Здешний народ — сборище со всего света!

— А у нас разве нет?

— Э, а все-таки то, что можно у вас сделать, у нас никто не сделает.

Нефтяники не знали своей силы и не верили в нее.

Бенедя снова замолчал и задумался над их словами. «Нет,— заключил он,— должно же быть какое-нибудь средство против нужды, только одни слепы и не находят его, а другие ленивы и не ищут!»

Между тем наши путники свернули с тустановичской дороги и пошли тропинкой, которая вела через речку и холм к Бориславу. Перейдя вброд речку и поднявшись на высокий, крутой берег, густо поросший боярышником и орешником, они очутились на вершине холма. Невдалеке перед ними лежал Борислав, словно на тарелке. Невысокие, крытые тесом дома блестели на солнце, как серебристая чешуя. Над крышами кое-где виднелись красные тонкие и высокие трубы нефтяных заводов, словно кровавые ленты взметнувшиеся к небу. Далеко, на другом конце Борислава, на холме стояла старая церковь под липами, и вокруг нее еще сохранялись остатки прежнего села.

Бенедя хотя и бывал раньше в Бориславе, но не подолгу. Он не знал этой местности. Поэтому он рассказал рабочим, где и на каком участке приказано ему становиться на работу, и просил их, чтобы они показали ему это место. Рабочие сразу догадались, о каком участке идет речь, и показали его Бенеде. Это было довольно большое ровное поле между высокими берегами речки, перед самым входом в Борислав, немного левее губичской дороги. Домов поблизости было немного, и Бенедя, простившись с нефтяниками, решил ходить из дома в дом и искать квартиру. Но в первых домах, в которые он зашел и в которых жили евреи, ему не хотели сдавать жилье на долгое время. Дома эти были низкие и очень широкие — очевидно, под их крышами помещалось много каморок для нефтяников, а выгодное положение на краю Борислава делало их пристанищем для всех вновь прибывающих.

Так обошел Бенедя понапрасну пять или шесть домов. Затем он остановился перед старым маленьким домиком, раздумывая, заходить ли сюда или пропустить эту хибарку и идти дальше. Хатенка была, как и все другие, покрыта тесом, только старый тес подгнил и порос зеленым мхом. На улицу выходили два оконца, которые едва-едва возвышались над землей; прямо против них стекала грязь с дорожной насыпи, все больше и больше затопляя стену и почти достигая прогнивших подоконников. Перед этой хаткой, так же как и перед остальными, было пусто: ни садика, ни цветника, обычных в других местах. После минутного раздумья Бенедя решил зайти в эту хату.

Дверь скрипнула, и Бенедя вошел в маленькие темные сени, а оттуда в выбеленную светелку. Он удивился, застав здесь не евреев, а старого нефтяника и молодую женщину. Молодица, лет тридцати, в белой сорочке с красными тесемками, сидела на скамейке у окна, склонив голову на руку, и плакала. Старый рабочий сидел посреди комнаты на низеньком табурете, с трубкой в зубах и, по-видимому, утешал ее. Когда вошел Бенедя, молодица быстро вытерла слезы, а старик начал кашлять и ковырять в трубке. Бенедя поздоровался с ними и спросил, не примут ли они его на квартиру на долгое время. Нефтяник и молодая женщина переглянулись и минуту молчали. Затем отозвался старик:

— Разве я знаю? Вот молодица, это ее хата; как она скажет, так и будет.

— А чтоб вас! — ответила резко молодая женщина.— Как я скажу! Я здесь уже целый год не живу, и бог знает, буду ли когда жить,— и она снова вытерла слезы рукавом,— а вы меня об этом спрашиваете! Это как вы скажете, потому что вы здесь живете. Как вам угодно, так и делайте, а я что могу сказать!

Старый нефтяник немного смутился и начал еще старательнее ковырять в своей глиняной трубке, хотя в ней ничего уже не было. Бенедя все еще стоял у порога с мешком за плечами. Нефтяник молчал.

— Хатенка тесненькая, как видите,— снова начала молодица,— может быть, вам неудобно будет. Вы, как я вижу, из города, не привыкли к тому, как у нас живут...

Молодица говорила так, словно догадывалась по нахмуренным бровям старика, что он хочет отказать Бенеде.

— Э-э, что из того, что я из города,— ответил Бенедя,— не бойтесь, я привык к любой нужде, как и всякий рабочий человек. Только, видите ли, какое дело: ноги у меня побаливают, несчастье со мной было,— у нас, у каменщиков, всяко бывает,— а работать должен вот тут недалеко, возле реки, на том берегу. Там будет строиться новая... новый нефтяной завод. Так, видите ли, хотел бы я найти помещение поближе, хоть какое-нибудь, лишь бы переночевать было где, ведь я весь день на работе, таскаться издалека по вашей бориславской грязи я не могу. Ну, а здесь нигде не хотят принимать в дом на долгое время; а для меня все лучше жить у своего, рабочего, человека, не у чужака. Только, если для вас...

В эту минуту старый нефтяник перебил его. Он бросил вдруг трубку на землю, вскочил с табуретки, подошел к Бенеде,

одной рукой схватил его мешок, а другой начал толкать Бенедю к скамейке.

— Э-э, человече, побойся бога,— закричал старик с шутливым гневом,— садись и не говори ничего! Стоишь здесь, над моей головой, а у меня дети никак не уснут. Присаживайся, и пускай с тобой все доброе войдет в нашу хату. Надо было сразу так и сказать, а то я теперь о себе готов подумать, что я хуже любого спекулянта!..

Бенедя вытаращил глаза на старого чудака, точно не сразу понял его, а затем спросил:

— Ну так как же: принимаете меня к себе?

— Ты же слышишь, что принимаю,— сказал старик.— Только, разумеется, если будешь хорош. Если плох будешь, то завтра же выгоню.

— Уж мы как-нибудь поладим,— сказал Бенедя.

— Ну, если поладим, то будешь моим сыном, хотя мне с этими сыновьями, по правде говоря, не везет!.. (Молодица снова вытерла глаза.)

— Сколько же вы с меня возьмете?

— А есть у тебя какая-нибудь родня?

— Мать есть.

— Старая?

— Старая.

— Ну, так будешь платить шистку в месяц.

Бенедя снова с изумлением поглядел на старика.

— Вы, верно, хотели сказать: «В неделю»?

— Я уж лучше знаю, что хотел сказать,— отрезал старик.— Будет так, как я сказал, и довольно об этом говорить.

Изумлению Бенеди не было конца. Старик тем временем снова сел на табуретку и, нахмурившись, начал набивать трубку.

— Так, может, по такому случаю принести водки? — заговорил Бенедя.

Старик глянул на него исподлобья.

— Ты мне, милый мой, с этим зельем не знайся и в хату с ним не показывайся, а не то вышвырну вон вас обоих! — сказал он гневно.

— Прошу прощения,— сказал Бенедя,— я сам не пью, по мне, хоть бы и вовсе ее не было. Но мне говорили, что в Бориславе каждый пьет, кто в шахте работает, вот я про это...

— Правду тебе говорили, но только, как видишь, в правде есть и брехни капля. Так всегда бывает. Ну, а теперь много не разговаривай, разденься да отдохни с дороги, если ты больной!

В эту минуту молодица встала.

— Ну, дай вам боже счастья да заработок хороший,— сказала она Бенеде.— Бывайте здоровы, мне пора идти.

Она вышла; старик вышел следом за ней и сейчас же вернулся.

— Служит в Тустановичах, должна бежать на работу. Да и ребенок маленький...— пробормотал он, словно сам про себя, и снова начал набивать свою глиняную трубку.

— Это дочь ваша? — спросил Бенедя.

— Вроде как дочь, а не родная.

— Падчерица?

— Нет, голубок. Она здешняя, а я нездешний. Но это длинная история, будет время — так услышишь. А теперь отдыхай!

Эта молодица была Пивторачка, вдова Ивана Пивторака, погибшего в бориславской шахте, а нефтяник был старый Матвей.

IV

Бенедя снял с себя кафтан, постелил его на скамейку под окном и лег отдыхать. Он и в самом деле был очень утомлен, ноги у него дрожали от долгой и непосильной ходьбы. А между тем ему не спалось. Его мысль, словно беспокойная ласточка, уносилась то в Дрогобыч, к старой матери, то в Борислав, где теперь придется ему жить. Ему вспоминались рассказы рабочих, которые он слышал дорогой; в его воображении они проносились не как слова, а как живые образы. Вот всеми забытый нефтяник, больной, беспомощный, умирает в какой-то трущобе, в скрытом от взоров углу, и напрасно просит есть, напрасно просит воды,— некому подать!.. Вот хозяин выбрасывает рабочего на улицу, обсчитывает его при расчете, обманывает и оскорбляет,— некому заступиться за рабочего, помочь ему в нужде. «Никто ни о чем не заботится, кроме как о самом себе,— думал Бенедя,— поэтому все так страдают. Но если бы взялись все сообща... то что сделали бы?..» Бенедя не знал этого. «Да и как им взяться сообща?..» И этого Бенедя не знал. «Господи боже,— вздохнул он наконец с обычной у наших простых людей беспомощностью,— наведи меня на какую-нибудь хорошую мысль!»

В эту минуту думы Бенеди были прерваны. В хату вошли несколько нефтяников и, поздоровавшись коротко с Матвеем, уселись на скамейке. Бенедя поднялся и начал разглядывать вошедших. Были здесь прежде всего два молодца, которые сразу привлекали к себе внимание. Высокие, рослые и крепкие, как два дуба, с широкими красными, словно налитыми лицами и

небольшими серыми глазами, они казались в этой маленькой хатенке великанами. Лицом, ростом, волосами, глазами они были так похожи друг на друга, что нужно было хорошенько присмотреться и прислушаться к ним, чтобы их различить. Один из них сидел на лавке под окном, заслоняя своими широкими плечами весь свет, который от заходящего уже солнца лился через окошко в дом. Другой поместился на небольшом табурете возле двери и, не говоря никому ни слова, начал спокойно набивать трубку, словно здесь, на этом табурете у порога, было извечное его место.

Кроме этих двух великанов, внимание Бенеди привлек немолодой уже, низкорослый и, по-видимому, очень разговорчивый и подвижной человек. Он, как только вошел в дом, не переставая шнырял из угла в угол, не то ища чего-то, не то выбирая, где бы присесть. Он несколько раз оглядел Бенедю, перемигнулся с Матвеем, который с усмешкой следил за его движениями, и даже шепнул что-то на ухо одному из великанов, тому, что сидел на табурете возле двери. Великан только кивнул головой, а затем встал, отодвинул печную заслонку и поднес свою трубку к углям, чтобы закурить. Подвижной человечек тем временем снова уже заглянул во все углы, то потирая свой жесткий, словно щетина, чуб, то поправляя на себе пояс, то просто размахивая руками.

Кроме этих троих, было в комнате еще трое. Бенедя разглядел на скамейке в полутьме старого деда, с длинной седой бородой, но со здоровым цветом лица и крепкого, молодцеватого на вид. Рядом с ним сидел молодой парень, круглолицый и румяный, как девушка, но сумрачный и печальный, словно приговоренный к смерти. Дальше, в углу, совсем в тени, сидели люди, лица которых Бенедя не мог разглядеть. В хату вошло еще несколько нефтяников,— поднялся говор.

— А это что, возный имущество у вас описывает за недоимки? — голосом громким, словно труба, проговорил, обращаясь к Матвею, один из великанов, тот, что сидел у окна.

— Нет, слава богу,— ответил Матвей,— это, видать, честный человек, рабочий, каменщик. Пришел сегодня из Дрогобыча на новую работу: здесь, на берегу, будут новый нефтяной завод ставить.

— Вот как? — ответил великан, растягивая слова.— Ну, мне до этого нет дела. А чей это будет завод? — прибавил он, обращаясь к Бенеде.

— Леона Гаммершляга, знаете, того еврея, что года два тому назад приехал сюда из Вены.

— Ага, того! О, этот у нас давно на заметке. Правда, побратим Деркач?

Подвижной человек, быстро семеня ножками, в мгновение ока очутился возле великана.

— Правда, правда, отмечен крепко,— засмеялся он,— но ничего, вреда не будет, если добавим еще зарубок!

— Конечно, вреда не будет,— подтвердил великан.— Ну, однако, как же, побратим Матвей, можем мы сегодня здесь говорить о своем, или, может быть, потому, что имеешь нового жильца, ты выгонишь нас из дому искать нового места?

Великан грозно взглянул на Матвея. Матвей почувствовал в его словах упрек; смутясь немного, встал с табуретки и, вынимая трубку изо рта, ответил:

— Боже сохрани, чтобы я вас прогнал! Мои дорогие побратимы, раз уж я присоединился к вам, то никогда не отступлюсь от вас, об этом не беспокойтесь. И моя хата всегда для вас открыта. А что касается нового жильца... конечно, я плохо сделал, что принял его, не посоветовавшись с вами, но посудите сами: приходит человек измученный, больной, никто его в дом не принимает, а по лицу видно,— знаете, у меня на это глаз наметан,— человек он хороший, ну, что мне было делать?.. Впрочем, как вы решите... Нельзя ему быть с нами — я его отправлю... Но мне кажется, что он был бы и для нас подходящим человеком... Говорит, водки не пьет,— значит, уже хорошо. Ну, а второе — работать будет на новом заводе и сможет нам иногда сообщить о том, что там делается.

— Водки, говоришь, не пьет? — спросил великан.

— Я это слышал от него, а впрочем, вот он здесь, спрашивай его сам.

В комнате воцарилось молчание. Бенедя сидел в углу на своей куртке и диву давался, что бы все это могло значить: зачем собрались здесь эти люди и чего хотят от него? Странно ему было, что Матвей словно бы оправдывался перед ними, хотя сам говорил, что это его дом. Но более всего удивлял его этот громкоголосый великан, который вел себя здесь как старший, как хозяин, подзывал к себе то одного, то другого и шептал им что-то на ухо, сам не двигаясь с места. Затем он обратился к Бенеде и начал расспрашивать его строгим тоном, словно судья на допросе, в то время как все присутствовавшие не спускали с него глаз.

— Вы что, ученик каменщика?

— Нет, помощник, а на новой работе не знаю, за что такая милость, должен быть мастером.

Великан покачал головой.

— Гм, мастером? А за что такая милость? Должно быть, умеете хорошо доносить хозяевам на своих товарищей?

Бенедя вспыхнул весь, как огонь. Он минуту колебался, отвечать ли великану на его вопрос или плюнуть ему в глаза, собраться и уйти прочь из этого дома, от этих странных людей. Затем решился.

— Чепуху мелете! — сказал он резко.— Может быть, вашего отца сын и умеет кое-кому доносить, а у нас это не водится. А хозяйская милость свалилась на меня непрошеная, должно быть, за то, что во время закладки его дома меня чуть не убило рычагом, когда мы спускали в котлован камень.

— Ага,— протянул великан, и его голос слегка смягчился.

— Побратим Деркач,— обратился он к небольшому подвижному человеку,— смотри, не забудь отметить Леону и то, что этот говорит.

— Конечно, не забуду. Хотя это случилось, кажись, в Дрогобыче, а мы имеем дело только с Бориславом, но и это не помеха. Хозяину от этого легче не будет.

— Ну и что же,— продолжал великан, обращаясь к Бенеде,— когда сделаетесь мастером, вы будете так же издеваться, обижать рабочих, как другие, будете выжимать из них, сколько можно, и прогонять с работы за всякое слово?.. Еще бы! Мастера все одинаковы!

Бенедя не мог больше терпеть. Он встал и, беря свой кафтан в руки, обернулся к Матвею:

— Когда вы принимали меня к себе в хату постояльцем,— сказал он дрожащим голосом,— то вы говорили мне, что если я буду хороший, то буду вам за сына. Но скажите сами, как тут быть хорошим, когда вот какие-то люди приходят в дом и ни с того ни с сего привязываются ко мне и бесчестят, неизвестно за что? Если вы меня для этого принимали, то лучше было бы не принимать, я за это время нашел бы дом поспокойнее! А теперь придется уходить, на ночь глядя. Ну, зато, по крайней мере, буду знать, что за люди бориславские рабочие!.. Бывайте здоровы!..

С этими словами он надел кафтан и, вскинув на плечи свой узелок, повернулся к двери. Все молчали, только Матвей подмигнул великану, сидевшему у окна. Между тем другой великан сидел, словно скала, возле двери, закрывая собой выход, и, хотя Бенедя резко сказал ему: «Пустите!» — он не двигался, словно и не слышал ничего, только медленно потягивал трубку.

— Ах ты, господи боже,— закричал вдруг с комичной горячностью Матвей,— постой, человек хороший, куда бежишь? Не понимаешь, видно, шуток! Постой, увидишь, к чему все это клонится!

— Зачем я буду стоять! — ответил гневно Бенедя.— Может быть, еще прикажете мне продолжать выслушивать, как этот человек позорит меня? И не знаю, где он слышал, что я кого-то обижаю, над кем-то издеваюсь?..

— Так вы считаете мои слова для себя обидными? — спросил великан полуласково-полустрого.

— Конечно.

— Ну, тогда извините.

— Не извиняйтесь, лучше быть повежливей и не оскорблять, чем потом прощения просить. Я простой человек, бедный рабочий, но разве поэтому всякий может невесть что на меня наговаривать? Или, может быть, вы на то рассчитываете, что вы сильный, а я слабый — так, значит, можно меня безнаказанно оскорблять? Ну, так пустите меня, не хочу слушать вас! — И он снова повернулся к двери.

— Ну-ну-ну,— говорил Матвей,— они готовы и в самом деле поссориться, сами не зная из-за чего! Но постой, человек божий, гневаешься, а сам не знаешь, за что!..

— Как так не знаю? Не бойтесь, я не такой уж дурак,— огрызнулся Бенедя.

— Вот и не знаешь. Ты считаешь оскорблением слова этого человека, а между прочим, он говорил это только для того, чтобы тебя испытать.

— Испытать? В чем?

— Какое у тебя сердце, какие мысли! Понимаешь теперь?

— А зачем ему это знать?

— Это увидишь позже. А теперь раздевайся да садись на свое место. А кричать не нужно, голубок. От нас за один день ничего не осталось бы, если бы мы по поводу каждой обиды так петушились. А моя думка такая: лучше меньшую обиду перенести, чтобы от большой уберечься. А у нас обычно наоборот делается: если малая беда, человек кричит, а если большая — молчит.

Бенедя все еще стоял посреди хаты в кафтане и с мешком за плечами и озирался на присутствующих. Матвей тем временем зажег каганец, наполненный желтым бориславским воском, и при его свете лица рабочих казались желтыми и мрачными, словно у покойников. Старый Матвей отобрал у Бенеди мешок, снял с него кафтан и, взяв за плечо, подвел к великану, который все еще сидел у окна, угрюмый и грозный.

— Ну, помиритесь раз навсегда,— сказал Матвей великану.— Я думаю, что этот человек будет для нас новым товарищем.

Бенедя и великан подали друг другу руки.

— Как вас зовут? — спросил великан.

— Бенедя Синица.

— А я прозываюсь Андрусь Басараб, а вот мой брат — Сень, а это наш «метчик» — Деркач, а вот этот старый дед — побратим Стасюра, а этот парень — побратим Прийдеволя, а вот эти — тоже наши побратимы, ну и ваш хозяин Матвей — тоже.

— А вы, наверно, все из одного села, что побратались? — сказал Бенедя, удивляясь, впрочем, тому, что старые люди побратались с молодыми, в то время как обычно в селах только ровесники объявляют себя названными братьями — побратимами.

— Нет, мы не из одного села,— ответил Басараб,— а побратались мы по-своему, по-иному. Впрочем, садитесь, увидите. А если захотите, можете и вы пристать к нашему братству.

Бенедю еще больше удивило это объяснение. Он сел, не говоря ни слова и ожидая, что будет дальше.

— Побратим Деркач,— сказал Андрусь Басараб «метчику»,— пора нам взяться за дело. Где твои палки?

— Сейчас будут здесь,— ответил Деркач, выбежал в сени и принес оттуда целую охапку тонких ореховых палок, связанных бечевкой. На каждой палке видны были бóльшие или меньшие зарубки, одна рядом с другой. Такие зарубки делают ребятишки, которые пасут гусей и на палочках отмечают, сколько у кого гусей.

— Отметь Леону то, что рассказал Синица,— продолжал Басараб. В хате между тем сделалось тихо. Все сели, где кто мог, и глядели на Деркача, который уселся на лежанке, положил связку палок возле себя, достал из-за пояса нож и, вытащив одну палку, нарезал на ней еще одну метку рядом со многими прежними.

— Готово,— сказал Деркач, проделав это, и снова воткнул палку в связку.

— А теперь, милые мои побратимы,— сказал Андрусь,— рассказывайте по очереди, какую неправду-обиду каждый из вас за неделю узнал, видел или слышал. Кто ее причинил, кому и за что, рассказывайте всё, как перед богом, чтобы, когда придет наше время и наш суд, каждому было воздано по заслугам!

Минуту было тихо после этого призыва, затем заговорил старый Стасюра:

— Придет, говоришь, наше время и наш суд... Дай-то боже, хоть вижу — не дождусь этого дня, ну, да, может, вы, помоложе которые, дождетесь... Так вот, для того чтобы отмерить каждому по правде и справедливости, послушайте, что я слышал и видел за эту неделю. Оська Бергман, надсмотрщик в той шахте, в которой я работаю, снова на этой неделе избил четверых рабочих, а одному бойчуку выбил палкой два зуба. И за что? Только за то, что бедный бойчук, голодный и больной, не мог поднять сразу полную корзину глины.

— Нарезай, Деркач! — сказал Андрусь ровным и спокойным голосом, и только глаза его заблестели каким-то странным огнем.

— Этот бойчук,— продолжал Стасюра,— очень добрая душа, и я привел бы его сюда, только он, видно, совсем заболел, не был уже вчера на работе.

— Приведи! — подхватил Андрусь.— Чем больше нас, тем мы сильнее, а ничто так не связывает людей, как общая нужда и общая обида. А чем сильнее мы будем, тем скорее настанет время нашего суда. Слышишь, старик?..

Старик кивнул головой и продолжал:

— А Мотя Крум, кассир, снова недодал за эту неделю рабочим нашего промысла по пять шисток и еще грозил всем, что прогонит с работы, если кто посмеет напомнить об этом. Говорят, он покупает шахту в Мразнице и ему не хватало пятидесяти девяти гульденов,— вот он и содрал с рабочих.

Старик помолчал минуту, пока Деркач отыскал палочку Моти Крума и сделал на ней новую зарубку. Затем продолжал:

— А вот вчера иду я мимо корчмы Мошки Финка. Слышу, кричит кто-то. А это два сына корчмаря прижали в угол какого-то человека, уже пожилого, и так бьют, так дубасят кулаками под ребра, что человек тот уже едва хрипит. Наконец отпустили его, а он уж и идти не может, а когда харкнул — кровь... Взял я его, веду, да и спрашиваю: что за несчастье, за что так изуродовали? «Вот беда моя,— ответил человек и заплакал.— Задолжал я, говорит, неделю тому назад этому проклятому корчмарю, думал, получу деньги и выплачу. А тут пришла получка — бац, кассир меня забыл, что ли,— не вызывает. Я стою, жду, уже выплатил всем, а меня не вызывает. Я бросился к нему спросить, в чем дело, а он шасть — и запер дверь перед самым моим носом. Как я ни кричал, как ни стучал,— пропало. Еще выбежали прислужники да меня взашей: «Что ты здесь, пьяница, скандалишь?» Пошел я. Встречаю потом кассира на улице и к нему: «Почему вы мне не запла-

тили?» А тот зверем на меня посмотрел, а потом как закричит: «Ты, пьяница, будешь ко мне на улице приставать? Ты где был, когда выплата была? Я тебя здесь не знаю, там добивайся выплаты, где и другим платят!» Ну, а сегодня касса закрыта. Я проголодался, иду к Мошке съесть что-нибудь в долг, пока деньги получу, а эти два медведя, побей их бог, ко мне: «Плати и плати за то, что ты набрал!» Я и прошу и клянусь, рассказываю, в чем дело, но где там! Прижали меня в углу и вот, смотрите, чуть душу из тела не выколотили!»

— Нарезай метку, Деркач, нарезай! — сказал твердым, грозным голосом Басараб, выслушав со стиснутыми зубами этот рассказ.— Наглеют все больше наши угнетатели,— знак того, что кара уже висит над ними. Отмечай, побратим, отмечай живо!..

— Это верно,— продолжал Стасюра,— распустились наши обидчики, зазнались, издеваются над рабочим людом, потому что все им сходит с рук. Смотрю я, слушаю и вижу, что чем больше на свете горя и нужды народной, тем больше у них богатства и роскоши. Вот теперь народу в Борислав валит видимо-невидимо, потому что всюду по селам голод, засуха, болезни. А здесь разве лучше? Каждый день вижу в закоулках больных, голодных, беспомощных; лежат, и стонут, и ждут разве только милости божьей, потому что человеческого сострадания уже давно перестали ждать. Да еще, смотрите, плату нам уменьшили и с каждой неделей урезывают все больше и больше; нет возможности прокормиться! Хлеб все дорожает, а если еще в этом году недород будет, то придется нам всем здесь погибать. Вот кривда, которую все мы терпим, которая всех нас гложет до костей, а на кого ее записать,— я и сам не знаю!..

Старик произнес все это более живым, нежели обычно, голосом и с дрожащими от волнения губами, а затем оглянул всех и остановил свой взгляд на угрюмом лице Андруся Басараба.

— Да, да, правда твоя, побратим Стасюра,— закричали все рабочие,— это наша общая кривда: бедность, беспомощность, голод!

— А кто в ней виноват? — снова спросил старик.— Или сносить ее терпеливо, эту самую большую всеобщую кривду, а отмечать только те мелкие, отдельные, из которых складывается эта большая?

Андрусь Басараб смотрел на Стасюру и на остальных побратимов вначале угрюмо и, казалось, равнодушно, но затем на его лице засветилось что-то, словно скрытая на дне души радость. Он поднялся с места и выпрямился, доставая головой до самого потолка хатенки.

— Нет, не терпеть нам и этой всеобщей кривды, а если и терпеть, то не покорно и тихо, как терпит овца, когда ее стригут. Всякая кривда должна быть наказана, всякая неправда должна быть отомщена, и еще здесь, на этом свете, потому что о суде, который будет на том свете, мы ничего не знаем! И неужели ты думаешь, что, отмечая эти мелкие, отдельные обиды, мы забываем о главной, всеобщей? Нет! Ведь каждая, даже самая маленькая кривда, которую терпит рабочий человек,— это часть общей, народной кривды, которая всех нас давит и гложет до костей. И когда придет день нашего суда, нашей кары, думаешь ли ты, что не будет отомщена и общая наша кривда?

Стасюра печально покачал головой, словно в душе не совсем верил обещанию Басараба.

— Эх, побратим Андрусь,— сказал он,— отомщена будет, говоришь? Уж одно то, что неизвестно, когда это еще будет... А другое: что нам с того, что когда-нибудь, может быть, и отомстится, если нам теперь не легче от этого? А если и отомстится, то, думаешь, после легче будет?

— Что это ты, старик,— крикнул на него, грозно сверкнув глазами, Андрусь,— расплакался невесть чего! Тяжко нам страдать! Разве я этого не знаю, разве мы все этого не знаем? А кто может так сделать, чтобы мы не страдали, чтобы рабочий человек не страдал? Никто, никогда! Значит, терпеть нам вечно, до конца дней. Тяжело это или не тяжело, никому до этого нет дела. Страдай и молчи, не показывай другому, что тебе тяжело. Страдай, и если не можешь вырваться из беды, то хоть мсти за нее, это хоть немного облегчит твою боль. Так я думаю, и все признали, что я прав. Верно?

— Верно,— ответили побратимы, но так мрачно, угрюмо, словно эта правда не очень их радовала, не очень была им по сердцу.

— А если верно,— продолжал Андрусь,— то нечего и медлить и время зря тратить. Рассказывайте дальше, кто какую кривду знает.

Он сел. В хате стало тихо. Начал говорить Матвей. По соседству с ним умер рабочий в темной еврейской каморке; как долго он там лежал, когда заболел, никто не знает, и хозяева-евреи никому не хотели этого сказать. Говорят, что у рабочего было немного заработанных денег, и, когда он заболел, домохозяева отняли у него все, а его после морили голодом, держали взаперти, пока он не умер. Тело было страшно худое, грязное и все посинело. Позавчера ночевала какая-то женщина у другого

еврея по соседству. Ночью родила. Денег у нее не было, и сразу же на другой день хозяева выбросили ее с ребенком из дому. Рассказывал один рабочий, знакомый той женщины, что ходила она с ребенком к попу, чтобы окрестил, но поп не хотел крестить, пока она не укажет отца ребенка. Тогда женщина бросила ребенка в шахту, а сама побежала к начальству с криком, чтобы ее сейчас же повесили, потому что больше жить не хочет. Что с ней сталось затем, Матвей не знал.

И потекли рассказы, одинаково тяжелые и ошеломляющие, о совершающихся кругом вопиющих обидах. И после каждого рассказа говоривший останавливался, ожидая, пока «метчик» Деркач не отметит на палочке, чтобы «каждому воздать полной мерой». Некоторые побратимы говорили с таким спокойным, безразличным, почти мертвым выражением лица, что уже один их голос, один их вид был своего рода тяжелым обвинением, достойным того, чтобы быть отмеченным в ряду всеобщей неправды и угнетения. Другие загорались, рассказывая, проклинали мучителей и требовали скорой для них кары. Но сильнее всего взволновал всех рассказ молодого парня Прийдеволи. Когда пришла его очередь,— а он был моложе всех, поэтому и очередь его была после всех,— долго сдерживаемые рыдания вырвались у него из груди, и, заламывая сильные руки, он вышел на середину комнаты.

— Перед богом святым и перед вами, побратимы мои, жалуюсь на свое горе! На свою страшную обиду!.. Осиротили меня на всю жизнь... отняли последнее и растоптали ногами, и все это так, для забавы!.. Ох, боже, боже, и ты смотришь на все это и еще можешь терпеть?.. Но нет, ты терпи,— я же не могу, я не буду!.. Побратимы, товарищи милые, скажите, что мне делать, как отомстить? Все сделаю, на все отважусь, только не велите ждать, побойтесь бога, не велите ждать!..

Он замолчал, всхлипывая, как малое дитя. Спустя минуту начал уже более спокойным голосом:

— Вы знаете, что я круглый сирота, знаете, в каком горе и нужде прошли мои молодые годы, пока несчастье не загнало меня сюда, в этот проклятый ад. Но вся беда и нужда, все несчастья были для меня ничто, пока был хоть один человек, который умел меня утешить, подбодрить, приголубить, который отдал бы за меня свою жизнь... который любил меня!.. И этой единственной поддержке позавидовали мои враги! Послушайте, что они сделали. Вы знаете, что Варька ради меня оставила свой дом, мать-старуху и пришла сюда, в Борислав, чтобы быть вместе со мной. Мы жили вместе вот уже полгода. Она работала

на складе у этого богача Гольдкремера. На свое горе, она понравилась всем тем псам, которые видели ее. А там их до черта: кассир, молодой Шмулько Блютигель, надсмотрщик, тоже молодой еврейчик, затем еще какие-то прохвосты, пакажи их бог!.. Начали они к ней приставать, не давать ей покоя. Раз, другой она отстранила их вежливо, а потом, когда Блютигель застал ее как-то одну в сенях склада и, осмелев, начал уж очень к ней привязываться, она, не долго думая, размахнулась и так трахнула его по роже, что у него изо рта и из носа кровь брызнула, а сам он, как колода, покатился между бочек. Ну и посмеялись мы в тот вечер над назойливым кавалером, когда она рассказала мне обо всем этом. Однако мы прежде времени смеялись. Шмулько разозлился и сговорился с другими отомстить ей. Позавчера была получка; прихожу я вечером домой — нет моей Варьки. Сел я у окна, жду, посматриваю, а у самого под сердцем словно змея лежит. Вот и стемнело уж — нет Варьки. Набросил я кафтан на плечи, вышел на улицу, ищу Варьку — нет ее. Расспрашиваю работниц, которые вместе с нею получали, говорят — оставили ее там, наверно, ей выплачивали последней. Екнуло мое сердце, бегу в контору — заперто все, а в окнах свет. Стучу, не достучусь, а сам думаю: «Эге, да что я здесь стучу, может быть, ее здесь нет? Может быть, она уже дома давно, ждет меня?» Бегу домой — нет. Бегу снова по улицам, забежал ко всем знакомым, во все шинки, куда мы заходили иногда, возвращаясь с работы, закусить или селедку купить — нет ее. Всех расспрашиваю, не видал ли кто Варьку,— никто не видал. Пропала, словно в воду канула. Лечу снова в контору,— так меня что-то и тянет туда. Думаю дорогой: высажу дверь, а дознаюсь, что с ней случилось, где она. Но как только я пришел — куда вся моя смелость девалась! Стал, смотрю: в окнах свет, но окна занавешены, не видно ничего, только тени какие-то мелькают. Нет, думаю, она здесь должна быть, здесь должна быть, больше ей быть негде. И снова сам себе не верю, потому что зачем ей быть здесь? Пришла мне на ум история с кассиром Блютигелем: я весь задрожал, онемел. И как ни твержу себе, что все это шутка, пустяки,— нет, что-то словно рукой держит меня под окном этой проклятой конторы. «Не пойду уж никуда отсюда,— думаю про себя,— буду здесь ждать, пока огонь не погаснет, а то прожду и до утра». Сел я на какую-то бочку возле самой стены против окна, сижу, а сам дрожу как в лихорадке. Слушаю — прислушиваюсь. Вот слышно: где-то в шинке рабочие хриплыми голосами поют песни, где-то псы лают. Из-под Дила, от церкви, долетает, словно стон умирающего, протяжный

крик караульщика: «Осторожно с огнем». Вдруг слышу в конторе какой-то смех, затараторили все; узнал я голос Блютигеля, голос надсмотрщика. Затем застучало так, словно о стены забился кто-то, снова хохот, снова говор — и тишина. Господи, каждый звук вонзался в мое сердце, словно острый нож. Я так и замер, прижавшись ухом к стене. Как вдруг, уже на рассвете, раздался страшный крик в конторе; этот крик продолжался только мгновение, но он поразил меня, как гром, уколол, словно жало змеи. Я вскочил на ноги: это был крик Варьки. И едва я опомнился, едва подбежал к двери, чтобы, собрав все свои силы, высадить ее, как вдруг дверь распахнулась, и из нее вылетела, точно молния, Варька. Но она уже не кричала... Я узнал ее по платью,— лица не разглядел в потемках. И она меня не видела: выскочив из дверей конторы, она бросилась напрямик через кучи глины, между сараями и шахтами. Я за нею: «Варька, кричу, Варька, что с тобой такое? Что с тобой случилось? Ради бога, стой, отзовись!» Остановилась на минуту, оглянулась, и только теперь увидел я, что у нее вся голова черная, словно уголь, вымазана нефтью, а длинные косы ее отрезаны. «Господи боже, Варька,— кричу я, подбегая к ней ближе,— что это за несчастье с тобой?» Но она, как только увидела меня, сразу же повернулась и, словно испугавшись, помчалась дальше, ничего не видя, ударяясь о столбы во́ротов над шахтами. Я что есть мочи гонюсь за ней, как вдруг один страшный крик, одно мгновение — и Варька у меня на глазах исчезла, словно призрак: прыгнула в раскрытый колодец!.. Я подбежал, остановился — только глухо загудело, когда она в глубине, разбиваясь о бревна сруба, наконец упала в воду. Вот и все. Что было со мной потом, не помню. Я очнулся только сегодня, после полудня, и, когда спросил о Варьке, мне сказали, что ее, прибежав на мой крик, вытащили из шахты и уже похоронили. Значит, все пропало. И никто не скажет, что они с нею сделали в ту страшную ночь. Сожрали, изверги, мою Варьку живьем, убили мое счастье!.. Побратимы мои дорогие, перед богом святым и вами плачусь о своем горе, посоветуйте, научите, что должен сделать, но только не велите ждать!..

Рассказ Прийдеволи глубоко поразил присутствующих, хотя все уже и раньше знали по неясным слухам, какое несчастье приключилось с их побратимом. На их лицах можно было видеть во время его рассказа все оттенки чувств: от беспокойства до самой высшей тревоги и отчаяния, по мере того как все эти чувства отражались на лице рассказчика. А когда Прийдеволя замолчал и, заламывая руки, стал посреди хаты, словно

немой свидетель великого преступления, молчали и все побратимы, словно пришибленные; каждый, видимо, ставил себя в положение товарища и старался таким образом постигнуть всю глубину его печали и страдания. Но помочь — чем они могли помочь ему в этом деле, где не было уже никакого выхода, кроме смерти? Чему они могли научить его, на какой путь направить?

Первый опомнился Деркач и схватил свои палочки, чтобы сделать новую отметку.

— Стой, побратим Деркач,— сказал вдруг решительно Андрусь Басараб,— этого не отмечай!

Деркач удивленно взглянул на него.

— Не надо,— сказал коротко Андрусь, а затем, обращаясь к побратимам, спросил: — Кто еще хочет что-нибудь рассказать?

Никто не откликался.

— Значит, на сегодня беседе конец! Расходитесь по одному!

Но, несмотря на это обращение, никто не двигался с места. Все как-то странно переглядывались. Андрусь грозно посматривал на них, не зная, что это значит. Наконец поднялся с места Стасюра, самый старый из побратимов.

— Слушай, побратим Андрусь,— сказал он спокойным голосом,— о чем здесь у нас между побратимами на днях разговор вышел... И сейчас не от себя я тебе буду говорить, а ото всех. Знаешь, когда мы соединились, чтобы собирать человеческую кривду и судить рабочим судом тех, кого не можем призвать на панский суд, ты обещал нам, что, как только наберется положенная мера зла, страданий народных, мы сделаем подсчет, чтобы знать, для кого эта мера наполнилась до края. Не так ли?

— Так,— ответил Андрусь неохотно.

— И вот мы уже без малого год ведем счет людским обидам, побратим Деркач изрезал немалую кучу палок, но когда же, спрашиваем мы тебя, будет расплата?

— Не время еще, но скоро время настанет,— ответил Андрусь.

— Ох, пока солнце взойдет, роса очи выест! Сам видишь, что наши обидчики, обогащенные нашим трудом, становятся все наглее. Пора уже для острастки хоть предупреждение какое-нибудь сделать!

— Будет острастка,— сказал твердо и спокойно Андрусь.

— Какая? Когда? — раздались со всех сторон вопросы.

— Это уж мое дело. Услышите тогда, когда дело совершится, а заранее об этом говорить не приходится,— ответил Андрусь.— А до расплаты также недалеко. Ведь дубовый росток

должен вырасти до тучи, чтобы в него гром ударил. Обождите еще немного... А теперь спокойной ночи!

Все побратимы хорошо знали железный, решительный характер Андруся Басараба, знали, что на его слова можно положиться, и не расспрашивали больше, а начали расходиться.

— А ты, побратим Прийдеволя, останься здесь, я скажу тебе кое-что,— проговорил Андрусь; на лице бедного парня блеснула радость, словно надежда избавиться от страшной муки.

Разошлись побратимы. Только старый Матвей сидел в углу у стены, и давно погасшая трубка выпала у него изо рта и лежала на подоле длинной рубахи. Андрусь и Бенедя также сидели молча, каждый на своем месте, и каждый был занят своими мыслями. Только Прийдеволя стоял возле порога с мертвенно-бледным лицом, заломив руки, стоял, словно само воплощенное страдание, и не сводил глаз с Андруся Басараба, будто ждал от него невесть какого облегчения.

Матвей первый подошел к молодому парню.

— Что же ты, голубок, думаешь делать? — спросил он мягко, с состраданием. Прийдеволя посмотрел на него с выражением растерянности на лице.

— Разве я знаю, что делать, как поступить? — ответил он надломленным голосом.— Руки на себя наложу, если не смогу хотя бы отомстить своим врагам!

— Жалуйся на них в суд, пускай злодеи хоть посидят,— посоветовал Матвей.

— В суд? — мрачно отозвался Андрусь.— Ну, тоже хороший совет! В суд! А если их там и засудят, так что? Посидят месяца по два, да и выйдут и еще вдвойне выместят свою злобу на добрых людях. Да и засудят ли их? В чем будет он обвинять их на суде, если сам не знает, что они там с девкой сделали? А хотя бы и сто раз знал, где он возьмет свидетелей, как им докажет? Может, девка по собственной воле покончила с собой, или, может быть, кто знает, другая на то была причина? Эх, Матвей, Матвей, что там суд!.. Здесь нужен иной суд, иная правда!..

В ответ на эти слова Матвей, как пришибленный, грустно склонил голову и тяжело вздохнул: помимо своей воли и желания, он вынужден был признать их справедливость. А Прийдеволя еще пристальней посмотрел на Андруся и еле слышно проговорил:

— Да, побратимы, и я так думаю, что свидетелей нет никаких!.. Если бы только она жива была, господи, если бы она жива была! Но ведь вы знаете, какая она была гордая и непо-

корная, никакого бесчестия, никакого обидного слова не могла стерпеть!.. Ну так что же мне делать, что делать?..

Андрусь взял его за плечо и отвел в угол, мигнув Матвею, чтобы тот отошел в сторонку,— затем начал ему что-то тихо шептать на ухо. И, видно, немалую силу имели слова Андруся, если молодой парень вдруг побледнел еще больше, затем вспыхнул румянцем и, наконец, весь дрожа, как в лихорадке, громко зарыдал и, горячо сжимая Андрусеву руку, выкрикнул:

— Да, твоя правда, братец, другого выхода нет! Так и сделаю, будь что будет!

— Только ловко, толково и смело, и нечего бояться! Все мы под божьим судом ходим, божий суд для всех одинаков и справедлив, только людской суд не таковский. А после... после увидишь, что станет легче! Ну, а теперь ступай, спокойной ночи!..

Прийдеволя молча поклонился и ушел.

Андрусь прошелся несколько раз по хате, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, хотя, видимо, и сам был взволнован до глубины души. Потом подошел к Бенеде и выпрямился перед ним во весь свой богатырский рост.

— Ну, видели вы нашу работу?

— Видел.

— И что вы об этом скажете?

Бенедя опустил голову, словно стараясь собрать воедино рассыпанные мысли.

— По всему видно, что вы задумали что-то страшное и большое, хотя и не могу в толк взять, откуда это у вас взялось.

— Откуда взялось? Э-э, длинная это история, к тому же она и не относится к делу.

— А затем, хватит ли у вас сил, чтобы сделать то, что вы задумали?

— Мы сеем, а уродит ли семя втрое или вдесятеро, этого мы не знаем!

— И потом... еще одно...— Бенедя запнулся.— Подумали ли вы...

— О чем?

— О самом главном.

— Ну?

— Кому и какая польза будет от вашей работы?..

Андрусь пристально посмотрел на Бенедю, а затем засмеялся горьким смехом:

— Ха-ха-ха, польза! Разве непременно должна быть польза?

— Ну, я так думал,— ответил спокойно Бенедя,— что уж если что-нибудь делается, и делается обдуманно, то нужно поразмыслить и над тем, будет ли и кому будет от этого польза.

— Гм, вольно вам так думать! А я нынче думаю: вот меня теснит враг со всех сторон, нет у меня никакого выхода. Я заряжаю ружье. Убью ли я врага или самого себя, это для меня все равно.

— Нет, нет, нет,— живо подхватил Бенедя,— это говорит в вас слепое, безысходное отчаяние, а не рассудок! Разве дошло уже до того, что нет никакого другого выхода? А если бы дело обстояло и так, то разве вы думаете, что это все равно — убить себя или убить врага? Убьете себя — врагу легче и вольготнее будет.

Теперь наступила очередь Андруся опустить тяжелую голову и задуматься.

— Ты прав,— сказал он наконец Бенеде.— Здесь надо подумать. Хочешь быть нашим побратимом и думать вместе с нами?

— Вашим побратимом, но не слепым орудием вашей воли.

— Нет!

— И чтобы каждый мог свободно думать, что он хочет, и другим говорить, что думает.

— Это у нас и теперь свободно. Ведь ты же слышал сегодня.

— Так-то оно так, но я еще раз оговариваю себе это право. Себе и каждому.

— Хорошо.

— Ну, а если так, буду вашим побратимом, буду думать вместе с вами над тем, как найти выход из великой всенародной кривды!

Андрусь, а за ним Матвей радостно обняли Бенедю, как брата.

Наши побратимы были так заняты собой и своими мыслями, что не слышали, как кто-то постучал в наружную дверь, открыл ее с легким скрипом и вошел в сени. Лишь когда скрипнула дверь хаты и новый гость стал на пороге, только тогда они заметили его. Это был высокий рыжий еврей с недобрыми серыми глазами, с недобрым выражением веснушчатого лица, на котором светилась в эту минуту какая-то зловещая радость.

— Дай боже! — буркнул он, приподняв слегка шапку на голове.

— Дай боже! — ответил Матвей, которому как-то не по себе стало при виде нового гостя. Этот новый гость был его злей-

ший враг — Мортко, один из надсмотрщиков на промыслах Германа Гольдкремера. Матвей недоумевал, что привело Мортка теперь, в такое позднее время, в его хату, но, верный обычаю нашего народа быть почтительным с каждым входящим в дом, Матвей скрыл в глубине души свою ненависть и все ожившие при виде Мортки мучительные воспоминания. Он приветствовал его с холодно-вежливым видом:

— Садитесь, Мортко!

Мортко кивнул головой и сел.

— Нет ли каких новостей, что так поздно зашли к нам в гости?

— Как будто все в порядке. Новости хорошие! — ответил со злорадной усмешкой Мортко и, спустя минуту, добавил: — Был у вас нынче рассыльный из суда?

Матвей вздрогнул при слове «суд», словно ужаленный.

— Нет,— еле выдавил он, чувствуя что-то недоброе,— не был.

— Ну, тогда, вероятно, завтра будет. У меня был сегодня.

— Ну и какие новости принес вам? — спросил Матвей, дрожа всем телом.

— Наше дело кончено.

— Кончено?

— Да! И так кончено, как я вам говорил. Потому что зачем вам было нужно вмешиваться в то, что вас не касается?

— Не касается? — с болью в голосе воскликнул Матвей.— Мортко, не говори мне этого. Хотя ты и у меня в доме, но, сам знаешь, человек не без греха!

— Ну-ну,— ответил Мортко,— вам не на что сердиться. Я не то хотел сказать. Я хотел только сказать, что вы зря на меня бросили подозрение и что я в этом деле, видит бог, нисколько не виноват! Сам прокурор в Самборе это признал и сказал, что против меня нет никаких доказательств и что он не может обвинять меня по этому делу, которое вы взвалили на меня. Напился покойный Пивторак, упал в колодец: при чем же я здесь?

Услыхав это, Матвей, словно оглушенный ударом обуха, опустил голову и не мог проговорить ни слова. «Пропало, пропало! — шептало, шипело, вертелось что-то в его голове.— Погиб человек, и след его простыл, а это...»

В эту минуту Андрусь Басараб, молча слушавший весь этот рассказ, обратился к Мортку:

— Что это за дело такое, Мортко? Какое у вас дело с Матвеем?

— А зачем вам это знать? — язвительно ответил Мортко.

— Ты уж не спрашивай, зачем мне это знать,— ответил Андрусь.— Тебе жалко сказать, что ли?

— Жалко не жалко, но...

Мортко внимательно всматривался в Андруся, словно боялся нажить себе в нем нового врага.

— Говори же, если не жалко! — сказал Андрусь и стал над Мортком, словно черт над грешной душой.

— Да что тут говорить, пустое дело, püste Geschäft[1] — и все тут! Помните, два года тому назад из шахты достали человеческие кости! По перстню узнали, что это был Иван Пивторак, муж хозяйки этой хаты. Он за год перед тем куда-то пропал. Ну, а Матвею почему-то взбрело в голову, что это я виноват в том, что Иван упал в колодец, ну он и давай жаловаться на меня в суд. Он думал, что меня сразу же возьмут и повесят... Но в суде так не делается: если обвиняешь кого, так поди раньше докажи! А здесь как можно доказать? Ну, однако, благодарение господу, дело уже закончено! Слушайте, Матвей, я еще раз говорю, зачем вам нужно было вмешиваться в это дело и тратить деньги на процесс? А теперь, когда вы проиграли, забудьте обо всем и будем снова друзьями, как прежде. Ну, давай руку, старина!

Мортко протянул Матвею руку.

— Я — тебе? — вскрикнул Матвей.— Чтобы я положил свою руку в ту руку, которая моего Иванчика со свету сжила? Нет, не дождешься этого!

— Ну, видите,— сказал еврей, обращаясь к Андрусю,— он все свое. Послушайте, Матвей, вы оставьте эти разговоры, потому что теперь, когда суд признал, что я не виновен, никто не смеет меня обвинять. Теперь я на вас могу подать в суд за оскорбление!

— Ну подавай, подавай! — крикнул Матвей.— Пускай меня повесят вместо тебя! А я, хотя бы десять судов говорило что угодно, все буду стоять на своем. Не кто другой, как ты, толкнул Ивана в колодец. Вот и все! А теперь уходи отсюда, потому что, если у меня лопнет терпение, может что-нибудь неладное выйти между нами!

Мортко пожал плечами и пошел. Но в дверях он обернулся, бросил презрительный взгляд на Матвея и сказал:

— Глупый мужик! Он думал сделать мне что-нибудь этим процессом, а это еще не так просто — сделать мне что-нибудь!

---

[1] Пустое дело *(еврейск.)*.

И с этими словами Мортко ушел. А Матвей все еще сидел на лежанке, бледный, разбитый, дрожащий, сидел без мыслей и движения, а в голове у него, словно мельничное колесо, тарахтело одно темное, пустое, холодное слово: пропало! пропало! пропало!..

Андрусь Басараб подошел к нему и положил свою могучую руку на его плечо.

— Побратим Матвей!

Матвей поднял глаза и взглянул на него, как утопающий.

— Что это за дело такое? Что за процесс? Почему мы до сих пор ничего об этом не знали?

— Эх, пропало, все пропало! — ответил Матвей.— Что теперь и говорить об этом!..

— Нет, ты расскажи, тебе самому легче будет!

— Ой, не будет мне легче, не будет! — сказал Матвей.— Пропало — и все тут!

— Да кто еще знает, пропало ли? — вмешался Бенедя.— Ведь можно проигранный однажды процесс начать вторично и выиграть! А здесь и вовсе, как видно из слов этого Мортка, не так плохо. Ведь ваше дело и в суде не было, только прокурор признал, что улик, необходимых для суда, нет. Значит, если будут улики, то и суд будет.

Лицо Матвея прояснилось немного при этих словах.

— Так ли это? — спросил он, выпрямляясь. Но какая-то тяжелая мысль вскоре снова навалилась на него и придавила к земле.

— Нет, нет, нет, нечего и говорить,— сказал он.— Так или иначе, а все пропало. Три года прошло. Где я теперь возьму им лучшие доказательства? Довольно, довольно и думать об этом!

И он закрыл лицо руками, а из его глаз полились горячие наболевшие слезы, потекли между пальцами и закапали на землю. Бенедя и Андрусь увидели, что сегодня с ним нельзя больше ни о чем говорить,— удар был слишком силен и неожидан и сломил всю его твердость. Андрусь молча стиснул Бенеде руку, взял шапку и тихо вышел. Бенедя также тихо разделся и лег на лавке, подостлав кафтан. А Матвей сидел на лежанке, словно омертвелый, словно из камня изваянный. Нефтяная лампочка все слабее и слабее мерцала на выступе трубы. В углах комнаты притаились глыбы мрака, словно ожидая мгновения, когда погаснет лампа, чтобы обрушиться на дом и закрыть собою все сверху донизу. Бенедя, как только улегся, так в ту же минуту под тяжестью множества сильных впечатлений этого дня уснул мертвым сном. Уже минула полночь, погасла лампа,

тьма заполнила хату, а Матвей все еще сидел на лежанке, с лицом, закрытым ладонями, без движения, без слов, без мыслей, ощущая в сердце только страшную боль, великую пустоту и еще живую рану, причиненную мыслью, что и в судах уже нет правды для бедного рабочего. Только на рассвете сон одолел усталое тело, голова его склонилась, руки бессильно упали, и, улегшись на голой лежанке, Матвей задремал на часок, пока не раздастся по всему Бориславу утренний стук и звон, созывающий трудовой люд на работу.

V

Поутру в понедельник яркое солнце явилось из-за розовых облачков, чтобы снова весь день палить и жечь нерасцветшую землю Подгорья. В блестящей легкой рессорной бричке, запряженной парой резвых пегих лошадок, ехал Леон Гаммершляг из Дрогобыча в Борислав. Он был в прекрасном, радужном расположении духа, блестящие надежды возникали перед ним, росли, крепли, облекались в плоть и кровь. Мерное покачивание брички сладко убаюкивало Леона, а его собственные мысли и мечты украшали в его глазах весь мир. Ну и наработался, набегался он за эти три недели, изведал немало тревог и волнений, повозился со всякими людьми, пока все-таки не добился своего — не схватил среди этой сутолоки золотую нитку, которая, может быть, приведет его и к клубку богатства! Его пребывание в Вене так или иначе было действительно одной из самых смелых и счастливых его спекуляций! Это была настоящая ловля золотой рыбки! Ну и удалась же ему эта ловля как нельзя лучше! Леон заранее обдумал все подробности этой героической ловли, рассчитал время и деньги, чтобы все в задуманном им предприятии шло правильно, ловко и гладко, как часы. Главная суть его планов заключалась в следующем.

Проживающий в Вене бельгийский химик Ван-Гехт, который несколько лет работал над анализом горного воска, после долгих опытов изобрел такой способ очистки, в результате которого очищенный воск утрачивал свойственный ему неприятный запах нефти. Небольшая примесь пчелиного воска придавала ему аромат, а еще одна химическая примесь — цвет обыкновенного чистого пчелиного воска. Этот новый фабрикат он называл церезином и выхлопотал патент на право исключительного пользования своим изобретением. Образцы своего воска Ван-Гехт послал, между прочим, и святейшему синоду в России, с запросом, может ли такой воск найти доступ в православные церкви,

и с заверением, что в этом случае он мог бы поставлять его в большом количестве и по цене гораздо более низкой, нежели цена пчелиного воска. Синод ответил ему спустя некоторое время, что предложенный воск испробован, что он оказался ничем не хуже пчелиного и что в каждой православной церкви в России свечи из этого воска могут гореть без всякого ущерба для славы божией. В случае, если он, Ван-Гехт, поставит много такого воска по дешевой цене, синод обеспечит ему большой сбыт в России. Имея это важное разрешение и патент на исключительное право пользования своим изобретением в течение семи лет, Ван-Гехт задумал добиться при их помощи миллионного состояния. До сих пор он был бедным техником, с большим трудом собрал деньги на устройство в Вене собственной небольшой химической лаборатории, в которой работал с одним лишь помощником — ассистентом, немцем Шеффелем. Поэтому и не удивительно, что теперь он решил как можно дороже продать результат своего труда. С этой целью он объявил в торговых и биржевых венских газетах о своем изобретении и открытых для него широких рынках сбыта, приглашая «господ предпринимателей, фабрикантов и капиталистов, которые при его участии хотели бы осуществить выгодную сделку, вступить в соглашение лично или через посредство агентов с изобретателем Ван-Гехтом». Это объявление вызвало немалую тревогу среди венских капиталистов, а особенно среди галицких предпринимателей, которые давно уже грели руки возле бориславской нефти и бориславского воска. Вокруг убогой лаборатории Ван-Гехта, помещавшейся в нанятой им сырой квартире в подвале, забегали втихомолку агенты; каждый старался обойти другого, и никто из них не приступал прямо к делу, а только принюхивался, как собака. Ван-Гехт видел все это, и, хотя им все более овладевало нетерпение в ожидании желанного миллиона, он радовался, зная, что в мире предпринимателей так уж заведено: когда речь идет о каком-нибудь важном деле, оно прежде всего обнюхивается и ощупывается со всех сторон, никто никому не доверяет, все боятся друг друга, и хотя в погоне за прибылью каждый рад опередить своих собратьев, а если возможно, то и свалить еще того или другого «собрата», каждый старается ни в чем не подать вида другим, хотя, быть может, его и сжигает внутри всепожирающая лихорадка. Ван-Гехт хорошо знал это и старался и сам казаться незаинтересованным. Он по-прежнему трудился со своим помощником в лаборатории, заходил иногда на биржу, но всегда держался в стороне, смиренько, словно бы это и не он. Однако он хорошо замечал, что его ни-

зенькая, приземистая и слегка обрюзгшая фигурка начинает обращать на себя внимание в мире властителей капитала.

В этом не было ничего удивительного. Ведь это происходило в конце шестидесятых годов, в эпоху большого промышленного подъема в Австрии, в эпоху великой спекулятивной лихорадки, великого «Aufschwindl'я». Ведь в то самое время, когда в газетах появилось объявление Ван-Гехта, закладывался фундамент знаменитой «ротонды», главного здания Венской всемирной выставки 1873 года. О том, что одновременно с этим биржевым и спекулятивным «Aufschwindl'ем» и неотделимо от него были посеяны семена венского «краха» 1873 года, никто в пору горячки не думал, а Ван-Гехта это и вовсе не занимало.

Но, уж наверное, никого так не взбудоражило объявление Ван-Гехта, как знакомых нам бориславских тузов — Германа Гольдкремера и Леона Гаммершляга. Они давно уже метались во все стороны, чтобы найти для бориславского воска более верный и лучший сбыт, нежели тот, который существовал до сих пор. Да и самый характер их шахт свидетельствовал о том, что пришло время налечь главным образом на добычу воска, что воск должен стать теперь основой бориславского богатства, а нефть — только более или менее крепким подспорьем. Нужно знать, что в первый период развития бориславских промыслов было как раз наоборот: нефть составляла главный источник доходов, а воск, если наталкивались где-нибудь в первых неглубоких шахтах на его залежи, либо совсем обходили, оставляя его в земле, либо если и выбирали, то очень мало. Брали его захожие нефтяники, брали заезжие люди, которые приезжали в Борислав что-нибудь продать, и увозили его домой, нередко большими глыбами. Предприниматели-евреи мало дорожили воском, особенно мелкие владельцы, имевшие один-два колодца. Но теперь все изменилось. Нефть в значительной части колодцев была исчерпана, источники, о которых думали, что они будут течь вечно, начали иссякать. А тут еще эти проклятые американцы не только начали сбывать свою нефть в Европу, но и доказали, что их нефть лучше очищена и дешевле бориславской! Поэтому и не удивительно, что первое место в бориславском промысле должен был занять воск. Евреи бросились расхватывать заброшенные шахты, на которые раньше не обращали внимания; от главных вертикальных шахт начали проводить поперечные боковые штольни, прямые или, если это нужно было, кривые, извилистые. Начали также спускаться дальше вглубь; если прежде самые глубокие шахты были тридцати — пятидесяти саженей, то теперь глубина шахт дости-

гала восьмидесяти — ста саженей; чем дальше забирались вглубь, тем пласты воска становились толще, жилы богаче и обильнее. Одно только допекало бориславских тузов — это дороговизна очистки воска; его дистилляция при помощи серной кислоты и другие процессы, необходимые для выработки из этой желтой глины массы белого парафинового воска, стоили очень дорого; цена парафина, хотя и достаточно высокая, не могла все-таки обеспечить предпринимателям большие и скорые прибыли. И вот в этот момент, словно ангел-хранитель с неба, появляется хитроумный бельгиец со своим изобретением! Производство церезина, пишет он в своем объявлении, будет стоить дешевле, нежели производство чистого парафина. Далее, церезину обеспечен сбыт в России. К тому же изобретатель — бельгиец! А бельгийцы, известно, люди энергичные, солидные, на которых можно положиться,— не то что ветрогоны-французы или мошенники-немцы! Значит, прибыль скорая, большая и верная!

И Герман и Леон, прочитав объявление Ван-Гехта, немедленно написали своим агентам, чтобы они постарались ознакомиться с этим делом, разузнать об условиях и обещали в случае выгодности сделки приехать в Вену завершить ее.

Агентом Германа был какой-то солидный немец-делец, который хотя и драл с Германа хорошие деньги, зато умел и похлопотать по его делам в Вене. Получив поручение Германа, он пошел с ним прямо к Ван-Гехту, спросил его об условиях, поторговался немного и, взяв с него слово, что он сохранит в тайне их предварительное соглашение, обещал ему, что не позже чем через неделю-две приедет и сам предприниматель и завершит с ним сделку. При этом агент заверил Ван-Гехта, что Герман человек солидный и основательный, и, заключая с ним договор, агент старался выбить из головы Ван-Гехта мысль о будущем миллионе, но все-таки уверил его, что на полмиллиона он может рассчитывать и что его доверитель лучше, чем кто-либо другой, может оправдать эти расчеты. Ван-Гехт, хотя и скрепя сердце, согласился на все: пускай и полмиллиона,— тоже кругленькая сумма, о которой он когда-то и мечтать не смел. Агент еще раз подчеркнул, что Ван-Гехт должен хранить их соглашение в тайне, а бельгиец, не догадываясь, почему это его беспокоит, согласился и на это. Вскоре агент протелеграфировал Герману, как обстоит дело, и просил его как можно скорее приехать в Вену для завершения сделки с Ван-Гехтом. Мы видели уже, в каком состоянии духа и при каких обстоятельствах застала Германа эта телеграмма.

Но тем временем и агент Леона Гаммершляга не дремал. Это был проворный, хитрый венский еврей, известный Леону с давних пор. Он служил ему за небольшую плату, потому что Леон, как и все так называемые либералы, хотя и любил на людях сверкать и блестеть, но в частных делах никогда не мог избавиться от свойственной ему торгашеской скаредности и нечистоплотности. Поэтому он предпочитал держать какого-нибудь паршивенького агента, лишь бы только меньше ему платить. Правда, этот агент ухитрялся до сих пор ловко и быстро устраивать все дела Леона, «с его легкой руки» везло Леону, и он уже неоднократно посылал ему особые добавки в знак своей признательности. Вот этот-то агент и на сей раз уладил это важное дело, к великой радости Леона. По своему обыкновению, он не брался за дело прямо, как немец, а колесил, вертелся, разнюхивал, узнавал из десятых рук. Но вот пронесся слух, что Ван-Гехт ставит неслыханно тяжелые условия. Сам немец, агент Германа, рассказывал в кругу своих приятелей, что ходил к бельгийцу (умалчивая, по чьему поручению) и что тот выставил такие условия: он возьмет на себя руководство производством церезина, если предприниматель гарантирует ему семилетнюю непрерывную службу и пять тысяч гульденов в неделю, да еще в течение последних двух лет пять процентов дивиденда с чистой прибыли от проданного церезина. Такие тяжелые условия должны были испугать каждого; у агента Леона сразу отпала охота идти к Ван-Гехту. Но он пронюхал, что есть другая дорожка в огород. За несколько дней перед тем, именно после соглашения с немцем, Ван-Гехт закрыл свою лабораторию, стараясь продать ее, уволил также своего помощника Шеффеля, который теперь без работы и заработка жил на одной из тесных уличек венского Vorstadt'а [1]. К этому-то Шеффелю и направился агент Леона и начал выспрашивать да выведывать у него. Он убедился, что Шеффель обстоятельно знает секрет производства церезина, сумел бы наладить и вести производство. Правда, Шеффель — человек бедный, робкий и совестливый — быстро выпроводил бы каждого, кто сказал бы ему: «Иди сюда и вырабатывай церезин!» Но хитрый агент не сказал ему этого, а зато немедленно после разговора с Шеффелем написал Леону, чтобы тот приезжал, потому что хотя Ван-Гехт и предъявляет слишком большие требования, но, с другой стороны, может быть, окажется возможным устроить это дело гораздо выгоднее и легче.

[1] Предместье *(нем.)*.

А пока что еврей-агент принялся обрабатывать Шеффеля на свой лад. Он подружился с ним за пивом, заходил несколько раз к нему домой и присматривался к его бедному житью. Шеффель жаловался ему на свою бедность, на отсутствие заработка, а ловкий агент, как назло, рисовал ему широкие, заманчивые картины прибылей, богатства и довольства, намекая с каждым разом все яснее, что и для него вовсе не закрыты ворота в этот золотой рай. Бедный Шеффель вздыхал и снова начинал свои жалобы. Чтобы вернее опутать его, агент несколько раз деликатно одалживал ему небольшие суммы денег, то и дело обещая похлопотать о месте для него, да еще о таком прибыльном, что он будет ему всю жизнь благодарен. Шеффель недоверчиво качал головой, но агент так упорно твердил свое, что бедняга постепенно терял рассудок и, обессиленный, отдавался потоку блестящих обещаний агента. В конце концов к приезду Леона Шеффель был почти совершенно подготовлен к тому, что задумал проделать с ним агент.

Леон приехал в Вену, не зная, как его агент думает уладить дело. А когда узнал, то вначале сделал вид, что отвергает его план. Но это не было сопротивлением; поговорив более обстоятельно, он согласился на все и велел агенту привести Шеффеля к себе в гостиницу. Здесь после недолгой борьбы, толкаемый, с одной стороны, нуждой, а с другой стороны — блестящими обещаниями Леона, Шеффель сдался. Он обещал Леону, что поедет с ним в Борислав и будет вести тайное производство церезина, да еще за сравнительно небольшую плату. А чтобы замаскировать строительство и работу нового завода и отвести людям глаза, Шеффель, незнакомый с галицкими условиями, посоветовал Леону объявить, что это строится небольшая паровая мельница. Леон, как мы видели, так и сделал, не подумав хорошенько, к чему это может привести.

Уладив дело с Шеффелем, Леон не успокоился. Он бросился выискивать для будущего церезина покупателей. С помощью своего агента ему удалось спустя некоторое время найти несколько русских капиталистов, проживавших проездом в Вене. Они охотно взяли на себя посредничество в деле поставки церезина, и действительно через три недели Леон уже заключил с только что созданным в России «Восковым обществом» контракт на поставку в течение полугода двухсот тысяч центнеров церезина на таких выгодных условиях, что заранее мог исчислить чистую прибыль от этого предприятия в сто тысяч гульденов. Вот тогда, захватив с собой золотоносного Шеффеля, он и помчался в Галицию, чтобы сразу же приняться за дело. Гото-

вого воска у него было на складах в Бориславе десять тысяч центнеров. Вдвое, а то и вчетверо больше он надеялся сейчас же, на собственные деньги и по дешевой цене, закупить на месте у мелких шахтовладельцев; а после этого его контрагенты должны были прислать в Борислав своих людей, чтобы воочию убедиться, сколько и какого воска выработано, и тогда Леон должен был получить такую часть условленной суммы, которая равнялась бы стоимости заготовленного воска; за эту сумму он надеялся поставить все обусловленное контрактом количество воска, так что остальные следуемые ему деньги были бы его чистой прибылью, за вычетом разве платы Шеффелю и стоимости строительства фабрики.

И Шеффель тем временем не сидел сложа руки. Чтобы зарекомендовать себя перед своим «благодетелем», он разработал подробный план нового завода, заказал вместе с агентом котлы, трубы и прочее необходимое металлическое оборудование на венских заводах, обусловливая срочность его изготовления. Таким образом, за время своего трехнедельного пребывания в Вене Леон достаточно потрудился над укреплением своего богатства и счастья. Все это время он носился как угорелый, не развлекался, не заходил к знакомым и даже не здоровался с Германом Гольдкремером, которого несколько раз встречал на улице в толпе пешеходов. Всеобщая спекулятивная горячка захватила его,— свет померк в его глазах, и Леон уже не различал ни друга, ни брата, ни правды, ни кривды — ничего, кроме золота, богатства и блеска. Эта горячка не покидала его и по возвращении в Дрогобыч. Мы видели, что, приехав из Вены, он в тот же день договорился со строителем и Бенедей, а затем и сам помчался в Борислав, чтобы собственными глазами наблюдать за закладкой новой фабрики. Его словно толкало, подгоняло что-то как можно скорей это сделать; он даже, возвратясь из Вены, решил, хоть и не очень охотно, приостановить временно строительство своего роскошного дома, чтобы можно было таким образом больше денег и сил употребить на скорейшее завершение нового прибыльного дела. «Ведь мой дом, мое счастье, моя сила от этого не перестанут строиться, расти к небу! Нет, именно успешное завершение этого дела будет одним из главнейших камней в основании моего дома!»

Вот эти воспоминания и мысли, варьируясь на бесчисленные лады, занимали Леона по дороге в Борислав. Быстрая езда и покачивание брички сладко убаюкивали, а собственные мысли и мечты делали весь мир в его глазах богаче и нарядней.

Вот он уже миновал Губичи и, не доезжая Бориславa, приказал кучеру остановиться на большаке. Вылез из брички и напрямик через выгон направился к речке, где должен был строиться завод. Но еще прежде, чем он приблизился к намеченной им площадке, Леон услышал какой-то гомон. Вскоре он увидел, к немалому своему удивлению, толпу людей, теснившихся возле площадки и с любопытством глазевших по сторонам. Это были большей частью владельцы бориславских шахт, хотя было здесь много и безработных нефтяников, женщин с детьми и разного случайного люда. «Что за притча? — подумал про себя Леон.— Что могло здесь произойти, почему собралась эта толпа народа?»

Дело объяснялось совсем просто. Едва толпа заметила его, как тотчас же владельцы шахт направились к нему навстречу и засыпали его вопросами: «Что? Как? Правда ли, что он строит паровую мельницу? Почему так неожиданно пришла ему в голову подобная мысль? Зачем он лезет на рожон, на неминуемые убытки: ведь паровая мельница в Бориславе не будет приносить никакого дохода!»

Леон был очень смущен этими вопросами. Он только теперь впервые понял, что, объявляя о постройке паровой мельницы, он не только не отводит глаза людей от своего предприятия, но, наоборот, обостряет человеческое любопытство. Поэтому на вопросы своих коллег он принужденно улыбнулся, не зная вначале, на какой ответ решиться. Но вот уже и рабочие, и женщины, и весь бедный люд обступили Леона, одни — прося его о работе на постройке, на мельнице, другие — благодаря его за это великое благодеяние для бориславской бедноты, которой теперь, может быть, легче будет заработать на кусок хлеба насущного. Леон смутился еще больше. Он увидел, что тут уже никак не уйти от людского любопытства.

— Но, люди добрые,— сказал он, опомнившись,— кто это сказал вам, что здесь строится паровая мельница?

— Да вот пан строитель, который приехал сегодня утром искать рабочих для новой постройки.

— Э-э, да это пан строитель пошутил над вами,— сказал Леон.— Это не паровая мельница, это строится обыкновенный нефтяной завод! Где уж мне строить паровую мельницу!

— А-а-а! — вырвался из уст присутствующих возглас удивления и разочарования. И бедняки начали расходиться, а евреи-предприниматели после их ухода стали свободнее толковать с Леоном, расспрашивая его, для чего он строит новый нефтяной завод, не потребуются ли ему нефть и воск и что он

будет на своем заводе вырабатывать. Более любопытные спрашивали его даже, не заключил ли он с кем-нибудь контракта.

— Мы слышали,— говорили некоторые предприниматели,— что там, в Вене, организуется большая «Erdwachs Exploitations-Compagnie» («Общество эксплуатации горного воска»). Вы, наверно, с ним связаны?

— В Вене? «Общество эксплуатации»?..— удивлялся Леон.— Нет, я ничего об этом обществе не слыхал и не связан с ним!

— Возможно ли это? — удивлялись, в свою очередь, промышленники.— Вы были в Вене и даже не слыхали об организации большого «Общества эксплуатации»?

— Да где там,— отмахивался Леон,— я в Вене был занят частными делами, на биржу даже не заглядывал!

Еле-еле отделался Леон от своих соотечественников. Правда, он обещал кое с кем еще сегодня потолковать о покупке горного воска, который потребуется для нового завода. Избавившись от непрошеных любопытных гостей, он пошел на площадку, где нанятые рабочие уже выравнивали землю, свозили щебень и кирпич и где строитель с Бенедей размеряли план и обозначали колышками место для рытья фундамента. Строительство необходимо было закончить как раз к тому времени, когда венские заводчики обещали прислать заказанное Шеффелем оборудование.

Строитель был очень недоволен и то и дело ворчал что-то себе под нос. Бенедя только время от времени слышал отрывистые слова вроде «дурень», «мошенник», «хочет дурачить людей, а не умеет». Когда Леон приблизился и громко сказал рабочим «добрый день» и «бог на помощь», Бенедя первый подошел к нему.

— Пан,— сказал он,— не правда ли, это вы шутили, говоря, что здесь должна быть паровая мельница?

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что мы здесь с паном строителем не могли договориться относительно плана. Я, между прочим, работал уже на строительстве паровой мельницы в Перемышле и знаю, как ее надо строить. И здесь, как только я взглянул на план, я сразу увидел, что это нефтяной завод, а не мельница. Я и раньше догадывался об этом, ведь для чего бы вы стали строить здесь, в этой пустыне, мельницу? А вот пан строитель ни в коем случае не хотел начинать работу по этому плану, говоря, что здесь, вероятно, ошибка, что нужно подождать до тех пор, пока он сам не сделает такой план, который годится для паровой мельницы.

— Ну, разумеется, я говорил это в шутку! — громко сказал Леон, снова стараясь смехом прикрыть свое смущение.— Ведь я еще не сошел с ума, чтобы строить паровую мельницу в Бориславе.

Теперь и строитель, услыхав эти слова, подошел к Леону, который, все еще улыбаясь, озирался вокруг.

— Господин Гаммершляг,— сказал строитель резким, жестким голосом,— кто из нас оказался лжецом?

— Лжецом? — повторил Леон и отступил на шаг назад, меряя строителя надменным взглядом. Правда, под этим высокомерием скрывалось все то же смущение, и Леон много дал бы за то, чтобы строитель замолчал. Но строитель и не думал молчать.

— Да, лжецом,— сказал он,— потому что разве вы не говорили мне, что хотите строить здесь паровую мельницу?

— Я шутил.

— Вы шутили? Ну, я еще не видал, чтобы кто-нибудь так серьезно шутил, как вы! Признаюсь, я вашей шутки не понял. Я на основании этой шутки и рабочих набрал, и шум поднял на весь Борислав...

— Это очень плохо! — сказал Леон.

— Верно, что плохо, потому что теперь я в глазах всех этих людей стал лжецом.

— Это ваше дело, не мое!

— Мое дело? Но ваше слово!

— Но ведь я вам дал план! Какой вы строитель, если не сумели отличить паровой мельницы от нефтяного завода?..

Эти слова сильно задели строителя.

— Э, что там ваш глупый план! Я на него и не смотрел!

— Ну, это ваша вина! — отрезал Леон.— За что вы у меня деньги получаете?

Они вели этот спор громко, все более повышая голос. Леон раскраснелся, как рак, полное лицо строителя тоже налилось кровью. Между тем рабочие и кое-кто из посторонних, слыша, как сцепились «господа», остановились и с любопытством смотрели на это зрелище.

— Милостивый государь! — кричал разъяренный строитель.— Я не затем пришел сюда, чтобы слушать ваши грубости.

— А я не затем, чтобы слушать ваши глупости.

— Сударь, вы меня оскорбляете!

— Не такой страшный грех!

— Вы вредите моему доброму имени!

— Вы навредили моим интересам!

— Ах, так! В таком случае прошу заплатить мне за мой труд, и я сегодня же возвращаюсь в Дрогобыч.

— О, тем лучше! Будьте любезны подать мне счет, и не только за эту работу, но и за постройку в Дрогобыче! Постараемся обойтись без такого гениального строителя! — И Леон с высокомерным видом отвернулся в знак того, что разговор окончен. А строитель, кипя от злости, швырнул на землю все, что было у него в руках, и, нахлобучив шапку и сплюнув, направился в Борислав, сопровождаемый громким смехом рабочих, слушавших этот разговор.

Работа продолжалась своим чередом. Леон долго ходил по площадке, оглядываясь по сторонам и тяжело дыша, пока не улеглось его раздражение. Спустя некоторое время он остановился перед Бенедей.

— Ну, что теперь будем делать? Строителя у нас нет.

— Если позволите, то я и сам поведу эту постройку по плану.

— Вы сами?

— А почему бы и нет? Штука нехитрая. Через месяц все будет готово.

— Я согласен! Я вижу, вы человек хороший и честный. Стройте! Даже залога я у вас не потребую, я уж сам буду кое за чем присматривать. А о плате не беспокойтесь, я вас обижать не хочу!

Бенедя, говоря правду, рад был, что избавился от гордого строителя. А тут еще неожиданная доброта Гаммершляга, который разрешил ему без залога вести строительство, и надежда на еще более высокую оплату — все это словно солнцем осветило его, пробудило в нем много новых дум. Он суетился и метался, с головой уйдя в работу, не обращая внимания на то, что другие рабочие косо и завистливо посматривали на него, а кое-кто, быть может, даже считал его хозяйским прихвостнем. Это мало тревожило Бенедю! Его мысли были поглощены таким делом, ради которого, безусловно, стоило перенести и крупицу человеческой зависти!

VI

Июнь месяц был на исходе. Наступала пора косьбы. Широкие болотистые луга Подгорья зеленели и красовались многоцветной густой травой. Словно широкие озера меж скалистых серых берегов, они волновались пахучей зеленью, дышали свежей, полной жизнью. А вокруг них все было серо, мертво, тоск-

ливо. Вспаханные пригорки серели пересохшими, сожженными глыбами, реденькая рожь желтела на солнце, не успев и отцвести как следует. На овес и надежды не было: едва на пядь поднялся он от земли, да так и замер, зачах на корню, пожелтел и наклонился, как огнем опаленный. Картофель, не успев даже зацвесть, начал желтеть. Все складывалось так, чтобы отнять последнюю каплю надежды у бедных хлеборобов. Предурожайная пора, которая началась было в этом году слишком рано, теперь тянулась слишком долго,— уже петровки давно прошли, а ни грибов в лесу, ни ягод, ни черешен не было. Один сплошной стон и плач стоял в народе. Чернее черной земли ходили люди по дорогам и полевым тропам, собирая лебеду, щавель и разную зелень, выкапывая пырей, который сушили, растирали в порошок, смешивали с отрубями и раздобытой на последние гроши мукой и пекли из этой смеси хлеб. Каждое воскресенье можно было видеть на дорогах крестные ходы; со слезами на глазах, припадая к земле, народ молил о дожде. Но небо словно окаменело, а широкое, бесстыдно сверкавшее солнце, казалось, насмехалось над слезами и молитвами бедных людей.

Начали появляться болезни: тиф и лихорадка. Опухшие от голода крестьянские дети, голые и синие, вереницей ползали по выпасам и сенокосам, отыскивая щавель; не находя щавеля, они щипали траву, как телята, срывали листья черешен и яблонь, грызли их, мучились животами и умирали целыми десятками. Села, в которых не умолкая звенели, бывало, в погожий летний день детские голоса, теперь стояли мрачные и безмолвные, словно чума прошла по их пыльным улицам. Эта необычайная, мертвая тишина тяжелым камнем ложилась на сердце даже постороннему человеку. Идешь вдоль села — на улице ни живой души, разве только худая, жалкая скотина бродит и пасется без присмотра возле заборов да кое-где на дворике медленно передвигается, словно лунатик, сгорбленный одинокий человек. Вечером в хатах темно; в печках не горит огонь,— нечего варить и жарить, каждый спешит забиться в свой угол, чтобы хотя бы ночью не слышать стонов, не видеть страданий других. Эта страшная мертвая тишина в селах Подгорья означала, что народ начинает опускать руки, терять надежду и впадать в такое состояние безразличия и оцепенения, в котором человек, уставший от чрезмерной боли, перестает уже чувствовать ее и гибнет тихо и безропотно, как тихо и безропотно вянет трава под знойными лучами солнца.

И пора косьбы, этой наиболее оживленной и поэтической полевой работы, не внесла ни оживления, ни поэзии в общий

мертвый вид селений Подгорья. Медленно, словно на похоронах, тянулись изголодавшиеся парни и взрослые мужчины на косьбу; косы едва держались на их исхудалых плечах. Поглядеть на их работу со стороны — жалость брала, такими истомленными, болезненными и медленными были движения этих косарей. Ни обычных песен, ни громкого смеха, ни шуток и каламбуров не было слышно. Пройдет косарь один-полтора прокоса и упадет на скошенную холодную траву, чтобы немного освежиться, отдохнуть, набраться новых сил. Жалость брала за сердце: так и видно было, что это не работа, а одно горе.

Через эти села, поля и луга неслась по большой самборской дороге легкая бричка, запряженная парой резвых лошадей. Гладкие, откормленные и сильные кони, крепкий, сытый и хорошо одетый кучер, новая, покрытая черным лаком бричка, да и сама фигура пана, статного, коренастого мужчины в расцвете сил и здоровья, румянолицего, с густой черной растительностью на лице, в красивой дорогой одежде,— все это удивительно не гармонировало с убожеством окружающей местности и людей. Но, наверное, вид едущего пана и его брички не был в столь большом противоречии с видом зачахшего, умирающего голодной смертью Подгорья, как мысли и замыслы этого пана с мыслями, господствующими вокруг, словно висевшими в воздухе над этими бедными селениями. Здесь — беспомощное отчаяние, предчувствие неизбежной гибели, полубессознательное желание как-нибудь и чем-нибудь продлить хотя бы на несколько дней эту жалкую мученическую жизнь, а там... Какие мысли и планы роились в голове едущего пана, каждый может легко догадаться, едва узнает, что этот пан — наш старый знакомый Герман Гольдкремер, который после долгого пребывания в Вене и во Львове возвращается в Дрогобыч. Вид безмерной нужды и гибели вокруг вызывал в нем чувство довольства, сытого покоя, почти радости. «Это для меня все делается,— думал он.— Солнце — мой верный приказчик. Высушивая эти поля, высасывая из земли все живые соки, оно работает на меня, оно сгоняет дешевых и покорных рабочих к моим шахтам, к моим заводам!» А эти дешевые и покорные рабочие нужны были Герману сейчас более чем когда-либо, потому что сейчас он начинал новое, блестящее и великое предприятие, которое должно было продвинуть его еще выше по лестнице богатства.

Но чтобы точно и правильно оценить все чувства и мысли, занимавшие Германа на обратном пути в Дрогобыч, нам следует рассказать о том, что он делал и что произошло с ним после того, как мы видели его на закладке у Гаммершляга, а за-

тем у него дома, где неожиданно дошла до него страшная весть о том, что его сын Готлиб куда-то бесследно исчез.

Крайне расстроенный и подавленный, ехал Герман во Львов, чтобы точно узнать, что случилось с его сыном. Он терялся в мучительных догадках, то стараясь убедить себя в том, что Готлиб жив, то снова мысленно перебирая все доказательства, подтверждавшие вероятность его смерти. Эта внутренняя борьба истощала его силы и волновала кровь; скоро он до того устал, что не мог больше ни о чем думать: вместо связных мыслей в его воображении проносились и мелькали какие-то бесформенные видения, какие-то неясные обрывки мыслей и образов. Он силился уснуть под мерное покачивание брички, но сон не брал его, душевное переутомление и нервное возбуждение доводили его до какого-то почти горячечного состояния. Но постепенно долгое и нудное путешествие, однообразный, унылый пейзаж надднестровских болотистых равнин, по которым он проезжал, притупили чувствительность и немного успокоили его раздраженные нервы. Герман старался не думать о сыне. Чтобы дать мыслям другое направление, он достал полученную перед отъездом от своего венского агента телеграмму и начал внимательно, по десять раз, перечитывать краткий текст — первый и, казалось бы, незначительный узел будущей великой золотой сети. Герман вдумывался в каждое слово, строил планы, и это потушило понемногу огонь его лихорадки, освежило его.

Так он приехал во Львов и сразу же кинулся в полицию. Никаких следов, никаких известий не было. Он назначил сто гульденов тому, кто первый узнает что-нибудь определенное о его сыне, и, может быть, в пять раз больше роздал различным полицейским и затратил на угощение комиссаров, чтобы те приложили все силы и старанье и скорее узнали что-нибудь про Готлиба. Об его обещании было напечатано в газетах, и Герман две недели просидел во Львове, ожидая каждый день, что вот-вот прибежит нарочный из полиции и пригласит его к директору. Но нарочного все не было, и Герману самому приходилось протаптывать дорожку в полицию. И все напрасно. Кроме найденной возле пруда одежды, ничего не было. Через две недели полицейские комиссары в один голос заявили ему, что здесь, во Львове, Готлиб не погиб. Но мог ли Герман на этом успокоиться? Не погиб здесь, так куда же он мог деваться? Все это еще сильнее мучило Германа. Он просил полицию продолжать поиски, а сам поехал в Вену устраивать *дела*.

В Вене ждал уже Германа с великим нетерпением его агент и сразу же на следующий день повел его к Ван-Гехту.

Два или три дня тянулись переговоры и уговоры,— Герман упорно торговался, и бельгиец, которого вначале мечты и надежды вознесли так высоко, должен был под давлением сухих, чисто деловых, коммерческих расчетов Германа, хотя туго и медленно, но все-таки уступить. Ван-Гехт снижал цену, и наконец оба противника остановились на еженедельной плате в пятьсот гульденов в продолжение семи лет, с тем условием, что в течение всего этого времени Ван-Гехт сам будет руководить фабрикой, и на пяти процентах дивиденда с чистой прибыли за проданный церезин, выработанный в течение двух последних лет их соглашения. Ясное дело, Герман скрепя сердце подписывал этот договор и, обещая технику такую неслыханную в Бориславе сумму, утешал себя мыслью, что, может быть, сумеет в Галиции каким-нибудь образом поприжать Ван-Гехта, вытянуть из него как можно больше, а заплатить меньше. И это ему впоследствии удалось!

Производство церезина должно было начаться лишь с будущего года. Осенью Ван-Гехт обязался приехать в Дрогобыч, чтобы наблюдать за постройкой завода. До того времени Герман обещал выдавать ему небольшое жалованье — сто гульденов в месяц, так как договорные обязательства входили в силу лишь с нового года.

Попутно Герман устроил еще одно, гораздо более крупное дело. При встречах на бирже со многими знакомыми спекулянтами и капиталистами ему часто приходилось беседовать с ними о бориславских промыслах, их богатстве, об очистке воска, о сбыте парафина и т. д. Он вначале удивлялся тому, что так внимательно выспрашивают его обо всех деталях люди, которые еще недавно проявляли к ним так мало интереса. Он еще более удивился, когда увидел, как много некоторые из них и сами знают о Бориславе, о добыче и богатстве его подземных сокровищ и обо всем, что связано с очисткой и фальсификацией церезина. Лишь спустя некоторое время узнал он, что в венских «кружках капиталистов» зародилась и созрела мысль организовать большое «Общество эксплуатации горного воска». Вначале эта мысль мало радовала его. Он боялся, как бы «Общество эксплуатации» не стало помехой на его пути, не вступило с ним в борьбу и не подорвало его благосостояния. Но, размыслив, он даже посмеялся над своими страхами. Капиталисты — венские, а общество — в Бориславе! Это смешная несуразица. Кто будет вести в Бориславе дела «Общества»? Если какой-нибудь венский или вообще европейский человек, а не галицкий еврей — то гибель «Общества» неминуема, и гибель в самый короткий срок.

Не так был скроен и сшит Борислав того времени, чтобы европейский предприниматель, с недостаточным знанием дела, без общепринятых здесь грязных плутней и мошенничества, без обмана и надувательства рабочих, надсмотрщиков и всех, кого только можно обмануть,— чтобы такой человек мог удержаться в Бориславе. Правда, и европейские заводчики-предприниматели не совсем лишены всех этих прекрасных качеств, и они не очень чистыми руками обделывают свои дела, но все же до такой степени бесстыдной, грабительской (а не *легальной,* как на Западе) эксплуатации они не доходят. К тому же в Европе больше привыкли к порядку, к систематичности, к точной бухгалтерии, а в Бориславе в то время эти привычки были распространены еще слабо и далеко не везде. Бóльшая часть предпринимателей вела свои дела как-то по-воровски, беспорядочно, стремясь только как можно больше выжать из рабочего, как можно больше урвать из его жалованья, а если удастся, то и выманить назад весь заработок. Ясно, что в таких условиях европейские предприниматели, в особенности привыкшие к порядку и точности немцы, не могли удержаться в Бориславе.

Все это быстро сообразил Герман и старался ближе разузнать — как, на каких началах и кем организуется «Общество эксплуатации». То, что он узнал об этой затее, еще более успокоило его. В «Общество» вступило немало видных капиталистов, основной фонд составлял очень значительную сумму, чуть ли не целый миллион. «Значит, можно будет добрый кусок отхватить». Эта неотступная мысль все сильнее овладевала Германом. Капиталисты, прежде чем организовать «Общество», послали ловкого венского инженера в Борислав и на соседние нефтяные заводы, чтобы он обстоятельно изучил шахты и производство, стоимость шахт, стоимость сырого воска и все, что необходимо для составления будущего плана действий «Общества». Инженер только что вернулся после двухмесячного пребывания в Галиции. Сведения, которые он сообщил, были благоприятны для капиталистов и подтверждались тем, что говорил Герман,— поэтому консорциум, который организовывал «Общество», решил приступить к делу.

Герман закончил переговоры с Ван-Гехтом и сидел в Вене без дела, неспокойный и утомленный, чего-то ожидая, на что-то надеясь. Он рассчитывал получить известие от львовской полиции, ждал, что-то будет с «Обществом». И вот однажды он получил приглашение на собрание учредителей. Некоторые из них просили его вступить в члены «Общества» и взять на себя ведение дел «Общества». Герман заколебался. Он мысленно прики-

дывал, какая от этого будет выгода для него. Занимаясь делами «Общества», ему пришлось бы запустить свои собственные дела, а разве окупилось бы это доходами от «Общества»? Вступая в члены, нужно было бы немедленно внести значительную сумму в основной фонд. Кто знает еще, как пойдут акции «Общества», а оттого, что он будет руководить делами, выгоды большой ему также не будет, к тому же нетрудно впутаться в уголовное дело, если «Общество» обанкротится (это Герман считал неизбежным), или же отвечать материально. Герман живо взвесил все это и решил не вступать в члены и не принимать на себя управление делами, чтобы не быть связанным с «Обществом». Он ограничился тем, что сразу же после его организации заключил договор на поставку сырого воска для «Общества». Договор был выгодный. Сто тысяч центнеров должен был поставить Герман еще до ноября,— доставку принимало на себя «Общество». К тому времени, и не позже чем к новому году, должен быть готов завод для очистки воска. После того как будут получены эти сто тысяч, «Общество» должно было заключить с ним новый договор. Кроме того, Герман обещал посредничество между «Обществом» и остальными бориславскими предпринимателями во всем, что было связано с покупкой воска, а не то и целых шахт и промыслов.

Устроив все это, Герман помчался обратно во Львов. Вестей о Готлибе не было никаких. У Германа сердце захолонуло. С каким лицом он предстанет перед женой? Что он скажет ей? Ему уже заранее чудились ее страшные вопли и проклятья. Он подождал еще неделю — ничего не слышно. Тогда он решил ехать домой, тем более что дела призывали его в Борислав. Едучи в Дрогобыч по укатанной дороге Подгорья, он переходил от чувства сытого, самодовольного покоя к тихой радости фабриканта-дельца при виде бескрайной бедности и отчаяния народа, при виде все увеличивающегося числа «дешевых и покорных рабочих». Но по мере приближения к Дрогобычу все чаще и грознее вставала в его воображении разъяренная и заплаканная жена, все более тяжелою тучей окутывала его душу тревога.

Каково же было удивление Германа, когда, приехав домой, он застал свою жену в таком необычном для нее настроении, что и сам не знал, что с нею сталось. Вместо ожидаемых слез, проклятий и вспышек безумного гнева она встретила его с какой-то злорадной насмешливостью. Ривка, словно сорока в пустую кость, вглядывалась ему в лицо, внимательно рассматривала все изменения, все новые борозды, которые провели по

нему тревога и неуверенность. Правда, Ривка расспрашивала его о Готлибе, охала, когда Герман говорил, что, несмотря на все старания, не мог напасть на его след, но во всем этом чувствовалось скорее желание подразнить мужа, нежели действительно узнать у него что-нибудь. К тому же ее лицо, румяное, здоровое и оживленное, ее серые глаза, горевшие ничем не прикрытой радостью, ее живые движения и жесты и даже легкая походка и звонкий голос — все это очень мало гармонировало с оханьем и причитаниями, заставляло догадываться, что время их разлуки, столь тягостное для Германа, совсем не было тяжелым и горестным для его жены. Герман даже остолбенел от удивления.

— Гм,— сказал он жене, когда они после обеда (Ривка обедала вместе с ним и ела много и с большим аппетитом, чего Герман давно не видел) уселись рядом на мягкой софе и Ривка, через силу кривя лицо, снова начала расспрашивать его о Готлибе.— Гм,— сказал Герман,— а ты, как я вижу, все это время и в ус не дула. Да и веселая стала, словно дочку замуж отдала!

— Я? Господи боже! Я все глаза свои выплакала, ну, а теперь, когда ты приехал, после такого долгого отсутствия...

— Так-то оно так,— говорил недоверчиво Герман,— но мне что-то не верится, что это я мог быть причиной такой радости и такой неожиданной перемены. Ну, говори правду, какая же здесь причина?

Он усмехнулся, глядя ей в лицо. Она тоже улыбнулась.

— Причина? Или ты одурел? Какая же может быть причина?

— Готлиб явился?

— И-и-и, что ты! Готлиб?.. Мой бедный Готлиб! — И на ее лице снова появилась плаксивая гримаса.— Если бы он появился, не такая была бы я!

— Ну так что же с тобой? Радость светится в твоих глазах, слез и следа нет на лице. Что там ни говори, а это что-нибудь да значит.

— Иди, глупый, иди, это тебе кажется только! — Ривка ударила его веером по плечу и, усмехнувшись, пошла в свою спальню и заперла за собой дверь. Герман сидел-сидел, недоумевал, терялся в догадках и, плюнув, наконец пробормотал: «Пойми этих баб!» Затем встал, походил немного по комнате и принялся за свои бориславские дела.

Ривка, придя в спальню, также прошлась несколько раз по ней взад-вперед, открыла окно и тяжело перевела дух, словно от сильной усталости. Ее сердце билось часто, на лице выступил

еще более яркий румянец, когда она вытащила из-за корсета небольшое, небрежно сложенное и запечатанное письмо. Как раз сегодня, перед приездом Германа, она получила его через посланца — маленького трубочиста, который приходил будто бы спросить, не нужно ли чистить трубы, и незаметно сунул ей в руку почерневшее от сажи письмо. Она до сих пор не имела времени прочитать его, но одно то, что письмо было от Готлиба,— трубочист был его постоянным посланцем,— радовало ее, а нетерпеливое желание узнать, что пишет Готлиб, просто терзало ее, когда она сидела и разговаривала с Германом.

— Фу, хорошо, что я отделалась от него! Вот горе мое, не могу ничего скрыть на лице, такая натура поганая. Сразу, старый бес, догадался. Но погоди, черта с два ты от меня узнаешь правду!..— Она села затем на софу, распечатала письмо и начала читать, медленно разбирая по складам неуклюжие, небрежно нацарапанные буквы.

После отъезда Германа во Львов для Ривки действительно началась новая жизнь. Неожиданное возвращение сына, да еще таким необычайным способом, подействовало на нее подобно заряду электрической батареи. Прямо обезумев от радости, она бегала после ухода Готлиба по комнатам, машинально, бесцельно переставляла кресла и столы, целовала портрет Готлиба, сделанный в его школьные годы, и еле-еле утихомирилась. Но хотя наружно она и успокоилась, внутри у нее по-прежнему все кипело и клокотало, кровь текла быстрее, ее разбуженная фантазия носилась и кружилась быстролетной ласточкой, стараясь разгадать, где-то теперь ее сын, что он делает, когда и как можно увидеться с ним. День за днем тянулось напряженное ожидание. Она волновалась, ломая голову, где бы раздобыть денег для Готлиба, радовалась, когда он порою, в своем наряде угольщика, забегал к ней, расспрашивала его, как он живет и что делает, но Готлиб от таких вопросов отделывался всегда двумя-тремя словами, угрожая и требуя, чтобы она не говорила о нем отцу и никому другому и чтобы доставала для него деньги. И в этом непрерывном напряжении и возбуждении нашла она то, чего недоставало ей до сих пор: нашла занятие, нашла неисчерпаемую тему для размышлений — и ожила, похорошела.

Частенько Готлиб, вместо того чтобы прийти самому, присылал письма. Эти письма, хотя короткие и бессвязные, были новым предметом занятий и размышлений для Ривки. Они тем дороже были для нее, что написанное слово оставалось на бумаге, было постоянно как бы живое перед ней, она могла читать

и перечитывать письма Готлиба тысячу раз и всегда находила в них, чем любоваться. Эти письма она получала и читала с таким трепетом, с таким волнением, с каким молоденькие девушки получают и читают любовные письма. Потребность любви и сильных переживаний, не удовлетворенная в молодые годы и развитая почти до нервной горячки последующей жизнью в довольстве и праздности, хлынула теперь, словно долго сдерживаемый поток, которому наконец удалось прорвать плотину.

— Что-то он пишет, голубчик мой? — шептала Ривка, развернув письмо и упиваясь сладостным ожиданием. Затем она начала вполголоса читать, запинаясь и с трудом разбирая слова:

«Мамуся! Денег у меня еще достаточно, понадобятся лишь на следующей неделе. Но не об этом я хотел бы сегодня вам написать. Слышал я, что отец должен скоро приехать. Помните, не проговоритесь, потому что я готов наделать неприятностей. Но и не об этом хотел бы я вам сегодня написать. Расскажу вам что-то интересное. Времени теперь имею достаточно, хожу себе, куда хочу, улицами, полями. Знаете, недавно увидел я на прогулке девушку,— сколько живу, не видал такой. Еще не знаю, чья она. Я шел следом за ней, я весь дрожал, как в лихорадке. И вдруг на повороте она исчезла,— несколько домов больших и богатых рядом, не знаю, в который она вошла. С той поры сам не знаю, что со мною сталось. Хожу сам не свой, все она мне мерещится — и во сне и наяву. Я уж решил, как только увижу ее снова, подойти прямо к ней и спросить, чья она, но до сих пор еще не удалось мне увидеть ее во второй раз. Все хожу по улице, на которой она пропала у меня из виду, заглядываю во все окна, но все напрасно — не показывается. Если бы я хотя знал, в каком доме она живет, я спросил бы сторожа или кого-нибудь. Но я не отступлю, я должен узнать, кто она, потому что с первого раза, когда я ее увидел, я почувствовал, что не могу жить без нее. Да, мамуся, она должна быть моей, кто бы она ни была! Как только разузнаю, сейчас же напишу вам».

Какое впечатление произвело это письмо на Ривку — ни словами рассказать, ни пером описать нельзя. Она вся задрожала, будто в лихорадке. Впервые в жизни она получила письмо, в котором речь шла о чувстве, о любви, и была ясно, хотя и в грубой форме, выражена любовь глубокая и живая, может быть, не слишком платоническая, грубая, но зато сильная и слепая, а такая любовь больше всего должна была прийтись по вкусу Ривке, малообразованной, нервной и чувственной,— Ривке, которая в своей жизни *никакой* любви не знала.

Как хотела бы она теперь видеть своего Готлиба, крепко-крепко прижать его к сердцу, следить за каждым его шагом, жить его мыслями, гореть его чувством. Он любит! И с нею первой поделился тайной своего сердца! С тех пор как она узнала об этом, она вдвое сильнее полюбила Готлиба именно за то, что он любит. Правда, если бы здесь, возле нее, находилась и жила эта девушка и, со своей стороны, любила его, Ривка непременно возненавидела бы ее, отравила бы ей жизнь — за ее любовь!..

День за днем проходил в лихорадочном ожидании. Ривка с превеликим трудом сдерживалась, чтобы не выдать Герману жгучую тайну. На ее счастье, через три дня Герман выехал в Борислав, где должен был пробыть два дня. Оставшись одна, Ривка почувствовала в доме какую-то тесноту, какую-то духоту,— ее кровь, словно кипяток, бурлила в жилах. Она вышла из дому. Стоял жаркий летний день. Огромный сад за домом так и манил к себе упоительной прохладой, темной зеленью, живым ароматом и легким, таинственным шепотом листвы. Она невольно направилась туда. Садовники как раз в это время обрывали вишни и крупную раннюю смородину. Два мальчугана с корзинками в руках стояли на тонких вишневых сучьях, одной рукой придерживаясь за ветки, а другой срывая спелые вишни. А старый садовник собирал в большую корзину смородину, примостившись возле развесистого куста и поднимая ветку за веткой. Мальчуганы на дереве смеялись, шутили и разговаривали, а старик мурлыкал тихонько какую-то песню. Увидев хозяйку, он подошел к ней с поклоном, пожаловался, что вишни в этом году не уродились, но зато смородина хороша и к тому же в цене. Он отобрал несколько пригоршней самой спелой смородины, крупной, как чернослив, и попросил Ривку отведать. Она взяла ее в платочек. Тем временем мальчуганы слезли с дерева с полными корзинками. Спелые сочные ягоды блестели на солнце, как драгоценные каменья; сквозь их тоненькую прозрачную кожицу просвечивало солнце, играло и переливалось в красноватом винном соку, словно вишни были налиты кровью. Мальчики нарвали темно-зеленых вишневых листьев, выстлали ими дно небольшого ящика и осторожно начали складывать в него вишни. Ривка стояла и глядела, впитывая в себя всеми порами тела приятную прохладу, сладостную сырость и свежесть сада и упоительный аромат только что сорванных вишен. Ей было хорошо и отрадно, как никогда. Она молчала.

И вдруг тихо-тихо, словно украдкой, скрипнула калитка, ведущая в сад со двора. Ривка оглянулась. Маленький, с изма-

занным лицом трубочист стоял в калитке, взглядом звал ее к себе. Она скорее полетела, чем пошла к нему.

— Пани, здесь для вас письмецо! — шепнул трубочист.

Ривка с большею, нежели обычно, дрожью взяла помятый, незапечатанный конверт. Трубочист пустился было бежать прочь.

— Постой, постой,— закричала Ривка и, когда тот вернулся, высыпала ему в шапку полученную от садовника смородину. Трубочист, обрадованный, побежал, глотая сочные ягоды, а Ривка пошла в свою спальню, дрожа всем телом, с сильно бьющимся сердцем, заперлась, села на кушетку, отдышалась, чтобы успокоиться, и начала читать:

«Я видел ее! Господи, что за красота, что за лицо, что за глаза! Меня тянуло к ней, я не мог сдержать себя. Она ехала в бричке куда-то на Задворное предместье, я встретился с нею неожиданно. И я сразу словно обезумел, да, обезумел. Я бросился навстречу лошадям, зачем, для чего — и сам не знаю. Я, кажется, хотел остановить бричку, чтобы расспросить ее, кто она. Но лошади испугались меня и шарахнулись в сторону. Она вскрикнула, посмотрела на меня и побледнела. А я, уцепившись за бричку, волочился по дороге, по камням. Я не чувствовал боли в ногах, а только смотрел на нее. «Я люблю тебя! Кто ты?» — крикнул я ей. Но вдруг обернулся кучер и ударил меня кнутовищем по голове так сильно, что я от боли отпустил бричку и упал посреди дороги. Бричка прогрохотала дальше. Она снова вскрикнула, оглянулась,— больше ничего не помню. Я, правда, вскочил еще на ноги, чтобы бежать за нею, но сделал только два шага — и снова упал. Мои ноги были изранены камнями, из них текла кровь, голова болела и опухла,— я чуть было не потерял сознание. Подошла женщина, дала мне воды, перевязала ноги, и я потащился домой. Лежу и пишу тебе. Достань назавтра и передай через трубочиста немного денег, десять гульденов, слышишь? Теперь возле меня чужие люди, могут догадаться...»

Ривка, не дочитав до конца, упала без сознания на кушетку.

VII

Это было вечером. Матвей и Бенедя, возвратясь с работы, сидели молча в хате при тусклом свете небольшого каганца, в котором горел, шипел и трещал неочищенный бориславский

воск. Бенедя всматривался в лежавший перед ним план, а Матвей, сидя на маленьком табурете, чинил свои постолы. Матвей с того вечера, когда Мортко сказал ему, что их «дело кончено», был молчалив, словно пришибленный. Бенедя хотя и не знал точно, что это за дело, все же очень жалел Матвея и рад был помочь ему, но вместе с тем боялся расспрашивать его, чтобы не разбередить наболевших ран.

Скрипнула дверь, и в хату вошел Андрусь Басараб.

— Дай боже час добрый,— сказал он.

— Дай боже здоровья! — ответил Матвей, не поднимаясь с места и затягивая дратву.

Андрусь сел на лавке у окна и молчал, озираясь вокруг. Очевидно, он не знал, с чего начать разговор. Затем обратился к Бенеде:

— А что у тебя, побратим, слышно?

— Да вот, дело идет,— ответил Бенедя.

— Везет тебе что-то в нашем Бориславе,— сказал с легким упреком Андрусь.— Слышал я, слышал. Ты теперь большие деньги берешь на своей работе!

— По три гульдена в день. Не слишком много для мастера, но для бедного помощника каменщика действительно достаточно. Надо будет кое-что послать матери, а остальное... ну, об остальном поговорим после, когда все соберутся. Я думал сегодня о нашей доле...

— Ну и что же вы надумали? — спросил Андрусь.

— Будем говорить об этом на собрании. А теперь постараемся как-нибудь развеселить побратима Матвея. Смотрите, какой он стал нынче! Я уж и сам хотел поговорить с ним, да, как видите, еще очень мало его знаю...

— А я, собственно, за тем и пришел,— сказал Андрусь.— Побратим Матвей, пора бы тебе рассказать нам, что за дело у тебя было с Мортком и почему оно тебя так беспокоит?

— Э-э, да что там рассказывать? — неохотно ответил Матвей.— К чему говорить, если дело окончено? Теперь бесполезно говорить — не поможешь.

— Да кто знает, кто знает, окончено ли? — сказал Бенедя.— Говорите же, все-таки три головы скорее что-нибудь придумают, чем одна. Может быть, можно еще горю пособить. А если уж и на самом деле все пропало, то, даст бог, вам будет легче, если поделитесь с нами своим горем.

— Конечно, конечно, и я так говорю,— подтвердил Андрусь.— Ведь один человек дурень по сравнению с миром, обществом.

— Ой, верно, верно, побратим Андрусь,— ответил печально Матвей, отложив в сторону оконченную работу и закурив трубку,— может, оттого и все зло, что человек дурень: привяжется к другому, а затем и мучается не только своим горем, но и горем ближнего! Да еще, правду тебе скажу, чужое горе сильнее терзает, чем свое. Так и у меня. Пускай будет по-вашему, расскажу вам, что за история со мной приключилась и какое у меня дело с Мортком.

Это было лет четырнадцать тому назад. Ровно пять лет спустя после моего прихода в этот проклятый Борислав. В то время здесь еще было все по-иному. Нефтяные колодцы только что появлялись, все вокруг еще похоже было на село, хотя и тогда уже наползло сюда разных пришлых людей, словно червей на падаль. Ну и ад здесь был, голубок, сущий ад, даже вспомнить больно. Чужаки, захожие люди увивались и гомонили возле каждой хаты, ластились, словно псы, к каждому хозяину, силком тащили в шинки, а то и прямо в хатах спаивали людей, по кусочку выдуривая землю. Чего я только не насмотрелся в ту пору, даже вспоминать больно! А как только, собачьи дети, обманут человека, высосут из него все, что можно высосать, тогда на него же и набрасываются! Тогда он и пьяница, и лодырь, и хам, тогда его и из корчмы вышвыривают, и из собственного дома выгоняют. Страшно издевались над людьми!

Вот иду я однажды утром на работу, смотрю — улица полна людей, все сбились в кучу, шумят о чем-то, в толпе крик и плач, а рядом в небольшой, крытой соломой хате евреи-спекулянты уже хозяйничают, как у себя дома, вышвыривают на улицу все: миски, горшки, полки, сундук... «Что здесь такое?» — спрашиваю. «Да вот,— отвечает один человек,— до чего довели, нехристи, бедного Максима. Обстоятельный был хозяин, что и говорить, а какой приветливый, обходительный...» — «Ну, и что же с ним случилось?» — «А ты не видишь разве? — отвечает человек.— Выдурили у него землю, скот пропал, а нынче вот пришли, да и выгнали его из хаты: говорят, что она теперь ихняя, что они ее купили. Максим крик поднял, а им хоть бы что. Он бросился в драку, а они, как грачи, слетелись в одну минуту, да и давай бить бедного Максима! Поднялся крик, начали сбегаться и наши люди и едва вырвали Максима из рук спекулянтов. А он, окровавленный, страшный, как закричит: «Люди добрые, вы видите, что тут делается! Чего стоите? Вы думаете, это они только со мной так? И с вами будет то же самое! Идите берите, что у кого есть — топоры, цепы, косы,— берите и гоните этих мерзавцев из села. Они вас съедят

живьем, как меня съели!» Люди смотрят на него, стоят, переговариваются... Вдруг один из тех, что захватили хату,— он только что выглядывал из окна,— схватил камень да как трахнет Максима по голове! Тот, с места не сойдя, запрокинулся, только захрипел: «Люди добрые, не дайте моему ребенку погибнуть! Я умираю!..»

Я не дослушал до конца и начал протискиваться в самую гущу. Посреди улицы лежал мужчина лет сорока, в изорванной рубашке, окровавленный, посиневший. Из головы его еще текла кровь. К нему припала и жалобно причитала маленькая девочка. Меня мороз подрал по коже, когда я увидел это, а люди обступили их, стоят стеной, кричат, но никто с места не трогается. А Максимову хату обступили чужаки, спекулянты, аж почернело все кругом, и галдеж такой, что и слова собственного не слышно.

Я стою как столб, смотрю туда-сюда, не знаю, что делать. Как вдруг вижу — из окна высунулся тот самый, который убил Максима, видно, осмелел и кричит, поганец:

— Так ему и надо, пьянице! Так ему и надо! А вы чего здесь стоите, свиньи? Марш по домам все!

Кровь во мне закипела.

— Люди,— заревел я не своим голосом,— что вы, одеревенели или одурели? Человека убили у вас на глазах, да еще и смеются, а вы стоите, и хоть бы что. Накажи вас сила божья! Бей воров!

— Бей! — заревели в эту минуту со всех сторон так, что земля задрожала.— Бей воров, кровососов!

Словно искра в солому попала. В одну минуту весь свет, казалось, стал другим. Я еще и оглянуться не успел, а уже целая туча камней полетела в злодеев. Я увидел, как убийца Максима, тот, который торчал в окне, вдруг подпрыгнул, схватился за голову руками, скорчился, вскрикнул и шлепнулся наземь. Больше я не видел, не слышал ничего. Крик, шум поднялся такой, словно Судный день настал. Люди ревели от ярости, задние напирали на передних, хватали, что под руку попало — колья из плетней, жерди, поленья, камни,— и громили спекулянтов. Поднялся такой крик и шум, словно вся борщаговская котловина сквозь землю проваливалась. Часть воров тут же разлетелась, как пыль. Но некоторые заперлись в хате Максима. В окно видно было, что у них в руках топоры, лопаты, вилы,— подхватили, что могли. Однако, видя, что народ, словно ревущий поток, окружает хату, они перестали кричать, будто окаменели от страха. Народ рванулся к двери, к окнам, к стенам.

Затрещали доски, бревна, зазвенели стекла — стук, крик, визг, и вдруг страшный грохот, туча пыли... Народ на куски разметал стены,— потолок рухнул, погребая под собой всех, кто был в хате, облако пыли скрыло это страшное зрелище...

Но у меня в это время было иное на уме. Видя, как народ, словно зверь, напирает на злодеев, я схватил маленькую девочку, Максимову сироту, на руки и незаметно начал пробираться сквозь толпу. С трудом выбрался я на свободу, как раз в ту минуту, когда рухнула хата. Я бежал домой огородами, боясь, как бы разъяренные спекулянты не перехватили меня по дороге. Очутившись наконец в своей хате, я запер дверь и, положив обомлевшую девочку на топчан, начал приводить ее в чувство. Долго я не мог добудиться ее, уже подумал, что и ее оглушил какой-нибудь камень. Но бог миловал, девочка очнулась, и я так обрадовался, словно это мой собственный ребенок ожил предо мною.

Матвей замолк на минуту. Трубка погасла в его зубах, и на лицо, оживленное и разгоревшееся во время рассказа, начала медленно набегать прежняя мрачная и безнадежная туча. Спустя минуту он продолжал:

— Хлопоча возле ребенка, я совсем забыл о побоище и лишь после узнал, что оно окончилось ничем. Развалив Максимову хату, люди словно сами себя испугались и рассыпались каждый в свою сторону. Евреи, также перепуганные, не показывались из своих нор, и только к вечеру наиболее смелые из них повылезали, начали осматриваться. Подошли к хате Максима, а там что-то пищит. Разрывают развалины, видят: трое спекулянтов мертвы, а пятеро искалечены. На том и кончилось. Приезжала, правда, комиссия, забрали было несколько человек, так, наугад, да и повыпускали скоро на волю.

А Марта осталась у меня. У наших бориславцев, видно, хватало своих дел, и они не вмешивались в дела бедной сироты. Лишь иногда какая-нибудь женщина приносила ей поесть, стирала рваную сорочку, штопала, вот и все. Ей было тогда двенадцать лет. Нельзя сказать, чтобы красавица, но умная была девочка, а уж какая сердечная, словно родная. Вначале плакала об отце, ну, а после сама видит — ничего не поделаешь, привыкла. И уж так привязалась ко мне, как к отцу родному. Но и я тоже, что и говорить, берег ее пуще глаза, так она мне стала дорога и мила. Иной раз, бывало, нефтяники смеются надо мной, спрашивают, когда будет свадьба или, может, крестины раньше будут, но я на это не обращал внимания. Пусть себе говорят, пусть!

Росла эта девочка у меня, сохрани бог, тихо и ладно. Хоть я простой рабочий, бывший пастух общественный, но, знаете, немало горя узнал на своем веку. А горе — великая школа. Вот и думаю себе: авось хоть она, даст бог, будет счастливее. Берег я ее — ни работы тяжелой, ни слова дурного... Шить научилась, не знаю, где и когда, да так хорошо, что диво. Бывало, бабы так и несут к ней все, а она целыми днями сидит дома, работает. Да только ли в этом — во всем она мастерица, во всяком деле. И поговорить, и пошутить, и умный совет дать — во всем...

Спознался с ней один парубок, здешний, борисла́вский, такой же сирота несчастный, как и она. Нефтяник, рабочий, Иваном Пивтораком звался,— да ты, Андрусь, знал его хорошо... Начал ходить. Вижу я, что дивчина льнет к нему, расспрашиваю, разведываю про Ивана; говорят — что же, бедный, а зато парень честный, работящий, умный. Как-то раз в воскресенье пришел он к нам, думал, что Марта дома, а Марты не было, куда-то вышла. Хочет он уходить, а я кричу: «Что же ты? Постой, Иван, я тебе сказать что-то хочу». Остановился он, зарумянился слегка, затем сел на лавку.

— Ну, что там такое? Говорите!

Сижу я, молчу и посматриваю на него. Не знаю, с чего бы это начать, чтобы вроде и на чистоту и чтоб чем-нибудь не обидеть хлопца.

— Как ты,— говорю,— Иван, думаешь? Марта-то наша ничего себе дивчина?

— А вам какое дело до того, как я думаю? — отрезал он, а сам еще пуще раскраснелся.

«Эге,— думаю я про себя,— с тобой надо быть построже, если ты так режешь».

— Ну,— говорю,— мне-то до этого мало дела, да тебя-то она, вижу, за живое задела, а? А ты, может быть, знаешь, что у нее отца нет и я для нее теперь и отец, и опекун, и сват, и брат. Понимаешь? Если бы я только заметил что-нибудь, знаешь, не того... то не забывай, что я за человек! Со мной шутки плохи!

Иван даже задрожал при этих словах.

— Прости вас бог,— говорит.— Где это видано... грозить, а не знать, за что и про что? И кто это вам набрехал, что у меня недоброе на уме? Не бойтесь, Матвей,— говорит он затем так важно, степенно,— я хоть и молодой, а тоже знаю немного, как и что должно быть. Мы сегодня с Мартой должны были уговориться, как и что делать, а потом уже и к вам, как опекуну, прийти за советом и благословением.

— Ну, смотри же у меня! — проговорил я, а сам почувствовал, как в голове моей все смешалось и слезы брызнули из глаз... Тьфу, ну и дурень же я, больше ничего.

Ну, хорошо. Обручили мы их, поженились они. У Ивана после отца каким-то чудом уцелел вот этот клочок земли. Скажу только, что в тот же год, весной, выстроил он, вроде как со мной вместе, вот эту хату, да здесь вдвоем и начали они жить. Правда, никакого хозяйства тут нельзя было завести, на пустом месте, но Марта вначале зарабатывала то шитьем, то пряжей, а после, когда и этого не стало хватать, пришлось и ей, бедняжке, идти работать на промысла. А как же иначе? Я ушел от них, жил отдельно, но когда только мог чем-нибудь помочь им, помогал,— известно, привык человек, сжился...

Как-то раз, месяца два спустя, встречает меня Иван, да и говорит.

— А знаете,— говорит,— Матвей, что мы с Мартой надумали? Мне хочется знать, что вы на это скажете.

— Ну, что надумали? — говорю.— Рассказывай, что?

— А вот что. Мы хотим с этого дня начать откладывать кое-что из заработка. Знаете, лето наступает, авось немного лучше будут платить. Вот мы и решили скопить немного денег, хоть и тяжеленько придется, хоть и придется, как говорится, ремень на великопостную пряжку подтянуть, да зато можно будет... Знаете, в Тустановичах один человек продает участок земли и хату, я уже говорил с ним. «Продам»,— говорит. Цена — двести пятьдесят гульденов. Земля хорошая, может, за двести отдаст. А я бы свою собачью конуру с этим клочком земли продал, вот уже и было бы пятьдесят гульденов. Как вы думаете?

— Ну что же,— говорю я,— если так, пусть будет так. Дай вам боже счастья! Оно и верно, что неплохо было бы вам вырваться из этой проклятой ямы.

— Ба,— говорит Иван,— это еще не все. Мне сдается, что нам двоим до осени трудно собрать двести гульденов, на это ушло бы года два. А если втроем, как вы думаете, может быть, оно скорее будет?

Я вытаращил на него глаза.

— Ну,— говорит он,— что вы так смотрите на меня? Тут дело простое: присоединяйтесь и вы к нам. Переходите жить в нашу хату, не нужно будет платить за квартиру, да и на еду у нас меньше уйдет. Будем вместе действовать, авось соберем хоть сколько-нибудь.

Вижу я, хлопец правильно говорит, а тут еще и самого

меня охота взяла вырваться из этой западни, а главное — им помочь, чем только можно. Согласился я на все.

Так мы и поступили. Все шло хорошо, радовались мы, что вот-вот заживем своим домиком. Иван вьюном вертится и туда и сюда — рад бы птицей вылететь из Борислава. Работы в тот год было много, денег у нас собралось порядочно, хватило бы и на землю, и еще кое-что осталось бы на обзаведение. «Господи! — говорит, бывало, Иван.— Скорей бы конец!..» Но неизвестно, то ли бог не судил ему, бедному, дождаться окончания этого дела, то ли злые люди не дали!..

Глупость одну мы сделали. Работали, а деньги у хозяина оставляли. Пускай, говорим, у него лежат, в его кассе им спокойней, чем у нас за пазухой, а раз в книжке они за нами записаны, то и сам черт их оттуда не выскребет. Так мы и сделали,— брали только иногда какую-нибудь мелочь, лишь бы кое-как перебиться.

Вот уж и лето прошло, и осень, и зима, вот уж и пасха скоро. После пасхи должны были мы выбраться из Борислава. В вербное воскресенье пошел Иван в Тустановичи, чтобы закончить сделку, дать тому человеку задаток. Остальные деньги он должен был выплатить после, когда мы переедем уже в Тустановичи. Пошел мой Иван. Смеркается,— нет Ивана. «Ну, ничего,— думаем мы,— может быть, магарыч пропивают, либо еще что...» Однако Марта весь день какая-то неспокойная ходит, тоскует, отчего — и сама не знает. Ночь прошла — нет Ивана. На работу приходим — нет его и там. Надсмотрщик Мортко спрашивает меня, где он. Я ему рассказал все, а он еще кричать начал:

— Вот бродяга, напился где-то, да и спит, а на работу не идет!

Раздумываю я и так и сяк, где Иван может быть? Вечером после работы прихожу домой — нету. Ну, думаю, пойду по шинкам, поищу, порасспрошу. Захожу в главный шинок — там полно рабочего люда; заметил я среди них и Мортка, но кто именно был там из знакомых нефтяников, того не помню. А какие-то незнакомые люди, будто бы совсем пьяные, стоят посредине хаты и поют: один святовечернюю, другой страсти, третий плясовую, а четвертый думку,— еще и меня спрашивают, хорошо ли у них получается.

— Идите вы к черту! — закричал я на них.— Там у вас как раз получится!

Они ко мне. Уцепились, один за руку, другой за полу, требуют водки. С горя хватил я чарку. Они хохочут, другую нали-

вают. Никак от них не отвяжешься! А тут вижу, Мортко все подмигивает им: мол, не выпускайте из рук! Выпил я еще чарку. Зашумело у меня в голове, ходуном все заходило: и хата и люди. Помню только, что вошли в шинок два знакомых нефтяника, я с ними здоровался и угощался, но как я ни мучил потом свою глупую старую голову, а до сих пор не могу вспомнить, кто же это были такие.

— А разве тебе это непременно надо знать? — прервал его рассказ Андрусь.

— Ах, еще бы! Мне, глупому, сдается, что из-за этого я все дело проиграл!

— Что? Из-за этого? Каким же это образом?

— А вот послушай! Я только теперь, когда время ушло, когда начал припоминать все до капельки, что и как тогда было,— только теперь вспомнил, что были там знакомые люди, да вот не помню, кто. Если бы дознаться, вот и были бы теперь свидетели.

— Свидетели? Зачем? Для чего?

— Слушай же! Пью я, в шинке крик, гам, и вдруг рядом, за перегородкой, в боковушке, кто-то застучал стаканом. Мой Мортко в тот же миг юркнул за перегородку. Слышу, разговаривают там, Мортко тихонько, кто-то другой громко. Что за черт! Какой-то знакомый голос, совсем как у Ивана! Видно, пьяный, язык заплетается, но голос его. Я бросился к двери боковушки и нечаянно толкнул одного из тех, что меня угощали. Тот грохнулся на землю. Остальные подскочили ко мне.

— Ого-го, сват, ого! — ревут.— Что это ты людей толкаешь да с ног валишь? А?

— Да я нечаянно!

— Эге, нечаянно! — хрипит один из них.— Знаем мы таких!

В эту минуту отворилась дверь боковушки, и в двери показался,— готов хоть сейчас присягнуть, что показался,— мой Иван, держась за дверной косяк... За ним стоял Мортко и держал его за плечи. Я снова рванулся к нему. Но в ту же минуту он исчез, дверь закрылась, а один нефтяник схватил меня за грудь.

— Берегись, сват, я тебе нечаянно между глаз заеду! — крикнул он и так хватил меня в переносицу, что у меня искры из глаз посыпались и в голове все перемешалось. Помню только, что одному из них я вцепился в волосы и что остальные налетели на меня, как разбойники, и сбили с ног. Ясное дело, что их подговорил кто-то: ведь я их не знал, не видал никогда и ничего плохого им не сделал. Что затем было со мной, куда девался

Иван, куда девались те двое знакомых рабочих,— не помню. Все померкло в моей голове.

Я проснулся дома, в постели. Марта сидит возле меня и плачет.

— Ну что, где Иван? — был мой первый вопрос.

— Нету.

— Но, может быть, приходил домой?

— Нет, не приходил.

Смотрю я, она такая взволнованная, исхудалая, кожа да кости. Что за несчастье!

— Но ведь я,— говорю,— вчера вечером видел его.

Она усмехнулась сквозь слезы и покачала головой.

— Нет,— говорит,— вы вчера вечером никак не могли его видеть. Вы вчера вечером лежали тут без памяти.

— Разве нынче не вторник?

— Нет, нынче уже пятница. Вы от самого понедельника с ночи лежите вот тут, как мертвый, в горячке и в бреду.

— А Ивана не было с тех пор?

— Не было. Куда я только не ходила, кого только не спрашивала, никто не знает, где он и что с ним.

— Но ведь я его в понедельник видел в шинке.

Марта ничего не ответила на это, только пожала плечами и заплакала. Верно, бедняжка, подумала, что это мне с перепою померещилось.

— Но ведь я его ясно видел своими глазами, чтобы мне так свет божий видеть.

— О, если бы Иван был в тот вечер в Бориславе, он пришел бы домой,— сказала Марта.

— Вот это-то мне и странно. А в Тустановичах он был, не знаешь?

— Был. Я расспрашивала тустановичских парубков. Был, говорят, сторговал поле и хату, а вечером магарычи пили. Там и заночевал, а в понедельник пошел перед полуднем в Бориславь, чтобы забрать у хозяина деньги. Вот и все, что я могла узнать.

Меня словно громом поразило. Как я ни был слаб и избит, нужно было вставать, идти узнавать, искать. Только что с того?

— А ты не знаешь,— спрашиваю Марту,— отдал он задаток за землю в Тустановичах?

— Не знаю.

— Ну, значит, надо пойти к хозяину, спросить, получил ли он оттуда деньги. К тому же сегодня выплата. Если он получил

деньги, то, может быть, пошел с ними назад в Тустановичи либо в Дрогобыч.

Пошли мы вдвоем в контору Германа Гольдкремера, мы у него работали. Спрашиваем. Достал он книжку... «Получил ваш Иван Пивторак деньги».— Когда? — «В понедельник вечером». Вот тебе на! Поплелся я в Тустановичи, спрашиваю. Задатка не давал, с понедельника не был, хоть и обещал, что придет не позже как во вторник после обеда. Удивляются, в чем дело. Раздумали, или что? Я рассказываю, что деньги у хозяина забраны и что ни денег нет, ни Ивана. Никто ничего не знает.

Пошел я в Дрогобыч, спрашиваю у знакомых. Никто не видел Ивана. Пропал, бедняга. Как в воду канул. Спрашиваю Мортка, куда он исчез из шинка и что там делал. «Нет, говорит, неправда это, я и в глаза не видал Ивана. Ты, говорит, пьян был, в драке тебе собственная бабушка представилась, а тебе показалось, что это Иван». Начинаю узнавать, кто тогда был в шинке, что это были за люди, что меня били. Эге, как бы не так, словно сам черт слизнул их следы! На том дело и кончилось!

Ну, какая у нас пасха была, о том и говорить не приходится. Сколько бедная Марта слез пролила, господи! Всякая надежда пропала. Прошел месяц, другой, об Иване ни слуху ни духу. Вскоре слышим — кое-кто из нефтяников посмеивается, пошучивает: «Ловкий парень этот Пивторак, деньги забрал, женку оставил, а сам — куда глаза глядят!» Вначале говорили это в шутку, а после некоторые начали и всерьез повторять. Я расспрашиваю: кто слышал? кто видел? Неизвестно. Тот говорит: Микола видел. Микола говорит: Проць мне сказал. Проць говорит: Семен от кого-то слышал. Семен не помнит, от кого слышал, но сдается ему, что от Мортка, надсмотрщика. А Мортко все отрицает и всем в глаза плюет.

Как вдруг через два года, в прошлом году весной, достали из одной старой шахты кости. Узнали мы по колечку на пальце да по кожаной сумке на поясе, что это был Иван. Сумка была пуста, как видно, ножом разрезана. Застряла у меня тогда в голове мысль и до сих пор меня не покидает. Нехорошая мысль, очень грешная, если не правильная. Прикинул я все в уме и говорю себе: это не кто, как Мортко сначала подпоил Ивана, подговорил каких-то людей, чтобы меня довели до беспамятства и избили, а затем ограбил его, бедного, и бросил в шахту. Начал я снова расспрашивать повсюду, а когда спустя два дня приехала комиссия осматривать кости, пошел я и начал говорить все, как на исповеди. Господа слушали, слушали, записали все в протокол, вызвали кое-кого: Мортка, Иваниху, шинкаря, снова

писали протоколы, а затем взяли да и арестовали меня. Я не знал, что со мной хотят делать, зачем меня тащат в Дрогобыч; впрочем, думаю про себя: «Что же! Может быть, так и надо». Радуюсь, дурень, своей беде. Продержали меня около месяца, вызвали два раза на допрос, а потом выпустили. Прихожу я домой. Что слышно? Ничего. Вызвали еще раз Мортка, Иваниху, из Тустановичей троих. Говорят, передали все в Самбор, в высший суд. Ну, и этот суд тянется уже больше года, а ему еще и конца нет. Эх, и натолкался я за это время по всяким господам! В Самборе был раза два, а в Дрогобыче сколько!.. Адвокату что-то около пятнадцати гульденов дал. «Что ж,— говорит он,— возможно, братец, что это вор Мортко упрятал Ивана, а деньги себе взял. Но в суде надо доказать точно, обстоятельно, а всего того, о чем ты здесь говоришь, еще недостаточно. Ну, а впрочем, говорит, надо попробовать. Если какой-нибудь умный судья возьмет это дело в свои руки, может быть, и докопается до чего-нибудь». Ну, видно, не докопался. Какой-то бестолковый и непонятливый этот самборский судья! Тьфу! Спрашивает о том, о сем, пятое через десятое,— видно, не знает, с какого конца взяться за это, а впрочем, кто его знает, может быть, и знает, да не хочет!..

А здесь, в Бориславе, затихло все, словно горшком кто прикрыл. Мортко вначале, как видно, страшно перепугался, ходил бледный как смерть, меня и не замечал. Но после осмелел, начал смеяться надо мной и досаждать мне так, что я принужден был бросить работу у Гольдкремера и перейти вот сюда, к Гаммершлягу. Хотя они, разумеется, оба волчьей породы!.. Так Мортко и вышел сухим из воды. За ним, видите, стоит сам Гольдкремер, богач всесветный,— где бедному нефтянику на него управу найти!.. А мы что!.. Иваниха, сердечная, с ребенком — в прислугах, а я здесь — в этом пекле, и уж, видно, до гроба из него не вырвусь. Да и не этого мне жаль! Что там я! Меня другое мучает: что вот погиб человек, пропал ни за понюшку табаку, а этому злодею хоть бы что, ходит себе и смеется! Меня то грызет, что для бедного рабочего нет правды на свете!

Матвей умолк и, тяжело вздохнув, опустил голову. Андрусь и Бенедя тоже молчали, подавленные этим простым, но таким безмерно тяжелым рассказом.

— А ты знаешь, побратим Матвей, что я тебе скажу? — сказал немного погодя Андрусь каким-то гневным, взволнованным голосом.

— Ну, что?

— То, что ты большой дурак, вот что.

Матвей и Бенедя удивленно взглянули на него.

— Почему ты мне раньше не рассказал об этом?

— Почему не рассказал? — повторил неохотно Матвей.— А зачем было говорить?

— Тьфу, сто чертей на такого дурня! — рассердился Андрусь.— Ведет процесс против спекулянта-еврея, этот процесс, если бы его выиграть, мог бы сильно воодушевить бедных нефтяников, мог бы показать им, что нельзя безнаказанно обижать рабочего человека; для того чтобы выиграть такой процесс, нужны свидетели, а он молчит себе, не кричит во весь голос, а только втихомолку, в углу, в кулак себе бубнит,— ну, скажи мне, не глупо ли это?

Матвей задумался, и лицо его сделалось грустным.

— Эх-эх, двоих свидетелей! — сказал он.— Я же тебе, Андрусь, говорю, что только теперь вспомнил о тех двух свидетелях, только теперь, когда время упущено. Разве отыщет кто-нибудь теперь этих свидетелей?

— Я отыщу! — перебил его гневно Андрусь.

— Ты? — вскрикнули Матвей и Бенедя.

— Да, я! Ведь это я со стариком Стасюрою видел тебя тогда в шинке.

— Ты? Со Стасюрой? Так это были вы? — вскрикнул Матвей.

— Да, мы.

— И видели Ивана?

— Ну как же не видеть — видели.

— Пьяного?

— Пьяного.

— С Мортком?

— С Мортком. Когда началась драка, мы оба бросились было тебе на помощь, но старика Стасюру кто-то ударил так сильно, что он потерял сознание. Некогда мне было помогать тебе, я поднял старика и отнес в боковушку, где был Мортко с Иваном. Пока я приводил старика в чувство, Мортко все возле Ивана танцевал, все подсовывал ему то водку, то пиво, заговаривал ему зубы, чтобы он не говорил со мной, а затем потащил его куда-то за собой. С тех пор я больше не видел Ивана. А когда мы оба со Стасюрой вошли в шинок, ты лежал уже окровавленный, без памяти, на полу. Я не мог отнести тебя домой, а попросил каких-то двух рабочих, рассказал им, где ты живешь, а сам проводил Стасюру домой. Вот все, что я знаю. Но разве мог я святым духом знать, что это так важно для твоего дела?

— Господи боже,— даже вскрикнул Матвей,— ведь это значит, что теперь можно было б выиграть процесс!

— Кто знает, можно ли,— ответил Андрусь,— но все же надежды больше. Было бы хорошо, если бы мы отыскали тех, которые дрались тогда с тобой! Ты, говоришь, видел, как Мортко их подстрекал?

— Присягнуть могу!

— Вот бы и зацепка была. От них можно было бы узнать, подговаривал их Мортко или нет. А если подговаривал, то с какой целью?

Лицо Матвея при этих словах все более и более прояснялось. Затем новая мысль снова затуманила его.

— Эх-эх, но как же найти их, этих нефтяников, которые тогда затеяли со мной драку? Я их совсем не знаю и не мог потом никогда узнать.

— И я их не знаю, да и не обратил на них тогда внимания. Но, может быть, Стасюра знает? Мне кажется, что с одним из них он разговаривал тогда.

— Господи боже! Снова бы огонь разгорелся! Были бы новые улики. Кто знает, что еще открыли бы эти люди! Пойдем, Андрусь, идем к Стасюре!

Быстро оделся и обулся Матвей, быстрыми и живыми стали его движения под влиянием нового проблеска надежды, словно десять лет вдруг свалились с его плеч. Так глубоко в сердце этого старого, с давних лет прибитого горем человека пустила корни любовь к единственно близкому ему человеку, так горячо желал он, чтобы правда о его загадочной смерти вышла на белый свет!

После ухода обоих побратимов Бенедя один остался в хате. Он сидел и думал. Не процесс занимал его во всем этом деле, хотя, разумеется, и процессу он желал благополучного исхода. Его больше всего занимал рассказ Матвея о схватке рабочих с захожими спекулянтами и о том, как кричал покойный Максим: «Гоните мерзавцев из Борислава!» — «А что,— думал он,— в самом ли деле хорошо будет, если выгоним их? Прежде всего: куда их выгнать? Они пойдут в другие села, там начнется то же самое, что здесь делается. А во-вторых, они не уйдут с голыми руками, а заберут с собой деньги, которые награбили здесь, и в другом месте употребят их на то, на что и здесь употребляли. Нет, это не спасет рабочих людей!»

Поздно ночью возвратился Матвей домой. Он очень изменился: был весел, разговорчив. Надежды на Стасюру оправдались. Одного из тех рабочих, которые затеяли в шинке драку

с Матвеем, Стасюра действительно знал, остальные были из того самого села, откуда и этот один, но все они вот уже три года не работают в Бориславе, а крестьянствуют. Андрусь Басараб и Стасюра готовы были свидетельствовать в суде, и Матвей решил завтра же идти в Дрогобыч к адвокату и посоветоваться с ним, что и как нужно делать.

— Ну, авось теперь не уйдет этот негодяй Мортко! — говорил Матвей.— Теперь мы ему и руки и ноги такими уликами скрутим, что он и не опомнится! Хотя как будто господь бог не велит желать другому беды, но такому злодею, вижу, не грех желать не то что беды, а и всякой погибели.

С этим благочестивым желанием Матвей и уснул.

VIII

Медленно, тяжелой поступью проходили однообразные рабочие дни в Бориславе. Бенедя по целым дням трудился на своей стройке, размечал планы строений, руководил рабочими, наблюдал за своевременной подвозкой кирпича, камня, извести и всего необходимого и вместе с тем обращался с рабочими так по-братски, так сердечно и дружески, словно хотел на каждом шагу показать им, что он им равный, их брат, такой же бедный рабочий, как и все они, словно хотел, чтобы они простили его за то, что вот он не по своей воле стал над ними надсмотрщиком. А по вечерам, после работы, он не раз до поздней ночи бродил в глубокой задумчивости по грязным улицам Борислава, заглядывал в грязные шинки, в тесные хаты и каморки, в которых жили рабочие, вступал в разговор со старыми и малыми и расспрашивал их о их жизни и нужде. Тяжело становилось ему, когда он слушал их рассказы, когда видел вблизи нужду и беспросветность их жизни, но еще тяжелее становилось ему, когда он видел, как разбогатевшие за счет этой нужды и беспросветности эксплуататоры гордо разъезжают в роскошных экипажах, одеваются в дорогие платья и забрызгивают грязью темную, покорную толпу.

Медленно, тяжелой поступью проходили дни за днями, и жизнь рабочего люда в Бориславе становилась все тяжелее и тяжелее. Из дальних и близких мест, с гор и равнин, из сел и местечек изо дня в день сотни людей стекались в Борислав, словно пчелы в улей. «Работы! Работы! Какой-нибудь работы! Хотя бы самой тяжелой! Хотя бы самой дешевой! Лишь бы только с голоду не пропасть!» — таков был всеобщий вопль,

всеобщий стон, который тучей носился над головами тысяч иссохших, посиневших, изголодавшихся людей. Небо и землю словно запер кто-то на железный замок, единственная надежда мужиков-хлеборобов сгорела вместе с их рожью и овсом на порыжевших от жажды полосках. Скот погибал от бескормицы. Ничего другого не оставалось, как идти на заработки, а заработков как раз и не было в то время нигде в нашем Подгорье, кроме Борислава. Вот и повалил туда бедный люд со всех сторон, хватаясь за эту последнюю надежду, как утопающий за соломинку. Небо и землю словно запер кто-то на железный замок, а бедняки думали, что бориславские богатеи будут поэтому более милостивыми и откроют перед ними ворота своих богатств!..

А бориславские богачи только того и ждали! Они давно тешили себя надеждой, что ужасный голод будет способствовать громадному росту их «гешефтов». И они не ошиблись! Дешевые и покорные работники текли к ним, со слезами просились на работу, хотя бы за самую дешевую плату, и плата действительно пошла все более дешевая. А между тем хлеб все дорожал и дорожал, в Борислав подвозили его очень мало и очень неравномерно, и рабочие не раз, даже имея кое-какие деньги за пазухой, изнывали от голода. Было ясно, что тем, которые вновь прибывали, не становилось легче, а тем, которые постоянно жили в Бориславе, стало значительно хуже. Каждую неделю хозяева-евреи урезывали им плату, а недовольных смиряли насмешливыми словами: «Не хочешь столько получать, так иди себе и подыхай с голоду, здесь на твое место десять просятся, да еще и за меньшую плату!»

Все это передумал Бенедя не раз и не два во время своих прогулок по Бориславу. «А что,— думал он,— если бы все эти тысячи людей сговорились вдруг: не будем работать, пока нам плату не увеличат? Ведь, пожалуй, хозяева не выдержали бы долго: у одного контракт срочный, у другого векселя не будут оплачены без продажи воска и нефти,— пришлось бы им уступить!» Его мысль, возбужденная бесконечными картинами бориславской нужды, крепко ухватилась за эту соломинку и не отпускала ее. Но чем подробней разбирал он этот способ спасения, тем больше трудностей и непреодолимых препятствий он видел в нем. Как привести к такому согласию и единению всю эту огромную массу людей, когда каждый заботится только о себе, хлопочет только о том, как бы не умереть с голоду? А если бы и удалось это сделать, ведь опять-таки несомненно и то, что богачи сразу не сдадутся, что нужно будет не только грозить, но и выполнить угрозу,— прекратить всякую работу. Но разве бо-

гачи не приведут тогда себе из других сел рабочих и таким образом не сведут все на нет? И если даже удалось бы не допустить до этого, то чем же будут жить эти тысячи людей, не имеющих хлеба и заработка, во время безработицы? Нет никакого выхода, нету! Нигде не светит им луч спасения! И Бенедя, приходя к таким безнадежным выводам, стискивал кулаки, прижимал их к вискам и бегал по улицам, словно исступленный.

Вот почему он с нетерпением ожидал ближайшей сходки побратимов, надеясь с их помощью прийти к лучшему пониманию того, что нужно делать в настоящую минуту. Он иногда во время своих прогулок по Бориславу встречался то с тем, то с другим из побратимов и видел, что все они какие-то придавленные, словно прибитые к земле, что всех их грызет какое-то тяжкое и неясное ожидание,— и это вселяло в него надежду, что придет же кому-нибудь из них в голову хорошая мысль. Дома Бенедя молчал. Старый Матвей слишком занят был своим процессом, каждый вечер он втихомолку шушукался о чем-либо с Андрусем, либо со Стасюрой, либо с другими какими-то рабочими. Вскоре все они отправились в Дрогобыч и не возвращались несколько дней, и одиночество еще более тяжелым камнем придавило Бенедю. Тяжелая и непривычная для него работа мысли повергла его словно в горячку, быстро истощила его силы. Он похудел и побледнел, его длинное лицо еще больше вытянулось, только глубоко впавшие глаза, словно два пылающих уголька, беспокойно, лихорадочно горели. Но вместе с тем он не оставлял своих мыслей, не терял веры и сочувствия к этим бедным людям, которые безучастно, холодно и безнадежно смотрели из каждого угла на враждебный им мир и тихо, без сопротивления готовились к смерти. Видя их, Бенедя ни о чем не мог думать, а только глубоко, всем сердцем и всеми нервами своими чувствовал: надо их спасать! Но как спасать? Об это «как», словно об острую неприступную скалу, разбивались его мысли, его духовные и телесные силы, но он не терял надежды на то, что эту трудность можно будет одолеть.

Однажды вечером Бенедя позже, нежели обычно, возвратился с работы домой и застал возле хаты Сеня Басараба, брата Андруся. С обычным выражением нерушимого спокойствия на красном, слегка одутловатом лице сидел он на завалинке под окном и потягивал трубку. Поздоровались.

— Ну что, нету Матвея?

— Нету. А Андрусь?

— Тоже еще не пришел. И Стасюры нет.

— Видно, что-то нешуточное затеяли там, в Дрогобыче.

— Посмотрим,— буркнул Сень и замолчал.

— Ты слышал, что случилось? — спросил он минуту спустя, входя с Бенедей в дом.

— Нет, а что такое?

— Притча.

— Какая?

— Вот какая! Не стало одного еврейчика. Знаешь, того, на которого так жаловался наш Прийдеволя, того кассира, помнишь?

— Помню, помню! Ну, и что же с ним случилось?

— А как ты думаешь, что? Несколько дней тому назад куда-то исчез, а сегодня вытащили из шахты. Уже и комиссия приехала, будет бедное тело кромсать, словно оно скажет им, каким образом в яму попало да еще ребром за крюк зацепилось!

У Бенеди мороз прошел по коже от этого рассказа.

— Как раз так, как с приятелем Матвея, Иваном Пивтораком! — прошептал он.

— Эге! Так, да не совсем,— ответил Сень.— Того шинкарь толкнул, а этого...

Он не договорил, но Бенедя не допытывался: он хорошо понял слова Сеня.

— Ну и что же? — спросил он после минутного тяжелого молчания.

— Как это «что»? Драл волк, задрали и волка. И концы в воду.

— А что люди говорят?

— Какие люди? Комиссия? Комиссия поест, попьет, тело изрежет, искромсает, да и уедет себе.

— Нет, я не про комиссию,— что нефтяники говорят?

— Нефтяники? А что они могут сказать? Постояли, поглядели на покойника, головами покачали, кое-кто украдкой шепнул: «Вороват был покойник, накажи его бог!» — и снова за работу.

— Значит, все было напрасно, и труда жалко! — процедил сквозь зубы Бенедя.

— Как? Напрасно? Жалко? — удивленно спрашивал Сень.

— Другим от этого легче не будет.

— Но одним ворюгой меньше на свете.

— Ну, не бойся, на его место завтра же новый станет.

— Но зато будет хоть бояться.

— Эва, неизвестно еще! Если не дознаются, кто это сделал, то объявят, что случайно поскользнулся или еще что. А если откроют, ну, тогда возьмут человека и упекут,— кого же ворам бояться?

Сень с изумлением слушал эти слова. Он ожидал, что Бенедя будет радоваться, а вместо этого встретил попреки.

— Так чего же ты хотел бы?

— А вот чего: если что делается, да еще такой великий грех на душу берется, так нужно, чтобы это дело годилось для чего-нибудь, чтобы принесло какую-нибудь пользу, не одному, а всем. А иначе я не знаю, зачем и начинать.

— Эге-ге! — покрутил головою Сень, попрощался и ушел. Еще более тяжелые мысли овладели Бенедей после ухода побратима. «Что же,— думалось ему,— может быть, оно и так... может быть, и лучше, что одним плохим человеком меньше на свете?.. Но разве от этого лучше хорошим людям? Совсем нет. Разве от этого лучше хотя бы тем самым рабочим, которые радуются его гибели? Явится другой приказчик вместо него и будет так же либо еще сильнее обижать их. Вот если бы сразу всех злых людей не стало... Но нет, где уж там!.. Нечего и мечтать об этом! Лучше о том думать, что у нас перед носом, что мы можем сделать!»

Побратимство нефтяников, в которое так неожиданно был принят Бенедя в самом начале бориславской жизни, живо захватило все его мысли и придало им определенное, хотя вначале и не очень ясно обозначенное направление. Уже на первой сходке, когда так глубоко поразили его воображение рассказы нефтяников и их требование выступить наконец с каким-нибудь значительным делом, в его голове промелькнула картина такого побратимства, великого и сильного, которое могло бы собрать воедино разрозненные силы рабочих и защитить каждого обиженного и страждущего рабочего гораздо лучше, нежели это может сделать одинокий человек. Среди непрерывной работы мысли, подкрепляемой все новыми, страшными и хватающими за сердце событиями, образ такого побратимства все яснее вырисовывался в голове Бенеди. Ему казалось, что только таким объединением своих собственных сил для самозащиты и самопомощи рабочие смогут добиться теперь хоть какого-нибудь облегчения своей участи. И он решил, будь что будет, выступить со своим планом на ближайшем собрании побратимов и стараться изо всех сил увести побратимство Андруся Басараба с опасной дороги ненависти и мести, которая сейчас, когда они еще очень слабы, могла только всем навредить и никому не могла помочь, обратить внимание и усилия побратимства на эту более широкую и спокойную, а вместе с тем, как казалось Бенеде, и более полезную работу.

Сход побратимов был назначен в воскресенье вечером.

В полдень возвратились из Дрогобыча Матвей, Андрусь, Стасюра и другие нефтяники. Матвей был очень весел, разговорчив и дружелюбен, но когда Бенедя спросил его, что слышно и что они делали так долго в Дрогобыче, он только причмокнул и ответил:

— Все хорошо, голубок, все хорошо!

Еще не стемнело совсем и Матвей только что зажег на шестке каганец, наполненный горным воском, когда в хату вошли гурьбой побратимы. Впереди всех юркнул, словно ящерица, Деркач, молча поздоровался с Матвеем и Бенедей и начал, как обычно, шнырять из угла в угол, засучивая рукава и шаря глазами по сторонам. Затем вошли остальные. Братья Басарабы были угрюмы и молчаливы, как всегда; Стасюра очень сердечно пожал руку Бенеде, все прочие также обращались с ним, как с равным, как со своим человеком. Самым последним вошел Прийдеволя. Его молодое лицо казалось бледным и испитым, он поглядывал искоса и все держался в темном углу возле порога. В кругу побратимов было меньше движения, меньше говору, чем обычно. Всех как будто давило что-то, хотя никто и не признавался в этом. Все чувствовали, что, желая того или не желая, они приближаются к какому-то важному событию, что им придется выступить открыто и грозно. Недавний случай с убийством еврея-кассира был,— все это чувствовали,— предвестником нового поворота в жизни Бориславa. Но что это был за поворот, что за события надвигались и как побратимам следовало встретить их, этого они не знали, хотя каждый надеялся, что авось на совместном совете хоть немного все это прояснится. Не удивительно поэтому, что сегодняшнее собрание началось угрюмым, тяжелым, выжидающим молчанием, что побратимы собрались все в полном составе и даже ранее обычного часа: каждый знал, что против все более тяжелой жизни в Бориславе, против растущей с каждым днем нужды и наплыва свободных, ищущих работы рук необходимо что-то предпринять, но что именно и какими силами, этого никто не знал, и ответа на этот вопрос каждый ждал от собрания.

Один только Андрусь Басараб словно не чувствовал ничего необычайного. Он сел на свое место возле стола, у окна, и окинул взором побратимов.

— Ну, все в сборе,— сказал он,— можем начинать свое дело. А ну, Деркач, за палками!

Деркач, послушный и шустрый, уже протискивался между стоявшими посреди хаты побратимами, как вдруг старый Стасюра поднялся и попросил слова.

— Ну, что там еще,— сказал недовольно Андрусь,— говори, побратим Стасюра, хоть, я думаю, все-таки лучше было бы, чтобы у Деркача эти палочки были под руками. Не мешает отметить, если есть что-нибудь интересное.

— Нет,— сказал твердым голосом Стасюра,— я не буду говорить ничего такого, что годилось бы для отметки.

— Ну, а в чем же дело? — спросил Андрусь и снова обвел взглядом всех побратимов. Он заметил, что они сидели либо стояли, опустив головы, и не смотрели на Стасюру, но, казалось, приготовились слушать его. Андрусь заметил, что они сговорились.

— Дело в том, побратим Андрусь,— смело заговорил старый нефтяник,— что пора бы нам найти себе другую, более подходящую работу, нежели эти зарубки. Дети мы, что ли? У побратима Деркача целые вязанки палок с зарубками, а какая от них польза? Разве они кому-нибудь помогли?

Андрусь изумленными глазами смотрел на старика. Воистину, так еще никто не говорил здесь, и у него у самого в голове шевельнулся вопрос: «Да и в самом деле, для чего пригодились эти отметки?» Но так как на этот вопрос он не мог сразу найти удовлетворительный ответ, то и решил стоять на своем, чтобы вызвать других на дальнейшее объяснение.

— Кому помогло? — сказал он медленно.— Ну, а разве мы делаем это для какой-нибудь помощи? Разве ты забыл, что мы делаем это для мести?

— Для мести, да, да! Однако как же ты этими палочками будешь мстить? Если уж мстить, то, я думаю, нужно по-иному, а не тратить зря время на ребячью забаву. Для того чтобы мстить, нужна сила, а от этих палочек у тебя силы наверняка не прибавится.

— Так,— ответил Андрусь,— но ведь мы хотели с чистой совестью, когда настанет время, учинить справедливый суд над своими обидчиками.

— Впустую наша работа,— ответил на это Стасюра.— Совесть у нас и теперь чиста, потому что каждый из нас и так слишком хорошо знает все, что ему приходится терпеть. А чтобы отомстить, чтобы горю помочь, нужна, кроме чистой совести, еще и сила, а какая у нас сила?

— Верно, верно,— загудели вокруг побратимы,— какая у нас сила? Если у нас будет даже три воза палок с отметками, это нам не прибавит и на три пяди силы!

— Ну, а где же нам силу взять? — спросил Андрусь.

— Надо допустить в наше братство больше людей, надо собрать всех воедино, указать всем одну цель,— отозвался Бенедя.

Все взглянули на него как-то недоверчиво и опасливо, только один Стасюра радостно поддакнул:

— И я это говорю, и я это говорю!

— Да побойтесь вы бога, побратимы, а подумали ли вы, что из этого выйдет? Первый попавшийся чужак выдаст нас, заявит в городе, и нас всех перевяжут и засадят в острог, как разбойников,— сказал Андрусь.

Холодом пронизали эти слова побратимов, и все они с тревогой и любопытством взглянули на Бенедю, ожидая, что-то он на это ответит.

— Может быть, это и верно,— сказал Бенедя,— но если верно, то что это значит? Это значит, что с теми целями, с какими вы до сих пор носились, нельзя показываться людям. Это значит, что, желая собрать их воедино, нужно показать им не одну только месть, ведь местью никто сыт не будет, а нужно показать им какую-то пользу, какую-то помощь, какое-то облегчение!

— Эге-ге, всюду он свою помощь тычет! — отозвался возле двери грубый голос Сеня Басараба в тот момент, когда у Бенеди от сильного волнения захватило дух и он замолк на минуту. Он чувствовал, что его кровь начинает кипеть, что мысли, которые прежде так упорно не давались ему, теперь, словно каким-то чудом, возникали и развивались в его голове. Слова Сеня Басараба, полугневные, полупрезрительные, были для него как шпоры для рысистого коня.

— Да, я все о помощи говорю и не перестану говорить. Мне кажется, что только мы сами можем помочь себе, а больше никто нас не спасет. Ведь ни наши хозяева-евреи, ни папы помещики и не подумают о том, чтобы рабочему лучше жилось. Они, если бы могли, еще ухудшили бы его жизнь, потому что им только тогда хорошо, когда рабочий, доведенный до крайности, не знает, за что ухватиться, и вынужден положиться на их милость и немилость. Тогда они заставят его делать, что угодно, и заплатят столько, сколько сами захотят, потому что для него, голодного и голого, нет выбора. Да, мы сами должны помочь себе, если не хотим мучиться так всю жизнь. А мстить — подумайте сами, к чему это приведет? Ни от какой мести нам лучше не будет, разве что мы по всей стране войну поднять вздумали бы! А так: покараете того или другого кровопийцу, на его место новый уже давно нацелился. И даже страху на них не нагоните, по-

тому что вы будете вынуждены делать все тайно и никто знать не будет, кто это сделал и почему. А если дознаются,— ну, это еще хуже: схватят тогда человека, бросят в яму и сгноят. Я думаю, что нужно нам, пока не поздно, остановиться и найти иной выход.

Снова замолк Бенедя, молчали и все побратимы. Слова Бенеди с неудержимой силой врывались в их сознание, но, к несчастью, они разрушали то, что жило там до сих пор: мечту о мести, а взамен не давали ничего. Один только Сень Басараб, сидя у порога с трубкой в зубах, покачивал недоверчиво головой, но не говорил уже ничего. Даже сам Андрусь — хотя, очевидно, этот новый поворот в мыслях некоторых побратимов был для него очень неприятен и нежелателен — склонил свои могучие плечи и опустил голову: слова Бенеди заставили его задуматься.

— Так было бы хорошо, это верно,— сказал наконец он,— но как это сделать, как добиться облегчения, если у каждого из нас нет сил даже на то, чтобы помочь самому себе?

— В том-то и дело, что у одинокого человека нет сил, а когда нас соберется много, тогда и сила будет. Один человек и центнера поднять не может, а несколько человек поднимут его легко. Большое ли дело для нефтяника, хотя его заработок невелик, вносить по шистке еженедельно, а пусть соберется сто таких,— это составит десять гульденов в неделю, и мы сможем, хотя бы в случае неотложной нужды, помочь нескольким несчастным! Правду ли я говорю, побратимы?

— Гм, да оно-то правда, разумеется, так, так! — послышалось со всех сторон, только в углу, возле двери, угрюмо молчал Прийдеволя и недовольно ворчал Сень Басараб.

— Хорошо ему, городскому человеку, говорить о взносах! Ну-ка, попробуйте, найдете ли во всем Бориславе десяток таких, которые захотят вам давать эти взносы!

— Ну,— живо ответил на это Бенедя,— это уж ты, побратим, так себе, на ветер говоришь. Вот нас здесь двенадцать человек, и я думаю, что каждый из нас с радостью на это согласится.

— Согласимся, согласимся! — загудели некоторые из побратимов.

— Только нужно хорошенько обсудить, для чего будут собираться эти деньги и что с ними делать,— медленно проговорил Андрусь.

— Ну, конечно, сейчас же и обсудим! — подхватил Стасюра.

— Вот и нет,— сказал Бенедя,— прежде всего нужно знать, будем ли мы вообще собирать складчину или нет. Здесь, вижу, некоторые побратимы недовольны, хотели бы, чтобы все осталось так, как было...

— А ты не крути,— перебил его почти гневно Матвей, который до сих пор молча сидел возле Андруся, вначале как будто думая о каких-то посторонних вещах, но чем дальше, тем с большим интересом и вниманием прислушиваясь ко всему, о чем говорилось в хате,— ты не спрашивай, приятно ли кому или неприятно это слышать. Знаешь что-то хорошее, разумное и для всех полезное, так выезжай с ним на площадь, да и режь просто с мо́ста. Если увидим, что твой совет лучше других, то примем его, а если хуже, ну, тогда можешь просить прощения, что глупостями у нас время отнимаешь!

После такого неприятного поощрения Бенедя начал говорить «просто с мо́ста».

— Ведь вы знаете,— начал он,— что если добиваться облегчения путем взаимопомощи, то нужно будет все изменить, чтобы все было не так, как до сих пор. Метки всякие, зарубки — в сторону, убийства — в сторону (при этих словах Бенеде показалось, что лихорадочно пылающие глаза Прийдеволи метнулись на него из темного угла и обжигают ему лицо своим острым, горячим взглядом, и он вспыхнул и опустил голову). Совсем с иными словами нужно идти к людям. Не месть им показывать, а спасение. Разумеется, обиды и воровство не укрывать, но направлять людей на то, чтобы они объединялись, потому что в одиночку рабочий против богачей и силачей не устоит, а все, если соберутся вместе, скорей смогут устоять.

— Смогут устоять? — снова отозвался недоверчивый Сень.— Хотел бы я знать, как смогут устоять? Заставят хозяев, чтобы больше за работу платили, что ли?

— А что же, не могли бы заставить? — подхватил Бенедя.— А ну, если бы все сговорились и сказали: не выйдем на работу, пока нам не увеличат плату? Что тогда хозяева сделали бы?

— А! И в самом деле! Вот хорошая мысль! — воскликнули побратимы в один голос. Даже лицо Андруся немного прояснилось.

— Что сделали бы? — ответил Сень.— Собрали бы со всего света рабочих, а нас выгнали бы.

— А если бы мы стали стеной и не пустили этих новых рабочих и просили бы их, чтобы они обождали, пока наше дело не победит? Можно было бы на этот случай послать своих

людей по окрестным селам, чтобы они объявили там: до такого-то и такого-то срока не ходите никто в Борислав, пока наша война не окончится!

— Ур-ра! — закричали побратимы.— Вот это совет! Война, война с хозяевами-обдиралами!

— Ну, и я думаю, что такая война лучше, нежели всякая другая,— продолжал Бенедя,— во-первых, потому, что это война спокойная, бескровная, а во-вторых, потому, что мы можем поднять ее совсем открыто и смело, и никто нам за это ничего не сможет сделать. Каждый, в случае чего, может сказать: не иду на работу, потому что мало платят. Заплатят вот столько-то, тогда пойду — и все тут!

Радость побратимов, когда они услыхали этот совет, была очень велика, да и сам Бенедя радовался не меньше других, потому что эта мысль пришла ему в голову совсем неожиданно, в пылу спора с Сенем Басарабом.

— Да, хорошо ты говоришь: «Война, прекратить работу». Но хотя бы и все согласились на это, скажи ты мне, сделай милость, на что они будут жить все это время? Ведь нельзя же думать, что богачи сразу же в первый день размякнут и согласятся добровольно увеличить нам плату. Может быть, придется сидеть без работы неделю либо и того дольше — ну чем же тогда будет жить столько народу?

Возражение было действительно веское, и лица рабочих снова помрачнели. Их только что пробудившаяся надежда на эту новую войну и победу над богачами была еще очень слаба и неясна и сейчас при первом же возражении начала бледнеть.

— Вот для того и нужны взносы, чтобы обеспечить себя на такой случай. Когда наберется порядочная сумма, такая, которой хватило бы, скажем, на неделю или на две недели, тогда можно будет начинать. Разумеется, тех, которые не захотели бы присоединиться к нам и вышли бы потом на работу, тех сейчас же, волей или неволей, за шиворот, да и вон из Бориславa,— пускай не портят нам дело. Во время забастовки наши люди могли бы наниматься на другую работу — в лесу, по плотничьему делу либо еще где-нибудь, лишь бы только не на нефтяные работы. Таким способом мы быстро сломили бы хозяйскую спесь и добились бы наверняка лучшей оплаты.

— Правильно говорит! Так и нужно сделать! Хороший совет,— послышались голоса. В доме поднялся шум, говор, все похвалялись, что скрутят теперь грабителей по рукам и ногам, каждый давал свои советы и не слушал чужих, каждый дополнял и изменял мысль Бенеди, перекраивая ее на свой лад. Один

только Сень Басараб сидел молча на своем месте и с грустью смотрел на эту шумную сходку.

— Что с ними сделаешь,— ворчал он,— если они готовы бежать за каждым, кто скажет им два-три красных словца! Ну, для меня все равно, пускай бегут за этим пряником, попробуют, каков он на вкус. Но я со своей дорожки не сойду. А ты, побратим? — обернулся он к Прийдеволе, который все еще стоял в темном углу и подозрительно посматривал то на Бенедю, то на шумных, оживленных нефтяников.

Он вздрогнул, когда Сень заговорил с ним, а затем быстро сказал:

— И я, и я с вами!

— С кем «с вами»? — горько спросил Сень.— Ведь мы теперь, как видишь, раздвоились. Или с ними вот, или со мной и с братом?

— Да, с тобой и братом! Ты слыхал, что этот про убийство говорил? Словно раскаленным ножом мне в сердце пырнул.

— Э, да ты об этом не очень беспокойся,— увещевал его Сень тихим голосом.— Разве что-нибудь особенное случилось? Ведь этот пес наверняка это заслужил. Ты забыл про свою?..

— Нет, нет, нет, не забыл! — перебил его Прийдеволя.— Верно, верно, что заслужил! Сто раз заслужил!

— Ну, так чего же здесь мучиться? Или суда боишься? Не бойся! Комиссия уехала в твердой уверенности, что он сам упал в шахту, еще хозяина судить будут, почему колодец не закрыл!

— Нет, нет, нет,— снова с каким-то лихорадочно болезненным волнением перебил его Прийдеволя,— не боюсь я комиссии! Что комиссия? Мне сдается даже, что если бы комиссия... того... раскрыла бы, тогда мне легче было бы!

— Тьфу, не дай бог, что это ты плетешь?

— Послушай только, Сень,— шептал Прийдеволя, наклонившись к нему и судорожно сжимая своей сильной рукой его плечо.— Мне кажется, что тот... еврейчик, знаешь... тот, что в шахте погиб, что он был не виноват, что это кто-то другой все сделал!

— Что? Что? Вот те на! Или он не был при этом?

— Да, да, был и смеялся даже, но разве уж и смерть за то, что смеялся? А может быть, он не делал ничего, а только те, другие?

— И откуда только тебе, парень, такие мысли в голову приходят? — спросил изумленный Сень.— Сломал черт ногу, ну и слава богу! Погиб панок, ну и ладно!

— А если он не виноват? Знаешь, когда я встретил его и схватил, и он почувствовал, к чему все это клонится, то как запищит: «Пощади, не губи, пощади!» А когда я в ту же минуту толкнул его... знаешь... он только взвизгнул: «Не виноват я, не виноват!» Потом загудело, затрещало, я бросился прочь. Но этот голос всегда со мной, всегда во мне, так и слышу его! Господи боже, что я сделал! Что я сделал!

Бедный парень ломал руки. Сень напрасно старался утешить его. Прийдеволе все казалось, что сброшенный в шахтный колодец кассир не был виновен.

— Ну, коли этот не был виновен, так исправь дело,— сказал наконец разозленный Сень,— и виновных пошли той же самой дорогой! Чтобы невинный не зря пострадал!

Эти слова были словно удар обуха для Прийдеволи. Оглушенный ими, он склонил голову и снова забился в свой угол, не произнося ни слова.

А между тем побратимы кончали совещание.

— Первое дело теперь,— говорил Бенедя,— вербовать людей в нашу компанию. Кто с кем на работе, либо в корчме встретится, или на улице разговорится, сейчас же пусть и толкует об этом! Обо всем говорить надо: какая оплата убогая и какое возможно спасение. И взносы собирайте. Я думаю, каждый должен собирать среди своих, а собранное каждый вечер отдавать главному кассиру, которого нужно здесь же сегодня выбрать.

— Правильно, правильно, надо выбрать кассира! — кричали все.— А ну, кого бы тут сделать кассиром?

Предлагали то одного, то другого, наконец остановились на том, что нет лучше кассира, чем Сень Басараб.

— Что? — сказал неприязненно Сень, услыхав это.— Я должен стать вашим кассиром? Никогда! Я с сегодняшнего дня и вовсе не хочу быть с вами! Ни я, ни мой брат.

— Не хочешь быть с нами? Это почему? — вскрикнули все.

— Потому что вы сходите с той дороги, на которую однажды стали. Я своей дороги не оставлю!

— Но кто же дорогу меняет? — сказал Андрусь.— Здесь совсем ничего не меняется.

— Как? И ты с ними? — мрачно спросил Сень.

— Да! С ними!

— А присягу забыл?

— Нет, не забыл!

— А ногами топчешь, хоть и не забыл!

— Не топчу! Послушай только и не сердись!

И Андрусь подошел к нему и начал шептать ему на ухо что-то такое, что вначале, видно, пришлось ему не по вкусу. Но чем дальше, тем больше прояснялось лицо Сеня, и наконец он почти радостно воскликнул:

— А если так, то хорошо. А я, глупый, и не догадался! Ладно, побратимы, буду вашим кассиром и надеюсь, что вы не пожалуетесь на меня!

— А теперь вот еще что,— произнес сильным, радостным голосом Бенедя, который сегодня вдруг из рядового побратима стал словно главой и вожатым всех.— Побратимы-товарищи! Вы знаете, я простой рабочий, как и все вы, вырос в горе и нужде, бедный подручный каменщика — и больше ничего. Нежданно и непрошено свалилась на меня хозяйская милость, и меня Гаммершляг сделал мастером, а потом и строителем нового нефтяного завода. Благодарить его мне не за что, я не просил у него милости, да и ему же от этого выгода, не нужно отдельно платить строителю. Мне же он платит по три гульдена в день, для меня, бедного рабочего, это очень большая сумма. У меня в Дрогобыче старуха мать, ей я должен посылать каждую неделю частицу своего заработка, пускай два гульдена, еще два гульдена в неделю я израсходую на себя; значит, будет оставаться в каждую неделю еще четырнадцать гульденов. Все это я обещаю отдавать в нашу кассу!

— Ур-ра! — закричали побратимы.— Да здравствует побратим Бенедя!

— Я тоже обещаю давать по гульдену в неделю.

— Я по пять шисток!

— Я по пять шисток!

— Вот мои три шистки!

— Вот мои!..

— Вот мои!

Речь Бенеди, а еще больше его пример воодушевили и разохотили всех. Сень Басараб здесь же собрал для почина немного денег, а Прийдеволя, который знал начатки грамоты и которого Сень упросил к себе в помощники, отметил плотничьим карандашом на клочке оберточной бумаги от табака, кто сколько дал.

Весело разошлись побратимы, радостные надежды вспыхивали в их головах среди мрачных сумерек настоящего и озаряли их искренние, чистые сердца подобно тому, как восходящее солнце розовым блеском озаряет пустынные, каменистые и печальные вершины Бескидов.

IX

Осенью, когда цветы уже отцвели, медвяная пыльца осыпалась и пчелиная жатва окончилась, начинается на некоторое время громкая, шумная жизнь в ульях. Пчелы, так же как и крещеный народ, окончив свою нелегкую работу, любят погутарить, собраться кучками перед летками и возле затворов, поболтать и потрепать крылышками. Вначале совсем нельзя понять, что это такое и к чему. Еще в улье не произошло ничего нового. Еще несколько самых старательных тружениц упорно вылетают каждый день в поле, чтобы после целого дня поисков возвратиться вечером домой с небольшой добычей на лапках. Еще сытые трутни гордо гудят, прогуливаясь возле наполненных медом кладовых и вылезая каждый божий день в полдень на крышку улья — погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, расправить и размять нерабочие крылышки. Еще, кажется, царит полное спокойствие, примерное согласие в улье. А между тем в нем уже иным духом повеяло. Пчелы-работницы как-то таинственно шепчутся между собою, как-то подозрительно покачивают головками, как-то зловеще стригут своими щипчиками и перебирают лапками. Кто знает, к чему это все и что такое готовится в пчелином царстве? Трутни, наверное, этого не знают и по-прежнему, досыта наевшись, гордо гудят, прогуливаясь возле наполненных медом кладовых и выползая каждый божий день в полдень на крышку улья погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, расправить и размять нерабочие крылышки...

Вот на такой улей начал походить Борислав спустя несколько дней после описанного совещания. Кто знает, откуда и как,— достаточно того, что новым духом повеяло в Бориславе. И если обычно новая струя свежего воздуха прежде всего и сильнее всего бывает заметна в верхних слоях, то здесь произошло совсем обратное. Нижние, густые и серые слои первые почуяли новое веяние, первые приметно всколыхнулись. И кто его знает, откуда и как оно началось! Ни с того ни с сего возле во́ротов и насосов, возле складов воска, в шинках за чаркой — всюду начались среди нефтяников разговоры о том, как тяжело всем жить, как тяжела работа в Бориславе и как хозяева-евреи без суда, без права, самовольно всё больше и больше урывают из жалованья, обижают и обманывают, избивают, да еще и высмеивают одураченных рабочих. И никто не смог бы сказать, от кого начались эти разговоры, потому что все, о чем говорилось, каждый слишком хорошо испытал на собственной шкуре и на собственном опыте. Раз начавшись, разговоры эти уже не утихали,

а все более распространялись, становились все сильнее и громче. Все как будто только теперь увидели свое печальное, безвыходное положение, ни о чем ином и говорить не хотели, и каждый разговор оканчивался мучительным, тяжелым вопросом: «Господи, неужто нам вечно так мучиться? Неужто нет для нас выхода? Неужто нельзя нашему горю пособить?» Но помощи не было ниоткуда. А разговоры не утихали, наоборот — становились все громче и острее. Люди, которые вначале говорили о своем горе равнодушно, как о неизбежном зле, после глубокого раздумья и после долгих разговоров со знакомыми, задушевными друзьями и старшими рабочими или вообще бывалыми людьми убеждались, что здесь что-то не так, что горю можно пособить, но, не видя и не зная, как это сделать, начинали проявлять нетерпение, взбудораженные, ходили и говорили, словно в лихорадке, жадно ловили каждое слово, которое могло бы прояснить им беспросветное положение. До самых далеких хаток, до самых темных углов доходили эти разговоры, разбегались во все стороны, словно огонь по сухой соломе. Ребятишки, таскавшие глину, дивчата и молодицы, которые выбирали в сараях воск из глины, и те говорили о своем бедственном положении, о том, что им непременно нужно как-нибудь договориться между собою и искать для себя спасения.

— И ты о том же поешь? — говорили не раз старшие рабочие, усмехаясь и слушая рокот молодых парней.

— Вот тебе на, как будто у нас не та самая беда, что и у вас! — отвечали молодые.— Да нам еще хуже, чем вам! Вас не так скоро прогонят с работы, вас не так скоро обсчитают, а если и обсчитывают, то все-таки вам больше платят, нежели нам. А есть мы хотим так же, как и вы!

— Но кто же вас надоумил, что надо себя как-нибудь спасать?

— А кто мог нас надоумить? Как будто человек и сам не знает, что если жжет, то нужно холодное прикладывать? Да еще хотя бы не так сильно жгло! А то, видите, дома голод, не уродило ничего, отец и мать где-то там пухнут и умирают с голоду, думали — авось хоть мы здесь кое-что заработаем, сами прокормимся и хоть немного им поможем, а тут вон оно что! Даже себе на жизнь не можем заработать в этой проклятой яме! Народу набилось много, работа тяжелая, платят мало, и чем дальше — все меньше, а тут еще злодеи-богачи хлеба не подвозят, вон какую дороговизну сделали: к хлебу подступиться нельзя! Ну, скажите сами, можно ли так жить? Уж лучше либо сразу погибнуть, либо как-нибудь добиться лучшего!

Так толковали обычно между собою нефтяники, и такие жалобы раздавались со всех сторон. Эти разговоры глубоко западали в сознание каждого, кто вынужден был на своих плечах тащить нелегкое бремя своей собственной нужды. Личная обида, личная нужда и боль каждого рабочего передавалась другим, становилась частью всеобщей обиды и нужды, вливалась, словно капля в бочку, в сумму общих жалоб. Все это, с одной стороны, давило и пугало людей, не привыкших к тяжелой работе мысли, но, с другой стороны, возбуждало и озлобляло их, расшевеливало неподвижных, будило надежды, а чем больше люди надеялись и ожидали, тем больше внимания обращали они на свое положение, на каждое, хоть даже маловажное, событие, тем сильнее чувствовали каждую новую несправедливость и обиду. Ссоры между рабочими и евреями-надсмотрщиками становились теперь все более частыми. Надсмотрщики издавна привыкли смотреть на рабочего как на скотину, на вещь, которую можно приткнуть где угодно, толкнуть ногой, выбросить, если не понравится, по отношению к которой даже смешно говорить о каком-то человеческом обхождении. И сами рабочие, обычно наиболее бедные, с детства забитые и в нужде зачахшие люди из окрестных сел, терпеливо сносили эти надругательства, к которым с малых лет приучала их тяжелыми ударами убогая жизнь. Правда, иногда попадались и среди них чудесным образом уцелевшие, сильные, несломленные натуры, такие, как братья Басарабы, но их было мало, и бориславские евреи крепко их не любили за непокорность и острый язык. Но теперь вдруг все начало меняться. Самые смирные рабочие, парни и девушки, которых до сих пор можно было, нисколько не стесняясь, обижать и унижать, и те держались теперь независимо, без прежних жалоб и слез. И удивительнее всего было то, что на промыслах, где прежде каждый мучился, работал и горевал сам за себя, каким-то чудом появилась вдруг дружба, солидарность всех с одним и одного со всеми. Неустанный живой обмен мыслей, чувство собственного горя, усиленное и облагороженное чувством горя других, выработали эту солидарность. Стоило только хозяину-еврею прицепиться несправедливо к рабочему, начать ни с того ни с сего ругать и поносить его, как весь промысел обрушивался на него, заставляя притихнуть его то бранью, то насмешками, то угрозами. Во время недельных выплат начали раздаваться теперь все более бурные и грозные крики. За одного обиженного вступались десять товарищей, к ним тут же присоединялся еще десяток с других промыслов, и все они толпой вваливались в контору, обступали кассира, кричали, требовали

полной выплаты, угрожали и обычно добивались своего. Хозяева вначале набрасывались на них, кричали, угрожали, в свою очередь, но, видя, что рабочие не уступают и не пугаются, а, напротив, все больше разъяряются, уступали. Они не признавались даже самим себе в том, что положение изменилось и может стать грозным, они еще — особенно крупные предприниматели — гордо расхаживали по Бориславу, важно посматривали на рабочих и радостно потирали руки, слыша, как голод свирепствует по селам, видя, что с каждым днем в Борислав прибывает все больше и больше людей. Они еще и не думали ни о чем другом, кроме своих спекуляций, им еще и не снилось, что рабочие могут каким-нибудь образом опрокинуть их планы и добиться среди этой погони за золотом также и своего куска. Еще они спали спокойно и не слышали все более громкого говора снизу, не чувствовали гнетущей духоты в воздухе, которая обычно бывает перед бурей.

И произошла эта важная перемена среди бориславских рабочих неожиданно быстро. Даже наши знакомые побратимы, которые дали первый толчок к этой перемене, даже сами они удивились, видя, каким громким эхом отдаются во всем Бориславе их слова. Даже самые недоверчивые из них, которые мрачно смотрели на изменения в целях и работе побратимства, даже братья Басарабы, видя, как жадно ловят рабочие их слова и как живо развивают их дальше по-своему, начали охотнее присоединяться к новому движению. Они видели, что Бенедя и Стасюра говорят правду, требуя выйти за узкие рамки прежнего побратимства и понести свое слово и свои мысли в народ, и теперь убедились, что в рабочей массе почва хорошо подготовлена для посева такого слова и что это слово, распространяясь в ней, не только не потеряет ничего, но, напротив, наполнится великой силой. Впрочем, братья Басарабы, а с ними и некоторые другие, наиболее непримиримые побратимы, не думали окончательно остановиться на том, что советовал Бенедя, а надеялись, что в случае если не удастся затея Бенеди (а в ее удачу они и теперь еще мало верили), можно будет повернуть всю огромную силу возмущенного рабочего люда на иное дело, на то дело, ради которого они в самом начале образовали свое побратимство. Поэтому-то, поразмыслив хорошенько, они не только не сетовали на Бенедю за то, что своими речами он отклонил побратимство от его первоначальной цели и повел за собой по иному пути, а, напротив, были благодарны ему за то, что, сам того не сознавая, он начал необходимое собирание огромной силы и проложил дорогу туда, куда они до сих пор не осмеливались сту-

пить. Они, однако, охотно взялись работать для осуществления планов Бенеди, зная, что если бы удалось эти планы полностью осуществить, то попутно свершилось бы и то, чего они желали, а если не удадутся замыслы Бенеди, то осуществление их первоначальной цели будет тогда еще вернее. Стало быть, так или иначе Бенедя, действуя для всех рабочих, действовал и для них.

Зато какая жизнь, какое движение началось в небольшом домике на краю Бориславa, где жили Матвей и Бенедя! Ежедневно по вечерам приходили побратимы, рассказывали, как идет дело, как принимают нефтяники их слова, как настойчиво просят совета, как выступают против хозяев. Совещания не раз продолжались очень долго, и перед глазами наших знакомцев все яснее вырисовывалась дорога, по которой нужно идти. Еще в самом начале, как только наши побратимы решили вербовать в свое побратимство громаду бориславских нефтяников, они целых два вечера совещались о том, с чего начать, чтобы добиться своего и не обратить на себя раньше времени внимания. В те времена еще живы были в памяти преследования и аресты поляков — участников восстания тысяча восемьсот шестьдесят третьего года, кое-кто из побратимов выразил опасение, как бы в случае провала полиция не насела на них и не обвинила в бунте,— а в этом случае и вся их работа пошла бы насмарку. В конце концов Бенедя дал такой совет: на первых порах высказывать рабочим свои мысли как бы со стороны, случайно, постепенно, но упорно, в каждом разговоре будить у всех ощущение бедственного, жалкого положения и вместе с тем указывать на возможность улучшения в будущем. Таким образом, говорил Бенедя, в народе пробудится беспокойство, волнение, желание добиться улучшения — одним словом, создастся среди массы нефтяников возбуждение, которое, будучи ловко поддержано и усилено, может быть использовано в соответствующий момент для осуществления их планов. Этот совет очень понравился всем побратимам, и они решили его принять. Не прошло и двух недель, а их цель была почти полностью достигнута. Рабочие после работы толпами ходили по Бориславу, разговаривая и совещаясь: шинки пустели все больше и больше, а возбуждение и беспокойство в народе все росло, и нетерпеливые побратимы все громче требовали выступить наконец открыто и взять на себя руководство широким рабочим движением. Но Бенедя, а за ним и братья Басарабы стояли на том, что надо еще немного обождать, пока выше и грознее ударят волны рабочего гнева.

А волны эти, движимые действительной нуждой и гнетом, подхлестываемые жгуче-правдивыми словами побратимов, ста-

новились все выше и грозней. Простой человек — враг долгих рассуждений и размышлений. Правда, собственным умом он нескоро приходит к ясному, окончательному решению, долго томится засевшей в его голове мыслью, но когда она окончательно сложится и утвердится, примет твердую и ясную форму, тогда уже ему не до забавы, не до рассуждений, тогда он всей силой своего существа рвется претворить свою мысль в дело, тогда неизбежна борьба между ним и противниками его мысли. Вот точно так было и здесь. Казалось бы, и не бог весть как трудно человеку, который ежедневно терпит нужду и неправду, прийти к сознанию этой нужды и неправды, и, однако, как поздно пришли к этому сознанию бориславские рабочие! И казалось бы, нет ничего особенного в этом сознании, таком безотрадном и печальном! А между тем какое беспокойство, какую бурю подняло оно в головах всех рабочих! И скоро из безотрадного и тоскливого чувства родилась грозная решимость, невольная спайка и непокорство своим угнетателям. От слов начали переходить к делу. Вот однажды пронеслась по Бориславу весть, что рабочие припугнули в каком-то закоулке кассира, который вместо обычных двух процентов начал удерживать с рабочих в свою пользу по четыре процента «кассирского» с каждой шахты, то есть с каждого двенадцатичасового рабочего дня. Эта весть была как бы сигналом, за которым вскоре последовало много подобных случаев. После каждой такой вести росли упорство и отвага нефтяников. Они уже прямо в глаза разным кассирам, надсмотрщикам и контролерам начали грозить, что не будут больше терпеть над собой кривды. Страх начал одолевать кровососов народных. А когда однажды пронеслась по Бориславу весть, что один надсмотрщик несправедливо записал рабочему какой-то большой штраф, а кассир во время получки хотел вычесть у него этот штраф из жалованья, нефтяники подняли возле кассы страшный крик и шум, начали требовать к себе надсмотрщика, чтобы дал ответ, за что такой большой штраф наложил на их товарища. Надсмотрщик спрятался где-то, кассир в шутку, чтобы избавиться от них, сказал рабочим: «Идите ищите его и, если найдете, приведите сюда за ухо». Нефтяники с оглушительным криком бросились во все стороны и через минуту нашли надсмотрщика, схватили его и силой, в самом деле за уши, притащили к кассиру,— привели, разумеется, избитого, исцарапанного и с надорванными ушами. И хотя нескольких рабочих за это арестовали и заперли в сельской управе, но все-таки эта весть наделала шуму и вызвала среди нефтяников много толков, а на хозяев-евреев нагнала немало страху. Нефтя-

ники в тот же вечер огромной толпой, под предводительством братьев Басарабов, пошли к бориславскому войту, добились от него освобождения всех арестованных,— и могучим, радостным смехом встретили их рабочие. Песни и угрозы загудели по улицам Борислава, освобожденных водили от шинка к шинку, и поили, и тысячу раз расспрашивали, как это они привели надсмотрщика за уши к кассе.

Пока гудела хмельная радость на улицах Борислава, в убогой хате Матвея сидели побратимы и совещались, что делать. Все сходились на том, что теперь пора, что надо взяться за дело.

— Созвать сходку! Созвать сходку! — говорили все.

И порешили, не открывая своего побратимства, созвать собрание всех нефтяников за Бориславом, на выгоне. В воскресенье, в полдень, все должны были собраться там на совет.

Словно грозовая искра, пронеслось на другой день из уст в уста, от колодца к колодцу, от промысла к промыслу, от завода к заводу неслыханное дотоле слово:

— В воскресенье после церкви! На выгон возле Борислава! Собрание, собрание, собрание!

Никто не знал, что это будет за собрание, о чем будут совещаться, кто созывает. Да никто и не спрашивал об этом. Но все чувствовали, что это будет великая минута, что от нее многое будет зависеть,— и все возлагали большие, хотя и неясные, надежды на эту минуту. Собрание! Собрание! Собрание! Это слово, будто чудом, проясняло увядшие, испитые лица, укрепляло мозолистые руки, выпрямляло издавна согнутые плечи. «Собрание! Наше собрание!» — неслось то громко, то шепотом по всем углам, и тысячи сердец с нетерпением бились, ожидая воскресенья и собрания.

С нетерпением ожидали его и наши побратимы, а особенно Бенедя и Андрусь Басараб.

X

Буря собиралась над Бориславом — не с неба на землю, а с земли против неба.

На широкой луговине, на бориславском выгоне, собирались грозные тучи: это нефтяники сходились на великий рабочий совет. Все заинтересованы новым, до сих пор не слыханным явлением, все полны надежд и какого-то таинственного страха, все едины в ярости и ненависти к своим угнетателям; громко разговаривая и шепчась, бóльшими или меньшими группами, с окраин и из центра Борислава плыли-наплывали они. Черные,

пропитанные нефтью кафтаны, куртки, армяки и сермяги, такие же рубахи, подпоясанные ремнями, веревками или лыком, бледные, пожелтевшие и позеленевшие лица, рваные, засаленные шапки, шляпы, солдатские «бескозырки», войлочные шляпы бойков и соломенные подгорян — все это густой серой тучей покрывало выгон, толпилось, волновалось, шумело, словно прибывающая вешняя вода.

— Что здесь долго судить да рядить! — кричали в одной группе.— Тут суд один: богачи евреи, хозяева, весь свет захватили, они нам жить не дают, они голод навели на народ!

— Нужно соединиться всем вместе, не поддаваться им! — выкрикивали в другой группе.

— Хорошо вам говорить — не поддаваться. А как голод прижмет, заработка хозяин не даст, тогда и вы хвост подожмете и покоритесь сухой вербе, не то что хозяину.

Голод — великое слово. Словно грозный призрак, стоял он у каждого за плечами, и при воспоминании о голоде затихали громкие, смелые крики.

— В колодец каждого, кто над нами издевается! — шумели в другом конце.

— Ну а что из этого? — увещевал старик Стасюра.— Тот, кто сбросит другого в колодец, пойдет гнить в тюрьму, это раз...

— Эге, еще кто знает, пойдет ли,— угрюмо сказал Матвей.— А вот злодей Мортко столкнул моего Иванчика, еще и деньги его забрал, и поныне ходит по свету и насмехается над рабочим людом.

— Э, так ведь то нехристь! — закричали некоторые.— Нехристю все сойдет. А пускай бы наш человек сделал что-нибудь такое, ну-ка!

— А второе,— продолжал Стасюра,— сотня издевается над нами, а тысяча обдирает по «закону», так что и сказать ничего нельзя: и вежливо и чинно, мол, на́ тебе, что полагается, а между прочим, человек чувствует, что с него шкуру дерут. В этом наша беда!

— Правда, правда! — шумели нефтяники.

— Да что из того, что правда,— говорили другие,— этому, видно, ничем помочь нельзя.

— Как нельзя помочь? — сказал Стасюра.— Против каждой болезни средство есть, надо только поискать. Неужто же против нашего горя нет лекарства? Надо поискать. Для того и собрались мы сегодня всем миром, чтобы об этом поговорить. Ведь вы же знаете: мир — великая сила; где один своим умом ничего не придумает, там мир все-таки скорее рассудит.

— Если бы мы сегодня до какого-нибудь лада дошли,— говорили рабочие.— А время уже приспело, беда до костей изгрызла!

Такие и подобные разговоры велись во всех концах и во всех кучках. Побратимы разделились и уговаривали рабочих, внушали им мысли о возможности улучшения их тяжелой жизни, укрепляли их веру в мирской разум и мирскую силу. А тем временем прибывали все новые и новые толпы. Солнце стояло уже посредине неба и жгло немилосердно, тучей поднимая над Бориславом густые, смрадные нефтяные испарения. Над синеющей вдали высокой стеной Дила колыхались волны раскаленного воздуха. От реки веяло нежной прохладой.

— Ну, что ж, пора начинать совет... начинать совет... уже все собрались! — зашумели рабочие со всех сторон.

— Кто хочет говорить, пусть выходит на середину, вот на этот камень! — сказал своим сильным, звучным голосом Андрусь Басараб.

— Становитесь в круг... Подходите сюда, к камню,— гудели рабочие.

На камень взобрался Бенедя. Он не привык говорить перед такой огромной толпой и был немного смущен: он вертел в руке свою шапку и озирался по сторонам.

— Это кто такой? — закричали со всех сторон нефтяники.

— Рабочий человек, каменщик,— ответил Бенедя.

— Ну так говори, что хочешь сказать.

— Я много не буду говорить,— сказал Бенедя, постепенно становясь смелее.— Я только то хотел сказать, что́ каждый и без меня знает. Беда нам, рабочим людям... Работать тяжело: ночей недосыпаем, а днем и передохнуть некогда, мозоли на руках набиваем: старые еще не слезли, а уж новые наросли, и что нам с того? Говорят, горько заработаешь, сладко съешь, а мы очень ли сладко едим? Горько зарабатываем, это верно, но еще более горька наша жизнь. Мы чаще изнываем от голода, нежели бываем сыты. Да еще хотя бы не издевались над нами, не обижали, не унижали нас на каждом шагу! А то сами видите, какой нам почет. Рабочий человек у них хуже скотины!

— Правду он говорит, правду! Скотину, собаку больше ценят, нежели бедного человека! Эх, неужто бог не видит этого?

— А теперь посудите сами,— продолжал Бенедя,— на кого мы трудимся, кому от нашей работы польза? Евреям-спекулянтам! Хозяевам! Бедный нефтяник сидит по шесть, по восемь, по двенадцать часов в шахте, в сырости и смраде, мучается, долбит и копает штольни под землей, другие рабочие стоят у во-

рота, у насоса и крутят, пока у них голова не закружится и последние силы не уйдут, а хозяева продают воск и нефть, и получают тысячные суммы, и пануют, строят каменные дома, наряжаются, и ездят в каретах, и забрызгивают грязью бедного человека! И слова доброго от них никогда не услышишь. Вот на кого мы работаем и какую благодарность получаем за это!

— Покарай их бог за нашу работу и нашу нужду! — закричали рабочие со всех сторон.

— Так-то оно так,— продолжал Бенедя после короткой передышки,— пускай их бог покарает. Но это еще не известно, захочет ли бог покарать их или нет, а во-вторых, кто знает, будет ли нам от этого легче, если их бог покарает. А тут по всему видно, что бог почему-то любит больше нас карать, нежели их! Вот и теперь покарал бог наши села голодом, а здесь, в Бориславе, и хозяева также принялись нас карать: плату уменьшают каждую неделю, да еще, если кто-нибудь осмелится слово сказать, смеются над ним в глаза: «Иди, говорят, если тебе невыгодно, а я десятерых найду на твое место за эту же плату». Вот и рассудите сами, много ли мы получим, если будем полагаться на божью кару! Я думаю, уж лучше нам действовать так, как говорят наши люди: на бога надейся, да сам не плошай. Божья кара божьей карой, а нам надо объединиться и подумать, как бы собственными силами из беды выбраться.

— В том-то и вся штука! Как выбраться, если мы бедны и помощи ниоткуда не имеем? — закричали рабочие.

— Ну я здесь за вас решать не могу,— сказал Бенедя,— но если будет ваша воля послушать, то я скажу вам, что я думаю об этом.

— Говори, говори! Слушаем! — загудели нефтяники.

— Ну, коли так, то буду говорить. Верно вы говорите, что помощи нам ждать неоткуда. Кто же теперь захочет помочь бедному рабочему, а впрочем, если бы и захотел помочь одному, то не смог бы помочь всем, такой уйме народа. Здесь только мы сами, дружной силой можем себе помочь.

— Мы сами? Как же это? — послышались недоверчивые голоса.

— Это правда,— сказал Бенедя,— пока что мы еще не сможем по-настоящему себе помочь. Разве можно помочь по-настоящему, если человек работает не на себя, трудится, трудится, а его трудом пользуется другой? Пока весь наш труд не будет идти на нас самих, до тех пор нам добра настоящего не будет. Но чуточку облегчить свое положение, пожалуй, сможем. Вот посмотрите, сколько раз случается человеку остаться без ра-

боты! Ходит человек как угорелый, мечется как в лихорадке, сюда и туда, а работы не может достать. Томит человека голод, идет он к богачу еврею, напрашивается на какую угодно, хотя бы и на самую худшую работу, лишь бы только с голоду не пропасть. Ну, а вот если бы мы все, сколько нас здесь есть, обязались еженедельно после получки складываться, пусть по центу, пусть по два, то сосчитайте сами, какая бы получилась сумма. Если бы набралось таких тысяча, то никому этот цент не был бы в тягость и никого не разорил бы, а из этих взносов собралась бы такая сумма, что можно было бы в случае неожиданной нужды помочь десяти человекам.

— Правильно, правильно! — загомонили рабочие.

— Невелика эта помощь, правда,— продолжал Бенедя,— но согласитесь, что это и не такая уж малая помощь. Потому что рабочий, который в трудную минуту получит гульден или полтора, уже не будет вынужден кланяться хозяину и напрашиваться на работу за какую угодно нищенскую плату, не будет вынужден сбивать плату другим рабочим. А то, что ему будет дано, он сможет потихоньку да полегоньку выплатить обратно, как только получит лучшую работу. Вот тогда наша рабочая касса не только бы не уменьшилась, но, наоборот, все увеличивалась бы.

Нефтяники стояли молча и раздумывали. Вначале им показалось, что это дело и вправду хорошее, и все готовы были сразу же приступить к нему. Но скоро послышались возражения.

— Эх, что из того? — говорили некоторые.— Ну, хотя бы и так: сделаем мы складчину, а кто этим будет пользоваться? Будет так, как в селах, где есть общественные кассы. Богатеи берут деньги взаймы, пользуются ими, а бедняки только вносить должны, а пользы себе никакой не видят. Или вот еще: выберем мы кассира, скажем — такого же рабочего, как и все мы, а кто нам поручится, что он не заберет денежки и не удерет?..

Бенедя слушал эти возражения спокойно.

— Думал я и об этом и вот что придумал. Прежде всего, нам нечего бояться, что пользоваться нашими деньгами будут богачи, потому что среди нас богачей нет, все мы бедные. И второе, мы не ростовщики, деньги под проценты давать не будем, а будем выдавать только в случае действительной нужды, болезни, безработицы, то есть будем помогать там, где для каждого очевидно, что помочь надо. Кто сможет, тот вернет нам ссуду и покроет расход, а кто не сможет, ну — мы его за это также не повесим. А с кассиром, я думаю, лучше всего будет вот как поступить. Если у нас много таких найдется, которые

согласятся участвовать в этой кассе, то на каждом промысле или в нескольких соседних участках вы сами выберете своего кассира из числа тех рабочих, которые работают здесь, в Бориславе, постоянно и которых вы хорошо знаете. Такой кассир мог бы собирать деньги только в тех участках, которые его выбрали. А зная, сколько на этих промыслах работает человек и сколько обязалось платить, каждый очень легко может узнать, сколько денег имеется у кассира. Если один почему-либо не понравится, можно выбрать другого. Те промысла, которые будут иметь своего отдельного кассира, должны поддерживать нуждающихся рабочих из своей среды: они лучше всего будут знать, кто у них действительно нуждается.

— Ну вот это другое дело,— загудели рабочие.— Такой кассир всегда будет у нас на глазах, а если их будет много, то у каждого сумма будет небольшая, соблазн будет меньше, и, даже если бы вся эта сумма пропала, потеря была бы все же невелика. С этим можно согласиться.

— Позвольте, это еще не все,— говорил Бенедя.— Кто знает, может иногда случиться такая нужда, что не хватит средств одного участка. Может, случится сделать что-нибудь такое, что пойдет на пользу всем бориславским рабочим, а для этого потребуется много денег, больше, нежели имеет одна касса. Поэтому, я думаю, надо сделать так: в каждой такой небольшой кассе, которая была бы при одном или при нескольких соседних промыслах, все деньги, которые будут поступать, поделить на три части. Две части надо оставлять на своем промысле для помощи отдельным рабочим, а одну треть отдавать в главную кассу. Из этой кассы выдавать деньги уже не мог бы ни кассир, ни один какой-то промысел, а только общий сход всех бориславских рабочих, разумеется, тех, которые платят в кассу. Выдавать из нее нужно как можно меньше, а копить деньги для большого общего дела.

— А какое же это может быть дело? — спрашивали нефтяники.

— Вот как я это понимаю,— сказал Бенедя.— Как видите, теперь наши хозяева-евреи убедились, что нас много, что голод сгоняет все больше рабочих в Борислав, и они не спрашивают, можно ли нам прокормиться или нет, а все снижают и снижают нам плату. И не перестанут снижать, пока мы не напомним о себе.

— Эге, разве мы не напоминали,— чему это поможет?

— Стойте, погодите, я скажу вам, как надо напоминать! Это верно, что говорить с ними по-хорошему или с угрозой бес-

полезно — не послушают. Тут нужно не угрожать, а сделать так, чтобы они и не опомнились, откуда это на них свалилось. Вот что нужно сделать. Все, сколько нас здесь есть, и те, которых здесь нет,— одним словом, все вместе однажды утром, каждый у себя на работе, приходим и говорим: довольно, не будем работать, не можем работать за такую малую плату, лучше будем сидеть дома. Пока не будет увеличена плата, до тех пор и пальцем не шевельнем. И, сказав это, все по домам!

Нефтяники даже рты разинули от удивления, услыхав такой совет:

— Вот те на, да как же это бросить работу?

— На время, на время, пока хозяева плату не увеличат.

— А не долго ли ждать придется?

— Ну, очень долго не придется. Ведь вы только подумайте: хозяева наши позаключали с разными купцами контракты — в такой-то срок поставить столько-то воску, столько-то нефти. Ну, а если в срок не поставят, то им убыток будет в десять раз больше, чем прибавка к плате. А сами они в шахты не полезут; может быть, и продержатся несколько дней, а потом все-таки вынуждены будут к нам «приидите поклонимся».

— Как бы не так! Они наберут новых рабочих!

— Ну, надо так сделать, чтобы не набрали. Разослать людей по всем окрестным селам с таким наказом, чтобы до поры до времени никто не шел в Борислав, потому что там вот то-то и то-то делается.

— А если мазуров приведут?

— Не пускать! Уговором или силой, но не пускать.

— Гм, да это, пожалуй, можно. Но на что мы будем жить во время этой забастовки?

— Вот для этого я и думал устроить такую главную кассу.

— А спекулянты сговорятся и хлеба не подвезут, заставят нас голодать.

— А мы и покупать у них не будем. Когда у нас будут свои деньги, мы сами привезем из города, да еще и подешевле.

— И ты думаешь, что это поможет, что повысят плату?

— Я думаю, что должны, если только мы будем твердо держаться.

— Но для того чтобы прокормить такую массу народа, нужна огромная сумма денег!

— На время забастовки можно будет часть людей отправить в села или в город, куда-нибудь на другие предприятия, чтобы легче было. К тому же не следует приниматься за такое большое дело, пока у нас не будет достаточно денег, чтобы про-

держаться хотя бы неделю. И прежде чем начинать, нужно все наладить как следует: и своих людей по селам разослать, и хлеба расстараться, и всего. Ну да об этом еще будет время поговорить. Теперь скажите: согласны ли вы на то, чтобы у нас были кассы — и участковые, и главная касса?

— Согласны! Согласны!

— А с тем согласны, чтобы две трети оставались в участковых кассах, а одна треть чтобы шла в главную кассу?

— Нет, пускай две трети идут в главную кассу! Хотим давать по два цента, только чтобы нам всем скорей какое-нибудь полегчение пришло!

— А в управление главной кассы, я полагаю, надо выбрать троих человек, таких, которых вы хорошо знаете и которым можете доверять. А главное, чтобы касса хранилась у такого человека, который имеет здесь свое хозяйство.

— Эге, а где же мы здесь такого найдем, если все мы пришлые, беднота?

— Я знаю такого человека — старого Матвея, у него здесь своя хата. Думается мне — лучше всего кассу у него поместить. И нужно, чтобы каждый сборщик мог в любое время прийти и пересчитать, сколько денег есть в кассе и откуда они получены, и оповестить об этом своих людей. Два других могли бы еженедельно ходить по промыслам и собирать деньги. В таком случае можно было бы надеяться, что никто никого не обманет, никто наших денег не присвоит. Согласны вы на это?

— Согласны! Согласны!

— А где он, этот Матвей? Хотим поглядеть на него! — закричали те, которые не знали Матвея.

Матвей влез на камень и поклонился миру.

— Ты кто таков есть? — закричали ему.

— Нефтяник, люди добрые.

— У тебя есть своя хата?

— Своя не своя, а так, как бы и своя. Моей невестки хата, да она в услуженье, не живет здесь.

— А согласен ты, чтобы у тебя была наша касса и чтобы ты отвечал нам за нее?

— Как перед своей совестью, так и перед вами. Если ваша воля на то, я готов послужить миру. Ну да, впрочем, половина из вас знает меня.

— Знаем, знаем! — раздалось множество голосов.— Можно положиться на него!

— Ну, а кого же еще выбрать в кассиры? — спрашивали нефтяники.

— Выбирайте, кого сами знаете, а главное дело — таких, которые могли бы много бегать,— ответил Бенедя.

— Будь ты!

— Нет, я не могу, здоровьем слабоват, как видите, да и занят слишком на работе, не смогу бегать. А что смогу, то и без вашего избрания буду делать.

Затем Бенедя поблагодарил собравшихся за внимание и слез с камня. Начался шум и говор в толпе. К Бенеде протискивались рабочие, чтобы пожать ему руку, заглянуть в лицо и громким, искренним словом поблагодарить за добрый совет.

Между тем нефтяники быстро договорились выбрать двумя другими кассирами Прийдеволю и Сеня Басараба.

— Спасибо за избрание и за доверие! — крикнул Сень собранию.— Постараемся хорошо послужить нашему общему делу! А теперь, кто сколько может, прошу подкинуть по центу, по два, чтобы наша касса с самого начала не была пуста!

— Ур-ра! По центу в кассу! — кричали рабочие.

— Давайте каждый по центу, каждый,— сказал Матвей.— Когда подсчитаем, будем знать, сколько здесь нас!

Согласились и на это, и, когда собрали деньги, насчитали тридцать пять гульденов.

— Три с половиной тысячи нас собралось! — крикнул Сень Басараб.— В нашей кассе тридцать пять гульденов. А трудно ли нам было внести такую сумму?

— Вот что значит мир! — говорили меж собой нефтяники.— Верно кто-то сказал: мир плюнет по разу — так одного утопит!

Говор усилился, но это уже не был угрюмый, тревожный говор забитой, беспомощной массы, это был веселый шум пчел, для которых настала весна, и зацвели цветы, и ожила надежда на более счастливую жизнь.

XI

Дела шли прекрасно. Леон Гаммершляг земли под собой не чуял от гордости и радости. Все ему удавалось, и хотя это было только начало, но уже оно одно предвещало удачу всего дела. Прежде всего от «Воскового общества» из России Леон получил такое сообщение: «Доставляйте церезин, если возможно, раньше договорного срока. Общество наладило хорошее дело. При помощи известных здешних способов нам удалось заключить со святейшим синодом контракт на поставку церезина православ-

Борислав смеется

ным церквам. Сто тысяч залога внесено. Ждем от вас извещения, когда будет готова первая партия».

У Леона, когда он прочитал это известие, словно крылья за плечами выросли. Значит, дело это крепкое, прочное. Он сразу же направился в Борислав — посмотреть, как идет строительство завода. По дороге он очень жалел о том, что постройка только через неделю будет готова и что нельзя завтра же начать производство воска. О том, что все это дело было, по существу, надувательством, обманом, Леон нисколько не думал. Чувство справедливости было у него вообще развито слабо, а уж того ощущения, что существующие законы и государственные установления обязывают к чему-то всякого гражданина, этого ощущения у Леона, как и вообще у других наших предпринимателей-евреев, едва ли был хотя бы какой-нибудь след.

Занятый улаживанием различных текущих дел в Дрогобыче, в частности хлопотами по закупке сырого воска у разных мелких предпринимателей, Леон уже более недели не заглядывал в Борислав и не знал, что и как там делается. Он во всем положился на Бенедю, убежденный заранее, что свое дело тот делает добросовестно и хорошо. Каково же было удивление Леона, когда, приехав в Борислав, он увидел, что на новой постройке уже нет рабочих, кроме нескольких, которые кончали покрывать крышу, и когда Бенедя вышел к нему навстречу с заявлением, что свое дело он уже окончил, здание вполне готово и остается только Леону осмотреть все лично и отпустить его, Леон не знал, что и сказать в ответ на эту приятную и неожиданную весть, и если бы Бенедя был «пан» строитель, а не простой рабочий и недавний подручный каменщика, он обнял бы его и расцеловал от радости. Значит, счастье неизменно улыбается ему! Значит, оно подслушивает его тайные мысли и желания и, словно возлюбленная, опережает его, чтобы в тот же миг их исполнить! Радость широко разлилась по лицу Леона. Он начал благодарить Бенедю и пошел вместе с ним осматривать здание. Оно стояло перед ним во всей своей красе: длинное-длинное, низкое, с небольшими дверцами и оконцами, которые выглядывали то здесь, то там, словно подслеповатые воровские глазки. Две огромные трубы тянулись к небу. Довольно просторный двор был огорожен высоким забором с широкими воротами для въезда и узенькой калиткой сбоку для пешеходов. Двор был гладко утрамбован, ямы для выжигания извести были засыпаны, даже огромный сарай для рабочих и для хранения воска был готов. Стены, не выбеленные, не оштукатуренные, были светло-красного цвета. У Леона сердце радовалось: все

было так, как нужно. А внутрь он и не пошел смотреть: «Для этого,— говорил он,— нужно привезти моего мастера-нефтяника, ему лучше знать, все ли сделано так, как надо». Трубы, и котлы, и все приспособления, заказанные в Вене, были получены и стояли на площади в огромных ящиках. Леон не дал и отдохнуть ни себе, ни лошадям,— немедленно помчался назад, в Дрогобыч, чтобы привезти Шеффеля. Бенедя тем временем должен был приготовить рабочих, которые под руководством Шеффеля еще сегодня установили бы и замуровали котлы.

Приехал и Шеффель. Осмотрел внутренность завода, разметил, что, как и где будет установлено, и весьма одобрительно отозвался о постройке. Леон ходил за ним следом и только причмокивал губами и потирал руки, Бенедя тем временем возился с нанятыми рабочими во дворе, возле машин, разбивая доски и ящики, разматывая веревки и прилаживая деревянные валы и рычаги, чтобы втащить все это куда следует — внутрь здания.

До позднего вечера слышался на новом заводе стук и лязг: это устанавливали и укрепляли машины. В одном месте нужно было проделать отверстие в каменной стене для трубы, в другом — окончательно установить и вмуровать котлы: Шеффель производил обмеры и распоряжался, а Бенедя с рабочими выполнял его распоряжения. Наконец, с наступлением сумерек, все было готово.

Леон и Шеффель остались одни внутри завода. Свет небольших восковых плошек мигал, отражаясь сотнями искр в блестящем котле из полированной меди. В углах поднимались густые клубы мрака, свисали с деревянного голого потолка, словно грозя обрушиться и придавить собою эти слабо мерцающие огоньки.

— Значит, завтра начнете? — спросил в раздумье Леон, обведя глазами это темнеющее пространство, это гнездо, в котором — он ждал — будут высижены и наконец вылупятся его золотые сны.

— Начнем,— ответил Шеффель.— А рабочие готовы?

— Ах да, рабочие,— сказал Леон.— Ну конечно, будут и рабочие. Теперь этого добра в Бориславе хоть отбавляй.

— Гм... только, знаете,— проговорил Шеффель,— наше дело, того... не совсем чистое. Поэтому надо вам позаботиться о нескольких, по крайней мере троих, рабочих, таких, на которых можно полностью положиться, которые не разболтают, не наплетут чего-нибудь. Их следует поместить в главном химическом отделении, там, где, знаете, окончательно вырабатывается церезин. Чтобы другие рабочие думали, что это простой парафин. Позаботьтесь об этом!

— Та-ак,— размышлял Леон,— троих рабочих, на которых можно было бы полностью положиться! Правда ваша, надо поискать. Но только это нелегкая штука — среди этого сброда найти таких рабочих!

Тем временем во дворе завода рабочие собрались вокруг Бенеди. Они ждали Леона, чтобы получить окончательный расчет и поблагодарить его за работу. Луна поднималась на погожем небе, кое-где из-за белой полупрозрачной дымки поблескивали слабым светом золотые звезды. Рабочие сидели на камнях и обрубках бревен и беседовали: глухой шум их голосов улетал в поле и смешивался с серебряным шепотом речки, которая здесь же рядом журчала по камням. Известное дело, разговор шел об одном — о недавном сходе, о рабочей кассе и надеждах на будущее.

— Что правда, то правда,— говорил Бенедя,— чудо совершилось со здешним народом. Когда я месяц назад пришел в Борислав и начал расспрашивать людей, пробовали ли они хоть как-нибудь помочь себе, то все либо головами покачивали, либо смеялись надо мной. А теперь сами видите, как все, старые и молодые, стараются со взносами. Ведь у нас уже сто пятьдесят гульденов в одной только главной кассе!

— Сто пятьдесят гульденов,— медленно повторил один рабочий,— ну и что же. Для одного это была бы поддержка, но для стольких тысяч... много ли это?

— Правда, что немного,— говорил Бенедя,— однако не забывайте, что недели не прошло с тех пор, как начались наши сборы. За месяц, пожалуй, соберется пятьсот.

— Ну с пятьюстами можно начинать то, что вы задумали?

— Гм, надо хорошенько рассчитать и силы и деньги,— сказал Бенедя.— Если считать, что на пропитание одному человеку надо полтора гульдена в неделю, если считать далее, что безработица продлится неделю и нам придется содержать в течение этого срока только одну тысячу человек, то в кассе должно быть для этого самое меньшее полторы тысячи гульденов. Я говорю, самое меньшее, потому что, кроме затрат на пропитание, будут еще и другие расходы.

— Полторы тысячи гульденов! — вскрикнули в один голос рабочие.— Господи милосердный, когда же мы столько соберем? Да за это время половина из нас с голода помрет, а из села десять тысяч новых привалит!

— Что же делать? — сказал грустно Бенедя.— Этому уж, видно, ничем не поможешь. Увеличить взносы нельзя. Хозяева и так урезывают нам плату на каждом шагу, а если дознаются

про наши взносы, то еще больше начнут урезывать. Нужно стоять на своем, собирать и терпеть хотя бы еще три месяца!

— Три месяца! Кто знает, что может произойти за три месяца!

Рабочие замолчали, и печаль охватила собравшихся. Бенедя низко опустил голову. Он чувствовал, что нужно ковать железо, пока горячо, что главная сила этих людей — в их порыве и кратковременном пробуждении и что не воспользоваться этим пробуждением — значит выпустить из рук основную пружину дела. Но что оставалось делать? Денег не было, чтобы сейчас же начинать стачку. Приходилось все-таки выжидать.

— А тут еще новое дело,— снова заговорил Бенедя, пробудившись от задумчивости.— Мне придется возвратиться в Дрогобыч.

— В Дрогобыч? Это почему? — раздались голоса.

— Как почему? Здесь моя работа, как видите, окончилась.

— Ищите другую!

— Разве здесь без меня не обойдется? Правда, жалко покидать такое дело, над которым трудился и думал...

— Ну так и не покидайте!

— Верно, что не следовало бы покидать, если бы только была возможность.

Рабочие хорошо чувствовали, и у самого Бенеди не раз просыпалась мысль, что без него все это дело может легко свернуть на неверный путь и оттого вовсе погибнуть. Он чувствовал, что в каждой только что возникшей для новых и непривычных целей организации многое, и очень многое, зависит от руководителя, от его личного влияния и умения. Правда, с другой стороны, он слишком хорошо чувствовал и свое собственное бессилие и был убежден, что не повстречайся он в Бориславе с побратимами, с такими трезво мыслящими людьми, как Матвей и Стасюра, он сам не пришел бы к тому, к чему пришел теперь. Взаимодействие всех частей было здесь очень ярко выражено, но именно поэтому чувствовал Бенедя, что вырваться из этого круга взаимного сотрудничества означало бы повредить каждой части в отдельности и всем в целом. Но опять-таки, что он будет делать здесь, в Бориславе, если не найдется работы для него? Однако судьба готовила ему помощь с той стороны, с какой он ее совсем не ожидал.

Из дверей завода вышел Леон в сопровождении Шеффеля; оба они приблизились к рабочим. Те встали.

— Ну, люди,— громко сказал Леон,— работа наша окончена, и хорошо окончена. Благодарю вас за ваше старание!

— И мы благодарим хозяина за работу! — закричали рабочие.— В добрый час!

— Дай боже, дай боже,— проговорил радостно Леон.— А теперь, сколько кому полагается, чтобы мы расстались похорошему?

Началась выплата. Бенедя стоял рядом. Когда выплата окончилась, Леон приблизился к нему.

— А вам, пан мастер, большое, большое спасибо и за работу, и за быстрое окончание, за все. Очень бы мне не хотелось с вами расставаться... А пока за то, что вы мне доставили такую радость, примите от меня вот это на память!

И он сунул в руку Бенеде завернутые в бумажку десять гульденов серебром.

«Вот теперь в нашей кассе будет сто шестьдесят гульденов»,— подумал про себя Бенедя, благодаря Леона за подарок.

— И еще прошу вас,— обратился в заключение Леон к Бенеде,— зайдите сейчас же ко мне на квартиру, я должен с вами кое о чем поговорить.

С этими словами Леон и Шеффель ушли, за ними вышли рабочие. Бенедя остался, чтобы запереть все двери и ворота, а затем пошел вслед за Леоном, раздумывая, что бы такое тот мог ему сказать. По дороге он зашел домой, застал там Матвея и сдал для рабочей кассы десять гульденов серебром, которые подарил ему Леон.

— Видите, в чем дело,— начал Леон, когда Бенедя пришел к нему на квартиру.— Вы, я вижу, честный человек и хороший работник, и мне, как я уже говорил, не хотелось бы с вами расставаться. А мне здесь для моего нового завода как раз требуется несколько старательных и честных людей для одной не очень тяжелой работы. Так вот я и хотел вам сказать: не согласитесь ли вы остаться, если вам у меня работать не надоело?

— Но что же это будет за работа? Ведь каменщики уже закончили свое дело?

— Э, нет, дело не в каменщиках, речь идет о нефти, о воске,— ответил Леон.

— Но сумею ли я делать эту работу, если раньше никогда не занимался ею и не знаю, что и как? — спросил Бенедя.

— Э-э-э, что здесь уметь! — сказал Леон.— А простой мужик, рабочий больше умеет? А между тем работает. Здесь нечего уметь: директор покажет вам все. Я же говорю вам, здесь дело не в уменье, а в том, чтобы человек был честный, добросовестный и чтобы, понимаете, чтобы...

Леон замялся, словно в нерешительности.

— Чтобы,— кончил он спустя минуту,— не рассказывал нигде, что и как делается на заводе. Потому что, видите ли, здесь секрет небольшой... мой директор изобрел новый способ производства воска, и я не хотел бы, чтобы это разглашалось.

— Гм, оно действительно...— проговорил Бенедя, не найдясь, что сказать.

— Видите ли,— продолжал Леон,— народ у нас такой бессовестный, чуть что — сейчас перехватят, да и все тут: им прибыль, а мне убыток. Вот я поэтому и хотел бы...

— Однако это трудно будет. Ну, положим, я не скажу ничего никому, но ведь на заводе, кроме меня, рабочих много.

— Ну, не всем обязательно знать и видеть все. На моем заводе все будет делаться так, как на других заводах, и только в одной особой камере будет несколько иначе. Там будет директор, ну, и нужно нескольких рабочих ему в помощь. Итак, могу я на вас надеяться?

— Что ж,— сказал Бенедя, едва скрывая свою радость,— пожалуй. Если только потрафлю, буду работать. Каменщику сейчас все равно нелегко работу найти. Попробую еще и ремесло нефтяника. А в том, что через меня ваш секрет не откроется, будьте уверены.

— Так, так,— сказал, улыбаясь, Леон,— я и сам это знаю, что вы не такой человек. Только, знаете, вот если бы мне еще нескольких, ну хотя бы два-три таких, как вы!.. Вот вы здесь работали, знаете кое-кого из рабочих, может быть, вы лучше смогли бы подобрать таких людей, каких мне нужно? Я в долгу не останусь. И еще! Первое дело, разумеется, плата. Знаете сами, это уже не работа каменщика, такой платы, какая до сих пор была, я не могу вам дать...

— Ну, это конечно,— сказал Бенедя.— Сапожника и пирожника нельзя одной меркой мерить.

— Вот то-то и оно. К тому же, видите, что у нас здесь сейчас делается... Рабочих набилось, плату всюду снижают. Ну, разумеется, кому интересно платить дороже, если он может такого же рабочего иметь за более дешевую плату? Вы, конечно, другое дело,— понимаете меня? Вам и тем другим, что будут вместе с вами работать в отдельном помещении, обещаю по гульдену в день и заранее заявляю, что снижения вам не будет и никакого «кассирского» платить не будете. Ну, согласны на это?

Бенедя стоял и раздумывал.

— Я бы предпочел,— сказал он спустя минуту,— чтобы вы сами выбрали себе и остальных. А то вот выберу я, а потом случится что-нибудь такое... Знаете, человек в человеке всегда

может ошибиться. Ну, а мне ответ держать придется. А что касается работы и платы, пускай будет и так, я согласен.

— Ну нет,— настаивал Леон,— и товарищей себе подберите! На другую работу кого угодно можно, а здесь надо выбрать. Вы лучше знаете, на кого можно положиться, нежели я или директор.

— Ну что ж, согласен,— сказал Бенедя,— пускай будет и так. Постараюсь подобрать троих человек, которым можно будет доверить это. А когда начинается работа?

— Завтра же. И то, имейте в виду, нужно будет торопиться. Воск уже запродан. В отдельном помещении будете и прессовать и упаковывать его.

«Что это за штука такая может быть? — размышлял Бенедя, возвращаясь в сумерках по бориславской улице от Леона к себе домой.— Придумал новый способ обработки воска и боится, чтобы рабочие не выдали его. Будто рабочий понимает что-нибудь в этом! А впрочем, посмотрим, что это такое будет! А хорошо получилось! Ни с того ни с сего подвернулась работа, и заработок неплохой. Теперь можно будет остаться в Бориславе, да и в кассу все-таки от меня перепадет хотя бы четыре гульдена в неделю. А еще трое... кого бы здесь выбрать?»

Бенедя долго думал над тем, кого выбрать себе в товарищи, но так и не мог ничего придумать. Он решил поговорить об этом с Матвеем. Бенедя охотно выбрал бы всех троих из побратимов, но Матвей посоветовал не делать этого, боясь, чтобы в случае чего это не навлекло на них какого-нибудь подозрения.

— И без того,— говорил он,— хозяева встревожены теперь нашим собранием. Ясное дело, что среди рабочих найдутся такие, которые донесут им, что и как мы решили. Ну, а если так, то, ясное дело, хозяева начнут шпионить за ними. И если столько побратимов будет работать вместе, как бы это не навело их на какой-нибудь след, что ли.

Бенедя ответил, что это вполне возможная вещь, что хозяева будут теперь выслеживать их, однако он не видит оснований бояться того, что их побратимство откроется, если даже несколько побратимов будут работать вместе. Ведь говорить громко про свои дела при чужих людях у них нет нужды. Впрочем, добавил Бенедя, главное не в том, кого выбрать, а в том, чтобы взять именно тех побратимов, которые сейчас не имеют работы. А таких как раз было двое: Деркач и Прийдеволя. Бенедя отправился искать их, чтобы договориться с ними о работе на заводе Гаммершляга, а третьим выбрал одного честного нефтяника, который, хотя и не принадлежал к побратимству,

очень живо увлекся только что возникшей идеей рабочих касс и которого побратимы в шутку прозвали Бегунцом за его неутомимость и подвижность, готовность бегать от шахты к шахте, для того чтобы собирать взносы или с целью вовлечения все новых людей в рабочий союз.

А Леон Гаммершляг, договорившись с Бенедей, накинул легкое пальто и вышел прогуляться и поболтать со знакомыми предпринимателями, которые обычно в это время прогуливались по улице. Скоро его окружила целая толпа, пожимая ему руки и поздравляя с только что выстроенным заводом. Затем пошли разговоры о разных текущих делах, наиболее интересовавших евреев-капиталистов. Известное дело, прежде всего они начали расспрашивать Леона о курсах различных ценных бумаг, не потребуется ли ему еще воск, сколько он предполагает вырабатывать еженедельно парафина на своем заводе, а когда Леон удовлетворил их любопытство, зашел разговор о бориславских новостях.

— Ох-ох-ох, Gott über die Welt[1],— проговорил, тяжело вздыхая, низенький и толстый еврей Ицик Баух, один из мелких предпринимателей, владелец нескольких шахт.— У нас здесь такое делается, такое делается, что и рассказывать страшно! Вы не слышали, господин Гаммершляг? Ох-ох-ох, бунт, да и только! Разве я не говорил: не давать этим паршивцам, этим разбойникам,— фу-у! — не давать им такой высокой платы, а не то зазнаются и будут думать,— ох-ох-ох! — что им еще больше полагается! Теперь вот видите, сами видите, что по-моему вышло?

— Да в чем дело? Что за бунт? — спросил недоверчиво Леон.

— Ох-ох-ох, Gott über die Welt! — пыхтел Ицик Баух.— Придется скоро всем честным гешефтсманам удирать из Бориславa, auf mane munes![2] Бунтуют рабочие, все более дерзкими становятся, а в воскресенье ох-ох-ох, мы уже думали, что это будет наш последний день,— фу-у! — что вот-вот бросятся резать. На выгоне столько их собралось, будто воронье на падаль. Мы все со страху чуть не умерли. Никто, конечно, не решился подойти к ним,— на куски разорвали бы; еще бы, сами знаете,— дикий народ! Ох-ох, о чем они там говорили между собой, не знаем, и дознаться нельзя. Я спрашивал своих Банюсов, говорят: да мы так себе, в горелки играли! Брешут, бестии! Мы

---

[1] Божья воля; дословно: бог над миром *(нем.)*.

[2] Клянусь! *(еврейск.)*

видели хорошо с крыши, как один взобрался на камень и долго что-то говорил, а они слушали-слушали, да потом как закричат: «Ура!..» Ох-ох-ох, страшные дела творятся, страшные дела!

— Однако я во всем этом не вижу ничего страшного,— сказал, улыбаясь, Леон.— Может, и правда в горелки играли.

— Ох, нет! Ох, нет! — продолжал Ицик Баух.— Уж я знаю, что нет. И возвращались оттуда такие веселые, с песнями, а теперь у них заговор какой-то, какая-то складчина. Gott über die Welt, быть беде!

— Я все еще не вижу,— начал было снова Леон, но другие евреи перебили его, полностью подтверждая слова Ицика Бауха и добавляя еще от себя множество подробностей. Надо сказать к чести борисловских рабочих, что они с самого начала хорошо усвоили дело и до этой поры никто из них не изменил и не рассказал хозяевам о цели собрания и о том, что было решено. Впрочем, может быть, далеко не все рабочие слышали и поняли все то, о чем говорилось, что и для чего было решено; те, которые понимали, не говорили об этом хозяевам, а те, которые не понимали, мало могли рассказать интересного. Только и дознались хозяева, что среди рабочих делаются какие-то взносы, что они хотят сами помогать себе и что всему этому научил их каменщик Бенедя Синица.

— Бенедя! Тот, что у меня завод строил? — воскликнул изумленный Леон.

— Тот самый.

— Взносы? Взаимопомощь? Гм, я и не думал, чтобы у Бенеди было настолько ума. Подручный каменщика, родился и вырос в Дрогобыче, и как он до всего этого дошел?

— Э, черт его побери, как ни дошел, а дошел! — снова запыхтел Ицик Баух.— Но как он смеет нам здесь людей бунтовать? Послать в Дрогобыч за полицией, в кандалы его, да по этапу отсюда!

— Но позвольте, господа,— сказал, останавливаясь, Леон,— не понимаю, отчего вы так беспокоитесь? Что во всем этом страшного? Я бывал в Германии, там повсюду рабочие собираются, совещаются, собирают взносы, как им захочется, и никто не запрещает им этого и никого это не пугает. Наоборот, умные капиталисты еще и сами их в том поощряют. Там у каждого капиталиста, когда он говорит с рабочим, постоянно на языке Selbsthilfe да Selbsthilfe [1]. «Помогайте сами себе, всякая посторонняя помощь вам ни к чему!» И думаете, что-нибудь

[1] Самопомощь *(нем.)*.

плохое из этого получается? Наоборот! Когда рабочие сами себе помогают — это значит, что предприниматель может им не помогать. Попадет ли рабочий в машину, заболеет ли он, состарится — Selbsthilfe! Пускай себе делают сборы, пускай себе помогают сами, лишь бы только мы не должны были им помогать. А уж мы будем стараться, чтобы рога у них не очень высоко росли: чуть начнут зазнаваться, обнаглеют, а мы — бац! Плату снизим, и свищи тогда так тонко, как нам хочется!

Леон произнес все это с такой горячностью глубоко убежденного человека, что в значительной мере успокоил и утешил своих слушателей. Один только толстый, красноносый Ицик Баух недоверчиво качал головой и, когда Леон кончил, тяжело отдуваясь, сказал:

— Ох-ох-ох! Если бы все так было, как вы говорите, господин Гаммершляг! Но я боюсь, что так не будет. Разве можно нашего рабочего, дикаря-бойка, равнять с немецким! Разве может он думать о какой-нибудь разумной самопомощи? Ох-ох-ох, Gott über die Welt! А если они самопомощь поймут так, что надо браться за ножи и резать нас? А?..

Все слушатели, в том числе и сам Леон, вздрогнули, услыхав эти зловещие слова, мороз пробежал у них по коже. К тому же в эту минуту мимо них прошла шумная гурьба рабочих, среди которых на целую голову возвышался над всеми угрюмый Сень Басараб. Он свирепо поглядывал на евреев, особенно на Бауха, своего хозяина. Бауху от его взгляда сделалось как-то не по себе, и он замолк на минуту, пока гурьба не прошла.

— Вот посмотрите на них,— говорил он, когда рабочие исчезли в темном переулке,— дикость, и больше ничего! Вон тот, высокий, у меня работает, настоящий медведь, не правда ли? Да вы такому только скажите одно слово «самопомощь», так он сейчас же возьмет нож, да и зарежет вас!

Но Леон, а за ним и остальные предприниматели начали возражать Бауху. Они тем живее возражали ему, чем сильнее был их собственный страх, и, убеждая его, что опасности нет никакой, старались убедить в том и самих себя.— Еще не все потеряно,— говорили они.— Народ здесь, хотя, может быть, и малоспособный, и неприветливый с виду, не такой уж злой и кровожадный, как это кажется Бауху. Случаи истинного добропорядочного товарищества,— говорили они,— и у нас нередки, и людям здешним совсем не чужды. И если бы должны были произойти «беспорядки», то они произошли бы уже сейчас, после первого их сборища. Бенедя — человек болезненный и характера мягкого. Леон завтра же поговорит с ним и рас-

спросит его обо всем, и Бенедя должен рассказать ему все начистоту, потому что некоторым образом он обязан ему, Леону, и заранее можно быть уверенным, что никакая опасность никому не грозит.

— Ох-ох-ох, где больше языков, там больше и разговоров! — упрямо твердил Баух.— Однако я вам советую: не верьте этим разбойникам, уничтожьте их кассу, а главное, уменьшите им плату настолько, чтобы этим собакам и прокормиться не на что было, тогда у них и взносы собирать охота пропадет!

— Эге-ге, посмотрим, пропадет или нет! — проворчал сквозь зубы Сень Басараб, который, скрываясь за сараем и забором, подполз к говорившим и, хорошо понимая по-еврейски, подслушал весь этот разговор.— Эге-ге, посмотрим, любезный, пропадет охота или нет! — ворчал он, поднимаясь на ноги из-за забора, когда предприниматели разошлись.— Смотри, чтобы у тебя к чему-нибудь другому охота не пропала!

И, широко шагая, Сень поспешил к хате Матвея, рассказать побратимам о том, что говорят хозяева об их собрании и что они о нем знают.

На другой день, рано утром, перед началом работы Леон встретился с Бенедей уже на заводе. Бенедя представил ему Деркача, Прийдеволю и Бегунца как отобранных для работы в особом помещении. Леон теперь уже слегка жалел о том, что поторопился вчера дать Бенеде это поручение, так как был убежден, что Бенедя подобрал себе в помощь своих единомышленников. Он начинал даже бояться, не догадался ли Бенедя о его нечистом деле с черезином, и потому приказал Шеффелю быть и с этими избранными рабочими как можно осторожней. Впрочем, отступать было уже поздно, и Леон, хотя и заметно встревоженный, решил: пусть будет что будет. Надо только расспросить Бенедю самого обо всем этом деле.

Сказав несколько поощрительных слов только что принятым рабочим, Леон отозвал Бенедю в сторону и прямо спросил его, что это за собрание было у них и что он там говорил рабочим. Он рассчитывал, что если у Бенеди что-нибудь недоброе на уме, то такой прямой вопрос ошеломит и смутит его. Но Бенедя уже со вчерашнего дня был готов к этому и, не проявляя ни малейшего смущения, ответил, что некоторые рабочие подняли вопрос о помощи друг другу взносами, и он посоветовал им учредить у себя особую кассу, как это делают в городах цеховые ремесленники для взаимопомощи, и в правление этой кассы пригласить выбранных людей из нефтяников и господ

предпринимателей. Леон еще более изумился, услыхав эти слова от Бенеди,— он его считал до сих пор самым обыкновенным рядовым рабочим, который ни над чем не задумывается.

— Неужели вы своим умом дошли до всего этого? — спросил Леон.

— Да что же, прошу пана,— сказал Бенедя,— у нас в городе так заведено, вот я и здесь посоветовал. Это не моего ума дела, куда мне!

Леон похвалил Бенедю за этот совет и добавил, что в правление кассы, конечно, надо выбрать кого-нибудь из грамотных предпринимателей, который мог бы вести расчеты, и что нужно выработать устав кассы и подать его на утверждение в наместничество. Прибавил даже, что он сам готов похлопотать для них об утверждении устава, за что Бенедя заранее его поблагодарил. На этом они и расстались. Бенеде неприятно было, что он вынужден был врать Леону, но что поделаешь, если нельзя было иначе. А Леон ушел с завода радостный, чувствуя себя невесть каким либералом, который вот, дескать, поощряет стремление рабочих к солидарности и взаимопомощи и так бесконечно выше стоит всех этих бориславских «халатников», которые в рабочей взаимопомощи видят бунт и опасность и сейчас же готовы, словно цыплята, спрятаться под крылышко уездных властей и полиции. Нет, пора и им узнать, какие дела творятся теперь на белом свете, пора и Бориславу иметь свое рабочее движение,— разумеется, легальное, благонамеренное и разумно направляемое рабочее движение! И затем либеральные мысли Леона быстро и легко устремились вдаль; ему чудилось, что вот уже недалеко это славное «единение капитала и труда», что оно начнется не где-нибудь, а именно здесь, в Бориславе, и что в истории этого единения отправной, а потому первой и наиважнейшей точкой будет его разумный и либеральный разговор с Бенедей и проявленная им благосклонность к новому рабочему движению. «Так, так,— заключил он, уже качаясь в своей легкой рессорной бричке вдоль бориславской улицы,— мои дела идут очень хорошо!»

XII

Эх, Готлиб, Готлиб! Знал ли ты, думал ли ты, какую сумятицу поднимет твое письмо и твой безумный поступок в голове твоей матери!

Ривка была больна. Это не была болезнь тела, потому что телом она была здорова и сильна, это было состояние какого-то

необычайного душевного возбуждения, какого-то неимоверного напряжения, за которым следовали минуты полной безжизненности и апатии. Она ходила по комнатам, будто сонная, не видела ничего и не интересовалась ничем, кроме своего сына. Он искалечен, он болен! Может быть, опасно? Может быть, возле него никого нет? Он умирает, мучается! А она, мать, для которой он всего дороже, она не знает даже, где он и что с ним. Ведь он не сообщил ей об этом! Что он думает делать с собой? Долго ли будет скитаться так среди чужих людей, словно сирота, в таком скверном, ободранном платье? Она плакала, злилась, рвала и метала, швыряла все, что ей попадалось под руку, не будучи в силах найти ответ на все эти вопросы. Она то готова была рассказать обо всем Герману и бежать с ним искать сына по всему Дрогобычу, то вновь с каким-то диким упорством воображение рисовало ей картины страшных мучений и гибели Готлиба, из глаз ее лились слезы, кулаки судорожно сжимались, она останавливалась возле двери, ведущей в кабинет мужа, и губы шептали: «Пусть гибнет, пусть умирает назло этому извергу, этому тирану. Пусть! Пусть!» Она забывала, что этот изверг и тиран не знал и не замечал всего этого и, казалось, совсем не тревожился о Готлибе. Выражение мертвого, безучастного спокойствия на его лице приводило Ривку в несказанную ярость, и она старалась как можно реже показываться ему на глаза. Она все чаще сидела, запершись в своей комнате, перечитывала в сотый раз письма Готлиба, но и они уже не приносили ей успокоения. Все ей опротивело. Она целыми часами глядела из окна то в сад, то на дорогу — не идет ли трубочист с письмом. Но трубочиста с письмом не было, и Ривка изводила себя, сжигаемая множеством противоречивых чувств, не в силах ни на что решиться. Неделя такого беспокойства — и она действительно сделалась больной.

— Что с тобой, Ривка? — спросил ее однажды Герман за обедом.— Ты, я вижу, больна?

— Больна! — ответила она, не глядя на него.

— Вот то-то и оно. Я вижу, что больна. Надо послать за доктором.

— Не надо!

— Как это не надо? Почему не надо?

— Не поможет мне доктор!

— Не поможет? — удивился Герман.— А кто же поможет?

— Отдай мне моего сына! — отрезала Ривка.— Только это мне поможет.

Герман пожал плечами и вышел из столовой. За доктором он, конечно, не послал. Лишь спустя десять дней дождалась наконец Ривка вести от сына. Маленький трубочист до тех пор ходил по улице, пока Ривка не высунулась из окна, тогда он бросил ей с улицы в комнату записку Готлиба. Вот что писал Готлиб:

«Она должна быть моей! Говорю вам раз навсегда: должна. Хочет она этого или не хочет. А впрочем, как может она не хотеть,— ведь я богат, более богатого жениха не найти во всей округе. Я же чувствую, что без нее не могу жить. Во сне и наяву все она, одна она передо мной. И я не знаю даже, как ее зовут. Но какое это имеет значение, если она мне понравилась! И куда она могла уехать? Если б я знал, сейчас бы поехал за нею. Да, я забыл вам сказать, что я уже здоров, по крайней мере настолько здоров, что могу ходить. Брожу весь день по улице возле ее дома, но не решился еще никого спросить, чей это дом и чья она дочь. Завтра рано утром придет мой посланец: дайте ему сколько-нибудь денег для меня».

Денег у Ривки было немного. На следующий день трубочист действительно пришел, и как раз в такое время, когда Германа не было дома. Она стала расспрашивать его про сына, но трубочист ничего не знал, а только сказал, что должен принести деньги — и кончено. Ривка дала ему десять гульденов — последние десять гульденов, которые у нее были,— и осталась одна в комнате, проклиная трубочиста, который не ответил на мучившие ее вопросы.

Весть, что Готлиб здоров и может уже ходить, обрадовала Ривку, но его чрезмерная и слепая любовь начала ее тревожить. Ей вдруг пришла мысль: а что, если девушка, о которой пишет Готлиб, христианка? Что тогда? Она не захочет выйти замуж за Готлиба, и хотя бы Готлиб бог знает что сделал, он не сможет на ней жениться. Ее разгоряченный мозг не покидала эта догадка, словно назойливая оса, и она снова начала волноваться, и мучиться, и ночей не спать, и проклинать весь мир, мужа и себя. Ей, неизвестно почему, хотелось, чтобы Готлиб женился на какой-нибудь бедной рабочей девушке из Лана, какой была она сама, когда посватал ее Герман. Ей казалось, что она возненавидела бы его вместе с его женой, если бы эта жена была из богатого дома. А между тем из писем Готлиба с очевидностью вытекало, что девушка, которую он полюбил, была богата, разъезжала в экипажах, имела много нарядных слуг, и в душе у Ривки начинала понемногу зарождаться против нее какая-то слепая и глухая ненависть.

Но больше всего огорчений было у Ривки с деньгами. Спустя несколько дней, снова в отсутствие Германа, пришел трубочист с письмецом. В коротком и незамысловатом письме было написано:

«Денег мне надо, много денег. Должен одеться по-человечески. Она завтра приедет. Я должен говорить с нею. Уже знаю, чья она. Передайте сейчас же хотя бы сто гульденов».

Ривка задрожала даже, прочитав эти слова. Знает — чья, а не напишет, не скажет! Как он может оставлять ее в неизвестности! А еще сто гульденов просит,— откуда она возьмет? Герман вот уже несколько дней что-то очень скупился, не давал ей на руки никаких денег, не оставлял, как это прежде бывало, ни цента в ящике своего стола, а все запирал в большой железной кассе на три замка, а ключи брал с собой. Ривка до этой минуты даже и не замечала этого. Но теперь, когда сын потребовал у нее такую сумму, а она не нашла у себя даже цента, она рассвирепела, металась из стороны в сторону, от одной шкатулки к другой, но нигде не могла найти ничего. Она громко проклинала скрягу мужа, но проклятья были бесполезны, и скрепя сердце она вынуждена была отпустить трубочиста ни с чем, говоря ему, что денег сейчас нет и что пусть он придет завтра. Трубочист покачал головой и ушел. После его ухода Ривка как безумная бегала по комнатам, швырялась мебелью и наполняла весь дом проклятьями и бранью. За этим занятием застал ее Герман.

— Жена, что с тобой? — вскрикнул он, стоя на пороге.— Ты с ума сошла?

— С ума сошла! — крикнула Ривка.

— Чего тебе надо? Ты что швыряешься?

— Денег надо.

— Денег? Зачем тебе деньги?

— Надо — и все тут.

— И много?

— Много. Двести гульденов.

Герман улыбнулся.

— Да ты что, собираешься волов покупать, что ли? — сказал он.

— Не спрашивай, а давай деньги!

— Те-те-те, скажите, какой грозный приказ! Нет у меня денег для раздачи!

— Нет денег! — вскрикнула Ривка и зверем глянула на него.— Кому ты это говоришь? Сейчас же давай, не то беда

будет! — И она с поднятыми кулаками начала приближаться к нему. Герман пожал плечами и отступил назад.

— С ума сошла женщина! — проворчал он вполголоса.— Давай ей деньги, а неизвестно зачем. Ты думаешь,— сказал он ей спокойно и убедительно,— что у меня деньги лежат? У меня деньги в дело идут.

— Но мне нужны деньги сейчас, немедленно! — сказала Ривка.

— Зачем? Если тебе надо что-нибудь купить,— скажи мне, я возьму в кредит, потому что наличных денег у меня нет.

— Мне нужен не твой кредит, а наличные деньги. Слышишь?

— Говори вот этим стенам,— ответил Герман и, не пускаясь с нею в дальнейший разговор, торопливо зашагал в свой кабинет, оглядываясь, не бежит ли за ним Ривка с поднятыми кулаками. Придя в кабинет, он сначала хотел запереть дверь на ключ, но затем, зная натуру Ривки, раздумал и, тихонько посмеиваясь, уселся за письменный стол и начал писать.

— Я знал, что так будет,— говорил он сам себе, все еще с таинственной улыбкой на лице.— Но пусть! Теперь я не уступлю и прижму ее. Посмотрим, кто из нас сильней.

Через минуту, тяжело дыша, вошла Ривка. Ее лицо то наливалось кровью, словно бурак, то снова становилось бледным, словно полотно. Глаза пылали лихорадочным огнем. Она села.

— Скажи, бога ради, чего ты хочешь от меня? — спросил ее Герман как можно спокойнее.

— Денег,— ответила Ривка с упорством сумасшедшей.

— Зачем?

— Для сына,— сказала она с ударением.

— Для какого сына?

— Для Готлиба.

— Для Готлиба? Но ведь Готлиба уже и на свете нету,— сказал Герман с притворным удивлением.

— Пускай лучше тебя не будет на свете!

— Значит, он жив? Ты знаешь, где он? Где он, скажи мне! Почему не идет домой?

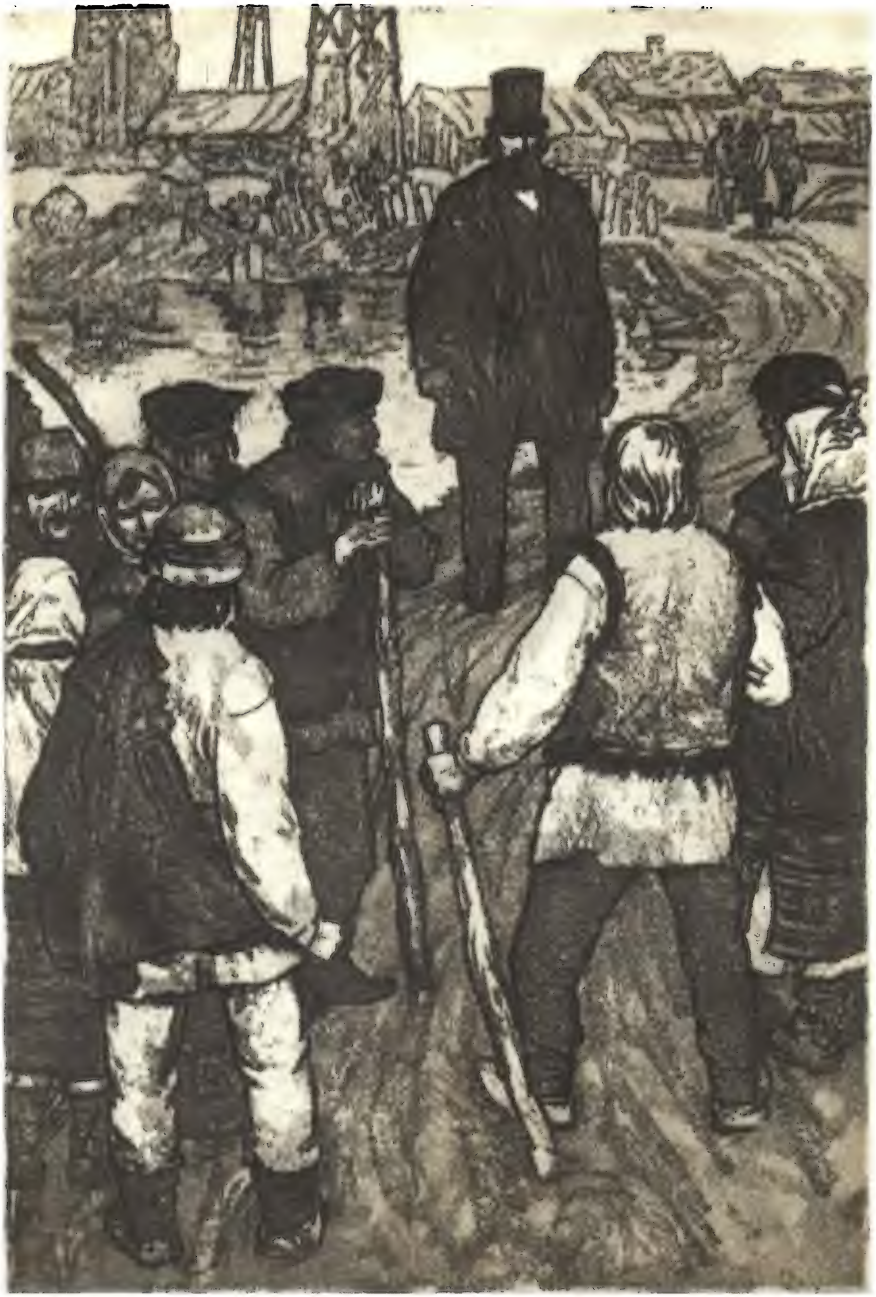
— Не скажу!

— Почему же не скажешь? Ведь я все-таки отец, не съем его.

— Он боится тебя и не хочет быть с тобой.

— А денег моих хочет? — сказал задетый за живое Герман.

Ривка ничего не ответила на это.



Борислав смеется

— Так знай же,— сказал решительно Герман.— Передай ему, если знаешь, где он, пускай возвращается домой. Довольно с меня этой дурацкой комедии. Пока не воротится, ни одного цента не получит ни от меня, ни от тебя!

— Но ведь он готов с собой бог знает что сделать! — вскричала Ривка с отчаянием в голосе.

— Не бойся! Так сделает, как во Львове утопился. Он думает, что сломает меня своими угрозами. Нет, однажды я уже поддался, теперь хватит.

— Но он готов убежать куда глаза глядят, готов беды тебе натворить.

— Хе-хе-хе,— сказал насмешливо Герман,— без денег не убежит, а впрочем... Слушай, Ривка: ты не терзай себя тем, что вот, мол, ты рассказала мне о нем. Я знаю, он запретил тебе говорить, и я не требовал у тебя признания. Но я давно уже знаю об этом, знаю, где он живет и что делает, все знаю. И счастье его, что я это знаю, а не то полиция давно бы уже засадила его в тюрьму и по этапу отправила во Львов. Понимаешь? Счастье его, что тот угольщик, с которым он приехал из Львова и у которого он живет, сразу же, как только я приехал, рассказал мне все. А теперь слушай! Я его трогать не стану, ловить его не пойду, потому что он, в конце концов, в моих руках. Передай ему, пускай возвращается домой — и все будет хорошо. А если не хочет, его заставят это сделать. Полиция следит за ним, ему не дадут никуда двинуться из Дрогобыча. Денег он не получит, передай ему это через того вора-трубочиста, который таскает тебе письма от него. Он у меня давно на примете, пускай и это знает. Вот и все!

Герман поднялся с кресла. Ривка сидела вначале молча, ошеломленная, оглушенная словами своего мужа. Она дрожала всем телом, ей спирало дыхание так, что она еле-еле дышала, а затем, когда Герман встал, она вдруг разразилась страшным спазматическим хохотом, который, словно грохот грома, эхом прокатился по просторным пустым комнатам. Через минуту смех вдруг оборвался: Ривка грохнулась с кресла и начала в страшных судорогах метаться по полу.

— Господи, избавь меня от нее,— проворчал Герман и побежал на кухню позвать слуг, чтобы привели в чувство барыню. Сам он не возвратился уже в комнату, а, взяв пальто и шляпу, пошел в город по своим делам. Не время ему теперь было заниматься домашними дрязгами, когда его новые большие планы приближались к своему осуществлению. Ван-Гехт писал ему из Вены, что оборудование для выработки церезина уже готово

и заводчик ждет только от него извещения, когда и куда его выслать. Герману не хотелось для производства церезина строить новый завод, он предпочитал выделить для этого часть своего старого большого завода возле Дрогобыча. Нужно было осмотреть место и постройки, которые соответствовали бы представленному Ван-Гехтом плану, нужно было освобождать место, перестраивать, доделывать и расчищать,— и Герман сам внимательно следил за работой. Наконец все было готово, и он написал Ван-Гехту, чтобы тот как можно скорее присылал машины и сам приезжал. Немало также было хлопот и с «Обществом эксплуатации горного воска», с которым Герман в Вене заключил контракт на поставку большой партии сырого горного воска. Правда, «Общество эксплуатации» не дало еще Герману в счет этого контракта ни цента и должно было уплатить за все сразу лишь после того, как будет поставлен весь воск, но все же в счет этого контракта «Общество» выпустило уже много акций и старалось при помощи рекламы поднимать их курс все выше и выше. Акции шли очень хорошо, и сейчас, в середине лета, «Общество» решило, что надо что-либо предпринять в самом Борославе. А решило оно сделать вот что: учредить в Дрогобыче большую контору, в которой доверенные лица «Общества» следили бы за контрактами, проверяли расчеты и заботились о новых связях и новых источниках дохода для «Общества». Без сомнения, организация конторы, жалованье уполномоченным и разным служащим — все это обходилось недешево и, по крайней мере, втрое дороже, нежели могло бы обойтись при разумном ведении дела. Но какое это могло иметь значение! «Общество эксплуатации» принялось трубить по всему свету об этом своем деле, словно это был невесть какой подвиг, и снова акции «Общества» подскочили вверх. Герман усердно крутился около «Общества», внимательно приглядывался ко всему, что делали уполномоченные, и втайне только покачивал головой, наблюдая их работу. «Нет, нет,— говорил он себе,— долго они не выдержат! Пусть себе их акции поднимаются как угодно высоко, я их покупать не стану, даже связываться с ними не хочу! Уже и то глупо сделал, что заключил с ними такой огромный контракт, а в задаток ничего не взял. Правда, если этот мыльный пузырь и лопнет, прежде чем мой контракт реализуется, убытка для меня не будет, потому что воск все-таки у меня останется. Однако, разумеется, было бы лучше, если бы они прежде заплатили мне, а потом лопнули. Да и в этом случае нужно точно условиться, чтобы платили они наличными деньгами, а не своими акциями!» Герман, стало быть,

заранее считал «Общество эксплуатации» предприятием «дутым», мошенническим, хотя нельзя сказать, чтобы именно он задумал обмануть это предприятие. Его контракт был вполне чистым и реальным, и, возвратясь из Вены, он все силы своего капитала направил к тому, чтобы доставить всю огромную массу воска как можно скорее, раньше договорного срока, боясь, как бы предприятие не лопнуло еще до этого времени из-за глупости и мошенничества своих основателей и управляющих. Он нанял почти в три раза больше рабочих, нежели нанимал до сих пор, возобновил работу в восьмидесяти шахтах, которые в течение нескольких лет не разрабатывались из-за различных недостатков почвы,— и действительно, многие из этих возобновленных шахт оправдали теперь все прежние надежды. Работа шла быстрее, и труд рабочих стоил теперь гораздо дешевле, нежели в прошлые годы, потому что голод согнал больше людей на барщину в Борислав, голод же и подгонял их немилосердно, заставляя работать быстрей, а Герман упорно и планомерно снижал и снижал плату рабочим, не обращая внимания на крики, слезы и проклятия. Работа кипела, склады Германа наполнялись громадными глыбами воска, и Герман дрожал от нетерпения, скоро ли будет готово все обусловленное контрактом количество. Тогда «Общество» должно будет принять воск, сразу же выплатить ему полностью все деньги, а затем, думал Герман, пускай себе хоть шею свернет!

А между тем, пока Герман строил свои планы и хлопотал о налаживании производства церезина, пока служанки в его доме приводили в сознание Ривку, которая билась и металась по полу в страшных судорогах,— Готлиб, в грязной рубашке угольщика, весь измазанный, нетерпеливо ждал в маленькой грязной каморке прихода трубочиста с деньгами. С этим трубочистом он познакомился, живя по соседству, и уговорился с ним, чтобы тот за хорошее вознаграждение передавал письма к матери и от нее. Вот он вошел в дом, и Готлиб торопливо обернулся к нему.

— Ну как? — спросил он.

— Никак,— ответил трубочист.

— Как это никак? Не дали?

— Не дали, сказали: завтра.

— Проклятое завтра! — пробормотал гневно Готлиб.— Мне сегодня нужно!

— Что же делать? Сказали — нету.

Трубочист ушел, Готлиб, словно бесноватый, начал метаться по каморке, размахивая руками и бормоча про себя

отрывистые слова: «Я завтра должен встретиться с нею и не могу не встретиться, а тут — на тебе! Нету! Как смеет не быть? Неужто и мать пошла против меня, не хочет дать? О, в таком случае, в таком случае...» — И он с угрозой сжал кулаки, глядя на дверь. Его страсть, слепая и бурная, как и вся его натура, неожиданно и внезапно достигла необычайной силы, и, руководимый ею, он готов был сделать все, что ему подсказывал минутный порыв, без размышления и колебания.

— Или, может быть,— продолжал он,— может быть, он дознался? Может быть, это его рук дело... нарочно не дал маме денег, чтобы она мне не передала? О, это может быть, я знаю, какой он жадный... Но нет, нет, это невозможно! Он думает, что меня нет в живых; если бы он знал, то постарался бы поскорей, немедля загнать меня домой, как заблудившуюся скотину! Но обожди немного! Тогда вернусь, когда мне захочется, помучься немножко!

Бедный Готлиб! Он и в самом деле воображал, что Германа ужасно мучит его отсутствие!

Однако, как ни злился и ни грозил Готлиб, это не могло наполнить его карманы деньгами. Мысли его волей-неволей должны были успокоиться и перенестись на другие предметы, а именно на предмет его любви. Только вчера узнал он от слуги ее отца, которого выследил в ближайшем шинке и с которым за чаркой завязал знакомство, что отец ее очень важная птица, один из первых богачей в Бориславе и Дрогобыче, что два года тому назад он приехал сюда из Вены, строит громадный и шикарный дом, зовут его Леон Гаммершляг, он вдов и имеет только одну дочку, Фанни. Дочка сейчас поехала зачем-то во Львов, но завтра должна вернуться. Девица очень добрая, ласковая и красивая, и отец тоже обходительный барин. Рассказ этот очень обрадовал Готлиба. «Значит, она мне ровня, может быть моей — должна быть моей!» Это было все, что пришло ему на ум, но и этого было достаточно, чтобы сделать его счастливым. С нетерпением дожидался он этого завтра, чтобы увидеть ее. Вначале он думал купить себе платье, соответствующее его положению, чтобы показаться ей в наиболее выгодном свете. Но тут вдруг возникло неожиданное препятствие — мать не дала денег. Приходилось встречать ее в безобразных лохмотьях угольщика, которые никогда не были так ненавистны Готлибу, как в этот день.

Едва рассвело, Готлиб положил в карман кусок хлеба и побежал за город, в самый конец далекого Задворья, на стрыйскую дорогу, по которой должна была проехать Фанни. Желез-

ной дороги там тогда еще не было. Усевшись здесь у обочины, в тени густой рябины, он устремил взор на пыльный большак, который прямой серой лентой протянулся перед его глазами далеко-далеко и терялся в небольшом лесу на взгорье. По большаку тащились, поднимая облака пыли, неуклюжие фургоны, покрытые рогожей и набитые пассажирами, крестьянские мажары, скот, который гнали на базар в Стрый, но не видно было блестящего экипажа, запряженного парой горячих гнедых лошадей, в котором должна была проехать Фанни. Готлиб с упорством истязающего себя факира сидел под рябиной, устремив взор на дорогу. Солнце уже поднялось высоко-высоко и начало немилосердно жечь косыми лучами его лицо и руки,— он не замечал этого. Люди шли и ехали мимо по широкой дороге, разговаривали, погоняли коней, смеялись и поглядывали на угольщика, который уставился в одну точку, словно безумный. Полицейский стражник с блестящим штыком на конце винтовки, с плащом, свернутым в баранку, на плечах, весь облитый потом и покрытый пылью, прошел также мимо него, ведя перед собой какого-то закованного в кандалы, полуголого, окровавленного человека; он пристально посмотрел на Готлиба, пожал плечами, сплюнул и пошел дальше. Готлиб ничего этого не замечал.

Но вот вдруг из далекого леска, как черная стрела, вылетел экипаж и быстро покатился к Дрогобычу. По мере его приближения лицо Готлиба все более прояснялось. Да, он узнал ее! Это была она, Фанни! Он вскочил со своего места и прыгнул на дорогу, чтобы поспешить за экипажем в город, когда он с ним поравняется. Когда он ясно увидел Фанни в коляске, лицо его вспыхнуло румянцем и сердце начало биться так быстро, что у него дыхание сперло в груди. Фанни, заметив его, узнала в нем того молодого угольщика, который как безумный бросился недавно к ее экипажу и так напугал ее. Безрассудно смелая, слепая страсть иногда, а может быть, и всегда, нравится женщинам, наводит их на мысль о слепой, безграничной преданности и обожании. И если раньше Фанни не могла объяснить себе причины этого безумного поступка какого-то грязного угольщика, то теперь, увидев, что он ждал ее за городом на солнцепеке и в пыли, увидев, как он покраснел, как вежливо и робко поклонился ей, словно прося прощения за свое прежнее безумство; увидев все это, она подумала про себя: «Уж не влюбился ли этот полоумный в меня?» Она мысленно назвала его именно так: «полоумный», потому что какой же смысл какому-то оборванному угольщику влюбляться в единственную дочь такого богача, бросаться под ее экипаж, калечить себя, высматри-

вать ее на дороге?.. Но при всем том ей не была неприятна такая безрассудная, страстная любовь, и хотя она далека была от того, чтобы полюбить его за это, но все-таки почувствовала к нему какую-то симпатию, такую, какую можно чувствовать к полоумному, к собачонке. «Ну-ка,— подумала она,— заговорю с ним, спрошу, чего он хочет. До города еще далеко, на дороге пусто, никто не увидит». И она приказала кучеру ехать медленней. Готлиб, услыхав это приказание, даже задрожал весь: он почувствовал, что это сделано для него, и в ту же минуту поравнялся с экипажем. Фанни открыла оконце и высунула голову.

— Что тебе нужно? — спросила она несмело, видя, что Готлиб снял шапку и с выражением немого изумления на лице приближается к ней. Она заговорила по-польски, думая, что он христианин.

— Хочу на тебя посмотреть! — ответил смело по-еврейски Готлиб.

— А кто тебе сказал, что я еврейка? — улыбнувшись, спросила Фанни тоже по-еврейски.

— Я знаю это.

— Так, может быть, ты знаешь и кто я такая?

— Знаю.

— Тогда, верно, знаешь, что тебе не подобает на меня заглядываться,— сказала она гордо.

— А почему ты не спрашиваешь, кто я такой? — ответил гордо Готлиб.

— Об этом не надо и спрашивать,— одежда сама говорит!

— Нет, не говорит! Лжет одежда! А ты спроси!

— Ну, кто же ты такой?

— Я такой, что мне, пожалуй, можно и засмотреться на тебя.

— Хотела бы я верить, да как-то не могу.

— Я тебе докажу. Где можно тебя увидеть?

— Если знаешь, кто я такая, то, верно, знаешь, где я живу. Там меня увидишь.

С этими словами она снова закрыла оконце, сделала знак кучеру, лошади рванулись, экипаж застучал по мостовой предместья, и облако пыли скрыло от глаз Готлиба чудное видение.

«Забавный малый,— думала Фанни,— но сумасшедший, безусловно сумасшедший. Что он хотел сказать своим «лжет одежда»? Разве он не угольщик? Ну, а если нет, то кто же он? Сумасшедший, сумасшедший, и больше ничего!»

«Чудная девушка,— думал Готлиб,— а какая красивая, а какая вежливая! И с простым угольщиком заговорила! Но что

она хотела сказать своим «дома меня увидишь»? Значит ли это: приходи? Эх, если бы мне одеться по-человечески! Ну, надо постараться!»

С такими мыслями Готлиб поплелся в свою грязную, темную нору.

XIII

Прошло несколько недель после рабочего собрания. Полная тишина неожиданно наступила в Бориславе. Евреи-предприниматели, которых недавнее грозное движение рабочих порядком напугало, теперь совсем были сбиты с толку, не знали, что делать и что обо всем этом подумать. Правда, были среди них такие, которые смеялись над этим внезапным порывом и внезапным затишьем, утверждали, что все уже окончилось, что рабочие — словно пустой ветер: пошумят, пошумят, а дождя не нагонят, и что сейчас, когда они снова стали мягкими и податливыми, пора нажать на них твердой рукой, пора выгнать из них охоту ко всякому буйству. «Гой[1] только жареный хорош! — говорили они.— Ты ему дай поблажку, а он подумает, что так и полагается, и начнет еще больше привередничать и зазнаваться. Только постоянный страх и постоянный нажим могут приучить его к послушанию, покорности, к усердию и точности, сделать его, как любил говорить Леон Гаммершляг, «человеком», способным к восприятию высшей культуры». И все бориславские предприниматели сошлись на том, что теперь, когда разбушевавшаяся волна рабочего движения вдруг притихла, нужно с удвоенной силой нажать на непокорных, хотя и не все предприниматели разделяли тот взгляд, что волна эта полностью и окончательно утихла, улеглась, успокоилась. Нет, некоторые из них, а особенно Ицик Баух, упорно стояли на том, что это — обманчивое, лишь внешнее спокойствие, затишье перед страшной бурей, что именно этой тишины и этой притворной покорности нужно им больше всего бояться, так как это признак, что бунт рабочих, каков бы он ни был, налажен и сильно организован и рабочие, без сомнения, готовятся начать его, а таинственность и бесшумность их приготовлений лишь свидетельствуют о том, что делают они это систематически, обстоятельно и непрерывно и что у них что-то недоброе на уме. И всюду, где бы только ни собрались предприниматели, случайно на улице или в комнате на каком-либо совещании,— всюду Ицик Баух не переставал предостерегать товарищей от грозившей им всем опасности и

[1] Иноверец *(еврейск.)*.

уговаривал их обратиться к властям в Дрогобыче, просить о снаряжении строгого следствия или хотя бы о присылке сильного отряда стражников на постой в Борислав. И хотя никто ничего не имел против этого, хотя каждый из них, вероятно, и рад был бы иметь в любую минуту к своим услугам полицию для охраны от своих собственных рабочих и для скрепления казенной печатью всех содеянных ими несправедливостей, однако подать совместное прошение так и не собрались. То ли время жаркое да обессиливающее было тому причиной, то ли обычный у наших людей — будь они евреи или христиане — недостаток инициативы в общественных делах, в делах, выходящих за рамки единичных, частных интересов, или, может быть, убеждение, громко высказанное Леоном, что правительство само должно заботиться о безопасности предпринимателей в Бориславе, ведь для того оно и поставлено,— так или иначе, бориславские евреи на этот раз так и не решились обратиться к властям или хотя бы донести им о том, что сами знали о недавно зародившемся рабочем движении. К тому же, конечно, и наступившее неожиданное затишье отняло у них прямой повод к такому шагу. О чем доносить властям? Что должны были эти власти расследовать? То, что несколько недель тому назад появились было тревожные признаки какого-то рабочего движения, которые быстро исчезли? Почему же о них не было сообщено вовремя? Так все это дело и замялось, пока неожиданный и довольно таинственный случай не пробудил предпринимателей от их беспечной спячки, словно внезапный раскат грома из небольшой темной тучки.

Нужно ли говорить, что этот внезапный переход от шума к спокойствию и покорности был делом наших побратимов и осуществлен он был именно для того, чтобы обмануть и ослабить бдительность и подозрения предпринимателей. Слова Ицика Бауха, подслушанные Басарабом, убедили побратимов в том, что евреи могут им сильно навредить, а то и вовсе погубить с помощью начальства все их дело, если оно будет вестись так, как прежде, открыто и шумно. Вот они и начали уговаривать всех угомониться до поры до времени, смириться, подавить в себе бурные чувства гнева и радости, пока не настанет пора. Большого труда стоило побратимам искусственно утишить бурю и держать ее, словно на привязи, чтобы она от первого же толчка не разразилась вдруг раньше времени. Большого труда стоило это, и все они испытывали постоянный страх, что вот-вот может вспыхнуть что-нибудь такое, что хозяевам не повредит, а рабочим принесет поражение и гибель. Только одна возможность

была сдержать людей: побратимы обещали им, что так скорее придет «пора». Однако побратимы хорошо знали, какими опасными и обоюдоострыми были эти обещания. Ведь такими обещаниями они сами готовили неудачу своему делу, потому что откуда же они могли взять средства, чтобы выступить так скоро, как того хотелось исстрадавшимся людям? Денег в главной кассе собралось свыше восьмисот гульденов,— взносы пока что поступали аккуратно,— но хозяева стали снова, и сильнее, нежели прежде, нажимать на рабочих, и следовало ожидать, что взносы скоро сократятся и что в местных кассах должна будет оставаться большая часть денег для помощи нуждающимся, больным и безработным. И тогда, кто знает, сколько еще месяцев пройдет, прежде чем наберется нужная сумма? Но если так, то и задуманная борьба не сможет скоро начаться, и рабочие начнут сомневаться в своих силах, и пыл их остынет, и все погибнет. А если нет, то возмущенный народ поднимется преждевременно, поднимется неорганизованно и без определенной цели, потратит силы зря, а задуманное дело все-таки погибнет.

Кого всех больше мучили и терзали такие мысли, так это, наверное, Бенедю. Ведь дело это — было его кровное дело, стоившее ему стольких мучений и трудов, повитое блестящими лучами надежды. Ведь в это дело — он чувствовал это ясно — было вложено все его сердце, все его силы, вся его жизнь. Он ничего не знал, не видел, кроме него, и неудача казалась ему равносильной его собственной смерти. Поэтому не удивительно, что сейчас, когда при исполнении его замыслов начали возникать все новые трудности, Бенедя дни и ночи только о том и думал, как бы их преодолеть или обойти, позеленел и похудел, и не раз долго-долго по ночам, словно лунатик, бродил по Бориславу, печальный, угрюмый, молчаливый, и только время от времени тяжело вздыхал, глядя на темное, неприветливое небо. А трудности нагромождались все выше, и Бенедя чувствовал, что у него не хватает сил, что его голова словно обухом пришиблена, мозг как бы омертвел и уже не в состоянии работать с прежней силой, не может придумать ничего хорошего.

Наконец дождался Бенедя вечера, когда в хате Матвея снова сошлись побратимы на совет. Что делать? Народу не терпится. Почему не дают сигнала, почему не начинают, почему ничего не делают? Люди опускают руки. Взносы поступают слабее, хозяева снова снизили плату. Голод по селам немного уменьшился, но жатва была такая убогая, какой не знали люди в самые худшие годы: немногим кому хватит своего хлеба до великого поста, большинство едва дотянет и до покрова. Скоро

народ еще сильнее повалит в Борислав. Если уж что-нибудь начинать, то лучше сейчас, потому что сейчас легче всего задержать людей в селах, чтобы они не шли в Борислав, и даже можно половину рабочих отправить из Борислава в село на какие-нибудь две-три недели, чтобы оставшимся легче было продержаться без работы. А тут денег не хватает, вот беда! Дойдя до этой «закавыки», побратимы замолчали и опустили головы, не зная, как быть, чем помочь горю. Только неровное, тревожное дыхание двенадцати человек нарушало мертвую тишину, заполнившую домик с низкими, покосившимися стенами. Долго длилось молчание.

— А, да будет божья воля,— воскликнул вдруг Сень Басараб,— не тужите, я этому горю пособлю!

Этот голос, эта внезапная решимость среди всеобщего молчания и бессилия поразили всех побратимов, словно неожиданный выстрел из ружья. Все вскочили и повернулись к Сеню, который сидел, как обычно, на табурете возле порога, с трубкой в зубах.

— Ты пособишь? — спросили все в один голос.

— Я пособлю.

— Но как?

— Это мое дело. Не спрашивайте ни о чем, а расходитесь. А завтра в это время будьте здесь, сами увидите!

Больше он не сказал ни слова, и никто не спрашивал его ни о чем, хотя у всех, а у Бенеди особенно, на сердце залегла какая-то тревога, какая-то холодная боль. Но никто не сказал ничего, и побратимы разошлись.

Сень Басараб, выйдя на улицу, взял за руку Прийдеволю и шепнул ему:

— Пойдешь со мною?

— Пойду,— ответил парень, хотя его рука, неизвестно почему, дрожала.

— Будешь делать, что я скажу?

— Буду,— снова ответил парень, но как-то неуверенно и словно бы нехотя.

— Нет, ты не пугайся,— счел нужным успокоить его Сень,— страшного ничего нет в том, что я задумал. Надо только действовать смело и быстро — и все будет хорошо!

— Не болтай, а говори, что делать,— перебил его Прийдеволя.— Ведь ты знаешь, что мне все равно!

Была уже поздняя ночь. Почти во всех домах, кроме шинков, огни не горели, и бориславская улица была погружена в темноту. Оба наши побратима шли молча вверх по улице. Сень

внимательно вглядывался в окна. Достигли уже середины Борислава. Здесь дома были лучше, солидней, выкрашенные то желтой, то синей, то зеленой краской, с занавесками на широких окнах и с бронзовыми ручками на дубовых дверях. Перед некоторыми из них были даже крошечные за решетчатой оградой цветники с жалкими, чахлыми цветами. Здесь жили бориславские «главари» и «тузы» — наиболее богатые предприниматели. В центре стоял дом Германа Гольдкремера, самый лучший и красивый из всех, крытый железом и сегодня совершенно пустой. Герман редко ночевал в Бориславе. Рядом с ним, немного поодаль от остальных, стоял другой, не такой красивый и далеко не такой солидный, дом Ицика Бауха. Одно из его окон было освещено, очевидно, Ицик еще не спал, это было как раз окно его кабинета.

Сень Басараб знал этот дом. Он долгое время работал в шахтах у Ицика и не раз приходил сюда за получкой. Он знал, что, кроме старой служанки-еврейки и самого Ицика, в этом доме не было никого и что служанка, наверно, уже спит на кухне. Этого ему только и надо было. Он дернул Прийдеволю за рукав, и возле ближайшей шахты они вымазали себе лица черной нефтью так, что их совсем невозможно было узнать.

— Иди за мной, не говори ни слова и делай, что я скажу,— шепнул Сень, и они пошли. Осторожно подползли к одним, затем к другим дверям дома, но двери были заперты. Это не обескуражило Сеня, и он начал осматривать окна. Тихий свист дал знать Прийдеволе, что Сень нашел то, чего искал. Действительно, одна форточка в кухонном окне не была защелкнута и легко открывалась. Сень просунул в нее руку, отодвинул задвижки и открыл окно. Влезли в кухню. Кругом было тихо, как в могиле, только сонное дыхание служанки доносилось из-за печи. Побратимы на цыпочках подошли к двери. Кухонная дверь была не заперта, и они прошли в коридор. Сень нащупал дверь, ведущую в кабинет Ицика, и хотел заглянуть в замочную скважину, но в ней был ключ. Попробовал тихонько повернуть щеколду и убедился, что дверь заперта. Но Сень и здесь недолго раздумывал. Шепнув несколько слов Прийдеволе, он громко задергал дверную ручку и закричал хриплым бабьим голосом, похожим на голос старой служанки:

— Herr, Herr, öffnen Sie!

— Wus is? [1] — послышался грубый голос Ицика, затем тяжелый скрип башмаков и, наконец, лязг ключа в замке. Дверь

[1] Господин, господин, откройте! — Что такое? *(еврейск.)*

тихо открылась, полоса света упала из кабинета в темные сени, и в ту же минуту двое мужчин, черные, как черти, бросились на Ицика и заткнули ему рот, прежде чем он успел крикнуть. Впрочем, кто знает, может быть, в этом и нужды не было. Неожиданное нападение так напугало Ицика, что он, как стоял с протянутыми руками и недоумевающим, глупым выражением лица, так и застыл в таком положении, и только по тому, как моргал он выпученными серыми глазами, можно было заключить, что это не бездушная глыба мяса и жира, а нечто живое.

— Wie geht's, Herr, wie geht's? [1] — пищал Сень все еще бабьим голосом.— Не бойся, голубчик, мы тебе ничего плохого не хотим сделать, нет! Мы еще не настоящие черти, которые должны прийти по твою душу, мы только пришли одолжить у тебя немного денег!

Ицик не сопротивлялся, не кричал, не стонал, а все еще стоял, как и в первую минуту, одеревенелый, ничего не сознавая, с заткнутым тряпкою ртом, тяжело дыша через нос. Побратимы взяли его за плечи, подвели к креслу и усадили.

— Держи его хорошенько и не давай кричать,— прошептал Сень своему товарищу.— А чуть что, задуши! А я тем временем осмотрю его квартирку!

Впрочем, угроза Сеня была излишня. Ицик не двигался и, словно беспомощный труп, дал Прийдеволе связать себе платком руки за спиной. А Сень между тем, все время искоса поглядывая на Ицика, стал осматривать комнату. По-видимому, Ицик делал какой-то подсчет: на письменном столе перед ним лежала большая книга, а возле стола стояла открытая небольшая железная касса. Сень торопливо шагнул к ней и начал вынимать аккуратно сложенные пачки ассигнаций. В эту минуту из груди Ицика впервые за все время вырвался какой-то глухой глубокий звук, словно последний стон вола, которому перерезали горло.

— Молчи, или смерть тебе! — прошипел Сень, продолжая возиться возле кассы. Он делал это совершенно спокойно и шепотом считал перевязанные узкими бумажными ленточками пачки ассигнаций, которые вынимал из кассы и клал себе за пазуху. Ассигнации были достоинством в один гульден, а по толщине пачек Сень догадался, что в каждой из них должно быть по сто штук. Он насчитал уже тридцать пачек.

— Довольно, пора нам идти! — шепнул он Прийдеволе. Оба взглянули на Ицика. Он все еще тяжело дышал, но его толстое,

---

[1] Как вы себя чувствуете, сударь, как чувствуете? *(еврейск.)*

обрюзгшее лицо налилось кровью, а вылезшие из орбит глаза были неподвижны и сохраняли все то же глупо-вопросительное выражение.

— Молчи, не то смерть тебе! — шепнул ему на ухо Сень, в то время как Прийдеволя развязывал ему руки. Руки были холодны и свесились, словно неживые. Прийдеволя поднял их и положил на стол. Затем Сень шепнул Прийдеволе:

— Я пойду вперед, а ты, когда услышишь свист на улице, вытащи у него изо рта тряпку и удирай!

Затем Сень осторожно вышел. Прийдеволя думал, что Ицик начнет вырываться и кричать, и готов был в крайнем случае задушить его. Он стоял над ним бледный, дрожащий, взволнованный до глубины души, но Ицик, как бы не видя и не сознавая ничего, сидел в своем кресле с вытаращенными глазами и дышал, посвистывая носом. Уже и веками не моргал.

Но вот послышался тихий свист под окном. Дрожащей рукой вынул Прийдеволя у Ицика тряпку изо рта, уверенный, что в ту же минуту раздастся страшный крик и разбудит весь Борислав, уверенный, что в ту же минуту прибегут толпы народа к этому тихому дому, поймают его, и свяжут, и побьют, и поведут по улицам, и бросят бог знает в какое подземелье и что это последняя минута его свободной жизни. Но нет, Ицик и глазом не моргнул. Он начал дышать свободней, но зато и медленней — и только. Прийдеволя постоял еще минуту над ним, не понимая, что происходит, и если бы не отчетливое громкое сопенье, он подумал бы, что Ицик мертв. Но когда снова послышался свист под окном, Прийдеволя оставил Ицика и тихо вышел из комнаты. «Ах, да,— подумал он,— надо погасить свет!» Вернулся, запер кассу, из которой Сень набрал денег, поднял тряпку, которой был заткнут рот Ицика, погасил свет и, выходя, запер двери, затворил кухонное окно, через которое вылез во двор, и тихонько свистнул.

— Ну что? — спросил Сень.

— Ничего,— ответил Прийдеволя.— Сидит, не шевелится.

— Может, задохнулся?

— Нет, дышит.

— Гм, должно быть, здорово перепугался. Ну и наплевать, пускай его завтра водой отливают. А нам пора идти спать! Тридцать пачек у нас, теперь должно хватить! А лицо сейчас теплой водой и мылом — и никаких следов не будет. Ну, что скажет завтра Ицик, когда опомнится! Наверно, сам побежит за стражниками!

Но Ицику было не до полицейских стражников. Густой мрак

и мертвая тишина заполнили его кабинет. Он все сидел в кресле, поддерживаемый руками, лежавшими на столе, с выпученными глазами, однако уже давно не было слышно его тяжелого дыхания. Так застало его и утреннее солнце, выглянувшее из-за черных бориславских крыш и через окно заглянувшее ему в мертвые, стеклянные глаза. Так застала его и служанка, так застал его и цирюльник, и другие знакомые, сбежавшиеся на ее крик, и никто не знал, что с ним произошло. Цирюльник заявил, что его «кондрашка хватил», потому что на теле Ицика не было ни малейших следов насилия, одежда была в порядке, и ничто не свидетельствовало о каком-нибудь нападении. Правда, служанка рассказывала о каком-то шорохе и скрипе, о том, что она слышала, как хозяин отпирал ночью дверь, но обо всем этом она говорила очень неуверенно и сбивчиво, не зная, было ли все это во сне или наяву. Затем пришли и должностные лица, обыскали весь дом и все вокруг, но ничего подозрительного не нашли. Открыли кассу: в кассе были деньги и ценные бумаги. Правда, когда сложили вместе цифры, над которыми вчера еще сидел покойный, то оказалось, что в кассе не хватает трех тысяч гульденов. Однако и здесь нашлись объяснения. Подсчет, очевидно, был не закончен, последняя цифра была написана только до половины: возможно, что покойный еще сам кому-нибудь выдал эти деньги. И во-вторых, если бы здесь был грабеж, то грабители, наверно, забрали бы и остальные деньги, которых было более двух тысяч. К тому же часы и кошелек с мелкими деньгами в карманах покойника остались нетронутыми, так что нельзя было подумать, что тут имело место убийство с целью грабежа. Только два или три пятна нефти на лице и белой сорочке покойника будили у всех какое-то неясное подозрение. Раздавались голоса среди евреев, что, возможно, это дело рук нефтяников, которые ненавидели Ицика, и догадка эта, несомненно, не одного предпринимателя пронизывала тайной дрожью, но вслух никто не признавался в этом, тем более что судебное вскрытие трупа и в самом деле показало, что Ицик умер от апоплексии, к которой давно имел органическую склонность.

Захолонуло сердце у Бенеди и у других побратимов, когда на следующий день услыхали они о скоропостижной смерти Ицика. Они ни на минуту не сомневались в том, что эта неожиданная смерть стоит в непосредственной связи со вчерашними словами Сеня Басараба. А когда вечером снова сошлись побратимы в хате Матвея, то долгое время сидели молча, опустив головы, словно чувствуя общую вину в каком-то нехорошем деле. Первым прервал молчание Сень Басараб.

— Ну, что же вы сели и сидите так, словно воды в рот набрали? — сказал он, сердито сплюнув.— За упокой Ициковой души молитесь, что ли? Или мне клясться надо перед вами, что я ничего плохого ему не сделал и что если его кондрашка хватил, то я здесь ни при чем? А впрочем, если бы и так, то что из этого? То, что я сделал, я сделал на свой страх и риск, а вы принимайте от меня взнос и делайте свое дело. Вот вам три тысячи гульденов! Что Ицика кондрашка хватил, это даже лучше для нас, не будет рассказывать, а другие не додумаются, потому что я нарочно часть денег оставил и ничего больше не трогал! А впрочем, беда невелика, что одним кровососом на свете меньше стало! Где лес рубят, там щепки летят! Ведь не выбросите же вы эти деньги только потому, что они не слишком чистым способом вам достались! Не бойтесь, это не его труд, это наш труд, наша кровь, и бог не накажет нас, если мы ими воспользуемся. И наконец, разве мы берем их для себя? Нет, не для себя, а для общества! Берите!

Никто не ответил на эти слова Сеня, только Бенедя, словно под тяжестью чьей-то тяжелой руки, простонал:

— Для чистого дела нужны чистые руки!

— Верно, верно,— живо подхватил Андрусь Басараб,— но попробуй тут сделать что-нибудь чистыми руками, когда, кроме рук, нужен еще и рычаг, крепкий рычаг! По-моему, если хочешь бревно поднять, то бери рычаг какой ни на есть — чистый или нечистый, лишь бы крепкий!

— Навоз ведь не шелком выгребают, а навозными вилами! — добавил из угла Прийдеволя. И пришлось Бенеде — хочешь не хочешь — уступить. Впрочем, и выхода другого не было.

После этого тяжелого объяснения побратимство заметно оживилось. Всем словно легче стало, словно камень кто снял с плеч. Начали держать совет, что делать теперь. Ясное дело, общее собрание рабочих созывать не время, это снова привлекло бы внимание предпринимателей; война должна вспыхнуть внезапно, неожиданно, должна ошеломить и привести их в смятение, и только в этом случае можно надеяться на победу. Нужно, следовательно, передавать рабочей массе разные известия без шума, без крика, лучше всего через особых посланцев и кассиров участковых касс. С ними же нужно совещаться о доставке продовольствия и о том, кого из рабочих на это время нужно и можно будет отправить из Борислава. Отправка, понятно, должна быть добровольной: каждый, уходящий из Борислава, получит кое-что на дорогу, и уходить они должны не сразу, а день

за днем, небольшими группами, и будто бы по разным причинам. Для хранения продовольствия решено было снять амбары в соседних селах: в Попелях, Бане, Губичах и Тустановичах, где также должны стоять рабочие посты. И еще порешили выслать немедленно двадцать уполномоченных в разные стороны, чтобы они шли по селам и призывали людей не ходить в течение двух недель в Борислав, пока борославские рабочие не добьются для себя и для всех лучшей оплаты. Спешно, а если можно, то и немедленно, завтра же, должны отправиться Матвей и Сень Басараб в Дрогобыч для закупки хлеба. У Матвея был там знакомый пекарь, и он надеялся, что через него удастся, без шума и не навлекая на себя подозрений, закупить необходимое количество муки и хлеба, а перевезти добрую половину заготовленных запасов муки и хлеба можно будет еще до выступления, в течение недели, в бочках и ящиках, в каких обычно возят большие партии воска и нефти. Таким образом, все приготовления можно сделать быстро и незаметно, а это именно и явилось бы лучшим залогом успеха рабочих, потому что предприниматели убедились бы в их силе и в хорошей организации всего дела, да и сами рабочие, видя, что им не грозит голод и нужда, чувствовали бы себя смелей и уверенней. Андрусю Басарабу и Деркачу назначено было пойти по соседним селам и у знакомых селян (братья Басарабы были родом из Бани, в самом близком соседстве с Бориславом, и знали многих людей в окрестных селах) подыскать соответствующие помещения для своих складов. Прочие побратимы должны были остаться в Бориславе и следить за тем, чтобы все шло как следует и чтобы предприниматели раньше времени не проведали о том, что задумали рабочие.

А так как в этот день было воскресенье и совещание окончилось довольно рано, то побратимы быстро разошлись, чтобы сразу же созвать участковых кассиров и рассказать им, как обстоит дело. До поздней ночи кипела жизнь в хате Матвея: старые и молодые, пожелтевшие и румяные лица мелькали в слабо освещенных окнах, пока наконец уже далеко за полночь не разошлись все по домам. Борислав под покровом темноты давно уже спал глубоким сном, только где-то далеко на Новом свете из одного шинка доносилось хриплое пение какой-то подвыпившей рабочей компании:

Ой, не жалуй, моя мила, що я п'ю,
Тогди будеш жалувати, як я вмру! [1]

[1] Ой, не жалей, моя милая, что я пью, // Тогда пожалеешь, когда я умру! *(укр.)*

XIV

Еще неделю царила тишина в Бориславе. Еще неделю беззаботно шныряли по улицам евреи-предприниматели, устраивали свои дела, торговали, обманывали, получали и выдавали деньги, поглощенные только текущими планами и текущими расчетами. Рабочие также по-прежнему ходили измученные, согбенные, вымазанные нефтью; они по-прежнему спускались в шахты, вертели вороты, ели сухой хлеб и лук, редко пробуя горячую пищу, зато больше потребляя водки. Правда, шумного, разгульного, бесшабашного пьянства теперь не видно было, в шинках не заспживались сборища людей, однако шинкари, которые одновременно были и владельцами шахт, не очень об этом горевали: время было горячее, работа спешная, со всех сторон поступали требования на воск, а с трезвым рабочим все-таки больше можно было сделать, нежели с пьяным. Жизнь текла, словно речка, тинистая и спокойная, и казалось, что так она будет течь вечно. А между тем это была последняя неделя!

И в хате Матвея, которая в последнее время сделалась настоящим центром рабочего движения, куда каждую ночь, и в дождь, и в вёдро, то улицей, то тайными тропинками пробирались рабочие со всего Борислава на совет, для проверки кассы, для сдачи взносов либо просто для того, чтобы побеседовать и подбодрить себя,— и здесь было тихо. Бенедя по-прежнему работал на новом заводе церезина у Леона, а Матвей, после двухдневной отлучки возвратясь с Сенем Басарабом из Дрогобыча и рассказав побратимам, что и как они сделали, ходил на работу в одну из шахт, которая также принадлежала Леону. Старик в эти дни словно возродился. Таким живым, веселым и шутливым еще не видел его Бенедя. Он обо всем заботился, всем интересовался, не ходил, а бегал и, казалось, все силы прилагал к тому, чтобы и самому чем-нибудь способствовать наиболее полному успеху начатого дела. Бенедя, хотя и был занят другим, не мог не заметить этой перемены и в душе порадовался ей. А когда он разговорился как-то с Матвеем и спросил его в шутку о причине, лицо Матвея вдруг сделалось очень важным, серьезным.

— Имею известие, верное известие,— сказал он таинственно.

— Какое, о чем? — спросил Бенедя.

— О моем процессе.

— Ну и что же?

— Все хорошо. Скоро самборский суд отдаст приказ арестовать Мортка.

— И то неплохо,— сказал Бенедя, но в душе он ощутил какое-то странное, неясное чувство,— он словно жалел Матвея, которого в такие важные для всех рабочих минуты может радовать такое мелкое в конечном счете событие. Но скоро его мысль, во всем и всюду искавшая пользы для общества, для задуманного дела, уцепилась за этот ничтожный факт. «А что,— подумал он,— если придать этому делу как можно большую огласку, если заинтересовать всю рабочую массу этой тяжбой бедного нефтяника с богатым предпринимателем (то, что за плечами Мортка стоял Герман, казалось ему совершенно естественным и очевидным для всякого) и если потом, в самый разгар борьбы рабочих, придут стражники, закуют Мортка, посадят на телегу и торжественно повезут по Буславу,— это должно подбодрить нефтяников, придать им силы и уверенности, укрепить в них убеждение: «И мы на что-то способны! И мы хоть иногда можем кое-что сделать, если правда на нашей стороне!» Он высказал свою мысль Матвею, и Матвей тотчас же согласился с ним. И действительно, в течение нескольких дней, от Деркача и Бегунца, от братьев Басарабов и от самого Бенеди почти все рабочие Борислава узнали о процессе Матвея, на всех промыслах говорили о нем, высказывали самые разнообразные догадки, как и чем он окончится. Все удивлялись смелости Матвея, который отважился снова поднять это дело на свой страх и риск, после того как прокурор от него отказался, и это в значительной мере обостряло интерес к нему. Правда, скоро новые и гораздо более важные события привлекли к себе внимание рабочих, но все же и от этого посева какое-то зерно упало и должно было со временем дать всходы.

Между тем приготовления к рабочей войне быстро окончились. Братья Басарабы наблюдали за перевозкой закупленного в Дрогобыче хлеба, пшена и других продуктов в свои потайные склады в Губичах, в Бане и Тустановичах, где также уж были наняты крестьяне, которые должны были ежедневно подвозить определенное, условленное количество провизии в Борислав. Были куплены три огромных котла, в которых должны были варить кашу для рабочих; даже о полотне для палаток не забыли побратимы, чтобы было где поместить бесприютных, если хозяева, сговорившись, повыбрасывают их из жилищ. К субботе все было готово, и по всем промыслам пронесся радостный и вместе с тем тревожный шепот: «Настает пора! Пора! Пора!» Так, когда над полем спелой ржи пронесется легкий летний ветерок, кроткие, склоненные стебли еще сильнее наклонятся, потом поднимутся кверху, снова наклонятся, мерно покачиваясь,

а полные ожидания колоски шепчут вначале тихо, а затем все смелее: «Пора! Пора! Пора!» А ветер мчится дальше и дальше, поднимая все новые волны, все шире разбегаясь, а с ним вместе, все дальше, все шире, все громче несется благодатный шепот: «Пора! Пора! Пора!» Двадцатью дорогами из Борислава спешили рабочие посланцы по селам и местечкам, разнося весть о новой войне. Их видели на Уро́вом и в Подбужье, в Гаях и Добровлянах, в Стрые и в Медыничах, в Самборе и Турке, в Старой Соли и Дзвинячем, в Доброгостове и Корчине. Их весть бедняки встречали с радостью, богачи с насмешкой и недоверием; кое-где угощали их водкой и хлебом, кое-где спрашивали паспорта и грозили арестовать, но они без страха шли все дальше, не пропуская ни одного поселка, просили и наказывали не идти на работу в Борислав в продолжение нескольких недель, пока рабочие не окончат своей войны с хозяевами. Бесчисленные слухи поползли по селам об этой войне, путаные, страшные, какие обычно порождает великая нужда и безвыходное положение. То говорили, будто бы бориславские рабочие задумали вырезать всех евреев, то, что они хотят выгнать их из Борислава. Проведали об этом и полицейские стражники, и они начали рыскать по селам, грозя и заставляя молчать и разузнавая, откуда взялись эти слухи. Двадцать одинаковых донесений поступило в управление начальника уезда в Дрогобыче о каких-то таинственных людях, которые разносят по селам коммунистические идеи. Управление забеспокоилось и велело ловить их, но пока эта казенная переписка дошла по назначению, все наши нефтяники были уже в Бориславе, взбудоражив три или четыре уезда своими вестями. Долго еще рыскали стражники по селам, ловили отпущенных на каникулы студентов и захожих городских рабочих,— им и в голову не приходило, что «коммунистическими эмиссарами» могут быть вот эти люди, в грязных, пропитанных нефтью кафтанах, и что «эмиссары», которых они ловили, не раз, ссутулившись и сгорбившись, спокойно проходили мимо них.

Наконец все приготовления были закончены, и в воскресенье началась война. Первым важным военным мероприятием было то, что более половины рабочих, в том числе все менее смелые, много женщин и малолетних в это воскресенье толпой выступили из Борислава. Некоторые из побратимов хотели, чтобы этот уход, необходимый для полного успеха дела и для полного поражения хозяев, происходил постепенно, без шума, небольшими группами, чтобы предприниматели не сразу догадались, в чем тут дело. И сам Бенедя был вначале того же мнения, но

затем, непрерывно размышляя, он пришел к мысли, что если уж воевать, то в открытую и что первый их шаг, резкий и решительный, может сразу нагнать на предпринимателей страх и ослабить их упорство. И он настоял на том, чтобы «исход из плена египетского» совершился среди бела дня, огромной, шумной толпой. Ведь недаром завтра утром должно начаться «празднество»,— почему же не дать хозяевам почувствовать, откуда дует ветер?

В воскресенье, в полдень, улицы Бориславa заполнились рабочими и работницами. Гомон стоял, словно на ярмарке,— рабочие все прибывали и прибывали. Половина из них пришла с сумками за плечами, со свертками в руках, надев на себя всю свою одежду.

— Что такое? Куда вы собрались? — спрашивали евреи то одного, то другого рабочего.

— Домой, в село,— был обычный ответ.

— Зачем домой?

— А чего же? Надо идти, пока еще в поле работа есть, а здесь все равно ничего не заработаем.

— Как не заработаете? Ведь зарабатываете же!

— Э, да разве это заработок! И на прожитье не хватит, не то чтобы какая подмога для хозяйства была. Довольно с нас! Пускай другие зарабатывают.

Рекой поплыл народ вниз по улице, спокойно, печально. За Бориславом на выгоне уже стояли новые толпы. Начали прощаться.

— Будьте здоровы, товарищи! Дай вам боже счастливо закончить то, что задумали! Давайте знать, что здесь слышно будет!

— Будьте здоровы! Авось скоро, в более счастливое время, встретимся!

Медленно во все стороны, в горы и долины, по лесам и полям, расходились толпы рабочих, время от времени оглядываясь на покинутый ими Борислав, который спокойно грелся на солнце. Так беспечный кот греется, и вытягивается, и мурлычет вблизи железного зубастого капкана, который вот-вот щелкнет и схватит его своей железной пастью и раздробит ему ребра и лапки.

Правда, бориславские хозяева-евреи не совсем были похожи на этого кота. Уход такой массы рабочих встревожил их не на шутку. Они не могли понять, что произошло с рабочими и чего они хотят. И все же хоть отчасти успокоились, рассуждая про себя: что же, половина ушла, а половина все-таки осталась, а

если этих будет недостаточно, то скоро придут новые, даже больше, нежели нужно. С этой надеждой владельцы шахт спокойно проспали ночь. Но их расчеты, хотя и казались вполне правдоподобными, на этот раз не оправдались.

На следующий день бóльшая часть сараев пустовала. То есть, собственно, не совсем: надсмотрщики пришли, отперли двери и удивились тому, что рабочие не приходят. Некоторые неистовствовали и проклинали «гоев»; другие, более спокойные, сели возле дверей на свои скамеечки, обещая как следует набить морды мерзким бездельникам за такое неслыханное опоздание. Но и то и другое было напрасно. Уже солнце высоко-высоко поднялось в небе, а рабочих все не было. Надсмотрщики, быть может, еще долго ждали бы и сгорали от нетерпения, если бы говор, а затем крики и брань в соседних сараях не дали им знать, что и там, хотя рабочие и сновали взад и вперед, словно осы, произошло что-то неладное, необычное и неслыханное. А попросту произошло следующее. К некоторым сараям пришли рабочие и, выстроившись в ряд перед дверью, молча поджидали надсмотрщика. Приходит надсмотрщик, отпирает дверь, рабочие молчат — и ни с места: не идут в сарай.

— Ну, за работу! — кричит надсмотрщик.

— Э, еще время есть у нас,— отвечает холодно тот или иной нефтяник.

— Как это есть время? — кричит надсмотрщик.— Но у меня нет времени!

— Ну так полезай и работай сам, если тебе так спешно надо! — кричат рабочие и хохочут.

Надсмотрщик синеет от злости, сжимает кулаки, готов первому попавшемуся заехать в зубы.

— Не злись, Шлёма! — успокаивают его рабочие.— Мы пришли сюда только затем, чтобы сказать тебе, что больше работать не будем.

— Не будете работать? — лепечет ошеломленный надсмотрщик.— Это почему?

— Потому, что не хотим иметь такого пса, как ты, надсмотрщиком,— это раз, и потому, что нам мало платят,— два. Будь здоров! Передай своему хозяину: если даст нам лучшего надсмотрщика и по двенадцати шисток в день, то вернемся назад на работу.

И это произошло сразу, одновременно на всех промыслах, во всем Бориславе. Один огромный вопль удивления, гнева и беспомощности вырвался из уст предпринимателей и эхом прокатился по городу, от края до края.

Одни надсмотрщики стояли остолбенев, с разинутыми ртами, услыхав эти невероятные, безбожные слова. Другие вспыхивали безмерным гневом, приходили в ярость, бросались на рабочих с кулаками, угрожая, что они палками и кулаками заставят их работать. Некоторые же недоверчиво усмехались, принимали это за шутку, а когда рабочие и в самом деле расходились по домам, они махали рукой, ворча: «Тьфу, что за народ! Важничают невесть как. Словно, кроме них, никого нет в Бориславе. Найдем, братец мой, найдем, кроме вас, рабочих и получше, и посмирнее, да и подешевле!» Снова и снова некоторые надсмотрщики, будто белены объевшись, бежали по улицам к своим хозяевам, рассказывали им о происшедшем и просили дальнейших распоряжений, что делать, как быть. Но и на хозяев этот удар свалился так же нежданно-негаданно, как и на их верных приказчиков. До самого полудня в тот понедельник они не знали даже толком, действительно ли все это произошло, действительно ли во всех шахтах, промыслах, и складах, и на нефтяных заводах рабочие не вышли на работу. Они долго бегали по улицам, как гончие псы, хватали дрожащими руками первого встречного рабочего за плечо, и хотя пальцы их готовы были, как железные крючья, крепко впиться в рабочее тело, они, пересиливая себя, спрашивали с притворной кротостью:

— Ну, Гриць, почему не идешь на работу?

— Нет работы.

— Как нет? У меня есть.

— А много заплатишь?

— Ну не спрашивай, а иди работать. Сколько люди, столько и я.

— Не пойду. Мало.

— Не пойдешь? Как это не пойдешь? А что ж будешь делать?

— Это мое дело. Не спрашивай!

Словно бешеные, бегали евреи-предприниматели по улицам, охотясь за рабочими, но скоро убедились, что напрасны их старания и что рабочие, по-видимому, сговорились. Правда, многим не хотелось верить в возможность рабочего сговора в Бориславе, а иные, хотя и верили, были так поражены этим событием, что и сами не знали, что делать и как помочь беде. Чувствуя свое бессилие, они бегали, твердили о грозящих им убытках, о неслыханной наглости рабочих, об упадке дел в Бориславе, но никому и в голову не пришло подумать о какой-нибудь помощи, кроме разве полиции. Евреи даже не старались узнать, чего, собственно, хотят рабочие. Первый день войны прошел довольно

спокойно. Обе воюющие стороны, взволнованные и встревоженные новизной и необычностью событий, старались передохнуть, успокоиться, собраться с мыслями, присмотреться к новой обстановке. Бастующие рабочие держались как-то робко, неуверенно, на улицах не видно было больших толп, маленькими группами собирались нефтяники где-нибудь на задворках и и толковали, что делать дальше. Только за Бориславом, на выгоне, было много народу: там варили кашу и, соблюдая полнейший порядок, распределяли ее между нуждающимися, по промыслам. Там же находился центр рабочего совета, были все побратимы, был Бенедя.

Бенедя с виду был спокоен, говорил ровным, звучным голосом. Только глаза, необычно горевшие, лицо необычайно бледное и новые глубокие морщины на лбу свидетельствовали о том, что его мысль работала с огромным напряжением. Совещались о том, какие выставить требования хозяевам на случай соглашения. Почти все советовали требовать немного, чтобы тем вернее получить требуемое. Бенедя возразил на это:

— Правда ваша. Кто меньше требует, тот скорее получит. Однако в нашем деле хуже всего было бы требовать мало. Ведь если мы подняли войну, то уж надо добиться, чтобы нам была от нее польза. А главное, как я думаю, надо выставить такие требования, которые не только бы облегчили нашу повседневную жизнь, но вместе с тем помогли бы нам усилиться, еще крепче стать на ноги. Потому что, видите ли, может случиться и такое, что предприниматели теперь, под нашим натиском, согласятся на все, особенно когда увидят, что мы не только сами не работаем, но и других не допускаем к работе. Но потом, как только мы согласимся на их обещания и прекратим войну, они — трах! — и снова прижмут нас еще пуще прежнего. Вот я и говорю: надо нам такие требования выставить, чтобы обеспечить себя на тот случай, если хозяева не сдержат обещаний, чтобы мы имели возможность в любую минуту снова начать точно такую же войну, если это понадобится.

Все признали справедливость этих слов. Бенедя продолжал:

— Теперь, думаю, мы все уже убедились, что наша сила в единении, в том, чтобы всем держаться заодно. Пока мы жили каждый для себя, не заботясь о других, до тех пор не могло у нас и речи быть о каком-нибудь облегчении, а теперь, как сами видите, общими силами мы дошли до того, что смогли начать такое большое дело, войну с богачами. И мне кажется, что пока мы будем держаться дружно, до тех пор богачам не удастся взять верх над нами. Поэтому нужно прежде всего поставить им

такие требования, чтобы впоследствии наше общество не только не распалось и не было разбито, но, наоборот, все более укреплялось, чтобы наша рабочая касса не опорожнялась, а все увеличивалась. Верно кто-то сказал: где хорошо всем, хорошо и одному; если наша общая сила будет расти и крепнуть, то и каждому рабочему в отдельности будет лучше, община сможет поддержать его в любой беде, и хозяева вынуждены будут бояться нас и не посмеют нарушить свое слово, не посмеют обращаться с рабочим как со скотиной, а то и того хуже.

— Верно, верно! — зашумели рабочие.— Ну, а что же для этого нужно требовать?

— Я так думаю: во-первых, разумеется, чтобы плату нам повысили; тем, которые в шахтах работают,— не менее двенадцати шисток; тем, что на-гора́,— гульден, а самое меньшее — восемь шисток; во-вторых, чтобы никто не смел делать никаких кассирских поборов; в-третьих, чтобы в рабочую кассу, кроме рабочих, делали взносы также и предприниматели, каждый не менее гульдена в месяц; затем, чтобы в случае несчастья какого — смерти, увечья — они обязаны были платить за больницу и лекарства, а также оказывать помощь осиротевшей рабочей семье хотя бы в продолжение полугода. Я думаю, что эти требования не слишком велики, а нам от них получилось бы заметное облегчение.

— Верно, верно! — закричали в один голос рабочие.— На том и стоять будем! А если у нас и дальше будет своя касса, то и потом мы сможем добиваться уступок.

Хозяева ничего не знали об этом совещании. Чем ближе к ночи, тем сильнее охватывал их страх перед рабочими. Дома были заперты. На улицах редко кто показывался. Только глухой говор, и шепот, и тревожная дрожь проносились по Бориславу, словно поражающая тысячи людей зараза, словно осенний стонущий ветер над рощей.

XV

Фанни, единственная дочь Леона, сидела одинокая, задумчивая на мягкой софе в роскошной комнате. Время от времени она посматривала на часы, которые тикали возле нее под хрустальным колпаком на мраморном столике.

— Третий час! — сказала она тоскливо.— Как медленно тянется время! Отец вернется только в пять, а ты, Фанни, сиди одна!

Как много часов, как много дней просидела она вот так,

одна, на этой мягкой софе, возле мраморного столика с часами под стеклянным колпаком! Как много раз сетовала она на это ленивое движение времени! Была ли у нее в руках какая-нибудь работа, которая — она это знала — никому не нужна и никому ни на что не пригодится, или книжка, которая ее никогда не могла занять,— все та же нестерпимая скука и одиночество давили ее, проникали во все поры ее тела, словно едкая липкая грязь. Ее живая, полнокровная натура изнывала и сохла в этом холодном, праздном одиночестве. В жилах кипела молодая кровь, фантазия еще сильнее распаляла ее, а между тем вокруг — одиночество, холод, однообразие. Ей хотелось любви с чудесными романтическими приключениями, горячих объятий какого-нибудь героя, верности до гроба, безграничного обожания. А между тем дрогобычское общество, в особенности общество дрогобычских «эмансипированных кавалеров», глупых, бестолковых и надменных, было для нее словно ледяная вода для огня. Она ненавидела их с их вечными, заимствованными из книжек, комплиментами, с их обезьяньим прислуживанием, в котором — это явственно чувствовалось — преобладало почтение к богатству отца, нежели к ее качествам.

— Как медленно идет время! — повторила она задумчиво, тише, нежнее как-то и робко поглядела из окна на улицу. Ждала ли она кого? Да, ждала, ждала его, своего героя, этого удивительного юношу, который несколько недель тому назад, как яркий метеор, неожиданно, таинственно появился на ее горизонте. И появился в полном соответствии с ее романтическими мечтами: сказочный принц в нищенском платье! Бедный угольщик, большие черные глаза которого так и пожирали ее, который так напугал ее, уцепившись когда-то за экипаж и упав на мостовую, который так быстро, так страстно открыл ей свою любовь, который потом немало удивил ее, действительно появившись в ее доме элегантно одетый, неузнаваемый, блестящий. Как он прям в своих речах, как пылок и энергичен,— не знающий ни преград, ни препятствий, словно и в самом деле какой-то всемогущий принц! До чего он не похож на этих бледных, жалких, трусливых и смешных кавалеров, которых она видела до сих пор! Сколько силы в его мускулах, сколько огня в его взоре, сколько пылкой страсти в его сердце! И как он любит ее! Но кто он такой? Что за человек? Назвался Готлибом, но какого он роду? Может ли он быть моим?

Эти мысли, словно золотисто-розовые нити, мелькали и переплетались в голове одинокой Фанни, и она все нетерпеливее посматривала на часы.

— Он обещал прийти после трех,— прошептала она,— почему же не приходит? Сегодня должна открыться тайна. Почему же его нет? Или, может быть, все это сон, видение моей разгоряченной фантазии? Но нет, он держал мою руку в своей, он целовал мои губы, ох, как горячо, как страстно!.. Он должен прийти!

— И он пришел уже,— сказал Готлиб, бесшумно входя и кланяясь.

— Ах, это... ты! — проговорила, зарумянившись, Фанни. Это было первое «ты», которое она ему сказала.— Я как раз думала о тебе.

— А я о тебе и не переставал думать, с тех пор как увидел тебя.

— Правда?

Дальше беседа продолжалась без слов, но для обоих она была очень хорошо понятна. Наконец Фанни прошептала:

— Но ты обещал мне сегодня открыть свою тайну: кто ты?

— И ты до сих пор не догадалась? Не узнала о том, о чем мог тебе сказать любой из твоих слуг?

— Нет. Я ни с кем о тебе не говорила.

— Я сын Германа Гольдкремера, знаешь его?

— Что? Ты сын Германа, тот самый, за которого отец сватал меня?

— Что? Твой отец сватал тебя за меня? Когда?

— Недавно, два месяца тому назад. Как я боялась тебя тогда!

— Но что же сказали мои родители?

— Я не знаю. Кажется, отец твой был согласен, но мать была против, и я догадываюсь, что она чем-то очень оскорбила моего отца, потому что он пришел от вас сильно взволнованный и разгневанный и бранил твою мать.

— Что ты говоришь! — вскрикнул Готлиб.— Моя мать! И она могла быть против!.. Но нет,— добавил он спустя минуту,— это возможно, таков уж ее характер. Но она сама должна исправить зло, сама должна упросить твоего отца еще сегодня!

Лицо Готлиба горело дикой решимостью.

— Когда вернется твой отец?

— В пять.

— Ну, тогда прощай. Я пойду и пришлю сюда свою мать, чтобы она уладила это дело. Она должна сделать это для нашего счастья. Прощай, сердце мое!

И он ушел.

— Какая сила, какая решимость, какое горячее чувство! — шептала, пьяная от счастья, Фанни.— Нет, нет, он не такой, как другие, бледные, ничтожные кавалеры. Как я люблю его, как бесконечно я люблю его!

Между тем Готлиб поспешно направился домой. Он уже был осведомлен о том, что отец знает о его жизни в Дрогобыче. Мать рассказала ему все, когда, заложив тайком от мужа кое-что из своих нарядов, вручила ему желанные деньги. Готлиб ничего не сказал, услыхав эту весть: новая горячая любовь к Фанни прогнала его гнев на отца, он теперь гораздо охотнее послушался бы его приказа и вернулся жить домой, если бы только Герман отдал такой приказ. Но нет, Герман ничего не приказывал, словно совсем не заботился о сыне,— очевидно, ждал, пока тот сам раскается и возвратится к нему. Готлиб же не хотел этого. Сколько раз они встречались на улице, но Герман все делал вид, будто не знает этого молодого нарядного барчука, а Готлиб не хотел первый уступить. Домой к матери Готлиб забегал редко, да и то все в такое время, когда отца не было. Но теперь дело было спешное, и он пошел, хотя служанка сказала ему, что барыня в спальне, а барин в своем кабинете. Пускай, ему до этого барина нет никакого дела.

Ривка сидела в комнате, уставившись глазами в потолок. Болезненное саморазрушение ее духа подходило к концу, было теперь в той стадии, когда после огромного возбуждения наступает омертвение, тяжелое бездумье, одурманивающая меланхолия. Она по целым дням сидела на одном месте, говорила мало и каким-то вялым, разбитым голосом. Казалось, ее недавняя неукротимо дикая энергия теперь совсем исчезла, рассыпалась на куски.

В таком состоянии оцепенения каждый мог сделать с нею все, что хотел. Только одно продолжало жить в ней: любовь к сыну и ненависть к мужу. Германа очень беспокоила эта перемена, в которой он видел признак какой-то тяжелой болезни, но доктора уверили его, что это следствие чрезмерного нервного возбуждения и переутомления и что нужен только покой. Целый день никто к ней не обращался, за исключением разве только слуг, которые сопровождали ее к столу или в спальную. Но было несомненно, что и этот покой, мертвящий, пустой, убийственный, также не был для нее хорошим лекарством.

Готлиб, поглощенный своей любовью, совершенно не обратил внимания на ее состояние и, лишь только вошел в комнату, сейчас же приступил к делу.

— Мама! — сказал он, подходя и садясь рядом с нею.

В ее мутных, потухших глазах загорелась живая искорка.

— Что, сынок?

— Правда, что Леон Гаммершляг хотел сватать за меня свою дочь?

— Леон? Ага, правда, этот паршивец хотел.

— И что вы сказали ему?

— Я? Скорее умру, нежели соглашусь принять ее к себе!

Готлиб гневно, почти свирепо взглянул на мать.

— Глупая вы, мама!

— Почему, сынок?

— Потому, что я именно Леонову дочку люблю и скорее умру, чем соглашусь, чтобы она не была моей.

Ривка вскочила с места. Слова Готлиба были для нее словно могучий, пробуждающий удар.

— Это невозможно! — сказала она с силой.

— Это должно быть! — сказал Готлиб, повышая голос.

— Но как ты можешь ее любить?

— Но как вы можете ее ненавидеть?

— О, как я их всех ненавижу, смертельно ненавижу, и этого Леона, и твоего отца, и ее, всех, всех тех, кто ради денег отрекается от жизни и совести, да еще и других топит вместе с собой в этом проклятом золотом болоте!

— Но в чем же она виновата перед вами? А скажите, мама, вы любите меня, своего единственного сына?

— Ты еще можешь спрашивать?

— И желаете мне счастья?

— Больше, чем самой себе.

— Ну, так сделайте то, о чем я вас буду просить.

— Что сделать, сынок?

Минутная вспышка былой энергии быстро погасла в душе Ривки, и она снова села, безвольная и подавленная, какой была минуту назад.

— Пойдите сами к Леону, поговорите с ним, уладьте, условьтесь, чтобы мы как можно скорее обручились. Устройте мое счастье!

— Твое счастье, сынок? Хорошо, хорошо! — сказала Ривка, мало что поняв из его слов.

— Да, мама, мое счастье! Вставайте, расшевеливайтесь, идите!

— Куда, сынок!

— Ведь я же говорю — к Леону.

— К Леону? Нет, никогда!

Готлиб, не понимая болезненного состояния матери, начал злиться, грозить, что руки на себя наложит,— и Ривка еще больше перепугалась.

— Ну хорошо, сынок, хорошо! Пойду с тобой, куда хочешь, только не делай с собой ничего! Прошу тебя, будь спокоен! Все сделаю для тебя, только будь спокоен!

И дрожащими руками она начала одеваться, но так неловко и нескладно, так долго примеряла, снимала и снова прилаживала платье, что Готлиб, который сгорал от нетерпения, вынужден был позвать служанку, чтобы та помогла ей одеться. Наконец они вышли.

Леон Гаммершляг в отличном расположении духа сидел в своем кабинете за письменным столом. Работа на новом заводе шла очень хорошо, и первая партия черезина не позднее чем через неделю будет готова к отправке за границу. Тогда будут деньги, можно будет продолжать производство черезина и закончить постройку дома, заброшенную в это горячее время. Счастье улыбалось Леону,— он чувствовал себя сильным и гордым, как никогда. В эту минуту послышался стук в дверь, и вошла Ривка, бледная, с погасшими, неподвижными глазами, медленной, почти сонной походкой. Леон никогда еще не видел ее такою. Необычайное это посещение и странный вид Ривки сильно удивили и немного смутили его.

— Прошу садиться,— сказал он в ответ на ее приветствие, произнесенное каким-то глухим, беззвучным голосом.

Ривка села и долгое время молчала. Молчал и Леон.

— Я к вам по одному делу,— сказала медленно Ривка,— хотя и не по своему, но все-таки...

— Очень рад буду служить,— ответил Леон.

— Вы сердитесь на меня, господин Леон? — спросила она вдруг.

— Но... Но, сударыня... Как вы можете...

— Нет, нет, я только спросила, чтобы вы случайно, в гневе, не захотели бы отказать мне в этом деле, смею сказать, очень важном, хотя и не для меня...

— Пожалуйста, пожалуйста...— буркнул Леон.

— Дело вот в чем. Вы, господин Леон, еще не оставили свою давнюю мысль соединить наших детей?

— Что поделаешь, пришлось оставить, хотя мне очень жаль. Но как же иначе, если ваш сын пропал?

— А если бы мой сын не пропал?

Леон пристально взглянул на нее и увидел нескрываемую тревогу ожидания на ее лице.

«Ага,— подумал он про себя,— вот оно как дело обернулось! У них, должно быть, что-то плохое случилось, и они теперь добиваются моей милости. Но погоди, я тебе отплачу за прежнее!» — и добавил вслух:

— Мне очень жаль, что и в этом случае я не мог бы... У меня теперь другие виды на мою дочь.

— Ну если так, то конечно. Я только думала... Разумеется, не для своей выгоды.

Ривка путалась. Очевидно, отказ Леона глубоко уколол ее.

— Но если бы... ваша дочь любила моего сына?

— Моя дочь — вашего сына? Это невозможно!

— Ну, ну, я не говорю, что это так, но, к примеру, если бы так было?

— Э, сказки, фантазия! Я имею другие виды и прошу не отнимать у меня времени подобными предположениями!

Леон отвернулся. Он рад был, что может отплатить Ривке за обиду, и совсем не думал о возможности того, о чем она сказала.

В эту минуту послышался тяжелый стук шагов в коридоре, и в кабинет влетел запыхавшийся, разгоряченный, распаренный надсмотрщик Леона из Борислава. Леон, увидя его, вскочил:

— Это еще что? Вы зачем?

— Хозяин, несчастье!

— Какое?

— Рабочие сговорились и не хотят работать.

— Не хотят работать? Это почему?

— Говорят, мало им платим.

— Этого не может быть! Ты пьян, что ли?

— Нет, хозяин, это так! Я пришел к вам за советом, что делать?

— В шахтах только не работают или и на заводе?

— И на заводе.

— Gott über die Welt! Вот несчастье! Что делать? Работа на заводе должна продолжаться во что бы то ни стало! Слушай, Шлема, беги на базар, созови там рабочих и веди в Борислав, я сам тоже иду.

И они выбежали, не обращая внимания на Ривку. Она слышала их разговор и усмехнулась после их ухода.

— Вот это хорошо, вот это хорошо! — шептала она.— Так вам и надо! Кабы не дураки были да взбунтовались и побросали бы вас всех до одного в эти колодцы! Смотрите, какой! Не хочет теперь, отказывает! Мой бедный Готлиб! Что он на это скажет? Он готов наделать себе беды. Впрочем, так ему и надо: пускай бы не водился с такою, пускай бы искал себе бедную, добрую...

Но что я ему скажу? Он такой быстрый, как искра! Нет, я не скажу ему правды, пускай будет что будет!

И она вышла на улицу, где Готлиб нетерпеливо поджидал ее.

— Ну что? — спросил он, глядя ей в глаза.

— Хорошо, сынок, хорошо, все хорошо.

— Согласен, обещал?

— А как же, а как же! Через месяц обручение.

— Через месяц! Почему так поздно?

— Нельзя, сынок, скорее. Да и зачем торопиться? Успеет она отравить твой век молодой.

И Ривка начала всхлипывать, словно ребенок.

— Мама, не говорите так, вы ее не знаете! — гневно воскликнул Готлиб.

— Не буду, сынок, не буду!..

Однако эта весть не очень как-то обрадовала Готлиба. То ли потому, что еще долго нужно было ждать этой счастливой минуты, то ли потому, что мать сообщила ему эту весть как-то холодно, зловеще, нерадостно,— так или иначе, Готлиб не почувствовал той радости, какую он ожидал. Он дошел молча с матерью до самого дома. Здесь они разошлись. Ривка — в свои комнаты, а Готлиб — в гостиницу, где он жил, покинув убогую лачугу угольщика.

Дома Ривка уже не застала Германа. Та же самая весть и в то же время, что и к Леону, пришла и к нему, и он, вскочив, велел немедленно запрягать и вместе с Мортком, который принес ему печальную весть о стачке рабочих, помчался в Бориславе. После пережитых волнений Ривка как была, одетая, бросилась в кресло и потонула в своей бездумной меланхолии. Готлиб в гостинице ходил по своей комнате взад и вперед, размышляя о своем счастье и силясь внушить себе, что он счастлив. Только бедная Фанни, которая за дверью в соседней комнате слышала разговор Ривки и Леона, бросившись на свою софу и закрыв лицо платком, горько-горько плакала.

XVI

Герман Гольдкремер впервые в жизни не знал, как ему поступить. Новое, неслыханное доселе в Бориславе событие — стачка рабочих — задало ему загадку. Приехав накануне вечером в Борислав, он долго ночью не мог уснуть, раздумывая над тем, что слышал и видел. Как изменился Борислав с того вре-

мени, когда он последний раз выехал отсюда! Словно какая-то волшебная сила перевернула в нем все вверх дном. Если раньше, бывало, хозяева-евреи гордо расхаживали по улицам и сверху вниз посматривали на рабочих, то теперь владельца шахты на улице не увидишь, но зато толпы рабочих, словно рои шершней, ходят, шумят, хохочут, грозят и поют. Если раньше, куда ни глянешь, всюду во́роты вертятся, сотни рук двигаются, работа кипит,— теперь у шахт и надшахтных строений мертво, пусто, во́роты торчат, словно грязные кости, с которых опало тело, а воздушные насосы заглядывают в шахты, как бы спрашивая, не хочет ли там кто свежего воздуха. Зато на выгоне, в конце Борислава,— там теперь жизнь, там движение! Из окна кабинета Германа виден дым от костра, разложенного под огромным котлом, в котором рабочие варят себе кашу. Из окна слышен шум сходок, слышны окрики дозорных, расставленных на всех дорогах, на всех тропах, которые ведут в Борислав. «Черт бы их побрал! Что они себе думают?» — вертелось в голове у Германа, и он нетерпеливо ждал восьми часов — в этот час должны были собраться у него на совещание предприниматели.

— Нет, так продолжаться не может! — говорил он сам себе, шагая по комнате.— Мы должны сломить их сопротивление. Я должен во что бы то ни стало иметь рабочих, много рабочих, еще на этой неделе. Я непременно должен еще на этой неделе сдать пятьдесят тысяч центнеров воска «Обществу эксплуатации» и получить от него деньги. Пускай потом черт с ним знается. И «Общество» вот-вот в трубу вылетит, и эти проклятые разбойники готовы сделать какую-нибудь гадость. Но я не дурак, чтобы рисковать! Если бы еще две тысячи центнеров добыть, сейчас же сдал бы этим господам из «Общества», а они пускай себе делают, что знают, только пускай мне деньги платят. А хорошо я сделал, что поделил законтрактованную массу воска на две части, теперь еще два дня — и первая партия будет готова. Нужно ли будет еще и вторую поставлять, это один бог знает,— впрочем, если нужно будет, тем лучше для меня.

Так рассуждал Герман, шагая по комнате, и все его рассуждения приводили к одному выводу, что все было бы очень хорошо, если бы только рабочие не бунтовали, а принялись за работу,— все было бы хорошо!

— Но они должны! Так продолжаться не может!..— шептал он.— Хотя бы и пришлось переплатить, все-таки я столько им не переплачу, сколько потом получу прибыли.

Но тут он вспомнил, что вчера послал Мортка, чтобы тот собирал в Дрогобыче всякую голытьбу, всех незанятых евреев

и христиан, работников и лодырей, водоносов, мусорщиков, старьевщиков, чтобы пообещал им хорошую плату и направил всех их в Борислав. Герман хорошо знал, что проку от этой голытьбы не будет, он хотел только при помощи такой уловки сломить сопротивление бориславских рабочих. «Это лучшее лекарство от их болезни,— думал он, потирая руки от радости.— Как увидят, что я могу без них обойтись, что у меня есть свои рабочие, так сами придут, еще и напрашиваться будут. Ну-ка, посмотрим, чья возьмет!»

Какой-то странный шум, который шел от выгона и становился все сильнее, привлек Германа к окну. Но увидеть он не смог ничего, кроме вереницы испуганных евреев-предпринимателей, которые спешили по улице к его дому.

— Что это там такое? — спросил их Герман через окно.

— Драка какая-то! Дерутся! — ответили хором евреи.

— Кто с кем дерется?

— Здешние рабочие дерутся, но неизвестно с кем. Какая-то толпа подошла со стороны Губичей, они не хотят их пустить в Борислав,— ну и началась драка.

Шум длился еще минуту и начал стихать.

«Ур-ра! Ур-ра!» — раздалось затем в воздухе. Все предприниматели, в том числе и сам Герман, побледнели и вздрогнули, но никто не произнес ни слова. Молчаливо и тревожно слушали дальше.

«Ур-ра! Ур-ра!» — продолжали раздаваться радостные крики, но, кроме этого «ур-ра», ничего больше нельзя было разобрать.

— Прошу, господа, войдите в дом, посоветуемся,— сказал после долгого молчания Герман.

Едва евреи вошли, едва улегся гул приветствий, как вдруг открылась дверь и вбежал бледный и испуганный Леон Гаммершляг. Одежда его была запылена, а местами и порвана, он тяжело дышал и, влетев в комнату, бросился в кресло и долгое время сопел и пыхтел, ничего не говоря. Все окружили его и глядели на него с выражением такой тревоги, словно это был вестник их неизбежной гибели.

— Что случилось, господи боже, что случилось? — расспрашивали они, но Леон не скоро обрел дар речи.

— Gott soll sie strafen! [1] — крикнул он наконец, вскакивая с кресла.— Они нас всех вырезать хотят, вот что! Разбойники, сговорились на нашу голову!

---

[1] Покарай их бог! *(нем.)*

— Как? Что? Неужели? Откуда вы знаете? — восклицали владельцы шахт, дрожа от страха.

— И говорить никому не нужно было! — ответил Леон.— Сам вижу, своими глазами. Видите, на кого я похож! Слышали крик? Это все они! Ох, что это будет с нами, что с нами будет!

— Я давно говорил: послать за стражниками, пускай прикладами гонят их на работу! — крикнул один предприниматель.

— Что стражники! — возразил другой.— Разве тут помогут стражники? Тут целое войско надо, чтобы перестрелять половину их.

— Но что случилось? — допытывались собравшиеся у Леона.— Рассказывайте все как было!

— Скверное дело, да и все тут. Рано утром вышел я на выгон, жду тех рабочих, которых велел нанять в Дрогобыче. На выгоне уж полно их, словно воронья. Завтрак! И откуда они столько муки и каши достают? Две тысячи человек, и весь день варят да варят, едят да едят! Видно, уж не без того, что им кто-то помогает!

Леон помолчал минуту, чтобы придать тем самым больше веса своим последним словам, а взгляд его, скользнув по комнате, остановился на Германе, который задумчиво стоял у окна и пальцами барабанил по стеклу. Кое-кто тоже взглянул в эту сторону, а некоторые даже вскрикнули, словно осененные неожиданной догадкой:

— Неужели? Не может быть!

— Разве я знаю,— ответил будто бы безразлично Леон, пожимая плечами.— Знать не знаю, но говорю то, что думаю! — Его нечистая совесть велела ему видеть в Германе своего заклятого врага, и он доволен был сейчас тем, что в сердца своих слушателей бросил искру подозрения, будто бы весь этот рабочий бунт — дело Германа, затеянное им для того, чтобы всех более мелких предпринимателей, и даже самого Леона, припереть к стене.

— Но слушайте же, что было дальше. Иду я своей дорогой, а навстречу мне целая гурьба этих голодранцев. «Куда?» — спрашивают. Я набрался храбрости. «А вам какое дело?» — говорю. «Нам такое дело, отвечают, что мы здесь сторожа, следить должны, чтобы никто из Борислава не выходил!» — «Что вы вздор мелете? — вскрикнул я.— Не задевайте людей посреди дороги. Я вас не трогаю, оставьте меня в покое».— «Ну, так оставьте же и вы нас в покое, отвечают, возвращайтесь себе подобру-поздорову в Борислав, а туда ходить нельзя!» И, не вдаваясь со мной в дальнейший разговор, взяли меня за плечи —

да назад. Я начал вырываться, кричать, а они смеются. Сжали меня, словно клещами, проводили до самого Борислава и пустили. «Вот беда!» — подумал я, а сам, измученный, еле дышу. Остановился я, оглядываюсь, ан вижу, идут мои рабочие из Дрогобыча. «Ну, думаю, слава тебе господи, идет подмога! Из Борислава не пускают, но в Борислав, может быть, пустят». Да и шагаю навстречу им, радуюсь, что их так много, больше ста человек. Однако не много я успел пройти, как эта проклятая стража к ним: «Эй! Кто идет?» — крикнули. «Добрые люди, рабочие»,— отвечают те. «А куда идете?» — «Вот идем на работу, сюда, в Борислав».— «Нельзя!» — «Как это нельзя?» — «А вот так, нельзя. Вы разве не знаете, что мы посылали повсюду своих людей и просили, чтобы несколько дней никто не шел сюда на работу, пока мы для всех лучшей платы не добьемся?» — «Нет, не знаем»,— говорят дрогобычские. «Ну, так знайте теперь, и просим вас по-хорошему, поворачивайте назад, откуда пришли!» Рабочие начали колебаться, некоторые, очевидно, хотели вернуться назад и начали перешептываться с забастовщиками, другие же, хотя, возможно, и не верили этим словам, но боялись забастовщиков, видя, какое множество их собралось. Словом, пришедшие из Дрогобыча стояли, не зная, что делать и с чего начать. Это вывело меня из терпения. Я бросился в середину толпы и крикнул: «Не слушайте их, люди! Это разбойники, лодыри! Тюрьма им будет, а не лучшая плата! Идите на работу, не обращайте на них внимания! Восемь шисток в день каждому, что вам еще нужно?» Эти слова как бы ошеломили всех. Пришлые начали двигаться, чтобы податься вперед. Но эти стали стеной. «Стойте! Не пустим никого!» Я снова кричу: «Вперед, за мной!» Шум, гам поднялся, тумаки посыпались, пинки, а потом и камни... На крик сбежалось их много, началась драка такая, что и света не видно стало. Я и сам не помню, что со мной было. Несколько кулаков угодили мне и в лицо, и в ухо, и в затылок, и между плеч, так что я и опомниться не успел, как попал в самую сильную давку, а оттуда вытолкнули меня снова на бориславскую улицу. Я оглянулся,— борьба уже окончилась, пришлые бросились врассыпную и побежали в Губичи. Рев, крики: «Ура! Ура!» Даже оглушило меня, и я, видя, что ничем помочь не могу, вернулся сюда. Вот так-то!

И Леон, окончив свой рассказ, сплюнул и послал еще одно проклятье «этим разбойникам», которые ни с того ни с сего наделали им столько хлопот и готовы еще большую беду натворить. Все евреи умолкли на минуту, все они раздумывали над

тем, что услышали, но никто не мог ничего придумать, кроме одного: «Полиция и войско!» Только один Герман до сих пор не вмешивался в их разговор, а все еще стоял у окна и думал. По его наморщенному лбу и устремленным в одну точку глазам видно было, что его мысль работает с необычайным напряжением. И действительно, дело стоило того, чтобы о нем хорошенько подумать, наступал решительный момент, когда нельзя было ручаться за завтрашний день, когда нужно было как следует напрячь внимание, чтобы пройти целым и невредимым через все лабиринты враждебной судьбы.

— И еще, проклятые, смеялись надо мной,— выкрикивал раскрасневшийся от возбуждения Леон,— когда увидели, какой я изодранный и запыленный. Но погодите, посмотрим еще, кто будет смеяться последним — мы или вы!

«Мы или вы,— думалось и Герману,— а лучше сказать: я или вы! Э, что за мысль?—И он взмахнул рукой, словно желая поймать счастливую мысль, мелькнувшую в эту минуту у него в голове.— Так, так, вот она, настоящая дорога, по ней нужно идти. Удаться может очень легко, а если удастся, ну, тогда и спрашивать нечего, кто из нас будет смеяться,— я или вы!»

План военных действий быстро сложился в голове Германа, он вышел на середину комнаты и попросил у собравшихся минуты внимания.

— Слушаю вас и удивляюсь,— начал он своим обычным резким тоном.— Полиция! Разве полиция заставит рабочих лезть в шахты? Нет, арестуют одних, а остальных разгонят, но нам не станет от этого легче, потому что нам не порядок нужен, а рабочие, дешевые рабочие! Так или не так?

— Разумеется, так! — заговорили предприниматели.

— Войско! — продолжал Герман.— Это то же, что и полиция, только нам, вдобавок ко всему, пришлось бы кормить его, а пользы от него никакой. Я думаю, что оба эти способа ни к чему не приведут.

— Но что же делать, что делать?

— Вот в этом-то и весь вопрос, что делать! Я думаю, что рабочий бунт — это такая заразная болезнь, от которой всеобщих рецептов еще не придумали, а возможно, их и придумать нельзя. Один раз поможет это, другой раз то, в зависимости от обстоятельств. Нужно учитывать, с чего болезнь началась, как проявляется, ну и после действовать. В данном случае несомненно одно: платили мы им до сих пор, по нынешним голодным временам, маловато.

— Что? Как? Маловато? — зашумели все.

— Тише, молчите,— крикнул насмешливо Леон,— господин Гольдкремер желает поиграть в адвоката этих разбойников. Он, верно, предложит нам согласиться на все их требования и отдать им все, что имеем!

— Я ни в какого адвоката играть не хочу,— ответил резко, но спокойно Герман,— я даже не хочу играть в либерала, как это делал до вчерашнего дня господин Гаммершляг, и не буду этим разбойникам рекомендовать никакой «самопомощи»: я буду говорить только как гешефтман, als ein praktischer Geschäftsmann [1],— и больше ничего.

Леон прикусил губу при этих словах,— резкая отповедь Германа сильно уколола его, но он почувствовал, что не может на нее ничего ответить, и молчал.

— Я еще раз говорю,— продолжал, повышая голос, Герман,— платили им мало! Мы здесь все свои, значит, можем в этом признаться, если речь идет о том, чтобы узнать причину этого бунта. Волы не ревут, когда ясли полны! Разумеется, одно дело признаться в этом здесь, среди своих, а другое дело говорить что-нибудь подобное перед ними! Это бы нас зарезало!

— О, верно, верно! — вскричали предприниматели, радуясь такому обороту речи Германа.

— Я это для того говорю,— продолжал Герман,— чтобы убедить вас, что здесь нет никаких посторонних бунтарей и что дело это очень серьезное и важное и его необходимо как можно скорее уладить, чтобы из него не выросло еще большее несчастье.

— Куда уж больше, чем то, которое теперь вот на нас свалилось!

— Э, это еще пустяки,— ответил Герман,— не то еще может быть, если мы не сумеем вовремя справиться с бурей...

— Но как, как с нею справиться?

— Для этого, как я вижу, есть два средства. Очевидно, они к этому заговору заранее подготовились, и подготовились хорошо. Многие из них — взвесьте это! — покинули Борислав, по селам их посланцы уговаривали народ не идти сюда на работу, провизию заготовили. Одним словом, обеспечили себя. Но будьте любезны, учтите и то, что для всего этого нужны деньги, много денег. А откуда они у них возьмутся? Правда, мы слыхали о том, что они собирают взносы, но сколько они могли собрать? Ясно, что немного. Значит, первый мой совет был бы такой: сидеть нам спокойно, не обращать на них внимания,

[1] Как практичный делец *(нем.)*.

не хныкать, а ждать, пока все их запасы будут исчерпаны. Тогда они наверняка придут сами к нам и станут на работу за такую плату, какую мы им предложим.

Говоря это, Герман внимательно следил за лицами окружающих, чтобы прочитать на них, какое впечатление произведут его слова. Впечатление, по-видимому, было не очень хорошее, потому что многие лица так перекосились, словно от горькой редьки.

— Да, оно хорошо было бы,—сказал наконец Леон,—ждать! Если бы мы знали, что у них не сегодня-завтра припасов не станет. Но что, если они обеспечили себя на неделю либо на две?

— А откуда бы у них могло столько денег взяться? — спросил Герман.

— Кто знает? — ответили некоторые из евреев, переглянувшись с Леоном.

— А долго ждать мы не можем,— продолжал Леон.— Сами знаете, у нас контракты. Сроки близятся к концу, работа должна быть окончена как можно скорее, ждать нам нельзя!

— Ну если так, то остается только одно средство: удовлетворить их требования.

— Их требования! — вскрикнули предприниматели почти все в один голос.— Нет, никогда! Лучше войско и полиция!

— Но, господа,— успокаивал их Герман,— вы пугаетесь этих требований, будто они невесть чего требуют!

Шахтовладельцы застыли в недоумении, словно теленок перед новыми воротами. И в самом деле — им и в голову не приходило задать себе такой вопрос. Рабочие представлялись им до сих пор только врагами, которых во что бы то ни стало нужно одолеть, но вот постараться узнать их требования, вступить с ними в какой-то торг,— об этом они до сих пор и не думали. Первым пришел в себя Леон.

— Как это не знаем? Одного хотят: большей платы.

— Ну, еще никто не знает, что это за бóльшая плата,— ответил Герман.— Хотят ли они, чтобы им увеличили плату на пять центов, или вдвое против прежнего. Если только так, вообще «повышения», то в этом еще ничего страшного нет, можно и поторговаться. Но, я говорю, нужно прежде всего узнать точно, чего они хотят. Может быть, они вовсе этого не хотят или, может быть, кроме этого, еще чего-нибудь хотят? Ведь никто их об этом не спрашивал.

— Вы правы, надо спросить их самих, узнать, чего им надо! — заговорили предприниматели.

— Но кого же мы пошлем к ним? — спросил Герман.

— Пускай идет кто хочет, я не пойду,— сказал Леон.— Эти разбойники готовы разорвать человека.

— Если будет ваша воля поручить это дело мне,— сказал Герман,— то я с радостью приму на себя труд.

— Хорошо, хорошо! — раздались голоса.

— А если так, то прошу выслушать еще вот что. Пришла мне на ум одна вещь, которая может сделать их более податливыми. Как мы видим, ко всему они подготовились, продуктов накупили, сторожей расставили, но о жилищах, верно, не позаботились. Ведь все они живут в ваших домах! А что, если бы вы немедленно, сегодня же, всем отказали в жилье? Время уже довольно холодное,— как нарочно, этой ночью поднялся восточный, холодный ветер; если они вынуждены будут мерзнуть под открытым небом, то сразу почувствуют, что плохо с нами вести войну.

— Оно-то правда,— несмело отозвались некоторые,— но кто знает: захотят ли они уступить? Не разозлит ли их это еще больше?

— Посмотрим,— сказал Герман,— но попробовать, я думаю, можно! Ведь в этом нет ничего особенного! Каждый имеет право отказать постояльцу в жилье, когда ему заблагорассудится.

— Ну, попробуем,— ответили предприниматели.

— А если так, то идемте! Пойду к ним, узнаю, чего они хотят. А после полудня, этак около трех, прошу вас всех снова ко мне, узнаете, в чем дело, и мы сможем окончательно решить, что нам делать.

На этом предприниматели разошлись.

XVII

Надев шляпу и взяв в руки легонькую тросточку, пошел Герман по улицам Борислава к самому выгону, где было становище рабочих. Он шел так, словно ничего не замечал и ни на что не обращал внимания, пока не дошел до рабочего патруля, который стоял на дороге.

— Эй,— крикнули ему караульные,— куда идете?

— Я?.. К вам иду,— ответил Герман.

— К кому — к нам?

— Хотел бы поговорить с вами по-хорошему.

— О чем?

— О том, что пора вам за работу приниматься, времени жалко, а здесь, стоя да карауля, ничего хорошего не выстоите...

— Мы сами знаем, что не выстоим,— ответили некоторые из рабочих,— но что делать, если с вами иначе нельзя.

— Ну-ну, еще не известно, можно или нельзя. Вы нас не знаете. Вы думаете, если еврей, так уж не человек. А мы тоже люди и знаем, что кому полагается. Ну, что с вами долго говорить, скажу вам попросту — вы, конечно, знаете, кто я такой?

— Как не знать, знаем!

— Ну так скажу вам прямо — здешние хозяева-евреи, видя, что силой с вами не справиться, послали меня к вам, чтобы заключить мир, велели прежде всего спросить, чего вы хотите, чего требуете?

— Ну, это другое дело, коли так... мы это понимаем! — обрадовались рабочие.— Ступайте вон в тот дом, там сейчас соберется наш совет, вот вы и сможете поговорить.

Один из рабочих тотчас провел Германа в хату Матвея, а другой побежал созывать побратимов и других нефтяников, чтобы шли заключать соглашение. Недолго пришлось ждать Герману. Пришли побратимы, а следом за ними целая гурьба бастующих рабочих, которые не только наполнили тесную хату Матвея, но густо обступили ее кругом, любопытствуя, каково-то будет это соглашение.

В хате посадили Германа на скамейку, а побратимы и еще кое-кто из старых рабочих уселись вокруг стола, на топчане и на лежанке. Стасюра, самый старший из присутствующих, сел на почетное место, во главе стола, а Сень Басараб, как обычно, сидел на пороге, у дверей.

— Скажите же, пан Гольдкремер, всему обществу, зачем вы пришли,— сказал с достоинством Стасюра.

— Зачем я пришел?— повторил Герман, вставая со скамейки и оглядывая рабочих.— Меня прислали хозяева узнать, что вы думаете. Почему не хотите сами работать и другим не даете?

— Нельзя работать за такую плату, пан Гольдкремер,— ответил Стасюра.— Мало нам платите. Люди с голоду мрут.

— Платим, сколько можем! — ответил Герман.— Как бы мы стали платить вам больше, если больше нельзя? Дела идут плохо, откуда взять денег? Мы сами скоро нищими станем, по миру пойдем.

— Ну, этого уж вы нам не говорите! А впрочем, пан Гольдкремер, скажите откровенно: может ли нас касаться то, что у вас плохо идут дела, как вы говорите? Разве потому, что вы за центнер воска берете не пятьдесят, а только сорок девять гульденов, я должен умереть с голоду? Если у вас концы с концами не сходятся и ваше предприятие терпит крах, то вы

бросьте его; может быть, на ваше место придет кто-нибудь другой, такой, у которого концы с концами сойдутся. А если нет, то это будет означать, что все это дело совсем не окупает себя и его надо оставить, а взяться за что-нибудь другое. Но это уж ваше дело! Рабочего это нисколько не касается. Вы ему велите хоть лед пахать, воля ваша, а только платите ему так, чтобы он мог жить по-человечески!

— Дельно вы говорите, и умно вы говорите,— ответил Герман,— ну и пускай будет по-вашему. Не будем об этом спорить. Предприниматели и сами видят, что так дальше продолжаться не может, что всем нужно как-то жить, мы ведь тоже люди! Скажите, чего вы требуете, чтобы снова начать работу?

— И мы люди, пан Гольдкремер,— ответил Стасюра,— а не какие-нибудь разбойники, как вам, может быть, кажется. Мы не потому взбунтовались, что хотим вас ограбить, что ли, а потому, что нам так уж туго пришлось, что больше нельзя было терпеть. Поэтому и требования наши невелики. Так вот послушайте, пан Гольдкремер, чего мы хотим. Прежде всего, чтобы рабочим больше платили: тем, кто в шахтах работает,— по двенадцать шисток в день, тем, кто на-гора́,— по гульдену, а детям — по восемь шисток.

— Ну,— сказал Герман,— на это можно было бы согласиться. Что еще?

— Во-вторых, чтобы кассирного у рабочих никто никакого не брал.

— И это небольшое дело: кассирам будет запрещено, вот и не будут брать.

— В-третьих, в случае, если с кем-либо из рабочих на работе произойдет несчастье: смерть, увечье или еще что-нибудь, так чтобы хозяин обязан был платить за больницу и лекарства, а также помогать семье пострадавшего, хотя бы в продолжение полугода.

— Гм, и это еще, может быть, удастся как-нибудь сделать. Ну и все?

— Да словно бы и все, а словно бы и нет,— сказал Стасюра.— Собственно, еще самое главное осталось: нам нужна от вас порука, что после того, как мы заключим соглашение, вы на другой день не нарушите его.

— Порука? — повторил удивленный Герман.— Что же должно быть нашей порукой?

— И это тоже не такая страшная вещь, как может на первый взгляд показаться. Мы хотим основать у себя кассу, чтобы иметь поддержку в случае какой-нибудь нужды. Так вот мы

требуем, чтобы сейчас, прежде чем мы станем на работу, каждый хозяин от каждого промысла внес в эту кассу десять гульденов и обязался в дальнейшем точно так же от каждого промысла вносить еженедельно по гульдену. На этом и конец.

Герман стоял, вытаращив глаза, и не видел ничего. Это последнее требование было для него словно удар обуха по голове. До сих пор, выслушивая скромные и мелкие требования, он в душе начинал уже смеяться над рабочими, которые ради таких пустяков подняли целый бунт. Но теперь для него все стало ясно. Он сразу увидел, к чему ведет это требование.

— Но какая же это вам порука? — спросил он, делая вид, что не понимает смысла требования рабочих.

— Это уже наше дело,— ответил Стасюра.— Впрочем, как сами видите, порука небольшая, но что же делать: такая уж, видно, наша несчастная доля, что и поруки лучшей иметь не можем.

«Еще и насмехается, бестия!» — думал про себя Герман, не зная, как быть с этим требованием: торговаться или прямо отказать наотрез. Однако и то и другое казалось ему одинаково опасным.

— Нет, это невозможно,— сказал он решительно,— такого требования и не выставляйте, все равно ничего не выйдет! Придумайте для себя какую-нибудь другую поруку!

— Какую же еще придумывать? Довольно нам этой одной. Если вы думаете, что это невозможно, то придумайте сами что-нибудь другое, но такое, что нам действительно было бы порукой.

— Я полагал бы, что для вас должно быть достаточной порукой наше честное слово.

— Эге-ге, честное слово! Знаем мы эти честные слова! Нет, пусть уж честное слово в другой раз, а теперь сделайте так, как мы требуем. Честное слово разве только в придачу, так будет лучше всего.

— Но, добрые люди,— начал уговаривать Герман,— на что вы надеетесь, выставляя эти требования? Вы думаете, что вы здесь какие-то цари или самодержцы? Не выставляйте себя на смех! Требуете много, но ничего не получите, и весь Борислав будет смеяться над вами!

— Весь Борислав над нами будет смеяться? А кто же это, пан, весь Борислав? Борислав, пан,— это мы! И для нас пришло теперь время посмеяться над вами! Получим ли мы что или не получим, это уж потом видно будет, но теперь от своих требований не отступимся, будь что будет!

— Если такова ваша воля,— сказал Герман,— я скажу хозяевам о ваших требованиях и принесу вам ответ. До свидания!

И, гордо кивнув им головою, он вышел.

— Ну, теперь небось сами видите,— сказал после его ухода Бенедя,— что мы в точку попали, требуя от хозяев взносов в нашу кассу. Все они дадут нам сейчас, когда им туго пришлось, но это для них самое тяжелое. Отсюда для нас урок: именно на этом мы должны тверже всего стоять. Будь что будет, долго они не могут сопротивляться; нужно только нам крепко стоять на своем! Они хорошо знают, что если дадут нам с каждого промысла по десятке, то мы немедленно на следующей неделе сможем снова такую же забастовку у них под носом начать!

Между тем Герман в тяжелой задумчивости шел бориславской улицей. «И что случилось такое,— дьявол, что ли, надоумил этих людей? Ведь если им сразу столько денег отвалить, то это составит несколько тысяч, и они на эту сумму в любую минуту смогут нам выкинуть штучку еще почище. А забить им голову, чтобы они отказались от этого требования, тоже не удастся. Черт бы побрал все это!»

Придя домой, долго еще раздумывал Герман над этим делом и никак не мог додуматься до чего-нибудь путного. Уже и полдень минул, наступил третий час. Гурьбой валят предприниматели к дому Германа, чтобы узнать от него требования рабочих. Но, узнав их, и свету невзвидели.

— Нет, невозможно, невозможно! — закричали все в один голос.— Это нас разорит, это нас с сумой по миру пустит!

— Ну, тогда нам остается одно: ждать, пока их средства иссякнут.

— И этого нельзя делать!

— Да вы будто дети! — вскрикнул гневно Герман.— Ни дома меня не оставляй, ни в поле не бери! Так что же делать? Думайте сами, есть ли какой лучший выход.

Предприниматели притихли.

— Может быть, можно кое-что выторговать?

— Нет, нельзя. Я уже пробовал, и слушать ничего не хотят.

— Ну так пускай их черти заберут, если так! — кричали владельцы шахт.

— И я это говорю,— добавил Герман,— однако нам от этого не легче.

В эту минуту Леон, который молчал во время всей этой

перепалки, придвинулся к Герману и шепнул ему что-то на ухо. Герман встрепенулся и отчасти радостно, отчасти насмешливо взглянул на него.

— Только вы снова не проезжайтесь насчет моего вчерашнего либерализма,— прошептал тот, усмехаясь.— Что делать! Not bricht Eisen [1], а либерализм — не железо!

«Такие-то вы все либералы, пока дело до кармана не дошло!» — подумал про себя Герман, но вслух сказал:

— Что же, ваш совет неплох! У нас теперь одна забота: сломить их сопротивление, а это, верно, их немного охладит. Если бы только вышло!

— Как не выйдет? Должно выйти! Нужно только взяться как следует.

— Да что такое, что такое? — допытывались собравшиеся.

Леон начал шептать некоторым из них на ухо свой проект, который мгновенно шепотком разнесся по комнате; никто не решался высказать его громко, хотя все знали, что здесь «только свои».

— Ур-ра, вот это проект! — воскликнули радостно предприниматели.— Теперь мы им покажем, кто над кем будет смеяться. Ха-ха-ха! Проведем! Как маленьких проведем!

— Так, значит, согласны? — спросил Герман, когда улегся веселый говор.

— Согласны, согласны,— разумеется, с такой оговоркой.

— Если так, собирайтесь, и все вместе пойдем к ним. Все требуемые деньги надо выложить им сейчас же, и пускай они завтра приступают к работе!

С шумом двинулись предприниматели из дома Германа. Только Герман задержался на минутку, подозвал к себе Мортка и долго с ним о чем-то говорил. Лицо Мортка, рябое и некрасивое, осветилось какой-то воровской усмешкой.

— Ладно, хозяин, сделаю это для вас, но прошу вас помочь мне в том деле. Нехорошие вести доходят до меня.

— Не бойся, я за все отвечаю: все, что могу, сделаю для тебя.

И затем они вышли к толпе предпринимателей, которые, шумно разговаривая, стояли на улице. Но этот гомон не был уже таким беспечным и веселым, каким он был минуту назад. Холодный ветер улицы остудил немного радость шахтовладельцев.

— Кто знает, удастся ли это? Риск, риск! — слышалось в толпе, словно шелест увядшей листвы.

---

[1] Нужда железо ломает *(нем.)*.

— Ну что же делать? — сказал Герман.— Риск есть, но у нашего брата каждый шаг — риск, так уж рискнем, делая и этот шаг. Удастся — хорошо, а не удастся, то на этом еще свет не кончится, и они из наших рук не уйдут.

Толпа шла по улице медленно, словно это было торжественное шествие. Герман первым вошел в хату Матвея, чтобы раньше всех принести рабочим радостную для них весть. Слух о процессии евреев-предпринимателей прошел уже по Бориславу. Гурьба рабочих валила следом за ними, а другая гурьба ждала перед Матвеевой хатой. Но никто еще не знал, что это все значит.

— Ну что,— спросил Герман, когда рабочие уселись по-прежнему,— надумались вы?

— А что нам думать? — ответил Стасюра.— У нас одна мысль. Вот, может быть, вам бог послал иные мысли на душу.

— Это плохо, что вы такие упрямые,— сказал Герман.— Но, видно, ничего не поделаешь. Такова наша злая доля! Если кто с нами правдой не может совладать, тот прибегает к силе, зная, что мы против силы не устоим. Так и у нас с вами. Уперлись вы на своем слове, и нам приходится уступить. Не пришла гора к пророку — пришел пророк к горе.

— Значит, вы согласны? — спросил Стасюра.

— Ну конечно, что же делать? Согласны! И за это вы должны меня благодарить, слышите, люди? Были среди нас такие, что советовали напустить на вас полицию, войско, но я сказал: «Успокойтесь!» И в конце концов все увидели, что я прав, и согласились на ваши условия.

— На все?

— Ну конечно, на все. Лошадь без хвоста не покупают. Вон они идут сюда все, чтобы вам из рук в руки, здесь же, на месте, передать деньги для вашей кассы. Только вот наше условие: если мы должны платить в эту кассу, то мы должны и присматривать за нею.

— А это зачем?

— Как зачем? Ведь мы платим. А вдруг кто-нибудь раскрадет деньги?

— Ну это мы еще должны обсудить на совете, это еще мы посмотрим.

— Пусть будет так,— сказал добродушно Герман,— мы должны на вас положиться, потому что... Ну, потому что должны! Однако сейчас, по крайней мере, мы хотим знать: сколько денег сегодня поступит в кассу и где эта касса будет находиться?

Стасюра не мог на это ничего ответить. Он вылез из-за стола и начал шептаться с Сенем Басарабом, с Матвеем и Бенедей. Все они не знали, что и подумать об этой неожиданной податливости предпринимателей, а Сень Басараб сразу же заявил, что боится, не кроется ли за этим какая-нибудь хитрость. Но Бенедя, искренний и простодушный, рассеял их подозрения. В конце концов, все это не было похоже на подвох. Если бы хозяева хотели отделаться от них обещаниями, то придумали бы что-нибудь другое, но они, однако, хотят дать деньги, а деньги — дело верное: возьми деньги в руки, запри в сундук — и кончено. Побратимы поддались на эти уговоры и решили, что справедливость требует, чтобы и хозяева знали, сколько от них поступило денег в кассу и где эта касса находится.

— Пусть будет по-вашему,— сказал Стасюра.— Выберите двух среди своих, которые присутствовали бы при сборе денег; у них на глазах деньги будут положены в сундук, вместе со списком, кто сколько дал, на их глазах сундук и запрем, и так будет продолжаться каждую неделю, пока что-нибудь получше не придумаем, как нам быть с нашей кассой.

Нескрываемая радость лучом промелькнула на лице у Германа при этих словах. Громкий говор возле дома дал знать о приходе предпринимателей. Вот они уже начали входить в хату, дотрагиваясь рукой до шляпы, приветствуя рабочих отрывистыми «дай бог». Герман в нескольких словах по-еврейски рассказал им об условиях, и они быстро договорились, чтобы при сборе денег присутствовали Герман и Леон. Начался сбор. Прийдеволя записывал, кто сколько дает. Сначала подходили мелкие хозяева; они платили с кислым выражением лица, с оханьем, некоторые торговались, другие попросту недодавали по гульдену или по два. Более крупные предприниматели платили с шутками, с ехидными колкостями; некоторые давали по одиннадцать и по двенадцать гульденов, наконец Леон дал двадцать, а Герман — целых пятьдесят гульденов. Рабочие только поглядывали друг на друга, за окном то и дело раздавались радостные крики — это рабочие приветствовали свою первую победу в трудной борьбе за лучшую долю. Первую — и последнюю на этот раз!

Сбор денег окончился. Пересчитали деньги: их оказалось более трех тысяч. Сень Басараб с порога прокричал эту сумму всем собравшимся рабочим. Радости не было конца. Германа и Леона чуть не на руках несли, они только усмехались, красные и потные от духоты, которая стояла в тесной, набитой людьми хате. Деньги положили в окованный железом ящик, который должен

был стоять в хате у Матвея. Среди всеобщей шумной радости евреи удалились.

— Ура! Наша взяла! Ура! — долго еще кричали рабочие, расхаживая толпами по Бориславу. Веселые песни неслись из конца в конец.

— А завтра — на работу,— говорили некоторые, вздыхая.

— Ну и что ж! Не вечно же нам праздновать! И так праздновали три дня, словно на пасху, разве не достаточно? Это было наше настоящее светлое воскресение!

— А вы,— говорили некоторые на радостях Матвею и Сеню,— берегите нашу кассу как зеницу ока. Три тысячи серебром, да ведь это же сумма!

— А ну, паны нефтяники, чьей милости угодно, становись на работу! — кричали на улицах надсмотрщики.— До вечера полсмены! А ну, а ну!

Толпа рабочих валила за ними.

На заводе Леона через несколько минут после того, как было заключено соглашение, работа кипела. Леону не терпелось. Он хотел завтра окончить всю партию церезина, чтобы до конца недели упаковать и выслать в Россию. Он сгорал от нетерпения в эти дни вынужденного праздника, да и Шеффелю было как-то не по себе. Едва дождавшись соглашения, он немедленно, здесь же, позвал Бенедю и других рабочих, которые раньше работали на заводе, и послал их на работу.

Поздно ночью возвратился Бенедя домой. В доме не было никого. Матвей также был на работе,— сам Герман просил его, чтобы он работал непременно у него в шахте, по пятнадцать шисток обещал, и старый Матвей на радостях поддался. Шахта была глубокая, однако бóльшая ее часть была забита — нефти не было. Зато на глубине двадцати саженей шел первый ряд штолен, пятью саженями ниже — другой ярус, затем третий, в котором сейчас шла работа. Шахта была богатая, штольни давали ежедневно около десяти центнеров воска, а таких богатых шахт было у Германа более семидесяти. И Матвей пришел с работы поздно ночью, измученный, еле живой и, лишь только вошел в дом, бросился на постель и уснул, как колода. Он не видел, как вдалеке за ним на цыпочках крался улицами Мортко, как он, когда Матвей вошел в хату, не закрыв дверь, прошмыгнул в сени и притаился в уголке, как, наконец, когда Матвей, заперев дверь, разделся и уснул, тихонько вполз в хату, вытащил из-под печки ящик с деньгами, взял его под мышку и пополз из хаты. Никто не видел этого, разве только бледнолицый месяц, который время от времени боязливо выглядывал из-за тучи. И никто не

слыхал, как стукнул деревянный запор в сенях, как скрипнула дверь, как пробирался Мортко улицей,— никто не слыхал этого, разве только холодный резкий ветер, который налетал с востока на Борислав и стонал и завывал между крутых берегов близкой реки.

На другой день крик и шум поднялся в хате Матвея: деньги, рабочая касса, исчезли бесследно.

На другой день все рабочие узнали, что они рано смеялись! Хозяева встретили их насмешками, а то и бранью, угрозами. Плату сразу же назначили еще ниже прежней, а на бессильные проклятья и угрозы обманутых рабочих отвечали только смехом.

— Это чтобы вы знали, дурни, как с нами воевать! А где ваша касса, ну? Вы думали, что мы ни с того ни с сего в вашу кассу будем деньги класть? Погодите немного, успокойтесь! Борислав — это мы! И мы теперь смеемся над вами!

XVIII

С каким-то странным предчувствием собирался Ван-Гехт в дорогу из Вены в Галицию. Что-то словно подсказывало ему, что в этом новом, незнакомом ему мире ждут его немалые бури и беды, ждет его немало тревог и огорчений. Однако рассудок и официальный письменный контракт говорили ему, что в этом новом мире ждет его довольство и богатство, и у него не было причин не верить этому второму, отчетливому и ясному голосу.

Собираясь в далекий и неведомый путь, он подумал, что ему пригодился бы помощник, и мысль его сразу же остановилась на Шеффеле. Где он и что с ним? Он побежал в полицию — там указали ему квартиру его бывшего ассистента. Но на квартире Ван-Гехт ассистента своего не застал: несколько месяцев тому назад он выехал. Куда выехал? Этого не знали наверное, знали только, что выехал куда-то nach Polen. Хотя Ван-Гехт и не очень был склонен к подозрениям, все же это его заставило насторожиться: куда это nach Polen мог выехать Шеффель? «А жалко, что его нет,— думал он,— мог бы хорошие деньги заработать!»

Как вдруг перед самым отъездом из Вены Ван-Гехт получил письмо из России от одного высокопоставленного духовного лица, чуть ли не члена святейшего синода. Духовное лицо спрашивало его, что случилось с его проектом поставки церезина и почему планы его расстроились, или, быть может, он продал свой патент «Обществу горного воска», которое давно уже заключило со святейшим синодом контракт на эту поставку, внесло сто тысяч

рублей залога и скоро должно поставить первую партию — пятьдесят тысяч центнеров. Гром с ясного неба не напугал бы так бедного Ван-Гехта, как это дружеское письмо. «Что это? — вскрикнул он.— Откуда эта кара господня на меня? Кто смел, кто мог это сделать?» Словно ошпаренный, бросался он туда и сюда, не зная, что делать. Телеграфно запросил своего знакомого священнослужителя, чтобы тот оказал любезность сообщить, с кем имеет контракты это «Общество горного воска» и откуда ждет присылки церезина, но священнослужитель не отвечал,— возможно, он не знал и сам. Тогда Ван-Гехт побежал с его первым письмом и со своим патентом в государственную прокуратуру сообщить там о мошенничестве, могущем причинить ему огромный убыток. В прокуратуре сказали ему: «Хорошо, разыщите мошенника и можете быть уверены, что он будет наказан». Вот те на, разыщите мошенника! Если бы он знал его, если бы знал, где он! Словно сжигаемый лихорадкой, побежал Ван-Гехт в таможенное управление и добился распоряжения о том, чтобы в связи с заподозренным мошенничеством все грузы горного воска, которые отправляются из Галиции в Россию и Румынию, подлежали обстоятельной ревизии, и если бы среди них оказался церезин, то чтобы он был задержан и как corpus delicti [1] отправлен в государственную прокуратуру. Сам, за свой счет, не полагаясь на бюрократическую машину, Ван-Гехт разослал по телеграфу это распоряжение во все пограничные таможни, добавляя от себя обещание щедрого вознаграждения тому чиновнику, который обнаружит мошеннический груз. Сделав это, Ван-Гехт облегченно вздохнул и, быстро собравшись, двинулся в путь.

Однако мысль его, глубоко взволнованная, не переставала вертеться вокруг одного вопроса: кто мог это сделать? Дело ясное, только две возможности представлялись ему: либо кто-нибудь случайно, не зная о его патенте, открыл церезин независимо от него, либо Шеффель, которому известен был его секрет, выдал его. И если первая возможность, по мере того как он вдумывался в нее, казалась ему все более далекой, то подозрение относительно Шеффеля с каждой минутой крепло и казалось все более правдоподобным. Неожиданным и сильным подтверждением этого подозрения послужило и то, что он услышал об отъезде Шеффеля nach Polen.

И Ван-Гехт решил, как только приедет в Дрогобыч, начать разведывать стороной — не узнает ли что-нибудь о Шеффеле.

Счастье благоприятствовало Ван-Гехту. Приехав в Дрого-

---

[1] Вещественное доказательство *(лат.)*.

быч, он не застал Германа дома, а получил лишь записку от него, с просьбой съездить на завод и осмотреть черезиновый отдел, устроенный по его плану. Он поехал на завод. Там застал строителя, который наблюдал за установкой котла. Осмотрев черезиновый отдел, Ван-Гехт высказал строителю свое полное удовлетворение, а так как строитель, окончив работу, должен был также возвращаться в Дрогобыч, Ван-Гехт пригласил его в экипаж, в котором он сам приехал. Сели. Разговорились. Строитель рассказывал Ван-Гехту о Бориславе и о том, что там вчера вспыхнули какие-то беспорядки, о которых до сих пор еще никто ничего определенного не знает.

— Вероятно, обычная мужицкая непокорность, ничего серьезного! — добавил он презрительно.

Затем разговор перешел на другие бориславские темы, на положение восковой промышленности и воскового рынка. Из разговора видно было, что о новом черезине строитель ничего еще не знает, и Ван-Гехт начал думать, что вряд ли от него можно будет что-нибудь узнать о том, что его интересует. Но строитель разговорился и говорил уже обо всем, что только подвернется на язык.

— Я вам говорю, что вся эта штука недолго продлится,— болтал он,— чуть что, все прахом пойдет, вылетит в трубу. Мелкие хозяева только каким-то чудом держатся, и достаточно какой-нибудь случайности, чтобы все они пошли с сумой. Но и среди более крупных предпринимателей, разумеется, за исключением одного только Германа Гольдкремера, нет ни одного солидного дельца. Все шаромыжники, все обманщики. Вот, пожалуйста, один из богатеев здешних начал строить новый завод, какой-то новомодный завод, и, желая замаскироваться, говорит мне, что это будет паровая мельница. Дает мне план, я уж и забыл, чьей работы был этот план. Ну, ничего, глянул я, вижу, что это нефтеочистительный завод, а не мельница, но, думаю про себя, если тебе хочется, чтобы это была мельница, пускай будет мельница. А он, дурень, еще во время закладки взял да и проговорился, да еще и меня скомпрометировал. Ну — скажите же, разве можно с такими людьми солидное дело иметь?

Ван-Гехта не очень заинтересовал этот рассказ. Но чтобы не показаться невежливым и хоть как-нибудь поддержать разговор, он спросил строителя:

— Говорите, новомодный какой-то завод? А не можете мне сказать, что в нем новомодного?

— Не могу вам этого сказать, потому что, видите ли, строительство это я не вел. Но если вы с этим делом ближе знакомы,

то я вам скажу, какой системы этот завод. Позвольте, позвольте, теперь припоминаю — завод строился по плану какого-то Шеффеля; вероятно, вы знакомы с его системой производства?

Ван-Гехт даже привскочил с сиденья, словно пораженный внезапным ударом электрического тока.

— Шеффеля, говорите? Ну и что же, завод этот уже готов?

— О, давно готов! Говорят, работает день и ночь.

— А имя владельца этого завода?

— Леон Гаммершляг.

Ван-Гехт записал это имя в свою записную книжку.

— Не можете ли вы мне сказать,— простите, что так докучаю вам,— где находится этот завод?

— В конце Борислава. Вот этой дорогой вниз, вдоль реки, через вон то село,— называется Губичи,— и, не доезжая Борислава, налево над речкой.

— Благодарю вас. Меня очень интересует эта новая система производства. Я должен сегодня же поехать и осмотреть этот завод. До свидания!

Коляска остановилась как раз перед домом строителя,— тот с ловкостью элегантного человека старого склада пожал Ван-Гехту руку, выпрыгнул из коляски и пошел к себе в дом.

Ван-Гехт добрую минуту раздумывал, что ему делать, а затем велел везти себя к Герману обедать.

«Пускай будет и так,— думал он дорогой,— теперь я держу его в руках, теперь он не уйдет от меня!»

XIX

Счастливый, радостный и разодетый, как на праздник, вошел Готлиб в комнату, в которой сидела Фанни. Он впервые должен был встретиться с нею после того, как их дело было счастливо улажено между его матерью и ее отцом. Он шел, земли под собой не чуя: голова его полна была картин будущей счастливой жизни, сердце полно было несказанной страсти, неугасимого огня. Какой-то он застанет ее? Как она радостно улыбнется ему навстречу, как, чудесно зарумянившись, упадет в его объятия, склонит прекрасную головку на его плечо, как он будет целовать, ласкать, голубить ее! Все это, подобно розовым зарницам, вспыхивало в его воображении, и он не шел, а летел, земли под собой не чуя, чтобы как можно скорее увидеться с нею.

Но что это? Вот она стоит у окна, спиной к двери, прислонившись головой к стеклу, и либо не слышит, что он пришел,

либо не хочет обернуться. Ее платье из какого-то серого шелка хоть и дорогое, но все же как-то буднично выглядит: ни одной ленточки, ни одной блестящей металлической безделушки, которые она так любит,— ничто не свидетельствует о том, что она ждет чего-то хорошего, радостного, праздничного. Тихонько он приблизился к ней, взял ее за плечо и наклонился, чтобы поцеловать в лицо, как вдруг отскочил, словно ошпаренный, увидя обильные слезы на ее глазах и услыхав одновременно заглушенные, прерываемые рыданиями слова:

— Уйди от меня!

— Что это? Фанни, что с тобой? Фанни, сердце мое, отчего ты плачешь?

— Уйди, не говори мне ничего!

— Как это не говорить? Что же это такое? Или я уж тебе так ненавистен, так противен стал, что и взглянуть на меня не хочешь, Фанни?

И он снова положил свои руки на ее плечи, слегка сжимая их. Фанни еще сильнее заплакала, но не оборачивалась.

— Уйди прочь! Разве ты не знаешь, что нам нужно расстаться, что нам вместе не быть?

— Нам? Расстаться? Что ты говоришь, Фанни? Ты, верно, нездорова? Нам не быть вместе? Кто смеет это говорить?

— Мой отец.

— Твой отец? Это когда же? Ведь недавно, третьего дня, он дал слово моей матери, разве мог он взять назад свое слово?

Фанни невольно обернулась, услыхав эти слова,— она и сама не знала, что это значит.

— Наоборот, Готлиб, мой отец сказал твоей матери, что не отдаст меня за тебя, что имеет в отношении меня какие-то другие виды.

— Но мать совсем иное говорила мне!

— А я тебе говорю правду, я все слышала!

— Так, значит, моя мать обманула меня?

— Она, может быть, так только... Чтобы ты не волновался...

— Господи, так это правда! Нет, не может быть! Чем я виноват перед твоим отцом, чем ты перед ним виновата, Фанни, что он хочет нас живыми зарыть в могилу?

— Я не знаю, Готлиб!

— Но нет, нет, нет,— он при этом от ярости топнул ногой,— этого не может быть! Я не дам играть с собой, как с котенком! Я не котенок, Фанни, я волк, я умею кусаться!

Он покраснел, как свекла, его глаза начали наливаться кро-

вью, ярость перехватила дыханье. Фанни смотрела на него, словно на святого. Никогда он не казался ей таким привлекательным, как в эту минуту дикой ярости. Передохнув немного, Готлиб продолжал уже несколько спокойней:

— Но скажи ты мне, бога ради, Фанни, почему твой отец не хочет выдать тебя за меня замуж?

— Не знаю,— ответила Фанни.— Мне кажется, что он зол за что-то на твоих родителей.

— А ты, Фанни, ты,— и он с диким жаром всматривался в ее глаза,— ты вышла бы за другого, если бы твой отец приказал тебе?

— Готлиб, как ты можешь спрашивать об этом? Ты же знаешь, я выплакала бы свои глаза с тоски по тебе, я умерла бы с горя, но против воли отца не пошла бы.

— Значит, ты меня не любишь?

— Готлиб! — И она упала в его объятия. Печаль и грозящая разлука придавали силы их ласкам, слезы делали более горячими их поцелуи.

— Но какие виды может иметь твой отец в отношении тебя, Фанни?

— Разве я знаю? Ведь ты же знаешь, мой отец богат, имеет связи с разными купцами и банкирами, может быть, захочет выдать меня за кого-нибудь из них.

— Проклятое богатство! — буркнул сквозь зубы Готлиб.

— Я бы хотела, чтобы мой отец был беден,— сказала печально Фанни,— тогда он нуждался бы в милости твоего отца и с радостью выдал бы меня за тебя.

Глаза Готлиба загорелись при этих словах девушки. Он крепко сжал ее руку, так что она даже вскрикнула.

— Хорошо говоришь, Фанни,— сказал он решительно,— и я так говорю. Прощай!

— Куда ты?

— Не спрашивай! Я постараюсь устранить все препятствия, которые стоят на пути к нашему счастью. Ты должна быть моей, хотя бы для этого...

Она не слыхала конца его слов. Словно грозовая туча, выбежал он из дома Леона, и у бедной Фанни тревожно сжалось сердце.

— Что он хочет сделать? — прошептала она.— Он такой быстрый и пылкий, он так горячо и безрассудно любит меня, что готов наделать беды. Господи, храни его!

А Готлиб, выйдя на улицу, остановился на минуту, словно раздумывая, куда идти. Затем очнулся и помчался домой.

— Мама! — вскричал он, вбегая в комнату матери.— Зачем вы обманули меня?

— Как? Когда?

— Зачем вы сказали, что Леон обещал выдать свою дочь за меня?

— А что, разве не хочет?

— Ведь он и вам сказал, что не хочет! Разве нет?

— Да, сказал. Паршивец он, сынок, я тебе давно говорила, чтобы ты с ними не знался.— Все это Ривка говорила словно сквозь сон, словно это были какие-то смутные, столетней давности воспоминания. Но Готлиба эта сонливость вывела из терпения. Он топнул ногой так, что окна зазвенели.

— Мама! Я вам раз и навсегда сказал, чтобы вы говорили со мной толком! Я вам раз навсегда сказал, что люблю дочку Леона и что она должна быть моей, поэтому не смейте дурно говорить о ней! Понимаете или нет?

Ривка дрожала всем телом от этих грозных слов, значение которых она понимала лишь наполовину, и, словно зачарованная, не сводила глаз с его лица.

— Хорошо, сынок, хорошо! Но чего же ты хочешь от меня?

— Я хочу, чтобы Фанни была моей.

— Но что же делать, если этот паршивец не хочет выдать ее за тебя?

— Должен, мама!

— Должен? Но как же ты его заставишь?

— Вот об этом я и хотел с вами посоветоваться, мама.

— Со мной? Что же я тебе могу посоветовать? У тебя, сынок, ума больше, нежели у меня, делай, как сам знаешь.

— А, так вот вы как! Рассердили Леона, оттолкнули его, а теперь «делай как знаешь»! Вижу, как вы меня любите!

Ривка начала всхлипывать, как малое дитя:

— Сынок мой, сыночек, только этого мне не говори! Все, что хочешь, только не говори мне, что я тебя не люблю.

— А как же мне не говорить, если вы всему моему горю виной, а теперь и посоветовать не хотите, как этому горю пособить.

Бедная Ривка билась, словно рыба в сетях. Она так рада была бы подумать и придумать что-нибудь очень-очень хорошее, умное для своего сына, но ее больные, непослушные и нескладные мысли путались и расползались в беспорядке,— она перебирала тысячи советов, один за другим, и, не сказав ни слова, отбрасывала их, видя, что они совсем не ведут к цели.

— Ты, ты, сыночек, пойди к нему и попроси его... или нет, лучше подговори кого-нибудь из работников, чтобы хорошенько

его поколотили... или вот еще лучше всего было бы столкнуть этого мерзавца где-нибудь с моста в воду... или нет... ох, что это я хотела сказать...

— Глупая вы, мама!

Ривку обрадовало это слово, оно сняло с нее страшное бремя: необходимость думать.

— Вот видишь, сынок, я тебе говорила, что я ничего путного не придумаю, потому что я глупая, сынок, очень глупая, как пень, как бревно дубовое! Ох, моя голова, моя бедная, глупая, бестолковая голова! — И Ривка горько зарыдала, сама не зная отчего.

Вдруг она встрепенулась, взгляд ее оживился.

— Слушай, сынок, что я придумала!

— Что такое?

— Он говорил, что у него есть другие виды на дочь: верно, за богача какого-нибудь хочет ее выдать.

— Ну, верно.

— Если бы он был беден, то отдал бы дочь за тебя.

— Ну, верно.

— Ну, а разве же это большое дело — из богача сделать бедного?

— Небольшое.

— И я так думаю. Поди ночью, подложи огонь под его проклятый завод — все его богатство за один час с дымом улетит, и дочка будет твоей!

Глаза Готлиба загорелись:

— Хорошо говорите, мама! И я тоже так думаю! Спасибо вам!

И он выбежал из комнаты, оставив Ривку наедине с ее мыслями. Она вначале сидела обессиленная, утомленная необычной работой мысли, и улыбалась тому, что вот, мол, какой мудрый совет дала она сыну. Ее лицо в эту минуту напоминало лицо идиота, который хохочет, отрубив голову своей любимой кошке. Но недолго продолжалось это идиотское спокойствие. Внезапно налетела минута просветления. Ривке вдруг ясно стало, в какую бездонную пропасть толкнула она своего сына: ей вдруг представилось, как ее сын подкрадывается с горящей паклей к высокому темному зданию, как поджигает, убегает, его ловят, бьют, заковывают в кандалы, бросают в какое-то глубокое-глубокое сырое подземелье,— и она в страшном отчаянии схватилась руками за голову и, начав рвать на себе волосы, закричала:

— Сын мой! Сын мой! Вернись!

Но Готлиб был уже далеко и не вернулся.

XX

И снова побратимы собрались на совет в доме Матвея. Будто с креста снятые, сходились они, словно разбитые, сидели они на скамейках с опущенными глазами, не смея взглянуть друг на друга, будто это они были виновны в несчастье, постигшем рабочую массу. А всех больше поддался горю Бенедя. По его впалым, помутившимся глазам, по его пожелтевшему, почти зеленому лицу, по согбенной, надломленной фигуре, по бессильно повисшим рукам видно было, что вся его жизненная сила подорвана, что улыбка больше не появится на этих увядших устах, что он живет уже чужой, кем-то одолженной ему жизнью, что рабочее горе убило, раздавило его. Сколько он пережил за эти два дня! С какой болью вырывал он из своего сердца одну за другой золотые надежды! Первая минута, когда они с Матвеем увидели, что дверь не заперта, и затем, словно втянутые сюда какой-то зловещей рукой, убедились, что ящика нет,— эта первая минута была самой тяжелой, самой страшной минутой в его жизни. Все силы разом покинули его, тело застыло, память погасла, он стоял, скрючившись, и не мог пошевельнуться. Лишь понемногу вернулось к нему сознание, чтобы принести еще более тяжелые мучения. Что скажут рабочие? Что скажут побратимы? Не возникнет ли у них мысль, что они, подкупленные хозяевами-евреями, отдали им кассу? Эта страшная мысль словно огонь жгла его сердце. «И это совсем просто,— шептал ему какой-то злорадный упрямый голос — ведь нас двое в доме, взлома нет никакого, следов никаких — дело ясное, что сундук взяли при нас и с нашего ведома! И я — предатель! Я, который всю свою жизнь, всю свою душу вложил в это дело, разве я мог бы стать причастным к его гибели!..» И хотя в тот же день Мортко громко и со смехом признался в присутствии Матвея и других рабочих, что это он выкрал кассу, что она находится сейчас в гораздо большей безопасности у Германа и что «кто хочет, пусть на меня жалуется, еще и сам попадет в каталажку за недозволенные сборы»,— от этого признания Бенеде не стало легче. Мысль его находила все новые и новые тернии, которыми снова и снова терзала свои собственные кровавые раны. Кто видел Бенедю во время рабочей забастовки — энергичного, неутомимого, радостного, всегда сосредоточенного и всегда готового помогать другим, вдохновлять и ободрять, и кто видел его теперь — жалкого, сгорбившегося, дрожащего,— тот подумал бы, что это другой человек или что он перенес какую-то тяжелую болезнь. И Бенедя действительно переживал тяжелый недуг, от которого, он сам это видел, исцеленья для него не было.

Не меньше поддались горю и другие побратимы, особенно Матвей и Стасюра. Только братья Басарабы не изменились и, казалось, не очень горевали. Даже больше того: на их лицах светилось нечто вроде тайной радости, словно вот наконец исполнилось то, чего они давно ожидали.

— Что ж, побратимы,— сказал Андрусь после минуты тяжелого молчания,— наш прекрасный сон окончился, разбудили нас!

Никто не отозвался на эти слова...

— Что печалиться, братья,— заговорил снова Андрусь, и голос его становился все более мягким,— печаль не поможет. Что с возу упало, то пропало, и оно, верьте мне, должно было так случиться! От наших хозяев таким путем ничего не добьешься, я это с самого начала говорил. Не такой они народ, чтобы с ними можно было что-нибудь сделать по-хорошему. Так или иначе, то что произошло несколько дней тому назад,— великое дело! А пакость эту они не теперь, так в четверг все равно сделали бы. Нечего нам теперь и думать о том, чтобы поступать с ними так, как мы поступали до сих пор!

— Так что же делать? — не то проговорил, не то простонал Венедя.— Неужто опустить совсем руки и сдаться на их милость?

— Нет, и еще раз нет! — живо подхватил Андрусь.— Нет, побратимы, наша война с богачами только начинается. То, что было до сих пор,— это забава, шутка, теперь нас ждет настоящий, великий, горячий бой!

В словах Андруся было столько силы, столько огня и энергии, что все невольно взглянули на него.

— Да, теперь мы должны показать, что и хозяева рано смеются над нами, что Борислав — это все-таки мы, рабочий народ! Теперь мы увидели, что по-хорошему с ними воевать нельзя, так попробуем по-иному.

— Мы и до сих пор, Андрусь, не... не совсем по-хорошему воевали. Они лишь отплатили нам зуб за зуб.

В этих словах, полных муки, звучал такой острый и глубокий укор, что Сень Басараб, который, потягивая трубку, сидел у порога, вскочил с места и шагнул к Бенеде.

— Не попрекай, не попрекай прошлым, Бенедя! — сказал он с силой.— Ведь сам ты знаешь, что без этих нечистых денег и твоя чистая война не могла бы начаться.

— Я никого ничем не попрекаю,— кротко ответил Бенедя,— я знаю сам, что так должно быть, что такая уж наша несчастная доля, что только неправдой вынуждены мы из неправды выбираться, но, побратимы мои, верьте моему слову,— чем меньше

неправды будет на руках наших, тем вернее будет наш путь, тем скорее победим мы своих врагов!

— Эге, если б наши враги тоже так думали и тоже честно с нами поступали, тогда, верно, и мы должны были бы равняться по ним, а не то и опередить их! — сказал Андрусь.— Но теперь, когда правда связана, а у неправды нож в руках, я боюсь, что пока правда правдой же развяжет себя, неправда и вовсе зарежет ее. Но не об этом мы должны сегодня говорить, а о том, что нам делать теперь. Я думаю, что у нас только одна дорога осталась, но прежде, чем я скажу свое слово,— кто знает, может быть, кто-либо из вас придумает что-нибудь иное, получше... поделикатнее, потому что мое слово будет страшное, братья... Так вот прошу вас, у кого есть что сказать, пускай говорит. Ты, Бенедя?

— Я... ничего не скажу. Я не знаю, что нам теперь делать. Разве только начать сызнова то, что потеряно?

— Эге-ге, далекая дорога, да и на ней мосты взорваны. Нет, ты уж лучше что-нибудь другое придумай!

Бенедя молчал. Что он мог теперь придумать?

— А вы знаете какой-нибудь способ? — спросил Андрусь остальных.— Говорите.

Никто не откликался. Все сидели, угрюмо понурив головы, все чувствовали, что приближается что-то страшное, какое-то великое уничтожение, и в то же время чувствовали, что они не в силах его предотвратить.

— Ну, коли никто не говорит, так я буду говорить. Одна нам теперь дорога осталась: подпалить это проклятое гнездо со всех четырех сторон. Вот мое слово.

Бенедя вздрогнул.

— Не бойтесь, невинные не пострадают вместе с виновными. Все они виновны!

Молчание воцарилось в доме. Никто не перечил Андрусю, но и поддакивать ему никто не решался.

— Ну, что же вы сидите, как неживые? Неужто вы такие вояки, что войны боитесь? Вспомните же, с какими мыслями все вы вступали в побратимство. Ведь у нас еще хранятся палки с отметинами, и нет ни одного владельца шахты в Бориславе, на которого бы отметки не было. Вы недавно напоминали мне о расплате. Сегодня день расплаты, только к прежним отметкам прибавилась еще одна новая, самая большая,— это то, что они обманули и обокрали все рабочее общество, ясно показав таким образом, что хотят нас вечно держать в безысходной неволе. Неужели вам мало этого? Я думаю, одна эта отметина стоит всех!

— Но что же это будет за расплата: подожжете несколько домов, несколько складов, вас похватают и посадят в тюрьму, а если нет, то хозяева снова скажут: «Случайность!»

— О нет, не так оно будет. Если приступать к такой войне, то уж всем миром,— сказал спокойно Андрусь.

— Но разве это возможно? Пускай один найдется из всех, который выдаст, и все вы пропадете.

— И так не будет. Каждый из нас, кто согласится на это дело и пообещает руки к нему приложить, подберет себе десять — двадцать человек, которым можно довериться и, не говоря ничего, прикажет им в назначенное время собраться в назначенном месте. Тогда даст сигнал. А если бы что открылось, я беру все на себя.

— Но ведь рабочие сейчас разъярены, обозлены на хозяев, может произойти еще большее несчастье,— продолжал Бенедя, защищаясь всякими, хотя бы и самыми слабыми, доводами против страшной уверенности Андруся.

— Тем лучше, тем лучше! — даже вскрикнул Андрусь.— Теперь скорее удастся моя война, после того как твоя разъярила людей. Ты оказал мне самую большую помощь, и за это я сердечно благодарю тебя.

— Ты страшен, Андрей! — простонал Бенедя, закрывая глаза руками.

— Я такой, каким сделала меня жизнь, и они, заклятые враги мои! Слушай, Бенедя, слушайте и вы, побратимы, мой рассказ,— будете знать, что навело меня на мысль основать такое побратимство для мести хозяевам-евреям. Отец наш был самый зажиточный селянин на всю Баню. Это было после отмены панщины; отец наш арендовал у помещика корчму, чтобы не допустить захожего корчмаря-еврея в село. Прибыли большой от этой аренды он не имел, только то нажил, что соседние евреи-корчмари страшно на него взъелись. Отец торговал честно, водку водой не разбавлял, и отовсюду народ шел к нему. Другие корчмари готовы были растерзать его за это. Сперва начали перед паном вертетья, чтобы под отца подкопаться, но пан знал отца и не верил доносчикам. Видя, что таким способом ничего не добьются, корчмари взялись за другие средства. Они подговорили воров, а их тогда много было по селам, и начали вредить отцу. Раз пару коней из конюшни вывели, потом, опять же, бочку водки выпустили, потом еще в амбар забрались. Но и этим способом не могли они отца свалить. Покража отыскалась, а те, что бочку выпустили, сами выдали себя и должны были оплатить убыток. Тогда враги, видя, что делать нечего, подожгли нас. Едва

живые мы повыскакивали, все сгорело. Отец наш был сильный, твердый человек, все эти несчастья не сломили его. Бросился он туда-сюда,— к помещику, к соседям, помогли ему, начал он снова становиться на ноги. Тогда корчмари подговорили нескольких пьяниц, бывших панских лакеев, убить отца. Те напали на отца ночью посреди дороги, но отец справился с ними и одного, оглушенного, приволок домой. Тот во всем признался, кто его подговорил и сколько заплатил. Отец — в суд: два корчмаря-еврея угодили в тюрьму. Тогда остальные взяли и отравили отца. Зазвали его якобы на пирушку по случаю примирения и дали что-то; как пришел домой, так сейчас же и свалился как подкошенный, недели не прошло — умер. Помещик, который очень любил отца, прислал комиссию, комиссия обнаружила яд, но некому было добиться правды, и дело заглохло. Еще и матери злодеи пригрозили, чтоб пикнуть не смела, иначе, мол, плохо будет. Мать испугалась и оставила их в покое. Но нас злодеи ненадолго оставили в покое. Они, видно, решили совсем уничтожить нас. Мать наша умерла от холеры, остались мы с Сенем — сироты-подростки. Вместо нашего отца корчму держал уже какой-то чужак,— вот он-то теперь и привязался к нам. Сюда-туда, втерся он в опекуны к нам и взял нашу землю в свое пользование, а нас на воспитание. В нашем селении и тогда уже пришлых людей было достаточно, и не диво было, что захожий еврей стал опекуном христианских сирот. Ох, и узнали же мы эту его опеку! Вначале было нам хорошо, словно у Христа за пазухой: опекун угождал нам, работать не принуждал, еще и водочкой угощал. Однако чем дальше, тем хуже, и, наконец, он превратил нас в своих батраков. Мы начали домогаться своей земли, но опекун тем временем сумел уже так снюхаться с панами и с начальством, что у нас вовсе отсудили эту землю. Все же корчмарь еще не чувствовал себя спокойным и старался окончательно от нас избавиться. Начал подстрекать отпускников-солдат, чтобы те били нас; потом подкупил войта, чтобы тот настоял в приемной комиссии и нас забрали бы в солдаты. Но мы все пережили и, отбыв военную службу, вернулись назад в село. Еврей задрожал; он знал, что мы не простим ему свою обиду, и старался опередить нас. Пригласил нас к себе будто бы в гости и хотел отравить, как отца. Но на этот раз хитрость не удалась ему. Мы узнали об этом и силком накормили его самого тем кушаньем, которое он нам приготовил. Через неделю его не стало. Тогда мы покинули свое село и ушли сюда, а дорогой поклялись до самой своей смерти мстить этим кровопийцам. Мы решили поступать с ними так, как они с нами: поднимать против них как можно

больше людей, вредить им, где можно, и делать это так ловко, чтобы они и сами не знали, откуда на них обрушится беда. С того времени прошло уже десять лет. Как мы до сих пор выполняли свою клятву, об этом не буду рассказывать. Но самая большая наша месть приближается теперь, и кто хочет быть нашим братом, нашим истинным другом, кто хочет мстить за свои и за общие обиды, тот пойдет вместе с нами в этой борьбе!

Последние слова Андрусь произнес приподнятым, почти торжественным голосом. Его рассказ, сухой, отрывистый, словно нехотя рассказанный и вместе с тем такой тяжелый и соответствующий мрачному настроению всех побратимов, произвел на них огромное впечатление. Прийдеволя первый вскочил и подал руку братьям Басарабам.

— Вот вам моя рука,— сказал он,— я с вами хоть и в могилу! Что будет, о том не беспокоюсь, а что скажете, то сделаю. Лишь бы только отомстить, ни о чем больше я не думаю!

— И старого Деркача авось также не отвергнете,— послышался голос из угла, и лицо Андруся осветилось улыбкой.

— Никого не отвергнем, браток, никого,— сказал он.

Вслед за Деркачом один за другим заявили о своем согласии все побратимы, кроме старого Матвея, Стасюры и Бенеди. Андрусь радовался, шутил.

— Ну, эти два староваты, от них нам все равно пользы большой не было бы. А ты, Бенедя? Все о своих «чистых руках» мечтаешь?

— О чем я мечтаю, это дело десятое, это только меня касается. Но одно вижу, что наши дороги нынче расходятся. Побратимы, дозвольте мне сказать вам еще слово, прежде чем совсем разойдемся.

— Что там его слушать! — буркнул, сплевывая, Сень Басараб.

— Нет, говори! — сказал Андрусь, который теперь чувствовал себя по-прежнему главой и руководителем этих людей, преданных ему душой и телом, и в этом чувстве обрел снова ту уверенность и силу в обращении с людьми, которые отличали его прежде и которые едва не покинули его во время недолгого предводительства Бенеди.— Говори, Бенедя, ты был хорошим побратимом и искренне хотел для всех добра, мы верим, что ты и теперь того же хочешь. А если дороги наши расходятся, то это не потому, что мы по своей воле отрекаемся от твоих советов, но потому, что судьба толкает нас туда, куда ты или не можешь, или не хочешь идти с нами.

— Спасибо тебе, Андрусь, за твое доверие! Но в то, что ты говоришь про судьбу, которая будто бы толкает нас на злое дело,— вот в это я никак не могу поверить. Какая тут судьба? Если хозяева-евреи обманули и обокрали нас, если они связали нам руки и закрыли нам временно дорогу к спасению, то разве из этого вытекает, что мы должны отказаться от своей чистой совести, стать поджигателями? Нет, побратимы мои, и еще раз говорю — нет. Перетерпим эту несчастную годину. Время залечит все раны, успокоит наш гнев, мы постепенно найдем в себе силы начать погубленное дело сначала, и когда-нибудь мы снова поставим его на ту ступень, на которой оно было недавно. Только уж тогда, наученные однажды, будем более осторожными. А своим поджогом что вы сделаете, кому поможете?

— Им навредим, и этого нам достаточно! — крикнул Сень.

— Ох, недостаточно, побратим Сень, недостаточно! Может быть, тебе, вам нескольким и достаточно, потому что вы в том поклялись. Но другим? Всем рабочим? Разве они будут сыты оттого, что владельцы шахт разорятся? Нет, они будут вынуждены работать по-прежнему и довольствоваться еще меньшей платой, потому что богатый все-таки, хоть по принуждению, может заплатить больше, а бедный не может. А если, не дай боже, откроется ваш заговор, многие из вас пойдут тогда гнить в тюрьму, или, кто знает, что еще может случиться. Нет, побратимы, прошу вас еще раз, послушайте моего слова: оставьте свои страшные замыслы, будем и дальше трудиться сообща так, как начали, а месть оставим тому, кто взвешивает правду-кривду и каждому отмеряет по делам его.

— Те-те-те, ты уж что-то поповское запеваешь,— ответил насмешливо Сень.— Не время нам ждать этой промерки, о которой до сих пор что-то мы ничего не знаем. По-моему, так: у кого крепкие кулаки, тот сам себе отмеряет правду. И нам так же надо поступать. Кто сам себе помогает, тому бог поможет!

— Да, побратим Бенедя,— сказал уже мягче, ласковее Андрусь,— нельзя нам назад возвращаться. Размахнулись топором, так уж надо рубить, хотя бы этот топор и нам в зубы угодил. Если ты не хочешь с нами компанию держать, мы тебя не насилуем. Конечно, мы надеемся на тебя, что не выдашь нас.

— Что ж, если иначе нельзя, если так должно быть,— сказал Бенедя,— то пускай будет так, останусь с вами до конца. Поджигать с вами не пойду, этого от меня не требуйте, но останусь здесь, на месте. Может быть, еще смогу вам в чем-нибудь другом помочь или посоветовать, так грех был бы, кабы я в такую горячую пору убежал от вас ради собственной безопасности.

— И я также! И я также! — сказали Стасюра и Матвей.— Все мы стояли до сих пор дружно, в более счастливые времена, надо нам держаться вместе и в те трудные минуты, которые для нас настанут.

— Так, побратимы! Спасибо вам за это,— сказал Андрусь, пожимая им поочередно руки,— теперь я спокоен и силен, теперь пусть трепещут наши враги, потому что время мести приближается. Какое семя дает нам судьба в руки, такое и сеем. А какие оно даст всходы и кто соберет плоды — это дело не наше, мы, может, и не доживем до этого. А теперь остается нам подробно обсудить, когда и как должно это произойти.

Все побратимы, кроме Бенеди, Матвея и Стасюры, столпились вокруг Андруся и вполголоса начали о чем-то оживленно совещаться. Матвей сидел на лежанке, машинально держа в зубах давно погасшую трубку. Стасюра чертил палкой по земле, а Бенедя долго сидел на скамейке свесив голову, затем встал, вытер рукавом две горючие слезинки, которые вот-вот готовы были упасть из его глаз, и вышел на улицу. Это он прощался со своими золотыми надеждами...

XXI

Мортко, подручный Германа, провел очень беспокойную ночь. Дурные сны терзали его, теснили сердце смертельной тревогой. То вдруг ему снилось, будто он падает стремглав с какой-то высокой скалы и видит под собой острые гребни утесов; то ему казалось, что дом горит, а он, среди удушливого дыма и ослепительных языков пламени, лежит, прикованный к постели, с огромным камнем на груди, не может ни пошевельнуться, ни крикнуть, ни даже вздохнуть свободно. А когда посреди такого сна, охваченный ужасом, дрожа всем телом и обливаясь жарким потом, он очнулся, то и наяву у него мысли мешались, всякая дрянь лезла в голову, и он никак не мог избавиться от преследовавшего его кошмара. Ему все мерещился Иван Пивторак, которого он подпоил, обобрал и столкнул в глубокий колодец; при воспоминании об этом у него дух захватывало, точно кто-то холодной рукой сжимал ему горло, коленом давил на грудь. Напрасно Мортко плевался и щипал себя за икры, шепча какие-то еврейские заклинания,— ничто не могло рассеять его дурное настроение. Не дождавшись утра, он вскочил с постели, оделся и побежал к шахтам. С тех пор как добыча воска стала основным делом на бориславских промыслах и дальнейшее расширение этой отрасли обещало все больший барыш,— была заведена,

кроме дневной, и ночная работа в шахтах. Рабочие чередовались: часть их работала дневную «шахту», то есть двенадцать часов, а другая часть — ночную. Для дневной смены был особый, дневной кассир, а для ночной смены — ночной. Мортко был дневным кассиром, и ему вменялся в обязанность также общий надзор за колодцами. Поэтому он, услужливый и верный своему хозяину, от которого получал хорошую плату, приходил на промысел до начала дневной смены, чтобы по возможности присмотреть и за ночной работой.

А теперь его присмотр был особенно необходим. Большое количество горного воска, которое Герман обязался поставить «Обществу эксплуатации», нужно было нынче утром пополнить, так как в полдень Герман неукоснительно должен был сдать весь воск уполномоченным «Общества» и тут же получить от них деньги за этот воск: доставлять воск на место переработки, где бы она ни производилась, Герман по контракту не был обязан. Из-за этого Мортку пришлось немало бегать, кричать и ругаться: то рабочие делали не так, как нужно, то работали с прохладцей там, где надо было спешить, то насос портился, то ключ от склада терялся,— словом, все как будто сговорились сегодня досаждать бедняге Мортку, и он даже охрип и взмок от пота, кидаясь во все стороны и всюду наводя порядок.

И вот уже, казалось, все было закончено: последняя, недостающая до договорного количества, глыба воска была перетоплена, спрессована, взвешена и промаркирована. Три обширных склада, самых больших в Бориславе, были полны воска. Вот загремели две пышные кареты, прибывшие из Дрогобыча: в одной Герман с Ван-Гехтом, в другой два уполномоченных «Общества эксплуатации». Герман, как на иголках, сидел на мягких подушках своего экипажа: так его что-то подталкивало и торопило передать в чужие руки эти накопленные сокровища, в которых заключалась теперь бóльшая часть его состояния. С тех пор как началась добыча и эксплуатация озокерита, Борислав еще никогда не видел такого огромного количества воска сразу. Бориславские евреи то и дело наведывались в эти обширные склады и завистливым взглядом озирали нагроможденные в них сокровища. Одного Германа почему-то не радовали гигантские пирамиды глыб воска; и только теперь он впервые радостно оглядел их, уверенный, что через несколько минут вся эта масса воска превратится в пачку банкнот, которая надежно уляжется в его железной вертгеймовской кассе.

. . . . . .

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Ивана Франко ни одного сводного, обобщающего собрания его сочинений не выходило. И поэтические и прозаические произведения печатались отдельными сборниками, брошюрами, многое оставалось разбросанным (а порою и полузабытым) по газетам и журналам. Только в советское время началось планомерное изучение, собирание и издание всего творческого наследия великого украинского писателя. Наиболее полным до сих пор является Собрание сочинений И. Франко в двадцати томах, осуществленное Институтом литературы имени Шевченко Академии наук УССР (Іван Франко, Твори в двадцяти томах, Державне видавництво художньої літератури, Київ, 1950—1956). Русские переводы произведений И. Франко (как и датировка) основываются теперь на текстах именно этого издания.

Еще при жизни И. Франко начали появляться переводы на русский язык отдельных его произведений — в первую очередь, из цикла «В поте лица». Одним из первых переводчиков и пропагандистов творчества И. Франко в России был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—1955) — профессиональный революционер, советский общественный деятель и ученый, сподвижник В. И. Ленина. Находясь в конце 90-х — начале 900-х годов как политический эмигрант в Женеве, Бонч-Бруевич по совету Г. В. Плеханова вступил в переписку с И. Франко, а затем перевел ряд его рассказов. О творческих контактах с И. Франко Бонч-Бруевич впоследствии рассказал в своих воспоминаниях («Моя переписка с Иваном Франко».— Сб. «Иван Франко в воспоминаниях современников», «Художественная литература», М. 1966, стр. 169—191). Однако царская цензура приняла все меры к тому, чтобы воспрепятствовать появлению в печати переводов, выполненных политическим эмигрантом. «Только один рассказ Ив. Франко в моем переводе проскочил через цензурные рогатки и был напечатан в «Курской газете» [...] Этот рассказ назывался «Урок чистописания», то есть «Schön-schreiben» [...] Напечатан он [...] в субботу 5 сентября 1898 года. Я думаю, что это была первая публикация Ив. Франко на русском языке...» — сообщал В. Д. Бонч-Бруевич. Сборник

«В поте лица» все же вышел, но уже в других переводах (Ив. Франко, В поте лица. Очерки из жизни рабочего люда. Перевод О. Рувимовой и Р. Ольгина. С предисловием и под редакцией М. Славинского. СПб. 1902. Издание М. Д. Орехова).

В 1915 году в газете «Нижегородский листок» (№№ 94 и 98) появился перевод на русский язык рассказа И. Франко «Каменщик», выполненный известным белорусским поэтом Максимом Богдановичем (1891—1917). Два других рассказа — «Сам виноват» и «Хороший заработок»,— переведенные младшей современницей И. Франко, выдающейся украинской поэтессой Лесей Украинкой (1871—1913), которую сам И. Франко называл «единственным мужчиной в современной украинской литературе», были выпущены отдельными брошюрами, за подписью «Л. У.», издательством Парамонова «Донская речь». (Тексты переводов М. Богдановича и Л. Украинки воспроизведены в пятитомном издании избранных сочинений Франко, т. II, М. 1948.) Что касается поэзии И. Франко, она все дореволюционные годы оставалась вне поля зрения русского читателя (если не считать попытки П. Дятлова перевести поэму «Моисей»).

По-настоящему перевод и популяризация огромного творческого наследия Ивана Франко начались только в советское время и особенно широко развернулись после воссоединения в 1939 году Западной Украины со всей Советской Украиной, когда воочию сбылись самые заветные чаяния великого Каменяра. Еще до войны началась подготовка русского издания избранных сочинений И. Франко, которое и вышло в первые же послевоенные годы: Иван Франко, Избранные сочинения. Перевод с украинского под редакцией М. Ф. Рыльского и Б. А. Турганова, тт. I—V, Гослитиздат, М. 1948—1951. В переводе стихов для этого издания участвовали: А. Ахматова, М. Голодный, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Инбер, М. Исаковский, С. Обрадович, Б. Пастернак, А. Прокофьев, А. Сурков, А. Твардовский, М. Цветаева,— всего более пятидесяти советских русских поэтов. Проза была представлена переводами Е. Мозолькова, А. Островского, Г. Петникова, Н. Ушакова и других. В ознаменование столетия со дня рождения писателя (1956 г.) было осуществлено тем же издательством повторное, вдвое расширенное издание его сочинений: Иван Франко, Сочинения в десяти томах, 1956—1959 (редакторы А. И. Белецкий, М. Ф. Рыльский, Б. А. Турганов). Эти два капитальных издания послужили основой для всех последующих переизданий прозы и стихов И. Франко в русском переводе — отдельных однотомников, сборников рассказов, избранной лирики и т. д. Среди них — том поэтических произведений писателя в «Большой серии» «Библиотеки поэта»: Иван Франко, Стихотворения и поэмы, «Советский писатель», Л. 1960 (редакторы Н. Браун и А. Прокофьев). В результате этой обстоятельной работы творческое наследие великого украинского писателя стало знакомо, доступно и близко широчайшим кругам читателей всех наших братских республик.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Первые поэтические опыты И. Франко вышли в свет в 1876 году во Львове отдельным сборничком под заглавием «Баллады и рассказы» («Письма Івана Франка, І. Балады и розсказы»). Но только с появлением второй книги — «Вершины и низины» («З вершин і низин», 1-е издание — 1887, 2-е издание — 1893), представляющей собою, по справедливому определению А. И. Белецкого, «самое крупное, после «Кобзаря» Шевченка, событие в украинской поэзии XIX века», Франко-поэт явился современному читателю во весь свой рост. Затем последовали книги: «Увядшие листья» («Зів'яле листя», 1896), «Мой Измарагд» («Мій Ізмарагд», 1897, повторное издание, озаглавленное «Старое и новое» («Давне й нове»), 1911), «В дни печали» («Із днів журби», 1900), «Semper tiro» (1906). Наконец, в 1914 году поэт переиздал свой первый сборничек, озаглавив его «Годы моей молодости» («Із літ моеї молодості») и пополнив некоторыми ранними стихотворениями. В 1905 году вышла отдельным изданием поэма «Моисей».

В настоящем издании представлены избранные стихотворения и поэмы из всех названных книг И. Франко.

Гимн («Вечный революционер») (стр. 25).— Написан в львовской тюрьме. Положен в 1905 году на музыку выдающимся украинским композитором М. В. Лысенко.

«Ох, истомило весны ожиданье!..» (стр. 29).— *...Польша вернется...*— возвратится власть польской шляхты и помещиков, господствовавших в Западной Украине до 1848 года.

Vivere memento! (стр. 31).— *Лазарь* — по евангельскому преданию, праведник, которого Иисус Христос воскресил на четвертый день после смерти.

Товарищам из тюрьмы (стр. 37).— И. Франко перепечатал это стихотворение, под заглавием «На заре социалистической пропаганды», в книге «Старое и новое» (1911), снабдив примечанием: «Писано в начале 1878 года в львовской тюрьме».

Батрак (стр. 44).— *Руина* — разрушение, разорение (укр.). Так народ назвал двадцатипятилетие 1663—1687 годов, когда в результате смуты, возникшей после смерти гетмана Богдана Хмельницкого, Украина, особенно Правобережная, была сильно разорена. *Титан былого* — Антей, в античной мифологии сын Геи (Земли); ему достаточно было прикоснуться к Матери-Земле, чтобы восстановить свои силы.

Песня и труд (стр. 49).— *Спой про Ганнусю, Шумильца, Венки...*— западноукраинские народные песни.

Котляревский (стр. 55).— *Котляревский* Иван Петрович (1769—1838) — выдающийся украинский поэт и драматург, автор «Перелицованной Энеиды», зачинатель новой украинской литературы.

«Се дом печали, плача, воздыханья...» (стр. 58).— Заключительные слова — цитата из «Божественной комедии» Данте (надпись на вратах ада).

«Давным-давно, в одном почтенном доме...» (стр. 59).— *Читали мы «Что делать?»...*— Идеи Н. Г. Чернышевского оказали большое влияние на молодого Франко. В конце 1876 года он начал переводить роман «Что делать?» и часть перевода успел опубликовать в студенческом журнале «Друг» до его закрытия властями. *Компост* — удобрение из смеси различных отбросов с землей или торфом.

«Россия, край печали и терпенья...» (стр. 60).— *Святогор* — один из «старших богатырей» русских былин. По свидетельству А. Е. Крымского, И. Франко в образе спящего богатыря Святогора видел современную ему Россию. «Как-то, в одной из бесед со мной, он сказал: «[...] Россия — это богатырь Святогор. Он дремлет в пещере. Но придет, придет час, он воспрянет и даст свободу не только своему народу, но и другим народам. Я верю в великую миссию русского народа, который всегда был другом всех угнетенных народов» (Агафангел Крымский, Он с нами.— Сб. «Иван Франко в воспоминаниях современников», М. 1966, стр. 380). *...девушка-голубка... дает сигнал...*— подразумевается Перовская Софья Львовна (1853—1881), выдающаяся деятельница партии «Народная воля», участница подготовки убийства Александра II.

«Прошло то время? Ложь! Забыт ли час...» (стр. 61).— *Пестель* Павел Иванович (1793—1826) — виднейший руководитель движения декабристов, казнен 13 июня 1826 года. *Каракозов* Дмитрий Владимирович (1840—1866) — революционер, сторонник тактики индивидуального террора, казнен 3 сентября 1866 года за покушение на Александра II. *Соня* — Перовская (см. выше), по приговору царского суда казнена 3 апреля 1881 года. *Достоевский* Федор Михайлович — за участие в революционном кружке петрашевцев в 1849 году приговорен к смертной казни, которая в последний момент была заменена каторжной тюрьмой. *Тарас* — Шевченко Тарас Григорьевич, в 1847 году был арестован и отдан в солдаты «с запрещением писать и рисовать». Только через десять лет получил свободу, но до самой смерти находился под тайным надзором полиции. В этом, исполненном глубокого трагизма сонете, так же как в предшествующем («Россия, край печали и терпенья...»), Франко говорит о героической борьбе русских революционеров, рисует картину нарастания революционного движения в России.

«Тюрьма народов, обручем из стали...» (стр. 62).— Как и предыдущий («Меж стран Европы мертвое болото...»), сонет направлен против Австро-Венгерской империи. По цензурным условиям Франко вынужден был зашифровать подлинный смысл обоих сонетов, но их политическая направленность подтверждается сохранившимся экземпляром книги «Вершины и низины» с собственноручными вставками поэта.

Эпилог (Посвящается украинским сонетистам) (стр. 62).— *Катренов параллели... терцеты.*— Сонет, стихотворение строгой, раз навсегда установленной формы, состоит из двух четверостиший (катрены), за которыми следуют два трехстишия (терцеты). Такое построение сонета соответствует развитию темы.

Галаган (стр. 65).— Галаганом западноукраинские крестьяне называли медную австрийскую монету стоимостью в четыре крейцера.

Думы на меже (стр. 66).— *Terminus* — граница, межа (лат.). В античной мифологии Терминус, или Терм,— бог границ. *...в Боснии дальней убит...*— во время захвата Боснии Австро-Венгрией (1878 г.).

Седоглавому (стр. 85).— Ответ на статью вожака западноукраинских националистов Ю. Романчука, «седоглавого старейшины львовских украинцев», как почтительно величала его галицкая пресса того времени. Романчук обвинял поэта в отсутствии «любви к Украине». Выражения *«Русь», «русский»* в этом стихотворении, как и в других произведениях И. Франко, означали «Украина», «украинский» (западные украинцы называли себя «русинами»).

Декадент (стр. 86).— И. Франко и в стихах и в критических статьях решительно выступал против всяких проявлений декадентства в современной ему украинской литературе. Стихотворение адресовано поэту В. Шурату (1871—1948), который в одной из своих статей назвал И. Франко «декадентом».

«На Подгорье, в долах, по низинам...» (стр. 92).— *Подгорье* — часть Западной Украины по северному склону Карпат. *Страшный суд, Никола да Варвара...*— иконы, изображающие сцены Страшного суда и святых православной церкви — Николая Чудотворца и Варвару. *Указ о панщине* (барщине) — об ограничении прав помещиков, изданный в 1782 году австрийским императором Иосифом II. *Роспись прадеда на тридцать палок...*— протокол о наказании палочными ударами. *Акт отца лицитацийный...* (правильнее: лицитационный) — акт о производстве лицитации, продажи имущества с аукциона за долги.

«Когда услышишь, как в тиши ночной...» (стр. 94).— Невыносимые условия существования вынуждали крестьянскую бедноту эмигрировать из Западной Украины за границу, главным образом в Южную Америку. Этот процесс особенно усилился в середине 90-х годов прошлого века. На бедственное положение эмигрантов откликнулась, наряду с И. Франко, польская поэтесса Мария Конопницкая (поэма «Пан Бальцер в Бразилии»).

«Ой, расплескалось ты, русское горе...» (стр. 95).— О значении, в каком Франко употреблял выражения «Русь», «русский», см. выше. В стихотворении перечисляются местности, которые приходилось проезжать эмигрантам из Галиции: *Любляна* — теперь столица Словении; *Река,* Риека (во времена И. Франко — Фиуме) — порт на Адриа-

тическом море; *Понтебба* — пограничная железнодорожная станция между Италией и бывшей Австро-Венгрией; *Кормона* — город в Италии, недалеко от бывшей австро-венгерской границы. *Царство Рудольфа.*— Агенты-вербовщики, чтобы завлечь эмигрантов, распространяли среди безграмотных, разоренных крестьян слухи о том, будто бы умерший сын австрийского императора Франца-Иосифа, эрцгерцог Рудольф, жив и находится в Бразилии, где создал «мужицкое царство». *Парана, Спириту-Санто, Минас-Жераес* — области Бразилии.

«Не знаю забвенья!..» (стр. 98).— *Теорбан,* торбан — музыкальный инструмент.

«Мне сорок лет, мой век не весь прожит...» (стр. 98).— *Мамона,* Маммона — у некоторых древних народов бог богатства и наживы. В переносном смысле — алчность, обжорство.

«Ходят ветры по краю...» (стр. 99).— *До Петра продержаться...*— то есть до так называемого «Петрова дня» (29 июня ст. ст.).

Школа поэта (стр. 105).— Вариация на тему стихотворения норвежского драматурга и поэта Генрика Ибсена (1828—1906) «Сила воспоминания». Франко значительно расширил прототип (вместо восемнадцати строк у него шестьдесят), обогатил жизненными деталями и углубил, переведя из узколирического плана в план широкого обобщения, символически изобразив судьбу поэта в современном Франко буржуазном обществе.

Существует русский перевод стихотворения Г. Ибсена, выполненный Вс. Рождественским (Г. Ибсен, Собр. соч., т. IV, «Искусство», М. 1958, стр. 556).

Конкистадоры (стр. 108).— *Конкистадоры*—завоеватели (исп.).

«Блажен тот муж, что на суде неправых...» (стр. 109).— Эпиграф из Библии (Псалтырь, псалом 1).

«Я в чистом поле убирал пшеницу...» (стр. 109).— Эпиграф из Библии (Исаии, гл. 40, стих 3) «Шестикрылый серафим, посылающий у Пушкина пророка на общественное служение, дает ему завет «глаголом жечь сердца людей». У Франка [...] единственное утешение, которое можно обещать,— только в том, что вслед за поэтом пойдут избранные борцы, готовые, как и он, к самоотречению, что в конце концов труд его не останется бесплодным» (А. И. Белецкий, Поэзия Ивана Франка.— Иван Франко, Сочинения в десяти томах, т. 8, М. 1958).

«Где ни лилися вы в нашей бывальщине...» (стр. 111).— Эпиграф из «Слова о полку Игореве». Перевод: «Жены русские восплакали».

«Вышла в поле русских сила...» (стр. 112).— Эпиграф из «Слова о полку Игореве». Перевод: «Лисицы лают на багряные щиты».

«На реке вавилонской—и я там сидел...» (стр. 113).— В Библии повествуется о пребывании иудеев в плену у вавилонян. Биб-

лейские образы послужили Франко для изображения, в иносказательной форме, бедствий украинского народа под игом австро-венгерской монархии. Перевод эпиграфа (Псалтырь, псалом 136): «При реках Вавилона — там сидели мы и плакали». *Фавор* — гора в Палестине. *Сион* — скалистая гора вблизи Иерусалима с крепостью на ней. В библейских текстах наименование Сион употреблялось и для обозначения всего иудейского народа. *Ростом я — кедр, увенчавший Ливан...*— Ливанские кедры достигают высоты сорока метров.

«Из книги Кааф» (стр. 114).— Так назывался составленный древнерусскими книжниками сборник апокрифических сказаний и притч.

«Пойми, поэт, на жизненном пути ты...» (стр. 114).— Так же как в стихотворении «Се дом печали...» (стр. 58), заключительные слова являются цитатой из «Божественной комедии» Данте.

«Когда б ты знал, как много значит слово...» (стр. 117).— *...тот, кто в бурю шел по гребням волн...*— Иисус Христос.

Шевченко и поклонники (стр. 119).— Стихотворение перекликается с известным четверостишием Т. Шевченко:

І день іде, і ніч іде,
І голову схопивши в руки,
Дивується, чому не йде
Апостол правди і науки!

Древоруб (стр. 121).— Позднее И. Франко разработал эту же тему в прозе («Древоруб», 1886), посвятив прозаический вариант М. Драгоманову.

ПОЭМЫ

СМЕРТЬ КАИНА

Впервые опубликована отдельным изданием в «Літературно-науковій бібліотеці» (Львов, 1889). В дальнейшем Франко включил ее во второе издание сборника «Вершины и низины» (1893).

Каин, по библейскому преданию, первый убийца на земле: убил своего брата Авеля, за что был изгнан богом из среды людей и обречен на долголетние скитания. Однако библейский сюжет послужил поэту лишь канвой для выражения своих идейных взглядов. Созданию поэмы предшествовала работа И. Франко над переводом одноименной мистерии Байрона (1879 г.). В предисловии к переводу Франко подчеркивал революционную направленность произведения Байрона: «Каин» — явление историческое. Это мыслящий человек двадцатых годов нашего столетия. Жестокая политическая реакция того времени, страшный общественный и духовный гнет — вот почва, на которой он вырос». Создавая свою поэму, И. Франко еще более усилил эти черты в образе героя: «Образ неприми-

римого, одинокого бунтаря превращается у Франка в образ гуманиста, отрекающегося от индивидуальных стремлений ради служения людям» (А. И. Белецкий, Поэзия Ивана Франка). Сохранилось свидетельство, что после выхода поэмы церковники поносили в проповедях ее автора, который «осмелился изобразить Каина не так, как в Библии».

Стр. 151. *Лемех* — по библейскому преданию, прапраправнук Каина.

Стр. 153. *Цилла, Ада* — жены Лемеха.

Стр. 154. *...сам бог сочтется семьдесят семь раз...* — явная описка Франко. По Библии, бог предрек будущему возможному убийце Каина лишь семикратное отмщение. «И сказал ему господь: [...] всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Бытие, гл. 4, стих 15).

ИВАН ВИШЕНСКИЙ

Поэма опубликована впервые в 1900 году в сборнике стихов И. Франко «В дни печали» («Із днів журби»).

Иван Вишенский (род. между 1545—1550 — ум. после 1620) — выдающийся украинский культурный деятель конца XVI — начала XVII века, ученый монах и проповедник, автор полемических сочинений, направленных против католическо-униатской пропаганды, против польских и украинских феодалов-крепостников. В этих сочинениях Вишенский выступает как горячий защитник национальных интересов украинского народа. Под конец жизни стал пустынником-анахоретом. Отдельные факты биографии Вишенского послужили И. Франко поводом поставить в поэме, в историческом и психологическом аспектах, проблему взаимоотношений личности и народа.

Поэма посвящена младшему современнику И. Франко, поэту и ученому-ориенталисту Агафангелу Ефимовичу Крымскому (1871—1941).

Стр. 157. *Подал голос Прот великий... раззвучался Иверон.* — Названия монастырей на Афоне. *Афон* (Агион-Орос) — полуостров в Греции, на побережье Эгейского моря. На южной оконечности полуострова находится гора Афон, где в конце VII века возник и существует поныне ряд православных монастырей. Вот как об этом писал сам И. Франко: «...в южной части Македонии врезается в море высокая продолговатая гора, соединенная с материком только узким перешейком. Гора эта, покрытая лесами, с давних пор служила пристанищем для христианских монахов и пустынников... Некоторые жили в монастырях, другие в особых келиях посреди леса и скал, а третьи, стремившиеся к наиболее строгому исполнению правил, замыкались в ямах и каменных пещерах, куда только раз в неделю им подавали немного вареных бобов, чтобы не умерли с голоду» (статья «Иван Вишенский, его время и литературная деятельность»).

Стр. 160. *Фелóнь* — риза, надеваемая священником во время богослужения.

Стр. 176. *Кунтуш* — старинный верхний кафтан у поляков и украинцев.

Стр. 177. *...православные с Украйны... в Луцке...* — «...в 1621 году православные украинцы, собравшись в Луцке на совет о мерах поддержания православия, между прочим постановили отправить на Афон своих посланцев и привезти оттуда ученых и преподобных мужей украинского рода, а особенно Ивана Вишенского, для опоры и защиты православия... о смерти Вишенского тогда еще на Украине не знали; но ходили ли посланцы из Луцка на Афон... — этого мы не знаем» («Иван Вишенский, его время и литературная деятельность»).

НА СВЯТОЮРСКОЙ ГОРЕ

Впервые напечатана в 1900 году, вместе с поэмой «Иван Вишенский», в сборнике «В дни печали».

События, изображаемые в поэме — осада Львова войском гетмана Богдана Хмельницкого в 1655 году и приезд польского посольства для переговоров о мире,— описаны в монографии Н. Костомарова «Богдан Хмельницкий», т. IV. В своем изложении этих событий, включая сказку про змея, рассказываемую Хмельницким, Франко следует почти буквально за Костомаровым, с чьей монографией он мог познакомиться по украинскому переводу, изданному в 1889 году Александром Барвинским («Руська історична бібліотека», т. XII). Поэма посвящена Миколе (Николаю) Витальевичу Лысенко (1842—1912), крупнейшему украинскому композитору, основоположнику новой украинской музыки. Лысенко неоднократно бывал во Львове; будучи связан многолетней дружбой с И. Франко, положил на музыку ряд его произведений, в том числе «Вечный революционер» (см. выше), «Бескрайное поле...» и другие.

Стр. 188. *Святоюрская гора* — возвышенность во Львове, на которой находится собор св. Юра (Георгия; построен в XVIII в.) и митрополичьи палаты. Во времена Хмельницкого там также стояла церковь, построенная на месте деревянной, которую разрушил польский король Казимир III в 1340 году.

Стр. 189. *Богдан* — Богдан Хмельницкий (род. ок. 1595 — ум. 1657).

Выговский Иван Евстафьевич — выходец из украинской шляхты, вошел в доверие к гетману Богдану Хмельницкому и состоял при нем в должности генерального писаря Войска Запорожского (ведал всей канцелярией Войска). Избранный вскоре после смерти Хмельницкого гетманом Украины, вел политику, враждебную интересам украинского народа. Заключил в 1658 году предательский Гадячский договор, по которому Украина вновь отдавалась под иго панской Польши. В результате

всенародного восстания был низложен, бежал за пределы Украины и в 1664 году расстрелян.

Ян Казимир — король польский в 1648—1668 годах, до своего избрания был членом Ордена иезуитов.

Любовицкий, Грондзкий — послы Яна Казимира к Хмельницкому. В 1655 году русские войска заняли Литву, шведы — центральную Польшу с Варшавой и Краковом, Хмельницкий подошел ко Львову. Ян Казимир бежал в Силезию, откуда отправил к Хмельницкому своих послов с коварным, льстивым письмом.

Чигирин —гетманская резиденция при Богдане Хмельницком.

Стр. 190. *Канчукй* (укр.) — кожаные плети.

Стр. 193. *Вишневецких... Калиновских.*— Гетман перечисляет польских магнатов, враждебно относившихся к украинскому народу. Калиновский Мартын — польский военачальник, был разбит и взят в плен Хмельницким в битве под Корсунем (1648 г.).

Стр. 194. *Косов Сильвестр* — митрополит киевский в 1647—1657 годах, тайно противодействовал Хмельницкому в его начинаниях.

Стр. 202. *Мурза* (татар.) — мелкопоместный татарский феодал.

МОИСЕЙ *(Пролог)*

Поэма опубликована в 1905 году (второе издание — 1913 г.). Создана, в значительной степени, под впечатлением событий первой русской революции 1905 г. *Моисей* — по Библии — пророк, который должен был вывести еврейский народ в землю обетованную. Однако так же, как в некоторых других поэмах (например, в «Иване Вишенском»), образ Моисея и сюжет библейского предания послужили Ивану Франко лишь основой для того, чтобы высказать свои взгляды на современность, на отношения личности и народа в общественной борьбе. Особенно ярко это проявилось в «Прологе», написанном, в отличие от всего текста поэмы, терцинами,— в нем поэт обращается к украинскому народу, пророчески предрекая ему светлое будущее («Но час придет, в багряном ореоле...» и т. д.). В этом смысле пролог к «Моисею» И. Франко перекликается отчасти с эпилогом «Пана Тадеуша» А. Мицкевича.

РАССКАЗЫ

ИЗ КНИГИ «В ПОТЕ ЛИЦА»

Один из наиболее полных прижизненных сборников рассказов И. Франко — книга «В поте лица», вышедшая в свет в 1890 году с предисловием М. Драгоманова («В поті чола. Образки з життя робучого люду. Написав Іван Франко. Львів, 1890. Накладом Ольги Франкової»).

В книгу вошло двадцать рассказов и очерков, написанных в период 1876—1890 годов. Как рассказал впоследствии сам И. Франко в предисловии к одной из позднейших книг, в этом цикле он стремился «нарисовать картину нашего общества в различных его прослойках, в различных устремлениях, в труде, заработках, страданиях, порывах, иллюзиях и настроениях. Жизнь предоставляла мне больше чем достаточно возможностей для собирания таких материалов. Случайные рассказы знакомых, фигуры, встреченные в железнодорожном вагоне, собственные воспоминания и наблюдения — все это превращалось постепенно, на протяжении лет, в рассказы и эскизы большего или меньшего объема. Я старался каждую такую картинку вынашивать в душе до тех пор, пока не вживусь в присущую лишь ей атмосферу, пока не найду присущий лишь ей тон и способ выражения» (Предисловие И. Франко к сборнику рассказов «Хороший заработок», Львов, 1902).

В сборнике «В поте лица» И. Франко поместил и свою автобиографию в виде «Отрывка из письма» М. П. Драгоманову, датированного 26 апреля 1890 года. В заключительном абзаце этого письма Франко также подчеркнул автобиографический характер большинства произведений, вошедших в сборник. «О своих новеллах скажу только одно,— что почти все они показывают подлинных людей, которых я когда-то знал, подлинные факты, которые я видел либо о которых слышал от свидетелей, рисуют пейзажи тех уголков нашего края, которые я, как говорится, измерил своими ногами. В таком смысле — все они частицы моей автобиографии».

Из двадцати рассказов и очерков, составивших содержание сборника «В поте лица», в нашем однотомнике печатается одиннадцать.

ЛЕСИХИНА СЕМЬЯ

Так же как следующий за ним рассказ «Два приятеля», является первым опубликованным в печати опытом И. Франко по части художественной прозы (напечатан в 1876 г. в альманахе студенческого кружка «Дністрянка»).

Стр. 209. *Коломыйка, думка* — западноукраинские народные песни.

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Стр. 218. *Войт* — сельский староста. *Асентерунок* — рекрутский набор (от *польск.* asenterunek). *Явишься в присутствие раз, второй, третий...*— В Австро-Венгрии молодые люди являлись на призыв трижды; только после этого не принятые в солдаты освобождались от дальнейших явок.

Стр. 219. *Мандатор* — судебно-полицейский чиновник (от *польск.* mandatarjus). *Бецирк* — уездное присутствие (от *нем.* Bezirk).

КАМЕНЩИК

Как писал впоследствии автор, первоначально редактор отказался напечатать рассказ «по той причине, что каменщики вообще великие лентяи, а такого факта, о котором рассказываю я, он не встречал никогда». (Предисловие И. Франко к сборнику рассказов «Хороший заработок», 1902.)

Стр. 228. *Довбущу́к* — потомок Олексы Домбуша, прославленного в народных преданиях вожака «опришков» — повстанцев, боровшихся с помещиками и австрийскими властями. В устах галицкого обывателя слова «довбущук», «опришок» равнозначны словам «бунтовщик», «революционер».

Стр. 230. *Гульден* — серебряная австрийская монета, равнялась примерно девяноста двум копейкам.

МАЛЕНЬКИЙ МИРОН

По поводу этого рассказа и других своих рассказов о детях И. Франко писал впоследствии: «Они показывают в общих чертах ход воспитания крестьянского мальчика [...] начиная с первых проблесков собственного мышления и кончая старшими классами средней школы. Материалом послужили всюду мои личные воспоминания...» (Предисловие к сборнику «Маленький Мирон и другие рассказы», 1903). Франко, однако, тут же отмечал, что в этих рассказах, «кроме автобиографического элемента, имеются также определенные художественные задачи», и предостерегал от некритического использования их как источника для его биографии.

ГРИЦЬ В ШКОЛЕ

Стр. 237. *Коломыя* — город в Западной Украине, на реке Прут. *«Философия»* — здесь: среднее отделение духовного училища, семинарии.

Стр. 241. *...которая «люди», а которая «мыслете»...* — названия букв «л» и «м» в церковнославянской азбуке.

КАРАНДАШ

Стр. 252. *Крейцер* — сотая часть гульдена (см. примечание к стр. 230).

САМ ВИНОВАТ

Стр. 257. *Свича* — река в предгорьях Карпат, приток Днестра.

ЦЫГАНЕ

Стр. 263. *Стрый* — река в Карпатах, самый крупный приток Днестра. *Турка* — городок на левом берегу Стрыя. *Бойки* — западноукраинские горцы, населяющие северные склоны Карпат, именовавшиеся во

времена И. Франко Подгорьем (теперь часть Львовской и Ивано-Франковской областей, а также Закарпатской области УССР).

Стр. 269. *Постолы* — кожаные лапти. *Сумка с «цесарским орлом»* — с австро-венгерским гербом: в Галиции австрийского императора называли «цесарем» (от *нем.* der Kaiser).

Стр. 270. *Парашка* — вершина Восточных Карпат, высота 1268 м.

ЛЕСА И ПАСТБИЩА

В предисловии к одной из позднейших книг И. Франко писал: «Рассказ «Леса и пастбища» относится к не выясненной до сих пор в истории нашего экономического развития эпохе политической реакции 50-х годов прошлого века, когда наши крестьяне в конечном счете полностью проиграли так называемое дело о сервитутах и когда этим был заложен фундамент последовавшего экономического лихолетья...» (Сборник «Подневольный хлеб и другие рассказы», 1913.) В результате революции 1848 года в Австро-Венгрии, в состав которой входила Галиция, были отменены остатки феодальных повинностей (барщина, десятина и т. п.). Однако в последовавшие годы немецким и польским помещикам удалось снова захватить в свои руки пользование лесными угодьями, выгонами и другими общественными землями (основанное в прошлом на так называемом сервитутном праве, о котором говорит писатель) и этим экономически подавить, разорить и обездолить крестьянство.

Стр. 275. *Мазурская резня* — восстание крестьян Западной Галиции против польских помещиков в 1846 году.

К СВЕТУ!

Стр. 283. *Фораминиферы* — корненожки, простейшие организмы, комочки полужидкой протоплазмы, способной изменять свою форму. *Диатомеи* — одноклеточные кремнистые водоросли.

Стр. 286. *«Фраер»* — новичок (воровской жаргон).

Стр. 289. *«Трефняк»* — человек, который ест «трефное» — пищу, запрещенную еврейскими религиозными правилами. *Бельфер* — еврейский учитель в Западной Украине.

Стр. 299. *«Клапач»* — кличка солдата (воровской жаргон).

СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Стр. 310. *Реверс* — денежный залог, который офицеры старой австро-венгерской армии (так же как и царской) вносили при женитьбе в обеспечение будущей семьи.

Стр. 317. *Арад, Орадя* — город в Западной Румынии, вблизи венгерской границы. В описываемое И. Франко время принадлежал венгерскому королевству.

Значительным разделом в творчестве И. Франко 70—90-х годов является группа рассказов и повестей, так или иначе связанных с темой рабочего Борислава. Эти рассказы и повести рисуют потрясающую картину невыносимо тяжелых условий жизни и труда рабочих в первые десятилетия по возникновении нефтяной промышленности в Галиции.

С бытом Борислава И. Франко познакомился еще в дни своих юношеских скитаний по Галичине. С конца 1876 года тема Борислава надолго входит в творчество писателя. «В 1877 году начались картинки под названием Борислав, имевшие полный succès de scandal [скандальный успех] среди галицкой публики»,— писал И. Франко М. Драгоманову 26 апреля 1890 года. В последующие годы писатель публикует две большие повести о Бориславе — «Boa constrictor» и «Борислав смеется». Наряду с художественными произведениями Франко печатает в 1881—1882 годах обширное статистическое исследование «Промышленные рабочие Галиции и их заработная плата в 1870 году» и очерк о быте и фольклоре бориславских нефтяников «Кое-что о Бориславе». Последним в бориславском цикле писателя был рассказ «Чабан» (1899). Таким образом, работа писателя над этой темой продолжалась в общей сложности почти тринадцать лет, коснулся он ее и в своем поэтическом творчестве.

Из бориславского цикла И. Франко в нашем издании печатаются три рассказа и повесть «Борислав смеется», в которой писатель, едва ли не впервые во всей европейской литературе, показал становление промышленного пролетариата.

РАДИ ПРАЗДНИКА

Как и два следующих за ним произведения («Полуйка» и «Чабан»), этот рассказ относится к последнему периоду работы писателя над бориславской темой.

Стр. 319. *Император* — Франц-Иосиф австрийский (1818—1916). *Церезин* — искусственный воск, так же как парафин, является продуктом переработки озокерита (горного воска).

Стр. 320. *Дил* — горная вершина неподалеку от Борислава. *Принципал* — хозяин (от *лат.* principalis — главный).

Стр. 324. ...*украшенные... надписями al fresco*...— по методу фресковой живописи, то есть выведенные по еще свежей штукатурке (от *итал.* fresco — свежий). *Шапокляк* — складная шляпа-цилиндр.

ПОЛУЙКА

Стр. 336. *Шистка* — шесть крейцеров, примерно пять-шесть копеек (от *польск.* szóstka).

Стр. 337. *«Феник»* — искаж. пфенниг — мелкая немецкая монета. *Шабес* — то же, что шабаш, субботний отдых, праздник, предписываемый иудейской религией.

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

В этом разделе собраны преимущественно произведения, относящиеся к более позднему периоду творчества писателя. Некоторые из них, так же как рассказы цикла «В поте лица», автобиографичны («В кузнице», «Щука», отчасти «Под оборогом»). Наряду с этим для поздней прозы И. Франко характерно обращение к психологической новелле, представленной такими вещами, как «Мое преступление», «Крыло сойки». Небольшая повесть «Герой поневоле» — образец работы писателя в жанре историческом.

МОЯ ВСТРЕЧА С ОЛЕКСОЙ

Встреча И. Франко с Олексой действительно произошла в родном селе писателя — Нагуевичах.

Стр. 352. *Проскрипция* — в Древнем Риме публичное осуждение за политические преступления, причем виновные объявлялись вне закона. Имена их вносились в проскрипционные списки. *...каплю той крови... до конца в 1872 году...* — Речь идет о кровавой расправе буржуазии с участниками Парижской коммуны.

Стр. 353. *...звуки грустной и вместе с тем счастливой песни...* — И. Франко приводит строки своего стихотворения «Товарищам из тюрьмы».

Стр. 359. *...о выстрелах в императора Вильгельма...* — Подразумеваются покушения на жизнь германского императора Вильгельма I в 1878 году. Воспользовавшись этим поводом, канцлер Бисмарк провел в рейхстаге «исключительный закон» против социалистов, с помощью которого пытался подавить социал-демократию.

Стр. 362. *Брно* — город в Чехословакии. В XIX веке в окрестностях города, на горе Шпильберг, была австрийская государственная тюрьма.

Стр. 363. *...что-то и наш ксендз толковал...* — В старой Галиции всех священников — и католических и униатских — в просторечии именовали ксендзами.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПОРЫВЫ

Один из четырех рассказов, вернее, сатирических очерков, составляющих цикл «Рутенцы». Публикуя их в 1912 году отдельным сборником, И. Франко предпослал им предисловие, в котором писал: «Хотя и давно написанные, в дни моей молодости, они (очерки.— *Б. Т.*), думается мне, еще и теперь не утратили своей ценности и, может быть [...] послужат скромным противоядием обыкновению некоторых молодых наших писателей черпать темы [...] из собственной, чистой, а иногда и нечистой фантазии, а не из живой действительности, которая всегда и всюду одна может быть источником живого и плодотворного поэтического творчества».

Стр. 367. *Резиденция* — здесь: поповский дом.

Стр. 368. *Тарок* — карточная игра. *...о войне и мудрой тактике России...* — Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 годов. *...об*

этимологии и фонетике...— Речь идет о спорах, волновавших галицкое общество того времени, о том, каким правописанием пользоваться: этимологическим, основанном на этимологии — учении о происхождении слов, или фонетическом, основанном на фонетике — учении о произношении слов. Москвофилы стояли за этимологическое правописание, народовцы — за фонетическое.

Стр. 369. *«Слово»* — газета галицких москвофилов, выходила во Львове в 1861—1887 годах. *Народный дом* — культурно-просветительное учреждение во Львове, основанное в 1849 году, центр москвофильского движения в Галиции. *Церковь св. Юра* — резиденция львовского униатского митрополита, гнездо реакционной поповщины.

ИСТОРИЯ КОЖУХА

Стр. 378. *Сандуляк* Иван Лукич (1848—1926), которому посвящена «сказка»,— галицкий крестьянин, общественный деятель. Был депутатом австрийского парламента. Автор нескольких народных песен.

Стр. 378—379. *Покутский* — из Покутья, местности между реками Днестр и Черемош, в начале карпатского Подгорья.

Стр. 381. *Выборный* — член сельской управы.

ПОДНЕВОЛЬНЫЙ ХЛЕБ

Стр. 383. *...за несколько лет до 1848 года...*— до революции 1848 года в Австро-Венгрии, в результате которой были отменены остатки феодальных повинностей, в частности, принудительный даровой труд крестьян на помещика — барщина (по-украински — панщина). *«Панские забавы»* («Панські жарти») — поэма Ивана Франко (1887), в которой изображена борьба крестьянской общины с помещиком. *Эмигрантская горячка* — массовое переселение западноукраинской бедноты в другие страны.

ЧИСТАЯ РАСА

Стр. 391. *Ньиредьхаза* — город на северо-востоке Венгрии. *Тиссаэслярское убийство.*— В 1883 году венгерские шовинисты и антисемиты возбудили судебные процессы против большой группы евреев, обитателей Тиссаэслярской общины, заведомо ложно обвинив их в убийстве девушки-христианки Эстер Солимосси. На судо в Ньиредьхазе 3 августа 1883 года все обвиняемые были оправданы. *Поясной тариф на железных дорогах...*— проведенная в 80-х годах XIX столетия в Венгрии реформа оплаты железнодорожного проезда. «Весьма удачным мероприятием оказался [...] знаменитый поясной тариф: стоимость проезда уменьшилась [...] и в первый же год число пассажиров утроилось». (Лависс и Рамбо, История XIX века, т. 7, Соцэкгиз, М. 1939, стр. 185). *А наши законы в области религии! Наши гражданские браки!..*— В 1894 году венгерский парламент принял закон о свободе вероисповеданий и обязатель-

ности гражданского брака. В этом отношении венгры опередили австрийцев. *Альфёльд* — венгерское название Большой Средне-Дунайской низменности, расположенной по течению реки Тиссы. Весной 1868 года крестьяне пытались начать в Альфёльде раздел помещичьих имений. Крестьянское движение было жестоко подавлено австро-венгерскими властями.

Стр. 392. *Руснаки* — то же, что русины (галицкие украинцы). *Мишкольц* — город в северо-восточной части Венгрии. *...наши готентоты.*— Готентоты — одна из южноафриканских народностей, в значительной мере уничтоженная европейскими колонизаторами. С высоты своего «культурного превосходства» герой рассказа, отъявленный шовинист и расист пан З., смотрит на украинцев, живущих в Австро-Венгрии, как на тех же готентотов.

Стр. 393. *Банат* — южно-восточная часть Венгерского королевства во времена Франко. После первой мировой войны разделена между Румынией и Югославией.

Стр. 398. *Комитат* — округ в старой Венгрии.

Стр. 400. *Шаторалья-Уйхель* — город на северной границе Венгрии.

Стр. 402. *«Pester Llojd»* — прогрессивная венгерская ежедневная газета, выходила в Будапеште.

В КУЗНИЦЕ

Стр. 423. *«Зи́ндра»* — искра от раскаленного железа.

Стр. 426. *«Кошутская война»* — национально-освободительная война венгерского народа против австрийской монархии в 1848—1849 годах, одним из вождей которой был Людвиг Кошут (1802—1894).

В ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Стр. 433. *Бригидки* — тюрьма во Львове во времена И. Франко.

ПОД ОБОРОГОМ

Стр. 440. *Оборог* — соломенный навес на четырех столбах (оборожинах), под которым складывают сено, пшеницу, рожь, чтобы предохранить от дождя; он может опускаться и подниматься по мере надобности.

Стр. 442. *...доходил и до униатских порубок...*— то есть до участка леса, принадлежавшего какой-нибудь униатской церкви или монастырю.

Стр. 450. *Дрымба* — народный музыкальный инструмент: железная пластинка, которую держат в зубах, ударяя по ней пальцем.

ГЕРОЙ ПОНЕВОЛЕ

«Революцию 1848 года украинское население Львова и других галицийских городов, равно как и широкие массы украинского крестьянства, встретили с огромным энтузиазмом [...] Вскоре, однако, обнаружилось, что не только польские либералы, но и буржуазные демократы от-

рицают право украинского народа на равноправное национальное существование и даже не признают существования украинской национальности, которая, по их мнению, была лишь ветвью единого польского народа» («История Польши», т. II, Изд-во АН СССР, М. 1955, стр. 69). Именно эта позиция руководителей польского национального движения помогла австрийским властям оправиться от первой паники, собраться с силами и в конечном счете подавить революционное национальное движение как поляков, так и украинцев в Западной Украине.

Событиям 1846—1849 годов И. Франко посвятил три больших рассказа: «Гриць и панич» (1898), «Резуны» (1903) и «Герой поневоле» (украинский текст опубликован в 1904 г.). Первоначальный вариант последнего рассказа, на польском языке, восходит к 1887 году, то есть ко времени создания писателем романа «Лель и Полель», в котором показана судьба сыновей героя рассказа, канцеляриста Калиновича.

Стр. 459. *Выбрановский* Роман — полковник, командовавший Национальной гвардией во Львове; вел соглашательскую политику в отношении австрийских властей, за что и был произведен в генералы.

Стр. 460. *Шварцгельбер* — черно-желтый (от н е м. Schwarzgelber) — сторонник австрийской монархии.

Стр. 462. *Головная Русская Рада* — Главный Украинский Совет, руководящий центр украинского национального движения в Галиции в 1848 году. Будучи органом местной буржуазной интеллигенции и верхушки униатского духовенства, Рада заискивала перед австрийскими властями и сыграла контрреволюционную роль в событиях 1848 года.

Стр. 463. *...кое-кто добавлял, что старик... пенсийку от французского правительства...*— Отголосок «наполеоновской легенды» — культа Наполеона I, распространенного в националистически настроенных кругах польского общества начала XIX столетия. Ветеран Валигурский мог, разумеется, получить орден из рук Наполеона. Но более чем сомнительно, чтобы после реставрации Бурбонов правительства Карла X, а затем Луи-Филиппа продолжали выплачивать ему пенсию. *Орден Virtuti militari* («За воинскую доблесть», л а т.) — польский военный орден, учрежден в 1792 году. Во время освободительного восстания 1830—1831 годов против царизма этим орденом награждались борцы за независимость польского народа. Возрожден в Народной Польше, являясь высшей военной наградой ПНР. *...бесплатной квартиры в Кармелитах, а там и отправки на Грайгору...*— Кармелиты — здание монастыря ордена кармелитов во Львове, превращенное в тюрьму. Грайгора («Играй-гора») — ироническая переделка названия немецкой тюрьмы Шпильберг (см. выше, стр. 362).

Стр. 465. *Вести из Вены, где вспыхнуло открытое восстание...*— Восстание в Вене началось 6 октября 1848 года. *Латур* Теодор, граф (1780—1848) — австрийский военный министр. В день народного восстания в Вене был повешен на фонаре. *...низложение Габсбургов...*— Здесь у ав-

тора неточность: низложение Габсбургской династии, по инициативе Кошута (см. выше, стр. 426), было объявлено Венгерским Национальным собранием в городе Дебрецене 14 апреля 1849 года. *Бем* Иосиф (1795—1850) — польский политический и военный деятель, активный участник революции 1848 года.

Стр. 491. *Голуховский* Агенор, граф (1812—1875) — австрийский государственный деятель, трижды (в 1849—1859, 1866—1867 и 1871—1875 гг.) был наместником Галиции. Принадлежа к польской шляхетской партии, всячески способствовал полонизации Галичины и подавлению украинских народных масс.

КРЫЛО СОЙКИ

Стр. 498. *Камоэнс* Луис (1525—1580) — португальский поэт, автор «Лузиады».

Стр. 499. *Эмерсон* Ралф Уолдо (1803—1882) — американский философ-идеалист. *Рескин* Джон (1819—1900) — английский писатель и художественный критик.

Стр. 500. *Уайльд* Оскар (1856—1900) — английский писатель, эстет. *Жорес* Жан (1859—1914) — французский политический деятель, социалист, своими выступлениями против милитаризма и реакции приобрел широкую популярность. *Д'Аннунцио* Габриэле (1863—1937) — итальянский поэт и писатель, автор драмы «Джиоконда». В последний период жизни примкнул к фашизму. *Дузе* Элеонора (1859—1924) — знаменитая итальянская драматическая актриса. *Де Мерод* Клео — модная в описываемое время танцовщица.

Стр. 502. *Ящик Пандоры* — выражение, означающее: источник бедствий. Идет от поэмы древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни», в которой рассказано, как красавица Пандора, движимая любопытством, открыла ларец, где были заключены все людские несчастья и беды.

Стр. 504. *Нимврод* — легендарный охотник.

Стр. 506. *Expertus Robertus* — сведущий Роберт (л а т.); от имени Робера Сорбона (ум. 1274), основателя богословской школы в Париже, преподаватели которой пользовались в средние века большим авторитетом.

Стр. 509. *Кохановский* Ян (1530—1584) — крупный польский поэт.

В русском переводе этот рассказ печатается впервые.

БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ

В основу повести положены подлинные события: стихийная стачка рабочих-нефтяников, закончившаяся осенью 1873 года большим пожаром на промыслах Борислава. К работе над повестью писатель приступил во второй половине 1880 года и печатал ее по частям в течение 1881—1882 годов в ежемесячном журнале «Світ», который он издавал во Львове совместно с Иваном Белеем. Повесть была близка к завершению, о чем

можно судить по пометке в конце журнального текста XX главы: «К[інець] б[уде]». Но по напечатании XX главы, на двадцать первом номере, издание журнала прекратилось, и повесть осталась незаконченной. Автор, видимо, собирался завершить произведение, но намерения своего не осуществил. В бумагах И. Франко сохранилось только начало главы XXI. Отдельным изданием при жизни писателя повесть не выходила.

Стр. 537. *...велите бить раст...*— звонком или ударами в доску объявить конец рабочего дня (от нем. Rast — отдых, передышка).

Стр. 541. *Лан* — предместье Дрогобыча, во времена, описываемые в повести, было населено преимущественно евреями.

Стр. 549. *...с людьми, едящими трефное...*— См. выше, примечание к стр. 289.

Стр. 556. *Революция 1831 года* — польское освободительное восстание 1830—1831 годов против господства царизма.

Стр. 566. *...с бедным «лыбаком»...*— «Лыбаками звались прежде в Бориславе те, кто конскими хвостами снимал с поверхности воды, с луж и ручьев бориславских «кипячку» (то есть неочищенную нефть) и продавал ее на смазку для телег» (примечание И. Франко к рассказу «Яць Зелепуга»).

Стр. 591. *Возный* — здесь: судебный пристав.

Стр. 596. *Бойчуки* — то же, что бойки (см. примечание к стр. 263).

Стр. 611. *...в эпоху... великого «Aufschwindl'я».— «Aufschwindel»* — мошенническая биржевая игра на повышение (нем.). *...семена венского «краха» 1873 года...*— Биржевые спекуляции, которыми сопровождалась предпринятая в 1870 году перестройка центральной части Вены. Эти спекуляции закончились в мае 1873 года жестоким кризисом, надолго подорвавшим финансы Австро-Венгрии. «Период бешеной спекуляции завершился грандиозным венским «крахом». В течение месяца банкротства без перерыва следовали одно за другим; все классы общества были им затронуты» (Лависс и Рамбо, История XIX века, т. 7, Соцэкгиз, М. 1939, стр. 171). С этими событиями совпало открытие в Вене Пятой Всемирной выставки. *«Ротонда»,* о которой упоминает Франко,— круглое железное здание диаметром в сто метров, сооруженное в центре выставки в целях рекламы.

Стр. 645. *...росту их «гешефтов».*— Гешефт — сделка, торговая операция (от нем. Geschäft).

Стр. 670. *Мазу́ры* — польские крестьяне в Западной Галиции.

Стр. 684. *Наместничество.*— Галиция управлялась наместником, с резиденцией во Львове.

Стр. 736. *...выехал куда-то nach Polen.*— Буквально: в Польшу (нем.). Подразумевается Галиция, которую в немецкой части Австро-Венгрии, по старому обычаю, называли «Польшей».

Б. Турганов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«Аллеей летнею, ночною...» — 82.
«Апостол правды и науки...» (Шевченко и поклонники) — 119.

Батрак («Склоненный над сохой, тоскливо напевая...») — 44.
Беркут («Из тайного гнезда на каменистой круче...») — 46.
«Бескрайное поле под снежной волною...» — 75.
«Блажен тот муж, что на суде неправых...» — 109.
Борислав смеется. *Повесть* — 537.
«Будь ты, певец, как святая пшеница...» (Певцу) — 50.

«В дремоте сёла. За окном...» — 103.
«Вечный революционер...» (Гимн) — 25.
«Взгляни на ключ, что из камней гробницы...» (Народная песня) — 55.
Vivere memento! («Что в моей груди, весна...») — 31.
В кузнице — 420.
В лесу («Хорошо, в чаще леса блуждая...») — 71.
«В моря из слез — от горя, от заботы...» — 33.
«Внизу, у гор, село лежит...» — 101.
«Вопреки теченью...» (Semper idem!) — 40.
«Впрямь, как скотину, всех тут описали...» — 58.
«Встаем с рассветом, лица умываем...» — 59.
«Всюду преследуют правду...» — 41.
В тюремной больнице — 431.
В шинке («Сидел в шинке и пил хмельную...») — 63.
«Вьется та тропиночка...» — 80.
«Вы плакали фальшивыми слезами...» — 43.
«Вышла в поле русских сила...» — 112.

Галаган («Мамочка! — зовет Иван...») — 65.
«Где ни лилися вы в нашей бывальщине...» — 111.
Герой поневоле — 456.
Гимн («Вечный революционер...») — 25.
«Голодный пес, продрогший от метели...» (Притча о благодарности) — 91.
«Гремит! Благодатная ближе погода...» — 26.
Гриць в школе — 237.
«Гуманным будь,— любви источник чистый...» — 116.

«Давным-давно, в одном почтенном доме...» — 59.
«Дай мне, земля, твоей силы глубинной...» — 27.
«Два панка пошли гулять...» — 94.
Два приятеля — 217.

«Два соседа живут-поживают рядком...» (Притча о радости и печали) — 91.
Декадент («Я декадент? Вот это вправду ново...») — 86.
«Добрый был мужик Михайло...» (Михайло) — 64.
«Довольно! Долго мы слова слагали...» — 57.
Древоруб («По тропам жизни я блуждал немало...») — 121.
«Дремлет мир. И бледнолицый...» — 35.
Думы на меже («Змея эта всюду, зеленая, жадная...») — 66.
Думы над мужицкою пашней («Стану на пашне, умытой зарею...») — 70.

«Если ночью услышишь, что там, за окном...» — 81.

«Жизнь коротка, искусство бесконечно...» (Semper tiro) — 107.

«Замолкла песня. Не взмахнет крылами...» — 60.
«Зачем ты совсем не смеешься...» — 79.
«Змея эта всюду, зеленая, жадная...» (Думы на меже) — 66.

Иван Вишенский — 156.
«Из тайного гнезда на каменистой круче...» (Беркут) — 46.
История кожуха — 378.

«Как вол в ярме, вот так я день за днем...» — 82.
«Как знойно...» — 76.
«Как ты могла так ровно, так спокойно...» («Оставь надежду!») — 74.
«Калина, калина, зачем долу гнешься...» — 78.
Каменщик — 226.
Камнеломы («Я видел странный сон. Как будто предо мною...») — 47.
«Каморка и кухня, два низких оконца...» — 83.
Карандаш — 243.
«Когда б ты знал, как много значит слово...» — 117.
«Когда порой, в глухом раздумье...» — 97.
«Когда услышишь, как в тиши ночной...» — 94.
«Коль не вижу тебя...» — 81.
Конкистадоры («По седому океану...») — 108.
Котляревский («Оглядывая снежные вершины...») — 55.
Крыло сойки — 496.
К свету! — 283.
«Кто смел сказать, что не богиня ты...» (Сикстинская Мадонна) — 57.
«Кусок железа с неизменной силой...» — 56.

Леса и пастбища — 273.
Лесихина семья — 207.
Лесная русалка — 374.
«Льдом студеным покрыта...» — 82.

Майская элегия («Ты меня мучишь, весна...») — 127.
Маленький Мирон — 231.
«Мамочка! — зовет Иван...» (Галаган) — 65.
«Меж стран Европы мертвое болото...» — 61.
«Месяц мой юный...» — 36.
Михайло («Добрый был мужик Михайло...») — 64.
«Мне сорок лет, мой век не весь прожит...» — 98.
Мое преступление — 403.
Моей не моей («Привет тебе, цветок, упавший с ветки...») — 87.
Моисей. *Пролог* — 203.
Моя встреча с Олексой — 352.
Моя любовь («Так хороша она и так...») — 53.

«Над широкою рекою...» — 102.
«На Подгорье, в долах, по низинам...» — 92.
«На реке вавилонской — и я там сидел...» — 113.
Народная песня («Взгляни на ключ, что из камней гробницы...») — 55.
На Святоюрской горе — 188.
«На смену тоске отупенья...» — 73.
На суде («Судите, судьи, вы меня...») — 38.

«На тебя не жалуюсь я, доля...» — 76.
«Не долго жил на свете я...» — 42.
«Не забудь, не забудь...» — 27.
«Не знаю забвенья...» — 98.
«Не молчи, если, гордо красуючись...» — 127.
«Непроходимою стеной меж нами...» — 76.
«Не разлучай меня с горючей болью...» — 35.

«Оглядывая снежные вершины...» (Котляревский) — 55.
«Ой, зелен явор, да зелен явор...» — 77.
«Ой, идут, идут туманы...» — 101.
«Ой, поет в саду, щебечет соловей...» — 28.
«Ой, рано я, рано я встану...» — 33.
«Ой, расплескалось ты, русское горе...» — 95.
«Она не детская забава...» (Современная песня) — 119.
«О, не люби меня, родная...» (Предостережение) — 124.
«О рай мой зеленый...» — 34.
«Оставь надежду!» («Как ты могла так ровно, так спокойно...») — 74.
«Ох, истомило весны ожиданье...» — 29.
«Ох, тяжело ярмо родного края...» (Раздумье) — 85.

Патриотические порывы — 367.
Певцу («Будь ты, певец, как святая пшеница...») — 50.
Перед отходом поезда — 410.
«Песни доли вешней...» — 30.
Песня и труд («Песня, подруга моя ты, больному...») — 49.
«Песня, подбитая милая пташка...» — 84.
«Песня, подруга моя ты, больному...» (Песня и труд) — 49.
Подгорье зимой («Подгорье родное, любовь ты моя...») — 125.
«Подгорье родное, любовь ты моя...» (Подгорье зимой) — 125.
Подневольный хлеб — 383.
Под оборогом — 440.
«Пойми, поэт, на жизненном пути ты...» — 114.
Покой («Что ж, покой — святое дело...») — 42.
Полуйка — 329.
«Поняв, что смерти близится година...» (Притча о дружбе) — 88.
«Порой бывает — сердце ноет...» — 32.
«По седому океану...» (Конкистадоры) — 108.
«По тропам жизни я блуждал немало...» (Древоруб) — 121.
Предостережение («О, не люби меня, родная...») — 124.
«Привет тебе, цветок, упавший с ветки...» (Моей не моей) — 87.
Притча о благодарности («Голодный пес, продрогший от метели...») — 91.
Притча о дружбе («Поняв, что смерти близится година...») — 88.
Притча о радости и печали («Два соседа живут-поживают рядком...») — 91.
«Прошло то время? Ложь! Забыт ли час...» — 61.

Ради праздника — 319.
Раздумье («Ох, тяжело ярмо родного края...») — 85.
«Рвутся старые наши оковы...» (Товарищам из тюрьмы) — 37.
Родное село («Я вижу вновь тебя, село мое родное...») — 51.
«Россия, край печали и терпенья...» — 60.

Сам виноват — 255.
Седоглавому («Ты, братец, любишь Русь...») — 85.
«Се дом печали, плача, воздыханья...» — 58.
Semper idem! («Вопреки теченью...») — 40.
Semper tiro («Жизнь коротка, искусство бесконечно...») — 107.
«Сидел в шинке и пил хмельную...» (В шинке) — 63.
Сикстинская Мадонна («Кто смел сказать, что не богиня ты...») — 57.
«Склоненный над сохой, тоскливо напевая...» (Батрак) — 44.
«Слыхал ли ты, как вожаки...» (Школа поэта) — 105.

Смерть Каина — 131.
Современная песня («Она не детская забава...») — 119.
«Сонеты — как рабы. В них мысль зажата...» — 54.
Среди добрых людей — 301.
«Стану на пашне, умытый зарею...» (Думы над мужицкою пашней) — 70.
«Страшитесь вы той огненной стихии...» — 56.
«Стройная девушка, меньше орешка...» — 78.
«Судите, судьи, вы меня...» (На суде) — 38.

«Так хороша она и так...» (Моя любовь) — 53.
Товарищам из тюрьмы («Рвутся старые наши оковы...») — 37.
«Ты, братец, любишь Русь...» (Седоглавому) — 85.
«Ты меня мучишь, весна...» (Майская элегия) — 127.
«Ты, только ты — моя единая любовь...» — 73.
«Тюрьма народов, обручем из стали...» — 62.

«Уж полночь. Темень. Стужа. Ветер воет...» — 116.
«Украинские милые поэты...» (Эпилог) — 62.
«Ходят ветры по краю...» — 99.
«Хорошо, в чаще леса блуждая...» (В лесу) — 71.

Цыгане — 263.

Чабан — 346.
Чистая раса — 389.
«Что в моей груди, весна...» (Vivere memento!) — 31.
«Что ж, покой — святое дело...» (Покой) — 42.

Шевченко и поклонники («Апостол правды и науки...») — 119.
Школа поэта («Слыхал ли ты, как вожаки...») — 105.

Щука — 414.

Эпилог («Украинские милые поэты...») — 62.

«Я видел странный сон. Как будто предо мною...» (Камнеломы) — 47.
«Я вижу вновь тебя, село мое родное...» (Родное село) — 51.
«Я в чистом поле убирал пшеницу...» — 109.
«Я декадент? Вот это вправду ново...» (Декадент) — 86.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Крыжановский, Б. Турганов. Иван Франко 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ КНИГИ «ВЕРШИНЫ И НИЗИНЫ»

ИЗ РАЗДЕЛА «DE PROFUNDIS»

Гимн. *Вместо пролога* («Вечный революционер»). *Перевод Б. Турганова* 25

Из цикла «Веснянки»

«Гремит! Благодатная ближе погода...» *Перевод Н. Ушакова* 26
«Дай мне, земля, твоей силы глубинной...» *Перевод А. Бондаревского* 27
«Не забудь, не забудь...» *Перевод А. Суркова* 27
«Ой, поет в саду, щебечет соловей...» *Перевод М. Исаковского* 28
«Ох, истомило весны ожиданье!..» *Перевод П. Железнова* . . 29
«Песни доли вешней...» *Перевод А. Прокофьева* 30
Vivere memento! *Перевод В. Щепотева* 31

Из цикла «Скорбные песни»

«Порой бывает — сердце ноет...» *Перевод Н. Брауна* 32
«В моря из слез — от горя, от заботы...» *Перевод Вс. Рождественского* 33
«Ой, рано я, рано я встану...» *Перевод С. Обрадовича* . . . 33
«О рай мой зеленый...» *Перевод В. Цвелева* 34

Из цикла «Ночные думы»

«Дремлет мир. И бледнолицый...» *Перевод Н. Ушакова* . . . 35
«Не разлучай меня с горючей болью...» *Перевод М. Цветаевой* 35
«Месяц мой юный!..» *Перевод В. Инбер* 36

Из цикла «Думы пролетария»

Товарищам из тюрьмы. *Перевод С. Городецкого* 37
На суде. *Перевод В. Цвелева* 38
Semper idem! *Перевод Н. Асанова* 40
«Всюду преследуют правду...» *Перевод Е. Нежинцева* . . . 41
Покой. *Перевод Н. Ушакова* 42
«Не долго жил на свете я...» *Перевод М. Рудермана* 42
«Вы плакали фальшивыми слезами...» *Перевод Б. Турганова* 43

Из цикла «Excelsior!»

Батрак. *Перевод Б. Турганова* 44
Беркут. *Перевод В. Державина* 46
Камнеломы. *Перевод А. Прокофьева* 47

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛИ И МАСКИ»

Из цикла «Поэт»

Песня и труд. *Перевод С. Обрадовича* 49
Певцу. *Перевод Е. Нежинцева* 50
Родное село. *Перевод А. Глобы* 51

Из цикла «Украина»

Моя любовь. *Перевод В. Звягинцевой* 53

ИЗ РАЗДЕЛА «СОНЕТЫ»

Из цикла «Свободные сонеты»

«Сонеты — как рабы. В них мысль зажата...» *Перевод Н. Ушакова* 54
Котляревский. *Перевод Е. Нежинцева* 55
Народная песня. *Перевод А. Ахматовой* 55
«Страшитесь вы той огненной стихии...» *Перевод А. Ахматовой* 56
«Кусок железа с неизменной силой...» *Перевод Б. Турганова* 56
Сикстинская Мадонна. *Перевод В. Звягинцевой* 57
«Довольно! Долго мы слова слагали...» *Перевод В. Державина* 57

Из цикла «Тюремные сонеты»

«Се дом печали, плача, воздыханья...» *Перевод Н. Ушакова* . 58
«Впрямь, как скотину, всех тут описали...» *Перевод Д. Бродского* 58
«Давным-давно, в одном почтенном доме...» *Перевод Б. Турганова* 59
«Встаем с рассветом, лица умываем...» *Перевод А. Бондаревского* 59
«Замолкла песня. Не взмахнет крылами...» *Перевод Н. Ушакова* 60
«Россия, край печали и терпенья...» *Перевод В. Звягинцевой* 60
«Прошло то время? Ложь! Забыт ли час...» *Перевод М. Зенкевича* 61
«Меж стран Европы мертвое болото...» *Перевод Б. Турганова* 61
«Тюрьма народов, обручем из стали...» *Перевод Н. Ушакова* . 62
Эпилог. *Перевод Н. Ушакова* 62

ИЗ РАЗДЕЛА «ГАЛИЦКИЕ КАРТИНКИ»

В шинке. *Перевод М. Исаковского* 63
Михайло. *Перевод А. Твардовского* 64
Галаган. *Перевод Б. Турганова* 65
Думы на меже. *Перевод П. Семынина* 66
Думы над мужицкою пашней. *Перевод А. Глобы* 70
В лесу. *Перевод А. Суркова* 71

ИЗ КНИГИ «УВЯДШИЕ ЛИСТЬЯ»

Из цикла «Первая горсть»

«На смену тоске отупенья...» *Перевод А. Ахматовой* 73
«Ты, только ты — моя единая любовь...» *Перевод А. Ахматовой* 73
«Оставь надежду!» *Перевод Н. Брауна* 74
«Бескрайное поле под снежной волною...» *Перевод Б. Турганова* 75
«Непроходимою стеной меж нами...» *Перевод В. Звягинцевой* 75
«На тебя не жалуюсь я, доля...» *Перевод Е. Нежинцева* . . 76

Из цикла «Вторая горсть»

«Как знойно!..» *Перевод Б. Турганова* 76
«Ой, зелен явор, да зелен явор...» *Перевод Ел. Благининой* . 77
«Стройная девушка, меньше орешка...» *Перевод А. Ахматовой* 78
«Калина, калина, зачем долу гнешься?..» *Перевод А. Прокофьева* 78
«Зачем ты совсем не смеешься?..» *Перевод А. Ахматовой* . . 79
«Вьется та тропиночка...» *Перевод А. Ахматовой* 80
«Коль не вижу тебя...» *Перевод А. Ахматовой* 81
«Если ночью услышишь, что там, за окном...» *Перевод Б. Турганова* 81
«Как вол в ярме, вот так я день за днем...» *Перевод Н. Ушакова* 82

Из цикла «Третья горсть»

«Льдом студеным покрыта...» *Перевод А. Ахматовой* . . . 82
«Аллеей летнею, ночною...» *Перевод В. Азарова* 82
«Каморка и кухня, два низких оконца...» *Перевод Вс. Рождественского* 83
«Песня, подбитая милая пташка...» *Перевод А. Ахматовой* . 84

ИЗ КНИГИ «МОЙ ИЗМАРАГД»

ИЗ РАЗДЕЛА «ПОКЛОНЫ»

Раздумье. *Перевод В. Звягинцевой* 85
Седоглавому. *Перевод Е. Нежинцева* 85
Декадент. *Перевод Б. Турганова* 86
Моей не моей. *Перевод В. Бугаевского* 87

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРИТЧИ»

Притча о дружбе. *Перевод В. Бугаевского* 88
Притча о благодарности. *Перевод Н. Ушакова* 91
Притча о радости и печали. *Перевод В. Инбер* 91

ИЗ РАЗДЕЛА «ПО СЕЛАМ»

«На Подгорье, в долах, по низинам...» *Перевод М. Комиссаровой* 92

ИЗ РАЗДЕЛА «В БРАЗИЛИЮ»

«Когда услышишь, как в тиши ночной...» *Перевод Б. Турганова* 94
«Два панка пошли гулять...» *Перевод А. Суркова* 94
«Ой, расплескалось ты, русское горе...» *Перевод В. Звягинцевой* 95

ИЗ КНИГИ «В ДНИ ПЕЧАЛИ»

«Когда порой, в глухом раздумье...» *Перевод П. Железнова* . 97
«Не знаю забвенья!..» *Перевод Б. Турганова* 98
«Мне сорок лет, мой век не весь прожит...» *Перевод Д. Бродского* 98

ИЗ РАЗДЕЛА «В ПЛЕН-ЭРЕ»

«Ходят ветры по краю...» *Перевод Е. Нежинцева* 99
«Внизу, у гор, село лежит...» *Перевод М. Исаковского* . . . 101
«Ой, идут, идут туманы...» *Перевод Д. Бродского* 101
«Над широкою рекою...» *Перевод Л. Длигача* 102
«В дремоте сёла. За окном...» *Перевод Е. Нежинцева* 103
Школа поэта *(По Ибсену). Перевод Вс. Рождественского* . . 105

ИЗ КНИГИ «SEMPER TIRO»

Semper tiro. *Перевод Н. Ушакова* 107
Конкистадоры. *Перевод Б. Соловьева* 108

ИЗ РАЗДЕЛА «НА СТАРЫЕ ТЕМЫ»

«Блажен тот муж, что на суде неправых...» *Перевод М. Зенкевича* 109
«Я в чистом поле убирал пшеницу...» *Перевод М. Зенкевича* . 109
«Где ни лилися вы в нашей бывальщине...» *Перевод М. Комиссаровой* 111
«Вышла в поле русских сила...» *Перевод Н. Брауна* 112
«На реке вавилонской — и я там сидел...» *Перевод Н. Панова* 113

ИЗ РАЗДЕЛА «ИЗ КНИГИ КААФ»

«Пойми, поэт, на жизненном пути ты...» *Перевод В. Цвелева* 114
«Гуманным будь — любви источник чистый...» *Перевод В. Цвелева* 116
«Уж полночь. Темень. Стужа. Ветер воет...» *Перевод Н. Брауна* 116
«Когда б ты знал, как много значит слово...» *Перевод Н. Асанова* 117

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В КНИГИ

Шевченко и поклонники. *Перевод Б. Турганова* 119
Современная песня. *Перевод Вс. Рождественского* 119
Древоруб (*Из народных преданий*). *Перевод А. Островского* 121
Предостережение. *Перевод Н. Асанова* 124
Подгорье зимой. *Перевод Н. Брауна* 125
Майская элегия. *Перевод Н. Заболоцкого* 127
«Не молчи, если, гордо красуючись...» *Перевод Б. Турганова* 127

ПОЭМЫ

Смерть Каина *(Легенда). Перевод Б. Турганова* 131
Иван Вишенский. *Перевод Б. Турганова* 156
На Святоюрской горе. *30 октября 1655. Перевод В. Державина* 188
Моисей. *Пролог. Перевод Б. Пастернака* 203

РАССКАЗЫ

ИЗ КНИГИ «В ПОТЕ ЛИЦА»

Лесихина семья. *Перевод В. Бонч-Бруевича* 207
Два приятеля. *Перевод В. Бонч-Бруевича* 217
Каменщик. *Перевод В. Бонч-Бруевича* 226
Маленький Мирон. *Перевод В. Бонч-Бруевича* 231
Гриць в школе. *Перевод В. Бонч-Бруевича* 237
Карандаш. *Перевод А. Островского* 243
Сам виноват. *Перевод А. Островского* 255
Цыгане. *Перевод Г. Петникова* 263
Леса и пастбища *(Рассказ бывшего доверенного). Перевод Г. Петникова* 273
К свету! *(Рассказ арестанта) Перевод Б. Турганова* 283
Среди добрых людей *(Рассказ). Перевод А. Деева* 301

ИЗ БОРИСЛАВСКОГО ЦИКЛА

Ради праздника. *Перевод Н. Ушакова* 319
Полуйка *(Рассказ старого нефтяника). Перевод Н. Ушакова* 329
Чабан. *Перевод Н. Ушакова* 346

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Моя встреча с Олексой *(Рассказ Мирона Сторожа). Перевод А. Островского* 352
Патриотические порывы. *Перевод Б. Турганова* 367
Лесная русалка. *(Летняя сказочка). Перевод А. Островского* 374
История кожуха. *Перевод А. Деева* 378
Подневольный хлеб. *Перевод Г. Петникова* 383
Чистая раса. *Перевод В. Радыша* 389
Мое преступление. *Перевод А. Островского* 403
Перед отходом поезда. *Перевод Б. Турганова* 410
Щука. *Перевод В. Радыша* 414
В кузнице *(Из моих воспоминаний). Перевод А. Островского* 420
В тюремной больнице. *Перевод А. Островского* 431
Под оборогом. *Перевод А. Островского* 440
Герой поневоле. *Перевод Б. Турганова* 456
Крыло сойки *(Из записок нелюдима). Перевод Б. Турганова* 496

БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ. Повесть. *Перевод Е. Мозолькова* (глава XXI — *Перевод Б. Турганова*) 537

Примечания *Б. Турганова* 755

Алфавитный указатель произведений 775

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 121

Иван Франко

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ.
РАССКАЗЫ. БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ

*

Редактор Ю. Розенблюм

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры

Н. Голоцукова и Л. Фильцер

*

Сдано в набор 2/XII 1970 г. Подписано к печати 28/VI 1971 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 49 печ. л. 45,72 усл. печ. л. 45,08+7 накид.+1 вкл. = 45,98 уч.-изд. л. Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. Заказ № 648. Цена 2 р. 05 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16